

В.Г. БЕЛИНСКИЙ

В.Г.
БЕЛИНСКИЙ

XII

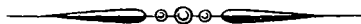
XII

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

Т О М
XII



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА
1 9 5 6

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

В. Г. БЕЛИНСКИЙ

ТОМ ДВЕНАДЦАТЫЙ

П И С Ь М А

1841-1848



ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

МОСКВА

1 9 5 6

П И С Ь М А



169. В. П. БОТКИНУ

⟨30 декабря 1840 г.— 22 января 1841 г. Петербург.⟩
СПб. 1840, декабря 30.

Спасибо тебе, друже, за письмо — я даже испугался, увидев такое толстое послание, которое совсем не в духе твоей лености.¹ Спасибо за ⟨...⟩!

Всё, что написал ты о Гёте и Шиллере, — прекрасно, и много пояснило мне насчет этих двух чудаков. Признаться ли тебе в грехе, а у меня кетчеровская натура, и я боюсь скоро сделаться К⟨етчеро⟩м: о Шиллере не могу и думать, не задыхаясь, а к Гёте начинаю чувствовать род ненависти, и, ей-богу, у меня рука не подымется против Менцеля, хотя сей муж и попрежнему остается в глазах моих идиотом. Боже мой — какие прыжки, какие зигзаги в развитии! Страшно подумать.

Да, я сознал, наконец, свое родство с Шиллером, я — кость от костей его, плоть от плоти его, — и если что должно и может интересоваться меня в жизни и в истории, так это — он, который создан, чтоб быть моим богом, моим кумиром, ибо он есть высший и благороднейший мой идеал человека.² Но довольно об этом. От Шиллера перехожу к Полевому, ибо кровь кипит, и если бы не 700 верст, я бы так и стукнул тебя по лысине.

Нет, никогда не раскаюсь я в моих нападках на Полевого, никогда не признаю их ни несправедливыми, ни даже преувеличенными. Если бы я мог раздавить моею ногою Полевого, как гадину, — я не сделал бы этого только потому, что не захотел бы запачкать подошвы моего сапога. Это мерзавец, подлец первой степени: он друг Булгарина, protégé* Греча (слышишь ли, не покровитель, а protégé Греча!),

* протееже (франц.).— Ред.

приятель Кукольника; бессовестный плут, завистник, низкопоклонник, дюжинный писака, покровитель посредственности, враг всего живого, талантливое. Знаю, что когда-то он имел значение, уважаю его за прежнее, но теперь — что он делает теперь? — пишет навыворот по-телеграфски, проповедует ту расейскую действительность, которую так энергически некогда преследовал, которой нанес первые сильные удары. Я могу простить ему отсутствие эстетического чувства (которое не всем же дается), могу простить искажение «Гамлета»,³ «ведь-с Ромео-то и Юлия из слабых произведений Шекспира»,⁴ грубое непонимание Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Марлинского (идола петербургских чиновников и образованных лакеев), глупое благоговение к риторической музе Державина и пр. и пр.; но для меня уже смешно, жалко и позорно видеть его фарисейско-патриотические, предательские драмы народные («Иголкина» и т. п.), его пошлые комедии и прочую сценическую дрянь, цену, которую он дает вниманию и вызову ерыжной публики Александр-ь-нского театра, составленной из офицеров и чиновников; но положим, что и это можно извинить отсталостью, старостью, слабостью преклонных лет и пр.; но его дружба с подлецами, доносчиками, фискалами, площадными писаками, от которых гибнет наша литература, страдают истинные таланты и лишено силы всё благородное и честное,— нет, брат, если я встречу с Полевым на том свете — и там отворочусь от него, если только не наплюю ему в рожу. Личных врагов прошу, с Булгариным скорее обнимусь, чем подам ему руку от души. Ты знаешь, имеет ли для меня какое-нибудь значение звание человека,— и только скот попрекнет тебя купечеством, Кудрявцева и Красова — семинарством, Кириюшу⁵ — лакейством, но это потому, что ни в тебе, ни в них нет ни тени того, что составляет гнусную и подлую сущность русского купца, семинариста и лакейского сына; но почему же не клеймить человека его происхождением, когда в нем выразилась вся родовая гадость его происхождения? Нет, я с восторгом, с диким наслаждением читаю стихи:

Вот в порожней бочке винной
Целовальник Полевой,
Беспорточный и бесчинный.
Сталось что с его башкой?
Спесь с корыстью в ней столкнулись,
И от натиска сего
Вверх ногами повернулись
Ум и сердце у него.
Самохвал, завистник жалкий,
Надувало ремеслом,
Битый рюриковской палкой

И санскритским батожьем;
Подл, как раб, падут, как барин,
Он, чтоб кончить разом речь
Благороден, как Булгарин,
Бескорыстен так, как Греч.⁶

Да, он подлец, по природе, и только ждал случая, чтобы снять с себя маску; переезд в Петербург был для него этим случаем. Не говори мне больше о нем — не кипяти и без того кипящей крови моей.⁷ Говорят, он недавно был болен водяною в голове (от подлых драм) — пусть заведутся черви в его мозгу, и издохнет он в муках — я рад буду. Бог свидетель — у меня нет личных врагов, ибо я (скажу без хвастовства) по натуре моей выше личных оскорблений; но враги общественного добра — о, пусть вывалятся из них кишки, и пусть повесятся они на собственных кишках — я готов оказать им последнюю услугу — расправить петли и падеть на шею. П(олево)й мог бы с честью и пользою (для себя, семейства и общества) оканчивать свое поприще: сколько есть полезных предприятий литературных, которые только ждут у нас умной головы и искусной руки. А он пишет гнусные драмы и программы надувательных журналов в форме писем из провинции! Читал ли ты его (в «Северной пчеле») «Письмо из провинции», где так нагло, бесстыдно, халуйски надувает он глупую расейскую публику — это баранье стадо, перемешанное с частию козлов, телят и свиней?⁸

Что до Кр(аевско)го, однажды навсегда: это не Полевой, не гений и не талант особенный; это человек, который из всех русских литераторов, известных и неизвестных, *один* способен крепко работать и поставить в срок огромную книжку; способен очень *талантливо* отвалить Греча, Булгарина или Полевого; имеет кое-какие живые интересы и кое-какие познания (заговори с ним о русской истории — и ты заслушаешься его); он в поэзии не далеко и не глубоко хватает, но зато не мешает другим (в своем журнале) действовать за него даже вопреки многим его понятиям и убеждениям; наконец — это честный и благородный человек, которому можно подать руку, не боясь запачкать ее, и который имеет справедливую причину почитать для себя унижением и позором быть даже в шапочном знакомстве

С знаменитыми,
Кнутом битыми,⁹

Булгариным, Гречем, Жуковльником и Полевым. О Боткин, если бы ты знал хоть приблизительно, что такое Греч:¹⁰ ведь это апотеоз расейской действительности, это литературный Ванька-Каин, это человек, способный зарезать отца родного.

и потом плакать публично над его гробом, способный вывести на площадь родную дочь и торговать ею (если б литературные ресурсы кончились и других не было), это грязь, подлость, предательство, фискальство, принявшие человеческий образ, — и этому-то существу преданся Полевой и, как Громобой¹¹ с бесом, продал ему душу... И ты заступаешься за этого человека, ты (о верх наивности!) думаешь, что я скоро раскаюсь в своих нападках на него! Нет, я одного страстно желаю в отношении к нему: чтоб он валялся у меня в ногах, а я каблуком сапога разможил бы его иссохшую, фарисейскую, желтую физиономию. Будь у меня 10 000 рублей денег — я имел бы полную возможность выполнить эту процессию.

1841, января 15.

Тебе, Боткин, не привыкать стать к разным месяцам и годам в одном и том же письме моем. Сейчас получил я письмо от Кольцова — он пишет, как вы встречали новый год — ах, вы счастливыцы — у вас всё-таки есть минуты полного самозабвения, а я... Я встретил новый год у Одоевского — пил, и за то два дня меня была страшная лихорадка. Кольцов пишет еще, что вы были у Полевого — а! вот откуда грянул на меня твой гром — уж подлинно не из тучи, а из навозной кучи. Ксенофонт меня не жалует — это понятно, и хотя у меня слишком мало общего с ним, но я его уважаю, как честного человека, а что касается до его возлюбленного брата, — тысячи ему дьяволов — плюю на него. Он отзывается обо мне умеренно, даже с некоторыми похвалами — экая bestия! Ну да чорт с ним.¹² А кстати: и с мошенниками-то мошенничает: обещал в гнусный «Русский вестник» статей — уехал в Москву, да и был таков, а те волками воют. Видно, вперед взял деньги.

Теперь о втором пункте твоего письма — о К<атков>е. Признаюсь — огорошил ты меня! Я странная натура — никогда не смею высказать о человеке, что думаю, и часто натягиваюсь на любовь и дружбу к нему, чтобы примирить свое чувство к нему с понятием о нем. Твое суждение о К<атков>е ужасно верно. Я то же чувствовал, да не смел сказать себе самому. Из этого человека (я уверен в этом) еще выйдет человек, но пока он слишком кровяни и животен, чтоб быть человеком. Приехавши в Питер, он начал с высоты величия подсмеиваться над моими жалобами о ничтожности человеческой личности, столь похожей в Общем на мыльный пузырь, и говорить, что в наше время об этом тужат только дрянные и гнилые натуршкки; а через несколько недель запел мою же песню, только еще заунывнее и отчаяннее. Потом толковал мне, с видом покровительства, о необходимости провести по своей непосредствен-

ности резцом художническим, чтобы придать себе виртуозности. У меня странная привычка принимать в других самохвальство за доказательство достоинства, — я и поверил, что он — статуя, виртуознее самого Аполлона Бельведерского, да и давай плевать на себя и смиряться перед ним. Вообще он вел себя со всеми нами, как гениальный юноша с людьми добрыми, но недалекими, и сделал мне несколько грубостей и дерзостей, которые мог снести только я, которых нельзя забыть и о которых расскажу тебе при свидании. Панаеву с Языковым тоже досталось порядочно за то, что они не знали, как лучше выразить ему свое уважение и любовь. Не скажу, чтобы у меня с ним не было и прекрасных минут, ибо это натура сильная и голова, крепко работающая. Он много разбудил во мне, и из этого многого большая часть воскресла и самодеятельно переработалась во мне уже после его отъезда. Ясно, что немного прошло у него через сердце, но живет только в голове, и потому от него пристаёт и понимается с трудом. Когда он с торжеством созвал нас у Краевского и прочел половину статьи о Толстой, я был оглушен, но несколько не наполнен, но сказал Комарову и прочим, что такой статьи не бывало на свете. Статья вышла. Питер ее принял с остервенением, что еще более придало ей цены в моих глазах. Панаев и Комаров прямо сказали мне, что им статья не нравится, а последний, что он в ней, за исключением двух-трех действительно прекрасных мест, ничего не понимает. Я чуть не побранился с ним за это, хотя он и говорил мне, что в моих статьях всё понимает. Уже спустя довольно время, я сам поусомнился, заметив, что ничего не помню из дивной статьи. Перечитываю, читаю — прекрасно, положу книгу — не помню ничего.¹³ Твое письмо довершило. Ты здесь не то, что я, ты человек посторонний. Не забудь, что мы с Катковым соперники по ремеслу, а я, по моей натуре, способен всегда видеть в сопернике бог знает что, а в себе меньше, чем ничего. Когда он изъявил желание писать о Толстой, я не смел и думать взяться за это дело. Теперь каюсь, ибо вижу, что это чудное явление погибло для публики. Хочу написать для «Современника», да книги нет. Нащокин, говорят, передал для меня экземпляр К. Аксакову, а тот бог знает что сделал с ним. Не можешь ли ты похлопотать об этом деле?¹⁴

В нем бездна самолюбия и эгоизму — и мы много развили в нем то и другое. Сперва держали его в черном теле, а с истории со Щепкиной начали носить его в хлопчках — вот он и зазнался. Когда я не хотел ему дать в руки твоего письма, но прочел, что можно было прочесть, он не скрыл от меня своей досады и, забыв всякую деликатность, которая в делах такого рода должна строго соблюдаться даже между самыми

искренними друзьями, спрашивал меня несколько раз, почему я не показываю твоего письма, а потом несколько дней пролежал, уткнувшись носом в подушку. Вспоминая теперь, как он жаловался мне на твою к нему холодность и нелюбовь и о впечатлении, которое тогда производили на меня эти жалобы и их манера, вижу ясно, что в нем оскорблялась не любовь, а самолюбие. Вспоминая об известной тебе моей истории с ним, ясно сознаю, что я тогда же видел то, чего никто не видел, и ты особенно, и что с другим кем у меня была бы невозможна подобная история, что он слишком бесчеловечно наслаждался плодами своей победы надо мною, что его ненависть после того, как всё объяснилось в его пользу, выходила из самого черствого эгоизма и что не он, а я жестоко оскорблен был. Да, Боткин, признаюсь в слабости, а и теперь иногда тяжело вспомнить об этой истории.¹⁵ Вообще этот человек как-то не вошел в наш круг, а пристал к нему. И он не мог войти: он для этого слишком молод, он еще только теперь страдает теми болезнями, которые мы или давно уже перестрадали, или к которым притерпелись, так что и не чувствуем их, как лошадь хомута и упряжи. Это важное обстоятельство — одновременность развития!

Да, много, много пятен в этой, впрочем, прекрасной натуре. Время образует ее. Есть натуры, трудно и туго развивающиеся — к таким принадлежит и натура нашего юноши. А между тем это натура полная силы, энергии, могучести, натура широкая, если еще пока не глубокая; он никогда не сделается ни притестом, ни резонером, ни сентиментальным шутом. Только он носит в себе страшного врага — самолюбие, которое при его кровяном, животном организме черт знает до чего может довести его. Удивительно верно твое выражение «бравда субъективности»: это конек, на котором наш юноша легко может свернуть себе шею. Самолюбие ставит его в такое положение, что от случая будет зависеть его спасение или гибель, смотря куда он поворотит, пока еще время поворачивать себя в ту или другую сторону.

Я очень рад, что его мнение о К<етче>ре ложно: я ему и так не верил, но сила убеждения, с которою он говорил о нем, невольно смущала меня. Я всегда так думал о К<етче>ре, как ты пишешь о нем, и теперь вполне убедился в пристрастии юноши. Но я с тобою немного разойдусь во взгляде на последнюю историю юноши и на участие, которое принимал в ней *Неленый*.¹⁶ О первом не хочу писать, потому что письму конца не будет, — при свидании и поговорим, и поспорим, и подеремся, пожалуй. Что же <до> участия К<етче>ра, — то мне очень не по сердцу эта роль цензора, этот стоицизм, который, если разложить химически, то и увидишь, что он состоит из неспо-

собности к самым живым и лучшим обаяниям жизни, грубое непонимание того, что человеческое по преимуществу. Сверх того, К<етче>р циник духовный, и я по себе знаю, как глубоко может оскорбить он человека и не в таком щекотливом деле. Ты пишешь, что О<гарев> благороднейший человек, каких случалось тебе только встречать — я согласен с этим, но согласись и ты с тем, что О гарев> — наследка, неспособная удовлетворить потребностям ни самой глубокой и духовной, ни страстной женщины, что он женился, сам не зная как, по своим абстрактным понятиям о любви и браке. За что же женщина должна умереть, всю жизнь принимая ласки мужчины и всю жизнь не зная, что такое ласки мужчины, которых так жаждет ее душа и сердце? Если наш юноша, по твоему мнению, неблагородно поступил с О<гаревым>, — то благородно ли поступил О<гарев> с *нею*? За что же ты некогда ругал С<еливановско>го и принимал участие в *Казначее*?¹⁷ Там было больше вины, ибо характер С<еливановско>го несколько не уменьшает его прав мужа. Я понимаю теперь, как Ж. Запад мог посвятить деятельность целой жизни на войну с браком. Вообще все общественные основания нашего времени требуют строжайшего пересмотра и коренной перестройки, что и будет рано или поздно. Пора освободиться личности человеческой, и без того несчастной, от гнусных оков неразумной действительности — мнения черни и предания варварских веков. Ах, Боткин, чувствую, что при свидании мы подеремся: письма мои не могут дать тебе и слабого намека на то, как ужасно переменялся я.

16 января.

Ты поздравляешь меня, что я «вышел на широкое поле действительности, на животрепещущую почву исторической жизни» и что «и груди и душе моей будет легче». Отчасти это справедливо: искусство задушило было меня, но при этом направлении я мог жить в себе и думал, что для человека только и возможна, что жизнь в себе, а вышел из себя (где было тесненько, но зато и тепло), я вышел только в новый мир страдания, ибо для меня действительная и историческая жизнь не существуют только в прошедшем — я хочу их видеть в настоящем, а этого-то и нет и не может быть, и я — живой мертвец, или человек, умирающий каждую минуту своей жизни. Я теперь совершенно сознал себя, понял свою натуру: то и другое может быть вполне выражено словом Tat,* которое есть моя

* Действие (нем.) — Реф.

стихия. А сознать это значит сознать себя заживо зарытым в гробу, да еще с связанными назади руками. Я не рожден для науки, ни даже для того тихого кабинетного занятия любимыми предметами, которое так сродно твоей натуре. Да, я уже сказал себе: умирай — для тебя ничего нет в жизни, жизнь во всем отказала тебе. Что до женщины — это тоже грустная история. Знаю, как жалок, каким ребенком был я с моими мечтами о сочувствии и счастии любви, с моим детским обожествлением женщины, этого весьма земного существа; но что же получил я взамен утраченных теперь, глухих, но поэтических мечтаний? Новую пустоту в душе, как будто она и без того была не довольно пуста. Женщина потеряла для меня весь интерес, способность любить утрачена, узы брака представляются не другим чем, как *узами*, а одиночество терзает, высасывает кровь капля по капле. Увы!

Забыло сердце нежный трепет
И пламя юности живой!¹⁸

Осталось для меня в женщине только одно — роскошные формы, трепет и мление страсти, словом, осталась для меня только греческая женщина, а минна¹⁹ средних веков скрылась навсегда. Не чувствуя в себе самом способности не только к вечной страсти, но и к продолжительной связи с какою бы то ни было женщиною, я не верю уже той любви, которая еще так недавно была первым догматом моего катехизиса. Авторитеты Пушкина и подобных ему натур еще более утвердили это неверие. Может быть, я еще и могу увлечься женщиною и любить ее, но не могу видеть в ней ничего больше женщины — существа по своей духовной организации слабого, бедного, жалкого. Красота еще владеет (в мечте) моею душою, не что такое красота? — Год, один год жизни *женщины*, от той минуты, как перестала быть *девушкою* и почувствовала, что она мать!.. Поневоле —

Без сожаленья, без участия
Смотреть на землю станешь ты,
Где нет ни истинного счастья,
Ни долговечной красоты;
Где преступленья лишь да казни,
Где страсти жалкой только жить;
Где не умеют без боязни
Ни ненавидеть, ни любить.
Иль ты не знаешь, что такое
Людей *минутная* любовь?
Волненье крови молодое!
Но дни бегут, и стынет кровь!

Кто устоит прогив разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своеправия мечты! ²⁰

Твоя история, Боткин, окончательно добила во мне всякую веру в чувство, может быть, потому, что я слишком верил действительности *вашего* чувства. И не грустно ли думать, что старик-то теперь торжествует? ²¹ И не прав ли он всегда был, почитая долгом отца выдать дочь за мужчину и не почитая для этого нужным ничего, кроме того, что обоим нужно для произведения детей? Вот где жизнь смеется сама над собою и фантазия является злым демоном, коварным обольстителем, жестоким предателем человека! Скажи мне (хотя я этим вопросом и растравлю раны твоего сердца — но ведь и мне не легче делать его, как и тебе отвечать на него): что такое эта девушка, столь прекрасная, грациозная, столь обольстительная для сердца, полного любви, для духа, полного сокровищ духа? Что ж она, если не мечта? Прекрасен блеск семицветной радуги, прекрасно зрелище северного сияния, но ведь они не существуют в действительности, ведь они только обманчивые отражения солнца в атмосфере! Ведь действительность должна же быть мерою цены явлений духовного мира, как золото — вещей материальных? Иначе — что же жизнь, если не сон и не мечта? Ну для чего же существует эта девушка, и не вправе ли иная шлюха взглянуть на нее с чувством своего превосходства потому только, что она народила полдюжину ребят и тем действительно ознаменовала и легитимировала свое существование в действительности? Бедный мой Боткин, из последнего твоего письма (записки) ко мне я вижу, что ты глубоко страдаешь, — ты еще любишь ее и не можешь оторваться от этого плода на берегу Мертвого моря! Да, как бы ни было и чем бы ни кончилось твое чувство, но ты дорого заплатил за него — ты уже излюбил всю любовь свою, и другой для тебя не будет; как мужчина ты принес ей, как Молоху, в жертву всю жизнь, весь эфир жизни, все мечты о счастье, и можешь сказать ей:

Не увлекись молвою шумной:
Убило светлые мечты
Не то, что я любил безумно,
Но что *не так* любила ты!²²

А она? —

Пускай она поплачет:
Ей это ничего не значит!²³

Она сменит одну мечту другою, и может быть, что даже и полюбит кого-нибудь не в шутку. Пока же займет себя новою фантазиею. Чего доброго? (от женщины и это может случиться) может быть, вспомнит и меня, слыша иногда повторяемое мое имя, как слышала его не раз прежде, чем увидела меня, и будет обо мне думать и мечтать — до тех пор, пока и я не начну того же делать; тогда предложит мне свою дружбу и найдет для своих фантазий нового героя; а если я не пойму ее, то предается безнадежной страсти. Это говорит не мое оскорбленное в прошедшем самолюбие, этого может не быть, но это возможно по «холодным наблюдениям ума и горестным замечаниям сердца», как сказал Пушкин.²⁴ И между тем фантазия так тесно слита со всем существом ее, что мечта может давать ей роскошную жизнь и может убивать и убить ее. Кто бы ни был — я или другой и третий, но только не тот, кто бы мог сделать ее счастливою, с кем бы могла она осуществить в действительности всё богатство своей дивной природы. Да, старик прав, как и все люди без внутренней жизни: для дочерей нужна не любовь, не сочувствие, а поп и венец. И я с этим соглашаюсь. Ты скажешь, лучше не жить совсем или жить в мечте, чем в грязной действительности. Оно по чувству-то так, да по опыту-то иначе. Муж В. Дьяков^{ой} — полено, а между тем он сделал ее матерью, и она в сыне своем нашла искупление всей жизни своей, для него хочет жить, и им мила ей жизнь. А будь-ко, вместо Дьякова, человек простой, но умный и благородный, как, например, наш Казначей, женись он на ней не по любви, а просто, как на хорошенькой, уменькой, доброй и образованной девушке, и видя в ней всю жизнь милую и добрую жену, не подозревая в ней феникса своего пола, — она была бы пресчастливейшая женщина и страстно любящая жена и мать.²⁵ Кстати, о страстности: страстность непременно должна составлять основу существа женщины, и духовность должна только очеловечивать страстность — иначе женщина — радуга, заря, серпидина и плод с берегов Мертвого моря. И мне кажется, здесь-то Мишенька²⁶ и напроказил. Черствая и холодная его натура чужда страсти и полна ума — вот это-то ум и принял он за духовность и исказил прекрасное женственное существо, возбуждив в нем отвращение, как к грубой животной чувственности, ко всему живому, трепетному, страстному, без чего женщина есть совершенный призрак, а не живое существо.

Кольцов пишет ко мне, что ты опять прихилился.²⁷ Ах, Боткин, если бы ты знал, как тревожит меня твое состояние и как мало я верю твоему выздоровлению. Будем смотреть на вещи просто и прямо, не обманывая себя, и сознаемся, что проснуться от детства для мужества, от счастья для блаженства, от мечты для действительности — выигрыш, но что про-

спутья от приятного сна для горькой действительности, от полноты счастья, хотя быи детского, для пустоты и безверия в жизнь — обмен грустный, которому нечего радоваться! Пиши мне больше всего о своем состоянии. Поверишь ли: за тебя чувствую к ней какую-то враждебность и ненавижу женщину.

Сейчас прочел в письме твоём о Гёте и Шллере — умнее и истиннее этого ничего не читал — просто не могу начитаться. Как хочешь, а вклею в статью под видом выписки из некоего частного письма.²⁸

О «Записках одного молодого человека»²⁹ не хочу с тобою спорить, ибо не вижу никакой возможности ни согласиться с тобою, ни тебя согласить со мною. Ты просто несправедлив к нему как к лицу и не любишь его как личность. А для меня это — человек, один из тех, каких у нас, к несчастью, мало. Мне кажется, что ты всё еще держишься прежнего взгляда на людей и видишь в них богов или свиней, тогда как обе эти крайности соединены бесконечно длинною цепью звеньев.

Насчет Гейне тоже остаюсь при своем мнении. То, что ты называешь в нем отсутствием всяческих убеждений, в нем есть только отсутствие системы мнений, которой он, как поэт, создать не может и, не будучи в состоянии примирить противоречий, не может и не хочет, по немецкому обычаю, натягиваться на систему. Кто оставил родину и живет в чужой земле по мысли, того нельзя подозревать в отсутствии убеждений. Гейне понимает ничтожность французов в мышлении и искусстве, но он весь отдался идее *достоинства личности*, и неудивительно, что видит во Франции цвет человечества. Он ругает и позорит Германию, но любит ее истиннее и сильнее всевозможных гофратов и мыслителей и уж, конечно, побольше защитников и поборников действительности как она есть, хотя бы в виде колбасы. Гейне — это немецкий француз — именно то, что для Германии теперь всего нужнее.³⁰

Размышляя о моих прошлых грехах, в числе которых ты так ложно полагаешь нападки на плюгавого сквернавца Полевого, — я вспомнил о моей ни на чем не основанной ненависти к С(еливановско)му (протокавалье). Из чего мы все вдруг

взблеснили на него — разве и прежде мы знали его не таким, каким увидели его после? В нем много эгоизму, бездна самолюбия, маловато чести, нисколько благородства, он мелочен, сплетник, не может быть ничьим другом, а тем менее кого-нибудь из нас, но в нем много доброты природной, он умен, даже не без чувства, не без способности увлекаться (хоть на минуту) мыслию, а главное — он удивительно грациозен и достолюбезен во всех своих мерзостях — это <...> с проблемами человечности. Не его вина, если мы хотели видеть в нем для себя то, чем он ни для кого быть не может. Я бы теперь с удовольствием опять сошелся с ним. Я бы уж держал с ним ухо остро и не позволял бы ему забываться со мною — и мы были бы довольны друг другом. Знаешь ли, что я иногда с умилением вспоминаю о его субботах, куда вместе с порядочными людьми напозлали Воскресенские и прочие?³¹ Знаешь ли ты, что от одного такого вечера в Питере я бы целую неделю был счастлив? Уж не говорю о вечерах Ст<анкевича> и твоих и не требую их в Питере. О, боже мой, как хорошо я постиг Питер!

Не поверишь, как изумило меня в твоём письме известие о твоём <...>— теперь вижу, что ты мне истинный друг <...>

Пожалуйста, пришли мне несколько сводок перевода Каткова с оригиналом: я буду писать о «Ромео и Юлии»— так, знаешь, безусловные похвалы приятелю будут похожи на беспристрастие Булгарина к Гречу.³²

Твоя статья получена,³³ но прочту ее в печати, ибо не люблю читать твою руку (кроме писем), да и Краевский не дал бы, ибо она уже в типографии. Насчет «Отечественных записок» Кронебергу и Бакуниным будет сделано. О стихах Пушкина в альманахе нельзя и говорить обыкновенным человеческим языком, а другого у меня нет. Я понял их насквозь. Такого глубокого и грациозно-деликатного чувства нельзя выразить, как перечтя эти же самые стихи. Но каковы его «Три ключа» в 1 № «Отечественных записок»? — Они убили меня, и я твержу беспрестанно— «Он слаще всех жар сердца утолит».³⁴ Каково стихотворение Лермонтова в 1 № «Отечественных записок»?³⁵ Кстати об «Отечественных записках»: 2 № будет несравненно лучше первого. В отделе наук две статьи — Джемсон и из истории меровингов Тьерри — что глава из исторического романа Вальтера Скотта! Из стихов: «Ночь» и другие Кольцова, «Соседи» и «Песня» Красова, новое стихотворе-

ние Лермонтова, присланное с Кавказа — «Пускай она поплачет, ей это ничего не значит», последние стихи этой пьесы насквозь проникнуты леденящим душу неверием в жизнь и во всевозможные отношения, связи и чувства человеческие. Еще стихотворение Пушкина; «Ночь» Кольцова, еще что-то его же; два стихотворения Красова — «Соседи» и «Песня». Повести опять подгадали: будет Гребенки — она, может быть, была бы и порядочна, да цензура наполовину испельмовала, и совершенно произвольно. Беда с повестями, да и только! «Саламандра» Одоевского — <...> мнимофантастическая. Библиография будет по обыкновению недурна. Критика (стихотворения Лермонтова) — вышла у меня статейка живая, одушевленная, если не хитрая. Смесь будет отличная.³⁶

Января 22.

Письмо мое остановилось за статью — нынче только кончил и отнес Кр<аевско>му последние листы — с лишком двадцать листов довольно убористого письма!³⁷ Теперь совершенно убедился я, что нет никакой возможности писать хорошо для журнала. Мне сдается, что моя статья недурна, — но это — *сыромятина*, не выделанная, и повторения, и ненужного, лишнего много, и нет последовательности, соответствия между частями, выдержанности в тоне, многое сказано наудачу, необдуманно, многое выражено слабо, темно и пр. Дай мне написать в год три статьи, дай каждую обработать, переделать — ручаюсь, что будет стоить прочтения, будет стоить даже перевода на иностранный язык, в доказательство, что и на Руси кое-что разумеют и умеют человечески говорить; хорошо какому-нибудь Рётшеру издать в год брошюрку, много две. А тут напишешь 5 полулистов, да и шлешь в типографию, а прочие дуешь, как бог велит, а тут еще Краевский стоит с палкою да погоняет. Впрочем, и то сказать, без этой палки я не написал бы никогда ни строки: вот разгадка, почему твоя натура кажется непроезжающею и ты считаешь себя неспособным к журнальной работе. Остаешься журнальная работа единственным средством к твоему существованию, ты писал бы не меньше меня и не удивился бы своей способности писать. Так созданы люди. Пушкин был великий поэт, но и вполнину не написал бы столько, если бы родился миллионером и не знал, что такое не иметь иногда в кармане гроша.

Я было недавно пришел в отчаяние от своей неспособности писать: вижу — есть мысль, глубоко понимаю, что хочу сказать, а сказать не могу — слова не повинуются, нужны образы, их не нахожу и поневоле резонерствую. Теперь мне это смешно, и я почитаю себя счастливым, что, напором листа 3 печатных,

вижу, что в шпх есть страницы три порядочных. До образов ли тут, как валяешь к сроку? Завтра должен кончить побиешие книжонок и театральных пьес³⁸ — дня два погуляю, а там — огромную статью в «Науки» 3 № «О разделении поэзии на роды и виды» и критику — огромную — о Петре Великом, статья, которая лежит у меня на сердце, давит его и просится вош.³⁹ Между тем (в это же время), надо *пробежать тридцать* томов Голикова да еще сочинения два, три о царствовании Алексия Михайловича, а там десятка полтора рецензий на книжонки, на театральные пьесы — вот тебе и образы, и последовательность, и пр. Нет, вижу, что надо отложить в сторону претензии и самолюбие и быть предовольным, если умный человек, прочтя мою статью, хоть и не найдет в ней больших хитростей, но не почтет потерянным времени, которое она у него отнимет, и скажет, что прочел с удовольствием.

Чем больше читаю отрывки из «Фауста» (Струговщ<икова>, Веневитинова и др.), тем более уверяюсь, что это — величайшее создание мирового гения.⁴⁰ О 2-ой части не говорю: явно, что она вышла из подгнившей рефлексии, полна аллегориями, но и в ней должны быть дивные частности. Пойяля, наконец, что такое *рефлектированная* поэзия — великое дело! Мы не греки:⁴¹ греческий мир существует для нас, как прошедший (хотя и величайший) момент развития человечества, но он не может дать нам полного удовлетворения. Младенчество — прекрасное время, время полноты, но кому 30 лет, паскучит быть с одними детьми, как бы ни любил их.

Странное дело, несколько дней назад вдруг вижу во сне А<лександр> А<лександровну>;⁴² она промелькнула, как видение, но так ясно, на меня повеяло всем прошедшим, всею обаятельностью этого чудного фантастического существа, взор ее был печален, окрест ее всё было полно благоухания и грации. Я опять с ней помирился. И как теперь помню, рассуждаю сам с собою во сне: вот я писал к Боткину, что, пожалуй, от нечего делать зафантазирует и обо мне; нет, чорт возьми, как бы самому опять не задурить. И я живо почувствовал эту опасность. Ах, Боткин, мой Боткин, понимаю тебя и твое состояние... Рассуждать легко, а на твоём месте — да что и говорить...

Чем больше думаю, тем яснее вижу, что пребывание в Питере Каткова дало сильный толчок движению моего сознания. Личность его проскользнула по мне, не оставив следа; но его

взгляды на многое — право, мне кажется, что они мне больше дали, чем ему самому.

Подбивай Кульчицкого писать для «Отечественных записок». Он мог бы — мне кажется — славные очерки правод, рассказы легкие писать — это были бы жемчужины в «Смеси». ⁴³ Отчего бы не попробовать ему и повести — ведь Гребенка пишет же, и иногда очень недурные («Верное лекарство», «Кулик», по моему, славные вещи ⁴⁴), а между тем Гребенка преограниченное существо; тогда как наш Кульчицкий — человек. С его гумором, умом, чувством и хохлацкою наивностью он мог бы выработать себе, что называется родом. Грановский, бедный, очень болен — боюсь я за него — он и так хил, а смерть Ст<анкевича> совсем докончала его. Неверов приехал в Питер, но, узнав о болезни Гр<ановского>, поскакал в Москву — то-то добрая душа. Красов прислал мне два письма — две похоронные песни всех надежд жизни, прощание с способностью любить! ⁴⁵ Увы! Всё это тяжело падает мне на сердце. Прощай. Письмо это надоело мне. Пора кончить. Завтра (23) шлю его в Москву — не знаю, когда-то ты его получишь. Твой

В. Белинский.

Поцелуй милого Казначая; вишь, плут, ускакал в Харьков, а что бы в Питере побывать. ⁴⁶

170. А. Н. СТРУГОВЩИКОВУ

<20—29 января 1841 г. Петербург.>

Может быть, и тут, что нужно мне, но ответ Фауста пропущен на странице, которую я нарочно загнул. Как бы то ни было, только сущность дела в том, что Мефистофель предлагает Фаусту одни наслаждения и радости, думая, что человеку ничего другого желать нельзя, но Фауст отвечает ему, что он хочет и страдания, и горя, и радости, и наслаждений — всего, что сродно человеческой натуре, чем живет всё человечество. ¹ Если припомните, где это, — очень буду рад; а нет — делать нечего. Во всяком случае Ваш всею душою

В. Белинский.

Раза три перечел Вашу тетрадь и еще хотел бы сто раз перечесть. Хор духов и речитатив Мефистофеля (мои дружки) чудо как хороши. Помогите Вам бог поскорее перевести всего «Фауста» — это будет перевод, а не то, чем плюнул на публику Губер. ²

1841, марта 1, СПб.

Сейчас получил письмо твое,¹ любезнейший Василий Петрович, и сейчас же заставил себя отвечать на него. У меня есть гнусная привычка — писать много, подробно, отчетливо и пр. и пр. — этим я лишаю тебя удовольствия часто получать мои письма, а себя — часто беседовать с тобою, ибо писать много — надо время и большие сборы. Отрывок из «Hallische Jahrbücher»* меня очень порадовал и даже как будто воскресил и укрепил на минуту — спасибо тебе за него, сто раз спасибо. Я давно уже подозревал, что философия Гегеля — только момент, хотя и великий, но что абсолютность ее результатов ни к <...> не годится, что лучше умереть, чем помириться с ними. Это я собирался писать к тебе до получения твоего этого письма. Глупцы врут, говоря, что Г<егель> превратил жизнь в мертвые схемы; но это правда, что он из явлений жизни сделал тени, сцепившиеся костяными руками и пляшущие на воздухе, над кладбищем.² Субъект у него не сам себе цель, но средство для мгновенного выражения общего, а это общее является у него в отношении к субъекту Молохом, ибо, пощеголяв в нем (в субъекте), бросает его, как старые штаны. Я имею особенно важные причины злиться на Г<егеля>, ибо чувствую, что был верен ему (в ощущении), мирясь с расейскою действительностию, хваля Загоскина и подобные гнусности и ненавидя Шиллера. В отношении к последнему я был еще последовательнее самого Г<егеля>, хотя и глупее Менцеля. Все толки Г<егеля> о нравственности — вздор сущий, ибо в объективном царстве мысли нет нравственности, как и в объективной религии (как, например, в индийском пантеизме, где Брама и Шива — равно боги, т. е., где добро и зло имеют равную автономию). Ты — я знаю — будешь надо мною смеяться, о лысый! — но смейся как хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судеб всего мира и здоровья китайского императора (т. е. гегелевской *Allgemeinheit***). Мне говорят: развивай все сокровища своего духа для свободного самонаслаждения духом, плачь, дабы утешиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись к совершенству, лезь на верхнюю ступень лестницы развития, — а споткнешься — падай — чорт с тобою — таковский и был сукни сын... Благодарю покорно, Егор Федорыч, — кланяюсь вашему философскому колпаку; но со всем подобающим вашему

* «Галльских ежегодников» (нем.).— *Ред.*** всеобщности (нем.).— *Ред.*

Философскому филистерству уважением честь имею донести вам, что если бы мне и удалось влезть на верхнюю ступень лестницы развития, — я и там попросил бы вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции, Филиппа II и пр. и пр.: иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головою. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови, — костей от костей моих и плоти от плоти моей. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии; может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии. Впрочем, если писать об этом всё, и конца не будет. Выписка из Эхтермейера порадовала меня, как энергическая стукушка по философскому колпаку Г(егеля), как факт, доказывающий, что и немцам предстоит возможность сделаться людьми, человеками и перестать быть немцами. Но собственно для меня тут не всё утешительно. Я из числа людей, которые на всех вещах видят хвост дьявола,³ — и это, кажется, мое последнее мирозерцание, с которым я и умру. Впрочем, я от этого страдаю, но не стыжусь этого. Человек сам по себе ничего не знает — всё дело от очков, которые надевает на него не зависящее от его воли расположение его духа, каприз его природы. Год назад я думал диаметрально противоположно тому, как думаю теперь, — и, право, я не знаю, счастье или несчастье для меня то, что для меня думать и чувствовать, понимать и страдать — одно и то же. Вот где должно бояться фанатизма. Знаешь ли, что я теперешний болезненно ненавижу себя прошедшего, и если бы имел силу и власть, — то горе бы тем, которые теперь — то, чем я был назад тому год. Будешь видеть на всем хвост дьявола, когда видишь себя живого в саване и в гробе, с связанными назади руками. Что мне в том, что я уверен, что разумность восторжествует, что в будущем будет хорошо, если судьба велела мне быть свидетелем торжества случайности, неразумия, животной силы? Что мне в том, что моим или твоим детям будет хорошо, если мне скверно и если не моя вина в том, что мне скверно? Не прикажешь ли уйти в себя? Нет, лучше умереть, лучше быть живым трупом! Выздоровление! Да в чем же оно? Слова! слова! слова!⁴ Ты пишешь ко мне, что излюбил свою любовь и утратил способность любви; Красов пишет о том же;⁵ я в себе чувствую то же; филистеры, люди пошлой непосредственной действительности, смеются над нами, торжествуют свою победу... О, горе, горе, горе!⁶ Но об этом после. Боюсь, что ты меня не утетишь, а я тебя огорчу.

Хорошо прусское правительство, в котором мы мнили видеть идеал разумного правительства! Да что и говорить —

подлецы, тираны человечества! Члеп тройственного союза палачей свободы и разума.⁷ Вот тебе и Гегель! В этом отношении Менцель умнее Г<егеля>, а о Гейне нечего и говорить! (Кстати: Анненков пишет, что 8 томов Гейне в Гамбурге стоят 7 червоищев).⁸ Разумнейшее правительство в С<еверо>-А<мери>канских Шт<атах>, а после них в Англии и Франции.

Что касается до истории К<атко>ва,⁹ то, кажется, вижу теперь причину, почему мы не можем согласиться: я даже и от самого него мало знаю о ней, следовательно, не имею фактов для суждения. Что до Полевого, — согласен с тобою; но откуда же были у него во время оно энергия характера, сила воли? В прошедшем я высоко ценю этого человека. Он сделал великое дело — он лицо историческое.¹⁰ Теперь о моей статье. Ты не понял, что я разумею под «слогом К<атко>ва». Это определенность, состоящая в образности. Я мог бы подкрепить это выпискою, но лень. Что до Кудрявцева, то миллион раз согласен с тобою насчет его слога; но тем не менее, спокойствие не для меня. Мне нужно то, в чем видно состояние духа человека, когда он захлебывается волнами трепетного восторга и заливает ими читателя, не давая ему опомниться. Понимаешь! А этого-то и нет, — и вот почему у меня много реторики (что ты весьма справедливо заметил и что я давно уже и сам сознал). Когда ты наткнешься в моей статье на риторические места, то возьми карандаш и подпиши: здесь бы должен быть пафос, но по бедности в оном автора, о читатель! будь доволен и риторическою водою. Но отсутствие единства и полноты в моих статьях *единственно* оттого, что второй лист их пишется, когда первого уже правится корректура. Рассуди сам, Боткин: какого чорта на это станет? Иногда и письмо, чтоб оно было поскладнее, надо просмотреть, перечеркнуть и переписать. В 3 № «Отечественных записок» ты найдешь мою статью¹¹ — истинное чудовище! пожалуйста, не браши, сам знаю, что дрянь. Чувствую, что я голова не логическая, не систематическая, а взялся за дело, требующее строжайшей последовательности, метода и крепкой мыслительности. К<атко>в оставил мне свои тетрадки¹² — я из них целиком брал места и вставлял в свою статью. О лирической поэзии почти всё его слово в слово. Вышло что-то неуклюжее и пестрое. Впрочем, — что же! Если я не дам теории поэзии, то убью старые, убью наповал наши реторики, пиитики и эстетики, — а это разве шутка? И потому охотно отдаю на поругание честное имя свое. Но вот что досадно до того, что я одну ночь дурно спал: свинья, халуй — семинарист Никитенко (иначе Осленко) вымарал два лучшие места: одно о трагедии; выписываю тебе его. После того, как я вру о «Ромео и Юлии» и вранье свое заключаю словами: «О горе, горе, горе!» — после этого вот бы что читал ты в статье,

если бы не он — часто прокливаемый мною Подленко:¹³ «Нас возмущает преступление Макбета и демонская натура его жены; но если бы спросить первого, как он совершил свой злодейский поступок, он, верно, ответил бы: „И сам не знаю“; а если бы спросить вторую, зачем она так нечеловечески ужасно создана, она, верно, бы отвечала, что знает об этом столько же, сколько и вопрошающие, и что если следовала своей натуре, так это потому, что не имела другой... Вот вопросы, которые решаются только за гробом, вот царство рока, вот сфера трагедии!.. Ричард II возбуждает в нас к себе неприязненное чувство своими поступками, унижительными для короля. Но вот Болингброк похищает у него корону — и недостойный король, пока царствовал, является великим королем, когда лишился царства. Он уходит в сознание величия своего сана, святости своего помазания, законности своих прав, — и мудрые речи, полные высоких мыслей, бурным потоком льются из его уст, а действия обнаруживают великую душу, царственное достоинство. Вы уже не просто уважаете его — вы благововете перед ним; вы уже не просто жалосте о нем — вы сострадаете ему. Ничтожный в счастье, великий в несчастье — он герой в ваших глазах. Но для того, чтобы вызвать наружу все силы своего духа, чтобы стать героем, ему пужно было испить до дна чашу бедствия и погибнуть... Какое противоречие и какой богатый предмет для трагедии, а следовательно, и какой неисчерпаемый источник высокого наслаждения для вас!..»¹⁴

Второе место о «Горе от ума»: я было сказал, что российская действительность гнусна и что комедия Грибоедова была оплеухой по ее роже.

А вот тебе ответ на письмо из Харькова, от 22 января¹⁵ (я человек аккуратный). Видишь ли ты что: я читаю в твоём сердце за 700 и за 1500 верст: я знал, с какими фантазияшками ты поехал в Харьков и с каким носом воротился оттуда — следовательно, в твоём письме по сей части ничего нового для меня нет. Чорт знает, должно быть, или мы испорчены, или поэзия врёт о жизни, клеветлет на действительность... но те! молчание! молчание!..¹⁶ Знаешь ли: ведь я-то ещё смешнее тебя в рассуждении сего города, стоящего при реке Харьковке и Лопати (кои впадают в реку Уды, а сля в Донец — см. «Краткое землеописание Российской империи», стр. 109), ведь я даже и не видел его, а между тем могу сказать, под каким градусом северной широты стоит он и *что в нем особенно примечательного...* но те! молчание! молчание!.. Впрочем, хороши мы оба, и при свидании потешимся друг над другом.¹⁷ А между тем всё сие и оное весьма понятно: страшно скучно жить одному. Чтоб делать что-нибудь и не терзаться, я должен по целым дням сидеть дома; а то, возвращаясь к себе вечером и смотря на темные

окна моей квартиры, я чувствую внутри себя плач и скрежет зубов... Ужасная мерзость жизнь человеческая!

Теперь о *Мисс Джемсон*: вот женщина-то! Только теперь понял, что такое гениальная женщина. О *Юлии* бесподобно, дивно, но *Офелия* всё заслонила и убила собою — лучшего по части критики я не читал ни во сне, ни наяву с тех пор, как родился. Твой *Рётшер* — <...> перед этим очерком *Офелии*, сделанным женскою рукою, — педант, немец, филистер, гофрат. *Джемсон* бросила для меня свет и на характер *Гамлета* и на идею всей этой драмы — величайшего (т. е. субъективнейшего) создания *Шекспира*. Да, книга этой англичанки — жестокая оплеуха критическим колпакам немцев, не исключая и самого *Гёте*, который более всех — *живой* критик. Повторяю: как ни прекрасен очерк характера *Юлии*, но после *Офелии* не могу и помнить его и думать о нем. О боже великий — *Офелия*!.. Эпиграф из *Пушкина* кстати и многозначителен. Но, любезный *Боткин*, переводом я не совсем доволен: он отзывается какою-то тяжеловатостию, как будто делан с немецкого; короче: это превосходнейший перевод <критики> *рётшеровой*, но не *Джемсон* (женщины и англичанки) перевод.¹⁸ Немцы губят тебя, похоже на то, как они губят *Каткова* — я долгом поставляю предупредить тебя об опасности. Мое мнение разделяют все. *Панаев* высказал его еще прежде, чем я прочел статью. И знаешь ли что: не так досадно было бы видеть еще большие и важнейшие недостатки в переводе от слабого знания обоих языков, неумения или неспособности переводить, чем тот, о котором я говорю. Ты онеметчил и *орётшерил* свой слог. Всего больше сбивает тебя с толку *Рётшер*.¹⁹ Ну, чорт возьми! выскажу же наконец, что давно кипит в душе моей. В этом человеке много духа — не спорю; но в нем тоже много и филистерства. Он толкует всё одно и то же. Его уважение к субстанциальным элементам общества (родству и браку) для меня омерзительно. Ну скажи, бога ради, есть ли тут смыслу хоть на грош: вот ты, например, имел от своей гризетки ребенка, о котором забыл и не вспоминал — неужели же ты чудовище, вроде дочерей *Лиры*? А брак, как видим мы его ежедневно? Им держится государство, но в лице толпы презренной, черни подлой. Как же он, сукин сын, хочет, чтоб я, не смеясь и не плюя в его филистерскую рожу, слушал, как он рассыпается в гимнах родству и браку? Всё, что есть, действительно, и всё, что действительно, есть разумно, да не всё то есть, что есть. Мой <...> и моя <...> *суть*, но я о них не говорил не только человечеству, даже расейской публике, хотя с ней только о подобных предметах и можно говорить. Твои и мои родители были обвенчаны в церкви божией, но мы с тобою тем не менее — незаконные дети, тогда как всякий

сын любви есть законное дитя. Одним словом, — к дьяволу все субстанциальные силы, все предания, все чувства и ощущения, да здравствует один разум и отрицание! Французы — молодцы: у них брак — контракт в конторе нотариуса; квакеры — молодцы: у них священнослужение — проповедь в комнате; С(еверо)-А(мериканские) Штаты — идеал государства. Да здравствует разум и отрицание! К дьяволу предание, формы и обряды! Проклятие и гибель думающим иначе! Но об этом после — чувствую, что без драки не обойдется.

О Офелия, о бледная красота севера, голубка, погибшая в вихре грозы!.. Мбчи нет — слезы рвутся из глаз. Стыдно — у меня теперь в комнате сидит *чиновник*, мой родственник — человек предания и субстанциальных стихий общества.²⁰

Ты пишешь, что ты плохой судья моих статей.²¹ Эта фраза облила мое сердце теплым елсем любви и счастья. Да, чорт возьми! строгих судей мы найдем себе, найдем и таких, которые полюбят нас за статьи, но которые любят статьи наши за нас, а нас за статьи наши — таких немного найдем. Пусть любовь к истине борется в нас с любовью к личности один другого, и да не побеждают совершенно ни та, ни другая сторона, и да будет благословен святой и человеческий союз наш! Ты у меня один — верь, что и я у тебя один: это сознание много дает мне — оно не *всё*, но *нечто*, а без него было бы ровное *ничто*. Вот и третья неделя поста прошла — скоро праздник весны и праздник свидания. Расставшись детьми, встретимся если не мужами, то юношами, которые уже не шутя задумались над жизнью. Послушай: если ты умный человек, а не чорт знает что, ты, верно, сидеть в дилижанс на второй день праздника, в понедельник, а в четверг я обниму тебя! Правда? Ведь праздник самое скучное время — и что тебе в нем?

Перевод гётевской пьесы Кронеберга был бы прекрасен, если б не был испорчен словом *любящим*, вместо *любящим*. Как ты не заметил ему этого?²²

Вчера видел всю ночь Станкевича — будто он не умер, а только с ума сошел. Странное дело: вот уже во второй раз вижу этот нелепый сон.

Поклонись за меня Красову в ноги — я изгадил его пьесу «Соседи». Читаю и патыкаюсь на стих: «Ус крутой следя безбожно».²³ — «Что за галиматья, Краевский?» — «Да у вас так». Смотрю — точно. Я часто и в чтении перевираю стихи, напри-

мер, вместо: «И что *прощать* святое право *страданьем* куплено тобой» я часто читаю: «И что *страдать* святое право *прощаньем* куплено тобой».²⁴ В письме же я беспрестанно делаю такие описки. Прости и помилуй, любезнейший Василий Иванович! Чувствую, что виноват, как свинья. В следующей книжке будет сделана поправка в опечатках. Кстати: скажи ему: писать и лень и некогда. В Питере ехать не советую — пропадет. На Од<оевского> надежда плохая, а на Жук<овского> и говорить нечего. В Москве его знают, а в Питере он не найдет и уроков.²⁵

А каковы новые стихи Лермонтова?²⁶ Ведь решительно идет в гору и высоко взойдет, если пуля дикого черкеса не остановит его пути. Милому Кудрявцеву сто поклонов и сто проклятий: грех и стыдно ему забывать приятеля, который каждый день вспоминает о нем с любовью и умилением. Кетчеру жму крепко руку. Сто раз собирался поклониться Клыкову — и всё забывал, увлекаясь огромным и разнообразным содержанием моих нелепых писем, — за то 50 раз ему поклонись и 50 раз присядь.²⁷ Что Лангер и его мальчишки?²⁸

Не подумай, однако ж, чтоб я твой перевод находил дурным — говорю это не из приличия и деликатности, а из опасения, что ты не так поймешь меня. Твой перевод отзывается тяжело-ватостию, потому что ему придан чуждый и не свойственный ему колорит, что тем досаднее, что я знаю, как бы ты мог перевести, и что ты один только и мог перевести как следует. Что твоя статья о Прометее? — она ужасно интересует меня.²⁹ Не скажу, чтобы не хотелось прочесть Рётшера о Лире, но одна мысль о моральном духе, который у этого немца является как-то вместо нравственного, — охлаждает излишний жар хотения. А что я не совсем неправ — доказательство Бауман, поддевший его на критике о «Wahlverwandschaften»* — именно на браке, т. е. на мнимой святости и действительности неразумного и случайного брака.³⁰ Когда люди будут человечны и христианны, когда общество дойдет до идеального развития — браков не будет. Долой с нас страшные узы! Жизни, свободы!

А какой славный малый Сатин! Теплое сердце, благородная душа!³¹

С Кольчугиным я провел — поверишь ли — несколько счастливых и прекрасных минут.³² Я знаю, что он из тех людей,

* «Избирательном средстве» (нем.). — Ред.

у которых истина и поэзия сами по себе, а жизнь сама по себе; знаю, что в нем нет субъективности, елейности, безумия любви и шипучей пены фантазии, — но вместе с тем, какая здоровая натура, какой крепкий практический ум! Я его спросил, знает ли он стихотворения Лермонтова. «Я не читаю нынешних поэтов», — отвечал он. Я прочел ему «Думу» — боюсь взглянуть — думаю — вот скажет: «Да что же тут?»; а он сказал: «Да, это великий поэт». Читаю «Три пальмы» — при описании каравана у него слезы на глазах. Да, живя в Питере, научишься понимать и ценить таких людей.

Клюшников (И. П.) морит меня со смеху своими письмами. Что за дивное искусство не попадать, куда метится! Хвалит мою статью о Лермонтове и судит о ней, как будто совсем не о ней: говорит, что Л<ермонто>в в пьесе «И скучно и грустно» высказал сомнения, которые его, Кл<юшникова>, мучили в 1836 и пр. Мбчи нет, как смешно. В этом человеке нет и тени способности непосредственного понимания предметов. Он всё делает чрез рефлексию (и притом опанистическую). Я над ним тешусь. Не покажет ли он тебе моего письма: право, забавно.³³

Что Грановский? К стати: уведошь меня, что он — сердится на меня за что или просто не любит? Я о нем и расспрашиваю, и пишу, и поклоны посылаю, а от него себе не вижу ни ответа, ни привета. Скажи всю правду — я в обморок не упаду и скоропостижно не <...>, хотя, говорю искренно, — люблю и уважаю этого человека и дорожу его о себе мнением.

Прочел «Эгмонта»: дивное, благородное создание! Есть что-то шиллеровское в его основе.³⁴

Сейчас прочел в 1 № «Пантеона» очень хорошо набросанную биографию Шиллера — мбчи нет — слезы восторга и умиления так и рвутся из глаз — сердце хочет выскочить из груди. — Что если бы ты из книги Гофмейстера составил бы хорошую, подробную биографию Шиллера!³⁵ Великое было бы дело, и ты бы превосходно мог совершить его. А какая была бы польза для общества!

В «Смеси» 3 № «Отечественных записок» напечатаны (почти целиком) письма Анненкова из-за границы — прелесть! Я еще больше полюбил этого человека.³⁶

Ну да прощай — полно болтать — устал. Эх, кабы поскорей поболтать языком, а не пером.

В. Б.

172. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1841, марта 13

Дражайший мой Василий, две писульки твои показали мне, что тебе приходится жутко.¹ Это самое и требовало бы от меня немедленного ответа; но что станешь делать с самим собою — легче справиться с капризною кокеткою, чем с своею непосредственностью, которая пагло смеется над чувством, мыслию и волею. Притом же моя проклятая болтливость на письме: совестно и прияться за письмо в 10 строчек. Ты требуешь — не то, чтобы утешения, а чтобы я объяснил тебе собственное твое положение и указал на дорогу выйти из него, — да, требуешь, хоть, может быть, и бессознательно. Выскажу тебе прямо, как понимаю тебя, ее и всё дело. По моему мнению, вы оба *не* любите друг друга; но в вас лежит (или лежала) сильная возможность полюбить друг друга.² Тебя сгубило то же, что и ее — *фантазм*. В этом отношении вся разница между вами — ты мужчина, а она девушка. Ты имел о любви самые экстатические и мистические понятия. Это лежало в самой твоей натуре, по преимуществу религиозно-созерцательной; Марбах и Беттина³ (от которых ты с ума сходил) развили это направление до чудовищности. И ты не совсем был неправ: такая любовь возможна и действительна (может быть даже — она самый пышный, самый роскошный цвет жизни нашей), но возможна и действительна как момент, как вспышка, как утро, как весна жизни: подобно столетнему алоесу, она распускается огромным, пышным, ароматическим цветом — лучшим цветом природы, но который зато цветет только раз в год, и притом только четыре часа. В этом отношении ты прав был, думая, что любишь, ибо любил действительно, и притом такую любовью, к которой способны только благороднейшие натуры (чисто внутренние, субъективные, созерцательные). Но ты был неправ, думая, что такой любви мало вечности, не только жизни человеческой. Ты забыл, что «мы не греки и не римляне» и что нам «другие сказки надобны», как сказал Карамзин.⁴ У грека жизнь не разделялась на поэзию и прозу, и полнота его жизни не была конкрециею поэзии и прозы — полнота, которой пришествия должно ожидать новейшее человечество и которая будет его тысячелетним царством. Понимаешь ли ты теперь, что твоя *любовь* нисколько не рифмовала с *браком* и вообще с действительностью жизни, состоящею из поэзии и прозы, из которых

каждая имеет на нас равно законные требования? Вот на чем срезался Станкевич,⁵ и вот на чем суждено было срезаться и тебе. Отсюда выходили твои эжажерованные понятия о брачных отношениях, где каждый поцелуй должен был выходить из полноты жизни, а не из рефлексии, и пр. Признаюсь, это мне всегда казалось страшною дичью, и я поэтому казался тебе и М<ишелю> страшною дичью. Но я был прав. Я понимал, что в жизни не раз придется спросить жену, принимала ли она слабительное и хорошо ли ее слабило, и не лучше ли ей, вместо слабительного, поставить клистир. Эта противоположность поэзии и прозы жизни ужасала меня, но я не мог закрыть на нее глаза, не мог не видеть, что она есть. Тебя это часто оскорбляло, и я внутренне презирал себя, видя, что ты, по крайней мере, не уважаешь меня. Что делать — тогда ни один из нас не хотел быть собою, ибо каждый хотел быть абсолютным (т. е. бесцветным и абстрактным) совершенством. Теперь мы умны; но дорого достался нам этот ум. Теперь я знаю, *за что* и *почему* ты дорог и необходим мне, и знаю, *за что* и *почему* я дорог и необходим тебе; ты это тоже знаешь. Ты хочешь видеть во мне меня, а в тебе — тебя. Но это в сторону. Итак, я очень хорошо понимал, что состояние влюбленного, состояние жениха — поэзия, чистая, беспримесная поэзия; а состояние женатого — ложка поэтического меду и бочка прозаического дегтю. Как ты ни будь осторожен, а всё же жена увидит тебя в подштанниках, а ты ее в юбке. Это случается и с любовниками, но там это — поэзия, ибо запрещенный плод. И потому я понимаю, что скорее к любовнице нельзя пробираться ночью с мыслию: «Дай-ко потешу грешную плоть», чем к жене. Всегдашняя возможность и законность наслаждения — ужасная проза, которая вредит духу насчет плоти. Вот почему художники враги брака. Как понизились их отношения к любовницам или поохладела любовь — и конец старой связи и начало новой. В браке не то. Вспомни, что жена кормит грудью детей, что роды (особенно, если она слишком нежного сложения) уменьшают ее красоту, что много-много через пять лет — слава аллаху, если еще часто будет заходить в голову сия *конкретная* мысль: «Дай-ко схожу». Много мог бы я наговорить об этом; но ты сам голова умная, хоть и лысая, и дополнишь всё, чего я недосказал. Да, я это давно понимал; но, тем не менее, ты был прав, оскорбляясь моими понятиями об этом предмете: идеальность жила в твоём духе, кипела в твоей крови, была лучшим сокровищем, драгоценнейшим перлом твоей жизни — горе тому, кто не ценил его или смотрел на него не твоими глазами. Это не то, что М<ишель> Б<акунин>, который решил, что я пошляк, по моему выражению «спать с женою»: то идеальность скопца и онаниста. Да, любовь и брак — это вздор. Я теперь.

понимаю основную мысль «Ромео и Юлиа», т. е. необходимость трагической коллизии и катастрофы. Их любовь была не для земли, не для брака и не для годов, а для неба, для любви, для полного и дивного мгновения. Я понимаю возможность, что они опротивели бы со временем друг другу. Не знаю, что собственно разумел Гегель под «разумным браком», но если я так понимаю его идею, то он — мужик умный.⁶ Любовь для брака дело не только не лишнее, но даже необходимое; но она имеет тут другой характер — тихий, спокойный: удалось — хорошо; не удалось — так и быть, не умирают, не делаются несчастны, но могут поискать себе и других пар. Рассудок тут играет роль не меньшую чувства, если еще не бóльшую: могут входить в соображение и лета одной девицы, и здоровье ее, свои средства денежные, ее приданое и прочее, что не входит в расчеты любви. Жена — не любовница, но друг и спутник нашей жизни, и мы заранее должны приучаться к мысли любить ее и тогда, как она будет пожилою женщиною, и тогда, как она будет старушкою.

Итак, ты утратил не способность любви, а только способность той любви, которая бывает раз в жизни и больше не бывает. Ты теперь не любишь не потому, что не любил, а фантазировал, а потому, что любовь твоя совершила полный цикл свой, потому, что ты уже излюбил всю любовь свою. Готовься к новой любви; ищи новой любви; не можешь — думай о былой, но уже не думай воротить ее.

Что до *нее*, — право, не могу утвердительно решить вопроса о ее чувстве к тебе, ибо не читал ее к тебе писем и вообще многого не знаю о ваших отношениях. Подозреваю, что любовь ее истинна в основании (как потребность), но ложна в проявлении, благодаря направлению, данному нашим доморощенным философам.⁷

Теперь вопрос — что ж тебе делать? Душа моя, такие вопросы не решаются чужою головою. Однако скажу, как я понимаю это дело.

Некогда ты писал мне, что во мне нет *Entsagung*,* и я чуть было не пришел в отчаяние, что у меня нет этой прекрасной вещи — даже думал, где бы прикупить оной или (к чему я более привык) призанять. У меня и теперь нет ни *Entsagung*, ни *Résignation*,** — и я не хочу ни того, ни другого, не видя в них нужды. То и другое есть отрицание себя для общего, а я ненавижу общее, как надувателя и палача бедной человеческой личности. Но я думаю, что человеку надо быть себе на уме насчет жизни и больше всего опасаться придавать ей много

* отречения (нем.). — Ред.

** покорности судьбе (франц.). — Ред

важности. Ты тонешь в реке: удалось выплыть — хорошо, можно позаняться тем или другим, хоть пообедать лишней раз; тонешь — утешай себя мыслию, что всё равно, что равно глупо остаться жить, как и умереть. Чтобы наслаждаться жизнью, надо иметь в запасе несколько холодности и презрения к ней, и спешить на ее призывы и обольщения, как ехажь с визитом к человеку, который очень нужен и важен для тебя со стороны внешних обстоятельств, но с которым у тебя нет ничего общего, которого ты не любишь и не уважаешь за личный характер; и вот ты едешь к нему и думаешь: застану дома — хорошо, мои делишки поправятся; не застану — еще лучше, избавлюсь от неприятности дружески побеседовать с неприятным для меня человеком. Одинаковая причина иногда рождает различные следствия: ежели, с одной стороны, минуты нашего бедного существования так кратки и подвержены надувательству, что нам надо быть осторожными в сколько-нибудь важных случаях, то, с другой стороны, жизнь наша так коротка и дрянна, что если мы будем гадать — чет или нечет, то она пронесется мимо носу, а мы останемся с четом или нечетом. Что до меня, — узнай я, что девушка (сколько-нибудь не совсем пошлая) так любит меня, что не может жить без меня, и будь при этом у меня обеспечение или у ней приданое — чорта ли тут думать — ведь всё равно, что одному зевать, что вдвоем. Но если бы я сам дал ей на себя какие-нибудь права, — то и толковать нечего, особенно, если павлек на нее внимание общества, говор толпы. И потому, мой милый Боткин, смотри, как обстоятельства установятся, и верь, что то и другое всё равно: не женясь, ты ничего не выигрываешь (ибо зевота не есть выигрыш) и ничего не проигрываешь (ибо не сковываешь себя); женясь, ты опять столько же рискуешь проиграть, сколько и выиграть. Через несколько лет не будет ни нас, ни костей наших, — и кому будет не лень и подумать о том, над чем ты теперь так много и крепко думаешь. Она — поверь мне — будет не та: проза жизни, особенно материнские обязанности и чувства сведут ее с облаков на землю, из пери сделают женщиною. Ты будешь славным и почтенным филистером. Ничего не требуя друг от друга, ничего не обещая один другому, вы полюбите друг друга просто и совсем другим образом, а привычка докончит дело. Впрочем, всё это я пишу на тот случай, что если ты увидишь себя в казусе — что надо жениться. Если же выйдет худо для нее так, что не в твоей воле будет сделать хорошо, — то не предавайся отчаянию и знай, что не твоя вина, потому что не твоя воля. Мы все глупы, думая, что мы можем быть правы или виноваты: мы только получаем награды и наказания, а делает за нас судьба. Но главное — не смотри на вещи слишком высоко, не придавай ничему слишком важного значения.

Не должно делать себе из жизни какой-то тяжелой работы, хотя и не всегда должно жить, как живется.

Напрасно, мне кажется, решился ты избегать свидания и объяснения: надо б, напротив, искать того и другого, чтоб высказать всё, *что* есть и *как* есть. Бояться нечего: никто не виноват в том, *что* есть и *как* есть, если это *что* и *как* сделалось не по его воле. А между тем ты поступил бы прямо и честно, не дал бы повода ей к ложным заключениям и мучительным догадкам. Право, мне кажется, надо хоть написать к ней. Понимаю, что ты не любишь ее братьев: я сам не люблю их, исключая Николая, которого очень люблю, и Ильи, которого, по крайней мере, не люблю. Кроме исключенных, все они какие-то скопцы и онанисты от природы, но всё-таки ты напрасно гнушаешься делать их своими орудиями, когда нужно. Нет нужды — по шее; нужны — иди к ним или посылай за ними.

Ну, вот я всё сказал, что хотел сказать. Если еще что недосказано — пиши: я отвечу тотчас же. Чорт возьми твое положение — мне страшно и в фантазии увидеть себя в нем, а между тем я немного и завидую тебе: мне кажется, что всё это лучше, чем мое протяжное и меланхолическое звание. Вообще я теперь больше, чем прежде, подвержен *меллюдии*: так завидую всякому развлечению.

Петровы от тебя в неистовом восторге, из чего я вижу, что они хорошие люди.⁸ Вот тебе и комплимент, за который ты должен прислать мне что-нибудь, хотя картинку (особенно *аретинского* содержания,⁹ к которым у меня развилась такая страсть, что хочу собирать коллекцию: надо же, душа моя, заняться чем-нибудь высоким, если светская чернь нас не понимает¹⁰).

Ты меня заставил рассвирепеть фразою в письме из Харькова, что мы «скоро увидимся». Но случилось мне вскоре идти по дворцовой площади, и — о боги! — строят балаганы — значит, близко масленица и Боткин прав. Дни два назад опять иду, и — о Зевс многосоветный! — опять строят балаганы, стало быть, Пасха на дворе, а ты ведь на 2-й или непременно на 3-й день праздника садись в почтовую карету (билет возьми сейчас же, если еще не взял). Мысль о балаганах и паяцах слилась во мне конкретно с тобою (это острога, за которую следует мне с тебя получить еще скандалёзную картинку). Приехав в Питер (если не в четверг, то в пятницу на празднике), тотчас с чемоданом из почтовой конторы ко мне: я буду ждать. Кланяйся всем напим — Красову, Кетчеру, Лангеру, Грановскому (сукину сыну, подлецу), Казначею,¹¹ Сатину, Огареву, ну, и еще кто помнит меня.

Нового, слава богу, нет ничего, а старое всё хорошо, да

мочи нет. Лермонтов еще в Питере. Если будет напечатана его «Родина», — то, аллах-керим,* — что за вещь — пушкинская, т. е. одна из лучших пушкинских.¹² Панаев и Языков тебе кланяются. Языков всё бегаёт от самого себя, но как у него ноги кривы и плохи, и не может убежать. Прощай. Твой

В. Б.

173. Н. Х. КЕТЧЕРУ

⟨Конец марта — начало апреля? 1841 г. Петербург.⟩

Здравствуй, любезный Кетчер. Благодарю тебя, душа моя, за моего полоумного брата.¹ Дуралей не то худо сделал, что схватил шанкер (с одной стороны это даже похвально), а то, что скрывал его, и, если бы ты насильно не спас его, он погиб бы. Бога ради, не давай ему денег, не слушай о его нуждах, а более всего, не верь ему в том, что он будет говорить тебе худого об Д. П. Иванове. Сел мне брат на шею, у меня большая охота любить его, да он владеет каким-то особенным искусством отворачивать меня от себя. Не оставь его, Кетчерушко, своими благими советами. Ты так добр, что во всяком готов принять участие, — вот почему я, не женируясь, обращаюсь к тебе.

Благодаря тебе я прочел 5 драм Шекспира (1-ю часть «Генриха IV» по-французски). Перевод твой хорош; только в «Генрихе V», бога ради, измени сцену разговора Генриха с Катериною: она говорит у тебя, как немец пивовар, без всякой грации. Заставь ее ошибаться во фразах, а не ломать слова; возьми в образец язык Июньской Росы в «Патфайндере». Потом, замени непристойное слово «Катя» благородным словом «Кетти». Да замени везде нелепое слово «королевственный» словом «царственный».² Вот тебе мое искреннее мнение о твоём переводе и дружеский совет, из которого сделай, что заблагорассудишь, хоть подотри им <...>.

Нелепый, обнимаю тебя — мне весело сказать тебе это. Я снова вышел на большую дорогу (только не для грабежа), и с нее уже не собьет меня и сам «Москвитянин». Теперь я понял и тебя. Мне смешно вспомнить о той «королевственности», с какою я некогда смотрел с высоты моего шутовского величия на твои самые человеческие убеждения.³ Ну, да к чорту это — кто старое помянет, тому глаз вон. Одно еще я должен сказать: ты победил меня! Довольно этого — остальное ты сам поймешь, и мне не нужно уверять тебя в моей любви, дружбе и уважении.

Мужайся, о Нелепый, и трудись. Твои скромные и благо-

* да благословит тебя бог (араб.).— Ред.

родные труды дадут свой плод. Только вот что: увидим ли мы твоего Шекспира в печати?

Прощай, друг Кетчер. Верно, ты в Москве увидишь Кони — он едва держится на ногах от тяжести лавров, которыми увенчали его «Пантеон», «Литературная газета» (удивительно изящное издание) и особенно «Пчела» статьею Булгарина.⁴ Прощай. Твой

В. Белинский.

Князь Козловский⁵ бьет тебе челом.

174. Н. А. БАКУНИНУ

<6—8 апреля 1841 г. Петербург.>

СПб. 1841, апреля 6 дня.

Любезнейший мой Николай Александрович, вероятно, это письмо удивит Вас, как выходец с того света. Вероятно, Вы давно уже думаете, что я и забыл Вас и разлюбил, потому что не отвечаю на Ваше письмо, посланное Вами назад тому ровно год.¹ Вы очень несправедливы ко мне, если можете так думать, но всё-таки я сам виноват в этой несправедливости. Что делать — лень, апатия, омертвление души и тела, хлопоты, беспокойства, нужды, нездоровье и тому подобные неприятности жизни, которые судьба так щедро отпустила на мою долю, — вот причина моего молчания. Сто, тысячу раз собирался писать не к одному Вам, но ко многим, письма которых лежат у меня по полугоду и году — и всё не могу, а между тем они меня мучат, не дают покою. Поверьте, милый мой *глудырь*,² я полюбил Вас не от нечего делать, не от недостатка в знакомых и приятелях и не на час: где бы Вы ни были, сколько бы времени мы не видались, по всегда и везде я встречу с Вами, как с милым сердцу моему человеком, и братски обнимусь. Всё, что я говорил Вам о Вас же самих, — всё это я и теперь говорю. Поверьте мне, если моя натура и эксцентрическая и я тотчас разольюсь всякою мыслию и всяким чувством, которые западут в меня, из этого отнюдь не следует, чтоб я был опрометчив в моих привязанностях и мог обманываться в людях и переменять о них мнение. Нет, полюбив человека раз, я уже не могу от него оторваться. Лучшим доказательством этому может служить Ваш брат М<ишель>. Я наконец оторвался от него навсегда и больше не прилеплюсь к нему, но чего мне это стоило: почти трехлетней лихорадочной борьбы с самим собою. Нисколько не обижая его, скажу, что он сам виноват, если мы теперь только знакомы, и то по воспоминанию о прошедшем, и если встретимся на дороге жизни, то только по старой привычке будем говорить друг другу *ты*. Кстати: я полу-

чил от него письмо из Берлина (от 4 сентября прошлого года), письмо, полное искренности и добросовестности. Он обвиняет себя в прошедшем, говорит, что дорого дал бы, чтоб переделать его, что я был прав, называя его сухим диалектиком, ибо он в самом деле резонерствовал там, где надо было чувствовать, и пр.³ Но знаете ли что, любезнейший Николай Александрович, — это-то письмо, именно потому, что оно искренно и добросовестно, и показало мне, что мы разошлись навсегда и что прошедшего уже не воротить. Оставляя в стороне многое из того, что он делал со мною и с другими и о чем мне еще не так давно (Вы это помните) было тяжело и возмутительно вспомнить, а теперь скучно и неприятно думать, оставляя всё это в стороне, я увидел из самого этого письма, что в наших натурах лежит страшное противоречие, что исходные пункты нашей жизни враждебны. Я ему не отвечал и не буду отвечать. Да и для чего? Разве не написал я ему кипы писем (Вы читали их), писанных кровью моею, — и что ж? — и ни на одно из них не получил прямого и честного ответа, ответа на вопрос. Под прямым и честным ответом на вопрос я разумею: если виноват — виноват (и я был готов прощать и любить), а если прав — то вот-де почему. Во всякого рода сношениях, близких и далеких, я почитаю первейшим условием не умствование и рассуждение, даже не ум, не чувство, не гений, а прямоту и честность. Я тому только могу быть и другом, и приятелем, и хорошим знакомым, о ком могу хорошо думать, не как об уме, таланте и даже гении, а как о *характере*, за кого могу вступить и назвать порицателя клеветником. После этого вы легко согласитесь со мною, что я мог бы сойтись снова с М<ишелем> не иначе, как потребовав от него строгого отчета во многом, в чем (я уверен) он не захочет дать мне отчета. А то стоит ли портить желчь (и без того испорченную), кипятить кровь (и без того перекипевшую — и притом напрасно), тратить время и дорого платить за почту? Притом же для меня много в поступках его (не с одним мною, а еще с *одним* и еще со многими) так всё ясно, что, право, у меня не станет ни интереса, ни силы, ни энергии, ни охоты затевать новую пустую историю, — тем более, что я хорошо чувствую и ясно сознаю, что могу жить, не желая с ним ни сойтись, ни встретиться, хотя я встречу, если случится, без ненависти, если и без любви. Поэтому думаю, что и он так же в отношении ко мне. Извините меня за эти строки, которые, может быть, оскорбят Вас. Я без того в этом отношении много виноват перед Вами, потому что говорил слишком определенно и резко, — тогда как надо было дать Вам самому понять дело так, как бы Вы его поняли. Но это происходило оттого, что я многое брал слишком к сердцу. Что делать? — у меня такая несчастная натура: истерзанный, убитый, исколесованный

собственными горестями, я еще могу терзаться и мучиться чужими. Примите эти строки даже не за желание завести с Вами переписку об *этом* предмете (видит бог — я далек от подобного желания); нет, мне просто хотелось дать Вам знать, в каких я нахожусь отношениях к М<ишелю>, и тем избавить Вас от промаха писать ко мне о том, о чем у нас не может быть переписки, и насчет чего мы должны оставаться каждый при своем мнении. И Вы не бойтесь встретить в моих письмах хотя одно слово об этом предмете.

Увы! как много утекло воды с тех пор, как мы расстались с Вами! Вы не узнали бы меня, встретившись со мною. Лицо мое то же: апатическое всего чаще, бешеное и страстное иногда и одушевленное тихою грустию очень редко; всё так же резки его черты и так же некрасиво оно; но я, мой образ мыслей — нет,шой и в сорок лет не может измениться до такой степени! Как бы горячо прижал я к сердцу благородного П. Ф. З'айкина⁴, как поняли бы мы теперь друг друга! Я мучил его моими дикими убеждениями, занятыми по слухам у гегелизма, в котором и не перевернутом так много кастратского, т. е. *созерцательного* или *философского*, противоположного и враждебного живой действительности. Я имел перед ним много шансов в развитии и, подавляя его диалектикою и своим авторитетом, оскорбил в нем святейшие человеческие верования. Да, теперь уже не Гегель, не философские колпаки — мои герои; сам Гёте велик как художник, но отвратителен как личность; теперь снова возникли передо мною во всем блеске лучезарного величия колоссальные образы Фихте и Шиллера, этих пророков человечности (гуманности), этих провозвестников царства божия на земле, этих жрецов вечной любви и вечной правды не в одном книжном сознании и браминской созерцательности, а в живом и разумном *Tat*.^{*} Художественная точка зрения довела было меня до последней крайности нелепости, и я не шутя было убедился, что французская литература вздор, а о самих французах стал думать точь-в-точь, как думают о них наши богомольные старухи. Но это только одна сторона моего изменения, и сторона хорошая; есть другая сторона — грустная. Я уж не та экстагическая прекрасная душа, которая, обливаясь кровавыми слезами, избиваемая внутренними и внешними бедами, оскорбленная в самых законных и святых стремлениях и желаниях, клялась и уверяла всех и каждого, а вместе и себя, что жизнь — блаженство и что лучше жизни нет ничего на свете. Опыт сорвал покров с жизни — и я увидел румяна на очаровательных щеках этого призрака, увидел, что об руку с ним идет смерть и тление — противоречие. Она хо-

* действи (нем.).— Ред.

роша для тех, для кого хороша, и только на то время, когда хороша. Для меня она никогда не была добра, и я бескорыстно курил ей фимиам, как Дон Кихот своей Дульцинее. Теперь полно быть дюпом.⁵ Было время, когда я не мог без бешенства слышать выражения сомнения о прочности и вечности любви на земле; мне было досадно встречать у Пушкина веселые похвалы непостоянству или горькие жалобы на слабость человеческого сердца; а теперь эти стихи Лермонтова — для меня то же, что для набожного мусульманина стихи из алкорана:

Кто устоит против разлуки,
Соблазна новой красоты,
Против усталости и скуки
И своеправия мечты?⁶

Томясь попрежнему танталовскою жаждою любви, я в то же время никак не умею понять для себя возможности любить больше года женщину, как бы ни была она прекрасна и как бы ни любила меня. Да, мы все герои в известные лета жизни, когда бываем *глуждырями*, но, сделавшись людьми, сознаем свое ничтожество. Было время, когда женщина была для меня божеством, и мне как-то странно было думать, что она может снизойти до любви к мужчине, хотя бы он был гений; а теперь — это уже не божество, а просто — женщина, ни больше ни меньше, существо, на которое я не могу не смотреть с некоторого рода сознанием своего превосходства, которое основывается не на моей личности, а только на моем звании мужчины. Хороши и мы, но *они* еще лучше. Лучшие из них, без сомнения, те, которые способны осчастливить мужчину, слиться с ним и уничтожиться в нем без рефлексии, без раздела, со всею полнотою безумия, которое одно есть истинная жизнь. Но много ли таких? Они редки, как гении между мужчинами, и они-то всего чаще бывают непризнаны, и их-то всего менее способны мы понимать и ценить. Мотыльки, мы вьемся всё около зажженных свеч, обольщаемые коварным блеском огня. А другие, т. е. большая часть самых лучших-то? Эге! — скажу я, как хохол.⁷ Они тоже хорошо понимают нас: одной нужна перетянутая талия и черненькие усики, другой — ум, талант, гений, героизм, и почти ни одной — простое любящее сердце, здоровый, но не блестящий ум, благородство — словом, мужчина, которому доверчиво и беспечно могла бы она отдаться, на которого спокойно и уверенно могла бы опереться. Поэтому часто они не любят тех, которые их любят, и отдаются тем, которые их обманывают. Пушкин глубоко прав:

Чем меньше женщину мы любим,
Тем больше нравимся мы ей,

И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.⁸

К редкой из них (даже любящей или любившей, или думающей, что она любит или любила) нельзя применить этих стихов Лермонтова:

Пускай она поплачет:
Ей ничего не значит.⁹

Сколько в жизни встречается прекраснейших женственных личностей в обладании у скотов,— и спросите каждую из них — редкая не сознается в том, что ее любил достойный человек, которого она отвергла. Да, как попристальнее и поглубже всмотришься в жизнь, то поймешь и монашество, и схиму, и желание смерти. Я часто желаю смерти, и мысль о ней уж более умиряет и грустно утешает меня, чем пугает и мучит. Всё ложь и обман, всё—кроме наслаждения,— и кто умен, будучи молод и крепок, тот возьмет полную дань с жизни, и в лета разочарования у него будет богатый запас воспоминаний. Есть наслаждение мчаться верхом на лошади, скакать на лихой тройке в саях, есть наслаждение сорить деньги, хорошо пообедать, временем вышить порядочно; но выше всего — женщина. <...> Я говорю по опыту: малого я не хотел, и лишился всего, и нечем помянуть юность. Назад и вперед — пустыня, в душе — холод, в сердце — перегорелые уголья, которые и в самовар не годятся.

1

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,

2

Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.¹⁰

Да, ни одного образа, который бы я мог назвать *своим* и *милым*; я один в мире, мое сердце ни для кого не бьется, потому что для него не билось ни одно сердце.

Всем постылый, чужой,
Никого не любя,
В мире странствую я,
Как вампир гробовой.¹¹

Я очерствел, огрубел, чувствую на себе ледяную кору; я знаю, что живому человеку тяжело пробыть со мною вместе несколько часов сряду. Внутри всё оскорблено и ожесточено; в воспоминании — одни промахи, глупости, унижение, поруганное самолюбие, бесплодные порывы, безумные желания. Я никого, впрочем, не виню в этом, кроме себя самого и еще судьбы. Такова участь всех людей с напряженной фантазией, которые не довольствуются землею и рвутся в облака. Мой пример должен быть для Вас поучителен. Спешите жить, пока живется. Любите искусство, читайте книги, но для жизни (т. е. для женщины) бросайте и то и другое к чорту.

Недавно был у меня Боткин. Непредвиденное обстоятельство (судебно-коммерческое дело) потребовало его личного присутствия в Питере в то время, как его мать и сестра были опасно больны. Приехал он ко мне в понедельник на шестой неделе поста и сказал, что если письма из Москвы будут хороши, то проживет до половины апреля. Дело его кончилось, письма всё становились благоприятнее; но вдруг — мать умерла,¹² и в среду на Страстной неделе он поскакал в Москву, — и я как будто и не виделся с ним. Теперь его положение переменялось — на его руках огромное семейство, состоящее из детей мал мала меньше — надо образовать. Оставалась у него одна отрадная мечта — уехать за границу, и теперь он прикован. Так уничтожаются все мечты жизни, самые отрадные. Я так и не мечтаю о путешествии, хоть оно одно стоит мечтаний: моя участь ничего не надеяться, ничем не насладиться.

Кланяйтесь от меня Вашим сестрам. Память о них для меня всегда свята: с воспоминанием о них связано мое болезненное, страдательное развитие. Всё худое (в котором я один виноват) как-то убродилось, хотя иногда змейка воспоминания и больно еще жалит истерзанное сердце; всё хорошее (а и его было много) благодатною росой освежает мертвую душу. Это бывает редко, но зато минуты эти для меня отрадны, ибо я могу тогда страдать. Да, несмотря на всё, память о *них* переживет во мне всё и умрет последняя. И та жива в моей душе, которой уже нет,¹³ и та, которая далеко теперь от вас.¹⁴ Поручаю Вам просить мне прощение (с приличным коленопреклонением) у Т<атьяны> А<лександровны>, перед которою я был пошло виноват за мои о ней дикие понятия в известное Вам время.¹⁵ Правда, мое враждебное к ней чувство возникло не в сердце, но зашло в него из фантастического горшка Гофманова, но я тем не менее виноват: я должен бы знать, что какой бы ни был горшок, хотя бы фантастический и золотой,¹⁶ но из горшка доброго ничего нельзя взять, потому что все горшки наполняются дрянью. Я знаю, что Т<атьяна> А<лександровна> неспособна питать неудовольствия на человека, грубо не по-

нявшего ее; но мне больно думать, что она и теперь может считать меня в числе людей, которые без зазрения совести могут упорствовать в нелепой ошибке насчет ее благородного, истинно женственного и любящего сердца. Я знаю, что теперь таких людей уж больше нет, а те, которые были, горько раскаиваются в своем опрометчивом и неосновательном убеждении. Что делать?— люди всегда люди, и им всего труднее понимать вещи просто. Насчет этого предмета ожидаю от Вас скорого и подробного отчета. Хотя и не сомневаюсь в прощении, но всё-таки не могу не освободиться от какого-то беспокойства, потому что чувствую себя недостойным прощения. Какое здоровье А<лександр> А<лександровны>? Умеряйте ее любовь к дрянной тверской природе — о прямухинской не смею и говорить, ибо вполне убежден, что итальянская перед нею — ничто. Впрочем, осмеливаюсь думать, что как ни благодатна прямухинская природа, но с нею надо обращаться осторожнее, чем с итальянскою, хоть она и лучше последней, т. е. не мешает среди лета одеваться потеплее для вечерних прогулок. Впрочем, это больше любезность с моей стороны, чем совет.

Мое почтение Александру Михайловичу и Варваре Александровне.¹⁷

Мой адрес: На Васильевском острове, во 2 линии, против Академии художеств, в доме *Бема*, квартира № 7.

Бога ради, пишите ко мне, а я, ей-богу, буду аккуратно отвечать. Прошу, милый офицер и молодой глудырь, писать поразборчивее и (если можете) с знаками прещинаания, и с должным вниманием к роковым буквам *ъ* и *е*. Ваш всею душою и всем сердцем — Orlando furioso, * <иначе> **

В. Белинский.

Апреля 8.

Языков и Панаев Вам кланяются. Они, особенно последний, часто и с любовью вспоминают о Вас.

Жалко, что остается так много белой бумаги. Видите, какие огромные письма пишу, и судите, чего мне стоит написать письмо. Привычка вторая натура — вся жизнь моя в письмах. Недавно заглянул в кипу моих писем, возвращенных мне М<пшелем>, и был поражен: боже мой, сколько жизни изжито, и всё по пустякам! И какую глупую роль играл я, как много

* неистовый Орланд (*итал.*).— *Ред.*

** В автографе слово иначе вырвано; восстанавливается по копии Пыпина.

было во мне любви и как мало благородной гордости! О молодой глупдырь, — не попархивай: смотрите на нас старичков и поучайтесь.

Ах, как бы мне хотелось увидеться с Вами в Питере, поспорить, побраниться, как живо я вижу теперь перед собою Вашу отвратительную физиономию, в которой, впрочем, мне кое-что и нравится, особенно улыбка. Как Ваша служба? Хороша ли наша действительная жизнь? — Ну, смотрите же: обо всем, обо всем, и как можно больше, а то рассержусь на Вас. Если не будете писать ко мне, я подумаю, что Вы разлюбили меня, а мне больно это думать, потому что я Вас люблю (и чорт знает, за что — ну, что в Вас? — и важности никакой — так — офицерик, дрянь, серная спичка, сосулька¹⁸), как немногих любил. Ну да отвяжитесь от меня — что пристали? Прощайте. Э, да! и забыл было: прошу поподробнее известить меня о Ваших подвигах на поприще службы под знаменем Амура, как выражались любезники прошлого века: это для меня всего интереснее:

Я молод юностью чужой.¹⁹

175. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1841, апреля 9.

Вот и письмо от тебя, любезный Боткин, — ты в Москве, я в Питере, и словно мы с тобою во сне увиделись.¹ Увы! Жизнь бежит от меня — в сердце пусто, в душе холодно, а извне словно кора ледяная лежит и не пропускает сквозь себя ни свету, ни теплоты солнечной. Ну — да чорт возьми всё это — надоело и говорить всё одно и то же. Твой приезд был для меня таким толчком, что и теперь не могу опомниться. Мне легко стало смотреть на Питер — даже улицы начинают нравиться. Странная натура: я до такой степени во власти моих религиозных убеждений и заблуждений, что смотрю на вещи сквозь цвет их стекла и под их влиянием зимний мороз готов принять за летний жар, и наоборот. Ну, да об этом после. Никак не думал я, чтобы письмо мое могло тебе понравиться;² написав его, я был ужасно им доволен, а как ты приехал в Питер, оно мне казалось так глупо, что мне было стыдно и вспомнить о нем. Написал письмо и даже послал (8 апреля) к Н<иколаю> Б<акунину> в Тверь. Также к Каткову в Б<ерлин>, но еще не послал.³ Ну, брат, какую же ты комиссию навязал мне — я так и растерялся идти в аптеку⁴ — да я боюсь людей — и то, что вспомнил о Кирюше — и вот посылаю. Завтра отправлю Кошихина.⁵

С чего ты взял, что не простился со мною?⁶ Я очень хорошо помню, что мы поцеловались с тобою счетом два, если не три раза. Ты был в себе, и как во сне видел всё вне тебя. Летом постараюсь побывать в Москве — употреблю все силы. Знаешь ли, кто теперь гостит у меня? Князь Козловский. Он всё тот же — не изменился нисколько.⁷ Только я теперь люблю его еще больше, потому что теперь понимаю его лучше. Благородный и простой человек! О тебе он говорит с религиозным чувством.

Очень тронули меня твои простые, прямо из сердца вылившиеся строки о приезде домой, об отце, детях, но говорить об этом ничего не могу.⁸ Укрепи тебя Христос на терпение и на святой подвиг. Тяжело и грустно, но и тут есть своя хорошая сторона: служба опорой дряхлому и слабому старику-отцу и малым детям, ты будешь иметь право иной раз с уважением взглянуть и на себя. Не всё же жить в себе — не мешает и выйти вонне — лишь бы стоило выходить, а тебе теперь и есть куда и есть зачем выходить из себя. Прощай, друг. Жму твою руку и обнимаю тебя. Все наши тобою интересуются — разумеется, всех больше Гефест хромоногий.⁹ Хорош Шевырев: Лермонтов подражает Бенедиктову и пр.¹⁰ Святители! Из моей несчастной статьи вырезан весь смысл, ибо выкинуто ровно половина.¹¹ Прощай.

Твой В. Б.

Кланяйся всем, кто помнит меня.

176. А. А. КРАЕВСКОМУ

<9—10 апреля 1841 г. Петербург.>

Уведомлять мне Вас о моем решении нечего — оно принято, и я на днях же принимаюсь кое за какие работы, хотя и не знаю, будет ли от этого какой толк. Делать (т. е. писать статьи) я решительно не могу потому, что для этого нужно сколько-нибудь спокойствия (внешнего), чтобы внутри не скребли кошки. С библиографиею возиться — пожалуй. Только в таком случае (т. е. если денег (1727 р.) Вы решительно достать скоро будете не в состоянии) нам будет нужно перерядиться платою, ибо как я меньше буду работать, то мне меньше надо будет и получать от Вас. И потому прошу Вас об одном: как скоро Ваши надежды на заем рушатся, тотчас же уведомить. Что до Ваших 162 р., — то, конечно, без них мне нельзя будет переехать на новую квартиру. От старой я болен — давлюсь кашлем, пихожу мокротою, ибо и с чаем и со псами ем алебастровую пыль.¹ Какое действие произвела на меня очевидность не полу-

читать нужной мне суммы, о которой я Вам писал, — не говорю: это спокойствие отчаяния. Я Вас не вижу, но всё-таки думаю, что если б Вы со мною с первым разделались еще в январе — это было бы с Вашей стороны великодушно, а для меня хорошо. В числе кредиторов, которые, может быть, и действительно были важнее меня, вероятно, были люди, для которых вексель на три тысячи имел бы какое-нибудь значение, тогда как для меня это бумага, годная только для известного употребления, почему у нас с Вами о ней не может быть и речи. Впрочем, это только мои догадки, которые, по моему незнанию дел этого рода, может быть, и нелепы. Как бы то ни было, но я теперь в таком положении, о котором лучше думать с самим собою, а другим нечего и говорить.

Посылаю Вам рецензию на «Душеньку».² Всё остальное нынче пришлю.

В. Б.

177. А. А. КРАЕВСКОМУ

<9—10 апреля 1841 г. Петербург.>

Вы не совсем понимаете меня, Краевский. Я отказываюсь от критики потому, что мне по причине безденежья некогда ею заниматься; следовательно, само собою разумеется, что я не могу писать обещанных статей, ибо что же бы другое, как не их, и стал бы я писать это лето, если б мог писать? Что до 3-ей статьи о Петре Великом,¹ то хоть мне по состоянию моего духа и совсем не до нее, но, разумеется, что я ее буду писать, и потому месяц май, во всяком случае, будет у нас на прежних основаниях. Книги я буду разбирать *все* и *всякие*, какие приплете, как было прежде; театр тоже останется попрежнему. А критики я не могу писать потому, что хочу (в надежде денег) составить историю Робинзона Крузо, переделать в книгу статью мою о детских книгах и т. п.² Бога ради, поймите проще и правдивее мое решение: Ваше несостояние заплатить мне известную сумму следующих мне по 1-е апреля денег и цензурный гнет делают для меня критики ярмом невыносимым, а необходимость заняться другим для денег лишает меня и времени заниматься ими. Вот и всё. Неудовольствия у меня против Вас нет, и я увижусь с Вами, как и всегда. Но говорить с Вами об этом предмете не почитаю за нужное, 1-е, потому, что разговоры о деньгах для меня — пытка, 2-е, что больше и яснее того, что написал Вам, ничего и никак не могу. Если Вы в скорейшем времени достанете мне 1570 рублей, — я снова и еще с большим против прежнего усердием запрыгусь*

* Первоначально: примусь

работать для «Отечественных записок» и, кроме того, что обязан буду делать по условию, буду давать и ученые статьи (которых несколько вертится у меня в голове), попрежнему не требуя и даже не *желая* за них особенной платы. Если нет — я по изложенным причинам не могу писать критик, ни новых, ни обещанных. Дело мое просто и чисто: если бы я сердился на Вас и хотел с Вами разойтись,— поверьте, я не погнался бы за библиографиею и театральною хроникою, а безумия и гордости умереть с голоду у меня всегда станет. Понимаете ли Вы теперь, о чем я говорю? Повторяю — дело просто. Знаю, что я Вас мучу, поставляя в необходимость доставать деньги с трудом и хлопотами, и поверьте, мне совсем не сладко знать это; но я освирепел от нужды, как зверь: если бы какой покойник должен мне был хоть 10 рублей, мне хотелось бы вырыть его ногтями из могилы и, за деньги, оглодать его кости. Бога ради, похлопочите — я сочту это не за долг Ваш, а за услугу, и буду уметь быть за нее благодарным. До самой подписки Вы не услышите от меня ни полслова даже о рубле серебром. Но теперь мне не до самопожертвования.

Посылаю последние рецензии и книги.³

В. Б.

178 Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1841, апреля 11.

Ты давно уже не пишешь ко мне, а я к тебе давно уже не пишу,¹ любезный мой Дмитрий, и причина нашего обоюдного молчания, к сожалению, очень понятна мне: ты не хочешь меня огорчать повторением одного и того же, а я не имел до сей минуты никаких средств переменить это *одно и то же*.² Но, слава богу, теперь могу несколько поправить мои московские дела. Нынче или завтра ты получишь от Краевского записку на получение *семисот* рублей ассигнациями. Из них отдай *двести* рублей асс. Ивану Петровичу Ключникову и в получении возьми от него расписку и пришли ее ко мне; да спроси его, сколько я останусь ему еще должен. Далее: отдай весь долг Дарье Титовне:³ чай, который она получила от Боткина, пойдут за проценты, да, сверх того, купи ей (тоже в подарок за невольное терпение) фунт 8-мирублевого чаю и головку сахарку. Все остальные деньги пойдут на Никанора по твоему усмотрению. Ты даже и не говори ему, сколько прислал я для него денег, и вообще каждую копейку должен получать он из твоих рук, а всего лучше, если ты сам всё будешь покупать для него. Скажи ему, что я прислал не больше *восьмидесяти*

рублей и что надо изворачиваться как можно искуснее. Впрочем, оно и так придется поступать поискуснее и поэкономнее, ибо и 250 р. не чорт знает какая сумма. Главное дело устрой ему белье: купи дюжины две носков, чтоб он имел возможность переменять их решительно каждый день. Рубах (только не шей холстинковых и ситцевых — гадки, не прочны, и холстинные прочнее и лучше) и подштанников столько, чтоб он мог переменять непременно два раза в неделю. Также и носовых платков столько, чтоб он не имел нужды носить в руке или в кармане грязного, запачканного и вонючего платка. Опрятность прежде всего — это самое священное дело. Потом: сапоги, калоши. Последние тоже нужны для опрятности, да и сапоги с ними носятся дольше. Под калоши не забудь велеть подложить зеленого сукна. Наконец: манишки, галстук, перчатки и прочие мелочи. Что до платья, то как можно меньше: лучше починить и переделать старое, ибо если он поступит в университет, тогда надо же будет шить новое платье. Сверх того, я кое-чего пришлю из платья (штанов и жилетов). Чтоб только до экзаменов было в чем протаскаться да на экзамены в чем явиться. Сапоги и белье — дело другое: они не форменные и пойдут навсегда. Если нужно, купи ему тюфяк, подушку, одеяло, а если есть диван, то и не нужно. А всего лучше — диван купи, коли есть где поставить, такой, чтобы подымался и в него можно было класть подушку, лишние сапоги и прочую дрянь, а он сам заменял бы и диван и кровать. Из книг купи Кронебергов словарь ⁴ — в Москве он печатается новым изданием. Церковную историю Иннокент<ия> и Филарета⁵ я пришлю, а какие еще книги нужны, пришли реестр: присланный я отдал Полякову,⁶ а тот и пропал с ним. Гоняй Никанора решительно каждую неделю в баню. Купи ему гребешок, щетку и гребень. Летом пусть купается каждый день — это будет стоить 10 коп. за раз. Поддерживай его дух и, для бога и для меня, старайся с ним ладить. Похлопочи об орфографии — он и понятия о ней не имеет — это видно из его писем. Пиши попрежнему всю правду о нем — иначе ты поступишь со мною, как с врагом. Надеюсь летом (во время экзаменов) побывать у вас, и всё устрой: или он будет у тебя жить, как должно, или я разведу его с тобою. Потерпи немного — терпел много. Надо употребить последние усилия для спасения безумца: тебя наградит за это бог и твоя совесть. Во мне не сомневайся: моя доверенность к тебе безгранична, и я во всем верю тебе и во всем полагаюсь на тебя безусловно.

Ржевский здесь.⁷ Хорошо наградил его сиятельный-то: все эти господа и глупы и подлы донельзя — чорт с ним. Ржевский говорил мне о тебе много хорошего: он хвалит тебя и как учителя, и как человека. Это меня порадовало. Насмешил он

меня рассказом, как поддел тебя и заставил проболтаться, что ты женился.

Мои дела всё плохи. Тебе известно, какое нынче время,⁸ как все бедны деньгами и как (поэтому) плохи подписки на журналы. Впрочем, увидимся, переговорим обо всем поподробнее. А между тем ты всё-таки пиши ко мне обо всем и как можно подробнее. Что ты, как ты, твоё семейство, твои надежды? Что Леонора Яковлевна?⁹ Что твои пташки? Твоя служба? И пр. и пр.

Если (по той причине, что нового платья не нужно будет шить) останутся деньги — возьми их себе на сохранение и употребляй на свои нужды, а после отдашь или по мелочи на него же в разное время употребишь.

Ну, больше писать нечего. Всем, кто помнит меня, кланяйся. Скажи Дарье Титовне, что много виноват перед нею и чувствую вину свою. Глупую расписку возьми у нее и пришли ко мне. Да намекни ей, что вот, мол, и расписка вышла из срока, а я всё-таки отдал долг, следовательно, расписка была не нужна.

Кстати: только что я написал половину письма, как Краевский прислал ко мне следующую тебе записку к Кони. Сходи с ней в контору «Отечественных записок», что у Кони, и отдай ему самому, получи деньги и дай в получении расписку.

Письмо мое к Никанору прочти сперва сам, а после отдай ему.¹⁰ Всё, что было, скажи мне без утайки: если он с минуты получения начнет новую жизнь, я старым и не попрекну его и как будто не буду и знать; но знать-то мне всё-таки нужно всё. Главное — какой эффект произведет на него* мое письмо — замечай и уведомя.

Леоноре Яковлевне поклон чуть не до ног. Малюток твоих целую. Если к моему приезду изготовишь нового — я крещу; а то заочно. Алешу целую.¹¹ Теперь у меня гостит князь Козловский. Он приехал в Питер искать должности.

Ну, прощай — жду с нетерпением ответа твоего на это письмо, рассчитываю по пальцам, когда ты должен будешь получить мое письмо. Не заставь же меня мучиться ожиданием. Каково идут дела нашего студента¹² — не мешало бы ему написать мне письмецо.

В. Б.

* Далее зачеркнуто: это

<27—28 июня 1841 г. Петербург.>

СПб. 1841, июня 27.

Давно уже, любезнейший мой Василий, не писал я к тебе и не получал от тебя писем.¹ За 700 верст мы понимаем друг друга, как за два шага, и потому не претендуем на молчание. Помню, как-то раз ты писал ко мне, что наша дружба даст нам то, чего никогда бы не могло нам дать общество: мысль глубоко несправедливая, ложь вопиющая! Увы, друг мой, без общества нет ни дружбы, ни любви, ни духовных интересов, а есть только порывания ко всему этому, порывания неровные, бессильные, без достижения, болезненные, недействительные. Вся наша жизнь, наши отношения служат лучшим доказательством этой горькой истины. Общество живет известною суммой известных принципов, которые суть почва, воздух, пища, богатства каждого из его членов, которые суть одни конкретное знание и конкретная жизнь каждого из его членов. Человечество есть абстрактная почва для развития души индивидуума, а мы все выросли из этой абстрактной почвы, мы, несчастные апахарсисы новой Скифии.² Оттого мы зеваем, толчемся, суедемся, всем интересуемся, ни к чему не прилепляясь, всё пожираем, ничем не насыщаясь. Сальное, но, к несчастью, верное сравнение: духовная пища, которую мы пожираем без разбора, не обращается в нашу плоть и кровь, но в чистое, беспримесное экскрементум. Мы любим друг друга, любим горячо и глубоко — я в этом убежден всею силою моей души: но как же проявлялась и проявляется наша дружба? Мы приходили друг от друга в восторг и экстаз, мы ненавидели друг друга, мы удивлялись друг другу, мы презирали друг друга, мы предавали друг друга, мы с ненавистию и бешеною злобою смотрели на всякого, кто не отдавал должной справедливости кому-нибудь из *наших*, — и мы поносили и злословили друг друга за глаза перед другими, мы ссорились и мирились, мирились и ссорились; во время долгой разлуки мы рыдали и молились при одной мысли о свидании, настаивали и исходили любовью друг к другу, а сходились и виделись холодно, тяжело чувствовали взаимное присутствие и расставались без сожаления. Как хочешь, а это так. Пора нам перестать обманывать самих себя, пора смотреть на действительность прямо, в оба глаза, не щурясь и не кривя душою. Я чувствую, что я прав, ибо в этой картине нашей дружбы я не затемнил и ее истинной, прекрасной стороны. Теперь посмотри на нашу любовь: что это такое? Для всех это радость, блаженство, пышный цвет жизни, — для нас это труд, работа, тяжелая скорбь. Везде

богатство и роскошь фантазии, но во всем скудость и нищета действительности. Ученые профессора наши — педанты, гниль общества; полуграмотный купец Полевой дает толчок обществу, делает эпоху в его литературе и жизни, а потом вдруг ни с того ни с сего позорно гниет и смердит.³ Не знаю, имею ли я право упомянуть тут и о себе, но ведь и обо мне говорят же, меня знают многие, кого я не знаю, я, как ты мне сам говорил в последнее свидание, *факт русской жизни*. Но посмотри, что же это за уродливый, за чудовищный факт! Я понимаю Гёте и Шиллера лучше тех, которые знают их наизусть, а не знаю по-немецки, я пишу (и иногда недурно) о человечестве, а не знаю даже и того, что знает Кайданов.⁴ Так повинить ли мне себя? О нет, тысячу раз нет! Мне кажется, дай мне свободу действовать для общества хоть на десять лет, а потом, пожалуй, хоть повесь, — и я, может быть, в три года возвратил бы мою потерянную молодость — узнал бы не только немецкий, но и греческий с лагинским, приобрел бы основательные сведения, полюбил бы труд, нашел бы силу воли. Да, в иные минуты я глубоко чувствую, что это светлое сознание своего призвания, а не голос мелкого самолюбия, которое силится оправдать свою лень, апатию, слабость воли, бессилие и ничтожность природы. Обращусь к тебе. Ты часто говорил, что не можешь, ибо не призван, писать. Но почему же ты пишешь и притом так, как немногие пишут? Нет, в тебе есть всё для этого, всё, кроме силы и упорства, которых нет потому, что нет того, для кого должно писать: ты не ощущаешь себя в обществе, ибо его нет. Ты скажешь, отчего я пишу, хотя также не ощущаю себя в обществе? Видишь ли: у меня много самолюбия, которое искало себе выхода; я темно понимал, что для царской службы не гожусь, в ученые также и что мне один путь. Будь я обеспечен, как ты, и притом прикован к какому-нибудь внешнему делу, как ты, — подобно тебе, я изредка делал бы набег на журналы; но бедность развила во мне энергию бумагомарания и заставила втянуться и погрязнуть по уши в вонючей тине расейской словесности. Дай мне 5000 годового и беструдового дохода — и в русской жизни стало бы одним фактом меньше. Итак, видишь ли, — *ларчик просто открывался*.⁵ Всё это я веду от одного и к одному — мы сироты, дурно воспитанные, мы люди без отечества, и оттого мы, хоть и хорошие люди, а всё-таки ни богу свеча, ни чорту кочерга, и оттого редко пишем друг к другу. Да и о чем писать? О выборах? Но у нас есть только дворянские выборы, а это предмет более неблагопристойный, чем интересный. О министерстве? Но ни ему до нас, ни нам до него нет дела, притом же в нем сидит Уваров с православием, самодержавием и народностию (т. е. с кутьею, кнудом и матерщиною); о движении промышленности, адми-

нистрации, общественности, о литературе, науке? — но у нас их нет. О себе самих? но мы выучили уже наизусть свои страдания и страшно надоели ими друг другу. Итак — остается одно: будем желать поскорее умереть. Это всего лучше. Однако прощай пока. Глаза слипаются — спать хочется.

Июня 28.

Опять здравствуй, Боткин. Ну, как переменялся твой брат⁶ — узнать нельзя. Где это апатическое, билиардное выражение лица, где тусклые сонливые глаза? Знаешь ли, меня восхитило его лицо, — в нем столько благородства, человечности, особенно в глазах, которые он точно украл у тебя. Голос и манеры его отличаются какою-то нежностью и вкрадчивостью, как у тебя в твои хорошие минуты. Да, это перерождение, чудо духа, которое я видел своими глазами.

По совету твоему, купил Плутарха Дестуниса и прочел. Книга эта свела меня с ума. Боже мой, сколько еще кроется во мне жизни, которая должна пропасть даром! Из всех героев древности трое привлекли всю мою любовь, обожание, энтузиазм — Тимолеон и Гракхи. Биография Катона (Утического, а не скотины Старшего) пахнула на меня мрачным величием трагедии: какая благороднейшая личность. Перикл и Алкивиад взяли с меня полную и обильную дань удивления и восторгов.⁷ А что же Цезарь? — спросишь ты. Увы, друг мой, я теперь забился в одну идею, которая поглотила и пожрала меня всего. Ты знаешь, что мне не суждено попадать в центр истины. откуда в равном расстоянии видны все крайние точки ее круга; нет, я как-то всегда очутюсь на самом краю. Так и теперь: я весь в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести и мимо их мало замечаю какое бы то ни было величие. Теперь ты поймешь, почему Тимолеон, Гракхи и Катон Утический (а не рыжая скотина Старший) заслонили собою в моих глазах и Цезаря и Македонского. Во мне развилась какая-то дикая, бешеная, фанатическая любовь к свободе и независимости человеческой личности, которые возможны только при обществе, основанном на правде и доблести. Принимаясь за Плутарха, я думал, что греки заслонят от меня римлян — вышло не так. Я бесновался от Перикла и Алкивиада, но Тимолеон и Фокион (эти греко-римляне) закрыли для меня свою суровую колоссальность прекрасные и грациозные образы представителей афинян. Но в римских биографиях душа моя

плавала в океане. Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество. Без них средние века ничего не сделали бы. Я понял и французскую революцию, и ее римскую помпу, над которою прежде смеялся. Понял и кровавую любовь Марата к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством хоть коляскою с гербом. Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основа его жизни—гордость личности, неприкосновенность личного достоинства. Да, греческий и латинский языки должны быть красугольным камнем всякого образования, фундаментом школ.

Страшное дело, Боткин: жизнь моя сама апатия, зевота, лень, стоячее болото, но на дне этого болота пылает огненное море. Я всё боялся, что с годами буду умирать — выходит наоборот. Я во всем разочаровался, ничему не верю, ничего и никого не люблю, и однако ж интересы прозаической жизни всё менее и менее занимают меня, и я всё более и более — гражданин вселенной. Безумная жажда любви всё более и более пожирает мои внутренности, тоска тяжелее и упорнее. Это мое, и только это мое. Но меня сильно занимает и не мое. Личность человеческая сделалась пунктом, на котором я боюсь сойти с ума. Я начинаю любить человечество маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнем и мечом истребил бы остальную. Какое имеет право подобный мне человек стать выше человечества, отделиться от него железною короною и пурпуровою мантиею, на которой, как сказал Гибриер Грахх нашего века, Шиллер, видна кровь первого человекоубийцы? Какое право имеет он внушать мне унижительный трепет? Почему я должен снимать перед ним шапку? Я чувствую, что будь я царем, непременно сделался бы тираном. Царем мог бы быть только бог, бесстрашный и всеведущий. Посмотри на лучших из них — какие сквернавцы, хоть бы Александр-то Филиппович: когда эгоизм их зашевелится — жизнь и счастье человека для них ничто. Гегель мечтал о конституционной монархии, как идеале государства, — какое узенькое понятие! Нет, не должно быть монархов, ибо монарх не есть брат людям, он всегда отделится от них хоть пустым этикетом, ему всегда будут кланяться хоть для формы. Люди должны быть братья и не должны оскорблять друг друга ни даже тенью какого-нибудь внешнего и формального превосходства. Каковы же эти два народа древности, которые родились с таким понятием! Каковы же французы, которые без немецкой философии поняли

то, чего немецкая философия еще и теперь не понимает! Чорт знает, надо мне познакомиться с сен-симонистами. Я на женщину смотрю их глазами. Женщина есть жертва, раба повеишего общества. Честь женщины общественное мнение относит к ее <...>, а совсем не к душе, как будто бы не душа, а тело может грязниться. Помилуйте, господа, да тело можно обмыть; а душу ничем не очистишь. Замужняя женщина любит тебя от мужа, но не <...> тебе — она честна в глазах общества; она <...> тебе — и честь ее запятнана: какие киргиз-кайсацкие понятия! Ты имешь право иметь от жены сто любовниц — тебя будут осуждать, но чести не лишат, а женщина не имеет этого права, да почему же это, <...>, подлые и бездушные резонёры, мистики, пизтисты поганые, <...> человечества? Женщина тогда <...>, когда предает тело свое без любви, и замужняя женщина, не любящая мужа, есть <...>; напротив, женщина, которая в жизнь свою <...> 500-м человекам не из выгод, а хотя бы по сладострастию, есть честная женщина, и уж, конечно, честнее многих женщин, которые, кроме глухих мужей своих, никому не <...>. Странная идея, которая могла родиться только в головах каннибалов — сделать <...> престолом чести: если у девушки <...> цела — честна, если нет — бесчестна. И это калмыцкое понятие хотят освящать христианством. Боже, отпусти им — не ведут бо, что творят! А брак — что это такое? Это установление антропофагов, людоедов, патагонов и готтентотов, оправданное религиею и гегелевскою философиею. Я должен всю жизнь любить одну женщину, тогда как я не могу любить ее больше году. Впрочем, религия позволяет мне и не любить ее — она требует только, чтоб исполнял в отношении к ней мои супружеские обязанности, т. е. одевал, кормил, поил и <...> ее. Чистое, духовное, идеальное воззрение на таинство сочетания душ! Я скован и не могу принадлежать той, которую люблю, вся жизнь моя погибла, а жизнь и без того так коротка, так глупа, так полна горем и муками. Но что я — я могу изменять моей жене, но женщина — что она? — раба моя, вещь моя, <...> моя, ее душа, ее лицо, ее красота — всё это только дополнения к <...>. Наша святая православная церковь лучше других поняла таинство брака: она и не скрывает, что тут всё дело в <...>. Святейший правительствующий синод не разведет тебя с женою за несходство нравов, за отсутствие любви, за любовь к другой; но если ты докажешь, что <...>, или если жена твоя докажет, что <...> — вас разводят. Далее, я знакомлюсь, ухожу, делаю всё, что хочу и как хочу; жена должна всё делать с моего согласия; почему это? Превосходство мужчины? но оно тогда законное право, когда признается сознанием и любовью жены, выходит из ее свободной доверенности ко мне, иначе мое право

над нею — кулачное право. Нет, брат, женщина в Европе столько же раба, сколько в Турции и в Персии. И Европа еще смеет думать, что она далеко ушла, и мы еще можем фантазировать, что человечество стоит на высокой степени совершенства! Если кто еще ушел подальше, так это Франция. Там явилась вдохновенная пророчица, энергический адвокат прав женщины — Жорж Занд; там брак есть договор, скрепляемый судебным местом, а не церковью; там с любовницами живут, как с женами, и общество уважает любовниц наравне с женами. Великий народ! (Кстати: какую гадость написал Лермонтов о французах и Наполеоне — то ли дело Пушкина «Наполеон».)⁸ И не стыдно ли было твоему любезному Рётшеру написать такую гадость о Шекспире⁹ и (если это точно шекспировская драма¹⁰) объективное изображение принять за субъективный взгляд? Это значит из великого Шекспира делать маленького Рётшера. Пигмеи все эти гегеляты!

Кстати о Шекспире: его «Генрих VI» мерзость мерзостью. Только гнусное национальное чувство отвратительной гадины, называемой англичанином, могло исказить так позорно и бесчестно высокий идеал Анны д'Арк. Он сделал ее колдуньей и <...> — фуй, какая свинья англичанин! Но довольно об этом: я ненавижу англичан больше, чем китайцев и каннибалов, и не могу иначе говорить о них, как языком похабщины и проклятий. Но обе части «Генриха IV», «Генрих V» — что это за дивные, колоссальные создания; даже в «Генрихе VI» всё, что не касается до Жанны д'Арк, велико и грандиозно. Да будет проклята всякая народность, исключаяющая из себя человечность! Она заставила написать глупейшую мерзость такого мирового гения.¹¹ Спасибо Кетчерушке — умник, погладь его по головке.¹² Если б в России можно было делать что-нибудь умное и благородное, Кетчер много бы поделал — это человек.

В «Отечественных записках» напечатана моя вторая статья о Петре Великом; в рукописи это, точно, о Петре Великом, и, не хвалясь, скажу, статейка умная, живая; но в печати — это речь о проницаемости природы и склонности человека к чувствам забвенной меланхолии. Ее исказил весь цензурный синедрион *соборне*. Ее напечатана только треть, и смысл весь выключен, как опасная и вредная для России вещь.¹³ Вот до чего мы дожили: нам нельзя хвалить Петра Великого. Да здравствует Погодин и Шевырев — вот люди-то! Да здравствует

«Москвитянин» — вот журнал-то! Ну да к чорту их всех и с Россиею!

Прочти, в мое воспоминание, Беранже, особенно пьесу «Нâtons-nous».* Я боготворю Беранже — это французский Шиллер, это апостол разума, в смысле французов, это бич предания. Это пророк свободы гражданской и свободы мысли. Его матерные стихотворения на религиозные предметы — прелесть; его политические стихотворения — это дифирамбы; в Питере появилось последнее издание его песен — вот тебе последняя из них —

Adieu, chansons!

Pour rajeunir les fleurs de mon trophée,
Naguère encore, tendre, docte ou railleur,
J'allais chanter, quand m'apparut la fée
Qui me berça chez le bon vieux tailleur.
«L'hiver, dit-elle, a soufflé sur sa tête:
Cherche un abri pour tes soirs longs et froids.
Vingt ans de lutte ont épuisé ta voix,
Qui n'a chanté qu'au bruit de la tempête».
Adieu, chansons! mon front chauve est ridé.
L'oiseau se tait; l'aquillon a grondé.**

Скучно списывать, а чудо, что такое! Какая грусть, какое благородное сознание своего достоинства:

Vos orateurs parlent à qui sait lire;
Toi conspirant tout haut contre les rois,
Tu marias, pour ameuter les voix,
Des airs de vieille aux accents de la lyre...***14

* «Поспешим» (франц.). — *Ред.*

** Прощайте, песни!

Недавно, чтоб освежить трофейный свой венок, собрался я запеть нежно, поучительно или насмешливо, как вдруг явилась мне фея, баюкавшая меня у доброго старого портного. «Дыхание зимы над головой, — сказала она, — ищи приюта для предстоящих долгих и холодных вечеров. Двадцать лет борьбы изнурили твой голос, певший только под грохот бурь». Прощайте, песни! Мой облысевший лоб в морщинах. Птица умолкает. Завыл Аквилон (Франц.) — *Ред.*

*** Ваших ораторов понимают только немногие; ты же, открыто бунтующий против королей, соединял, чтобы поднимать народ, старушечьи песенки с звуками ляры. (Франц.) — *Ред.*

Ну, пора кончить. Вот просьба к тебе: мой возлюбленный братец¹⁵ берет у всех деньги и проедает их на пряники и чернослив. Бога ради, когда он будет у тебя просить и если ты найдешь возможным дать ему что-нибудь, то скажи, чтобы он прислал к тебе для получения Иванова, которому ты-де и отдашь. А всего лучше, гоняй его от себя, да скажи и Кетчеру, чтобы он в этом отношении поучил его уму-разуму. Гадко писать о подобных вещах.

От Кетчера получил огромное письмо,¹⁶ которое, впрочем, не уяснило дело и еще более утвердило меня в моих убеждениях. Герцен послезавтра уезжает из Питера.¹⁷ Благородная личность — мало таких людей на земле. А жена его — что это за женственное, благороднейшее создание, полное любви, кротости, нежности и тихой грации!¹⁸ И он стоит ее — это не то, что мы: мы искали в женщине актрисы, мы хотели ей удивляться, а не любить ее.

Мой адрес: *В Семеновском полку, на Среднем проспекте, между первой линией и Госпитальной улицей, в доме e-жи Бутаровой, № 22.* У меня большая квартира и сад, весьма помогающий мне ничего не делать.

Ну, что, как дела твои? Я писал к Н. Бакунину и получил ответ. Вера его в М<ишеля> очень шатка — он сбит, а не убежден.¹⁹ Писни о сем.

В Москву я непременно буду зимою к 25 декабря — это решено.²⁰

Познакомился с Липпертом,²¹ — вызывается учить меня по-немецки — страшно — лень.

Твой В. Белинский.

180. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

СПб. 1841, июня 28.

Любезнейший мой Петр Николаевич, не могу утерпеть, чтоб не черкнуть Вам несколько строк. Вот уже месяца с два, прочтя

Вашу «Звезду», я горю к Вам непреодолимою любовью.¹ Два раза видел во сне, что Вы приехали в Питер. С чего-то вообразилось мне, что Вы непременно должны присхать. Я плавал в созерцании Вашей благоуханной, грациозной и милой личности, жаждал видеть Вас и говорить с Вами. Мне смертельно хочется сказать Вам, как много, много люблю я Вас. Прочтя Вашу повесть в рукописи, я сказал Краевскому: «Прекрасно, только не для нашей публики». Прихожу к нему в другой раз — сидит и правит корректуру: «С чего Вы взяли, что не для публики, — чудо, что такое — это просто прелесть; у Лермонтова сила, у Кудрявцева — грация». На языке Кр<аевского> это много значит: Лермонтов у него мерка всего великого. У меня так и забилося сердце: похвала Вашей повести — музыка для моих ушей; холодный отзыв — оскорбление, и потому я избегаю случая говорить или спорить о них. Какой Вам черт сказал, что Кр<аевско>му Ваша «Звезда» не нравится? С чего Вы вздумали писать новую повесть,² как будто в вознаграждение за старую? Если новая будет только не хуже «Звезды» — так она будет роскошный благоуханный цветок искусства; а если лучше — я с ума сойду от нее. Ну, «Звезда»! Какая оригинальность, какой совершенно новый мир, какой фантастический флер наброшен на действие, какие характеры, что за дивное создание эта бедная, болезненная девушка. Ваше фантастическое я ставлю выше гофманского — оно взято из действительного мира. Вы открываете новую сторону русской жизни. Я бы не кончил, если б вздумал всё высказать о «Звезде». Липперт переводит ее на немецкий, также и «Флейту», а может быть, и «Катеньку Пылаеву» и «Антонину». Не выставить ли в переводе Вашего настоящего имени?³ — Что Вы на это скажете?

Не сердитесь ли Вы на меня, что я напечатал Вашу прекрасную статью в гнусной коневской газетинке? Мне было жаль думать, что она не будет напечатана и Морощкин не съест Вашей оплеухи.⁴ Вот как надо писать рецензии — Ваш слог приводит меня в отчаяние — я завидую Вам и жалею, что Вы ничего не издаете, чтоб я мог Вас разругать. Какую дрянь написал Лермонтов о Наполеоне и французах — жаль думать, что это Лермонтов, а не Хомяков.⁵ Но сколько роскоши в «Споре Казбека с Эльбрусом», хотя в целом мне и не нравится эта пьеса и хотя в ней есть стиха четыре плохих.⁶

Скажу Вам на ушко (это тайна): хочется мне смертельно, до бешенства, съездить на полгода за границу и полечиться и посмотреть на божий мир и человеческую жизнь.⁷ Кр<аевского>го как-нибудь уломаю — авось отпустит; деньжонок надеюсь тысячи две приготовить. Да этого маловато — пришло мне в голову издать альманах,⁸ — так, знаете — насчет того,

то есть, оно не то, чтобы, а так — отец и благодетель, в рассуждении... повестцы (не в счет той, что Вы пишете для «Отечественных записок»). Буду кланяться и Лермонтову, о Кольцове и говорить нечего; о Красове также, Ключникове тоже. Во всяком случае, это тайна, о которой знаете Вы да Боткин, а более никто. Альманах я бы продал, если самому некогда будет напечатать. Прочтите мое письмо к Боткину — оно очень оригинально — особенно слог хорош и отличается самою грациозною энергиею.⁹ Поклонитесь от меня Галахову.

Милый мой Петр Николаевич, порадуйте меня письмецом: оно доставит мне счастливую минуту, а счастливая минута для меня редка, как хорошая погода для Петербурга. Хотелось бы мне сказать Вам, как много я люблю Вас (т. е. вот уж месяца два или больше сряду), но такие вещи не высказываются. Боже мой, чего бы не дал я за блаженство увидеть Вас у себя в комнате, в моем халате, с трубкою в руках, с спокойною и милою усмешкою на устах! Тысячу раз жму Вашу руку и обнимаю Вас.

Ваш В. Белинский.

Вам кланяется Ваш старый знакомый князь Козловский.

181. В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

<29 июня 1841 г. Петербург >

Извините, Князь, что я беспокою Вас делом, которое мало до Вас касается, а между тем обязывает Вас не совсем приятным посредничеством и отнимает время, которого и без того у Вас немного. Будьте добры, возьмите на себя труд напомнить г-ну Гурцову о деньгах. Хорошо или дурно, но, как умел, я выполнил его вторую комиссию, которая была для меня несравненно скучнее и труднее первой.¹ Мне теперь крайняя нужда в деньгах, а у Краевского, моего единственного ресурса, как Вам самим известно, теперь нет ни копейки. В ожидании ответа, который Вы можете мне сделать всего лучше и обстоятельнее через Краевского, если скоро с ним увидите, еще раз прошу Вас извинить меня за мою докучливость и остаюсь Вашим

покорным слугою

Виссарион Белинский.

P. S. Впрочем, мой адрес: В Семеновском полку, на Среднем проспекте, между первую линиею и Госпитальною улицею, в доме Бутаровой, № 22.

СПб. 1841, июня 29.

<18—19 июля 1841 г. Петербург.>

Нет ничего тяжелее, Краевский, как назначать цену своему труду, когда он уже кончен. В первый раз я получил от г. Гурцова 300 р. асс.;¹ но вторую мою работу я без преувеличения считаю втрое тяжелее первой, почему и думаю, что 500 р. асс. не были бы вознаграждением, превышающим труд. Впрочем, если г. Гурцов уехал, то, разумеется, кн. Одоевский тут ничем не виноват, и я несколько не почитаю его обязанным принимать в чужом пиру похмелье — мне бы давно следовало уведомить его о деле. И потому потрудитесь только добиться удовлетворительного ответа — *да* или *нет*, чтобы так или сяк, но только считать это дело решенным и конченным.²

В.Белинский.

Сегодня я обедаю у Михайловского-Данилевского — вот что значит писать такие прекрасные статьи, как о «Ста русских литераторов»³ — как раз во дворец будешь ездить и с посланниками впятером в вист играть.⁴

Посылаю стихи Сатина — непременно поместите — иначе он может оскорбиться.⁵

183. Н. Х. КЕТЧЕРУ

СПб. 1841, августа 3.

Уродина Кетчер, чудовище нелепости! Собери все ругательства, которыми так богат русский язык, все проклятия, какими когда-либо попы поражали еретиков и вольнодумцев, — всё это будет ничто в сравнении с потоками брани, которую недавно изрыгал я на тебя! Кто так глупо принимался за такое умное и великое дело, как издание Шекспира? Краевский разделяет мое негодование и клеймит тебя ругательным прозвищем «москвича». Во-первых, надо было общими силами сочинить крикливую программу, потом прокричать уши нашей глупой публике, надоест ей и пр. и пр. Мы бы, с своей стороны, приложили и руку и старание; тогда ты смело мог бы печатать 1200 экземпляров и пустить выпуск по три гривенника или уже много-много по два двугривенных — издание разошлось бы, Шекспир разлился бы по великому болоту святой Руси, лягушки, волею или неволею, но расквакались бы, да и ты был бы хотя и не в большом, но в верном вознаграждении. Надо было прокричать в «Московских ведомостях», в «Москви-

тянине», в «Отечественных записках», в «Литературной газете», в «Полицейской газете», в «Петербургских ведомостях», в «Инвалиде», словом, везде, а кричать начать за полгода. А то что это: у Юнгмейстера до сих пор не было — а спрашивают. Прислал ты мне 50 экземпляров, а билетов не прислал, тогда как мои знакомые и приятели могли бы раздать до полусотни. Глупо, пошло — московски!¹ Ну, да будет браниться — ты ведь неизлечим, только гроб горбатого исправит — да процветает твоя слепость! Только знаешь ли что? — Мне кажется, что ей лучше процветать в Питере, чем киснуть в Москве «хлебосольной» и «благотворительной».² Вот в чем дело. С будущего года Краевский (пока — тайна сия велика есть) издает «Сын отечества» и делает из него газету (политико-литературную), три раза в неделю, по два листа зараз, в 4-ю долю листа. Если это сбудется, т. е. если (это главное) Смирдин изворотится и (это второе) Цензурный комитет позволит,³ — о чем ты узнаешь достоверно месяца через два, а вероятно и ближе, — ты бы сделал умное дело (еще первое в твоей жизни), если бы переехал в Питер. Краевский уполномочил меня соблазнять тебя. Вот его условия. Ты у него главный и самый надежный переводчик с трех языков в два журнала («Отечественные записки» и «Сын отечества»), по 40—50 рублей с листа (вероятно, смотря по языку и статье), ты его «смеситель» в обоих журналах, т. е. наборщик всяких новостей из иностранных журналов и газет. Он говорит, что самая плохая твоя заработка в год — 2500 р. асс., а самая большая может зайти за 4000. Кроме того, ты можешь иметь и посторонние доходы (разумеется, не взятки, а за труды для книгопродавцев и участие в других предприятиях). Если тебе нужна будет небольшая сумма вперед на подъем (от 200 до 300 р.) — уведошь — тотчас же вышлетя. Шекспира можешь продолжать и в Питере, и еще с большим успехом, ибо книги с питерским штемпелем и в провинции и в самой Москве вдвое уважаются против московских: Москва и в собственных глазах опоганилась, почему и решилась издавать «Москвитянина» и быть «хлебосольною» и «благотворительною». Смирдин явно переходит на нашу сторону (о чем тоже, кроме своих, никому до времени говорить не нужно). Это русский человек — необразован, как свинья, по его антрепренерство есть любовь и страсть. Падая, он всё мечтает об огромных и дешевых изданиях и, между прочим, думает издать всего В<альтер> Скотта и Купера — понимаешь? — Если удастся поправить ход Шекспира, можно будет на него навязать, а ты будешь только работать и получать хорошую плату. Конечно, всё это только мечты, но их осуществление отнюдь не невозможно, и тебе обо всем этом не худо подумать не шутя, да переговорить с Боткиным. Что-нибудь одно — или быть

свиньею и ничего не делать, т. е. приняться за «хлебосольство» и «благотворительность», или перескочить в Питер, пожертвовав привычкою и связями, ибо делать и существовать работою можно только в Питере. Ты рожден для дела, и хоть в иных отношениях порядочный москвич, но уж, конечно; не в твоей натуре быть «хлебосольным» и «благотворительным». Подумай-ко, душа моя. Дело, дело и дело — или смерть!

Вот тебе несколько новостей: Лермонтов убит наповал — на дуэли. Оно и хорошо: был человек беспокойный и писал хоть хорошо, но безнравственно, — что ясно доказано Шевыревым и Бурачком.⁴ Взамен этой потери Булгарии всё молодест и здоровеет, а Межевич подаст надежду превзойти его и в таланте и в добре.⁵ Ф<аддей> В<енедиктович> ругает Пушкина печатно, доказывает, что Пушкин был подлец,⁶ а цензура, верная воле Уварова, марает в «Отечественных записках» всё, что пишется в них против Булгарина и Греча. Литература наша процветает, ибо явно начинает уклоняться от губельного влияния лукавого Запада — делается до того православною, что пахнет мощами и отзывается пономарским звоном, до того самодержавною, что состоит из одних доносов, до того народною, что не выражается иначе, как по-матерну. Уваров торжествует и, говорят, пишет проект, чтобы всю литературу и все кабаки отдать на откуп Погодину. Носятся слухи, что Погодин (вместе с Бурачком, Ф. Н. Глинкою, Шевыревым и Загоскиным) будет произведен в святители российских стран: чтобы предохранить гнусное и заживо вонючее тело свое от гниения, Погодин снимает все кабаки и торгует водкою. Одним словом, будущность блестит всеми семью цветами радуги. А между тем Европа гниет: Франция готовится к борьбе за свободу со всем миром, укрепляет Париж и уничтожает Абдель-Кадера⁷ (поборника православия, самодержавия и народности). Пруссакки требуют конституции и решают религиозный вопрос о личности человека; лорд Россель борется с Пилем в вопросе о хлебе и пр.⁸ Жалко видеть это глупое брожение мирских сует и отрадно читать статьи Погодина, Бурачка и Шевырева. Бог явно за нас — ведь он любит смиренных и противится гордым. Национальность малороссийская процветает и укрепляется. Справедливы ли слухи, что будто Погодин, по скаредной своей скупости, боясь многочадия, не то <...>, не то <...> Шевырева? Уведомь меня об этом обстоятельстве: оно очень важно для успехов нашей литературы, в которой я принимаю такое участие. Чего не выдумает праздный народ о великом человеке? Правда ли, наконец, что Погодин будто бы водил к Уварову мальчиков, отличающихся острою ума и тупостию ...>, — о чем глухо было писано в «Журнале Министерства народного просвещения» и что поставлено Погодину за услугу русскому

просвещению в духе самодержавия, православия и народности и за что Погодин представлен к награде годовым жалованием? Этот слух кажется мне тем вероятнее, что князь Дундук⁹ устарел, зарос грибами и Уваров употребляет его только по откупам и подрядам, т. е. пользуется уже только его головою, а не <...>. Правда ли, что «Москвитянин» вводится в литургию и должен будет заменить «Апостола»? И что для чтения оного будет употреблен, по природному громозвучию, Загоскин? Правда ли, что Ф. Н. Глинка перекладывает «Москвитянина» и «Маяка» на акафисты в стихах, а Авдотья Павловна¹⁰ кладет их на музыку? — Читаешь ли ты «Пчелу»? Превосходная политическая газета? Из нее тотчас (месяца через два) узнаешь, что у благородного лорда Пиля геморроидальные шишки увеличились; что при посещении такого-то города таким-то принцем была иллюминация и все жители громкими кликами изъявляли свою верноподданническую преданность; что королева Виктория на последнем бале была в страшно накрахмаленной исподнице и что по случаю новой беременности у ней остановились месячные и т. д. Вообще, душа моя Тряпичкин,¹¹ — много жизни — не изжить; возблагодарим же создателя и подадим друг на друга донос. Аллилуйя!

Прочтя «Ластовку» и «Сниц», я понял всё достоинство борщу, сала и галушек.¹² Жаль, что умер Шишков¹³ — многого мы лишились. Без него Академия российская осиротела и с горя спилась с кругу, а Борька Федоров еще больше поглупел.¹⁴ От главы Андрея Муравьева исходит сияние.¹⁵ Ну, больше не упомяну, а много новостей. Впрочем, доставитель сего юмористического послания расскажет тебе их.

Статья Герцена — прелесть, объедение.¹⁶ Давно уже я не читал ничего, что бы так восхитило меня. Это человек, а не рыба: люди живут, а рыбы созерцают и читают книжки, чтобы жить совершенно напротив тому, как писано в книжках. У меня страшная охота сделаться рыболовом и варить уху. Пишу диссертацию, в которой доказываю, что лягушки выше рыб, а национальность выше образования, просвещения, истины и свободы. Да здравствуют щи, борщ, буженина и вареники! Ах, забыл было, носятся слухи, что Булгарин <...>. Жена Межевича в мызе Карлово¹⁷ совершенно излечилась от сифилис, которою заразил ее Межевич (т. е. муж); теперь он сам поехал туда для излечения себя от той же болезни, а «Полицейскую газету» издает наборщик Анемподист.

Ну, довольно болтать. Прощай.

Твой В.Белинский.

Цензура не пропустила в моей статье о Пушкине (3 том) заглавие пушкинской статьи «О мизинце г. Булгарина и о прочем».¹⁸ Боясь доносов Погодина и Шевырева, цензор не хочет пропускать ни слова против «Москвитянина». Аллилуйя! Душа моя, отслужи за меня молебен Иверской — хочу покаяться и пуститься в доносы.

184. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1841, августа 25.

Любезный Дмитрий, не знаю, как и благодарить тебя за твое ко мне расположение, которое высказывается со всею добротою и горячностью твоего благородного и милого характера. Письмо твое нисколько не огорчило меня, а скорее доставило мне удовольствие. Ты победил меня насчет моего «рыцаря чести», который оказался прямым рыцарем подлости.¹ О Каченовском тоже спорить нечего: это была явная прижимка с его стороны.² О московском университете больше нечего и толковать — чорт с ним. Я решаюсь вот на что: Никанор останется у тебя до праздников, в декабре (в последних числах) я буду в Москве и возьму его в Питер. Жить ему за моими глазами нельзя: он очерствел, и его исправить можно только личным надзором. Живя у тебя, он должен работать и готовиться к петербургскому университету. Время это должно быть для него временем испытания, и в отношении к нему ты больше, чем когда-либо, должен быть его надсмотрщиком и доносчиком. От этого зависит его участь: если он выдержит испытание в эти четыре месяца, я беру его, определяю в петербургский университет; если нет — в полк.³ Он может думать о тебе что ему угодно, но должен оказывать тебе всевозможное уважение и беспрекословно тебе повиноваться. А ты не смотри ни на его мысли, ни на его чувства и будь к нему неумолимо строг. Ты прав, говоря, что он некогда будет питать к тебе любовь и уважение. Твое благородное, любящее сердце превосходно решило этот вопрос. Но пока его спасение зависит от того, чтобы ты был его доносчиком. Теперь мои дела еще плохи (иначе я тотчас же бы перевез его в Питер), но зимою они должны поправиться. Если бы Никанор не пошел на экзамен или как-нибудь сфальшил, обнаружив упрямство и самодурство, я бы отступился от него; но он не выдержал экзамена — что делать: притом же, Шевырка так зол на меня, что даже не умел и скрыть этого, — ясно, что Никанору не годится быть в московском университете. Лета его еще не бог знает какие — еще год не беда, а между тем он основательнее приготовится — я дам ему средства. Меня очень обрадовало, что он получил хорошие баллы из латинского и закона божия. Итак, потерпи

его немного, поддержи его до января, а главное, *присмотри* за ним. Я твой вечный должник. Если бы ты в порыве великодушия отдал мне всё свое годовое жалованье, а сам остался бы непричем, — я бы это менее ценил, ибо это могло бы быть минутным порывом, за которым могло бы последовать и раскаяние. Но осудить себя на ежедневные огорчения и мелкие досадные неудовольствия, два года держать у себя дикого самодура, тратиться на него, тесниться для него и видеть, что он тебя не понимает, не ценит, платит за любовь неблагодарностию — это жертва, за которую мудрено отблагодарить.

Расписку Дарьи Титовны сожги, она ни на что не нужна.⁴ Кланяйся Д<арье> Т<итовне> — и уведомя меня, как она поживает. Кланяйся всем, кто меня помнит. Попроси Павла Дмитриевича⁵ еще позаняться с Никанором, если можно; я считаю себя его должником и по мере сил буду благодарить его. Нельзя ли хоть 2 раза в неделю, да поаккуратнее. Надо из математики исподволь подготовиться. Держал ли экзамен Никанор из истории? Историю пока он может совсем бросить — в Питере успеет из нее приготовиться, а у меня много и средств для этого.

У тебя гостила Вера Петровна — я не знал этого, а то бы послал и писульку и гостинец.⁶ Леоноре Яковлевне — поклон и родственное лобызание и в уста и в ручку. Скажи пожалуйста — я ведь у тебя крестил или нет? Кажется, нет! Пожалуйста, сделай меня отцом какого-нибудь твоего червяка — только заочно, ибо я церемоний не люблю. Если червяка нет наготове, то приготовь — тебе это не большого труда стоит. Имеющихся налицо ягнят твоих целую и к празднику привезу им гостинцев. Знаешь ли что, — в Москву я приеду числа 20 декабря,* из нее выеду 6 января⁷ — нельзя ли тебе будет съездить в Питер хоть на недельку, если нельзя на две, погостить у меня? Тебе будет стоить только проезд взад и вперед, а жить ты будешь у меня на всем на готовом. Для Никанора у меня уже заготовлена отдельная комната. Квартира у меня теперь — прелесть.

Кланяйся Алеше и Петру-студенту и поцелуй за меня их обоих.⁸ Стыдно студенту-то так забыть меня — хоть бы 10 строк.

185. Н. Х. КЕТЧЕРУ

СПб. 1841. Августа 25.

Брата твоего, о Кетчер, я не видал — почему-то он не рассудил со мною увидеться. Отвечаю на твое письмо коротко.¹

* Далее зачеркнуто: а уеду

О Москве и Петербурге спорить некогда, да и чорт с ней, с Москвою. А вот твой переезд — это другое дело. Ты пишешь, что семейство лишает тебя возможности переехать в Питер — вздор: ты из Питера можешь быть точно так же полезен своему семейству, как и в Москве.² Ты не хочешь менять верного на неверное и еще меньше: дело! Но во-1-х: совсем не на неверное, а на верное (ибо если «Сын отечества» не перейдет в руки Кр(аевско)го, тебя и не зовут), а во-2-х, *меньшее* или *большее* зависит от тебя. Кр(аевский) говорит, что в «Отечественных записках» *ежемесячно* можешь (если хочешь) переводить не меньше *девяти* листов, следовательно, на 360 р. асс. в месяц и на 4320 р. асс. в год. Итак, если в «Сыне отечества» будет работы столько же («Сын отечества» будет выходить 24 листа в месяц, следовательно, 9 будут всегда твои), то ты будешь получать в год 8640 р. Дело в том: можешь ли ты столько работать (переводить 18 листов в месяц); если не можешь, нечего и толковать, а можешь — дурак, если не переедешь. Если же (в чем я уверен) тебя станет и еще на другие труды, ты от посторонних работ можешь легко достать 3000 в год. Итак, думай и решайся. Тебя зовут не на неверное, а на верное. Я ручаюсь головой и волосами. Я получил письмо от Ог(арева) из-за границы — он здоров и пишет, что в Дрездене у ног Георгия Побед(оносца) видел дракона, а у ног Мадонны — Бак(унина) в усах.³ Прощай, твой

В. Белинский

186. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1841. Сентября 8.

Давно уже не писал я к тебе и не получал от тебя писем, мой любезный Василий.¹ Причины этому ясны: то не в духе, то некогда, вот уж завтра, вот на той неделе, сегодня лень, а вчера нездоровье и т. д. Следовательно, все извинения — общие места, которых нечего и повторять. Но вот это новость, и уж совсем не общее место: ты с чего-то забрал в свою лысую голову, что я к тебе охолодел. Боткин — перекрестись — что ты, Христос с тобою! Ты болен, друг! и тебе видятся дурные сны. Не верь этим ложным призракам встревоженного воображения — гони их от себя, иначе они овладеют тобою. Умея читать в твоих письмах и между строками, я как-то непосредственно догадался о чем-то похожем из твоего письма от 18 июля, где, благодаря меня за письмо, ты говоришь: «Неприятно было только, что ты вспоминаешь о наших старых дрязгах, которые принадлежат к темному времени нашей жизни». Ты

не так понял мое вспоминание старых дряг — ты принял его, как будто за укор² тебе в прошедшем. Боткин, в нем, в этом прошедшем, много дряни — не спору; но забыть ее нет возможности, ибо с нею соединено тесно и всё лучшее, что было в нашей жизни и что навсегда свято для нас. Нет нужды говорить, что ни один из нас не может похвалиться, ни упрекнуть себя большею долею дряни; количество равно с обеих сторон, и нам нельзя завидовать друг другу или стыдиться один другого. Но я не о том писал и не то хотел сказать — ты не так понял меня. Постараюсь однажды навсегда уяснить это обстоятельство, чтоб оно больше не смущало тебя. Ты знаешь мою натуру: она вечно в крайностях и никогда не попадает в центр идеи. Я с трудом и болью расстаюсь с старою идеею, отрицаю ее донельзя, а в новую перехожу со всем фанатизмом прозелита. Итак, я теперь в повой крайности, — это идея *социализма*, которая стала для меня идеею идей, бытием бытия, вопросом вопросов, альфою и омегою веры и знания. Всё из нее, для нее и к ней. Она вопрос и решение вопроса. Она (для меня) поглотила и историю, и религию, и философию. И потому ею я объясняю теперь жизнь мою, твою и всех, с кем встречался я на пути к жизни.³ Видишь ли: мы дружились, ссорились, мирились, опять ссорились и снова мирились, враждовали между собою, неистово любили один другого, жили, влюблялись, — по теории, по книге, непосредственно и сознательно. Вот, по моему мнению, ложная сторона нашей жизни и наших отношений. Но должны ли мы винить себя в этом? И мы винули себя, клялись, проклинали, а лучше не было, нет и не будет. Любимая (и разумная) мечта наша постоянно была — возвести до действительности всю нашу жизнь, а следовательно, и наши взаимные отношения; и что же! мечта была мечтой и останется ею; мы были призраками и умрем призраками, но не мы виноваты в этом, и нам не в чем винить себя. Действительность возникает на почве, а почва всякой действительности — общество. Общее без особого и индивидуального действительно только в чистом мышлении, а в живой, видимой действительности оно — онанистическая, мертвая мечта. Человек — великое слово, великое дело, но тогда, когда он француз, немец, англичанин, русский. А русские ли мы?.. Нет, общество смотрит на нас, как на болезненные наросты на своем теле; а мы на общество смотрим, как на кучу смрадного помету. Общество право, мы еще правее. Общество живет известною суммою известных убеждений, в которых все его члены сливаются воедино, как лучи солнца в фокусе зажигательного стекла, понимают друг друга, не говоря ни слова. Вот почему во Франции, Англии, Германии люди, никогда не видевшие друг друга, чуждые друг другу, могут сознавать свое родство, обниматься

и плакать — одни на площади в минуту восстания против деспотизма за права человечества, другие хотя в вопросе о хлебе, третьи при открытии памятника Шиллеру. Без цели нет деятельности, без интересов нет цели, а <без> деятельности нет жизни. Источник интересов, целей и деятельности — субстанция общественной жизни. Ясно ли, логически ли, верно ли? Мы люди без отечества — нет, хуже, чем без отечества: мы люди, которых отечество — призрак, — и диво ли, что сами мы призраки, что наша дружба, наша любовь, наши стремления, наша деятельность — призрак. Боткин, ты любил — и твоя любовь кончилась ничем. Это история и моей любви. Станкевич был выше по натуре обоих нас, — и та же история.⁴ Нет, не любить нам, и не быть нам супругами и отцами семейств. Есть люди, которых жизнь не может проявиться ни в какую форму, потому что лишена всякого содержания; мы же — люди, для необъятного содержания жизни которых ни у общества, ни у времени нет готовых форм. Я встречал и вне нашего кружка людей прекрасных, которые действительнее нас; но нигде не встречал людей с такою ненасытимой жаждою, с такими огромными требованиями на жизнь, с такою способностью самоотречения в пользу идеи, как мы. Вот отчего всё к нам льнет, всё подле нас изменяется. Форма без содержания — пошлость, часто довольно благовидная; содержание без формы — уродливость, часто поражающая трагическим величием, как мифология древнегерманского мира. Но эта уродливость — как бы ни была она величественна — она содержание без формы, следовательно, не действительность, а призрачность. Обращаюсь к нашим дружеским отношениям. Помнишь: я, бывало, нагонял на тебя тоску и скуку толками о своей любви — а ведь эта любовь была не шутка и не притворство (ибо и теперь еще сердце судорожно сжимается при одном воспоминании о ней), в ней было много прекрасного и человеческого; но винить ли мне себя или тебя, что тебе бывало иногда тошно слушать одно и то же? Я не скажу, чтобы я твои толки слушал с скукою, но, признаюсь, иногда слушал их без участия; а между тем я уважал твое чувство. Отчего же это?.. Видишь ли, в чем дело, душа моя: непосредственно поняли мы, что в жизни для нас нет жизни, а так как, по своим натурам, без жизни мы не могли жить, то и ударили со всех ног в книгу и по книге стали жить и любить, из жизни и любви сделали для себя занятие, работу, труд и заботу. Между тем наши натуры всегда были выше нашего сознания, и потому нам слушать друг от друга одно и то же становилось и скучно и пошло, и мы друг другу смертельно надоедали. Скука переходила в досаду, досада во враждебность, враждебность в раздор. Раздор был всегда дождем для сухой почвы наших отношений

и рождал новую и сильнейшую любовь. В самом деле, после ссоры мы становились как-то и новее и свежее, как будто запасались новым содержанием, делались умнее, и раздор, вместо того, чтобы развести нас, сводил еще теснее. Но запас скоро истощался, и мы съезжали опять на старое, на свои личные интересы и, как манны небесной, алкали *объективных интересов*; но их не было, и мы продолжали быть призраками, а наша жизнь — прекрасным содержанием без всякого определения. Вот что я хотел тебе сказать и чего ты не понял. Я упомянул о старом не вследствие досады и не в виде жалобы, а как о *старом* предмете *нового* сознания. Не тень неудовольствия хотел я бросить на наши прежние отношения, но пролить на них примирительный свет сознания; не обвинять хотел я тебя или себя, но оправдать. Ища исхода, мы с жадностью бросились в обаятельную сферу германской созерцательности и думали мимо окружающей нас действительности создать себе очаровательный, полный тепла и света мир внутренней жизни. Мы не понимали, что эта внутренняя, созерцательная субъективность составляет объективный интерес германской национальности, есть для немцев то же, что социальность для французов. Действительность разбудила нас и открыла нам глаза, но для чего... Лучше бы закрыла она нам их навсегда, чтобы тревожные стремления жадного жизни сердца утолить сном ничтожества...

Но третий ключ — холодный ключ забвенья —
Он слаще всех жар сердца утолит...⁵

Мы, Боткин, любим друг друга; но наша любовь — огонь, который должен питаться сам собою, без внешней поддержки. О если бы ему масла внешних общественных интересов! Да, я часто охлаждаюсь к тебе, часто и подолгу забываю о твоём существовании, но это потому, что я о своем собственном помню только по апатии, по голоду и холоду, по досаде и скрежету зубов, а согласишься, что как бы много ни любили мы другого, но себя все больше любим: так можно ли требовать от того, кто не любит себя, чтоб он любил другого?.. Но первая светлая минута любви и грусти — и ты первый тут, со мною — я вижу твою обаятельную улыбку, слышу твой елеинный голос, твои вкрадчивые, мягкие, женственные манеры, — и ты передаешь мне содержание «Пионеров»,⁶ объясняешь греческие мифы или рассказываешь процесс Банкаля...⁷, а я слушаю, не паслушаюсь, сердце рвется к тебе, а на глазах трепещут слезы испуга... Блеснет ли в уме новая мысль, потрясутся ли струны сердца новым ощущением — тебе бы передал его, — и если бы ты

знал, сколько мыслей и чувств остаются никому не переданные потому только, что тебя нет со мною, чтобы я тотчас же бы мог передать тебе их, во всей их свежести... Я не один, это правда; у меня есть кружок, состоящий из благороднейших людей, которых от души люблю и уважаю и которые, может быть, еще более любят и уважают меня; но я один, потому что тебя нет со мною... Даже, мучась пустотою жизни, лежа или ходя в апатии, лишь увижу в окне почтальона — сердце забьется порывисто — и бегу — и если бы ты знал, какое глубокое огорчение, когда или не ко мне, или не от тебя!.. Сегодня Кирюша, оставшись наедине, с каким-то странным видом подал мне твой портрет⁸ — я просиял, ожил и — но довольно: Кирюша пачал шутить над твоими неосновательными подозрениями; а ты, о москводушный, а ты мог думать, что, может быть, твой портрет и не нужен мне!.. Но я не сержусь на тебя: напротив — признаюсь в грехе (о люди — порождения крокодиловы!⁹), мне приятно, что ты... но стыдно докончить фразу — боюсь впасть в нежности... Сколько писем было у меня написано к тебе — в голове, и если бы их можно было послать к тебе, не беря в руки пера, от которого болят мои руки, если бы я умел писать коротко — не одно горячее письмо получил бы ты от меня в Нижнем. Портрет твой удался — ты на нем, как живой — вся душа твоя — твои глаза и грустно-любовно сжатые губы — страх хотелось поцеловать, но я дик (или стал дик) на слишком живые излишние чувств и почему-то посовестился в присутствии Кирюши.

Социальность, социальность — или смерть! Вот девиз мой. Что мне в том, что живет общее, когда страдает личность? Что мне в том, что гений на земле живет в небе, когда толпа валяется в грязи? Что мне в том, что я понимаю идею, что мне открыт мир идеи в искусстве, в религии, в истории, когда я не могу этим делиться со всеми, кто должен быть моими братьями по человечеству, моими близкими по Христе, но кто — мне чужие и враги по своему невежеству? Что мне в том, что для избранных есть блаженство, когда большая часть и не подозревает его возможности? Прочь же от меня блаженство, если оно достояние мне одному из тысяч! Не хочу я его, если оно у меня не общее с меньшими братьями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взгляде на толпу и ее представителей. Горе, тяжелое горе овладевает мною при виде и босоногих мальчишек, играющих на улице в бабки, и оборванных нищих, и пьяного извозчика, и идущего с развода солдата, и бегущего с портфелем под мышкою чиновника, и довольного собою офицера, и гордого вельможи. Подавши грош солдату, я чуть не плачу, подавши грош нищей, я бегу от нее, как будто сделавши худое дело и как будто не

желая слышать шелеста собственных шагов своих. И это жизнь: сидеть на улице в лохмотьях, с идиотским выражением на лице, набирать днем несколько грошей, а вечером пропить их в кабаке — и люди это видят, и никому до этого нет дела! Не знаю, что со мною делается, но иногда с сокрушительною тоскою смотрю я по нескольку минут на девку <...>, и ее бессмысленная улыбка, печать разврата во всей непосредственности рвет мне душу, особенно, если она хороша собою. Рядом со мною живет довольно достаточный чиновник, который так оевропейлся, что когда его жена едет в баню, он нанимает ей карету; недавно узнал я, что разбил ей зубы и губы, таскал ее за волосы по полу и бил липками за то, что она не приготовила к кофею хороших сливок; а она родила ему человек шесть детей, и мне всегда тяжело было встречаться с нею, видеть ее бледное, изнеможенное лицо, с печатью страдания от тирании. Выслушав эту историю, я заскрежетал зубами — и сжечь злодея на малом огне казалось мне слишком легкою казнию, и я проклял свое бессилие, что не мог пойти и убить его, как собаку. И это общество, на разумных началах существующее, явление действительности! А сколько таких мужей, таких семейств! Сколько прекрасных женственных созданий, рукою дражайших родителей бросаемых на растление скотам, вследствие расчета или бессознательности! И после этого имеет ли право человек забываться в искусстве, в знании! Я ожесточен против всех субстанциальных начал, связывающих в качестве верования волю человека! Отрицание — мой бог. В истории мои герои — разрушители старого — Лютер, Вольтер, энциклопедисты, террористы, Байрон («Кайн») и т. п. Рассудок для меня теперь выше разумности (разумеется — непосредственной), а потому мне отраднее кощунства Вольтера, чем признание авторитета религии, общества, кого бы то ни было! Знаю, что средние века — великая эпоха, понимаю святость, поэзию, грандиозность религиозности средних веков; но мне приятнее XVIII век — эпоха падения религии: в средние века жгли на кострах еретиков, вольнодумцев, колдунов; в XVIII — рубили на гильотине головы аристократам, попам и другим врагам бога, разума и человечности. И настанет время — я горячо верю этому, настанет время, когда никого не будут жечь, никому не будут рубить головы, когда преступник, как милости и спасения, будет молить себе казни, и не будет ему казни, но жизнь останется ему в казнь, как теперь смерть; когда не будет бессмысленных форм и обрядов, не будет договоров и условий на чувство, не будет долга и обязанностей, и воля будет уступать не воле, а одной любви; когда не будет мужей и жен, а будут любовники и любовницы, и когда любовница придет к любовнику и скажет: «Я люблю другого», любовник ответит: «Я не

могу быть счастлив без тебя, я буду страдать всю жизнь; но ступай к тому, кого ты любишь», и не примет ее жертвы, если по великодушию она захочет остаться с ним, но, подобно богу, скажет ей: «Хочу милости, а не жертвы...» Женщина не будет рабой общества и мужчины, но, подобно мужчине, свободно будет предаваться своей склонности, не теряя доброго имени, этого чудовища — условного понятия. Не будет богатых, не будет бедных, ни царей и подданных, но будут братья, будут люди, и, по глаголу апостола Павла, Христос сдаст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже в новом небе и над новою землею.¹⁰ Не думай, чтобы я мыслил рассудочно: нет, я не отвергаю прошедшего, не отвергаю истории — вижу в них необходимое и разумное развитие идеи; хочу золотого века, но не прежнего, бессознательного, животного золотого века, но приготовленного обществом, законами, браком, словом, всем, что было в свое время необходимо, но что теперь глупо и пошло. Боткин, ведь ты веришь, что я, как бы ты ни поступил со мною дурно, не дам тебе оплеухи, как Катков Бакунину¹¹ (с которым потом опять сошелся), и я верю, что и ты ни в каком случае не поступишь со мною так; что же гарантирует нас — неужели полиция и законы? — Нет, в наших отношениях не нужны они — нас гарантирует разумное сознание, воспитание в социальности. Ты скажешь — натура? Нет, по крайней мере, я знаю, что с моей натурою назад тому лет 50, почитая себя оскорбленным тобою, я был бы способен зарезать тебя сонного именно потому, что любил бы тебя более других. Но в наше время и Отелло не удушил бы Дездемону даже и тогда, когда б она сама созналась в измене. Но почему же мы очеловечились до такой степени, когда вокруг нас целые миллионы пресмыкаются в животности? — Опять натура? — Так? Следовательно, для низших натур невозможно очеловечение? — Вздор — хула на духа! Светский пустой человек жертвует жизнью за честь, из труса становится храбрецом на дуэли, не платя ремесленнику кровавым потом заработанных денег, делается нищим и платит карточный долг, — что побуждает его к этому? — Общественное мнение? Что же сделает из него общественное мнение, если оно будет разумно вполне? К тому же, воспитание всегда делает нас или выше, или ниже нашей природы, да, сверх того, с нравственным улучшением должно возникнуть и физическое улучшение человека. И это делается чрез *социальность*. И потому нет ничего выше и благороднее, как способствовать ее развитию и ходу. Но смешно и думать, что это может сделаться само собою, временем, без насильственных переворотов, без крови. Люди так глупы, что их насильно надо вести к счастью. Да и что кровь тысячей в сравнении с унижением и страданием миллионов. К тому же:

fiat justitia — percat mundus!*¹² Я читаю Тьера¹³ — как, узнаешь от Ханенки.¹⁴ Новый мир открылся предо мною. Я всё думал, что понимаю революцию — вздор — только начинаю понимать. Лучшего люди ничего не сделают. Великая нация французы. Гибнет Польша — ее жгут, колесуют — Европе нет и нужды — всё молчит — только толпы черни французской окружают на улицах гнусное исчадие ада Лудовика-Филиппа с воплями: «La Pologne, la Pologne!»**¹⁵ Чудный народ! — что ж ему Гекуба!¹⁶ Боткин, по твоему совету прочел я всего Плутарха:¹⁷ порадуй, потешь меня — посвяти дня три на Беракже — великий, мировой поэт — французский Шиллер, который стоит немецкого, христианнейший поэт, любимейший из учеников Христа!¹⁸ Разум и сознание — вот в чем достоинство и блаженство человека; для меня видеть человека в позорном счастье непосредственности — всё равно, что дьяволу видеть молящуюся невинность: без рефлексии, без раскаяния разрушаю я, где и как только могу, непосредственность — и мне мало нужды, если этот человек должен погибнуть в чуждой ему сфере рефлексии, пусть погибнет.. Я ругал тебя за Кульчицкого, что ты оставил его в теплой вере в мужичка с бородкою, который, сидя на мягком облачке, <...> под себя, окруженный сонмами серафимов и херувимов, и свою силу считает правом, а свои громы и молнии — разумными доказательствами. Мне было отрадно, в глазах К<ульчицко>го, плевать ему в его гнусную бороду.

Кстати о К<ульчицко>м. Тяжело ли мне, или легко было видеть его у себя — я бы почел подлостью не пригласить его к себе потому только, что тебе это было приятно, а по его расчетам важно, и мне странно, что из этого обстоятельства ты сделал вопрос. Фу, к чорту, Боткин, да после этого мне страшно будет в крайней нужде попросить у тебя целкового, а я перебрал тысячи.¹⁹ Да что ж это за дружба, которая не хочет сделать никакого жертвования? Не только К<ульчицко>го, но если бы тебе нужно было навязать на меня и кого-нибудь из таких, кого бы ты и сам не мог видеть с особенным удовольствием, — и тогда бы, конечно, не рад — но что же делать; а о К<ульчицко>м не должно б быть и вопроса. Если я не пригласил его к себе с первого же раза, так потому, что у меня уже жили двое — кн. К<о>зл<о>вский и Х<а,н<е>шко; но если бы он остановился не у хозяйки Кирюши, — я бы непременно пригласил его, и притом так, что он не мог бы отказаться. Прекрасный человек — я полюбил его от души. Конечно, не обошлось без грубостей, но вольно же ему обретаться в ненавистой

* да свершится правосудие, хотя бы мир погиб! (Латин.). — Ред.

** «Польша! Польша!» (Франц.). — Ред.

непосредственности. Он неглубок и недалек; но дай бог побольше таких людей. Он человечен — этого довольно, чтобы любить его. Он любит, обожает тебя — и моя рука всегда готова пожать от души его руку. Как он мило передразнивает тебя — до того, что перенял твой манеры.

Что за дивная повесть Кудрявцева — какое мастерство, какая художественность — и всё-таки эта повесть не понравилась мне.²⁰ Начинаю бояться за себя — у меня рождается какая-то враждебность против объективных созданий искусства. В другое время поговорю об этом побольше. Теперь некогда. Поклонись милому Петру Николаевичу — вот еще человек, к которому любовь моя похожа на страсть. В декабре увижу обоих вас. Когда придется увидеть милого Кольцова? — его положение плохо. Приезд Ключникова обрадовал меня так, как я и не ожидал.

Рекомендую тебе подателя сего послания — Ивана Ивановича Ханенко. Прекрасный, благородный, чудесный человек, рожденный для идеи, но гибнущий в естественной непотребности. Это тем досаднее, что знает, злодей, славно по-немецки. Прими его, как брата моего сердца, и пуще всего натолкни его на немецкие книги, которые могут познакомить его с духом Гегеля. Он человек достаточный и может купить. Возьми его в руки и буди, буди, пока не проснется. Вслед за этим письмом получишь другое по почте. Прощай — пиши, бога ради. Ржевский²¹ был в Прямухине — говорит, что А<лександра> А<лександровна> процветает — полна и здорова, а у Т<атьяны> А<лександровны> чуть ли не чахотка. Это меня огорчило. Прощай. Твой

В. Белинский.

187. Н. А. БАКУНИНУ

СПб., 1841, декабря 9.

Насилу-то бог привел меня ответить скоро на письмо Ваше,¹ о милый мой офицер и молодой глуздырь!² Не можете представить, сколько радости доставило мне *Ваше* милое письмо! Я по крайней мере три дня был чем-то занят и не чувствовал внутри себя бездонной пустоты, в которой только фэй — посвистывает.³ А три дня удовольствия — для меня это такое редкое счастье, от которого я давно уже отвык. Развертываю Ваше письмо, прочитываю 8 строк безобразных Ваших каракуль, и вдруг Вы, к величайшему моему изумлению и радости, прерываете свою беседу и рекомендуете мне послушать того, при ком Вы весьма не обосновательно сочли за нужное замолчать. Каракули Ваши прерываются прекрасною рукою, на которую

можно любоваться даже и просто, не читая. Что же до содержания — я (говорю без всяких фраз) не умею выразить того тихого, кроткого, теплого и задушевного чувства, которое возбудило оно во мне и которого я так давно уже не испытывал. Правда, строки Т<атьяны> А<лександровны> не заставили меня выйти из моих тяжелых убеждений; но они повеяли на меня прохладой и негой участия и самым фактом доказали, что точно бывают в этой жизни и приятные минуты. Заключительные строки Т<атьяны> А<лександровны> особенно отрадно подействовали на меня, хотя они и заключают в себе упрек, который возбудил во мне сознание — не скажу, вины, ибо глупость и ограниченность не есть вина, — а моего прежнего образа мыслей... Но не буду говорить об этом...

Сей недосказанный упрек
Я разгадать вполне не смею,⁴

и вместо всякого оправдания, которого, впрочем, никто и не требует, повторяю эти чудные стихи Пушкина:

Так легкомысленной душой,
О боги, смертный вас поносит;
Но вскоре трепетной рукой
Вам жертвы новые приносит.⁵

Продолжаю мою повесть. Вдруг, о ужас! Снова каракули... однако я не стал их читать, а машинально перевернул листок — и хорошо сделал: каракули снова сменились другою прекрасною рукою... Когда я столько раз перечел обе прекрасные руки, что выучил их наизусть, тогда (по пословице: не всё коту масленица — будет и великий пост), поморщившись весьма неграциозно, словно кошка, лизнувшая уксусу, принялся за каракульки. Впрочем, и Ваши гиероглифы мне показались досадными потому только, что отняли (заняли — хотел я сказать) много места в маленьком письме, — и когда мне больше нечего было читать, я и их прочел не без удовольствия. Только одно не понравилось мне в них: то, что говорите Вы мне о братьях. Любезнейший Николай Александрович, не должно хвалить никому другому ни своих сестер, ни своих братьев и вообще никого *своих*; уверяю Вас, это дурная привычка. Оставьте всякому свободно понимать предмет и делать о нем свои заключения не по Вашим возгласам и рекомендациям, а по собственному непосредственному впечатлению и собственным наблюдениям. Поверьте мне, что тогда Вы скорее будете у своей цели; тогда как, действуя, как Вы теперь действуете, всегда останетесь при результате, совершенно противоположном тому, которого добивались. Вам известно хорошо, как

понимаю я Ваших сестер, следовательно, об этом нечего и говорить. Что же до Ваших братьев, я не имею никаких причин ни любить, ни не любить их. Они совершенно чужды мне, как и я им. Если бы они нуждались во мне, я готов всё, что могу, сделать для них, но не для них самих, а потому, что они Ваши и сестер Ваших братья. Точно так же, я уверен, Вы сделали бы всё, что можете, для моего брата за то, что он *мой* брат; но сам по себе он для Вас — ровно ничего. Вы скажете, что Ваши братья «чудные ребята»; положим и так, но ведь и мой брат (для меня) — чудный малый. Хотя я и терпеть не могу родственности, но понимаю возможность, по излишней нежности к себе, увидеть в нем то, чего другие в нем не увидят; но меня утешает в этой печальной возможности то, что я теперь потерял охоту делать чудное для меня чудным и для других. Если я не застаю Ваших братьев в Торжке, это не сделает мне удовольствия; а если застаю, это не сделает мне неудовольствия. Если что-нибудь меня сблизит с ними — очень рад; если не сблизит — не рад, да и не печален. Вы напрасно говорите, что «то, что тогда говорили мне о них, сущая неправда»: мне никто и ничего не говорил о них; а говорил о них Вам я, по собственным моим наблюдениям, а не по чужим наговорам. Я и теперь не отрицаюсь от того, что говорил тогда. Ваш меньшой брат, будучи мальчиком, корчил взрослого, и потому весьма походил на Ивана Александровича Хлестакова.⁶ И — знаете ли что? — тут нет еще ничего особенно дурного: это недостаток ребенка, а дети скоро изменяются и так же способны исправляться, как и портиться. Я уверен, что теперь он не тот, и, по человеческому чувству, я этим доволен, а *за Вас* — рад, ибо он *Ваш* брат. Не осердитесь на меня за эти строки: я не умею хитрить и не гожусь в политики, особенно с теми людьми, которых люблю, как Вас. Скрыть или замаскировать свое мнение от чужого человека — иногда бывает благоразумно и похвально; но хитрить с человеком, которого любишь, по моему мнению, — просто подлость. И потому, любезнейший Николай Александрович, когда мы увидимся, или совсем не говорите со мною об иных предметах, или будьте готовы услышать мнение прямое, иногда даже резко и жестко выраженное до кого бы оно ни касалось — до молодого ли философа,⁷ которого жизнь и действия находятся в диаметральной противоположности с его глубокими, обнаруживающими богатую и даровитую натуру убеждениями и понятиями, или до старого политика,⁸ который всю жизнь свою играл святейшими человеческими чувствами и никогда не задумывался принести в жертву своим мелочным расчетам счастье тех, которых обманом уверил в своей мнимой святости... Иногда мне бывает досадно на себя за эту тяжесть и негибкость моей натуры;

но что мне делать с собою: я рожден, чтобы называть вещи их настоящими именами; я в мире боец...⁹ И за то меня искренно любят человек десять и ненавидят сотни людей; говорю без преувеличения, иногда доходят до меня проклятия таких людей, которых я никогда не видал в глаза и которым не сделал никакой неприятности. Но Вы, мой милый Николай Александрович, не из этих людей; Вы, я знаю, любите меня и охотно снесете резкости и неровности моего характера, и потому — Вашу руку, любезнейший мой Николай Александрович! Мы с Вами скоро увидимся.

Да, мы скоро увидимся — и эта мысль так сладостно потрясает мое сердце, и я с такою любовью лелею ее в душе моей. Я еду к родным, еду к своим, забыться дня на два от мучений жизни, отдохнуть усталую душою, снова увидеть так давно милые душе образы, которые иногда видятся мне сквозь житейский туман, словно ангельские лики в облаках. О, мой милый Николай Александрович! зачем глупые условия общества и моя робость не позволят мне взять их руки и, крепко сжав их в своей, сказать им, как глубоко, как нежно, как братски люблю я их и с каким бы блаженством благословил я их на радость и на счастье! Видите ли, я всё тот же, что и был, всё та же прекрасная душа, безумная и любящая. Сердце мое не охладело, нет, оно умирает не от холода, а от избытка огня, которому нет пищи, не от недостатка жизни внутренней, а от ее избытка, не находящего для себя пищи вовне. Обаятели мир внутренний, но без осуществления вовне он есть мир пустоты, миражей, мечтаний. Я же не принадлежу к числу чисто внутренних натур, я столь же мало внутренний человек, как и внешний, я стою на рубеже этих двух великих миров. Недостаток внешней деятельности для меня не может вознаграждаться внутренним миром, и по этой причине внутренний мир — для меня источник одних мучений, холода, апатии, мрачная и душная тюрьма. Сердце мое еще не отказалось от веры в жизнь, ни от мечтаний; но сознание мое покоряет сердце и заставляет его вторить себе судорожными трепетаниями; для моего же сознания жизнь равна смерти, смерть — жизни, счастье — несчастью и несчастье — счастью, потому что всё это — призраки, создаваемые субъективною настроенностию нашего духа в ту или другую минуту, а сами мы — исчезающие волны реки, тени преходящие. Я не верю моим убеждениям и неспособен изменить им: я смешнее Дон Кихота: тот, по крайней мере, от души верил, что он рыцарь, что он сражается с великанами, а не мельницами, и что его безобразная и толстая Дульцинея — красавица; а я знаю, что я не рыцарь, а сумасшедший — и всё-таки рыцарствую; что я сражаюсь с мельницами — и всё-таки сражаюсь; что Дульцинея моя (жизнь) безобразна и гну-

сна, а всё-таки люблю се, назло здравому смыслу и очевидности. Но Вы не поймете этого, о глупдырь торжковский! Вы еще слишком дитя для истин, до которых человек доходит только путем действительности, путем страданий. Вы живете в мире мечтательном — и Вы счастливы. Но я не завидую Вашему счастью, но жалею Вас в нем. Мир мечтаний — мир призраков и миражей, и кто упорно остается в нем на всю жизнь, тот или делается ограниченным человеком, или погибает страшно. Для меня нет ужаснее мысли, как остаться у жизни в дураках, быть ее дюпом:¹⁰ пусть бьет она меня, но я буду знать, кто и что она, и на удары буду отвечать проклятиями: это лучше, чем позволить ей спеленать себя и убаюкивать, как ребенка. Гёте сравнил мужа с кораблем, презирающим ярость волн и бури, — прекрасное сравнение!¹¹ Так вон же из мирной и тихой пристани, где только плесень зеленая, тина мягкая да квакающие лягушки, дальше от них, туда, где только волны да небо, предательские волны, предательское небо! Конечно, рассудок говорит, что где бы ни утонуть, — всё равно, но я лучше хотел бы утонуть в море, чем в луже. Море — это действительность; лужа — это мечты о действительности...

Вы, о мой плетец неоперенный, хотя и с пером в трехуголке! — ушли от жизни в свой маленький родственный кружок; боюсь за Вас. В этом кружке хорошо быть гостем и отдыхать от борьбы с жизнью, но не жить в нем. Всякий кружок ведет к исключительности и какой-то странной оригинальности: рождаются свои манеры, свои привычки, свои слова, любезные для кружка, странные, непонятные и неприятные для других. Но это бы еще ничего: хуже всего то, что люди кружка делаются чужды для всего, что вне их кружка, а всё это — им. Я сужу по собственному опыту. Наш кружок был обширнее Вашего, характеры и личности разнообразнее, ибо тут сошлись люди не родные, не односемейные, а со всех 4-х сторон света; но, боже мой! Грустно вспомнить об этой ограниченной исключительности, с какою мы смотрели на весь мир.¹² Помните ли, любезнейший Николай Александрович, как холодно я сошелся с Вами, как долго я дичился Вас? А отчего? — Вы были не наши, Вы были в мундире, не знали наших любимых слов, не умели беспрестанно, хотя бы с зевотою, поговорить об одном высоком и прекрасном. Я и теперь еще не вполне вылечился от этой болезни «кружка», но уже — слава аллаху! — далеко, далеко не таков, каким Вы меня знали, так что Вам при свидании надо будет знакомиться со мною вновь. У всякого человека должен быть свой уголок, куда бы он мог укрываться от ненастья жизни; и Ваш уголок особенно прекрасен; но уголок и должен быть уголком, а не миром, жизнь же должна быть в мире. Я этим не то хочу сказать, чтобы Вы жили открыто в глупом

торжковском мире — это не мир, а пакостное болото; я хочу сказать, чтобы Вы своего кружка не брали меркою мира, но как можно <больше> из мира вносили бы в свой уголок; мир же есть жизнь в общем значении. Но я чувствую, что заврался, а между тем рука устала и писать не хочется. Выехать из Петербурга я надеюсь числа 19 или 20 текущего месяца. А между тем, не напишете ли Вы мне и еще такого же прекрасного письма — а?.. Я этим нисколько не думаю обременять Вас: чем менее приложите Вы письменного труда, тем я буду довольнее... Как Вы думаете? Прощайте, мой милейший офицер и мечтатель! Мой *чудный* и *хорший* Бакунин! Не поверите, с каким нетерпением жду я свидания с Вами! Живите Вы в глуши, один — сделал бы 100 верст крюку, чтобы денек-другой побеседовать с Вами в дымной и вонючей избе крестьянина.

Ваш В. Белинский.

188. И. И. ХАНЕНКЕ

СПб. 1842. Февраля 8.

Долго ругал я тебя, о Х<аненко>, за твое упорное и глупое молчанье. Раз хотел даже разругать письменно, но, к счастью, поленился. Наконец, в то время, как я уже думал, что мы с тобою не увидим и не услышим более друг друга (ведь я забыл к тому же твой адрес), вдруг — слава аллаху и пророку его Ф. Н. Глинке! — получаю письмо,¹ разворачиваю и зрю — стихи!.. Прочтя несколько слов, я догадался, что это письмо от Х<аненки>, писанное прозою, но неровными строками с одной стороны (вероятно, от душевного волнения и сердечного трепета вследствие чтения стихов Глинки), отчего эта проза и вышла похожею на стихи.² — Что я делаю? — спрашиваешь ты меня. Да всё то же, — отвечаю я. Ездил на праздники в Москву и как жил там без заботы и работы, то в две недели поправился в здоровье, даже помолодел;³ а теперь хил и зол и измучен, словно водовозная лошадь. Так ты в Питер не надеешься скоро быть? Дрянь ты, братец, дрянь!⁴ Человек с деньгами, но без воли — это так же гадко, как с волею без денег. Да ты врешь, ты приедешь. Я жду тебя и слышать не хочу, что не приедешь. Сохрани тебя бог: как раз окритикую в моей литературе.

Ты проводишь время в деревне не слишком скучно, о счастливый, хотя и нелепый человек! Но это счастье худо кончится: оскорбленная твоя натура некогда восстанет, но это восстание не возродит, а уничтожит тебя, ибо уже поздно будет. В деревне, в кругу домашних и свиней и в кругу помещиков и их собак и дворовых людей нельзя и «в просвещении *стать с веком наравне*».⁵ Читать Байрона, ничего не читая о Байроне, бесполезно: можно смешать его с Ф. Г<линкой> или при нем читать Ф. Г<линку>. Шекспира Кетчерова ты можешь вытребовать

прямо через Пв<анова>, а что до «Suplement zu Schillers Werke», * не знаю ни как, ни из какой лавки. Уведомь.⁶

По твоему письму всё выполнено. Свидетельство я вчера переслал к полковнику. Он здоров и набивается на свиданье со мною по поводу кучи твоих бумаг, как будто мне до них или до него какое-нибудь дело! Вот уж подлинно, как бапный лист... Дело мое с Верлепковым⁷ кончилось надувательством с его стороны, а на службу тоже не попал: видно, судьба не хочет.⁸

Теперь у меня к тебе есть просьба. Кн. К<озловский> через меня получил от братьев небольшую сумму в уплату долга; 200 р. велел он мне оставить у себя (вероятно, имея в виду свой долг тебе), а остальные употребить по его поручению. Просьба моя к тебе гадкая и подлая. Вот в чем дело: обстоятельства мои как будто начинают поправляться, но последнее давление нужды нестерпимее обыкновенных, а потому ужасно сильно поползновение выскочить из болота на плечах ближних. Короче: если можешь, позволь мне украсть у тебя (до времени, впрочем, неопределенного) эти 200 р.: они для меня были бы большою подмогою. По этому пункту жду от тебя решения.⁹ Ей-богу, краснею от своей наглости и бесстыдства: да что же делать! Ведь дело идет о деньгах — это есть солнце жизни, без которого жизнь темна и мрачна и холодна... Кстати, о К<озловск>ом. Он получает 480 р. асс. жалованья, каждый день имеет говядину во щак.¹⁰ Жить там дороже, чем в Питере. Князь посылает тебе сто поклонов. Жаль мне его.

Б. наконец догадался, что был у нас шутом.¹¹ Со мной он еще так и сяк, но против Панаева в явной вражде. Вот ограниченный-то человек!

Панаев, Языков, К<омаров> и В<ержбицкий>¹² тебе кланяются. Они тебя любят, а только смеются над твоею способностью гнить в деревне и читать Ф. Глинку:

«Демон» Лермонтова запрещен в «Отечественных записках», где был напечатан целиком.¹³

Пиши ко мне: я буду отвечать по мере возможности и побеждать свою лень. Прощай.

Твой Белинский.

Р. S. А что же обещанные тобою исторические материалы для «Отечественных записок»?¹⁴ Присылай скорее к Иванову.

* «Дополнений к сочинениям Шиллера» (нем.). — Ред.

СПб. 1842 г., марта 14 дня.

Боткин — чудовище! Старый развратник, козел грехоносец! С ужасом прочел я нечестивое письмо твое,¹ с ужасом выслушал рассказы *Кульчика*² о Вашем общем непотребстве, пьянстве, плотоугодии, чревонеистовстве и прочих седми смертных грехах!.. Покайтесь: время близко—еду к вам и—буду пьянствовать с вами.

О Б<откин>! понимаю, друже, тебя. Гнусный желудок не позволяет мне пить много, зато офицер кое-как еще служит.

Трагическое распутство! Звучите бокалы и стаканы, раздавайтесь нестройные клики пьяной радости, буйного веселия — «ведь нигде на наш вопль нету отзыва!..»³ Эй, ты милая — <...> да пу, без нежностей, <...> — «ведь нигде на наш вопль нету отзыва!»

В письме твоем мне крепко понравились эти строки, которые повторяю, как будто мои собственные: «Я соглашусь лучше иметь приютом своим <...> и конкубиною <...>, которая будет <...> из денег, — нежели страдать по *хладной красавице*; лучше замереть в разврате, чем в пряничной любви». Мысль, достойная человека! Нет подлее и унизительнее роли несчастного влюбленного. Да, *теперь* я это слишком глубоко чувствую и понимаю. Готов всю жизнь упиваться до безумия красотою и грациею в образе женщины; но — уверен в этом — буду уметь быть пьяным благоразумно, не теряя себя, и только — кажется мне — предположение или достоверное убеждение, что сия «дочь бедных, но благородных родителей» равнодушна к моей некрасивой и дикой особе, может возбудить во мне какое-нибудь чувство, *sine qua non*...* Любовь по преимуществу жизнь и ремесло женщины: ей сроднее тут сделать шаг вперед, не так стыдно ошибиться; но мужчине — бррр! — Будь он хоть семи пяденей во лбу, но я почувствовал бы к нему слишком обидное для его самолюбия сожаление.

Давно собирался писать к тебе; но отвращение к перу делается во мне какой-то болезнию. Да и о чем писать? А поговорить хотелось бы о многом. Да — мне еще надо разругать тебя на чем свет стоит.

С чего ты взял, лысый чорт, смешивать мизерную особу И. П. К<люшника>ва с благородною особою Петра Бульдогова? И как ты в величавом образе сего часто упоминаемого Петра Бульдогова мог не узнать друга твоего, Виссариона Белинского, вечно неистового, всегда с пеною у рту и с поднятым вверх

* неперемнное условие (*латин.*).— *Ред.*

кулаком (для выражения сильных ощущений, волнующих сего достойного человека)?.. О Б<откин>! Б<откин>! ты обидел меня, ей-богу, обидел! Если бы ты оплевал лучшую горячую статью мою — я бы наплевал и на тебя, и на нее, и на себя, как на вздор и пустяки; но *тут*, сей первый и робкий опыт юного таланта на совершенно новом для него поприще... опыт, столь удачный, столь блестящий—о Б<откин>! Б<откин>! где ж дружба, где любовь! Мрачное мщенье, выходи из утробы моей, выставляй змеиные жалá свои, о Едельмона, Едельмона!⁴ и пр. Нет, Б<откин>, не шутя, я способен ко многим родам сочинений, когда вдохновляет меня злоба. Идея «Педанта» мгновенно блеснула у меня в голове еще в Москве, в доме М. С. Щепкина, когда Кетчер прочел там вслух статью Шевырки. Еще не зная, как и что отвечу я, — я по впечатлению, произведенному на меня доносом Шевырки, тотчас же понял, что напишу что-то хорошее... В Питере эта штука прошла незамеченной; «Москвитянина» у нас никто не читает, Шевырка известен, как миф. Впрочем, Панаев вчера сказал, что уж странно не узнать меня-то в этой статье, где я весь (будто бы вылился), и странно приписать ее И. П. К<люшнику>ву, которого тут и видом не видать, слухом не слышать...⁵ А статейка была не дурна, да цензурный комитет выкинул всё об Италии и стихи Полевого — злую пародию на стихи Шевырки.⁶

Кстати об И. П. К<люшнику>ве: он не то, что пизтист, а уж просто <...>, или, лучше сказать, <...>-рыба. Он делается каким-то *imbécile*:* говорит об одних моментах, всем надоедает, все на него смотрят, как на помешанного. Недавно он выдумал новую штуку: Гоголь художник, но «Ревизор», «Иван Иванович и Иван Никифорович» и пр. — не художественные произведения, ибо-де не было высокого искусства изображать чучел, вроде Держиморд. Поверишь ли, Б<откин>, этот человек иногда бывает отвратительно жалок, и, вместо спора, хотелось бы замазать ему рот пекинской желтою глиною**...

Статьею о Майкове я сам доволен, хоть она и никому здесь особенно не нравится, а доволен ею я потому, что в ней сказано (и притом очень просто) всё, что надо, и в том именно тоне, в каком надо было сказать.⁷ Статья о «Мирошеве» не подгуляла бы, если б цензура не вырезала из нее смысла и не оставила одной галиматши.⁸ После статьи о Петре Великом ни одна еще статья моя не была так позорно ошельмована, как статья о «Мирошеве». Нравятся мне очень два стихотворения Огарева — «Характер» и «Была пора», только зачем он, дерзкий человек, позволяет себе личности на таких достойных особ,

* слабоумным (*франц.*).— *Ред.*

** Далее не хватает листка.

как, например, твой благородный друг В<иссарий> Б<елинский>: всё, в чем говорится «о раскаянии, как мучении слабых душ», я принимаю на свой счет. «Кабак» вообще не дурен, но концом подгулял. Мне очень жаль, что я не увиделся, разъехавшись, с этим милым Огаревым. Жму ему руку и даю братское лобызание.⁹

Уведомь меня, ради аллаха, — проводивши меня, застал ли ты у себя Гоголя и Щепкина?

Что Гоголь? Печатаст ли «Мертвые души»?

1-я половина повести Ган «Напрасный дар» мочи нет, как хороша, убийственно хороша.¹⁰

«Дяде Кроносу» — очень удачно переданная вещь.¹¹ Что это за свинья Гёте-то как личность! Без воли, без силы, прекрасная душа, истинный Клавиво — хуже нас, грешных. Ну, да черт с ним!¹²

Летом я опять в Москве, во что бы то ни стало, и притом не меньше, как от одного до двух месяцев. Зимняя поездка меня переродила — я поздоровел и помолодел. Вообрази себе, что теперь я сплю по-твоему: в какое бы время ночи ни лег — сию же минуту, как убитый. О моем духовном здравии и состоянии писать к тебе нечего: об этом ты ведай по себе. Мучительный зензухт¹³ ощущаю к жизни беззаботной, пустой, праздной, бражнической. Дома быть не могу ни минуты — страшно, мучительно, холодно, словно в гробу. Ну, авось либо не напишу ли к тебе еще на днях нескольких строк, а теперь лень, да что-то и не пишется. А потому прощай.

Твой В. Белинский.

P. S. Уведомь сейчас же, если Шевырка спятит с ума или сомлеет. Посылаю к тебе записку Панаева к Краевскому с надписью: «Очень нужное»; из нее ты увидишь ясно, что считает в жизни «очень нужным» сия благородная натура.¹⁴ Кудрявцеву умиленно кланяюсь, а также и Грановскому, Кетчеру и всем нашим, в число которых включаю и М. С. Щ<епкина>. Кланяюсь Кольчугину¹⁵ — спасибо ему за письмо его, умное и интересное. Читал я его Панаеву. Статьи Сабурова прочту:¹⁶ коли Кольчугин хвалит, видно, хороши.

Профессорам¹⁷ — низкий поклон.

Ну, прощай.

Комнаты моей ты не узнал бы — великолепие неописанное! Огромная карта Европы (на французском языке) закрывает иечь; против — карта России, огромная, эстамп с картины Верне — солдат, зарывающий в могилу товарища.¹⁸ Ну, и прочее.

Я всё надеялся, что ты пришлешь мне с Кульчиком заметки об истории Лоренца и выписку из Гегеля; но пьянство есть

порок... Теперь я сам должен, с моею ученостию, наговоря много, ничего не сказать о Лоренце.¹⁹ Чорт тебя возьми!

До отъезда в Москву я забрал у Кр<аевско>го 1000 р.; по приезде он мне тотчас отдал, по расчету, с лишком две остальные, а недавно и еще 500 (когда я и не просил). Из этого можешь видеть, честный <ли> человек Кр<аевский>. Он груб — русский человек — мощну развязывает с кряхтением (когда мало денег) — вот и всё; но в честности его нельзя сомневаться. Увы! страшно подумать — 3500 р.! Где ж они? — спросишь ты:

...Всё исчезло без следов,
Как легкий пар вечерних облаков:
Едва блеснут, их ветер вновь уносит —
Куда они? зачем? откуда? — кто их спросит...²⁰

Ей-богу, не шутя, Б<откин>, готовь мне денег в мае месяце, да не по мелочи, а какую ни на есть (как позволят тебе средства) *сумму*, ибо оную тебе в декабре отдам. Без твоей же суммы придется пешком идти в Москву, а уж хоть пешком, да приду же.

190. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, марта 17.

Вот мне и опять пришла охота писать к тебе, Боткин. Но о чем писать? — право, не знаю: и хочется, и не о чем! Ну, пока не придумаю лучшего, выругаю тебя хорошенько за то, во-первых, что ты ничего не прислал мне с Кульчиком о Лоренце и тем вверг меня в бедственное положение писать о том, чего не знаю;¹ а во-вторых, за то, что ты не взял у нелепого К<етче>ра мою статью о Петре Великом² и не переслал ее мне с Кульчиком. За всё сие желаю, чтобы твоя лысина распространилась еще больше.

Стихотворение Лерм<онтова> «Договор» — чудо как хорошо, и ты прав, говоря, что это глубочайшее стихотворение, до понимания которого не всякий дойдет; но не такова ли же и большая часть стихотворений Лермонтова? Лерм<онтов> далеко уступит Пушкину в художественности и виртуозности, в стихе музыкальном и упруго-гибком; во всем этом он уступит даже Майкову (в его антологических стихотворениях); но содержание, добытое со дна глубочайшей и могущественнейшей природы, исполинский взмах, демонский полет — *с небом гордая вражда*³ — всё это заставляет думать, что мы лишились в Лерм<онтове>, поэта, который по содержанию шагнул бы

дальше Пушкина. Надо удивляться детским произведениям Лермонтова — его драме, «Боярину Орше» и т. п. (не говорю уже о «Демоне»): это не «Руслан и Людмила», тут нет ни легкомысленного похмелья, ни сладкого безделья, ни лени золотой, ни вина и шалостей амура, — нет, это — сатанинская улыбка на жизнь, искривляющая младенческие еще уста, это «с небом гордая вражда», это — презрение рока и предчувствие его неизбежности. Всё это детски, но страшно сильно и *взмашисто*. Львиная патура! Страшный и могучий дух! Знаешь ли, с чего мне вздумалось разглагольствовать о Лермонтове? Я только вчера кончил переписывать его «Демона», с двух списков, с большими разнидами, — и еще более вник в это детское, незрелое и колоссальное создание. Трудно найти в нем и четыре стиха сряду, которых нельзя было бы окритиковать за неточность в словах и выражениях, за натянутость в образах; с этой стороны «Демон» должен уступить даже «Эдде» Баратынского; но — боже мой! — что же перед ним все антологические стихотворения Майкова или и самого Анакреона, да еще в подлиннике? Да, Боткин, глуп я был с моею художественностью, из-за которой не понимал, что такое содержание. Но об этом никогда довольно не наговоришься. Обращаюсь к «Договору»: эта пьеса напечатана не вполне; вот ее конец:

Так две волны несутся дружно
Случайной, вольною четой
В пустыне моря голубой:
Их гонит вместе ветер южный,
Но их разрознит где-нибудь
Утеса каменная грудь...
И, полны холодом привычным,
Они несут брегам различным,
Без сожаленья и любви,
Свой ропот сладостный и томный,
Свой бурный шум, свой блеск заемный
И ласки вечные свои...

Сравнение как будто натянутое; но в нем есть что-то лермонтовское.⁴

Со мною сделалась новая болезнь — не шутя. *Поет грудь*, но так сладко, так сладострастно... Словно волны пламени то нахлынут на сердце, то отхлынут внутрь груди; но эти волны так влажны, так освежительны...⁵ Ощущение это давно мне знакомо; но никогда оно не бывало у меня так глубоко, так чувственно, так похоже на болезнь. Особенно овладело оно мною, пока

я писал «Демона». Странный я человек: иное по мне скользнет, а иное так зацепит, что я им только и живу: «Демон» сделался фактом моей жизни, я твержу его другим, твержу себе, в нем для меня — миры истин, чувств, красот. Я его столько раз читал — и *слушатели* были так довольны...

А знаешь ли что? Да что и говорить — знаешь... Оттого-то я так и люблю говорить с тобою, что не успеешь сказать первого слова, как ты уже выговариваешь второе...

Знаешь ли, когда пора человеку жениться? — Когда он делается неспособным влюбляться, перестает видеть в женщине «ее», а видит в ней просто (имярек). Когда я был в Торжке, я не мог скрыть от себя, что присутствии А<лександры> А<лександровны> дает мне гораздо больше, чем присутствие Т<атьяны> А<лександровны>;⁶ а когда я говорил с нею, я пьянел без вина, из глаз сыпались искры; но нет ее, — и всё кончено. Да, не надуешь: полюби-ко сама сперва да дай это знать — так, пожалуй, сойду с ума и сделаюсь таким дураком, какого другого и не найти; но без того — слуга покорный... *Наше вам-с*, как говорит Григорьев.⁷ А из сего, о Боткин, следует ясно, что пора... ай! ай! святители! ничего, ничего! молчание!..⁸

Ух!.. Дай дух перевести... И прочее: сам ты человек не глупый — поймешь. Оно бы, может быть, мы и выкинули такую штуку, да нужны деньги, а их у нас нет... Поедем же в <...> или к Марье Ивановне. Кстати: у ней был бал, описание которого, сделанное как следует, уморило бы тебя со смеху.

Кульчик — славный малый: с ним как-то болтается; он очень тепел и задушевен. Много смешно понимает, но это провинциализм; много глубоко и никогда не постигнет, но это от бедности натуры в демонских элементах. Он слишком кроток и младенец душою; ему бы барышни хорошенькие, предмет для «святой и возвышенной» страсти — он и доволен. Во всяком случае, его нельзя не любить. Мы с ним тебя позлословили и поругали — и поделом; но об этом после, когда-нибудь.

Передай мой сердечный привет Александру Ивановичу, его усам и похвальному обычаю молча осушать всякую посуду с вином, от рюмки до лохани.⁹ Чорт возьми, нет мне ни в чем удачи: только поехал я в Москву — и на похороны в Новгороде, в Москве опять на похороны;¹⁰ Грановский явился только перед моим отъездом, Клыкова совсем не было, брат твой, как нарочно, уехал к китайцам рассуждать о «Троесловии» Кон-фудзы.¹¹ Приехал Кульчик — похорон нет, а честная братья вся тут налицо — кутят, пьют. Конечно, я не питух и плохой любитель шумных оргий, я немец душою, люблю «беседовать кротко и мирно»; но иногда хорошо же и побеситься.

Долгое житье с тобою в Питере было для меня весьма не бесполезно: моя приемчивая натура не упустила случая кое-чем «одолжиться». Особенно хорошо я понял, что ты разумеешь под «нравственными отношениями, как основою брачной жизни». Даст же господь человеку талант к чему-нибудь одному. Уверен, что прочту и пойму и Гегеля о браке, не зная ни слова по-немецки.¹² Просто, Боткин, я схожу с ума — ну, заняла грудь, и слезы дрожат на потемневших глазах — больно и сладко... Когда приеду летом в Москву, смотри — не дай погибнуть моему приятелю во цвете лет и красоты. Скоро ты получишь посылку, которую передашь через Галахова; если же хочешь сам, то уведомя заранее — я о сем черкну слова два в «дерзком послании».¹³ Да знаешь ли, — если ты добрый приятель и любишь меня, — поговори — так — о чем-нибудь с Галаховым: не скажет ли он чего-нибудь вроде того, что сказал за чаем у нас — помнишь? — А если скажет — так писни мне поскорее. Коротко и ясно, Боткин: я схожу с ума, и свались мне с неба тысяч около десятка деньжонок, для *первого обзаведения*, — поминай, как звали, зови попов, пеки блины и твори поминки. Страшно сказать, что делается внутри меня. Хотелось бы поболтать с тобой об этом. Отдам «Демона» своего в хороший переплет и препровожу с «посланием» — будь, что будет, а надо завязать узел — и пусть судьба развязывает его, как хочет — хуже не будет. Ну, теперь опять долго не усну: волны расходились в груди — и я весь расплылся.

Кланяйся всем. Напиши мне что-нибудь поскорей. Милому Кольчугину¹⁴ — пренизкий поклон за прекрасное письмо и бесценный подарок. (Если он мне не подарил *книгу*, то я, наверное, *забуду* взять ее с собою в Москву). Сегодня получил письмо от Кольцова — плохи его дела, и он уже не раз стоял у двери гроба, и только его сильная натура могла переносить то, что он вытерпел.¹⁵ Твой

В. Белинский.

191. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1842, марта 17 дня.

Любезный Дмитрий, письмо твое пришло ко мне слишком поздно, чтоб я мог по нем что-нибудь сделать. Дурак человек, несмотря на четко и ясно написанный тобою адрес, не мог найти конторы «Отечественных записок». Когда он ко мне явился, нашедши наконец меня, дети были уже отданы и всё сделано. Александр Никанорович был у меня; потом я у него был два раза и в оба не застал его дома, и больше не видал. Мальчииков он ко мне присылал в одно воскресенье поутру; я обласкал их,

как умел. Меньшой мне понравился, а физиономия старшего вполне оправдывает твою рекомендацию. Я бы хотел брать их по праздникам к себе; но Александр Никанорович, кажется, насчет этого не распорядился.

Если удастся достать портрет Лермонтова¹ — пришлю. Вообще постараюсь на этот счет.

Бога ради, возьми у г. Антонова консисторское свидетельство Никанора:² ведь этак оно и пропадет, сохрани господи!

Ну, как и что у тебя? Все ли здоровы? Что новорожденное? Что твоя дикая ворона, Зинаида? Что твой разудалый молодец, Леонид? Славный мальчиш!³ Летом я опять в Москве — и непременно, и на месяц, по крайней мере: привезу им всем гостинца. Леоноре Яковлевне мой сердечный привет. Прощай. Твой

В. Белинский.

P. S. Алеше мой искренний поклон: погладь его по головке и поцелуй в кончик носа. Чудак он большой, но и предобрый малый.

Вот мой адрес:

В Семеновском полку, на Среднем проспекте, между Госпитальной улицей и Первою ротою, в доме 2-жи Бутаровой, № 22.

Потрудись зайти в книжную лавку Улитина и сказать ему от меня, что он скоро получит от меня в уплату долга два экземпляра «Отечественных записок»; но что больше прислать ему пока не могу.

192. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, марта 31.

Вот и от тебя, любезный Боткин, уже другое письмо, да еще какое толстое, жирное и сочное — и теперь всё смакую, грациозно и гармонически прищелкивая языком, как ты во время своих потребительских священнодействий. Вот тебе сперва ответ на первое послание. Спасибо тебе за вести об эффекте «Педанта»: ¹ от них мне некоторое время стало жить легче. Чувствую теперь вполне и живо, что я рожден для печатных битв и что мое призвание, жизнь, счастье, воздух, пища — *полемика*. Успех статейки Бульдогова мне, сущу во гробе, живот даровал; ² но за этим кратковременным оживлением снова последует смерть. Но довольно об этом. Я не совсем впопад понял твой кутеж, ибо хотел состояние твоего духа объяснить моим собственным. Вижу теперь ясно, что ты разделяешься с мистикой и романтикою, которыми ты больше и дольше, чем кто-

нибудь, был болен, ибо они — в натуре твоей. Если бы ты был человек ограниченный и односторонний, тебе было бы легко в сфере мистики и романтики, и ты пребывал бы в них просто, без натяжек и напряженности, которые были в тебе именно признаком другого противодействующего элемента, которого ты боялся, ибо не знал его, и против которого усиливался всеми мерами. Настоящим твоим кутежом ты мстишь мистике и романтике за то, что эти господа делали тебя дюпом³ и заставляли становиться на ходули, и наслаждаешься желанною свободою. Сущность и поэтическая сторона того, что ты называешь своим развратом, есть наслаждение свободою, праздник и торжество свержения татарского ига мистических и романтических убеждений. И потому — кути себе на здоровье и на радость — благословляю тебя и завидую тебе. Мне во всем другой путь в жизни, чем тебе и всякому другому. Не проходит почти вечера у меня без приключения — то на Невском, то на улице, то на канаве, то чорт знает где. . . Я об этом никому не говорю, и не люблю, чтоб меня об этом спрашивали. Это разврат отчаяния. Его источник: «ведь нигде на наш вопль нету отзыва».⁴ Это разврат, как разврат, ибо в нем нет поэзии, а следовательно, и ничего человеческого.

«Я начинаю сознавать, что того, что просит и хочет душа, что предчувствует высшая сторона моей природы — жизнь мне не даст, — не даст, это я просто и совершенно хладнокровно сознаю», — эти слова в письме твоём привели меня в глубокое раздумье. Прав ли ты? Здоровы ли предчувствия высшей стороны твоей природы? Не остатки ли они мистики и романтики? Неужели же жизнь и в самом деле — ловушка? Неужели она до того противоречит себе, что дает требования, которых выполнить не может? Не довели ли мы своего байронического отчаяния до последней крайности, с которой должен начаться перелом к лучшему? Всё это вопросы, которые я могу тебе предложить, но не разрешить. По крайней мере, мне становится как-то легче, может быть, от того, что в Питере теперь часто светит весеннее солнце и небо часто безоблачно. Право, я в странном положении: несчастлив в настоящем, но с надеждою на будущее, — с надеждою, с которою увиделся после долгой разлуки.

«Волны духовного мира» — вещь хорошая; без них человек — животное. Но всё-таки (согласен с тобою) нельзя вспомнить без горького смеха, как мы из грусти делали какое-то занятие и вели протоколы нашим ощущениям и ощущеньицам. Впрочем, нам не потому опротивело надоедать ими другим, чтобы мы перестали жить ими и полагать в них высшую жизнь, а потому, что поняли их, и они для нас — не загадка больше. Боже мой! сколько бывало толков о любви! А почему? — Эта вещь была загадкою;

теперь она для нас разгадана, — и я скорее буду спорить до слез об онѣрах и леве⁵, чем о любви. На некоторые прошедшие моменты своей жизни так же гадко бывает иногда возвращаться, как на место, где мы испражнились или — как ты грациозно выражаешься, *покакали*, а иногда и <...>.

А насчет «профинтился, голубчик?» — ты врешь — всё пошло на дело — не шутя. Чорт знает, когда я запасусь всем нужным и от долгов избавлюсь.

По приезде в Питер я сотворил у себя вечерю, т. е. обед. Марфа Максимовна⁶ славно накормила нас — даже Комаров был доволен. Был, братец, и лафит, и рейнвейн, и бургонское, и херес, и две шампанские, и я первую раскупорил за здоровье некоего Боткина. —

И все пили — *тебя* славили.⁷

Но вот горе: море открылось до Ревеля еще в конце января, и потому при афишах беспрестанные извещения об устрицах. Дней пять тому назад — иду — 4 р. десяток — съел три. А третьего дня к Сомову⁸ отправилась ватага, — и я съел *пятьдесят шесть* устриц, по 45 коп., ровно на 25 р., и если бы не пожалел денег, то сотню не почел бы бог знает каким обжорством. Апельсины и лимоны давно уже свежие продаются и очень дешевы.

Вот тебе новость: я — демон; В. И. Кречетов — Тамара, а Кульчик⁹ — ангел. Таким образом, поэма Лермонтова олицетворена нами вполне.

Пожалуйста, пиши подробнее о своих подвигах насчет <...> и прочего: меня это чрезвычайно интересует.

О Кольцове нечего и толковать. Я писал к нему, чтобы он всё бросал и, *спасая душу*, ехал в Питер.¹⁰ Я бы не стал его приглашать к себе из вежливости или так — такими вещами я теперь не шучу. Богаты не будем, сыты будем. За счастье почту делиться с ним всем. И уверен, что в Питере Краевский пристроит его. Пиши к нему и заклинай ехать, ехать и ехать. Не худо было бы ему лето провести у тебя без дела, для поправления телесного и душевного выздоровления, тем более, что и я месяца два проживу в Москве; вместе с ним и отправились бы в Питер.

О Лоренце не хлопочи: *преступление совершено*, и в 4 № «Отечественных записок» ты прочтешь довольно гнусную статью своего приятеля — *ученого последнего десятилетия*.¹¹

Неуважение к Державину возмутило мою душу чувством болезненного отвращения к Г<оголю>:¹² ты прав — в этом кружке он как раз сделался органом «Москвитянина». «Рим» — много хорошего, но есть фразы; а взгляд на Париж возмутительно гнусен.¹³

«Мертвые души» отправлены в Москву (цензурным комитетом) 7 марта, за № 109, на имя Погодина с передачею Гоголю. Но Гоголь не получал; подозревает Плетнев, Прокопович и я, что Погодин получил, но таит до времени, с целию выманить у него еще статейку для журнала. Нельзя ли разведать в почтамте — получил ли Погодин, и поскорее уведомить меня?¹⁴

Бога ради, адресуй свои письма прямо ко мне на квартиру: *В Семеновском полку, на Среднем проспекте, между Гошпитальной улицей и Первою ротою, в доме 2-жи Бутаровой, № 22.* А то я днем и двумя позже получаю твои письма. Последнее было адресовано *только* на имя Краевского, который теперь сердится и на тебя и на меня, что мы заставляем его распечатывать чужие письма. Я уверил его, что ничего, а между тем досадно, если он прочел первые строки.

Кстати, о первых строках — они решительно глупы, и ты стбишь, чтоб тебе начхать на лысину. Я не боюсь, что *субъект* тебе понравится, а скорее боюсь, что не понравится — что было бы мне неприятно.¹⁵ Влюбись — я рад. Я не могу видеть в одной женщине условие жизни. Моя — хорошо; не моя — у Сомова славные устрицы. *Субъект* шевелит мне душу, и будь у него тысяч 10 на первую обзаведенцию — я летом же бы женился — право. Но, выходи она за другого — если он порядочный человек, — первый благословлю ее на радость и на счастье. *Субъект* меня сильно затронул и расшевелил именно тем, что я подозреваю в нем неравнодушие к моей особе. Без этого условия меня не надует ни одна женщина. Я вполне согласен с тобою, что лучше сгнить в разврате, чем вздыхать о жестокой деве. На этой неделе отправляю к тебе заветную тетрадку в сафьянном щегольском переплете, с золотым обрезаом. Доставь сам и познакомься — этим много утешись меня.

Читая рецензию на книгу Зедергольма, я кипел негодованием и повторял про себя: какая это свинья писала Краевскому? Но, дочтя до конца, спросил: какой это *умнющий* человек писал? Ловко, хитро, тонко и ядовито, разумеется, только для понимающих.¹⁶ Краевский сказал, что это ты; не узнал — в отмищение, что ты не только не признал во мне Петра Бульдогова, но еще — о позор — думал видеть в нем — Ивана Петровича!¹⁷

На второе письмо твое последует обстоятельный ответ, а теперь и лень и некогда. Прощай.

Твой Петр Бульдогов.

Милому Грановскому привет. Долго ли ему статейку списнуть — именно пока хоть для того только, чтоб имя его было в журнале.

Неприменно пришло тебе список моего «Педанта», дабы ты видел, что он действительно недурно написан, если его читать без цензурных поправок. Ивану Петровичу он весьма *не* нравится. Недавно сей философ наговорил мне такого вздору, что третьего дня приходил извиняться. Бог его знает: иногда говорит, как будто человек, и даже острит недурно; а то понесет вдруг — затыкай уши. Впрочем, — болтун, баба, повторяет мои зады, т. е. мои статьи о «Б<ородинском> ср<ажении>» и «Менцеле»; недавно, в споре, взбесил меня ссылкой на них. Бог с ним, — тяжел и скучен, хотя и не лишен многого хорошего — вот мое последнее слово о нем. Панаев прослезился от умиления, услышав о твоём кутеже: говорит, что прежде только любил тебя, а теперь-де уважает. С ним была история в маскараде — он врехался в маску, завел с ней переписку, и в разгаре истории, когда он получил письмо и боялся, чтоб А<вдотья> Я<ковлевна> не увидела, Иван Петрович сообщил ему *вкратце* содержание Гегелевой «Феноменологии духа» и доказал, как и в чем и почему я ошибаюсь. Панаев был в отчаянии.

Пожалуйста, друже, напиши что-нибудь — порадуй хоть несколькими строками.¹⁸

В Торжок ничего не писал. Недавно получил письмо от А<лександры> А<лександровны>. Т<атьяна> А<лександровна>, кажется, *опасна* и теперь, вероятно, уже в Москве.¹⁹

193. М. В. ОРЛОВОЙ

СПб. 1842, апреля 4 дня.

Вы, конечно, думаете, что я забыл о данном Вам обещании насчет присылки «Демона»: в таком случае, мне очень приятно разуверить Вас в моей забывчивости, когда Вы, вероятно, в свою очередь забыли о ней и думать. Нечаянное, неожиданное и притом столь приятное разрешение долго занимавшего меня вопроса о таинственном бумажнике сделало меня Вашим должником, — и, долго ломая голову, я, наконец, обрадовался мысли — переписать Вам «Демона» собственною рукою. Мне стало немножко совестно, когда, раскрывши довольно красиво обделанную тетрадку, я вдруг увидел свои каракули, дико-странные и безобразные, подобно мне самому; но если я узнаю (разумеется, от Вас самих), что Вы в этих каракулях увидели именно то, что должно в них увидеть — желание небольшим и приятным для меня трудом выразить Вам мою благодарность за Ваше незаслуженное мною внимание ко мне, — то нисколько не раскаюсь в том, что не нанял для переписки поэмы хорошего

писца. Это и было причиною замедления в исполнении моего обещания: я ленился приняться за работу, одна мысль о которой доставляла мне столько наслаждения и минуты которой потом были для меня такими прекрасными минутами, что я, конечно, не слишком торопился прекратить их.¹

Вот что считал я нужным объяснить Вам, и вот что решило меня взять на себя смелость написать к Вам эти строки: я был бы очень счастлив, если бы Вы дали мне знать, что Вы не считаете моей смелости совсем непростительною.

Но, взявши на себя одну смелость, я не мог удержаться и от другой — именно от желания доставить моему лучшему другу удовольствие Вашего знакомства, которого он сильно желает, зная Вас через меня и А. Д. Галахова. Пусть будет это ему от меня в награду за его готовность принять на себя хлопоты получения с почты тетради и доставления ее к Вам. Может быть, я слишком далеко простираю мою смелость, но прошу Вас позволить Василию Петровичу Боткину явиться к Вам, хоть для того, чтобы передать мне, уверить меня, что моя дерзость не превосходит Вашей снисходительности, — если Вы не захотите передать мне этого непосредственно от самих себя и тем подарить счастливым днем человека, слишком бедного счастливыми днями.²

Ваш покорный слуга
В. Беллинский.

P. S. Если бы (чего я, впрочем, не надеюсь) Вам нужно было что-нибудь поручить мне, по части книг или чего другого, — то я почел бы для себя за счастье выполнить Ваше поручение. В таком случае лучше всего адресоваться ко мне через контору «Отечественных записок» по адресу, который можно видеть на обертке каждого номера их.

194. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, апреля 4.

Сегодня послал я к тебе посылку — ящик с тремя пакетами (ящик осторожнее вскрой): два из них ты доставишь в дом М. С. Щепкина. Посылаемое на имя Ф(еклы) М(ихайловны)¹ есть картинка в переплете за стеклом, которое боюсь, чтоб не разбилось. Извинись за меня перед Ф(еклой) М(ихайловной) в плоховатости посылки: пока лучшего у меня нет, а когда-нибудь подарю гравюрку получше, а не такую средственную литографию. Что же до главнейшей посылки,² ее (как, впрочем, и всё) не распечатывай. Не знаю, как тебе доставить. Думаю, вот как: пошли с человеком, при записке от себя, где попроси расписки в получении для верности; а как расписку, вероятно, дадут, распечатавши уже посылку и письмо в *оной*, в котором

письме я прошу о позволении тебе явиться для знакомства, то и пр. Признаюсь, что мне бы не хотелось, чтобы А. Д. Галахов о сем что-либо знал, и хорошо бы мимо его; а впрочем, как знаешь, так и делай — только поскорее. Да и уведошь.

Краевский получил письмо от Каткова. Забуддыжный наш юноша отрезвляется и начинает говорить человеческим языком.³ Я, говорит, поехал с пьяными надеждами. Просит у Кр<аевского> помощи до августа, в половине которого хочет вернуться в Питер и заработать помощь. Я этому рад. Мне сил не станет пачкаться в журнальной грязи. Хочется отдохнуть и поменьше иметь работы.

Что ты ничего не говоришь о «Напрасном даре»? Вся повесть — чорт знает, что такое — я уж и забыл в чем дело; но есть вдохновенные лирические выходы. Превосходная музыка на дрянное либретто.⁴

И. П. Кл<юшников> гниет страшно — за полверсты воляет от него кастратством. Кроме «моментов», ни о чем говорить не может. Всем надоел. Впрочем, недавно сказал он хорошую вещь о Погодине, которого называет Петромихали⁵ («Портрет», повесть Гоголя), — как должно писать на него тип, подражая слогу его путевых записок:⁶ «12 апреля. Среда. Был в <...> не мог <...>».

Письмо твое о Пушкине и Лерм<онтове> усладило меня.⁷ Мало чего читывал я умнее. Высказано плохо, но я понял, что хотел ты сказать. Совершенно согласен с тобою. Особенно поразили меня страх и боязнь Пушкина к демону: «печальны были наши встречи».⁸ Именно отсюда и здесь его разница с Лермонтовым.⁹ О Татьяне тоже согласен: с тех пор, как она хочет век быть верною своему генералу <...> — се прекрасный образ затемняется. Глубоко верно твое замечание: «поэтические создания, являющиеся на таких всемирно-исторических рубежах враждующих миросозерцаний — становятся сами в трагическое положение». Это очень идет к Онегину.

О Лерм<онтове> согласен с тобою до последней йоты; о Пушкине еще надо потолковать. Мне кажется, ты приписываешь натуре Пушкина многое, что должно приписывать его развитию. Он не был исключительно субъективен, как Гёте: доказательство — его решительная склонность и способность к драме, которая так не давалась Гёте и к которой не был расположен Байрон (ибо лирическая драма — другое дело — «Фауст» и «Манфред»). Отторгло Пушкина от исторической поч-

вы его развитие. Наши гении всему учились понемножку.¹⁰ Страшно подумать о Гоголе: ведь во всем, что ни написал — одна натура, как в животном. Невежество абсолютное. Что он наблевал о Париже-то!¹¹

Но о Пушкине после, когда-нибудь. Лень писать. Прощай. Твой

В. Белинский.

195. М. П. КАТКОВУ и А. П. ЕФРЕМОВУ

СПб. 1842, апреля 6.

Письмо твое, Катков, к Краевскому очень обрадовало меня — за тебя.¹ Ты протрезвляешься, следовательно, становишься человеком, с которым можно быть в ладу и в каких бы то ни было отношениях людям, прежде его протрезвившимся. Ты был в Питере в полном своем опьянении, а у меня болела голова с похмелья. Питер — спасибо ему! — протрезвил меня от московской дури и «пьяных надежд». Я уже никому не друг, и мне никто не друг; но я многим добрый приятель, и мне многие добрые приятели. Я ни на кого не наваливаюсь с своею дружбою — и меня зато никто не душит ею, бог с нею. Но об этом — после. Был я недавно в Москве — преглупый город! Стыдно вспомнить, чем я там был! Там все гении, и нет людей; все идеалисты, и нет к чему-нибудь годных деятелей. Вид Москвы произвел на меня странное действие: ее безобразие измучило меня, и по возвращении в Питер красота его мощно охватила мою душу. Через 4 года мы будем ездить в Москву по железной. В Питере об этом все толкуют — ибо в нем всех это интересует; в Москве никто не говорит, ибо железная дорога — факт, а не фраза; если ж говорят — то весьма глупо. Москва гниет в патриархальности, пизетизме и азиатизме. Там мысль — грех, а предание — спасенье. Там все Шевыревы. Исключение остается слишком за немногими людьми.

В Москве я попал на похороны — Александры Михайловны Щепкиной. Бедная — ей так хотелось жить, так не хотелось умирать; а умерла!..² И мы все умрем; но в утешение положим с собою лекции Шеллинга об откровении, глубже которых ты ничего не знаешь, хотя и знаешь Гегеля...

Рад я, что ты скоро приедешь — рад и тем, что увижу тебя таким, каким всегда желал видеть и каким никогда не видел — грезвым; рад и тем, что ты будешь работать в «Отечественных записках», чрез что я буду иметь время отдыха от чтения произведений российской словесности. Приезжай скорее. Брось этих немцев — чорт с ними! Я с некоторого времени их не совсем жалею. Они большие философы, абсолют им нипочем; но все в чинах и филистеры.³

Прощай. Пиши, все тебе кланяются. Твой

Белинский.

А ты, о Ефремов! скоро ли вернешься? Хотелось бы мне узреть тебя лицом к лицу и поругать при тебе немцев, философию и гофратство. Говорят, и ты «сбился с пути и пошел в драконы», т. е. *учишься философии*, ты, созданный быть практическим философом! Отпусти тебе, боже, этот грех! Жрешь ли ты устриц? Я недавно съел больших 56 — словно только шесть. Как подешевеют — рискну на сотню. Вообще мы теперь стали попроще и больше едим, пьем и *прочее*, чем говорим о чувствах и идеях. Может быть, от этого сильнее кое-что чувствуем и лучше понимаем. Кланяйся отцу всех русских любомудров, Бакунину. Был я недавно в Торжке и провел у Бак<униных> два или три очень приятных дня. Но вот тебе горькое о них известие: Т<атьяна> А<лександровна> — *опасна* — говорят, *чахотка*. Ничего — все умрем; один позже, другой раньше; негодяи, подлецы и глупцы всех позже, и притом в чинах и с деньгами. Что В. А. Д<ьяко>ва?⁴ Николай Б<акунин> говорил мне,¹ что осенью она вернется в «дражайшее» отечество к «дражайшим родителям». Жаль мне ее, но и оставаться дольше ей нельзя же. Ах, если б и ты, милый Ефремов! Как бы я рад был увидеть тебя! Я уверен, что ты стал бы жить в Питере, куда и Боткин поровит переселиться из прѣтической Москвы. Нет ли слухов о некоем *Павле Заикине*?⁵ Да вообще писни хоть несколько строк искренно любящему тебя

Белинскому.

196. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, апреля 8 дня.

Любезный Боткин. Нашего приятеля Краевского постигло страшное несчастье — у него умерла жена.¹ 1 апреля благополучно разрешилась она от бремени (мучилась всего 6 часов), на другой день был сильный припадок — чуть не умерла; вчера была вне опасности — весела, а сегодня в 9 ч. вечера скончалась; молоко ударило в голову — обнаружились признаки помешательства, и умерла в беспамятстве. Бедный горько рыдает! Жаль и ее: была женщина добрая, кроткая, любезная и любящая, преданная.

Цель этого письма к тебе вот какая: Краевский боится, что внезапный слух о смерти его жены может опасно подействовать на его мать.² И потому сейчас же (ради самой *человечности*) отыщи Галахова и поручи ему приготовить половчее Варвару Николаевну, — если сам не возьмешься этого сделать. Кажется, это довольно, чтоб ты всё сделал.

Боже мой! Зачем дан человеку разум? Чтобы быть несчастнее всего неразумного, и потому счастливого!

Нет ли слухов от Т. А. Б(акунин)ой? Вот и еще жертва — да какая!..³

Твой В. Белинский.

197. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, апреля 13

Ты уже знаешь, любезный Б(откин), о несчастии, постигшем Краевского.¹ Боже мой! Неужели мне суждена роль какого-то могильщика! Я окружен гробами — запах тления и ладона преследует меня и день и ночь! Я понимаю теперь и египетское обожествление идеи смерти, и стоицизм древних, и аскетизм первых веков христианства. Жизнь не стоит труда жить: желания, страсти, скорбь и радость — лучше бы, если б их не было. Велик Брама — ему слава и поклонение во веки веков! Он порождает, он и пожирает, всё из него и всё в него — бездна, из которой всё и в которую всё! Леденеет от ужаса бедный человек при виде его! Слава ему, слава: он и бьет-то нас, не думая о нас, а так — надо ж ему что-нибудь делать. Наши мольбы, нашу благодарность и наши вопли — он слушает их с цыгаркою во рту и только поплевывает на нас, в знак своего внимания к нам. Лучшее, что есть в жизни — это *пир во время чумы и террор*, ибо в них есть упоение,² и самое отчаяние, самая скорбь похожи на оргию, где гроб и обезглавленный труп — не более, как орнаменты торжественной залы.

Погибающая собака возбуждает в нас жалость, мухи гибнут тысячами на наших глазах — и мы не жалеем их, ибо привыкли думать, что случайно рождаются и случайно исчезают. А разве рождение и гибель человека не случайность? Разве жизнь наша не на волоске ежечасно и не зависит от пустяков? Зачем же о потере милого человека мы скорбим так, как будто мир должен был перевернуться на оси своей, чтоб лишить нас его? Разве бог не всемогущ и не безжалостен, как эта мертвая и бессознательно-разумная природа, которая матерински хранит роды и виды по своим политико-экономическим расчетам, а с индивидуумами поступает хуже, чем злая мачеха? Люди в глазах природы то же, что скот в глазах сельского хозяина: хладнокровно решает она: этого на племя пустить, а этого зарезать. Из 100 младенцев едва ли один достигает юности, а из 10 мужей едва ли один умрет стариком. Долговременный мир усиливает народонаселение, — и *благое провидение* посылает моровую язву. Что всё это? — политико-экономический баланс природы или провидения — называй, как хочешь.

И однако ж мысль, что уж нет, был человек — и нет его, и уже не будет, что бездна разделяет труп от живых — ужасная, сокрушительная мысль. Время — целитель, сделает свое; волны жизни на болоте ежедневности изгладят из памяти милый образ — человек снова полюбит; это утешение, но утешение ужасное. Что же такое личность после этого, если не сосуд с драгоценною жидкостью: аромат вылился — и сосуд бросаю за окно!

Я страшный человек, Б<откин>; смерть Станкевича поразила меня сухо, мертво, но если бы ты знал, как это сухое страдание тяжело!³ Я как будто потерял в нем не друга, не близкого к себе человека, но скорее *необыкновенного* человека. Может быть, это дело долговременной разлуки, а может и потому, что Ст<анкевича> я не мог считать своим другом, ибо неравенство не допустило возможности этого ни с его, ни с моей стороны: он слишком сознавал свое превосходство, а я слишком самолюбив, чтоб исчезнуть в человеке, при котором я хоть сколько-нибудь не свободен. Как бы то ни было — его смерть поразила меня *особенным образом* и — поверишь ли? — *точно так же* поразила меня смерть Пушкина и Лермонтова. Я считаю их *моими* потерями, и внутри меня не умолкает дисгармонический, сухомучительный звук, по которому я не могу не знать, что это *мои* потери, после которых жизнь много утратила для меня. Мягче подействовала на меня смерть Любви Б<акунин>ой, но *подействовала*. Еще прежде того, смерть матери,⁴ с которою я тогда не был слишком разорван развитием, познакомила меня с этим чувством, безотрадным и болезненным, в котором не веришь своей потере, хотя и не сомневаешься в ней. И вот недавно, проезжая в Москву, в Новгороде же был встречен маленьким гробом: гроба я не видал, но видел скорбь отца.⁵ В Москве попал прямо на похороны Щепкиной.⁶ Недавно узнал о безнадежном состоянии Т. А. Б<акунин>ой.⁷ И вот — третьего дня (11 апреля) был на похоронах А. Я. Краевской. Удивительное счастье на гробы и на могилы!

7 апреля доктор и акушер объявили ее вне опасности; на другой день располагался он слушать Листа и говорил со мною в этот вечер, как человек, избежавший ужасной опасности. Это было часу в 12 ночи, — а в это время у нее снова начинался бред и начались предсмертные страдания. Ничего не зная, он лег спать, а поутру она уже не узнавала ни его и никого. По-сылаю к нему записку о разных делах по журналу и получаю в ответ: делайте, как знаете, голова ходит кругом — жена умирает. Еду к нему в страшном предчувствии и в какой-то уверенности в необходимости моего присутствия; ходит он бледный, желтый, черный, зеленый; в полуотворенную дверь вижу Лизавету Яковлевну,⁸ рыдающую в зале. Вдруг бежит она к нему:

асыпает! Обрадованный, бежит он туда. Я один; ужас, ужас трагический ужас полился по моим жилам, дыхание занялось, волосы встали; прислушиваюсь в полуотворенную дверь — молчание — страшное молчание — вот бежит Л<изавета> Я<ковлевна> — рыдает, а за нею идет он рыдая...

С Л<изаветой> Я<ковлевой> — припадок, истерика, род бешенства и сумасшествия — я с ней пнячился часа три и два раза на руках доносил до дивана — иначе она грянулась бы о пол. Он всё спрашивал и просил, чтобы растолковали ему, как это сделалось и возможно ли это. Она умерла в беспамятстве — ни одного слова от нее, ни улыбки прощальной, ни взгляда! Когда Л<изавета> Я<ковлевна> почувствовалась, она стала тиха и молчалива, ни слез, ни жестов. И теперь нельзя без сожаления видеть ее: тиха, молчалива, бледна и худа. Только перед выносом она упала на пол, рыдая без слез; но потом, и в церкви, и на могиле, тверда, бледна и молчалива, как теперь. В тот же вечер он сказал мне, что надо попросить Кириюшу снять портрет. Пришедши от него домой часу в 4-м, я написал письмо к тебе и записку к Кириюше.⁹ Добрый Кириюша, который давно уже бросил портреты, чтоб отличиться на экзамене, часов в 9 явился к нему, и когда я пришел, увидел его у стола, подле тела, с палитрой и кистью — портрет удался. На другой день (на 3-й после смерти) она начала гнить; Кр<аевский> переехал к Брянским, и это известие о запахе его еще более растерзало. Хочу видеть! Но мы боялись, что этот вид его слишком паразит, и Л<изавета> Я<ковлевна>, пришедши вечером в пятницу, сказала ему, что велела заколотить гроб. Услышав шум, вхожу, и он бросился ко мне с рыданием и как бы с жалобой, что уже не увидит ее. Тут я понял, что ему надо увидеть, ибо гниющий труп всего лучше мог положить черту между ним и милым образом, — и я сказал ему, что пойдем и увидим. На лбу ее было синее пятно, из носу и изо рту била пеною слабая кровь — вонь сильная; но он этого не чувствовал и горячо обнимал ее голову и целовал лоб. На другой день, увидев меня, он тотчас с рыданием начал мне жаловаться, что уж и узнать нельзя. Когда опустили в могилу, сложив руки, он как будто готов был рвануться туда, но, махнув рукою, скоро пошел прочь. Вообще его горесть не отчаянная, я даже не умею тебе характеризовать ее; но она объяснила мне, почему Гоголь считает «Старосветских помещиков» лучшим своим произведением. И оно, точно, лучшее его произведение! Об этом мы поговорим с тобою когда-нибудь.

Дети были давно удалены, и потому даже старший не просится к ней; но он явно смущен и как будто силится что-то вспомнить, и — странное дело — больше десяти раз было, что, взглянув на меня, он произносил тревожно: «Мама! мама!»

Жаль Кр(аевско)го, но жаль и се. Ей было всего 25 лет, она только начинала жить, и ей так хотелось жить, она так боялась умереть! Вообще, она была прекрасная женщина, и я ее очень любил. В пей было много милого, простодушного, детского, и много было такту: я никогда не слышал от нее пустого слова, не видел движения, которое было бы некстати. Она вообще была с нами добра и ласкова, но и только: муж и дети поглощали всё существо ее. Она не была довольно глубока, чтобы многому дать место в сердце своем; но и не была так мелка, чтоб растратиться по мелочи и любить всё понемножку. Он и дети его потеряли в ней истинное сокровище. Это была жена, какую дай бог всякому порядочному человеку. Он был так счастлив ею, что никогда и не проговаривался о своем счастье, хотя и не думал скрывать его. Теперь он то и дело, что говорит о ней, вспоминает то и другое. И когда я с чувством начал хвалить ее, он был так грустно-счастлив — я утешил его. Всякое участие ему так дорого. Он уверен, что ты будешь жалеть о ней (о себе он не говорит), и просил меня не забыть послать тебе цветок с ее гроба. Напиши к нему: твоя симпатичная натура продиктует тебе хорошие строки, от которых он будет сладко плакать — что осталось для него единою радостью.

Теперь выслушай меня внимательнее — хочу говорить с тобой о важном деле. Панаев — ребенок и ветрогон; сверх того, он мало симпатичен и большой эгоист, как оказывается. Кр(аевский) нанимает квартиру в одном доме и одних сенях с ним. Без Л(изаветы) Я(ковлевны) дети пропали, а жить ей у Кр(аевско)го неловко, надо, чтоб она жила у сестры и была как можно чаще у него. Авдотья Яковлевна потеряла всякую охоту ехать в Москву, больше — ей смертельно не хочется этого, ибо она желает надзирать над детьми, быть с сестрою и с Краевским. Это благородная черта с ее стороны. Но Панаев об этом мыслит иначе: чтобы «проходить с тобою по хересам», он готов забыть всё. И слышать не хотел Краевского, сердился на жену. Но я начал работать, и вследствие этого Языков объявил ему, что он не едет. Это было сегодня поутру. Сейчас был у меня Языков, и я узнал, что Панаев, весьма твердо и мужественно перенесший утрату Краевского, весьма малодушно узнал о расстройстве своего детского плана — с ним сделалось нечто вроде судорог. Не шутя! Нечего мне толковать тебе — ты сам всё поймешь и, верно, поспешишь написать к нему, что ты раздумал жить на даче. «Это всё ты подбила всех?» — вскричал он на жену, и бедная, испугавшись, объявила ему, что едет. Не знаю, достанет ли у него духу везти ее против воли; но много делает ему чести уже и это, бог с ним. А еще восхищается Леру¹⁰ и бредит «égalité, fraternité et liberté»*. Все мы киргиз-кайсаки

* «равенство, братство и свобода» (франц.).— *Ред*

на деле и европейцы на словах. Может быть, я слишком уже нападаю на него; но он возбудил во мне против себя негодование. От таких недостатков должно исправлять людей гильотиною. Кто не может сделать пустого пожертвования для человека, постигнутого судьбою, тот существо безнравственное, недостойное жить. Знаю, что в Панаеве тут действует более свистунское начало, чем черствость души; но тем больше досадно на него. Ему хочется во что бы то ни стало поразить Павлова и Шевырева своими штанами, которых нашел для этого целую дюжину. И для штанов дети Кр<аевско>го должны быть без присмотра. Славные штаны — их шил сам Оливье!

Если это и сбудется, выйдет вздор. По крайней мере, для тебя не будет никакого удовольствия. Во-1-х, потому, что подготовленные удовольствия никогда не вытанцовываются, удовольствие любит являться экспромтом, незаданное и незванное. Во-2-х, общество А<вдотьи> Я<ковлевны> не доставит тебе ни малейшего удовольствия, потому что она будет скучать и рваться в Питер. В-3-х, Панаев будет проводить целые дни у Аксаковых, у Загоскина, у Павлова (где будет поражать московских литераторов своими штанами, рассказывать им старые анекдоты о Булгарине и вообще удовлетворять своей бабьей страсти к сплетням литературным), а жену оставлять с тобой и Языковым, что не совсем ловко. Без жены же он не хочет и слышать ехать.

Пиши к Панаеву, чтоб он ехал в Москву один, без жены, с Языковым (который на это согласен), перед твоим отъездом в Нижний, чтоб ехать туда с тобою. Я убедил Кр<аевско>го, что и ему необходимо это же сделать — он согласен. Я теперь приеду в Москву на неделю (недели на три с дорогою взад и вперед). Эх, как бы, поживши у тебя неделю-другую, с тобою бы в Питер, где бы ты прожил месяц (или хоть 2 недели) без дела, без заботы, а там, забравши с собою Панаева, Языкова и Краевского, махнул бы в Москву, а пожив в ней неделю, в Нижний!

Передумай обо всем этом и дай мне ответ. А между тем, уведомь скорее, что слышно о Т<атьяне> А<лександровне>? Получил ли ты мою посылку?¹¹ Доставил ли ее? Пиши же скорее, подробнее и откровеннее. Что Щепкины? и прочее.

Краевский получил письмо от Редкина, которое — я тогда же это видел — очень ему понравилось, и он вчера просил меня, чтоб я тебе поручил сказать Редкину, что нечего и спрашивать, писать ли, а писать, что он желает этого и просит его об этом. Вместе с тем, извинись за него перед Редкиным, что он ему не отвечает. Пишет же он статью, как хочет — в отделение наук или критики: Краевский уверен, что Редкин во всяком случае напишет прекрасно, и просит только об одном: *поскорее*.¹²

Так-то, друже, Боткин! Судьба окурила меня ладоном: поверишь ли, и теперь чудится запах тления и ладана. У гробов учусь я философии, учусь презирать жизнь, учусь не верить счастью и не бояться несчастья. Не знаю, как бы я приложил к делу это учение, но теперь я желаю одного счастья — умереть в кругу друзей с уверенностью, что им будет свята моя память и милы мои останки, что они с честью предадут их земле и проводят меня до последнего жилища. И я боюсь одного только несчастья — умереть одному, вдали от дружнего присутствия. И кто бы первый из нас не смежил другому глаза — ты ли мне, или я тебе — всё равно, лишь бы не чужая рука смежила их и не апатический взор холодно упал на холодный труп!

Кр(аевский) только и может говорить, что о ней да о личном бессмертии. Катков писал к нему, что он не знает ничего более глубокого, как лекции Шеллинга об откровении:¹³ Кр(аевский) нетерпеливо хочет получить понятие о содержании этих лекций; я говорю, что при гробах скорей всего захочешь философствовать...

Кр(аевский) боится, чтоб мать его не приехала в Питер — она больна и может этим уходить себя, а между тем большого-то утешения от ее приезда, кажется, он не предвидит. Не забудь сказать Галахову, чтоб он отговаривал ее от этой поездки. Прощай.

Твой В. Белинский.

198. М. С. ЩЕПКИНУ

СПб. 1842, апреля 14.

Как поживаете, любезнейший Михаил Семенович? Не спрашиваю Вас, утешились ли Вы, ибо знаю, что в таких потерях не утешаются; по крайней мере, желаю услышать, что Ваша скорбь* лишилась своей едкости, а чувство страшной пустоты сменилось тихою и влажною грустью.¹ А я вот и опять на похоронах — такое уж мне счастье! Вы, верно, слышали уже, что Анна Яковлевна Краевская умерла. Этот горестный случай познакомил меня с Я. Г. Брянским.² Славный человек! Молчит, как будто ему и не жаль; зато в церкви, когда уж надо было выносить гроб в могилу, прислонившись головою к гробу, рыдал он, как ребенок. Анны Матвеевны³ тут не было: погода была очень дурна. А как он играет на бильярде — ну, уже не Вам чета. А какие штуки делает — я просто разинул рот.

* Первоначально: грусть

Скажу Вам несколько слов о приключениях в Питере рукописи Гоголя. Приехав в Питер, я только и слышал везде, что о подкинутых в гвардейские полки, на имя фельдфебелей, безмянных возмутительных письмах.⁴ Правительство было встревожено; цензурный террор усилился. К этому, наделала шуму повесть Кукольника «Иван Иванович Иванов, или Все за одно», напечатанная в сборнике «Сказка за сказкою». Предводитель дворянства хотел жаловаться; министр флота, князь Мешиков, в Государственном Совете сказал членам: А знаете ли вы, дворяне, как вас бьют холопы палками и пр. Дошло до государя, и по его приказанию граф Бенкендорф вымыл Нестору голову. Вследствие этого Уваров приказал цензорам не только не пропускать повестей, где выставляется с смешной стороны сословие, но где даже есть слишком смешное хоть одно лицо.⁵ По этому случаю Никитенко сказал Краевскому, что если б «Актеон» Панаева, вместо 1 №, попал во 2-й — он не стал бы и читать его, а зачеркнул бы с первой же строки.⁶ К этому еще, Башуцкий написал пошлую глупость «Водовоз», в которой увидели нивесть что; опять дошло до царя, и Башуцкий был у Бенкендорфа.⁷ К довершению всего Уваров обратил внимание на мою статью в 1 № — и сказал цензорам, что хотя в ней и нет ничего противного цензуре и хотя он сам пропустил бы ее, но что тон ее не хорош (т. е.: эй, вы, каналы, — пропустите вперед такую, так я вас вздую).⁸ Шевырка на повесть Кукольника напечатал донос в «Москвитяине», а Булгарин на Башуцкого в «Пчеле».⁹ Ну, сами посудите: как было тут поступить? Вы, живя в своем Китае-городе и любясь, в полноте московского патриотизма, архитектурными красотами Василия Блаженного, ничего не знаете, что делается в Питере. И вот Одоевский передал рукопись графу Вельегорскому, который хотел отвезти ее к Уварову; но тут готовился бал у великой княгини, и его сиятельству некогда было думать о таких пустяках, как рукопись Гоголя. Потом он вздумал, к счастью, дать ее (приватно) прочесть Никитенко. Тот, начавши ее читать как цензор, промахнул как читатель, и должен был прочесть снова. Прочтя, сказал, что кое-что надо Вельегорскому показать Уварову. К счастью, рукопись не попала к сему министру погашения и помрачения просвещения в России. В Питере погода на это меняется 100 раз, — и Никитенко не решился пропустить только кой-каких фраз да эпизода о капитане Копейкине. Но и тут горе: рукопись отослана 7 марта, за № 109, на имя Погодина, а Гоголь ее не получал. Я думаю, что Погодин ее украл, чтоб променять на толкучем рынке на старые штаны и юбки; или чтоб, притаив ее до времени, выманить у (простоудушно обманывающегося насчет сего мошенника) Гоголя еще что-нибудь для своего холопского журнала.¹⁰

Как Вам показался тип г. Бульдогова? Право, не дурно. Жаль, что цензура искалечила эту статейку и особенно вымарала всё, относящееся до Италии. Эх, если б судьба да позволила напечатать «Циника-литератора»!¹¹ Подай, боже!

Что, не явились ли в Москве мощи Ф. Н. Глинки или он попрежнему гниет заживо,¹² а Петромихали¹³ (Погодин) с Шевыркою пропхтывают свой пакостный журнал запахом его смердящего тела?

Поклонитесь от меня Алене Дмитриевне и всему Вашему семейству. У Лизаветы Семеновны прошу извинения, что мало собрал ей картинок, а у Феклы Михайловны, что прислал ей довольно посредственную литографию. Со временем исправимся. Ведь они, верно, получили.

Не жду от Вас ни ответа, ни вопроса; от Мити также; но заставьте хоть юношей что-нибудь писнуть ко мне. Славные ведь они ребята, хоть и носят прескверные имена: одно напоминает мне Карамзина, а другое — обглоданную вшами светлость.¹⁴ Н<иколай> М<ихайлович>, писните-ко что-нибудь такое, чтоб пахнуло для меня любезною мне и осиротелю Запорожскую Сечью.

Кстати: попросите Л<изавету> С<еменовну>, чтоб она дала Ундиночке¹⁵ от моего имени одну картинку.

Благословляю вас всех, равно как и всех честных, благородных и умных людей на свете, и проклиная Погодина с Шевыркою, всех моралистов, пиэтистов, мистиков, ханжей, лицемеров, обскурантов и т. п. И поручаю Нелепому¹⁶ (да сохранит аллах его красоту и горло) возложить руки на благословляемых мною и прокричать перед проклинаемыми: для последних это будет хуже всякой казни.

Ваш отныне и до века

В. Белинский.

Р. S. Сейчас пришел ко мне человек, от которого я узнал, что рукопись Г<оголь> не получил во-время по недосмотру Плетнева, следовательно, Погодин не воровал ее, да всё равно: не теперь, так когда-нибудь украдет.

199. В. П. БОТКИНУ

<15—20 апреля 1842 г. Петербург.>

«...у знатных и умников, и приводили эгоизм в систему. Но один из них возвышался надо всеми величием души своей и явился достойным провозвестником истин бессмертных. Наставник человечества, — он преследовал тиранию с такою ис-

одинаково хорошо на весь его (момент) (в)
Тошнота & сущ. что-то вроде для света по-
тому же и суффиксы.

Какие там возможности иметь в Тибето-
Далай? Правильно, не думаю. Скажите, это
какая-то некамерная или что-то такое,
мы же стараемся все, отсюда же до Улань-
Дунь, с нами же судяется до выбора того или
записи и книги измерения! Не-
дай, боже!

Это не великий шаг от Москвы именно
Ф. П. Гиллельс; ины ^{не могу сказать} что не-
много зашло, а (Москва) до Кевле-
кого ~~и~~ пропавшими для новостей
Суриков ~~и~~ записок от суффиксов
того.

Мне приятно от вас узнать Лазаря Шенкина
и всему вашему семейству. Я Лазаря Шенкина
вспоминаю при этом удивлении, это много
собрали с архивом, а у Шенкина Шенкин-
овича, это пришло к Шенкину
председательство министерства в Суриков
используя. Когда вы будете писать,
~~я бы хотел бы узнать, как вы себя чувствуете~~
~~и как вы себя чувствуете~~

Автограф страницы письма Белинского к М. С. Щепкину
от 14 апреля 1842 г.

кренностию, он возглашал с таким энтузиазмом о божестве. Его могучее красноречие чертами огненными живописало красоты добродетели. Он распространял учение, поддерживавшее и укреплявшее человека. И эта-то чистота доктрины его, истекавшей из глубокой ненависти к пороку, это презрение его к интриганам-софистам, злоупотреблявшим именем философии, навлекли на него ненависть и преследование его соперников, его ложных друзей. О, если бы он был свидетелем этой революции, он — предтеча ее, с какою бы любовью, с каким увлечением вступился бы он за дело правосудия и равенства». ¹

Тут нечего объяснять: дело ясно, что Р<обеспьер> был не ограниченный человек, не интриган, не злодей, не ритор и что тысячелетнее царство божие утвердится на земле не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами — обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов. ²

Устал — едва пишу, а всё хочется — кажется, исписал бы десть. Ну, да бог даст — увидимся, переговорим обо всем. Пожалуйста — насчет посылок уведомя скорее. ³ Во мне теперь живут и владеют мною два дьявола — две мечты: одна о *пире во время чумы и терроре*, другая — насчет поэзии филистерства — знаешь: «жена, полдюжины ребят, да шей горшок, да сам большой»... ⁴ Тс!.. ничего, ничего, молчание!.. ⁵ Бедное животное человек: умирает, а всё ногой дрягает... Да ну же, Б<откин>, пиши ко мне скорее и больше. Что ж ты за свинья такая — ведь я не даром же навалял к тебе хоть бы вот эту тетрадь — с *тобой* хотелось и *не о себе* поговорить. Прощай.

Твой В. Б.

Апреля 20.

И уж отчаялся было отослать к тебе это письмо, думая, что Иван уже уехал, ⁶ но — слава аллаху! — сейчас он явился за пим, а завтра едет. Сейчас я получил твое письмо, ожидание которого меня измучило. ⁷ «Мертвые души» Гоголь, наконец, получил. Я к нему послал письмо, которое думал доставить через тебя, но, полагая, что эта тетрадь не будет отослана, послал сегодня по почте. ⁸ Прилагаю черновое: из него ты увидишь, что я повернул круто — оно и лучше: к чорту ложные отношения — знай наших — и люби, уважай; а не любишь, не уважаешь — не знай совсем. Постарайся через Ш<епки>на узнать об эффекте письма. К Бакунину напишу. ⁹ Катков явно принад-

лежит к берлинской философской школе: лекции Шелл(инга) об откровении кажутся ему глубже всего, что только есть на свете.¹⁰ Бедный Гегель. Милому Николаю Петровичу¹¹ тысячу поклонов — его внимание ко мне тронуло меня больше, чем обыкновенное изъявление вежливости. Знаешь ли что, о Б(откин)! открывается перспектива ехать за границу месяца на 4, а может быть и на полгода, будущей весной.¹² Катков так или сяк, но всё заменит меня на летние-то месяцы; а Вержбицкий печатает мою книгу (Историю русской литературы и хрестоматию) в числе 3000 экземпляров.¹³ Стало быть, всё зависит от меня, от моей лени и трудолюбия. Книга не может не иметь блестящего успеха, и к весне, по расчетам, у меня должно быть около 10 000 р. асс. Впрочем, об этом — никому ни слова. С нетерпением жду известия о доставлении известной посылки.¹⁴ Кр(аевско)му передам сегодня твои строки. В 5 № «Отечественных записок» ты прочтешь глупо-подлую драму его сиятельства графа Соллогуба.¹⁵ В ней только одно лицо хорошо — ярыги-помещика, который — утверждает его сиятельство — потому скотина, что сын разбогатевшего взятками подьячего, а не столбового дворянина. Нет ли слухов о юноше-Кони? Пропал, бессовестно бросив свою дрянную газетишку, которая до его приезда, кажется, и не будет уже издаваться.¹⁶

Да, брат, все покойники либо кандидаты в покойники. Т(атьяна) А(лександровна), Сапичка Станкевич (Кульч(ицкий) говорит, что у него чахотка). Кульчицкого смерть Кропберга сильно придавила.¹⁷ Меня интересует и то и другое, но внутри пошу смерть и пустоту. В общем для меня есть еще надежды и страсти, и жизнь; для себя — ничего. Скучно, холодно, пусто; на какое-либо личное счастье — никакой надежды. Горе! горе! Жизнь разоблачена.

Эх, если б тебе да в Питер. Нельзя ли принаудить насчет денег «дражайшего»?¹⁸

Я вновь сошелся, и притом очень хорошо, с известным тебе Бартевым.¹⁹ Чудесный человек!

Кульчик написал к тебе глупость о покровительстве и теперь с ума сходит от раскаянья, говоря: он теперь огорчен известием о смерти А(ндрея) И(вановича), а я с моими претензиями, и пр. Я его уверяю, что это вздор; но он сильно, бедный, беспокоится: утешь его.²⁰

Краевский пока живет у Панаева, а с 1 мая переходит на квартиру в одном доме с ним: своей прежней он не может и видеть и бросил 600 р., не дожив сроку.

Всем нашим — поклон, да это уж само собою разумеется.

Известия о доставлении посылки жду, как чорт знает чего. Не глупец ли! Так мало надеяться, или — лучше сказать — так холодно, спокойно и уверенно не надеяться, и так еще суесться и ребячиться! Так-то играет нами жизнь.

Заглянул в строки о французской революции: вижу — много дичи и фраз, но то и другое вылилось от души.

Интересно, как напишет Фр<олов> биографию Ст<анкеви>ча, которой, по моему мнению, невозможно написать.²¹ Письма его соберу, разберу и пришлю. Еще раз прощай. Бога ради, скорей уведомя, получил ли ты это письмо: иначе меня замучает беспокойство.²²

200. Н. В. ГОГОЛЮ

<20 апреля 1842 г. Петербург.>

Милостивый государь

Николай Васильевич!

Я очень виноват перед Вами, не уведомляя Вас давно о ходе данного мне Вами поручения. Главною причиною этого было желание — написать Вам что-нибудь положительное и верное, хотя бы даже и неприятное. Во всякое другое время Ваша рукопись прошла бы без всяких препятствий, особенно тогда, как Вы были в Питере.¹ Если бы даже и предположить, что ее не пропустили бы, — то всё же можно наверное сказать, что только в китайской Москве могли поступить с Вами, как поступил г. Снегирев,² и что в Петербурге этого не сделал бы даже Петрушка Корсаков, хоть он и моралист и пиетист.³ Но теперь дело кончено, и говорить об этом бесполезно.

Очень жалею, что «Москвитянин» взял у Вас всё и что для «Отечественных записок» нет у Вас ничего. Я уверен, что это дело судьбы, а не Вашей доброй воли или Вашего исключительного расположения в пользу «Москвитянина» и в невыгоду «Отечественных записок». Судьба же давно играет странную роль в отношении ко всему, что есть порядочного в русской

литературе: она лишает ума Батюшкова, жизни Грибоед(ова), Пушки(на) и Лерм(онтова) — и оставляет в добром здоровье Булгарина, Греча и других подобных им негодяев в Петербурге и Москве; она украшает «Москвитянин» Вашими сочинениями — и лишает их «Отечественные записки». ⁴ Я не так самолюбив, чтобы «Отечественные записки» считать чем-то соответствующим таким великим явлениям в русской литературе, как Гр(ибоедов), П(ушкин) и Лерм(онтов); но я далек и от ложной скромности — бояться сказать, что «Отечественные записки» теперь *единственный* журнал на Руси, в котором находит себе место и убежище честное, благородное и — смею думать — умное мнение, и что «Отечественные записки» ни в каком случае не могут быть смешиваемы с холопами знаменитого села Поречья. ⁵ Но потому-то, видно, им и то же счастье: не изменить же для «Отечественных записок» судьбе своей роли в отношении к русской литературе.

С нетерпением жду выхода Ваших «Мертвых душ». Я не имею о них никакого понятия: мне не удалось слышать ни одного отрывка, чему я, впрочем, и очень рад: знакомые отрывки ослабляют впечатление целого. Недавно в «Отечественных записках» была обещана статья о «Ревизоре»; ⁶ думаю по случаю выхода «Мертвых душ» написать несколько статей вообще о Ваших сочинениях. ⁷ С особенною любовью хочется мне поговорить о милых мне «Арабесках», тем более, что я виноват перед ними: во время оно с юношескою запальчивостию изрыгнул я хулу на Ваши в «Арабесках» статьи ученого содержания, не понимая, что тем самым изрыгаю *хулу на духа*. Они были тогда для меня слишком просты, а потому и неприступно высоки; притом же на мутном дне самолюбия бессознательно шевелилось желание блеснуть и беспристрастием. ⁸ Вообще, мне страх как хочется написать о Ваших сочинениях. Я опрометчив и способен вдаваться в дикие нелепости; но — слава богу — я, вместе с этим, одарен и движимостию вперед и способностию собственные промахи и глупости называть настоящим их именем и с такою же откровенностию, как и чужие грехи. И потому надумалось во мне много нового с тех пор, как в 1840 г. в последний раз врал я о Ваших повестях и «Ревизоре». Теперь я понял, почему Вы Хлестакова считаете героем Вашей комедии, и понял, что он точно герой ее; ⁹ понял, почему «Старосветских помещиков» считаете Вы лучшую повестью своею в «Миргороде»; ¹⁰ также понял, почему одни Вас превозносят до небес, а другие видят в Вас нечто вроде Поль де Кока, ¹¹ и почему есть люди, и притом не совсем глупые, которые, зная наизусть Ваши сочинения, не могут без ужаса слышать, что Вы выше Марлинского и что Ваш талант — великий талант. Объяснение всего этого даст мне возможность сказать дело о деле, не бросаясь в отвлеченные

и окольные рассуждения; а умеренный тон (признак, что предмет понят ближе к истине) даст многим возможность *сознательно* полюбить Ваши сочинения. Конечно, критика не делает дурака умным и толпу мыслящую; но она у одних может просветлить сознанием безотчетное чувство, а у других — возбудить мыслью спящий инстинкт. Но величайшею наградою за труд для меня может быть только Ваше внимание и Ваше доброе, приветливое слово. Я не заношусь слишком высоко, но — признаюсь — и не думаю о себе слишком мало; я слышал похвалы себе от умных людей и — что еще лестнее — имел счастье приобрести себе ожесточенных врагов; и всё-таки больше всего этого меня радуют доселе и всегда будут радовать, как лучшее мое достояние, несколько приветливых слов, сказанных обо мне Пушкиным и, к счастью, дошедших до меня из верных источников. И я чувствую, что это не мелкое самолюбие с моей стороны, а то, что я понимаю, что такое человек, как Пушкин, и что такое одобрение со стороны такого человека, как Пушкин.¹² После этого Вы поймете, почему для меня так дорог Ваш *человеческий*, приветливый отзыв...

Дай Вам бог здоровья, душевных сил и душевной ясности. Горячо желаю Вам этого как писателю и как человеку, ибо одно с другим тесно связано. Вы у нас теперь *один*, — и мое нравственное существование, моя любовь к творчеству тесно связана с Вашею судьбою: не будь Вас — и прощай для меня настоящее и будущее в художественной жизни моего отечества: я буду жить в одном прошедшем и, равнодушный к мелким явлениям современности, с грустною отрадою буду беседовать с великими тенями, перечитывая их неумирающие творения, где каждая буква давно мне знакома...

Хотелось бы мне сказать Вам искренно мое мнение о Вашем «Риме», но, не получив предварительно позволения на откровенность, не смею этого сделать.¹³

Не знаю, понравится ли Вам тон моего письма, — и даже боюсь, чтоб он не показался Вам более откровенным, нежели сколько допускают то наши с Вами светские отношения; но не могу переменить ни слова в письме моем, ибо в случае, противном моему * ожиданию, легко утешусь, сложив всю вину на судьбу, издавна уже не благоприятствующую русской литературе.¹⁴

С искренним желанием Вам всякого счастья, остаюсь готовый к услугам Вашим

Виссарион Белинский.

СПб. 1842.
Апреля 20.

* Далее *зачеркнуто*: желанию

〈Начало июля? 1842 г. Петербург.〉

...Я так и ожидал, что ты опять заболел. Кажется, тебе можно сказать —

А ты, мой батюшка, неизлечим, хоть брось!¹

Спасибо за конфетку — сладка, хоть и немецкого печенья. Для филистерской кухни этого даже много. А что ни говори — наш век кастратский и подлый в высшей степени. Это подлое кастратство именно видно в конфетке, на манер немецкой колбасы сготовленной. Эти люди противоречат себе, подвергаясь крещению и браку (церковному). Не так действовали первые христиане и террористы французской революции: те — всё или ничего, без условий, без изъятий, без ограничений, хотя могли бояться не какого-нибудь изгнания, но первые — мук и смерти, а вторые — смерти и уничтожения. Да и велик ли переход к берлинскому обществу *духоборцев* от американских сект, в смысле отрешения от форм церкви? Впрочем, и за то хвалю колбасников — с них и этого много; но, и хваля их, не могу не плевать на них.²

Может быть, побываю скоро у вас (только не в воскресенье), если ты не думаешь побывать в Питере.

В. Б.

Впрочем, за болезнь твою не отчаиваюсь, ибо уверен, что она не мешает твоему блаженному созерцанию красот павловской погоды, местоположений, воксала, простокваши и прочего вздору. Панаева блаженство, верую и уповаю, всё растет и растет; а Языков блажен для компании вам, братцы. Живя в Павловске, вы трое образуете собою общество *блаженствующей троицы*, где Панаев играет роль отца, ибо в Панаева блаженстве много ветхозаветных элементов. Языков — сына, ибо он обретается в родственном пиэтизме и, как все сыновья при жизни отцов, не богат *волею*; ты — духа, ибо любишь дух (букет) всяких вин, даже дрянных и дешевых, и всех кушаньев, да и в других отношениях присущ духу времени.

Хотя Липертария³ и Соллогубия⁴ тоже из блаженствующих, но незаконно и греховно блаженствующих: первый из них — Анания, любящий обмануть всю троицу, и особенно духа, по части утаения сребра, и за то наказанный Павлом апостолом смертью; второй — но уж второй-то и не знаю, кто такой, а потому и кончаю. Желаю вам всем (кроме Панаева, которому подобное желание не нужно) здоровья, а счастья вы и сами не оберетесь.

В. Б.

Сейчас упился я «Оршею». Есть места убийственно хорошие, а *тон* целого — страшное, дикое наслаждение. Мсчи нет, я пьян и неистов. Такие стихи охмеляют лучше всех вин.⁵

202. В. П. БОТКИНУ

<Начало июля 1842 г. Петербург.>

...Славные стихи в 7 № «Отечественных записок» «Петр Великий»: ¹ конечно, они далеко не так превосходны, как гнусно-кастратское «Нетерпение» Струговщикова; но они всё-таки прекрасны — читаю и перечитываю их с наслаждением — есть в них что-то эпергическое, восторженное и гражданское, есть много смелого, как, например, 16-й куплет.² А что за гнусность перевел еще г. Стр<уговщиков> из Гёте, под названием «Предание»? ³ А ведь, несмотря на несколько простодушное унижение Наполеона перед Петром и возвышение нашей борьбы с первым, стихи-то «Петр Великий», право, хороши. Спросите Кр<аевско>го, где он их взял. Уже это не г. ли Л. Т., что написал «Завещание» и «Разбойничью песню»? ⁴

Помнишь ли ты, Б<откин>, моего родственника Капито-ныча? — Умер бедняга. Жаль, в своем роде и в своей сфере был славный малый.⁵

203 Д. П. ИВАНОВУ

<6 ноября 1842 г. Петербург.>

СПб. 1842, (7 или 6) ноября.

Скажи, бога самого ради, любезный Дмитрий, видел ты Никанора или нет? Августа 26 дня выехал он из Питера на Кавказ, куда определен в Грузинский гренадерский полк, стоящий в Тифлисе; дорогою должен был увидеться с тобою; но вот ни слуху, ни духу о нем до сих пор, словно в воду канул. Если б он виделся с тобою, то и сам написал бы, да и ты не преминул бы меня уведомить; стало быть, он в Москве не останавливался. Ты с каким<то> ужасом узнал о моем определении определить его в военную службу;¹ ужас этот, душа моя, ребяческий и навеян на тебя разными пустыми предубеждениями. Что я за богач такой, что должен содержать малого в 20 лет, который ест за десятерых, носит платье за пятерых, ничего ровно не делает и ни к чему ровно не способен? Нет, слуга покорный, я и сам живу — как рыба об лед колочусь. Всякий хлопочи о себе; жить на чужой счет и глупо и бесчестно. А куда же бы он годился, кроме военной службы? В университет? — но только такие глупцы, какими мы были с тобою, могли верить

возможности его поступления в университет. Как я поразглядел его вблизи-то, так увидел, что он и во 2 класс уездного училища во веки веков не выдержал бы экзамена. Он ничего не знает, а что и знает, то так поверхностно и бестолково, что лучше бы совсем ничего не знать. В гражданскую службу? Т. е. на вечные 300 рублей жалованья — ведь он и писать-то не умеет. Мне случилось диктовать ему — страничку пишет битый час. В учителя? — глупо и думать. Это истинный Калибан: ² ни малейшего понятия о самых простых отношениях житейских к людям, одичалость, грубость, нелепость. Боже мой, что я вытерпел с ним в это время, сколько крови и желчи перепортил у себя! Тут только понял я во всей обширности, что ты от него вынес — страшно подумать! Ты пишешь, что для военной службы он неспособен, ибо рассеян и пр. Но потому-то и надо ему служить в военной службе. Если пройдет через се горнило — будет спасен, будет человеком; не пройдет, не вынесет — кто ж виноват? Лучше умереть человеком, чем жить скотом. Кто недостойн жизни — тот умирай. На Кавказ, впрочем, он поехал по своему собственному желанию: мне хотелось, чтобы он служил в Москве или около Москвы. Но всё это ничего; я рад, что отделался от него, что не вижу его больше. Он связал меня по рукам и по ногам. Он с января по время отъезда на Кавказ стоил мне верной тысячи, а для меня это очень и очень не шутка. Итак, всё это хорошо; но меня гнетут две мысли: виделся ли он с тобой и почему не писал с дороги; потом, я должен был выслать ему в Тифлис на обмундировку рублей 150 денег, и не выслал, — негде взять, — а я готов был бы занять за жидовские проценты, да негде. Это меня мучит. Я заплатил за его проезд до Ставрополя 80 р. да с ним отпустил с лишком 100 р. А тут еще переезд на квартиру и разные дряни житейские — сам бедствую, задолжал страшно, и денег нет.

Писал он, Никанор, к брату Константину в Чембар о высылке ему копии с формулярного списка отца и свидетельства о бедности — ответа не было. Напиши ты сам и к Константину и к Петру Петровичу — ради всего святого на свете, и скорее. Я писать не могу — у меня родилось непобедимое отвращение к письмам. Вот и к тебе сбирался месяца два — насилу мог принудить себя.

Вот и еще горе: Дмитрий Капитонович Исаев умер, говорят. Он взялся выхлопотать мне дворянскую грамоту из пензенского депутатского собрания; взял у меня бумаги еще в 1839 году и отослал их в Пензу при моей просьбе. И что же? вдруг узнаю, что согласие о* восприимчивости меня от купели великого князя цесаревича Константина Павловича будто бы не было

* Далее зачеркнуто: крещении

получено, а оно точно было отослано. Такое мое счастье. Надо бы куда-нибудь причислиться на службу, для чина, а я живу с дрянным университетским свидетельством. Попроси Петра Петровича — не может ли он сделать тут что-нибудь. За расходы я заплачу, что нужно будет. Ради бога, похлопочи. Если бы я знал, что Петр Петрович еще в Москве, я бы теперь и к нему прислал бы письмо. Впрочем, ты напиши мне его адрес — я буду писать к нему.³

С Никанором я послал для Федосьи Степановны какую-то книгу духовного содержания, в 4 частях, дешево мне попавшуюся на толкучем рынке (кажется, рублей за 5).⁴ Если ты Никанора не видал, то, разумеется, и книги не получил. Если еще попадется дешево что-нибудь из этого хлама, куплю и пришлю. Вот уже месяца 3 стоит у меня ящик для тебя с разной дрянью — портретами сочинителей, ландшафтами и т. п., да всё не соберусь послать. Однако ж теперь ты скоро получишь. Поделись с Алешею. Масляную картину ему, да из гравюр штук пяток. Леоноре Яковлевне мое почтение — детей твоих целую. Что новорожденное дитя? Пиши поскорее обо всем — жду твоего письма, как праздника. Петру-студенту⁵ за приписку поклон и спасибо. Поклонись Дарье Титовне.⁶ Прощай.

Твой В. Белинский.

Может быть, о празднике опять буду в Москве.

Адресуй ко мне прямо на квартиру: *в доме Лопатина, на Невском проспекте, у Аничкина моста, квартира № 55.*

204. Н. А. БАКУНИНУ

СПб. 1842, ноября 7.

Здравствуйте, милый Николай Александрович! Хорошие мы с Вами приятели — пишем ровно по письму в год. Я себя извиняю тем и другим — работа журнальная, огорчения, постоянное угнетение духа и пр. и пр. Ну, а Вы, Вам-то что бы делать, если не писать к приятелям? Я знаю, что В<арвара> А<лександровна> давно уже приехала, а Вы мне об этом ни слова, бог с Вами.¹ Я давно собирался писать к Вам и — что делать, — по обыкновению моему, никак не мог собраться. Но недавно два случая сделали это необходимою потребностью души моей, живо напомнив мне моих прямухинских друзей (ведь они позволят мне так называть их?). О первом случае я, если увидимся, расскажу Вам, и только одному Вам, лично.² А другой случай вот какой: до меня дошли хорошие слухи о Мишеле, и я — написал к нему письмо!!.. Не удивляйтесь — от меня всё может статься. Вы, сколько я мог заметить, всегда желали и

надеялись, что мы вновь сойдемся с М<ишелем>; Ваше желание исполнилось, Ваша надежда оправдалась — по крайней мере, с моей стороны. Дело очень просто: с некоторого времени во мне произошел сильный переворот; я давно уже отрешился от романтизма, мистицизма и всех «измов»; но это было только отрицание, и ничто новое не заменяло разрушенного старого, а я не могу жить без верований, жарких и фантастических, как рыба не может жить без воды, дерево расти без дождя. Вот причина, почему Вы видели меня прошлого года таким неопределенным и почему мы с Вами и часу не поговорили дельно. Теперь я опять иной. И странно: мы,* я и Мишель, искали бога по разным путям — и сошлись в одном храме.³ Я знаю, что он разошелся с Вердером,⁴ знаю, что он принадлежит к левой стороне гегельянизма, знаком с R<uge>⁵ и понимает жалкого, заживо умершего романтика Шеллинга.⁶ М<ишель> во многом виноват и грешен; но в нем есть нечто, что перевешивает все его недостатки — это вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа. Притом же дорога, на которую он вышел теперь, должна привести его ко всяческому возрождению, ибо только романтизм позволяет человеку прекрасно чувствовать, возвышенно рассуждать и дурно поступать. Для меня теперь человек — ничто; убеждение человека — всё. Убеждение одно может теперь и разделять и соединять меня с людьми.

Мне стало легче жить, любезнейший Н<иколай> А<лександрович>. Если я страдаю, мое страдание стало возвышеннее и благороднее, ибо причины его уже вне меня, а не во мне. В душе моей есть то, без чего я не могу жить, есть вера, дающая мне ответы на все вопросы. Но это уже не вера и не знание, а религиозное знание и сознательная религия. Но об этом после, если увидимся.

Летом я не мог ехать в Москву — и денег не было, да и Боткин всё лето прожил в Питере. (Кстати: и Б<откин> написал к Мишелю⁷). Надеюсь опять в январе или последних числах декабря остановиться в Торжке на несколько дней. Что Ваши все, что (особенно) Т<атьяна> А<лександровна>? Ибо я слышал, что она нездорова. Что В<арвара> А<лександровна> — я так давно не видал ее? Что милый ее Саша, мой прежний «Ах»? Нет, что бы со мною ни было, в каких бы обстоятельствах я ни был, а их никогда не забуду, они срослись с душой моей, они — живая часть моего нравственного существования. Нет, прошедшее, если в нем было истинное и жизненное, прошедшее не забывается и не изглаживается. Я и теперь лучшими минутами моими обязан воспоминанию о нем. Мне так хочется, так сильно хочется опять увидеть себя в кругу Вашего семей-

* Далее зачеркнуто: нашаля бога

ства, что я иногда принужден бываю чем-нибудь рассеиваться от тоски этого порывистого желания. Скажите А<лександр> А<лександровне>, чтобы она приготовила к январю будущего года должные ей мне три миллиона рублей — мне деньги нужны, а не то я подам на нее просьбу. Александру Михайловичу и Варваре Александровне прошу Вас передать мое искреннее почтение.

Читали Вы «Ораса» Ж.З<анд>? Если Вы читали его в «Отечественных записках», по-русски только, жаль.⁸ Эта женщина решительно Иоанна д'Арк нашего времени, звезда спасения и пророчица великого будущего. Не в первый раз чрез женщину спасается человечество. В последней книжке «Отечественных записок» будет напечатан ее роман «André»⁹ — я читал его по-французски, и если Вы не читали его, Вас ожидает не наслаждение, а блаженство.

Пишите ко мне, милый Н<иколай> А<лександрович>. Я теперь с тоскою буду ждать Вашего ответа. Адресуйте Ваше письмо прямо на мою квартиру: в доме *Лопатина*, на Невском проспекте, у Аничкина моста, квартира № 55.

Читали ли Вы «Боярина Оршу» Лермонтова? Какое странно могучее произведение! Привезу его к Вам вполне, без выпусков. «Демона» я тоже достал полного¹⁰ — лучше, чем тот, что списал у меня Федор Константинович,¹¹ я уже отдал его переписывать, привезу в Торжок и оставлю его там.

205. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, ноября 7.

Вот неожиданное послание для тебя, Боткин! Но не думай, чтобы какое-нибудь особенное обстоятельство заставило меня писать к тебе: нет, просто прихоть. День разлуки с тобою — фантастический день в моей жизни.¹ Ты поехал в полицейские подземелья и ущелья, а я побрел в контору дилижансов, побрел тихо, не торопясь, думая, что и дилижанс застану и тебя опережу, как бы ты ни скоро ехал. Подошедши к Синему мосту, пошел я к Адмиралтейской площади, смотря налево: нет — видно, просмотрел, воротился к мосту, опять нет, и таким образом прошел раза три взад и вперед. Спрашиваю извозчиков — ни один не знает и за деньги не берется везти. Наконец нашелся и между ними Мардохай — растолковал — бегу — на дворе дилижанса нет — у меня и нервы опали — вхожу в контору — уехал-де сейчас. Тебя нет, человека нет — я так потерялся, что и не подумал спросить, был ли ты. Выхожу, медлю у моста — нет тебя. Вдруг мысль: ты не достал позволения на выезд — и жотому я не поехал в контору, а воротился домой; Дмитрий

же второпях забыл ключ — дверь, стало быть, замкнута; еду домой — Дм(итрий), действительно, стоит у двери. От него узнаю, что ты попался ему на дороге, а толку от полиции не добился, а чемодан твой уехал с дилижансом. Если бы я узнал, что ты получил записку от части, то и был бы уверен, что ты бросился на извозчике догонять дилижанс; но как, по словам Дмитрия, ты не получил записки, то я и ожидал в тоске, что ты вот сейчас явишься, убитый досадою. Но вот тебя нет и час, и другой — видно, так или сяк, но уехал, — тогда мне стало досадно, что я так глупо не простился с тобою — для чего стоило мне только подождать тебя лишних 5 минут. Оно, конечно, беды большой нет; но как-то неловко и досадно: точно как проигрался или глупость какую отпустил в обществе, одним словом — нехорошо. Я чувствовал себя как будто в положении майора Ковалева, потерявшего нос:² роль носа на этот раз играла твоя особа. Чтобы не пропала для потомства сия назидательная фантастическая история, я решился поскорей написать ее тебе, а ты помести ее, для пользы отечества, хоть в «Московских ведомостях», где описываются разные пассажи, назидательные даже. <...>

Милому Николаю Петровичу³ дружеский привет и заочное лобызание. Я думаю, злодей, насчет клубнички — чорт возьми, у меня инда слюнки текут... Почтеннейшему Ивану Петровичу (Боткину, а не Ключникову)⁴ передай от меня низкий поклон. Лангеру с семейством — тоже,⁵ а милых Лангеряток, если вздумаешь когда попотчевать каким лакомством, уверь, что это от меня — приятно и выгодно быть великодушным на чужой счет. Мы с Милановским во всех смыслах крепко держимся этой истины.⁶

Прилагаемое письмо без конверта передай Михаилу Семеновичу.⁷

206. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1842, ноября 23 дня.

На днях Кр(аевский) получил из Воронежа чьи-то стихи «На смерть А. В. Кольцова»... Что это и как это, бог знает.¹

Чувствую, что после этих строк тебе не захочется читать далее, но что делать — мне хочется говорить с тобою, вышла свободная минута, а у меня теперь так мало свободных минут. Мое впечатление от стихов неполно — должно быть, нужно подтверждение или должно быть что-нибудь другое — не знаю.

Вот вторая новость: Н. Бакунин выходит в отставку и женится. Я писал к нему и получил ответ, писанный тремя руками.² Меня зовут — так и подмывает — дурь и блажь одолела такая, что мочи нет. Кажется, мне в некоторых отношениях,

если не во всех, на век остаться прекрасною душою.³ Лучшая сторона моя — это чувство, сильное до иступления и дикости, но бестолковое, чуждое всякой действительности. Это я глубоко сознаю в себе. Ты поймешь, что я хочу сказать — ведь ты один хорошо меня знаешь.

Да, ехать, ехать — это заглушает во мне всё другое — я расплываюсь — мечтаю, ничто в голову нейдет. А как ехать? — работы бездна, времени мало, лень и отвращение к занятию непобедимы, денег нет, долгов пропасть. Счастливы мертвые—

Им не приснится

Ни грусть, ни радость прежних дней.⁴

Они уже вне всякой возможности делать глупости.

Обещал я Кр<аевскому> написать для последней книжки о Бартыньском с пол-листика, да, забывшись, хватил с лишком листик, а статья всё-таки вышла сжата и отрывочна до бестолковщины.⁵

Ждал я от тебя письма, и не дождался. Пожалуйста, напиши объяснение, каким образом я потерял свой нос, т. е. тебя.⁶ Письмо твое к Кр<аевскому> читал.⁷ И об этом напиши, что узнаешь, т. е. о замоскворецком Гегеле.⁸ «Culte»* к тебе послать не могу: Капиташка и Панаев обомлели от ужаса и удивления, услышав от меня, что ты хотел увезти «Culte», а я хочу послать к тебе. После этого, согласись, мне нечего делать.⁹ Бумажник не мог отослать по неимению гроша денег, но он пошлется Кр<аевским> вслед за этим письмом. Б<акунин> женится на Ушаковой. Они все в Прямухине. Скучно жить на свете, душа моя Тряпичкин: стремишься к высокому, а светская чернь тебя не понимает.¹⁰ Сейчас был в Александрии: давали премиленький водевильчик: «Вся беда, что плохо объяснились»¹¹ (вот бы Щепкину-то, тут для него славная роль — Боплана); так и хочется рассказать тебе, но без тебя многого мне некому рассказать и сказать. Ты поторопился уехать в пятницу утром, вместо субботы вечером, чтоб не мешать мне работать, — и ошибся в расчете: я вообразил, что ты не уехал и ничего не делал ни в пятницу, ни в субботу, а потом с неделю посвятил на грусть по разлуке с тобою: у меня сердце нежное и к дружбе склонное... Но Кр<аевский> не таков — подлец: говорит, дружба — вздор и лень, а надо работать, и я сказал себе, как Кин в глупой трагедии Дюма: «Ступай, бедная, водовозная лошадь!»¹² Гоголь прислал во-время «Сцену после представления комедии» — удивительная вещь — умнее я ничего не читывал по-русски.¹³ Полевой разругал «Мертвые души» на чем свет стоит, и из статьи вышел донос почище Сенковского.¹⁴ Знаешь ли что — поверь, это не преувеличение в минуту досады —

* Культ (франц.).— Ред

русская литература еще не представляла такого плюгавого подлеца — сам Булгарин менее подлец в сравнении с ним. Прочти эту статью в 6 и 7 № «Русского вестника».

Чувствую и верую и знаю вновь, что жизнь земная прекрасна, но вместе с этим убеждаюсь, что не для меня. Мужик в юбке лучше бабы в штанах, а хуже меня нет никого. Смерти боюсь, а живуц — кругом гробы, а всё живу — для чего — чорт знает.

Обтиранье водою меня не удовлетворяет: на днях покупаю корыто и обливаюсь из ведра.

Прощай, Б<откин>, хотел бы еще поврать, да что-то не врется.

Твой В. Б.

Лошади проржали в «Литературной газете», что М. С. Щепкин будет в Питер: правда ли?¹⁵

Получил ли М<ихаил> С<еменович> комедию и сцены — «Игроки» и «Тяжба»?¹⁶ Пусть он поскорей уведомит, что берет — «Игроки» или «Тяжбу». 7 декабря бенефис Сосницкого.¹⁷

Кланяйся всем.

Говорят, твоя статья крепко нравится художникам. «Вот как надо писать», — говорят они.¹⁸

207. Н. А. БАКУНИНУ

СПб. 1842, ноября 28.

Да что Вы это, да как Вы это, драгоценнейший Николай Александрович? На что это похоже? Где же уважение к старшим, где почтение к летам и заслугам?.. За кого ж считаете Вы нас, хоть бы, например, и меня? Смотри, какую штуку выкинул, глупдырь негодный!¹ Бога Вы не боитесь, таракан усатый! Зарезали, осрамили, ослозорили Вы нас! Женится, он женится!² А мы-то что же, чем же мы-то хуже Вас? Вот поди ты, служи отечеству и проливай за него реки чернильные! Какой-нибудь эдакой глупдырь женится, а ты посвистывай в страшной, холодной пустоте своей ненавистной квартиры, в приятном сообществе с своим лакеем. Велишь поставить самовар и чаю положить в чайник, да и велишь выпить его человеку, а сам одеваться, да и бежать куда-нибудь от самого себя. Ах Вы, негодный глупдырь! Надул, зарезал! Так Вы жених? Да как же это? Это однако ж страшно — я за Вас дрожу. Мне кажется, что в Вашем положении у меня шумело бы в ушах, всё вертелось бы в глазах, кровь прорвала бы жилы и хлынула бурным потоком. Я думаю, Вы вынете карман из платка — и в кармане жена и в платке жена. Я бы на Вашем месте умер с голоду — не стал

бы ничего есть, боясь в каждом куске видеть жену. Да, вчуже страшно за Вас. Воображаю, как бы я был хорош в Вашем положении! У меня предрянные нервы, и вообще «душе не впору тело».

Ну, полно врать! Руку Вашу, любезнейший Н<иколай> А<лександрович>! Вы готовитесь вышить лучший бокал жизни, от души желаю Вам на дне его найти не улетучивающуюся пену божественного напитка, а счастье, простое, тихое, в себе самом замкнутое, ни для кого не бросающееся в глаза счастье! Всё великое на земле божественно, а всё божественное—просто. Боже сохрани не понять этого и ожидать от любви чудес — сама любовь есть чудо. Но всё это Вы, я уверен, и без меня хорошо понимаете в себе и для себя. Одно почитаю долгом сказать Вам: страшитесь, как верной гибели, всё найти в одном. Я насчет этого «одного» только фантазировал, и теперь отчасти рад, что всё кончилось фантазиями, ибо я глупо фантазировал, заключая всё в одном. Мишель это понимал лучше меня; впрочем, теперь он не в одном этом победил меня, сам того не зная. Ему помогла диалектика действительности, помогла и моя натура. Вы пишете (своими каракулями, которые от счастья сделались еще гнуснее и неразборчивее), Вы пишете, что не верите моей пламенной любви к М<ишелю>, ибо не понимаете любви за понятия.* Вы не правы. Во-1-х, я никого не люблю и не любил пламенно, в глупые года моей фантазерской и полудикой юности я знавал любовь, и, может быть, не раз, но не пламенную, а разве горестную и трудную.³ Во-2-х, любить человека за понятия и можно и не можно. Надо условиться в значении слова «понятие». Если по Вашему *понятию* яблоки вкуснее груш, а город Торжок богаче города Ельца, — я за это не могу ни любить, ни ненавидеть Вас. Вы поймете меня. Есть понятия религиозные, отсутствие которых в человеке может сделать человека и презренным, и ненавистным. Есть понятия, для которых и жизнь и счастье жизни — возможные жертвы! Есть понятия, которые смущают покой ночной, отравляют пищу, которые по воле и кипятят и прохлаждают кровь. Читали ли Вы когда Ветхий завет, думали ль Вы о значении юдаизма? Знаете ли Вы, что такое *ревность по госпoде, снeдающая человека*? Что человек без бога? — труп холодный. Его жизнь в боге, в нем он и умирает и воскресает, и страдает и блаженствует. А что такое бог, если не *понятие* человека о боге? Я понимаю, что для того, чтобы полюбить женщину, не нужно делать экзамена ее понятиям; но я, по моей фанатически-нетерпимой и субъективной натуре, я могу или еще более полюбить пленивший меня женственный образ за его понятия, или совсем раз-

* Далее зачеркнуто: Увы, к прискорбию м<oему>

любить его за них. Увы! Я некогда сам думал (или, вернее сказать, принуждал себя думать), что любят не за понятия, и поэтому подозревал М<ишеля> в сухости и мертвенности натуры; но, повторяю, он одержал надо мною победу, которой может порадоваться. Но об этом мы еще потолкуем. Прибавлю только, что я нисколько не раскаиваюсь и не жалею о моих размолвках с М<ишелем>: всё это было необходимо и быть иначе не могло. Гадки и пошлы ссоры личные, но борьба за «понятия» — дело святое, и горе тому, кто не боролся!

Я не знаю Вашей невесты, но уверен, что она — сестра Вашим сестрам. Передайте ей мой простой, задушевный привет, какой, думаю, имеет священное право сделать человек человеку без всяких других прав. Я этого не выговорил бы в глаза, но *epistola non rubescit*, письмо не краснеет, по самому близкому переводу. Я робок с женщинами: никого так не люблю, как их, и никого так не боюсь, как их. Сила женственности самая страшная из всех сил.

Если не приеду в Прямухино, то уже, конечно, не по лениности, не по равнодушию, не по боязни беспокойств и мук дороги. Признаюсь, крепко подмывает. Получив Ваше письмо, дня два или три ничего делать не мог, а дела была бездна.⁴ Меня посетило вдруг, словно вдохновение, такое живое воспоминание о счастливых минутах, проведенных мною прошлого года в Торжке, что мне опротивело всё, что я ни видел вокруг себя, и если б я мог ехать в ту же минуту — никакой паровоз не удовлетворил бы полету души моей. Я же перед этим был несколько потрясен. В редакцию «Отечественных записок» присланы из Воронежа стихи «На смерть А. В. Кольцова».⁵ Что делать?

Смертный, силе, нас гнетущей,
Покоряйся и терпи;
Мертвый — в гробе мирно спи!
Жизнью пользуйся — живущий!⁶

Боже мой! какая бы для меня была радость приехать в Прямухино! Увидеть всех вас — и счастливых притом, — увидеть В<арвару> А<лександровну>, которую я так давно не видел! А сколько у меня предметов для разговоров, живых разговоров, которыми красна разумная беседа и мила человеческая жизнь. Вам, судырь ты мой, я знаю, будет не до разговоров, — и Вас бы за это надо было иногда побесить... Да впрочем, не бойтесь; где дело идет о женщинах, я ни для кого не опасный человек, кроме разве самого себя. Одна мысль — я в Прямухине, — господи, хоть бы во сне увидеть! Этот дом, комнаты, всё, всё — просто страшно ехать: поедешь на три дня, а прожи-

вещь, пожалуй, три недели, а ведь «Отечественные записки» не любят ждать своих водовозных лошадей.

Благодарю всею душою В<арвару>А<лександровну> за добрую ее готовность порадовать меня двумя-тремя строками. Я считаю их за нею. Т<атьяне> А<лександровне> и А<лександре> А<лександровне> кланяюсь в пояс и, право, не умею и высказать моей благодарности, особенно Т<атьяне> А<лександровне>. Набожно, как музульманин стихи из алкорана, читаю я их строки, только не на заре, ибо встаю никогда не раньше 9 с половиною и не позже 12-ти часов утра. Их радушное приглашение, их уверение, что меня в Прямухине все любят, трогает меня — стыдно признаться — до слез.

Память обо мне *баронессы* Н. А. Беер фон Вейсенфельд так дорога, и я за нее так благодарен, что *даже* прощаю Н<аталье> А<ндреев>не ее *баронство* и ее *фон* — непростительнейшие в глазах моих преступления. Рад, от всей души буду рад увидеться с нею, а пока прошу ее, когда она будет писать к Александре Андреевне, поклониться ей от меня.⁷

Когда Вы женитесь, Н<иколай> А<лександрович>, Вы совсем разучитесь писать. Ваши каракули после ровных, прекрасных строк Ваших сестер похожи уж и не знаю на что. А кстати — когда же Ваша свадьба? Не понимаю, как о Вашей женитьбе знает Соллогуб? Он при мне говорил об этом, как о новости.

Свидетельствую мое почтение и поздравляю с семейным праздником Александра Михайловича и Варвару Александровну и всех Ваших.

Я терпеть не могу шампанского, а с каким бы удовольствием выпил бокал за Ваше счастье. Если мне не удастся приехать к Вам — то у себя дома, затворив двери, выпью за здоровье и счастье всех, всех вас. Знаете ли что, будьте добры — отвечайте на это письмо: в случае, если мне нельзя будет вырваться на желанную дорогу, — Ваше письмо будет хотя и грустным, но всё же вознаграждением. Ведь и погрузить сильно не всегда удается; одна апатия — всегдашняя гостья. К М<ишелю> я адресовал в Дрезден, *poste-restante*,* — так ли?⁸

Весь Ваш В. Белинский.

208. И. П. ПАНАЕВУ

Декабря 5, 1842. <Петербург.>

Ну, Панаев, вижу, что у Вас есть чутье кое на что — сейчас я прочел «Мельхиора», и мне всё слышатся Ваши слова: «Эта женщина постигла таинство любви»¹. Да, любовь есть

* до востребования (*франц.*). — *Ред.*

тайнство, — благо тому, кто постиг его; и, не найдя его осуществления для себя, он всё-таки владеет тайнством. Для меня, Панаев, светлою минутою жизни будет та минута, когда я вполне удостоверюсь, что Вы, *наконец*, уже владеете в своем духе этим тайнством, а не предчувствуете его только. Мы, Панаев, счастливы — очи наши узрели спасение наше, и мы отпущены с миром владыкою: мы дождались пророков наших — и узнали их, мы дождались знамений — и поняли и уразумели их. Вам странны покажутся эти строки, ни с того, ни с сего присланные к Вам, но я в экстазе, в сумасшествии, а Жорж Занд называет сумасшествием именно те минуты благоразумия, когда человек никогда не поразит и не оскорбит странностью — это она говорит о Мельхиоре. Как часто мы бываем благоразумными Мельхиорами; и благо нам в редкие минуты нашего безумия. О многом хотелось бы мне сказать Вам, но язык ко-стенеет. Я люблю Вас, Панаев, люблю горячо — я знаю это по минутам неукротимой ненависти к Вам. Кто дал мне право на это — не знаю; не знаю даже, дано ли это право. Мне кажется, Вы ошибаетесь, думая, что всё придет само собою, даром, без борьбы, и потому не боретесь, истребляя плевелы из души своей, вырывая их с кровью. Это еще не заслуга. Панаев, встать в одно прекрасное утро человеком истинным и увидеть, что без натяжек и фразерства можно быть таким. Даровое не прочно, да и невозможно, оно обманчиво. Надо положить на себя эпитимью и пост, и вериги, надо говорить себе: этого мне хочется, но это нехорошо, так не быть же этому.

Пусть Вас тянет к *этому*, а вы всё-таки не идите к нему; пусть будете Вы в апатии и тоске — всё лучше, чем в удовлетворении своей суетности и пустоты.

Но я чувствую, что я не шутя безумствую. Может быть, приду к Вам обедать, а не говорить: говорить надо, когда заговорится само собою, а не назначать часы для этого. Спешу к Вам послать это маранье, пока охолодевшее чувство не заставит его изорвать...

209. В. П. БОТКИНУ

<9—10 декабря 1842 г. Петербург.>

СПб. 1842, декабря 9.

Обо многом надо мне писать к тебе, Боткин. Во-1-х, спасибо за твое письмо.¹ Я опять в таком положении, когда письмо от приятеля — праздник на день и на два. Да и письмо твое интересно. Смерть Кольцова тебя поразила. Что делать? На меня такие вещи иначе действуют: я похож на солдата в разгаре битвы — пал друг и брат — ничего — с богом — дело обыкновен-

ное. Оттого-то, верно, потеря сильнее действует на меня тогда, как я привыкну к ней, нежели в первую минуту. Об отце Кольцова думать нечего: такой случай мог бы вооружить перо энергическим, громоносным негодованием где-нибудь, а не у нас. Да и чем виноват этот отец, что он — мужик? И что он сделал особенного? Воля твоя, а я не могу питать враждебности против волка, медведя или бешеной собаки, хотя бы кто из них растерзал чудо гения или чудо красоты, так же, как не могу питать враждебности к паровозу, раздавившему на пути своем человека. Поэтому-то Христос, видно, и молился за палачей своих, говоря: «Не ведят бо, что творят». Я не могу молиться ни за волков, ни за медведей, ни за бешеных собак, ни за русских купцов и мужиков, ни за русских судей и квартальных; но и не могу питать к тому или другому из них личной ненависти. И что напишешь об отце Кольцова и как напишешь? Во-1-х, и написать нельзя, во-2-х, и напиши — он ведь не прочтет, а если и прочтет — не поймет, а если и поймет — не убедится. Издать сочинения Кольцова — другое дело; но как издать, на что издать и пр. и пр. Совокупность всех таких вопросов парализует мой дух и производит во мне апатию. Эта апатия, я начинаю догадываться, есть особенный род отчаяния: когда пожар застигнет на постели человека и он увидит, что выхода нет, — он садится, складывает руки и чужд в эту минуту страха, отчаяния, опасения, надежды и всего.

Кр<аевский> получил еще стихи на смерть К<ольцова>, но уведомления никакого — когда, как и пр. Всё еще как-то ждется чуда — не воскреснет ли, не ошибка ли? Страдалец был этот человек — я теперь только понял его. Мне смешно, горько смешно вспомнить, как перебивал я его в Питер, как спорил против его возражений. К<ольцов> знал действительность. Торговля в его глазах была синоним мошенничества и подлости. Он говорил, что хорошо быть таким купцом, как ты, но не таким, как tuus pater.* Одна мысль о начатии нового поприща унижения, пролазничества, плутней приводила его в ужас — она-то и усахарила его. У Иванова (иногороднего) дела идут отлично, но потому, что он — Иванов, честный и добрый малый,² но Иванов, а не Кольцов. Я понимаю, почему на святой Руси для денег редкий, кто не продаст жены, детей, совести, чести, будущего спасения души, счастья и покоя ближнего и пр. Чичиков действительно Ахилл русской «Илиады».³ Никто из нас в беде не постыдится пойти в сидельцы в лавку; но каждый предпочтет служить чиповником за 300 р. годового оклада. К чорту все фразы — смотри в оба, видь, что есть и как есть, и околевой, как собака, молча — кричать хорошо, когда стон и

* твой отец (латин.).— Ред.

воплъ облегчат — иначе это и глупость, и слабость. Я не думаю, чтобы я когда-нибудь решился жениться на деньгах; но, кто это делает, того не осужу и не презрю. Не от всякого можно требовать, чтоб он умирал медленною смертью унижения, позора, голода, безнадежности: Диоген, увидя мальчика, пьющего воду из реки рукою, бросил свой стакан, как ненужную вещь; нам нельзя этого делать, наш закон: или хрустальный граненый стакан, или смерть, или подлость... Что ни говори, а оно так.

Спасибо тебе за вести о славянофилах и за стихи на Дмитриева — не могу сказать, как то и другое порадовало меня.⁴ Если не ошибаюсь в себе и в своем чувстве, — ненависть этих господ радует меня — я смакую ее, как боги амброзию, как Боткин (мой друг) всякую сладкую дрянью; я был бы рад их мщению, и чем бы оно было действительнее, тем для меня отраднее. Я буду постоянно бесить их, выводить из терпения, дразнить. Бой мелочной, но всё же бой, война с лягушками, но всё же не мир с баранами.

Как показался тебе 12 № «Отечественных записок»?⁵ «Мельхиор» — божественное произведение.⁶ Ж. З<анд> постигла таинство любви получше всех немцев, и в штанах и в юбках. Ее любовь — не чувственная, хотя и изящная любовь итальянца, не восторженная, бесконечная в чувстве и пустая в содержании, романтическая любовь немца, не бессознательно-непосредственная, хотя и глубокая любовь англичанина; ее любовь — действительность и полнота всякой любви. «Мельхиор» потряс меня, как откровение, как блеск молнии, озарившей бесконечное пространство, — и я пролил слезы божественного восторга, священного безумия. Бога ради, прочти в 12 № «Библиотеки для чтения» драму «Густав Адольф» — эта вещь возбудила во мне экстаз, и ты поймешь, что мне понравилось.⁷ Я начинаю вырабатываться — ложная поэзия меня уже не надует, чувствую, что созерцание мое возвысилось до общего, до идеи. Отчего не хлынут у меня слезы иступления — о том я не могу сказать более, как недурно. Что восторгает мой дух, того я не могу хвалить, но тем я живу утроенною жизнью и наслаждаюсь блаженным ясновидением. Кстати: ты срезался на «Consuelo» — это великое, божественное произведение. Чтобы убедиться в этом, стоит прочесть страницу от строки: «Tout-à-coup il sembla à Consuelo que le violon d'Albert parlait, et qu'il disait par la bouche de Satan...»⁸ и пр.

Как тебе моя статья о Баратынском? Она скомкана, свалена, а, кажется, чуть ли не из лучших моих мараний.

* «Вдруг Консуэло почудилось, что скрипка Альбера заговорила и устами Сатаны произнесла...» (франц.). — *Ред.*

Я сейчас из театра. «Женитьба» пала и ошкана. Играна была гнусно и подло, Сосницкий не знал даже роли. Превосходно играла Сосницкая (невесту), и очень, очень был недурен Мартынов (Подколесин); остальное всё — верх гнусности. Теперь враги Гоголя пируют.⁹ В театре Стр<уговщиков> познакомил меня с Брюлловым, который сказал мне, что давно меня знает, давно желал познакомиться, сказал это с простотою и радушием; а я, как дурак, молчал, не видя вокруг себя ничего, кроме свиных рыл. Горбунов под руководством самого Моллера копирует его «Девушку с кольцом» и надеется сбыть копию рублей за 500.¹⁰

«Игроки» Гоголя запрещены театральною цензурою, т. е. дураком — мальчишкою Гедеоновым, следовательно, запрещены произвольно, без всякого основания.¹¹ Что до прочих пьес Гоголя — они все принадлежат М. С. Щепкину. Гоголь об этом пишет к Прокоповичу, — и вот собственные слова его, которые выписываю с дипломатической точностию: «Все драматические сцены, составляющие четвертую часть, принадлежат все Щепкину. Это нужно разгласить и распространить, чтобы меня не беспокоили и не тревожили другие актеры какими-нибудь письмами и просьбами. На всякую просьбу Щепкина снисходи и постарайся, чтобы сделано было всё, что он просит. Половина драматических отрывков должна остаться ему для будущего бенефиса в будущем году, потому что я для театра ничего не произведу никогда».¹² Пожалуйста, передай это Михаилу Семеновичу.

Насчет хлопот Погодина насчет оживления онанистического его «Москвитянина» можно сказать одно: хватился монах, как уж смерть в головах. <...>

В театре я сижу у бевуара — глядь, в ложе — Жени Фалькоп и m-Me Anna.¹³ Во мне и дух замер. Фалькоп понимает по-русски. «Женитьба» их занимала, как нас занимают письма Де-Мина о Китае,¹⁴ и они выражали свое удивление с французскою живостию. Эх, чорт возьми... молчание, молчание!..¹⁵ Вообрази себе: Фалькоп на содержании у Яковлева,¹⁶ — Кр<аевский> показал мне его тут же — рожа хуже <...> Но бог с нею, с этою Фалькоп — вот Анна, как я вблизи-то порассмотрел — эх, но молчание, молчание...

Жить становится всё тяжелее и тяжелее — не скажу, чтобы я боялся умереть с тоски, а не шутя боюсь или сойти с ума, или шататься ничего не делая, подобно тени, по знакомым. Стены моей квартиры мне ненавистны; возвращаясь в них, иду с отчаянием и отвращением в душе, словно узник в тюрьму, из которой ему позволено было выйти погулять. Это ты от меня уже слышал, но сколько бы я ни повторял тебе этого, никогда не буду в силах выразить всей действительности этого страшного

могильного ощущения. Был грешок — любил я в старину преувеличить иное ради поэзии содержания и выражения; но теперь — бог с нею, со всякою поэзией — немножко спокойствия, немножко веселости я предпочел бы чести сильно страдать. Теперь настала пора, когда не до поэзии, когда страшно уверяться в прозаической действительности собственного страдания, а уверяешься против воли. Ты знаешь, что я не люблю ни с кем жить вместе и, как медведь, люблю одиночество своей берлоги; поверишь ли, дошло до того, что стало необходимою разделить с кем-нибудь свою квартиру. Но с кем? Кроме тебя, я мог бы жить с Кольцовым, да где его взять. Радехонек был бы я теперь приезду моего доброго и сумасшедшего Поля¹⁷ и почел бы себя счастливым, поселив его в моей зале. С тоскою вспоминаю время, которое ты у меня жил. Бывало, возвращаемся вдвоем, поболтаем, прежде чем заснем. Ворочусь один — ничего — вот звонок зазвонит. Мне было приятно, когда ты даже будил меня. А уж не могу и выразить тебе не удовольствия, а просто счастья, когда, возвращаясь один, я видел со двора приветный свет в моих окнах и заставлял тебя священнодействующим за таинством чаевания или какого-нибудь смакования. Теперь мне мало соседства, — я желал бы жить с тобою, как мы жили в последний твой приезд. Чорт меня возьми, я фразерствовать не люблю, по крайней мере теперь, и почту за подлость уверять тебя в том, чего или нет совсем, или меньше, нежели сколько объявляется. И потому — прими это, как хочешь — а я скажу тебе, что со дня на день более и более чувствую, что сближаюсь с тобою, что ты один — мое всё на земле, и что без тебя я был бы дрянь дрянью. Может быть (да и верно так, а не иначе), это от того, что приходит плохо и других источников счастья нет; но что за нужда, отчего бы ни было, а оно так. Бога ради, пиши чаще и больше — твое письмо праздник для меня. Ты счастливее меня — с тобою Г<ерцен>, которому крепко, крепко жму руку; а я один, ей-богу, один.

Поездка моя в Москву едва ли сбудется; по крайней мере, отложится до февраля, если не свершится чуда, которого, впрочем, неоткуда ожидать. А между тем я чувствую, что эта поездка воскресила бы и оживила бы меня и физически и нравственно, по крайней мере, до весны. Вообрази себе: каждое утро выливаю на себя ведро воды самой холодной — пытка такая, что страшно спать ложиться при мысли об утре. Но, кажется, это здорово — по крайней мере поутру свеж, простуды не боюсь, а при испражнении кровь так и льется.

Г-н М<илановский>¹⁸ дал мне хороший урок — он гаже и плюгавее, чем о нем думает К.-Левиафан.¹⁹ Если увидимся, не

говори со мной о нем — мое самолюбие жестоко страдает при мысли, что я способен так глупо ошибаться в людях.

Декабря 10.

Хотелось бы еще поболтать с тобою, да не о чем, а потому — кланяйся Г<ерцену>, Шепелявому,²⁰ Левиафану, М. С. Щепкину, Кудрявцеву, Кольчугину²¹ и всем, кто помнит меня, и прощай.

В. Б.

210. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1843, февраля 6.

Я много, много виноват перед тобою, милый мой Боткин. Причина этому — страшное, сухое отчаяние, парализовавшее во мне всякую деятельность, кроме журнальной, всякое чувство, кроме чувства невыносимой пытки. Причин этой причины много; но главная — невозможность ехать в Прямухино. Мысль об этой невозможности, равно как и о самом Прямухино, я всячески отгонял, словно преступник о своем преступлении, и она, в самом деле, не преследовала меня беспрестанно, но, когда я забывался, вдруг прожигала меня писквозь, как струя молнии, как мучение совести. Подобным же образом, хотя, к стыду моему, и не так сильно, терзало и терзает еще меня *внезапное воспоминание* о смерти Кольцова. Весть о ней я принял сначала сухо и холодно, но потом она обошла мне-таки очень не дешево. Работа журнальная мне опостылела до болезненности, и я со страхом и ужасом начинаю сознавать, что меня не надолго хватит. Писать ничего и ни о чем со дня на день становится невозможнее и невозможнее. Об искусстве ври, что хочешь, а о деле, т. е. о нравах и нравственности — хоть и не трать труда и времени. Из статьи моей в 1 № «Отечественных записок» вырезан целый лист печатный — всё лучшее, а я эту статью очень дорожил, ибо она проста и по идее и по изложению.¹ Из статьи о Державине (№ 2) не вычеркнуто ни одного слова, а я совсем не дорожил ею. Теперь должен приниматься за 2-ю статью о Державине под влиянием вдохновительной и поощрительной мысли, что ее всю изрежут и исковеркают.² Всё это и другие причины огадили мне русскую литературу и вранье о ней сделали пыткой. А между тем я должен врать ради хлеба насущного. Запущу работу, потеряю время — глядь уж и 15 число на дворе — Кривецкий рычит, у меня в голове ни полмысли, не знаю, как начну, что скажу, беру перо — и пошла

писать. Это привычка и необходимость — два великие рычага деятельности человеческой. Будь я женат, и если бы я из другой комнаты слышал вопли ее мук рождения, а статья была бы нужна — она будет готова — как — я сам не знаю, но будет готова. И вот я дней в 10 пишу горы — книжка, благодаря мне, отпечатывается наскоро, Кр<аевский> ругается, типография негодует; отработался, и два-три дня у меня болит рука — вид бумаги и пера наводит на меня тоску и апатию; дую себе в преферанс (подлый и филистерский вист я уже презираю — это прогресс), ставлю ремизы страшные, ибо и игру знаю плохо и горячусь, как сумасшедший — на мелок я должен рублей около 300, а переплатил месяца в два (как начал играть в преферанс) рублей 150 — благородная, братец, игра преферанс! Я готов играть утром, вечером, ночью, днем, не есть и играть, не спать и играть. Страсть моя к преферансу ужасает всех; но страсти нет, — ты поймешь, что есть. Дома быть не могу; каждый вечер возвращаюсь домой то в 3, то в 4 часа ночи и сплю до 10, 11 и 12, иногда с хвостиком. Тоска есть, желаний нет, и только мечта о Прямухине изредка умиляет душу, на мгновение растопляя толстую кору льда, которая ее покрывает. Надежд на жизнь никаких, ибо фантазия уже не тешит, а действительность глубоко понята. Как тут — будь беспристрастен — прочесть что-нибудь для себя? А, боже мой, сколько бы надо прочесть-то! Но полно тешить себя завтраками — я ничего не прочту. Я — Прометей в карикатуре: «Отечественные записки» — моя скала, Кр<аевский> — мой коршун. Мозг мой сохнет, способности тупеют, и только —

. . . печаль минувших дней

В моей душе чем старей, тем сильнее.³

Мне стыдно вспомнить, что некогда я думал видеть на голове моей терновый венок страдания, тогда как на ней был просто шутовской колпак с бубенчиками. Какое страдание, если стишонки Красова и — Θ^4 — были фактом жизни и занимали меня, как вопросы о жизни и смерти? Теперь иное: я не читаю стихов (и только перечитываю Лерм<онтова>), всё более и более погружаясь в бездонный океан его поэзии), и когда случится пробежать стихи Фета или Огарева, я говорю: «Оно хорошо, но как же не стыдно тратить времени и чернил на такие вздоры?»

К довершению всех этих приятностей, у меня лежит на столе прекрасное стихотворение г. Оже⁵, которого последняя рифма есть 830 рублей ассигн.; да других долгов и долгишек, не терпящих отсрочки, есть сот до семи; а у Кр<аевского> я уже забрал вперед за этот год более 1000 р. Это просто — оргия отчаяния, и я иногда смеюсь над своим положением. Кстати:

подписка идет недурно — лучше, чем в прошлый год, но у «Библиотеки для чтения» всё-таки *больше* подписчиков. Пиши для российской публики! Гоголя сочинения идут тихо: честь и слава бараньему стаду, для которого и Булгарин с братиею всё еще высокие гении!

Многое бы хотелось сказать тебе — да что: ты—и так знаешь всё. Спасибо тебе за несколько слов задушевных. Не хочу без толку плодить этой материи, чтобы не опозлить ее. Скажу одно: прежде я больше всего боялся своей смерти — к стыду моему, боюсь ее и теперь; но гораздо больше боюсь твоей, ибо большего бедствия для себя представить не могу — кровь холодеет при одной мысли. Это чувство для меня *новое*; оно мне и страшно и дорого.

Приезжай, Боткин, в Питер. Нам в жизни осталось одно — наша святая дружба — воспользуемся же этим одним, чтоб некогда не упрекнуть себя, что судьба не во всем отказала, а мы ничем не воспользовались. Теперь твоя поездка будет уже не шалость, не дурачество, а долг: вместе нам легче будет нести жизнь. Письмо Б<акунина> посылаю. Оно таково, как должно было ожидать. Говорят, он *принужден* был из Д<рездена> переехать в Базель — это глубоко меня огорчило.⁷ После тебя я этого человека люблю больше всех — любовь моя к нему не страсть, а пафос, ибо это — любовь к человеческому достоинству и ко всему, чем велика и свята жизнь.

Меня мучит мысль, что ты оттого не едешь, что меня ждешь. Я чувствовал, что должен был уведомить тебя, что ехать *решительно не могу*; но вид пера погружал меня в летаргию.

Скажи Г<ерцену>, что его «Дил<етантизм> в н<ауке>» — статья донельзя прекрасная — я ею упивался и беспрестанно повторял — вот, как надо писать для журнала.⁸ Это не порыв и не преувеличение — я уже не увлекаюсь и умею давать вес моим хвалебным словам. Повторяю, статья его чертовски хороша; но письмо его ко мне меня опечалило⁹ — от него попахивает умеренностию и благоразумием житейским, т. е. началом падения и гниения (я требую от тебя, чтобы ты дал ему в руки это мое письмо). Он толкует, что г. Х<омяков> — удивительный человек, что он, правда, лежит по уши в грязи, но — видишь ты — и страдает от этого. А в чем выражается это страдание? — в болтовне, в семинарских диспутах *pro* и *contra*.^{*} Я знаю, что Х<омяков> — человек не глупый, много читал и, вообще, образован; но мне было бы гадко его слышать, и он не надул бы меня своею диалектикою, а заставил бы вспомнить эти стихи В'arhier), взятые Лерм<онтовым> эпиграфом к своему стихотворению «Не верь себе»: ¹⁹

* за и против (латин.).— Ред.

Que nous font après tout les vulgaires abois,
De tous ces charlatans, qui donnent de la voix,
Les marchands de pathos et les faiseurs d'emphase,
*Et tous les baladins qui dansent sur la phrase?**

Х<омяков>—это изящный, образованный, умный И А. Хлестаков, человек без убеждения, человек без царя в голове; если он к тому еще проповедует — он шут, паяц, кощунствующий над священнодействием религиозного обряда. Плюю в лицо всем Х<омяковы>м, а будь проклят, кто осудит меня за это! ¹¹

Твоя статья о «Немецкой литературе» в 1 № мне чрезвычайно понравилась — умно, дельно и ловко. Во 2-м — тоже хороша; но брось ты эту колбасу Рётшера — пусть ему чорт приснится. Это, брат, пешка: его ум — приобретенный из книг. Вагнеровская натурашка так и пробивается сквозь его натянутую ученость. На Руси он был бы Шевыревым. ¹²

Кстати: ты пишешь, что в тебе развивается антипатия к немцам, — не могу говорить об этом, ибо это отвращение во мне дошло до болезненности; но крепко, крепко жму тебе руку за это истинно человеческое и благородное чувство.

К<аткова> ты видел. Я тоже видел. Знатный субъект для психологических наблюдений. Это Хлестаков в немецком вкусе. Я теперь понял, отчего во время самого разгара моей мнимой к нему дружбы меня дико поражали его зеленые стеклянные глаза. ¹³ Ты некогда недостойным участием к нему жестоко погрешил против истины; но — честь и слава тебе — ты же хорошо и поправился: ты постиг его натуру — попал ему в самое сердце. Этот человек не изменился, а только стал самим собою. Теперь это — куча философского <...>: боясь наступить на нее — и замазает и завоняет. Мы все славно повели себя с ним — он было вошел на ходулях; но паша полная презрения холодность заставила его сойти с них.

Из Прямухина пишут ко мне — зовут, удивляются, что я и не еду и молчу, говорят, что ждут ¹⁴ — о боже мой! Эти строки — зачем хоть они не выжмут слезы из сдавленной сухим отчаянием груди. Нет сил отвечать. А, может, оно и лучше, что мне не удалось съездить: я, кажется, расположен к сумасшествию, а теперешнее сумасшествие было бы не то, что прежнее.

Страшное дело: бывают минуты, когда смертельно жаждет душа звуков и раздается в ушах оперное пение. Такие минуты во мне и не слишком редки и слишком сильны.

* Да что нам, в конце концов, до пошлых волея всех этих горлающих шарлатанов, до этих торговцев пафосом, ремесленников напыщенности и *всех прохвостов, играющих словами?* (Франц.) — Ред.

Мне тягостны веселья звуки!
Я говорю тебе: я слез хочу, певец,
Иль разорвется грудь от муки.
Страданьями была упитана она,
Томилась долго и безмолвно;
И грозный час настал — теперь она полна,
Как кубок смерти, яда полный.¹⁵

Смешно сказать, а ведь пойду на «Роберта» или «Стрелка», как только дадут; но на горе мое дают всё балет «Жизель»¹⁶ да «Руслана», о котором Одоевский натрёс дичи в «Смеси» 2 № «Отечественных записок».¹⁷

Раз играли мы в преферанс — я, Тютч(ев),¹⁸ Кульч(ицкий) и Кавелин. Юноша распелся¹⁹ — голос у него недурен, а главное, в его пении — страсть и душа. Сначала он орал всё славянские, а я ругал их; потом он начал песни Шиллера, а там из «Роберта» и «Фрейшюца». Смейся над моими ушами; но я в этот вечер пережил годы. Не могу слушать пения — оно одно освежает душу мою благодатною росой слез.

Пишешь ты, что холодная вода перестанет действовать на мои нервы. Ну, брат, наелся же ты грязи. После этого можно привыкнуть к голоду и отстать от пищи. Вот уже два месяца, как я пытаю себя, а всё иду на обливанье, как на казнь.

Яз(ыков) женится, — и счастлив, подлец, ходит с глазами, подернутыми светлою влагою слез блаженства.²⁰ Дай ему бог — он стоит счастья. И если бы я мог чему-нибудь радоваться, я бы непременно порадовался его счастью.

Прощай. Пиши ко мне. Что твой третейский суд? Поверишь ли: каждый раз, возвращаясь домой, мечтаю обрести тебя (о вид, угодный небесам!)²¹ за самоваром, который теперь существует у меня без употребления.

Твой В. Б

Приезжай,

Р. С. Письмо твое к П(анаеву) — малина;²² только есть о чем поспорить с тобою насчет одного пункта.

Кланяйся всем нашим. Крепко пожми руку Г(ерцену) и скажи ему, что я хоть и побранился с ним, но люблю его тем не менее. В письме его ко мне есть несколько строк, писанных рукою Н(аталии) А(лександровны) — за них я не умею и благодарить, еще менее умею выразить, как много они утешили меня. Немцу Гр(ановско)му поклон и привет. Он человек хороший, хотя и шепелявый; но одно в нем худо — модерация.²³ Нелепому²⁴ скажи, что он пренелепо издает Шекспира: к частям не прилагает оглавления, в заглавии пьес не выставляет числа актов, а орфография у него — чухонская. Но несмотря на то,

его перевод — дельное дело, так же как и он сам хороший человек, несмотря на всю нелепость. Милейшему и дражайшему М. С. Щ^кепкину тысяча приветствий, — люблю его до страсти, и если б вдруг увидел в Питере — кажется, сомлел бы от радости. В последнее время я что-то часто вижу его во сне. Кланяйся Д. Щ^кепкину и уведомя, где он располагает жить после своего магистерства. Если Красов в Москве, жму ему руку. Лангеру, Кольчугину, Клыкову и всем нашим общим знакомым и приятелям привет. Статья Галахова во 2 № «Отечественных записок» — прелесть. чудо, объединение.²⁵

211. А. А., В. А., Н. А. и Т. А. БАКУНИНЫМ

СПб. 1843 февраля <22—> 23 дня.

Любезнейший Н^киколай А^клександрович, давно уже вышло из моды становиться на колена и перед дамами, даже в самых казусных¹ обстоятельствах жизни, следовательно, перед мужчинами это и глупо и унижительно, и тем более перед таким глупырем и усатым (хотя и женатым) тараканом, как Вы; по я так виноват (даже и перед Вами), что — делать нечего — становлюсь перед Вами на колена и прошу Вас вымолить мне прощение *у кого следует*. Но зачем и к чему это — не лучше ли прямо обратиться в высшую инстанцию, помимо мелочных *печатеприкладчиков*? Что робеть? Между нами такое расстояние, а я издали и на письме всегда смел и храбр, притом же Вы, Т^катьяна А^клександровна, и Вы, А^клександра А^клександровна, так добры, как я виноват перед вами. Я даже уверен, что вы не только простите меня, но даже пожалеете обо мне, когда выслушаете мое оправдание. Нет, вы не можете думать, чтобы я мог *не* хотеть говорить с вами и не отвечать вам по равнодушию и лени: ² упрек в подобном нехотении я принимаю, Т^катьяна А^клександровна, за выражение Вашего участия и расположения ко мне. Выслушайте меня. Мысль о поездке в Прямухино представлялась мне как награда, не за добродетели мои, которыми не могу похвалиться, а за мои нестерпимые страдания, за скуку, апатию, заботы, тяжелый труд, лишения и горе целого года. Желание ехать во мне было так сильно, так порывисто, что я не смел расчесть вероятностей на поездку, боясь убедиться в невозможности, — а когда затаенное и сдерживаемое сознание этой невозможности начало уже душить и рвать меня, — я всё тешил себя какою-то пьяною и безумною надеждою. Наконец я убедился, что нечего и думать — надо отложить на неопределенное время. Тогда овла-

дело мною такое холодное, сухое отчаяние, что я отгонял от себя, душил в себе всякую мысль о Прямухине. И я бы солгал и перед вами и перед самим собою, если бы сказал вам, что эта мысль, против воли, не выходила из головы моей: нет, я забыл вас, по крайней мере забыл сознательно — но зато, если что-нибудь живо напоминало мне Прямухино — и ваши образы, ваши голоса, ваша музыка и пение овладевали всем существом моим, — тогда жгучая тоска, как раскаленное железо, как угрызение совести за преступление, проникала грудь мою и, махнув рукою, я хватался за всё, что только могло снова привести меня в мое мертвенно-спокойное состояние. Странное дело, мысль о невозможности поездки одинаково терзала меня, как и мысль о смерти Кольцова: та и другая являлась редко, та и другая острым пламенем прожигала душу и производила во мне чувство, похожее на угрызение совести, хотя я ни в том, ни в другом нисколько не был виноват. Вы поверите этому. Кроме того, что я вас всех так люблю, что минуты, проведенные мною год назад в Прямухине,³ были для меня каким-то блаженным сном, — кроме всего этого, возьмите в соображение мою петербургскую жизнь. Я недавно писал к Мишелю (в Берлин), что я представляю собою маленького Прометея в карикатуре: толстые «Отечественные записки» — моя скала, к которой я прикован, Краевский — мой коршун, который терзает мою грудь, как скоро она немного подживет.⁴ Занятие пошлостью и мерзостью, известною под именем русской литературы, критические (и притом пустые) толки о вздорах и пустяках опротивели мне до смерти. Прежде я работал много, и мне не тяжела казалась моя работа, которой достало бы на пятерых, — потому что я видел дело (и очень важное) в этом занятии и любил его. Теперь я вижу в нем вздор и глупость, — работаю с отвращением и принуждением, а между тем должен работать так же много, как и прежде. Как нянька от ребенка, я не могу ни на 5 дней отлучиться от журнала, который дает мне возможность существовать. Для себя я ничего не могу делать, ничего не могу прочесть. Едва-едва удалось мне прочесть по-французски «Hogase» и «André»,⁵ — обо всем остальном имею понятие через рассказы других. И до чтения ли мне, если вид книги для меня то же, что для собаки палка? Вы не знаете, что значит занятие книгою *ex-officio** и как всякое должностное занятие опошливает и омерзяет предмет занятия. Притом же, как я отделаяюсь от работы, — у меня болит рука и не держит пера, голова пуста, душа утомлена — и тогда я играю в преферанс со страстью, с опьянением, играю, разумеется, несчастливо (ибо мне ничто не удается — так на роду написано), ставлю ре-

* по обязанности (латин.). — *Ред.*

мизы (о, не дай вам бог узнать, что такое ремиз — при большом количестве вещь нестерпимая, — особенно как без 4-х в сюрсах), проигрываюсь в пух и на мелок и на чистые деньги. Пока играю — мука страшная; но лишь отдал деньги, — как ни в чем не бывал и жалею только о том, что нельзя играть до утра, а потом от утра до вечера, и так до скончания века. Боже мой, я картежник! Вам конечно, дико слышать это. Увы, я и сам насилил привык верить этому. Когда вы меня видели, я был еще невинен, и через несколько недель* удивил мою страстью всех знакомых, которые всегда видели во мне фанатического врага карт. Семейного знакомства у меня мало — однако ж я часто бываю в обществе женщин, очень добрых и очень милых, но которые только возбуждают во мне глубокую, тоскливую жажду женского общества. И после всего этого-то не иметь возможности отдохнуть душою на несколько дней, забыть карты и всю грязь и пошлость жизни! Поверьте — тут есть от чего в отчаянье прийти. Вот почему я не имел силы отвечать на ваши письма: мне надо было переболеть душою, дать пройти горячешному кризису. Ваши письма — особенно предпоследнее письмо — оно доставило мне много минут счастья, но такого горького, такого мучительного! Я писал об этом к Б(откину),⁶ недавно писал к М(ишелю), но к вам писать не мог, хотя мысль о том, как я глупо делаю, что не пишу к вам, и мучила меня. Я думаю, что я долго бы не писал еще к вам, если бы не письмо ваше, полученное сегодня (22 февраля). Прихожу вечером домой и вижу письмо, читаю адрес, вскрываю — по обыкновению, вижу два почерка — один такой разборчивый, такой красивый и принадлежащий не одной руке; другой — каракули; но Державин сказал: «И дым отечества нам сладок и приятен»⁷ — вот почему милы мне и каракули; но я читаю их уже, когда выучу наизусть строки, писанные хорошим почерком — извините, Н(иколай) А(лександрович).

Теперь отвечаю вам на предпоследнее письмо. Прежде всех Вам, А(лександра) А(лександровна); — Вашими строками начинается оно. Вы правы: в том-то и жизнь, что она беспрестанно нова, беспрестанно изменяется, — это и мой основной принцип жизни, и я рад, что он также и Ваш, — только те и живут, которые так думают. Старое — бог с ним: оно хорошо и прекрасно только в той мере, в какой было прямою или косвенною причиною нового, а само по себе — прочь его! Вы пишете, что открыли в себе новую способность — ненавидеть до... то, перед чем прежде преклонялись — вот это, признаюсь, для меня загадка — ну, так вот и хочется, смертельно хочется посмотреть,

* Первоначально: через месяц

как Вы там ненавидите. Прочтя эти строки, я начал ходить взад и вперед по комнате, сделавши серьезную мину, приложив ко лбу указательный перст и повторяя: как же это А<лександра> А<лександровна> ненавидит-то, вот посмотрел-то бы. Но шутки в сторону. Я могу поздравить Вас с этою новою способностью, как с большим шагом вперед. Конечно, это еще только процесс развития, а не результат его, но от этого процесса до результата уже недалеко. Когда человек двинется вперед духовно, он сердится на свои прежние убеждения; потом он начинает вновь мириться с ними, не возвращаясь к ним, но видя в них путь, по которому он шел. А у каждого свой путь, и дело в том, лишь бы дойти до цели, а до того, *как* дошел, что нужды! Книжки, о которых Вы меня спрашиваете, я получил. Вы прибавляете к этому, что если они и пропали, Вы рады, ибо обещались мстить мне; это хорошо, да только за что же? Впрочем, охотно принимаю Ваш вызов, — не забудьте о 6 000 000, которые я выиграл у Вас на китайском бильярде — ведь расписку-то я храню — и могу Вас упрятать в тюрьму.

Очень жалею, что невозможность поездки лишила меня удовольствия увидеться с Н. А. Б<еер>, и прошу Вас передать ей мою благодарность за память обо мне и добрые строки, которые много доставили мне радости. Что же касается до любви Н<атальи> А<ндреевны> к прошедшему, то совершенно соглашусь (хотя это и невежливо с моей стороны) с мнением Ник<олая> А<лександровича>, что это чувство *немецкое*, а я теперь так не люблю всё немецкое, что желал бы, что<бы> все, кого я люблю и уважаю, были чужды его.

В<арвара> А<лександровна>, Вы благодарите меня, что «я еще не совсем забыл Вас», и говорите, что это очень Вас обрадовало; а я так ни благодарен за Вашу благодарность, ни рад Вашей радости. За кого же Вы меня принимаете? Что бы я был, с позволения сказать, за скотина такая (извините за плебейское выражение — такова уж натура моя), чтобы мог забыть Вас! Я знаю, что я гораздо хуже, чем каким считают меня расположенные ко мне люди, но знаю (к чему лицемерить!), что во мне действительно есть и хорошие стороны, — и лучшая из них, без сомнения, состоит в том, что многое, на что толпа смотрит с бессмысленным равнодушием, было для меня откровением высокого значения жизни и благоговейная память о том навсегда присутствовала душе моей. Поездка в нынешнем году имела для меня двойную против прежней цену именно потому, что я могу увидеться с Вами и с моим маленьким приятелем, Вашим маленьким вояжером,⁸ который, конечно, не мог не изменить моей дружбе, но которого дружбу я сумел бы вновь приобрести.

Кстати: в строках Н. А. Б<еер>, действительно, есть ошибки:

надобно здравствуйте, а не сдравствуйте. Вообще, видно, что А<лександра> А<лександровна> во всей тонкости постигла мою грамматику⁹ — что заставляет крайне гордиться ее автора и даже утешиться в том, что презренная толпа не поняла ее, как всё высокое и прекрасное, и заставила несчастного автора продать свое грамматическое детище пудами за простую бумагу для оклейки комнат.

В Ваших строках, Т<атьяна> А<лександровна>, есть выражение, что нам не должно раззнакомливаться и что, будто, это очень легко: бог Вас простит за это выражение, а я ни за что на свете не прощу. Впрочем, я сам виноват, подав Вам причину, моим молчанием, считать меня за бог знает кого. Итак, помиримся, и если Вы согласны на мир, то докажете это позволением подарить Вам прекрасный альбом: «Les Femmes de Georges Sand»* с портретом G. S<and>. В Москве Семен перепечатал картинки и выпустил в свет с преплохим переводом текста. Я пришлю Вам, если позволите, парижское издание. Фигуры не все удачны — Женева вышла особенно дурна; лучше других Полина, но *Марта* — лучше ничего нельзя вообразить.¹⁰ Вы спрашиваете, получил ли я ответ от М<ишеля> — получил, и именно такой, какого ожидал, в каком был уверен.¹¹ О, будьте уверены, что это новое примирение не порыв, не вспышка, что оно вышло из жизни, что я глубоко, свято люблю М<ишеля>, что мое уважение к нему походит на восторг. Наши прошедшие ссоры — не глупые дразги — в них глубокий смысл — и потому я не стыжусь, но скорее горжусь ими. То была диалектика жизни, диалектика нашего развития. Но об этом после, когда, бог даст, увидимся. Письмо М<ишеля> я переслал к Б<откину>, который к М<ишелю> теперь находится в таких же точно отношениях, как и я, который тоже вместе со мною писал к М<ишелю> и которому М<ишель> отвечает с такою искренностью и задушевностью, как и мне. П<авел> А<лександрович>,¹² верно, читал это письмо. Из писем Б<откина> я знаю, что он к нему ходит и что они хороши. Досадно, что П<авел> А<лександрович>, проезжая через Питер, не зашел ко мне. Ну так, мы с М<ишелем> были не в ладу**, всё же это не причина не зайти ко мне. Ну, да что было, того не воротить, а лучше поговорю с Вами о другом, что для меня очень важно. Я смело обращаюсь к Вашему характеру, Т<атьяна> А<лександровна>, и без церемоний буду говорить о таком предмете, о котором, может быть, было бы неловко начать объяснение лично.¹³ Н<и>к<олай> А<лександрович> в прошлую поездку опечалил меня своим мнением о Б<откине>. Хотя я тогда же не поверил ему,

* «Женщины Жорж Санд» (франц.). — Ред.

** Далее зачеркнуто: да ему п<оказалось?>

как человеку, который ошибается, но всё-таки* я не мог защититься от некоторого внутреннего беспокойства. Разумеется, я не мог не сказать об этом Б<откин>у, и Н<иколай> А<лександрович> увидит сам, если поразмыслит об этом спокойно, что я не имел права поступить иначе при моих отношениях к Б<откину>. Его это тронуло как несправедливость со стороны людей, воспоминание о которых ему всегда свято. Он показал мне письма М<ишеля> и собственное свое письмо ко мне, которого он не кончил (почему я и не получил его) и в котором он делает мне род исповеди. Эти письма *фактически, числами* (датами) доказывают, что Н<иколай> А<лександрович> неправ, неправ и 1000 раз неправ. Б<откин> не хотел, чтобы я его оправдывал, но я чувствовал, что с моей стороны было бы очень дурно послушаться его, и я отнял у него эти письма, чтобы на возвратном пути показать их Н<иколаю> А<лександровичу> (ибо я думал еще увидиться с вами), — и они и теперь лежат у меня. Что было, то было, и того уже нет. В том, что было нехорошего в этом, *никто* не виноват, кроме судьбы. Б<откина> нельзя же винить в том, что он был романтиком, мистиком и фантазером, тогда как его глубокая натура назначала ему быть совсем не тем. Я не продолжаю далее, ибо уверен, что Вы меня поняли. Нет, Т<атьяна> А<лександровна>, я верю, глубоко верю, что теперь настал конец всем недоразумениям и неприязненным чувствам и что Б<откин> должен быть для всех вас тем, что он есть и чем он заслуживает быть.** Я понимаю, что он или совсем не увидится, или долго не увидится с вами, но это не мешает ему любить и уважать вас всех; зачем же вам питать против него какие бы то ни было предубеждения? Но нет, я знаю, что их нет с Вашей стороны, Т<атьяна> А<лександровна>;*** но этот досадный Н<иколай> А<лександрович> — разуверьте его и обратите к лучшим и справедливейшим чувствам — и я буду считать себя глубоко обязанным Вами. Я здесь хлопочу более о Н<иколае> А<лександровиче>, чем о Б<откине>: я так люблю Н<иколая> А<лександровича>, что мне несносна мысль о его заблуждении. Что же касается до Б<откина>, то, поверьте, он еще ничего не знает о моем адвокатстве и, верно, будет бранить меня за него, хотя — я уверен в этом — внутренне-то будет доволен мною.

Теперь ответ на последнее письмо. Я согласен с Вами, Т<атьяна> А<лександровна>, что не стоил бы, чтоб Вы помнили о моем существовании, если бы не ответил на это письмо. Благодарю Вас за эти строки — они так подействовали на меня, что душа

* *Далее зачеркнуто:* меня

** *Далее зачеркнуто:* Конечно

*** *Далее зачеркнуто:* и не думаю, чтобы <?>

моя вострепелась и я вновь могу писать в Прямухино, могу думать о нем и быть счастлив, думая о нем. Вам то же должен я сказать, А<лексаandra> А<лександровна>. Скажу более: сердитый тон Ваших строк был бальзамом для моей растерзанной души. Что же касается до того, А<лексаandra> А<лександровна>, что Николай осмелился находить Ваши строки странными и приписывать это зубной боли, то скажу Вам, что он это написал из зависти к Вашему отличному слогу, — он, который пишет и каракульками и безграмотно. В его злоумышленной против Вашего стиля* выходке есть ужасная грамматическая ошибка: поверьте, вместо повърьте.

Ну, теперь обращаю речь мою к Вам, о господин ех-** офицер и ех-глуздырь (если Вы уже женаты). Ваш дерзкий поступок, — жениться, забыв уважение к моей старости и не испросив у меня позволения, — достоин примерного наказания. Что сделано с моими приятелями? Знаете ли, Н<иколай> А<лександрович>, что ведь и Языков женится. Не хорошо, не хорошо (не верьте — это голос лисы, которая говорит, что виноград зелен и кисел)!¹⁴ Недавно познакомился я с Т<у>рг<е>невым. Он был так добр, что сам изъявил желание на это знакомство. Нас свел З<и>н<о>вьев,¹⁵ которого знает В<арвара> А<лександровна>. Кажется, Т<ургенев> хороший человек.¹⁶ А какой чудесный человек этот З<иновьев>! Вот истинно крепкая, здоровая, действительная натура! Человек, вполне достойный любви женщины, мужчина в полном значении этого слова. Право, совестно иногда увидеть себя в зеркало, когда говоришь с ним. А ведь у каждого человека внутри себя есть зеркало — мое довольно криво, и нравственная физиономия моя отражается в нем не красивее моей физической физиономии. Не думайте, чтобы это было что-нибудь вроде ефремовского самоунижения, цель которого заставить других хвалить себя. Нет, я знаю себя хорошо, знаю хорошо, что я человек недюжинный и что во мне есть кое-что такого, что не в каждом бывает. Моя главная сторона — сила чувства, и если бы моя воля хоть сколько-нибудь соответствовала чувству, я, право, был бы порядочный человек. А то — дрянь, совершенная дрянь. Характеришка слабый, воля бессильная — вот что сокрушает. Я уже не прежний фантазер и о любви, право, не мечтаю и не думаю. Но тем хуже для меня: прежде я заставлял себя думать о любви и о женщине и всё-таки, в сущности, больше считал себя несчастным от несчастья, чем был в самом деле; а теперь потребность сочувствия вспыхивает редко, зато, право, одна минута стоит годов страдания.

* Первоначально: Вашей манеры

** бывший (латин). — Ред.

А между тем * рассудок-то видит ясно, что это напрасные хлопоты: женщина любит в мужчине мужчину, а я составляю что-то среднее между тем и другим. Я знаю, что многие женщины, читая мои статьи, воображают ** меня героем, — и это иногда смешит меня без всякой горечи. А между тем тяжело, право тяжело. С горя, чтобы любить хоть что-нибудь, завел себе котенка и иногда развлекаю себя *** удовольствием кротких и невинных душ — играю с ним. Воротился г. К(а)тк(о)в — то-то дрянь-то! Это воплощение раздутого самолюбия. Ну, да черт с ним — он не стоит, чтоб и говорить о нем. А уж приеду в Прямухино — когда именно, не знаю; но чуть обстоятельства повернутся лучше, так и юркну, а Кр(аевский) что себе хочет толкуй. Да что ж Вы мне ни слова не пишете, женились ли Вы? Т. е. жених ли Вы еще, или уже филистер почтенный? Если последнее — то пишу огромную статью против брака, и тогда — горе Вам. Однако ж будет болтать. Прощайте. Жму Вашу руку и прошу Вас, не помня моего невежества, заплатить мне за зло добром, т. е. порадовать меня — да нет, не смею и просить.

Прощайте. Ваш В. Белинский.

212. А. А., Н. А. и Т. А. БАКУНИНЫМ

СПб. 1843, марта 8.

Оправдания мои в молчании не показались Вам, Татьяна Александровна, достаточными и Вы не принимаете их; а Вы, Александра Александровна, ничего не говорите на этот счет — стало быть, Вы согласны с Т(атьяной) А(лександровной).¹ После этого мне ничего не остается делать, как молча покориться этому строгому приговору и впредь стараться избежать подобного. Впрочем, я не нуждаюсь ни в каком старании по этой части: лишь бы вы позволили, а я не перестану и не устану писать к моим прямухинским друзьям, — вы, конечно, не лишите меня права употреблять иногда это дорогое душе моей выражение, а я, чтобы оно самого меня не пугало своею смелостию, позволяю считаться в числе моих прямухинских друзей и Ник(олаю) Ал(ександровичу), хотя он своею женитьбою и нанес мне жестокую обиду. Да, эта письменная беседа с вами, особенно за невозможностию личных сношений, имеет для

* Далее зачеркнуто. если бы

** Первоначально: считают

*** Далее зачеркнуто: немного

меня слишком много поэтического очарования, чтоб я не умел дорожить и гордиться правом на нее. Жизнь моя исполнена такой прозы, так суха, холодна, бесцветна и апатична, что я — бывают минуты — кровавыми слезами вымаливаю у неба хотя капельку росы на горящий язык души моей, подобно заключенному в аде грешнику евангельской притчи. Ваше радушное внимание ко мне оказалось для меня именно этою рососою небесною, — и бог свидетель, что невозможность увидеться с вами стоила мне сильной нравственной горячки. Вас не должно это ни удивлять, ни казаться вам загадкою. Зная меня хорошо, вы должны знать, что страстность составляет преобладающий элемент моей *прекрасной души*. Эта страстность — источник и мук и радостей моих; а так как, притом, судьба отказала мне слишком во многом, то я и не умею отдаваться вполнину тому немногому, в чем не отказала она мне. Для меня и дружба к мужчине есть страсть, и я бывал ревнив в этой страсти. Если бы у меня была сестра, которую бы я мог любить, — я любил бы ее так братски, что любил бы, как брата, и того, которого она любила бы не как брата, следовательно, больше, чем меня; но всё же в моей любви к ней была бы страстность, которая могла бы даже пугать ее, если бы она не глубоко понимала мой характер. Впрочем, и сестре простительно было бы с этой стороны не верно судить обо мне, ибо я и сам недавно только сознал в себе эту сторону и в ней увидел причину многих моих глупостей, дорого стоивших мне. Нет несчастнее людей, подобных мне, пока они не найдут в религиозных убеждениях прочной точки опоры для своей жизни и прочного разумного основания для своих связей и отношений с другими людьми. Такие люди — вечные мучители самих себя и всегда в тягость особенно тем, кого они больше других любят и кто бы больше других был расположен принимать в них участие. Во мне всегда была глубокая жажда, мучительный голод умственной деятельности и есть способность к ней, но не было для нее ни пищи, ни почвы, ни сферы. Страстные души в таком положении делают добычею собственной фантазии и силятся создать для себя действительность вне действительности. Чувство делается альфою и омегою жизни, а *дева идеальная и неземная* становится Дульцинеею этих Дон Кихотов, которые только и думают, которую бы осчастливить богатством своей *прекрасной души* и своего пустого сердца, своего праздного самолюбивого самоослабления, добродушно не подозревая, что это богатство не стоит гроша медного. Кстати: что такое Дон Кихот? — Это благородная личность, деятельность которой растет на почве фантазии, а не действительности. Я слишком далек от того, чтобы кощунствовать, в самолюбивом тщеславии мнимой мудрости, над священной потребностью любви к женщине; но эта потребность и ее осуществления бы-

вают пошлы, если * их корень не врос глубоко в почву действительности и оторвался от других сторон жизни. В нашей общественности особенно часты примеры разочарованного, охладевшего чувства, которое, перегорев само в себе, вдруг потушает без причины; этому причастны даже высокие и глубокие натуры — ссылаюсь на Пушкина. Где, в чем причина этого явления? — в общественности, в которой всё человеческое является без всякой связи с действительностию, которая дика, грязна, бессмысленна, но на стороне которой еще долго будет право силы. Обращаюсь к себе, как представителю страстных душ. Дайте такому человеку сферу свойственной его способностям деятельности — и он переродится, будет мужчиною и человеком, но эта сфера... да вы понимаете, что ее негде взять. Этой сферы и теперь для меня нет и никогда, никогда не будет ее для меня; но уже и то было великим шагом для меня, что я сознал и понял это. Сознать причину нравственной болезни — значит излечиться от нее. Теперь я знакомлюсь со многими, расположен тоже ко многим, но люблю немногих, ибо теперь я понимаю важность слова «любить» и могу любить только на глубоких нравственных основаниях. Такая любовь, к кому бы ни была она, исключая претензии и требования, не исключает страстности, по крайней мере у меня. Естественно, что в отношении к женщинам эта страстность ярче и эксцентричнее; но перетолковать ее чем-нибудь другим, более серьезным, или оскорбиться ею — значит не понять меня. Сердце человека, особенно пожираемого огненною жаждою разумной деятельности, без удовлетворения, даже без надежды на удовлетворение этой мучительной жажды, — сердце такого человека всегда более или менее подвержено произволу случайности, ибо пустота, вольная или невольная, может родить другую пустоту, — и я меньше, чем кто другой, могу ручаться в будущем за свою, изредка довольно сильную, но чаще расплывающуюся, натуру, но я за одно уже смело могу ручаться — это за то, что если бы бог снова излил на меня чашу гнева своего и, как египетскою язвою, вновь поразил меня этою тоскою без выхода, этим стремлением без цели, этим горем без причины, этим страданием, презрительным и унижительным даже в собственных глазах, — я уже не мог бы выставлять наружу гной душевных ран и нашел бы силу навсегда бежать от тех, кого мог бы оскорбить или встревожить мой позор. Я и прежде не был чужд гордости, но она была парализована многими причинами, в особенности же романтизмом и религиозным уважением к так называемой «внутренней жизни» — этим исчадием немецкого эгоизма и филистерства.

* Первоначально: как скоро

Вам, конечно, покажется несколько странным и неуместным это неожиданное объяснение, на которое не могли меня вызвать ни ваши ко мне отношения и ни единое слово из ваших строк. Причина этого объяснения одна — мое робкое самолюбие, которое — к чему таиться? — не чуждо опасения, чтобы тень моего прошедшего, в глазах ваших, когда-нибудь и как-нибудь, благодаря моей неловкости и тому, что я называю в себе страстностию, не отбросилась на мое настоящее и будущее. Смейтесь над этими глупыми строками — в вашем смехе я увижу доказательство, что вы больше уважаете меня, чем я сам уважаю себя. Во всяком случае, я уверен, что в моей, хотя и прекраснородушной, откровенности вы увидите мою готовность быть перед вами тем, что я есть, и не скрывать от вас моих смешных сторон. В моих теперешних отношениях к вам я чувствую и сознаю столько достоинства и возвышенности, которые делают меня вдруг и счастливым и гордым этими отношениями, и столько дорожу ими, что больше боюсь показаться перед вами лучшим, чем я есть, нежели худшим, чем я есть.

Не можете себе представить, как обрадовало меня письмо ваше к Б<откину>.² Признаюсь, мною овладело какое-то беспокойство, когда я писал к вам о Б<откине>, и я чуть не разорвал уже запечатанного письма; но это теперь показывает мне только то, как еще мало знаю я вас. И зато редко случалось мне в жизни радоваться моей ошибке. На таком условии я готов ставить ремизы и ренонсировать, сколько угодно (сравнение, заимствованное из бесподобной игры в преферанс, в которую я вчера опять продулся — что со мною бывает каждый день). Ображаю, сколько чистой, святой радости доставят ваши строки Б<отки>ну. Он так любит, так уважает вас; не один вечер провел я с ним в живом разговоре о вас, — и эти разговоры были так полны елеем молитвы, так тихи, кротки, так проникнуты душою и грустным счастьем. Дело прошлое — и я не скрою его от вас — глубоко, глубоко огорчила Б<откина> несправедливость Ник<олая> Ал<ександровича>, тем больше, что, подобно мне, он принял ее за отголосок вашей несправедливости.³ Но теперь всё кончено. Что особенно радует меня во всем этом, — это то, что из такого прошедшего могло возникнуть для всех нас такое настоящее. Все противоречия разрешились сами собою, без усилий с нашей стороны, дым и чад исчезли — осталось одно тихое, ровное, светлое и кроткое пламя взаимного расположения, взаимного уважения. Не видя друг друга, мы так хорошо поняли друг друга, — и если что в жизни всех нас есть

святого и прекрасного, из чего стоило жить, так это то, в чем мы поняли друг друга. Отношения, основанные на подобном «что», не могут не быть не только прекрасны и святы, но и свободны, т. е. чужды всяких притязаний со стороны эгоизма, самолюбия, словом, чужды всего мелкого и ничтожного. Ник(олай) Ал(ександрович) поставил ремиз насчет Б(откина), но он это выкупил — знаете ли чем? — Когда расставался я с ним в последний раз, мы говорили о М(ишеле), и я говорил о нем с ненавистью, которой *силлся* придать холодный и спокойный характер; но Ник(олай) Ал(ександрович) всё-таки настаивал на своем убеждении, что мы вновь сойдемся с М(ишелем). Тогда это казалось мне невозможностью, но предчувствие Ник(олая) сбылось, хотя он сам еще не понимает, *как* и на каком основании это случилось (да и где ему теперь что-нибудь понимать — на его месте я был бы еще глупее его). Знаете ли что? — многое хотел бы я вычеркнуть из моего прошедшего; но из истории моей вражды к М(ишелю) я не хотел бы вычеркнуть ни одной йоты и убежден, что он сам то же думает. Много бы хотелось мне сказать вам, но письмо — не то, что живой разговор. О, боже мой, да увижу ли я вас! Вы видели меня совсем не тем, что я теперь, и тем сильнее во мне желание вновь познакомиться вас с собою и вновь познакомиться с вами. Во время моего последнего свидания с вами я хорошо чувствовал, что между вами и мною есть что-то разделяющее нас, и хорошо понимал, что это «что-то» есть М(ишель). Я не винил вас в этом, а себя тоже считал правым. И вот именно теперь-то, когда уже нет никаких недоразумений, судьба и не допустила меня увидеться с вами и посмотреть, как Ник(олай) Ал(ександрович) любит, а Александра Алекс(андровна) ненавидит, и как дух Татьяны Алекс(андровны) с светлою и спокойною улыбкою созерцает всё это. Варвару Александровну я так давно не видал, что не умею и представить себе ясно, как бы увидел ее, но это тем более усиливает мое желание увидеть ее. Вообще, Прямухино представляется мне теперь в каком-то особенном свете, и если бы там был теперь М(ишель), могучему духу которого нет места здесь и тесно даже там, где необъятное пространство поглощает других, как море каплю воды!.. по будь так, как оно есть — ему лежит другой путь, и путь великий, он долго был безобразною кометою — теперь настало для него время трансформации в светлое лучезарное солнце.

Я теперь много думаю об эгоизме. Это интересный предмет для исследования. Дух тьмы и злобы есть не кто иной, как эгоизм. Когда эгоизм является в собственном своем виде, — он просто гадок или просто страшен, как враждебная для других сила; но он не обольстителен и никого не соблазнит, а всех отворотит от себя. Опаснее бывает эгоизм, когда он добродушно

сам считает себя самоотвержением, внутреннею жизнью. Гёте, по моему мнению, был воплощением такого эгоизма. Вникните в характер Эгмонта, и вы увидите, что это лицо играет святыми чувствами, как предметом возвышенного духовного наслаждения, но они, эти святые чувства, вне его и не присущны его натуре. «Как сладостна привычка к жизни!»—воскликает он, и на это восклицание хочется мне воскликнуть ему: «Какой же ты пошляк, о голландский герой!» Гофман саркастически заставляет Кота Мурра цитовать это восклицание, достойное кошащей природы, которая может видеть «сладостную привычку» в том таинстве жизни, в котором непосредственно открывает себя людям бог.⁴ Для Эгмонта патриотизм не более, как вкусное блюдо на пиру жизни, а не религиозное чувство. Святая натура и великая душа Шиллера, закаленная в огне древней гражданственности, никогда не могла бы породить такого гнилого идеала самоослабляющейся личности, играющей святым и великим жизни. На созерцание эгоистической природы Гёте особенно навела меня статья во 2 № «Отечественных записок» — «Гёте и графиня Штольберг».⁵ Гёте любит девушку, любимую сю, — и что же? он играет этою любовью. Для него важны ощущения, возбужденные в нем предметом любви — он их анализирует, воспекает в стихах, носится с ними, как курица с яйцом; но личность предмета любви для него — ничто, и он борется с своим чувством и побеждает его из угождения мерзкой сестре своей и «дражайшим» родителям. Девушка потом умирает, — и ни один стих Гёте, ни одно слово его во всю остальную жизнь его не напомнило о милой, поэтической Лили, которая так любила этого великого эгоиста. Вот он — идеализированный, опоэтизированный, холодный эгоизм внутренней жизни, который дорожит только собою, своими ощущениями, не думая о тех, кто возбудил их в нем, как ростовщик дорожит своими процентами, не думая о тех, которые, может быть, ценою кровавых слез принесли ему их. Итак, самый опасный эгоизм есть тот, который принимает на себя личину любви и добродушно убежден, что он — самая возвышенная, самая эфирная любовь. Кто любит всё, тот ничего не любит, ибо всё граничит с ничто. Так Гёте любил всё, от ангела в небе до младенца на земле и червя в море, и потому не любил ничего.

И в мире всё постигнул он
И ничему не покорился!—⁶

сказал о нем Жук(овский), не думая, чтобы в этой похвале заключалось осуждение Гёте. Переписка его с «милою Августою» Шт(ольберг) смешна до крайности. Какая сентиментальность — точно сладкий немецкий суп! «Разинь, душенька, ротик, — я

положу тебе конфетку»,⁷ — так и твердит он Августе, а та, на старости лет сошедши с ума, вздумала обращать его к пизтизму. Может быть, я ошибаюсь на этот счет, но бог с ним, с этим Гёте: он великий человек — я благоговею перед его гением, но тем не менее я терпеть его не могу. Недавно прочел я его «Германа и Доротею» — какая отвратительная пошлость! Прощайте. Бог любви и разума да будет над вами.

Милый мой Ник(олай) Алекс(андрович), никогда еще каракули Ваши не доставляли мне столько удовольствия — скажу более — радости, как на этот раз. Это каракули вдвойне — и по пачертанию и по мыслям, ибо те и другие отличаются какою-то достолюбезною беспорядочностью и какою-то наивностью. Видно, что душа и мысль Ваша не у себя дома, а коли в доме хозяйки нет, то о порядке нечего и спрашивать. Понимаю, что Вы писать терпеть не можете и что в письмах для Вас нет толку — *разве только от барышень* (говоря Вашим собственным выражением, которое глупо-грациозно). Понимаю, что Вам ничего не хочется говорить, да и нечего Вам говорить. Вы теперь переживаете самую интересную эпоху Вашей жизни — Вы запасаетесь материалами для будущих разговоров, содержанием для будущих писем. Теперь Вы должны молчать, ибо то, что говорит в Вас так громко и так красноречиво, владеет Вами, покорило Вас, и Вы способны только слушать эту музыкальную речь, а кто слушает, тот не говорит — нельзя делать двух дел в одно время. Мне другая доля: от юности моей спрягаю глагол: *я говорю, ты говоришь, он говорит, мы говорим, вы говорите, они, оне говорят* и пр. Прежде, чем западет в душу чувство, я выговаривал его всего, так что ничего и не оставалось. Это значит, что не было ни одного могучего чувства, которое охватило бы всё существо мое и отняло бы язык. Теперь уж такое чувство даже страшно, хотя я и солгал бы, уверяя, что не желаю его. Что бы я с ним стал делать, с моею дряблою душою, с моим дрянным здоровьем, моею бедностью и моею совершенною расторженностью с действительностью нашего общества? Я человек не от мира сего. И потому вполне убедился, что для меня не может быть никакого счастья и что в самом счастье для меня было бы одно несчастье. Есть люди, способные увлекаться легкими, мимолетными чувствами. Я завидую им, ибо моя натура, к несчастью, совсем не такова: сама гроша не стоит, а требует многого, но кто хочет многого, тому ничего не дается. Я глубоко сознаю,* что как бы ни очаровала меня женщина, но если я почувствую, что могу только любить ее, не уважая ее, что не могу отдаться ей весь и что в начале страсти предвидится и конец ее, — я говорю *нас* и не хочу понапрасну ставить

* Первоначально: чувствую

ремизов. Может быть, от этого и так глубоко пали мне на душу стихи Лерм(онтова):

Любить? — но кого же? — на время — не стоит труда,
А вечно любить невозможно.⁸

Натура моя не чужда акта отрицания, и я перешел через несколько моментов его; но отказаться от желания счастья, которого невозможность так математически ясна для меня, — еще нет сил, и сохрани бог, если не станет их на совершение этого последнего и великого акта. Вы читали «Ногасе»? Помните Ларавиньера? — вот человек и мужчина.⁹ Но как трудно сделаться таким человеком, право труднее, чем уподобиться Гёте. Право, простые добродетели человека выше и труднее блестящих достоинств гения.

Я очень рад, что Вы уже не предубеждены к Б(отки)ну. Этот человек для меня много значит, и я знаю его.

Альбом Т(атьяны) А(лександровны) уже у меня, только надо еще переплести его. Я рад, что именно этот подарок могу сделать. Ведь это не просто хорошенькие картинки — это *les femmes de G. S(and)*.¹⁰ Говорю это не для придания цены вещи, но изъявляю этим мою радость, что нашлась вещь, приличная для подарка, стоящая внимания того, кому назначается. Прощайте. Будьте счастливы, но не забывайте в Вашем счастье, что не все так счастливы, как Вы, и что это большая причина не забываться в счастье.

Ваш В. Белинский.

213. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1843, марта 9.

Ну, Боткин, я был виноват перед тобою, так долго не отвечал на твои письма; но уж и отомстил же ты мне за это, бог с тобою. Получил ли ты то большое письмо мое, к которому было приложено письмо Б(акунина)?¹ Хоть бы только это написал ты мне, а то меня мучит мысль, что письмо как-нибудь затерялось и не дошло до тебя. сверх того, мне показалось, что я так убедительно и доказательно звал тебя в Питер, что ты непременно должен был вскоре же приехать. И вот я жду тебя с часу на час; возвращаясь поздно домой, по обыкновению продувшись в преферанс, подымаю голову вверх и с биением сердца ожидаю, что окна мои освещены, и каждый раз ничего не вижу в них, кроме тьмы кромешной. Входя в комнату, быстро озираю столы — нет ли письма, и, кроме ненавистной литературщины, ничего

не вижу на них. Яз<ыков> говорит, что М. С. Щ<епкин> должен постом приехать в Питер. И вот услужливая фантазия моя решила, что ты едешь с ним. Право, мы с тобою играем в гулючки, ожидая взаимного приезда; но ты ждал меня потому, что я обещал приехать, а я ждал тебя потому, <что> я сам за тебя обещал, что ты приедешь: вот и вся разница. Непотребный ты человек, что сделалось с лысым вместилищем ума твоего — к Кр<аевскому> пишешь, а мне ни слова. Но я не злопамятен, чему при сем прилагаются доказательства. Одно из них, адресованное ко мне, возврати ко мне немедленно:² оно прилагается как une pièce justificative.*

Знаю, что гениальный пиик тебя восхищает, сильно действуя на твой обонятельный орган.³ Истый шеллингист — юноша пыщ, сиречь дутик, говоря словами Третьяковского. А любопытна встреча его с тобою. Да неужели ты и не думаешь ехать, ведь это подло, Б<откин>. Что тебе там делать? Третьейский суд твой, где, говорят, показал ты мудрость Соломона, — ерно, уже кончился, и ты давно, сложив сан диктатора, возвратился к мирному смакованию плодов сельных и всякой съестной дряни, начиная от непотребного медаку до воды включительно. Я, кроме хересов, ничего не пью — даже лафиту и рейнвейцу. Что в винах херес, то в играх преферанс. Да здравствуют ремизы и ренонсы! Куплю, чорт возьми — и ты купишь — ну так еще же куплю, и уж не дам — играешь? — и я играю — и вот без четырех в червях — да здравствует задор! Статья «Романтики» неудовлетворительна в целом — чувствуется, что не всё сказано; но выражение, язык, слог — просто, подлец, до отчаяния доводит — зависть возбуждает и писать охоту отбивает.⁴

Прощай. Желаю тебе как можно меньше ставить ремизов и как можно больше играть в сюрсах. Третьего дня сыграл девять в бубнах, а всё-таки продулся.

Сейчас получил письмо твое от Тютчева.⁵ С горестью вижу из него, что <ты> не получил моего большого письма, при котором было приложено письмо Б<акунина>. Это меня огорчило жестоко. Если бы ты получил его, ты мог бы, и не видевшись со мною, вложить персты свои в раны мои, впрочем и без того известные тебе хорошо. Главное скверно то, что письмо это написано от души, и притом для тебя много интересного было бы в письме Б<акунина>, и оно теперь погибло для обоих нас. Не знаю, что и подумать об этом.

* оправдательный документ (франц.). — Ред.

Насчет твоей истории с французенкою скажу тебе одно — ты родился в сорочке. Больше на этот счет ничего не могу сказать — ты поймешь почему. Если поедешь за границу, приезжай в Питер так, чтоб пожить в нем подольше. Может быть, это будет последним нашим свиданием, тем более, что ты едешь надолго. Я, не зная ничего хорошего для себя в настоящем, и в будущем, кроме скверного, ничего не жду. Письмо твоей Агтансе⁶ перешлю к тебе. О поездке за границу, по отношению ее к этой девушке, ничего не могу тебе сказать, ибо тут всякий совет пуст и вздорен. Я бы на твоём месте, разумется, забыл бы об этой поездке, ибо счастье дороже путешествия, и надо оставаться верным тому счастью, которое ближе, не гопясь за двумя зайцами — ведь ни одного не поймаешь. Но это сделал бы я, а ты можешь сделать, как сам найдешь лучше.

Стихи Лерм<онтова> Кр<аевский> получил.⁷

Панасев болен — вот уже другой раз простужается по-твоему, но теперь выздоравливает.

Прощай.

Злодей, счастливец, каналья!

Прощай, брате. Дай бог тебе всего, всего хорошего.

214. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1843, марта 9.

Бога ради, любезный Дмитрий, скажи, что с тобой сделалось? Уж не умер ли ты? Получил ли ты разную дрянь, посланную мною тебе в ящике, через контору дилижансов? Где Петр Петрович, хлопочет ли он о моем деле, т. е. о дворянской грамоте? Напомни ему об этом. Это дело для меня великой важности, и я за хлопоты не останусь у него в долгу.¹ Брат Константин и не думает высылать Никанору бумаг, о которых тот просил его, а бедняка из-за них тормозит начальство. Честно ли, благородно ли это со стороны Константина? Сбирался я в Москву, но журнальная работа и безденежье не пустили — что делать? Напиши хоть строчку — умоляю тебя. Кланяюсь Алеше и всему твоему дому — да пребудут в нем счастье, обилие и здорovie. Прощай.

Твой В. Белинский.

P. S. Пожалуйста, не оставь меня без ответа хоть на этот раз.

Адрес мой:

На Невском проспекте, у Аничкина мосту, в доме Лопатина, квартира № 48.

⟨31 марта — 3 апреля 1843 г. Петербург.⟩

СПб. 1843, марта 31.

То, что ты забыл уведомить меня о получении письма моего,¹ с приложенным к нему письмом Б⟨акунина⟩, можно простить только сумасшедшему или влюбленному;² но как ты, слава аллаху, и то и другое вместе,— то я и не сержусь на тебя. Письмо А. Б⟨акуниной⟩ ты принял, кажется, довольно холодно и доволен только тем, что хорошо ответил на него по-французски же. Этого я не понимаю; судить чувств твоих не могу, ибо не знаю, как живет в тебе прошедшее. Впрочем, может быть, это по причине того, что ты теперь и без ума и без сердца. Несмотря на то, вот тебе, недостойному, и еще письмо при сем прилагается. Вообрази себе: узнал я от З⟨и⟩н⟨о⟩вьева,³ что Н. Д⟨ьяков⟩ в Прямухине!!.. Вот она внутренняя-то жизнь! З⟨и⟩повьев⟨⟩ крепко недолюбливает В. А. Д⟨ьяко⟩ву. С своей точки зрения он прав. Я сам только извиняю ее, зная по опыту, что такое неметчина, привитая с детства: это всё равно, что заразиться в детстве сифилисом — никогда не выздоровеешь. Б⟨акунин⟩ просил у отца 8000 р. асс. одновременно, отказываясь за них от своего наследства, но дражайший родитель, говорят, начисто отказал. А между тем М⟨ишель⟩ в крайности. За то аллах и наградил родителя: сын у него буен и непокорен, зато дочь теперь ⟨. . .⟩ с законным супругом, и нравственность торжествует.⁴

Жду, не дождусь письма твоего. Не привезет ли его Г⟨а⟩л⟨а⟩х⟨о⟩в. Впрочем, судя по состоянию духа твоего, мало имею надежды на получение письма твоего. Очень жалею, что делишки твои идут плохо, и если так будут идти, то предвижу и исход их; но всё-таки завидую — не тебе (ты прав, говоря, что тебе нечего завидовать),⁵ а чувству, ибо питать какое бы то ни было чувство, какой бы то ни было интерес всё же лучше, чем в тоске, апатии, с холодным отчаянием убивать время на преферанс, ставить ремизы, проигрывать последние деньжонки, беситься, дойти до мальчишеского малодушия, сделаться притчею во языцех. Есть же такие несчастные люди, над которыми от рождения тяготеет проклятие и которым нет удачи ни в деле, ни в пустяках и нет надежды на какое-нибудь счастье в жизни. Устал я, брате,— и мысль о смерти как-то чаще приходит на ум и как-то меньше прежнего леденит сердце—где так бесплодно, так напрасно с враждой боролась любовь,⁶ а ум с глупостию. Т⟨у⟩рг⟨е⟩н⟨е⟩в поразил меня нечаянно, сказавши к слову, что Гегель где-то выразился, что дельный человек тот, кто коли видит, что $2 \times 2 = 4$, так и ставит 4, а пустой (прекрасная душа)

тот, кто хоть и видит, что $2 \times 2 = 4$, а всё поровит, как <бы> поставить 5 или 10. До сих пор вся жизнь моя протекала в том, что я видел и понимал, что $2 \times 2 = 4$, а ставил 5. Теперь уж не могу быть так глупо малодушным, но от этого мне не легче -- в этом мой смертный приговор: ждать уже нечего, и в душе распространяется холод, сырость и смрад могилы. Я держался глупостью — подпора упала — и я падаю с нею. А всё животолюбие и страх физических мучений заставляют искать средств помощи, и я лечусь гидропатиею — прею в паровой ванне, а потом леденею в холодной, а там костенею под дождем и душею.

Кланяйся Нат<алии> Ал<ександровне>.⁷ Ее дружелюбное расположение ко мне глубоко трогает меня, и я не знаю, как и благодарить тебя за то, что ты написал ко мне об этом.

Статья моя о Держ<авине> страшно искажена, но об этом когда-нибудь.⁸ Чорт возьми все наши статьи, да и всех нас с ними.

Тургенев очень хороший человек, и я легко сближаюсь с ним. В нем есть злость и желчь, и юмор, он глубоко понимает Москву и так воспроизводит ее, что я пьянею от удовольствия. А как он воспроизводит Аксакова с его кадыком и идеализмом. Т<ургенев> немного немец в том смысле, как и Б<акунин>, который с тоном покровительства отзывается о П. Р., а между тем живет на его счет.⁹ Что за натура — З<иновьев>! Мы все дрянь перед ним. Ну, прощай пока.

В. Б.

Доктор, содержащий водолечебное заведение, сказал мне, что я стражду биением сердца — я сам подозревал это, но не хотел поверить, т. е. видел, что $2 \times 2 = 4$, а хотел поставить 25. Вода помогает мне — не знаю, что будет вперед.

Апреля 3.

Наконец Галахов приехал, и я получил от него твои пять строк,¹⁰ до того скверно написанные, что насилу мог я их разобрать. Ну, душа моя, поздравляю тебя: ты решительно сумасшедший, и тебе надо теперь вести свой дневник: что будут перед ним записки титулярного советника Попрыщина (он же и Фердинанд VII).¹¹ Как я горд перед тобою, сознавая себя в полном разуме, как презираю я тебя. Так бесплодная женщина смотрит на родильницу, а та думает себе: я больна, из меня течет и то и другое, зато у меня есть дитя! Странно устроено всё на белом свете! Любовь смешна и исполнена комизма по этой эгоистической сосредоточенности в себе самой и рассеян-

ному равнодушию ко всему, что не она; но в этом-то и заключается весь рай ее, всё упоение. И если в чем человек, особенно русский человек, может найти хоть минутное счастье, так это, конечно, в любви, и уж, конечно, всего менее в российской словесности.

Прочел я статью твою о немецкой литературе. Славная статья! Она понравилась мне больше всех прежних твоих статей, может быть, потому, что ее содержание ближе к сердцу моему. Кр<аевский> читал мне о празднике фурьеристов — чудесно. Славно откатал ты эту гнилую филистерскую сосиску — Гуцкова. Вот так бы хотелось отделать свиную колбасу — Рётшера. Тургенев сказал, что статьи Рётшера отзываются професом пищеварения, а я возразил: нет, испражнения. Не было человека пишущего, который бы так глубоко оскорбил меня своею пошлостью, как этот немецкий Шевырев. Если бы Рётшер нашел у Шекспира или Гёте драму, состоящую в том, что <. . .> прибили честную женщину, а полиция передрала бы за это <. . .>, — он так бы написал о ней: субстанциальное право <. . .>, оскорбленное субстанциальною стихиею честности, разрешилось в коллизию драки, которая, оскорбив субстанциальную власть полиции, была наказана розгами, после чего всё пришло в гармонию примирения. Рётшер в отношении к Гегелю есть тот человек в «Разъезде» Гоголя, который, подцепив у другого словечко «общественные раны», повторяет его, не понимая его значения.¹² Хорош был Гуцков у G. S<and> — вот семинарист-то, сукин сын!¹³

Когда я написал к тебе начало этого письма, то в тот же вечер сошелся у Комаришки¹⁴ с Тургеневым и изъявил ему мое удивление, что В<арвара> А<лександровна> опять соплась с своим мужем. Каково же было мое изумление, когда я увидел, что Т<ургенев> смотрит на эту женщину так же, как и З<иновьев>. Слово за слово, и я узнал от него, что М<ишель> внутренне давно уже разошелся с нею, видя, что она его нисколько не понимает и только повторяет его слова. Наконец, дело дошло до того, что расстаться с нею сделалось для него необходимостью. А я так привык религиозно уважать эту женщину, это благоговение было передано мне Станкевичем. Все видели в ней феномен даже между Б<акунины>ми, которые все казались феноменами. Вот что говорит Тургенев о всех Б<акунины>х, и сестрах и братьях, за исключением одного М<ишеля>: все они созданы быть не чем другим, как несчастными. Натуры пламенные и порывистые, они лишены глубокого религиозного чувства, и

потому всегда склонны наполовину помириться и с самими собою и с действительностью на основании какого-нибудь морального чувствования или принципа; у них нет сил прямо смотреть в глаза чорту. Как хочешь, Боткин, а тут правды больше, чем во всех наших нападках на них. Темное чувство, бывало восстанавливавшее нас против них, имело справедливое основание; но мы ввали, ибо сами любили ставить 5, хотя и видели, что 2×2 всего 4. Оттого и не могли добиться толку.

Вообще я теперь больше всего думаю о характерах и значении близких и знакомых мне людей. Эта наука мне не далась: у меня, коли кто, бывало, прослезится от пакостных стишков Ключникова, тот уже и глубокая натура. Теперь я потерял даже смысл слова «глубокая натура» — так затаскал я его. Смешно вспомнить, как, приехав в Петербург, я думал в одном Языкове найти всё, что оставил в Москве, и дивился глубокости его натуры.¹⁵ А это просто добрая благородная натура, совершенно невинная в какой бы то ни было силе или глубокости. Для друзей он готов уверовать в какое угодно учение и будет наполовину не попад повторять их слова, добродушно думая, что имеет свое убеждение, да еще глубокое. Его до слез тронет стихотворение Лермонтова — и он увидит образец красноречия в трех бессмысленнейших строках бессмысленнейшей статьи Шевырева. Духовного развития он чужд совершенно, и Ключников напрасно толковал с ним *... буфон довольно дурного тона, которым раз можно потешиться, но не более, как раз. Яз(ыков) видит в Булгакове¹⁶ падшего ангела: угадал!

Пожалей о бедном папаше Кречетове: дня три-четыре назад тому с ним случился удар и воспаление в мозгу.¹⁷ Яз(ыков) бросился к нему и без лекаря выпустил ему две тарелки крови. Бедняк безнадежен — в бреду, и бредит всё книжным языком и высоким слогом, с примесью *сomme ça, somme si, mon cher* ** Виссарион и пр. Семейство должно идти по миру: трагедия и комедия. С удовольствием извещу тебя, что Панаев принял деятельное участие и занял, чтоб дать взаймы жене папаша, которая, разумеется, теперь без всяких средств.

Всё перечитываю статью твою — прелесть. Будь литература на Руси выражением общества, а следовательно, и потребностью его, будь хоть сколько-нибудь человеческая цензура — ты был бы лихим борзописцем, выучился бы писать скоро и бегло и написал бы горы. Без этого — голод, один голод научит писать скоро и много. Ты довольно обеспечен, чтоб не бояться

* Далее текст утерян.

** так себе, мой милый (франц.).— Ред.

голода, и потому считаешь себя неспособным к скоро и много писанию. К несчастью, судьба слишком развила во мне эту несчастную способность.

Сейчас кончил 1-ю часть истории Louis Blanc. Превосходное творение! Для меня оно было откровением. Луи Блан — святой человек — личность его возбудила во мне благоговейную любовь. Какое беспристрастие, благородство, достоинство, сколько поэзии в мыслях, какой язык!¹⁸

Я несколько сблизился с Тургеневым. Это человек необыкновенно умный, да и вообще хороший человек. Беседа и споры с ним отводили мне душу. Тяжело быть среди людей, которые или во всем соглашаются с тобою, или если противоречат, то не доказательствами, а чувствами и инстинктом, — и отрадно встретить человека, самообытное и характерное мнение которого, сшибаясь с твоим, извлекает искры. У Т<ургенева> много юмору. Я, кажется, уже писал тебе, что раз, в споре против меня за немцев, он сказал мне: да что ваш русский человек, который не только шапку, да и мозг-то свой носит набекрень! Вообще Русь он понимает. Во всех его суждениях виден характер и действительность. Он враг всего неопределенного, к чему я, по слабости характера и неопределенности натуры и дурного развития, довольно падок. У Комаришки висят портреты актрис и певиц парижских. Мне понравилась одна выражением неопределенной вдумчивости в лице; а другая не понравилась немножко <...> выражением. «Вы, я замечаю (сказал мне Т<ургенев>), любите женщин с неопределенным выражением, что в них толку? Вот эта — другое дело: я вижу, что это женщина неглупая и страстная, и знаю, с кем имею дело; а та — какой-то субстанциальный пирог». А ведь похоже на правду, Б<откин>?

По обыкновению я весь *промотавшись*, и потому замышляю подняться на аферы. Некрасов на это — золотой человек. Думаем смастерить популярную мифологию.¹⁹ Не знаешь ли какой-нибудь немецкой книжонки попроще — мы бы уж перевели ее. И не можешь ли сам чем помочь нам? — А каково сочинение нашего Кульчика-Ремизова о преферансе?²⁰ — Языкова ты увидишь дня через три по получении этого письма — смотри же, не проговорись ему. Посылаю тебе пародию на «Братьев разбойников»; пожалуйста, распространи ее по Москве.²¹ Впрочем, для этого тебе стоит только дать ее Кетчеру. Кстати: скажи Кетчеру, что Ратьков²² не выдает подписчикам последних выпусков Шекспира, говоря, что не получил их.

Да что же ты не шлешь Прокоповичу денег за Гоголя; напхни также М. С. Щелкину (которому жму руку крепко-накрепко), чтобы и он выслал Прок(оповичу) 25 р. за переписку «Женитьбы» и «Игроков».

Пародия на «Братьев разбойников» напомнила мне оригинал: какая детская мелодрама и как жиденки и легоньки первые поэмы Пушкина до «Цыган». ²³— Слышал я, что Грановский дал Погодину статью: ²⁴ может быть, он (Гр(ановский)) и хорошо сделал, только я этого не понимаю; впрочем, у всякого свой образ мыслей, и у нас в Петербурге многие литераторы не гнушаются печататься в «Пчеле» и «Маяке» — почему же московским гнушаться печататься в «Москвитяине»: ведь «Москвитяин» немногим чем глупее и подлее «Пчелы» и «Маяка».

Кланяйся всем нашим. Прощай. Если немножко придешь в рассудок, то вспомни меня и напиши что-нибудь. Впрочем, желая тебе счастья, желаю подольше быть дураком. Прощай.

Твой В. Б.

216. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1843, апреля 17.

Спасибо тебе, добрый мой Б(откин), за письмо твое.¹ Оно доставило мне какое-то грустное упоение счастья. Оно было так неожиданно, и притом — быть понятым в своем глубочайшем страдании, о котором смешно было бы и толковать тем, которые сами не видят его — это лучшее и священнейшее, что только может дать дружба. Только ты несколько преувеличил дело, а потому немного и устыдил меня. К стыду моему, я должен сознаться, что чужое счастье глубоко и страдательно потрясает меня; но это только при первом известии о нем. Потом я уже смотрю на него, как на что-то такое, что в порядке вещей, интересуюсь им, люблю его. Теперь мне малейшая подробность твоей истории интересна и займет меня живо и приятно. И потому — пиши, пиши и пиши. Не знаю, я ли не совсем понимаю твое положение, или ты сам не совсем понимаешь его, — только тут есть что-то не так. Мне кажется, что ты сам себе не смеешь признаться в важности этого события и как будто стараешься смотреть на него как можно умереннее и легче, — осторожность сердца, много раз обманутого; ума, искушенного опытом и измученного сомнением! Есть два рода любви. То, что мы называем любовью романтической, мистической, фантастической, — это цвет юности и болезнь натур внутренних: в этой любви любишь не предмет любви, а свою любовь, с мистикою ее ощущений. Эта любовь прекрасна и благоуханна, как цветок весенний, и, подобно ему, скоро вянет. Отличительный характер

любви действительной (в которой мы чувствуем потребность, когда уже жизнь порядочно поистреплет нас) состоит в том, что любишь предмет любви, а не любовь свою. Присутствие любимого существа тут дарит тебя не восторгами, а кротким чувством удовлетворения — тебе хорошо и легко — больше ничего; его радость радует тебя больше твоей радости, его печаль тревожит тебя больше твоей печали. В романтической любви ты только больше уходишь в себя, думая совсем выйти из себя, и в основе ее и в проявлении ее — капризный поэтический эгоизм. В любви действительной ты — человек, и я понимаю, что ты сказал не фразу, говоря, что уступил бы мне Арм'ансе, чтоб только видеть меня счастливым. Во время истории твоей с А'лександрой > А'лександровной > ты не стыдился передо мною своего счастья, и если бы тебе тогда пришла в голову мысль о подобной уступке — это был <бы> порыв натянутого великодушия, в основе его лежало бы самолюбие, жадное рыцарских подвигов как права на самоослабление. Ты пишешь, что глубоко дорожишь этою девушкою и ее к тебе склонностию: это значит, что ты любишь ее, а не любовь свою, следовательно, любишь просто, и точка отправления чувства твоего есть ее личность, а всё, что есть прекрасного в ней, служит не предлогом к твоему чувству, а только оправданием его разумности. Ты говоришь, что она не хороша собою: это, по мне, тоже хороший признак, если ты, в котором так развито чувство красоты и который так эстетически сладострастен и развратен, если ты мог полюбить не красоту, а душу в лице женщины, то ты дурак, если не понимаешь, что «счастье так возможно, так близко». ² Ты говоришь, что чувствуешь в себе силу оторваться от этой девушки и что поэтому это не любовь, а склонность. Не знаю, может быть, оно и так — трудно судить безошибочно о таких важных вопросах жизни; но пока мне всё кажется, что откаться от истинного чувства легче, чем от фантастического; но зато в первом случае мы теряем счастье на всю жизнь, а во 2-м только на время сходим с ума. Ты говоришь, что желал бы иметь дитя от нее и что заранее любишь его до безумия: дурак, дурак, с длинной бородою укоротился ум твой! Но, впрочем — я скептик, и, может быть, оно и так — т. е., может быть, ты и прав — это не любовь, а склонность; но всё-таки напомним тебе, вместо рассуждений и споров, о тоске одинокой жизни, о болезненности и брюзгливости старого холостяка и о ядовитой грусти и жгучем раскаянии, с коими шные люди повторяют стих из «Онегина»:

А счастье было так возможно,
Так близко!

Журнал губит меня. Здоровье мое с каждым днем ремизится, и в душу вкрадывается грустное предчувствие, что я скоро останусь без шести в сюрсах, т. е. отправлюсь туда, куда страх как не хочется идти. Жизнь ничего мне не дала, но люблю жизнь; смерть сулит мне вечный покой, но не люблю смерти. Не упрекаю себя за малодушие — такая натура моя, и в ее любви к жизни я вижу живое начало. Вода сначала только помогала мне немного, а потом сделалось мне хуже. Лучшее всех лекарств и вод на меня подействовал бы отдых и удовольствие. Вот почему мне нужно приехать в Москву, к тебе, месяца на два с половиною или больше.³ Я смотрю на эту поездку, как на меру спасения от верной смерти или неизбежной жестокой болезни, от которой надо будет медленно исчахнуть. Если зимняя поездка в Москву, продолжившаяся с проездом взад и вперед каких-нибудь 3 недели, оживила меня и физически и нравственно, то как же должен я поправиться, проведя лето вдаль от чухонских болот, без труда и заботы, с тобою вместе? О, да я воскрес бы! Меня оживляет одна мысль об этом. Добрый Некрасов взялся хлопотать достать мне денег или у книгопродавца на подряд работы, или займы на вексель. Надежда на это плоха, но умирающий любит надеяться. Если б это сбылось — я бы сказал директору,⁴ что он может вычесть мое жалованье за эти месяцы, и — пожелал бы ему «счастливо оставаться». Заехал бы на педельку в Прямухино, а там к тебе, к тебе! Как бы я рад был увидеть твою Arm⟨ance⟩ — люблю ее, как сестру.

Если бы Некрасов достал мне денег, я бы принялся за работу с жаром и к числу 20 мая был бы свободен, а в последних числах мая или самых первых июня инсталлировался⁵ в комнате Николая Петровича.⁶ Боже мой, неужели и о таком счастье я не должен сметь мечтать!

Прощай.

Твой В. Б.

217. П. С. ТУРГЕНЕВУ

<Около 20 апреля 1843 г. Петербург.>

Прощайте, любезнейший Иван Сергеевич! Очень жалею, что не удалось в последний раз побеседовать с Вами. Ваша беседа всегда отводила мне душу, и, лишаясь ее на некоторое время, я тем живее чувствую ее цену. Будьте добры и, по обещанию Вашему, доставьте эти тетради по надписанию. В письме к Бакунину запечатано — что бы Вы думали? — книжка о преферансе.¹ Это для стариков,² — пусть посмеются. Прощайте.

Ваш В. Б.

СПб. 1843, апреля 30.

Хотел было написать к тебе, Б<откин>, длинное послание, но, увлекшись письмом к Г<ерцену>, потерял время,¹ а А<ндрей> А<лександрович>² сейчас ждет меня. Не знаю, получил ли ты письмо мое, в котором я говорил о необходимости и надежде прожить у тебя лето.³ План не удался, т. е. Некрасов денег достать не мог, а потому надо издыхать и отчаиваться в Петербурге, на его болотах. Слушал я третьего дня Рубини (в «Люции Ламмермур») ⁴— страшный художник — и в третьем акте я плакал слезами, которыми давно уже не плакал. Сегодня опять еду слушать ту же оперу. Сцена, где он срывает кольцо с Люции и призывает небо в свидетели ее вероломства — страшна, ужасна,— я вспомнил Мочалова и понял, что все искусства имеют одни законы. Боже мой, что это за рыдающий голос — столько чувства, такая огненная лава чувства — да от этого можно с ума сойти. С И. Д. Бартневым ⁵ давно не вижу: кажется, мы оба поняли, что не созданы видеться друг с другом. Скучнейший в мире человек. Умен, благороден, но самолюбив до комизма. Раз я начал хвалить Перовского ⁶ и говорить о его значении для России: «Да, да, говоря собственно по отношению ко мне, он очень хорош ко мне». Жалок, ничего не понимает, отстал — последнее я выговорил ему, и это было очень не по сердцу.

Прощай и пиши ко мне, бога ради. Умираю всеми смертями. Теперь хочу лечиться у Завадского ⁷— посылает на дачу, а что за дачи в Петербурге?

В. Б.

219. В. П. БОТКИНУ

<10—11 мая 1843 г. Петербург.>

СПб. 1843, 10 мая.

Наконец-то ты откликнулся, Б<откин>. Я писал к тебе длинное, преддлинное письмо, каждый день прибавляя к нему по несколько строк. ¹ Сейчас думал засесть за него, по обыкновению ежеминутно ожидая письма от тебя — и вдруг — оно! И потому длинное письмо мое останется без конца, чему я и рад. Спешу прежде всего сказать тебе мое прямое, честное и беспристрастное мнение о важном для тебя вопросе. Не забывай, что это не более, как мое личное мнение, которое, может быть, и неверно и даже пристрастно как выражение моей личности, а всякая личность столько же есть ложь, сколько и истина. Итак,

слушай. Понимаю причины, заставляющие тебя страстно желать поездки в Европу, оправдываю их, если хочешь; но всё это упирается в моем уме, сердце, во всем существе моем твоими словами: «Да и есть что-то *неблагородное*, пайдя девушку умную, нежную, с глубоко эстетическою душою, девушку, которая любит меня с преданностию и самую нежною искренностию,— *пробудив ее* любовь к себе,— вдруг оставить ее на год, оставить ее без действительного соединения с нею, зная и любя ее только внешним образом,— оставить ее на скорбное одиночество сердца». Б откин, женщина есть нечто, и, если в ней есть сердце, ее сердце есть еще более нечто: знаешь ли что, по твоему колебанию Argm<anse> имеет право думать, что ты недостаточно любишь ее. Если это так, мне жаль обоих вас, и если это так, то ты сам поймешь, как мудрено и страшно решиться мне моим мнением склонить весы твоего решения на ту или другую сторону. Хорошо поехать за границу, хорошо сделать и то и другое, но лучше всего поступить честно и гуманно. Ведь это еще не сущность честности, не высшая степень ее — взять у человека последние деньги и отдать их с собственной гибелью: взять у человека душу, сердце, счастье и *честно* сберечь их — вот высшая честность, ибо деньги еще возвратимое дело, а разбитое сердце слабого существа, которому общество отказывает даже в праве жаловаться на несчастье,— это дело ничем не поправимое. Притом же, если эта женщина может дать тебе счастье, — то недостойн ты этого счастья, если сам откажешься от него, может быть, для мечты. В любви нет полного удовлетворения — это правда, и жалок был бы человек, если бы он мог найти полное удовлетворение в любви; но из этого отнюдь не следует, чтобы что-нибудь было выше любви: из этого следует только, что ничто *одно* не может удовлетворить *многих* потребностей человека. Но вот какое значение имеет в жизни мужчины преданная ему женщина: друг наш, Г<е>рц<е>н, очень счастливо женат, но мы не полюбили бы его, если бы он от этого был не только вполне счастлив, но даже и просто счастлив; однако ж он всё-таки счастливее всех нас. У нас нег ничего ни впереди, ни позади, — жизнь для нас — постылая жена, которую мы ненавидим, но с которою расстаться не имеем права; а у него есть живая связь с жизнью — это его жена. Тяжело тебе, Б<откин>, жить и теперь, но подумай, что из тебя будет в 40 лет — ведь страшно подумать об этом. Поездка за границу освежит тебя на время, но тем тяжелее будет тебе жить после этого краткого ожигления. А останься ты — *может быть*, найдешь то, что нашел Г<ерцен> в жизни, а для этого — чорт побери и восток и запад. Заметь,— я пишу *может быть* и подчеркиваю эти слова, чтобы ты видел, что я не фантазирую и желания не приписываю за одно с свершением — я ведь тоже умею сомневаться больше.

чем обольщаться надеждою. Сверх того, в жизни человека есть фатум, и простые люди справедливы, боясь суеверно идти против судьбы. Я бы на твоём месте встречу с Argm<ance> принял за веление providения не ехать. Да и как тебе ехать — ты раздвоен, удовольствие твоей поездки будет отравлено, а потому и пользы не выйдет. Может быть, у тебя есть мысль, что ведь это только на год, что ты воротиться и всё пойдёт попрежнему; не знаю, может оно и так, но я не верю жизни и убежден, что чем более она сулит человеку, тем более требует, чтобы он ценил это, а иначе — разманит, да и покажет шиш: вот, мол, тебе дураку, коли не умел воспользоваться. Еще если бы в твоих отношениях к Argm<ance> было что-нибудь определенное, положительное — тогда бы другое дело; а то с какою надеждою оставишь ты бедное, преданное тебе существо, что будет для нее залогом, что ты не изменишься, что возвратишься к ней тем же, каким и был? Скажу тебе более — ибо ты требуешь моего мнения: думая о твоей нерешительности в таком простом, по моему мнению, вопросе, я убеждаюсь, что ты недостойн счастья быть любимым женщиною и что потому-то ты и любим... Нет, если бы меня любила горничная, которая была бы так ниже моих потребностей, что не могла бы занять меня более двух месяцев, но если бы она была привязана ко мне искренно и я знал бы, что разрыв с нею стоил бы ей горьких, хотя и непродолжительных, слез, — о пусть лучше не узнаю я, что такое и минутное забвение, на чувственности основанное, чем испытать такое положение. Может быть, это происходит от врожденного мне прекраснотушия, слабости характера и диких особенностей моей нелепой натуры; но я таков, а ты ведь требовал моего мнения, в котором я был бы самим собою. Прибавлю еще и вот что: понимаю всю прекрасную сторону поездки за границу — понимаю ее так же глубоко, как и ты; но не думаю, чтобы из-за нее стоило рисковать тем, что может повлечь за собою или сознание утраты предоставлявшегося счастья, или — что еще хуже — вечное раскаяние в разбитом сердце женщины.

Есть одно, чему можно пожертвовать женщиною и иметь право разбить ее сердце — это долг; но едва ли можно видеть долг в поездке за границу; тогда как отношения твои к Argm<ance>, которые ты один создал, суть без всякого сомнения долг, в котором гораздо более определенного и положительного, чем в первом. Вот всё, что могу сказать я об этом предмете; коли увидимся, скажу более, а пока более нечего говорить.

Отвечай мне немедленно. Сегодня (понедельник 10 мая) получила письмо твое, сейчас же написал ответ, а завтра (11 мая) оно пойдет к тебе. Сделай и ты так. Пиши ко мне просто и коротко о своем решении в ту или другую сторону, не говоря о причинах. Моя поездка в Москву зависит от твоего решения. Пиша

к тебе о моем страстном желании ехать на лето в Москву,—я, признаюсь, имел надежду на твою помощь. Просить прямо я не хотел, ибо знал, что, если можно, ты сам сделаешь; а что я просил косвенно, в этом не каюсь и этого не стыжусь: дело шло не об удовольствии, а, может быть, о спасении моей жизни. Я болен и крепко болен; душа моя угнетена трудом, заботою и тоскою — мне нужен отдых, свобода, бездействие, удовольствие (которого я не помню с последней поездки моей в Москву). Если ты остаешься и не едешь за границу — я еду в Москву и могу выехать числа 26—27 мая. Ты думаешь сам приехать — оно хорошо, да ведь мне нужны твои деньги, и тебе на проезд взад и вперед нужны деньги — стало быть, вдвойне: подумал ли ты об этом? Теперь, сколько мне нужно денег? Вот об этом тяжело и говорить. 40 руб. серебром нужно за дилижанс взад и вперед; но как на обоих путях (или по крайней мере на первом) мне непременно нужно заехать в Прямухино, то выйдет и больше. 10 руб. серебром только что станет на издержки в пути. Впрочем, я напрасно считаю вдвойне — на первый случай нужно тебе выслать столько, чтобы я в Москву мог приехать. 100 р. асс. надо будет внести за квартиру, иначе хозяин не пустит. Рублей 200, по крайней мере, нужно на долги в Петербурге и кое-какие приготовления. Остальное сам знаешь, сколько нужно для проезда. Много, много надо: подумай, а подумавши, скажи прямо и искренно — ведь это деньги, а отдам-то я тебе их бог знает когда. Разумеется, хотя в Москве мне и нечего будет тратиться, живя на всем на готовом; но всё же нельзя будет жить и без каких-нибудь денег. А у меня своих к отъезду останется разве гривенника три, да и то вряд ли. Подумай и отвечай немедленно. Человека я отпущу, квартиру поручу Левушке Краевского. Прощай. Отвечай же скорее — по пальцам буду считать дни и минуты получения твоего ответа.

Вторник, 11 мая.

Отправляя сейчас письмо это на почту, не могу еще не прибавить несколько слов. Я показывал письмо твое П(анае)ву; я думал, что он объявит себя за поездку против женщины; но он объявил себя согласно со мною и вполне согласился со мною, что не понимает, как можно колебаться в таком случае. Трудно быть судьей чужого дела, но по зрелом соображении (ибо я беспрестанно думаю всё о тебе) более и более убеждаюсь, что я прав. Насчет контракта, кажется, нечего и хлопотать — он, к несчастью, ненарушим. Впрочем, надо знать все подробности и условия. Это неприятно, но против твердой воли ничто не устоит.

Мысль, что я еду в Москву, носится в моей голове, как приятный сон. Я только тогда уверюсь в ее действительности, когда петербургская застава исчезнет из виду, и, как узник, почувавший свободу, глубоко, вольно и радостно дохну я свежим воздухом полей.

Если будешь высылать деньги, то высылай на имя Краевского, а отнюдь не на мое.

Прощай. Письмо это получишь ты в пятницу (14 мая), а в субботу посылай ответ, чтобы я получил его во вторник.

Кречетов выздоравливает.²

Читал ли ты «Парашу»?— Это превосходное поэтическое создание.³ Ты, верно, угадал автора?

Не могу не прибавить и еще нескольких слов. Ты не хорошо сделал, что не приехал ранее в Петербург, хоть на неделю: ты и себя испытал бы в разлуке с Арм(ансе), да и, толкуя со мною об этом предмете беспрестанно, может быть, скорее напал бы на успокоительную истину решения. А то как в письме решить такое дело. Впрочем, мне и еще вот что пришло в голову: ты можешь ехать и на полгода (я не знаю, почему бы тебе нельзя было ехать меньше, чем на год), а в таком случае подождать месяц, другой, а по надобности и третий, чтоб увидеть, как оно в тебе будет работать и какой, наконец, исход возьмет твой роман — для тебя не будет ни большою жертвою, ни помехою. А мы, между тем, с тобою всё наблюдали бы да толковали. Я не раз замечал, что все вопросы вдвоем решаются и скорее и лучше, — и именно посредством частых толков о них. Я надеюсь быть тебе полезен в этом отношении. Если бы деньги позволили тебе приехать в Питер, может быть, и в две недели дело уяснилось бы, и тогда ты поехал бы в Москву проститься, а что до меня — то будь я скотина, если мой отъезд в Москву имеет какое-нибудь влияние на вопрос — ехать тебе или оставаться.

220. Н. А. БАКУНИНУ

<24 мая 1843 г. Петербург >

Здравствуйте, Николай Александрович! Спешу обрадовать Вас приятным известием, что четвертого числа июня месяца, сего 1843 года, Вы будете иметь неизреченное счастье видеть мою особу в богоспасаемом селе Прямухине.

В. Белинский.

СПб.
Мая 24

СНб. 1843, мая 24.

Спасибо вам, добрые друзья мои, Б<откин> и Г<ерцен>! Вы сделали поистине доброе дело, одолжив меня.¹ Никогда приятельская услуга не бывала так кстати. Я нашел доктора, который дал мне большое облегчение,— это известный тебе, Б<откин>, Завадский.² Он посадил меня на великую диету— и я теперь дышу свободно, я теперь почти здоров в сравнении с обыкновенным моим состоянием. Но всего этого недостаточно. Преферанс, нужда в деньгах, скука и журнальная поденщина обратили бы в ничто благодетельные следствия диеты и лечения. Мне нужно воздуха, свободы, отдыха, *far niente*,* — и я буду всё это иметь. Я теперь почти счастлив. Душа плавает в эмпириях.³ Иду по улице — и каждому встречному, знакомому и незнакомому, так и хочется сказать: «А я еду в Москву!» Я вспомнил, что такое улыбка удовольствия — нежданная гостя на моей вечно кислой роже! Я пьян от радости. Кому отказано во многом, тот научается дорожить и немногим. Ты, Б<откин>, писал, что вышлешь деньги в понедельник — стало быть, я получу их в четверг. Но вот и пятница, а денег нет. В пятницу ночью <...> приснилась мерзкая грёза. Потеря драгоценной материи и неприсылка денег очень опечалили меня в субботу. Я не сомневался в получении денег, но я слышал, что даже в частных конторах дилижансов (которых теперь всего *семь*) места разобраны недели за полторы вперед: каково же прожить в Петербурге лишних полторы недели. Ко всему этому новое горе. Кр<аевский> переезжает на новую квартиру, а мне страх как хотелось захватить его квартиру, хозяин обещал было Кр<аевско>му, что отдаст ее мне, как вдруг является некто, почти уже нанявший эту квартиру. Я взвыл (разумеется, духовно), бегу к Лопатину,⁴ и — квартира моя. А после обеда денег — 350 (Кр<аевский> дал по просьбе Г<ерце>на). Ай да суббота!

Скачу в почтамт и захва<тил> место в брике на 2-е июня; <ст>бит 49 р., а мне ехать — <до Тор>жка только, а в частн<ом> д<илижансе> заплатил бы 70 р.

Увы, Б<откин>, макароны, кофе, <су>хари и прочая, и прочая т<ы можешь> оставить для себя: я не <ем> говядины. Вина не нюха<ю>; <при>пасай мне кур и тел<ятины и> зелени. Больше ничего.

Сегодня поутру получил <письмо> от Лангера; ⁵ но на него <не ответил>; скоро обо всем переговорим...

Итак, я выезжаю 2<июня ут>ром. В Прямухине я пробуду

* безделья (*итал.*).—Ред.

дней <пять, а> может быть, и неделю, а около 10 июн<я непре>менно буду пить чай на Мар<осейке>, в доме Боткина.

Жму руку Г<ерце>ну. Заст<ану> ли я в Москве Гр<ановско>го?

Письма Агн<ансе> привезу сам.

Твой Б<елинский>.

222. А. А. КРАЕВСКОМУ

<26 июня 1843 г. Москва.>

Не знаю, с чего начать? Думаю, лучше всего с денег: предмет самый интересный. Я — судырь ты мой — в некотором роде обанкрутился, а деньги страшно нужны — свидетель Боткин.

<В. П. Боткин:>

(Правда, 1000 раз правда).

Нет ли в московской конторе Вашей — пришлите писание — да получу по оному, и за это возьмите душу под залог — ведь иначе пойдет же к чорту, а чем Вы хуже чорта? — и черен, и желчен, и вообще скверность такая, что только поплевать да бросить.¹ Ради всего в мире — выручите. Да нельзя ли побольше? Статья пишется и — лихая.² О сплетнях потолкуем при свидании. Горе, горе и горе³ — в бани не пускают вдвоем<...>, а потому в Москве нет никакой поэзии, а есть только Шевырев с «Москвитяшином», да это не заменяет клубнички. Драму Тургенева пришлю скоро — славная вещь; а при сем прилагаю два его стихотворения для «Отечественных записок».⁴

<В. П. Боткин:>

В самом деле, Андрей Александрович, с Белинским случилось совсем неожиданное происшествие, — и если ему нужны деньги, то, я честию свидетельствую Вам, не на пустяки, а действительно на дело, на честное дело. Дайте приказ в московскую контору хоть на 250 руб. асс., если нельзя на большую сумму. Я бы сам снабдил его деньгами, но ведь бюджет мой с этой стороны очень ограничен. Пожалуйста, будьте добры. Что касается до моих статей о немецкой литературе, погодите, ради бога, дайте пройти тяжкому и мучительному кризису, который запутал меня и в сердце, и в душе, и в совести, — Вы не поймете — когда-нибудь сам расскажу Вам.

Галахов обещал мне доставить «Стихотворения» Милькеева, и я напишу на них разбор.⁵ Да и вообще, какие книги поинтереснее есть в Москве, я готов писать рецензии и ручаюсь, что они будут поживее писанных в Петербурге. Равным образом, если что есть из книг и в Питере поважнее — пришлите: мигом отхватая. За пересылку статей не берусь — но это дело

Галахова, а за мной дело не стало бы — руки что-то расчесались на бумагомарание.*

Кудрявцев пишет повесть.⁶

Прощайте. Пожалуйста же вопмите гласу моего моления;⁷ если же нельзя, то ответьте немедленно. Тогда я с отчаянья поколочу Шевырку и брошусь в Москву-реку, что сделать тем легче, что в этой луже утонуть нельзя. Кстати, о потоплении: у Герцена утонул человек, Матвей, славный был человек.⁸

В. Беллинский.

Москва.

1843, июня 26.

⟨В. П. Боткин:⟩

Корш сначала согласился было принять на себя перевод «Антиквария» и «Эйванго».⁹ Но потом вчера прислал ко мне письмо, которое вместо всех объяснений при сем прилагаю. Я просил его, чтоб хотя сестра его, Марья Федоровна,¹⁰ взяла на себя перевод какого-нибудь из присланных Вами романов. Я знаю, она переведет хорошо: мне уж и прежде говорил о ней Грановский. Но после я подумал, — да как еще это покажется Вам — и потому прежде, нежели отнестись к ней, подожду Вашего ответа. Она хорошо переведет, ибо основательно знает английский язык. Да я полагаю, что и Корш не допустит явиться имени любимой им сестры на посредственно переведенной книге.

223. А. А. КРАЕВСКОМУ

⟨8 июля 1843 г Москва.⟩

Ну, спасибо Вам, о грубейший из всех директоров, когда-либо существовавших в сем печальном мире; Ваша бумажка за № пришла кстати. Деньги я получил, и за них душевно благодарен Вам. Как видно, Глазунов очень дорожит комиссионерством у Вас: деньги он дал (кажется) свои и без всякого колебания.¹ А что Вы бранитесь в письме, это — Ваше благородие, ангел мой — уж такой обычай у Вас — собачья натура, которая, коли не лает, так рычит. А притом, Вы и врете — чорт бы Вас взял — ужасно. Я оставил Вам несколько рецензий, а книг — Вы пишете сами² — в Питере пет: а между тем Вы еле-еле можете расплачиваться с Некрасовым, Сорокиными³ и прочю** голодною братьею, работающею за меня. В Москве какие есть книжонки позабавнее — я беру на себя (две уже доставлены мне), — итак, если в Питере работают за меня, то я в Москве делаю кое-что не за себя: одно на одно пойдет.

* Далее зачеркнуто: Шевырка с братней, говорят

** Далее зачеркнуто: пишущею

Но это всё вздор; а дело вот в чем: я душу Вас часто несвоевременными просьбами насчет денежной клубнички — это правда; но за то я в вере тверд и хожу в «Отечественные записки» (испражняться) и в будни и в праздники. Недавно получил я предложение от одного богатого и притом очень порядочного человека: он просит меня, как об одолжении, чтобы я поехал с ним на два года за границу, в его экипаже, и взял бы от него шесть тысяч за эти два года. Предложение соблазнительно, и часа два я был в лихорадке от него; но тем, разумеется, дело и кончилось. Видно, нас с Вами сам черт связал веревочкой. Если этот человек дает мне 6000 за два года, то, верно, дал бы и еще две, чтобы я, воротясь в Питер, мог жить, пока бы не приискал работы. Фамилия этого человека — Косиковский.⁴ Его знают Панаев, Комаришка⁵ и пр. Этот случай послан мне судьбою в насмешку надо мною — видит око, да зуб неймет; хороша клубничка, да жена сторожит. А жена эта — старая, кривая, рябая, злая, глупая старуха, словом, расейская литература, черт бы ее съел, да и подавился бы ею. Другой на моем месте, чтоб только от нее убежать, бросился бы хоть в киргизские степи; а я — Дон Кихот нравственный, отказываюсь от поездки в Италию, Францию, Германию, Голландию, на Рейн и пр., отказываюсь от чудес природы, искусства, цивилизации, от здоровья и, может быть, еще чего-нибудь большего. Такова уж моя натура.

Прилагаемое письмо доставьте к Тургеневу через Панаева.⁶ Драма его передана в контору для пересылки Вам. Это вещь необыкновенно умная, но не эффектная для дуры публики нашей; но как Вам печего печатать — то и это благодать божия, благо оригинальная пьеса.⁷ Я пишу к нему, чтоб он выбросил эпиграф да переменил два стиха. Денег он, как человек обеспеченный, разумеется, не имеет в виду; но из деликатности не мешало бы предложить ему экземпляр «Отечественных записок», тем более, что он и впредь вкладчиком Вашего журнала быть не откажется. При драме получите Вы статью Соколовского, доставленную мне Грановским.⁸ Что касается до посвящения благородному имени моему пьесы Т. Л., то Вы напрасно и писали о нем: вычеркните, да всё тут. Вы знаете, что я не из числа мелочных людей и за посвящениями не гоняюсь.⁹

Шевырев бесчинствует и два раза обругал Крюкова в университете. Последний собирается что-то писать для «Отечественных записок», да, верно, дело кончится сборами.¹⁰

Есть в Москве двоюродный брат Венелина, который, благоговей перед памятью своего действительно сумасбродного, но тем не менее и замечательного родственника, желает напечатать всё, что только осталось написанного его рукою. Для этого

у него нет средств, и он думает приобрести их, напечатав в «Отечественных записках» (за общую плату — 150 р. с листа) годные для журнала статьи.¹¹ Ключников читал из них о Дмитрие Самозванце и критику на Карамзина — говорит — интересны очень. Я привезу их с собой; а между тем чудачку хочется, чтобы Вы сказали об этом что-нибудь в письме ко мне или к Боткину, а мы бы передали ему. К стати: Венелина,¹² между прочим, уложил в могилу Погодин.

⟨В. П. Боткин:⟩

Сегодня же с плачем отправился я к Коршу — и поведал ему печаль Вашу, присвокупив к ней и свое красноречие. Стесненный моим могучим красноречием, Корш наконец принужден был высказаться откровенно. Дело вот в чем: в ожидании будущих благ, т. е. процентных денег со всей суммы подписки на «Московские ведомости», Корш получает теперь 114 руб. асс. в месяц. А на руках у него семья. Чтоб избавиться как-нибудь от голода, он принужден переводить для «Москвитянина» единственно из того только, чтоб получать тотчас деньги за каждый переведенный лист. Взявшись за перевод Вальтера Скотта, он должен будет бросить работу, доставляющую ему насущный хлеб. В разговоре этом он дал заметить, что заняться переводом Вальтера Скотта в ожидании денег лишь по отпечатании — для него совершенно невозможно. Я вспомнил одно место из письма Вашего ко мне относительно Кетчера, — сказал Коршу, что, кажется, есть возможность получить некоторую сумму вперед. — Эти слова дали другой характер нашим совещаниям — и дело получило прямой вид. Корш признался, что он не имел духу высказать это прежде. Наконец он сказал, что если издатели через Ваше посредничество могут заплатить за него теперь 618 руб. асс., — он тотчас же принимается за перевод «Эйванго», который будет непременно готов к 1-му ноября. И на таких условиях он согласен оставить у себя и «Антиквария», которого кончит к концу февраля. О всем этом он просил меня написать Вам, — что я сегодня же и исполняю. Не знаю, как Вы на это обстоятельство посмотрите. Я считаю Корша за самого благороднейшего человека, какого только мне удалось встретить в моей жизни, — и издатели рискуют потерять свои деньги лишь в случае его смерти, да и в этом случае сестра очистит память брата. Пожалуйста, уведоьте как можно скорее. Я Вам признаюсь, что, положась на слова Вашего письма, я имел неосторожность сказать Коршу, что это дело возможное — а он в ответ на это: «Я завтра же принимаюсь за перевод». Впрочем, я не дал ему полного уверения, сказавши, что напишу к Вам и не знаю, что Вы на это теперь ответите. На всякий же случай, и чтоб не медлить делом — я взял у Корша адрес, кому следует заплатить деньги, — который прилагаю здесь. Словом, я дал Коршу надежду, — дай бог, чтоб Ваш ответ не разрушил ее. Повторяю, — ответьте скорее то или другое. А то я перед Коршем стану в скверное положение, отвлекши его на несколько дней от его работ денежных.

Кетчер переводит «Веверлея». Только это могу Вам сказать о нем. Он в деревне, за 50 верст. Я был там назад тому 8 дней — отвез ему английский оригинал. С сентября он переезжает на службу в Петербург и принял уже место у Рихтера и помощника редактора «Журнала Министерства внутренних дел». Это верно. Но, кажется, ближе половины сентября он в Петербурге не будет. Я на себя готов взять перевод «С.-Ронанских вод», если это не к спеху, а потому вышлите мне оригинал. Ваш покорный слуга между тем переживает трудный период своей жизни — но, кажется, он скоро должен кончиться. Жму Вам руку.

В. Боткин.

8 июля 1843. Москва.

<8 июля 1843 г. Москва.>

Любезнейший Иван Сергеевич, и хочется писать к Вам, и нечего писать. Вы поймете меня. У нас с дураком нечего говорить потому, что ни в чем нельзя сойтись с ним; а с умным нечего говорить потому, что ни в чем нельзя разойтись с ним. В обоих случаях результат один: или перекидывание общими местами, или красноречивое молчание. Я в Москве всё умнею, т. е. всё подвигаюсь вперед в способности скучать и зевать и ставить $2 \times 2 = 4$, зевая и скучая. Это прогресс.

Напрасно Вы не распорядились раньше присылкою в Москву экземпляров «Параши»: ¹ все спрашивали ее давно, и разошлось бы много. Я еще раз десять прочел ее: чудесная вещь, вся насквозь пропитанная и поэзиею (что очень хорошо) и умом (что еще лучше, особенно вместе с поэзиею). Боткину она очень нравится, потому что Б<откин> умный человек, а другим она нравится вполовину или потому, что другие видят в ней эпиграмму на себя, или потому, что они в поэзии ищут вздора (т. е. прекрасных чувств), а не дела (т. е. $2 \times 2 = 4$). Драма Ваша — весьма и тонко умная и искусно изложенная вещь. Я (по данной мне Вами власти) обрек ее на растление в «Отечественные записки» и послал к Краевскому, от которого уже чорт не вырвет ее. Не нравятся мне в ней две вещи: эпиграф (который могут счесть за претензию) и два стиха:

Подыму тебя с дороги —
Покажу тебя богам.²

Если захотите их переменить, — это легко можно сделать через Панаева.

А стихов Вы прислали мне мало — это, сударь, стыдно.

Очень рад буду увидеться с Вами; но если бы Вы уехали из Питера, я не знал бы куда и деваться; с Вами я отводил душу — это не гипербола, а сущая правда. Жму Вашу руку и желаю Вам зевать сколько можно реже и меньше.

Ваш В. Белинский.

Москва (преглупый город).

1843. Июля 8

<Адрес:> Его высокоблагородию Ивану Сергеевичу *Тургеневу*.

225. А. А. КРАЕВСКОМУ

<22 июля 1843 г. Москва.>

Спасибо Вам, Краевский, за доброе письмо Ваше.¹ Оно очень и очень утешило и порадовало меня. Я увидел в нем с Вашей

Ваша книга (адрес ее на расстоянии
от П. З. и послать ее Хлебавину, а от
нее уже будет и Вильямович. В предельно
малом же не два раза: эмбрионы (или иже
остаток претерпевая) и два слова:

Миленьку тебе и другим —
покажи тебе до свиданья.

Если заботник и претерпевать, — это легко
можемо сделать через Пашкова.

А стирание или приемлемо, или можно —
это, судя по, стиранию.

Очень рад буду увидитесь с вами; и если
или или устроитесь по Пашкову, и укажите
или куда и двобором; от вами и отсюда
буду — это и стирание, а стирание
или или устроитесь по Пашкову, и укажите
или куда и двобором; от вами и отсюда
буду — это и стирание, а стирание

Ваша В. Д. Пашков

Москва (пушкинский музей).

1943. июль 8.

стороны истинное и искреннее ко мне участие. За границу я решительно *не еду*² и прошу Вас сказать об этом г. Косиковскому через друга нашего Александра Сергеевича Комарова. Не еду я, во-1-х, потому, что тогда же решил для себя не ехать. Была у меня минута (и минута тяжкая) борьбы; но она была непродолжительна. Я боялся не просьб, не заманиваний и обещаний Ваших (которые, разумеется, были бы неприятны) — не в них была главная сила — она была в тех нравственных отношениях, в которых я чувствую себя к журналу Вашему и к Вам. Я всегда Вас знал в отношении к себе человеком добрым и честным и не считаю себя вправе для своей выгоды поставить Вас в затруднительное положение. Если я употребил слово *донкихотство*, это было остатком, следом минутной борьбы, которую я выдержал по получении письма г. Косиковского, и следствием досады на судьбу, которая вздумала меня попотчевать нехстати тем, чем не мог я воспользоваться. А как судьба лицо бесплотное, сиречь дух, и ее сколько ни брани, ей всё нипочем, то я, с большой-то головы да на здоровую, и сказал Вам слово, которое могло Вам показаться жестким или неуместным и за которое Вы меня должны извинить. Мы с Вами связаны — терпели вместе горе и стыд, ратовали за одно и любили одно. Видно, нас сам чорт связал веревочкой, как Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, и нам, видно, не развязаться. Повторяю Вам, я давно решил *не ехать*. Но на днях со мною случилось нечто такое, что должно иметь влияние на всю мою жизнь и вследствие чего, если бы Европа сама приехала ко мне в гости, я бы не принял ее.³ Пока — это тайна, о которой из питерских друзей моих я говорю Вам первому, а Вас прошу не говорить никому; приеду — узнаете всё. Итак, об этом больше нечего говорить. Я уверен, что Вы поймете это мое письмо так же просто и так же искренно, как я понял Ваше. Я больше всего в мире боюсь фальшивых отношений и больше всего хлопочу о том, чтоб быть с людьми на прямых отношениях.*

Думал я писать к г. Косиковскому, но он скоро будет сам в Москве. Жалко мне, что я его напрасно взволновал, не имея духу выразиться определеннее и включив глупую фразу о сви-

* Говорю об искренности, а сам было и *своровал* (как говорится в русских исторических актах) и не договорил Вам признания, что меня немного кольнул тон Вашего прежнего письма и толки о платимых Вами за меня деньгах, — что и заставило меня ответить Вам несколько в полемическом тоне. Но я был неправ. Я должен был отличить идею от формы: Вы прекрасный человек, но грубоваты в формах — вот и всё. Видно, так уж господом богом устроено, чтобы за каждым человеком водились грешки, и волтерьянцы напрасно восстают против этого.⁴ Я сам человек с грехами. Будем же уметь прощать друг другу и быть снисходительными друг к другу.

дании с Вами. Из этого вижу, что я плохой политик и что мне надо впредь действовать по-кетчеровски.

Верю Вам, что Вы будете рады, что остаюсь, и радуюсь за Вас, что, удержав старого сотрудника, Вы в нем же приобретете *нового*, т. е. более усердного и аккуратного. Вы поймете, о чем я говорю, и не станете шутить, ибо, как Вы сами справедливо заметили в письме к Боткину, есть вещи в жизни, над которыми не должно шутить.⁵ Но теперь, теперь потерпите немного и будьте снисходительны. Жизнь не дается человеку два раза, и человеку простительно забиться в ней хоть на первую минуту. Статью Вам вышлю к 10-му августа,⁶ а насчет рецензий — будьте добры — если будут книги поинтереснее — нельзя ли прислать: хочется неделки две оттянуть у заботы и горя житейского.

Ваш В. Белинский.

Посылаю Вам филиппику против Шевырки. Боюсь, что опоздал, но это не моя вина, а выход 6 № «Москвитянина».⁷ Хотелось бы, чтобы это было напечатано в 8 № «Отечественных записок». Вчера Вы должны были получить посланную мною рецензию на стихотворения Милькеева.⁸ Прощайте.

(М). В Москве проливные дожди каждый день уже более месяца. Сегодня светло, да бог знает, надолго ли.

Москва. 1843. Июля 22.

226. Н. А. БАКУНИНУ

Москва. 1843. Августа 24.

Любезнейший Николай Александрович. Намерение мое побывать в Прямухине на возвратном пути не может сбыться. Как водится, я ничего не делал по приезде в Москву, и потому меня застигла работа. Боткин уехал еще 20 августа, а я остался дописывать статью.¹ Между тем в Питере меня ждут и проклинают, да и Боткина мне необходимо застать в Петербурге, чтоб проститься с ним надолго.² Б<откин> писал к Павлу Александровичу,³ думая, не будете ли чего с ним писать или наказывать. Но дня выезда он не назначил, ибо сам не знал его. Я выезжаю послезавтра — в четверток (26 августа), стало быть, через Торжок буду проезжать в пятницу утром рано. Если что приготовили Вы для отсылки с Б<откиным>, то передайте мне.

Прошу у Александры Александровны извинения, что так долго не отвечал на ее письмо. О чем она писала ко мне, о том самом я лично говорил с Константином Андреевичем Беером

У Кр<аевского> есть уже давно хороший перевод «Consuelo», и если он решится печатать этот роман, то, разумеется, в известном уже ему и готовом переводе знакомого ему человека,— и я тут, при всем моем желании, ровно ничего не могу сделать.⁴ Ради всего святого, прошу Варвару Александровну позволить мне еще некоторое время продержаться портрет Станкевича.⁵ Горбунов был в Москве на самое короткое время и* никак не мог приняться за эту работу. Из Петербурга я тотчас перешлю портрет в целости. Мой портрет М<ишеля> несравненно лучше Вашего литографированного.⁶ Боткин не мог налюбоваться на работу, а он знает толк в этих вещах. Прочел я «Le Compagnon du Tour de France»** — божественное произведение!⁷

Кланяюсь всем вам и желаю быть здоровыми и счастливыми. Поправляется ли Алексей Александрович?

Александрю Александровичу⁸ и Варваре Александровне прошу Вас передать мой задушевный поклон.

Если Вы женаты уже, то не считаю за нужное напоминать Вам, что Вы обязаны с самой лучшей стороны отрекомендовать меня своей супруге и уверить ее в моем глубочайшем почтении и совершенной преданности. Маленького Сашу целую. Здорова ли подруга его юности — галка? Прощайте.

Ваш В. Белинский.

Не оставил ли я у Вас моего пальто? Если да, то не худо, если бы кстати Вы прислали его ко мне в Торжок.

227. М. В. ОРЛОВОЙ

< 3 сентября 1843 г. Петербург.>

Хочется много сказать Вам, и потому ничего не говорится. Буду писать, как напишется. Вы хотели, чтобы я подробно уведомил Вас обо всем, что было со мною со дня нашей разлуки. Как сумею, выполню Вашу волю. Во-первых, я должен Вам сказать, что уехал я из Москвы не в четверг, а в пятницу. В среду мне было не то чтобы тяжело или грустно, а как-то неловко. Я смотрел по обыкновению в окна, следя за видоизменениями облаков — погода была — помните — довольно дурна, и на душе было и пусто и тревожно. Я поехал кой-куда, а вечером располагался к Коршу, и мысль об этом визите*** бросала меня в жар. Но мне не удалось быть у К<орша>, а был

* Далее зачеркнуто: не успел

** «Странствующего подмастерья» (франц.). — Ред

*** Далее зачеркнуто: немног<о>

я у Щ(епкины)х, где только слегка упрекали меня в забвении и где отделался я полным молчанием. Вечером у меня был Кудрявцев и m-r l'Adolescent,¹ который ни разу не упомянул при мне Вашего имени, но снова просил меня érouser m-lle Ostr(ооimoff).^{*2} На другой день поутру поехал я к Коршу. Меня встретила его сестра.³— Узнаете ли Вы меня? Не забыли ли Вы, где мы живем? и пр. Выходит его жена⁴— и я пришел в ужас от ее коварной улыбки, чувствуя, что погибнуть мне от нее во цвете лет и красоты. Одним словом, между множеством злых намеков меня спросили: *здоров ли мне воздух сосновой рощи и как я нахожу московские окрестности?*⁵ Я почувствовал себя в паровой ванне в 40 градусов, краснел, бледнел, хохотал как сумасшедший, и — что всего ужаснее — они видели ясно, что это распекание доставляет мне больше наслаждения, чем досады. К стыду моему, я сам это чувствовал. Как же узнали они о сосновой роще? Им сказала одна знакомая им дама, что я часто бываю в Сокольниках. И как они давно заметили перемену во мне и как я раз надоел самому К(оршу) моею рассеянностью и натянутостью, — то они и смекнули, в чем дело. Женщины — кошки, я давно имел честь докладывать Вам это. Они сейчас заметят мышь и начнут ее мучить, играя с нею. А мои неприятельницы находили особенное удовольствие мучить меня, ибо я всегда смеялся над браком, любовью и всякими сердечными привязанностями. Но в их злости было столько женского торжества, столько доброты, желания мне счастья и радости за мое счастье, что я — покаялся перед ними в грехе моем. Впрочем, Ваше имя осталось для них тайною, и они узнали только факт моего сердечного состояния. Мне стало с ними легко и весело, и вечером я опять пришел к ним. Они посадили меня между собою за самоварным столом, и я сидел под перекрестным огнем лукавых улыбок и торжественных взглядов и был весел, счастлив, как ребенок, как дурак. Я уже имел честь доносить Вам, что женщины на то и созданы, чтобы делать мужчин дураками; но всего обиднее в этом то, что мужчины до смерти рады своей глупости. Но, видно, уж так суждено самим господом богом, и волтерянцы напрасно против этого восстают.⁶

Проснувшись на другой день, я почувствовал нечто вроде тоски разлуки, — и если бы поездка была отложена до субботы, то я право не ручаюсь, что бы не явился к Вам в институт. Подобный Sehnsucht** подмывал меня еще и в четверг. Поехал я с Языковым;⁷ Клыков⁸ тоже с нами. К вечеру всё сильнее и сильнее овладевало мною тоскливое порывание к Вам. Засыпая

* жениться на мадемуазель Остроумовой (франц). — Ред.

** страстное желание (нем.). — Ред.

тяжелым сном (ибо не могу хорошо спать сидя и <при> стуке громоздкого экипажа), я или видел Вас, или чувствовал Ваше присутствие, и потому старался как можно больше и больше спать, хотя от этого снанья у меня только болела голова. Ехать в карете — для меня пытка, потому что нельзя лежать, а всё надо сидеть. Наконец кое-как доехали. Последняя станция перед Петербургом называется *Ижоры*. Так как от нес шоссе до Петербурга сделано заново и ездить по нем тяжело, то ямщики сворачивают на царскосельскую дорогу. Приехавши в Царское, мы с Кл<ыковым> вздумали высадиться из дилижанса, чтобы приехать в Петербург по железной дороге, а Яз<ыков> с женою поехал в дилижансе. Это было в 6 часов вечера, в понедельник, и нам надо было дожидаться целый час. В вокзале я повстречал человека Панаева, который сказал мне, что Бот<кин> с Арм<ансе> остановились на квартире Панаева (который живет на даче в Павловске). Приезжаю домой, вхожу в квартиру, которой еще не видал (потому что мой человек без меня перебрался на нее),⁹ не снимая картуза, бегу в мой кабинет — и отступаю в изумлении назад: в кабинете, за моим рабочим столом, на креслах, сидит женщина. Я так был уверен, что Б<откин> с А<рмансе> на квартире Панаева, что с трудом мог убедиться, что передо мною m-He Арм<ансе> — тем более, что в комнате только одна свеча, как-то тускло горевшая. Мысль, что моя комната* освящена присутствием женщины и что в этой же самой комнате я мог бы видеть другую женщину — эта мысль обезумила меня, так что, когда m-He Арм<ансе> с веселым приветствием подала мне руку, я забыл даже то небольшое количество французских слов, которое знал. К этому присоединилось и еще другое. Я ужасно люблю и прежнюю мою квартиру; но эта (в которой жил Краевский) еще лучше той, но как она невелика, то я и решил в Москве, что надо искать другой. Это меня беспокоило, потому что в Петербурге** легко находить или самые лучшие, т. е. самые дорогие, или самые скверные квартиры, а главное, это повело бы меня к разным глупым затеям. Между тем моя квартира, чистая, опрятная, красивая, светлая, смотрела на меня так приветливо, как будто бы хотела меня от души с чем-то поздравить. Смешно подумать и стыдно признаться — сердце мое болезненно сжалось. Является Б<откин> и начинает*** хвалить мою квартиру, говоря, что я сделал бы крайне глупо, если бы переменял ее, что Арм<ансе> в восторге от нее и не захотела бы никогда жить на другой, что она любитя беспрестанно моими картинами, расстановкой

* Первоначально: в моей комнате жен<щина>

** Далее зачеркнуто: найти

*** Первоначально: говорит

мебели и восклицает: «Il a du goût!»* Всё это меня потрясло чуть не до лихорадки. На другой день я увиделся с Краевским и был даже несколько поражен участием и деликатностью, с какими он говорил со мною — Вы понимаете о чем. Он окончательно утвердил меня в решении не переменять квартиры. Я увидел, что был очень глуп, желая пустыми затеями, которые ничего не прибавят к счастью, откладывать истинное счастье. И это, повидимому, пустое обстоятельство имело своим результатом то, что я приеду в Москву уже не на праздниках и не после праздников, а перед рождественским постом, — и не считаю невозможным приехать даже в половине октября. Я опьянел от этой мысли и хожу теперь дурак дураком. Ни о чем не могу думать, ничего не могу делать. Если письмо мое нескладно, то вот причина этому. Боже мой, когда ж это будет! Нас будет разделять одна только дверь — и это радует меня, ибо чем ближе будете Вы ко мне, тем счастливее буду я. Квартира моя высока — в третьем этаже; но в Петербурге квартиры нижних этажей — хлевы и подвалы, а вторых этажей непомерно дороги. К удобствам квартиры моей принадлежит то, что она светла, окнами на солнце, суха и тепла, — а это в Петербурге большая редкость. Она состоит из двух комнат. Задняя — мой теперешний кабинет, довольно длинная комната, с двумя окнами на двор. Ее можно перегородить ширмами, и тогда из нее выйдет для Вас две комнаты, из задней ход через коридор в кухню и прихожую, а из передней — в теперешнюю залу, которую я обращаю тогда в кабинет. Всё это до того занимает меня, что я только и думаю о том, какой вид дать моим комнатам. Я теперь ночую у знакомых и к себе на квартиру хожу в гости к Б<откину>.

Здоровье мое так и сяк, да я теперь и неспособен чувствовать ни болезни, ни здоровья. Я разорван пополам и чувствую, что недостает целой половины меня самого, что жизнь моя неполна и что я тогда только буду жить, когда Вы будете со мной, подле меня. Бывают минуты страстного, тоскливого стремления к Вам. Вот полетел бы хоть на минуту, крепко, крепко пожал бы Вам руку, тихо сказал бы Вам на ухо, как много я люблю Вас, как пуста и бессмысленна для меня жизнь без Вас. Нет, нет — скорее, скорее — или я с ума сойду.

Что Вы, как Вы? Здоровы ли, веселы ли, счастливы ли? От этой минуты с тоскою буду ждать Вашего письма, буду считать дни и минуты, когда получу от Вас первое письмо. Отвечайте мне скорее, если не хотите заставить меня страдать. Адресуйте Ваши письма вот по этому адресу: *В С.-Петербурге, на Невском проспекте, у Аничкина моста, в доме Лопатина*.

* «У него есть вкус!» (Франц.) — Ред.

квартира № 47. Адрес тот же, что и у Вас, только № квартиры надо прибавить.

В среду, 1-го сентября, Б(о)тк(ин) обвенчался с Агт-
(ансе). Теперь он хлопочет, чтобы в субботу отправиться
за границу. Он Вам кланяется и благодарит Вас за память
о нем.

Аграфене Васильевне¹⁰ посылаю мой искренний, душевный
привет и прошу, умоляю ее как можно меньше сердиться на
всех, а в особенности на самой себя, на Вас и на меня. Правда,
я много виноват перед нею, но это такая вина, в которой я ни-
мало не намерен ни раскаяться, ни исправиться.

Прощайте. Да хранит Вас господь для Вашего и моего
счастья. Посылаю Вам все благословения и обеты навсегда
преданного Вам моего сердца.

В. Белинский.

СПб. 1843, сентября 3.

228. М. В. ОРЛОВОЙ

<7—8 сентября 1843 г. Петербург.>

СПб. 1843. Сентябрь 7, вторник

Вчера должны были Вы получить первое письмо мое к Вам.¹
Я знаю, с каким нетерпением, с каким волнением ждали Вы
его; знаю, с какою радостью и каким страхом услышали Вы,
что есть письмо к А(графене) В(асильевне),² — и какого труда
стоило Вам с сестрою принять на себя вид равнодушия. Я не
мог писать к Вам тотчас же по приезде в Петербург, потому что
жил на биваках и был вне себя. Первое письмо мое написано
кое-как. В продолжение дней, в которые должно было идти
оно в Москву, я только и думал о том, когда Вы получите его;
я мучился тем же нетерпением, как и Вы, мысль моя погоняла
ленивое время и упреждала его; с радостью видел я наступление
вечера и говорил себе — днем меньше! Но вчера я был, как на
угольях, рассчитывая, в котором часу должны Вы получить
мое письмо. Я не могу видеть Вас, говорить с Вами, — и мне
остается только писать к Вам; вот почему второе письмо мое
получаете Вы, не успевши освободиться из-под впечатления
от первого. Мысль о Вас делает меня счастливым, — и я несча-
стен моим счастьем, ибо могу только думать о Вас. Самая рос-
кошная мечта стоит меньше самой небогатой существенности;
а меня ожидает богатая существенность: что же и к чему мне
все мечты и могут ли они дать мне счастье? Нет, до тех пор, пока
Вы не со мной, — я сам не свой, не могу ничего делать, ничего

думать.* После этого очень естественно, что все мои думы,** желания, стремления сосредоточились в одной мысли, в одном вопросе: когда же это будет? И пока я еще не знаю, когда именно, но что-то внутри меня говорит мне, что скоро. О, если бы это могло быть в будущем месяце!

Погода в Петербурге чудесная, веселая. Она прибыла сюда вместе со мною, потому что до моего приезда здесь были дожди и холод. А теперь — на небе ни облачка, всё облито блеском солнца, тепло, как в ясный апрельский день. Вчера было туманно, и я думал, что погода переменится; но сегодня снова блещет солнце, и мои окна открыты. А почти? Если бы Вы знали, какие теперь ночи! Цвет неба густо темен и в то же время ярко блестящ усыпавшими его звездами. Не думайте, что я не берегусь, обрадовавшись такой погоде. Напротив: я и днем, как и вечером, хожу в моем теплом пальто — чему, между прочим, причиною и то, что еще не пришел в Петербург посланный по транспорту ящик с моими вещами, где обретается и мое летнее пальто. Впрочем, днем нет никакой опасности ходить в одном сюртуке, без всякого пальто; но вечером это довольно опасно, и вот ради чего я и днем жарюсь в зимнем пальто. Мне кажется, что и в Москве теперь должна быть хорошая погода. Не забудьте уведомить меня об этом: московская погода очень интересует меня. Не поверите, как жарко: окна открыты, а я задыхаюсь от жару. На небе так ярко и светло, а на душе так легко и весело!

Без меня мои растения ужасно разрослись, а что больше всего обрадовало меня, так это то, что без меня расцвела одна из моих олеандр. Я очень люблю это растение, и у меня их целых три горшка. Одна олеандра выше меня ростом.

После тысячи мелких и ядовитых досад и хлопот Боткин наконец уехал за границу. Это было в субботу (4 сентября). Я провожал его до Кронштадта. День был чудесный, — и мне так отраднo было думать и мечтать о Вас на море. Расстались мы с Б<откиным> довольно грустно,³ чему была важная причина, о которой узнаете после. Странное дело! Я едва мог дожидаться, когда перейду на мою квартиру, а тут мне тяжела была мысль, что я вот сегодня же ночую в ней. И теперь еще мне как-то дико в ней. Впрочем, это будет так до тех пор, пока я вновь не найду самого себя, т. е. пока Вы не возвратите меня самому мне. До тех же пор мне одно утешение и одно наслаждение: смотреть на стены и мысленно определять перемещение картин и мебели. Это меня ужасно занимает.

Скажите: скоро ли получу я от Вас письмо?⁴ Жду — и не верю, что дождусь; уверен, что получу скоро — и боюсь даже

* Далее зачеркнуто: стало быть

** Первоначально: мысли

надеяться. О, не мучьте меня — но ведь Вы уже послали Ваше письмо, и я получу его сегодня, завтра! — не правда ли?

Прощайте. Храни Вас господь. Пусть добрые духи окружают Вас днем, нашептывая Вам слова любви и счастья, а ночью посылают Вам хорошие сны. А я, — я хотел бы теперь хоть на минуту увидеть Вас — долго, долго посмотреть Вам в глаза, обнять Ваши колена и поцеловать край Вашего платья. Но нет, лучше дольше, как можно дольше не видеться совсем, нежели увидеться на одну только минуту и вновь расстаться, как мы уже расстались раз. Простите меня за эту болтовню; грудь моя горит, на глазах накипает слеза: в таком глупом состоянии обыкновенно хочется сказать много, и ничего не говорится или говорится очень глупо. Странное дело! В мечтах я лучше говорю с Вами, чем на письме, как некогда заочно я лучше говорил с Вами, чем при свиданиях. Что-то теперь Сокольники? Что заветная дорожка, зеленая скамеечка, великолепная аллея? Как грустно вспоминать обо всем этом, и сколько отрады и счастья в грусти этого воспоминания!

Сентября 8.

Скажите, бога ради, что Ваня — здоров или болен, жив или умер?⁵ Не смешно ли, что я Вас спрашиваю так, как будто бы Вы уже писали ко мне, да забыли только упомянуть об этом обстоятельстве? Когда же дождусь я письма от Вас?

Сегодня на небе серо, и не знаю, пробьется ли солнце сквозь облачную пелену. Это досадно — я так люблю ясную погоду и так редко наслаждаюсь ею.

Что Вам сказать о моем здоровье? Я приехал в Петербург с лихорадкою, но теперь она оставила меня. Когда это случилось — не помню, потому что решительно неспособен различать болезненного состояния от здорового, и наоборот. Теперь я и здоров и болен одним, об одном могу думать и одним полон, и это одно — Вы. Прощайте. Ваш навсегда

В. Белинский.

229. М. В. ОРЛОВОЙ

СПб. 1843, сентября 14.

Наконец-то Вы и бог сжалились надо мною. О, если бы Вы знали, чего мне стоило Ваше долгое молчание. Первое письмо мое пошло к Вам 3 сентября (в пятницу), следовательно, 6 (в понедельник) Вы получили его. Я расчел, что во вторник Агр<афена>

В(асильевна) — дежурная, и потому думал, что Ваш ответ пойдет в среду (8), а ко мне придет в субботу. Но в субботу ничего не пришло, и мне с чего-то вообразилось, что я жду Вашего ответа на мое письмо уже недели две. В воскресенье нет; я приуныл, — и в голову полезли разные вздоры: то мое письмо пропало на почте и не дошло до Вас, то Вы больны, и больны тяжко, то (смейтесь надо мною — я знаю, что я глуп — ведь Вы же сделали меня дураком) Вы вдруг охладели ко мне. Я не мог работать (а с работою и так опоздал, всё думая об Вас); мне было тяжело, жизнь опять приняла в глазах моих мрачный колорит. К тому же с воскресенья началась холодная и дождливая погода, — а погода всегда имеет сильное влияние на расположение моего духа. В понедельник* опять нет, сегодня ждал я почти до 3-х часов и с горя, несмотря на дожди, пошел обедать на другой конец Невского проспекта. Возвращаясь домой, я возымел благое желание утешить себя в горе двумя десятками груш, твердо решившись истребить их менее чем в двадцать минут. Прихожу домой и из залы вижу в кабинете, на бюро, что-то вроде письма. У меня зарябило в глазах и захватило дух. Рука женская, по, может быть, это от Бак(униных)? Нет, на конверте штемпель московский. Что ж бы Вы думали! — я сейчас схватил, распечатал, прочел? Ничуть не бывало. Я переоделся, дождался, пока мой валет уйдет в свою комнату — а сердце между тем билось...

Боже мой! сколько мучений прекратило Ваше письмо! Сколько раз думал я: если это от болезни, то сохрани и помилуй меня бог (это чуть ли не первая была моя молитва в жизни), если же это так — нынче да завтра, то прости ее, господи! Я стал робок и всего боюсь, но больше всего в мире — Вашей болезни. Мне кажется, что я так крепок, что смешно и думать и заботиться обо мне; но Вы — о боже мой, боже мой, сколько тяжелых грез, сколько мрачных опасений!

Тысячу и тысячу раз благодарю Вас за Ваше милое письмо. Оно так просто, так чуждо всякой изысканности и между тем так много говорит. Особенно восхитило оно меня тем, что в нем Ваш характер, как живой, мечется у меня перед глазами, — Ваш характер, весь составленный из благородной простоты, твердости и достоинства. Ваши выговоры мне за то и за другое — я перечитывал их слово по слову, буква по букве, медленно, как гастроном, наслаждающийся лакомым кушаньем. Я дал себе слово как можно больше провиниться перед Вами, чтобы Вы как можно больше бранили меня. Впрочем, Вы в одном Вашем упреке мне решительно неправы. «Как вы мало меня знаете!» — говорите Вы мне — и говорите неправду. Я Вас знаю

* Первоначально: Сегодня

хорошо, и самая Ваша бестребовательность могла уже меня заставить немножко зафантазироваться. Притом же, как русский человек, я как-то привык думать, что, жепясь, надо жить шире. Это, конечно, глупо. Я Вас знаю — знаю, что Вас нельзя ни удивить, ни обрадовать мелочами и вздорами; но не отнимайте же совсем у меня права думать больше о Вас, чем о себе. Я знаю, что для Вас всё равно — тот или этот стул, лишь бы можно было сидеть на нем; но что ж мне делать, если я счастлив мыслию, что лучший стул будет у Вас, а не у меня. Глупо, глупо и глупо — вижу сам; да разве я претендую теперь хоть на капельку ума? Разве я не знаю, что с тех пор, как начал посещать Сокольники — сделался таким дураком, каким еще не бывал? Теперь я понял ту великую истину, что на свете только дураки счастливы. Я было отчаялся в возможности быть сколько-нибудь счастливым, не понимая того, что не велика беда, если родился не дураком — стоит сойти с ума. Зарапортовался!

Всё, что Вы пишете о том, что было с Вами со дня нашей разлуки, всё это так истинно, так естественно и так понятно мне. За Ваши мысли о неприличии приносить в общество свою *нарядную печаль* мне хотелось бы поцеловать Вашу попку. А что Вы пустились в пляс, это мне не совсем по сердцу, потому что усиленное движение может Вам быть вредно, пожалуй, еще простудитесь.

А ведь Аграфена-то Васильевна права, упрекая Вас, что Вы не говорили со мною откровенно о будущем. Я было не раз думал начинать такие разговоры, да как-то всё прилипал язык к гортани. Впрочем, пользы от этого для меня не было бы никакой; но эти разговоры делали бы меня безумно счастливым и более и более сближали бы нас друг с другом. А то меня всегда и постоянно мучила мысль, что мы не довольно близки друг к другу, что мы ребячимся, сбиваясь немного на провинциальный идеализм.

Мое здоровье? Да бог его знает — говорю Вам, что не разберу — жив ли я, или умер. В воскресенье, поехав обедать к Комарову, простудился слегка — кашель и насморк — оттого, что мое теплое пальто насквозь промокло от дождя. Впрочем, простудный кашель — наслаждение в сравнении с нервическим и желудочным. Теперь всё прошло. Я должен покаяться перед Вами в грехе. Вот в чем дело: не иметь никого, с кем бы я мог иногда поговорить об Вас — для меня мучение. Вот почему Марья Алекс<андровна> Комарова¹ знает то, чего не знают Корши. Я сказал ее мужу, ибо сам не имел духу даже передать ей Вашего поклона. Прихожу после и вижу, что ей как-то неловко со мною. Хочется ей потрунить на мой счет — и боится. Тогда я сам прехрабро начал наводить ее на шутки

на мой счет. И что же? Она так конфузилась, так ярко вспыхивала, что мы с ее мужем стали смеяться, а я просто был в неистовом восторге. И было от чего! Я, который краснею за других — не только за себя, — я был тут геройски бесстыден, а бедная М<арья> А<лександровна> за меня резалась. Но в прошлое воскресенье мы с нею-таки потолковали о Вас и об институте. Вообще я рад, что К<омаров>ы знают: через это я обдерживаюсь, привыкаю к мысли о новом положении и приучаюсь не бояться фразы: всё был не женат, а то вдруг женат!²

Я совершенно согласен с А<графеной> В<асильевной>, что Вы были лучше всех на маленьком бале Вашей начальницы. Другие могли быть свежее, грациознее, миловиднее Вас — это так; но только у одной у Вас черты лица так строго правильны и дышат таким благородством, таким достоинством. В Вашей красоте есть то величие и та грандиозность, которые даются умом и глубоким чувством. Вы были красавицею в полном значении этого слова, и Вы много утратили от своей красоты; но при Вас осталось еще то, чему позавидуют и красота и молодость и что не может быть отнято от Вас никогда. Я это давно уж начинал понимать; но опыт — лучший учитель, и я недавно, чужим опытом, еще более убедился в том, что ничего нет опаснее, как связывать свою участь с участью женщины за то только, что она прекрасна и молода. Долго было бы распространяться об этом «чужом опыте», и мне хотелось бы рассказать Вам о нем не на письме. И потому пока скажу Вам одно, что Б<откин> глубоко завидует мне, а я ему нисколько, или, лучше сказать, я очень, очень жалею его и понимаю его восклицание еще в Москве: «Зачем ей не 30 лет?»

Хотелось бы мне сказать Вам, как глубоко, как сильно люблю я Вас, сказать Вам, что Вы дали смысл моей жизни, и много, много хотелось бы сказать мне Вам такого, что Вы и без сказыванья* должны знать. Но не буду говорить, потому что и на словах и на письме всё это выходит у меня как-то пошло и нисколько не выражает того, что бы должно было выразить. Теперь я понимаю, что поэту совсем не нужно влюбиться, чтобы хорошо писать о любви, а скорее не нужно влюбляться, чтобы мочь хорошо писать о любви. Теперь я понял, что мы лучше всего умеем говорить о том, чего бы нам хотелось, но чего у нас нет, и что мы совсем не умеем говорить о том, чем мы полны.

Прощайте, Marie. Вы просите меня не мучить Вас, заставляя долго ждать моих писем, — я отвечаю Вам в тот же день, как получил Ваше письмо, и посылаю мой ответ завтра. Так хочу я всегда делать.

* Далее зачеркнуто: хорошо

Очень меня тронуло то, что Вы пишете мне об А<графене> В<асильевне>. Со мною ей было тесно, а без меня скучно. Я понимаю это, и оно иначе быть не могло. А<графена> В<асильевна> не может не быть расположена к человеку, который должен сделать счастливою ее сестру, и в то же время она не могла защититься от какого-то враждебного чувства к человеку, который должен разлучить ее с тем, что составляло всё ее счастье и всю ее любовь. Кроме того, мои к ней отношения (в которых я не совсем виноват) не могли же особенно расположить ее ко мне: ее вид более огорчал меня, чем радовал, ибо я хотел видеть только одну Вас и быть с одною Вами. Но, несмотря на то, у меня всегда было самое радужное, самое теплое чувство к А<графене> В<асильевне>. И теперь я люблю ее, как добрую, милую сестру мою — конечно, ни она, ни Вы не найдете этого выражения дерзким или неуместным. Жму руку Аграфене Васильевне и низко ей кланяюсь. Бог даст, может быть, когда-нибудь мы и все трое будем жить вместе. По крайней мере, я от всей души желаю этого.

Я привык ложиться и вставать рано. Это полезно мне. Но сегодня досидел до 12 часов — писал статью, потом письмо, и рука крепко ноет.* Немного остается белой бумаги, и мне жаль этого — всё бы говорил с Вами.

Бедный Ваня — мне жаль, что он умер, жаль и его самого и его матери, потому что для матери тяжела потеря дитяти.³

Радуюсь Вашей храбрости с Миловзором⁴ и Вашей радости по случаю моей резни у Коршей.⁵ Читали ли вы 9 № «Отечественных записок»? Моя статья о Жук<овском> наделала шуму — все хвалят.⁶ Вот уж не понимаю, как эта статья вышла хороша; я писал ее накануне дня, в который можно было ехать в Сокольники.

Пожалуйста, побраните меня хорошенько в следующем письме Вашем, которое (надеюсь) скоро придет ко мне. Вы меня по вечерам крестите: почему ж и не так, если это забавляет Вас? А я — меня тоже забавляет эта игра: продолжайте. Что же касается до лечения, право, не до него. Скажу Вам не шутя: пока Вы не со мной, я без головы, без ума, сам не свой, ничего не могу делать и ни о чем думать. Я сам не вдруг в этом уверился; но теперь касательно этого поставил 4, помноживши 2 на 2.

Еще раз прощайте.

Ваш В. Беллинский.

* Первоначально: болит

⟨18—20 сентября 1843 г. Петербург.⟩

Сентября 18, суббота.

Целый день мучит меня какая-то тяжелая, безотрадная тоска. Может быть, это оттого, что вчера я был уже чересчур весел, безумно весел. Был я вчера у Вержбицких.¹ У них в доме были две именинницы, вследствие какого-то события была пляска под звуки рояли. Дамы до того раскутились, что пристали ко мне, чтобы я танцевал французскую кадрили. Я стал — меня водили, толкали, посылали вправо и влево, я ходил, путал, все хохотали, я тоже, а в шене крепко пожимал дамам руки, за что они громко изъявляли свое на меня неудовольствие. Это однако же не помешало им звать меня на вторую кадрили: опять та же история. Все эти глупости и фарсы были очень милы, потому что были непритворно веселы, были от души. Я пришел домой в 12 часов или около того, вполне довольный моим днем. И я имел причины быть довольным им: в этот день явилась мне уже не вдали, не в тумане и не гадательно возможность близкого свершения моих лучших желаний. Но об этом после. Видите ли, Marie, не одни Вы пускаетесь в пляс, и я ни в чем не хочу Вам уступить, а в смешном далеко превосхожу Вас, — и, право, я не шучу, только в одном этом я и сознаю мое перед Вами превосходство. Но сегодня с самого утра почувствовал я себя нехорошо. Может быть, это нездоровье. Я принял лекарство — мне стало несколько лучше, но душевное расположение мое от этого не многим разъяснилось. Да, это от нездоровья: вчерашний бокал шампанского крепко ударил мне в голову, а перед тем я немного простудился. Мне совсем бы не надо пить вина; но когда все веселы и сам себя чувствуешь веселым — ну как удержишься, чтоб не подурачиться? Мне же так ново и непривычно быть веселым.

Прихожу сегодня домой от обеда — и ищу глазами письма — его нет. А между тем мысль о нем веселила меня вчера и поддерживала сегодня. В субботу (11) Вы получили мое второе письмо,² во вторник (14) Агр⟨афена⟩ Вас⟨ильевна⟩ свободна, — и Ваш ответ мог бы быть послан. Мое нетерпение решило, что он непременно послан во вторник, и я его ждал еще вчера, а потом утешил себя мыслию, что почтальон-де не успел разнести — получу завтра, — и вот почему я сегодня с предлинным носом и теперь с горя принялся писать к Вам. Стало быть, письмо Ваше послано в четверг (16), и я получу его завтра? Дай-то бог!

Вот и еще день прошел, а письма Вашего нет как нет; оно не отправлено и в четверг, стало быть, я не получу его и завтра, а должен ждать во вторник, и то в таком только случае, если оно отправлено в субботу! Знаю, что такие замедления происходят не от Вас, а от обстоятельств, происходят оттого, что А<графине> В<асильев> не нет достаточного предлога к выезду из института — знаю всё это, но от этого мне всё-таки не легче. Знаю, что и Вам это не совсем приятно и за себя и за меня; но всё-таки тяжело, очень тяжело. Обманутая надежда, несвершенное ожидание и потом разные грустные и мрачные мысли, которые против воли лезут в голову, — всё это тяжело и тяжело... Вы как-то говорили мне, что были намерены отправлять * Ваши письма через Вашу *garde-malade*:** не лучше ли это будет?

Сегодня с горя поехал обедать к Комарову. М-ме К<ома-рова> сегодня была очень зла и, против своего обыкновения, очень храбра — жалила меня, как пчела, и заставляла конфузиться.³ Я как-то сдуру, забывшись, начал улыбаться про себя — вдруг вопрос: о чем? Словно сонного холодною водою — тем более, что тут были посторонние люди. Потом, ни с того ни с сего, вопрос: «Какие вы любите губы — толстые или тонкие?» — «Толстые, как у коровы!» — отвечал я с досадою. Фекла Алекс<андровна>⁴ едет в Вологду, и ей нужно же было за столом изъяснить свое сожаление о том, что не увидит меня — *я погибал*⁵ — по возвращении моем из Москвы... О женщины! А вот и еще Вам жалоба на М<арию> А<лександровну>: заметивши, что мне нравится одно ее платье, она всегда надевает его в те дни, когда я у них бываю, и вообще старается всеми силами завладеть моим сердцем. Я храбро боролся, победил, но в борьбе утратил много сил, и потому, возвращаясь домой, принужден был взять извозчика, хотя прежде располагался было идти домой пешком. Всё это глупости; а дело тут в том, что мне очень приятно болтать о Вас с М<арьей> А<лександровной>. Это тем приятнее, что письмо Ваше я уже выучил наизусть, а на получение новых потерял всякую надежду. Между прочим, мы говорили с ней и о деле, т. е. пустились в разные хозяйственные соображения.***

Кстати о деле и о делах. Пора мне с Вами поговорить о них серьезно. Вы не напрасно бранили меня в письме своем за разные затей и фантазии. Я заслуживал еще большей брани. Я не раз говорил Вам и повторю теперь, что Вы умнее меня. Мой ум чисто теоретический и в теории прекрасно умеет ставить 4,

* Первоначально: посылать

** сиделку (франц.). — Ред.

*** Далее зачеркнуто: Ваш подарок

помноживши 2 на 2; в действительности я столько же глуп, сколько Вы умны, — стало быть, очень глуп. Говорю это, не шутя, ибо хочу, чтобы Вы знали меня таким, каков я есть в самом деле; скорее — хуже, нежели я есть, чем лучше, нежели я есть. Живя в Москве и плавая душою в эмпиреях,⁶ я составил в голове преглупый план, по которому мне по приезде в Питер надо было засесть за дело, чтобы кончить работу, которая, действительно, должна была принести мне значительные выгоды.⁷ Но по приезде в Питер я тотчас же увидел, что не могу ничего делать, особенно мучась тщетным ожиданием писем. Потом я сообразил, что хотя я и определял окончание моей работы к новому году, однако она могла бы и еще затянуться месяца на три, даже при усиленной деятельности. Всё это я теперь нахожу школьнически глупым. Положим, что этою работою (которой я, впрочем, не имел бы силы кончить во веки веков) я приобрел средства пошире и поудобнее устроить мою новую жизнь; но не глупо ли для пустяков и безделиц откладывать то, для чего все хлопоты об этих пустяках и безделицах, без чего я не могу ничего делать, ни о чем думать? Ясно, как $2 \times 2 = 4$, что пока Вы не со мною, и я не с Вами, — я никуда не гожусь, и жизнь мне в тягость. И потому надо думать не обо вздорах, а об деле. Пусть дело кончится расчетливо и в обрз, но лишь бы оно как можно скорее кончилось, а там всё придет своим чередом, и что будет нужно, то всегда можно будет сделать. Краевский теперь небогат деньгами, да мне слишком забираться и не следует, — то мы с ним и рассчитали всё приблизительно. Деньги я получу на днях, стало быть, самое главное препятствие устранено. Второе препятствие состоит в том, что я жду из Пензы дворянской грамоты, на что из Москвы послал 150 р. асс. и что надеюсь получить очень скоро. Между тем нашлось еще обстоятельство, о котором мне нужно сказать Вам и решение которого должно зависеть от одних Вас и несколько не от меня. Не примите этого даже за предложение с моей стороны; нет, это только вопрос, на который Вы свободны отвечать, как Вам угодно. Для самого меня он так странен, что без Вашего ответа я не умею его решить ни положительно, ни отрицательно. Дело вот в чем: все мои приятели, которым я нашел нужным открыть мою тайну, уверяют меня, что, для избежания лишних расходов, мне не надо было бы ездить в Москву, а лучше бы Вам одним приехать в Питер, где Вы могли бы остановиться на день у Краевского, у которого живет сестра его покойной жены⁸ (если бы Вы не захотели остановиться на своей собственной квартире, которая была <бы> готова к Вашему приезду). Если я несколько на стороне подобного плана, так это не по причине потери лишних денег и лишнего времени, а вот почему: может быть, Вы думаете вен-

чаться в институтской церкви, в присутствии m-me Charriot⁹ и всего института, — это для меня ужасно; потом, по патриархальным к Вам отношениям, m-me Charriot, может быть, станет смотреть на наше формальное соединение, как на свадьбу, в общем значении этого слова, и, пожалуй, предложит еще себя в посаженные матери, а Вам, может быть, нельзя будет от этого отказаться. Если это так, то мне приятнее было бы обвенчаться с Вами в Камчатке или на Алеутских островах, чем в Москве. Но, может быть, всё это в Вашей воле сделать и иначе, и тогда мои страхи уничтожаются сами собою вместе с их причиною. М<арья> А<лександровна> находит, что ехать Вам одним было бы трудно по Вашим отношениям к m-me Ch<arriot>, ибо Вы должны ей сказать, куда и зачем едете, а ей это могло бы показаться всячески неудобовыполнимым. Итак, скажите Ваше мнение просто и откровенно, и не думайте, чтобы Ваш отрицательный ответ мог сколько-нибудь быть мне не по сердцу. Для меня самого странна мысль, что Вы поедете одни, без меня, и я бог знает чего бы не надумался. Но, чтобы об этом уже не было больше помину, я договариваюсь всё; это тем нужнее, что Вы должны видеть дело со всех его сторон. В числе суммы, которую беру я у Краевского, 900 рублей следует Вам: 500 на Ваши необходимые расходы, 200 на отъезд, если бы Вы поехали одни, и 200, которые я должен Вам. Я уверен, что такое распоряжение с моей стороны не покажется Вам несколько странным или неуместным: если эти 500 рублей будут Вам нужны — тем лучше, значит, я сделал, как надо; если же они Вам будут не нужны, то Вы их и привезете с собою, и они будут все *нашими* же, а не чьими-нибудь деньгами. Что касается до первых 200 р., — они предполагаются только в случае, если Вы поедете одни, ибо в таком случае Вам надо будет взять с собою женщину, без которой Вам нельзя обойтись в дороге, — и в таком случае всего лучше, если бы эта женщина могла и остаться у Вас кухаркою и горничною. Но это только предположение, которое сообщаю Вам только для того, чтобы Вам ответить решительнее — да или нет. Вот всё, что так занимало меня и на что буду ожидать Вашего ответа со всею тоскою живейшего нетерпения. Так или сяк, но желанный день должен придти скоро — и чем скорее, тем лучше; во всяком случае не далее первой половины ноября (кажется, 14 начнется пост); мне бы хотелось в будущем месяце. Итак, отвечайте скорее, чтобы для меня был решен этот вопрос. Если я поеду в Москву, мне надо будет заранее прислать туда мои бумаги, чтобы без меня могли три воскресенья сряду окликать нас, — без чего нельзя венчаться. Если в Москве, то я думал бы в церкви шереметьевской больницы, где Грановский мог бы без меня* всё приготовить лучше, чем бы я мог

* *Далее зачеркнуто:* сделать

это сделать сам. Ради всего святого, скорее отвечайте на это письмо. Медлить нечего. Если судьба даст нам долгие счастливые дни — возьмем их; если один день — не упустим и того. Один картежный игрок, наживший игрою миллион, говорил при мне, что для каждого человека судьба дает минуту — воспользуйся он ею, не упустит ее — и всё получит; пропусти — никогда, никогда уже не представится ему благоприятная минута. Я нахожу это очень верным и думаю, что в важных делах жизни всегда надо спешить так, как будто бы от потери одной минуты* должно было всё погибнуть. Как только получу от Вас ответ на это письмо, тотчас же начну действовать.

Довольно об этом пока. Душа и рука моя утомлены. Скажу Вам в заключение, что я бросил гнусное табаконюхание. Из чужих табакерок еще нюхаю, но своей не имею, и когда случается два и три дня в глаза не видать табаку, то и не хочется. Прощайте.

Ваш В. Белинский.

Письмо это пойдет завтра, т. е. 20 сентября. Боже мой! Это уже *четвертое* письмо, а от Вас только *одно!* Есть от чего сойти с ума! И если это так продолжится, то сойду, право сойду, так-таки вот возьму, да и сойду и буду еще глупее, чем теперь.

Агриппине Васильевне желаю веселого и ясного расположения духа.

Сентября 20.

Письмо это было вчера запечатано и совсем готово к отправлению. Сегодня поутру просыпаюсь — надо вставать, а лень — потому что, вставши, надо за работу сесть, да к тому ж и холодно, а под одеялом тепло. Вдруг — слышу — звонок — не почтальон ли? Святители! Человек входит в комнату — может быть, он несет бумаги или книги от Краевского; но вдруг — слышу — он бренчит медными деньгами... Что такое? — Письмо-с. — Давай сюда. Думал было я сперва положить это письмо, не распечатывая его, пока не встану с постели, не умою лица моего и не умашу главы моей, да не явлюсь перед людьми постыженным; но — письмо как-то само и распечаталось и прочлось. Три раза уже прочел я его, а вот и теперь не могу сообразиться, что в нем и как на него отвечать. Постоите, прочту еще раз, да уж с чувством, с толком, с расстановкой.¹⁰

* Далее зачеркнуто: зависит

Не спрашиваю Вас, как показалась Вам статья моя:¹¹ судя по обстоятельствам, которыми сопровождалось ее чтение, не думаю, чтобы Вы что-нибудь заметили в ней. Бедная статья моя, а мне так хотелось услышать Ваше о ней мнение. И это отнюдь не по авторскому самолюбию — вот будущая моя статья так гадка, что из рук вон;¹² а в той, какова бы ни была она, для меня важно содержание, и о нем-то хотел бы я услышать Ваше мнение. Миловзор¹³ поклялся, видно, преследовать Вас. Я теперь понимаю, почему он приставал ко мне с своей m-Me Ostrog^(Oosthoff)¹⁴ — кажется мне теперь, что надеялся услышать от меня признание в тайне. Ах, лысый Манилов — вот я его! Что касается до издевок Агриппины Васильевны, — то сколько ей угодно; я знаю, что мы с ней друзья, и притом самые задушевные, а до остального мне нет дела. Вот ее scènes de jalousie, * — это другое дело: хотелось бы посмотреть и поаплодировать, если хорошо представляются. Я люблю сценическое искусство. Что же касается до старой, больной, бедной, дурной жены, sauvage** в обществе и не смыслящей ничего в хозяйстве, которою наказывает меня бог, — то позвольте иметь честь донести Вам, Marie, что Вы изволите говорить глупости. Я особенно благодарен Вам за эпитет *бедной*: в самом деле, Вы погубили меня своею бедностию: ведь я было располагался жениться на толстой купчихе с черными зубами и 100 000 приданого. Что касается до Вашей старости,*** я был бы от нее в совершенном отчаянии, если бы, во-1-х, мне хотелось иметь молоденькую жену, à la madame Maniloff,**** и, во-2-х, если бы я не видел и не знал людей, которые от молодости жен своих страдают так, как другие от старости.***** Из этого я заключаю, что дело ни в старости, ни в молодости, и вообще нет ничего бесполезнее, как заглядывать вперед и говорить утвердительно о том, что еще только будет, но чего еще нет. Я надеюсь, что мы будем счастливы; но решение на этот вопрос может дать не надежда, не предчувствие, не расчет, а только сама действительность. И потому пойдем вперед без оглядок и будем готовы на всё — быть человечески достойными счастья, если судьба даст нам его, и с достоинством, по-человечески нести несчастье, в котором никто из нас не будет виноват. Кто не стремится, тот и не достигает; кто не дерзает, тот и не получает. Всякое важное обстоятельство в жизни есть потеря, особенно брак; нельзя, чтобы рука не дрожала, опускаясь в таинственную урну за страшным*****

* сцены ревности (франц.). — Ред.

** нелюдимою (франц.). — Ред.

*** Далее зачеркнуто: и болезни

**** подобную г-же Маниловой (франц.). — Ред.

***** Далее зачеркнуто: Стало быть

***** Первоначально: роковым

билетом; но неужели же следует отдергивать руку потому, что она дрожит? — Вы больны, это правда; но ведь и я болен; я был бы в тягость здоровой жене, которая не знала бы по себе, что такое страдание. Нам же не в чем* будет завидовать друг другу, и мы будем понимать один другого во всем — даже и в болезнях. Как добрые друзья, будем подавать друг другу лекарства, — и они не так горьки будут нам казаться. — Впрочем, по роду Вашей болезни, Вы должны выздороветь, вышедши замуж; бывали примеры, что доктора отказывались лечить, как безнадежных, больных расстройством нерв женщин, советуя им замужество как последнее средство, — и опыт часто показывал, что доктора не ошибались в своих расчетах, ибо брачная жизнь более сообразна с натурою и назначением женщины, чем девическое состояние. Но как бы то ни было —

Будь сиянье, будь напасть,
Будь, что надобно судьбе;
Всё для жизни будет счастье,
Добрый спутник, при тебе.¹⁵

Дайте мне Вашу руку, мой добрый, милый друг — то опираясь на нее, то поддерживая ее, я готов идти по дороге моей жизни с надеждою и бодро. Я верю, что чувствовать подле своего сердца такое сердце, как Ваше, быть любимым такою душою, как Ваша, — есть не наказание, а награда выше меры и заслуги. Вы называете себя дурною и даже букою, — что ж? — я люблю Ваше дурное лицо и нахожу его прекрасным: стало быть, наказания и тут нет. Вы дики в обществе — я тоже, и тем веселее будет нам в обществе один другого. Если бы Вы были общительны и любили общество — тогда я бы действительно был наказан крепко за грехи мои. Вы ничего не знаете в хозяйстве: и не мудрено, — Вам не для чего и не от чего было узнать его, как и всем особам Вашего пола, которые не были поставлены судьбою в необходимость заниматься хозяйством. Но, как и многие, увидя себя хозяйкою, Вы поневоле сделаетесь ею.

Я, право, не понимаю, почему Вам стоило такого труда сказать мне, что Вы хотели бы, чтоб церемония была в 12 часов и чтоб уехать из Москвы в тот же день; и не понимаю, что Вы тут разумеете под Вашею кн. Марьею Алексеевной.¹⁶ На чем бы ни было основано Ваше желание, если бы даже и ни на чем, — я не вижу никакой причины не выполнить его. Может быть, это желание происходит оттого, что Вы не хотите дать собою зрелище для праздного и дикого любопытства людей, которые чужими делами занимаются больше, чем своими, — в таком

* Первоначально: нечего

случае я и сам вполне разделяю Ваше желание. К чему эти затруднительные выговаривания; будем вполне и свободно откровенны друг с другом. Этим письмом и я подаю Вам пример. Глупы мои предположения, не правятся они Вам — скажите — и об них больше ни слова. Насчет отъезда из Москвы в день венчания — дело довольно трудное. Взять особенной кареты я теперь не в состоянии — на это нужно 500 р.; стало быть, заранее надо взять места в *malle-poste* или конторе дилижансов; но в первой места берутся недели за две вперед, а из вторых только из одной конторы дилижансы ходят после обеда.*

M-*lle* Agrippine¹⁷ может говорить, что ей угодно, о Вашем первом письме; но мне оно до того кажется умным и милым, так верно отражающим в себе Вас, что я выучил его чуть не наизусть. Равным образом, хотя m-*lle* Agr<ippine> и упрекает Вас, что Ваши письма холодны, но я и в этом с нею не согласен. Я читаю в Ваших письмах не только то, что в строках написано, но что и между строками. Я так уверен в Вашей любви ко мне, что Вам нет никакой нужды писать Ваши письма иначе, нежели как они сами пишутся. Будьте самой собою, Marie, — больше я от Вас ничего не требую, потому что люблю Вас такою, каковы Вы в самом деле. А что касается до разлуки — прегадкая вещь во всяком случае и всегда, но до брака особенно, ибо ставит людей в преглупое положение, которое можно выразить словами: *ni tu ni se*. Терпеть не могу таких положений; они очаровательны для юношей и мальчиков, которые еще не выросли из стихов Жуковского и любят твердить: «Любовь ни времени, ни месту не подвластна».¹⁸ — По картам у Вас выходит всегда прекрасно. Дитя Вы, дитя! Ну да, дела мои, точно, пошли недурно; а сначала я было приуныл, ибо увидел, что в действительности не так-то легко всё делается, как в фантазии, заодно с желанием. А Вы угадали, что в тот день, как Вы писали ко мне это письмо, и я писал к Вам: последнее письмо мое пошло к Вам в среду (15), а Вы получили его в субботу (18).¹⁹ Вы пишете, что m-*lle* Agrippine только и бредит мною: что ж тут удивительного — я приписываю это моим необыкновенным достоинствам. — Я рад, что Вы видели Кудр<явцева>: я этого человека очень люблю и много уважаю.

А вы пишете, что чувствуете себя не очень здоровою и что Вам очень грустно — вот это нехорошо, и этого я больше всего боюсь. Бога ради, берегитесь. Обо мне не беспокойтесь — я живуч, как кошка, и со мной чорт ли делается. Прощайте. Пуще всего будьте здоровы. Теперь я буду в большом беспокойстве, не зная, кончилось ли Ваше нездоровье, или — сохрани

* Далее зачеркнуто: Из бумаг моих

бог — пошло вдаль. Не мучьте меня медленностию Ваших ответов: с этой стороны я и так уж порядочно измучен.

Ваш В. Б.

231. М. В. ОРЛОВОЙ

<25—29 сентября 1843 г. Петербург.>

Суббота, сентября 25.

Наконец я получил Ваше письмо, ожидание которого делало меня безумным за три дня до четверга (23) и два дня после четверга, ибо в четверг ожидал я его. Мое третье письмо¹ Вы получили в прошлую субботу (18); а как в понедельник m^{lle} Agrippine свободна от дежурства, то, благодаря ее доброте и снисходительности, Ваш ответ и мог быть послан. Я даже думал, что он не мог не быть послан; но Ваше письмо вывело меня из заблуждения и показало мне, что я был невыносимо глуп. Признаюсь в глупости и прошу Вас извинить меня за нее, а за то, что навели меня на сознание моей глупости, чувствительнейше благодарю Вас. Точно, я теперь вспомнил, что Вы говорили, что будете писать ко мне раз в две недели. Но ведь, помнится, и я тоже хотел писать к Вам только раз в неделю; но, получив Ваше письмо, не могу не ответить на него в ту же минуту, а послав его на почту, считаю дни, часы и минуты, в продолжение которых оно должно дойти до Вас. Меня занимает (я как еще — если бы Вы знали!) не одна только мысль, когда Ваше письмо обрадует меня, но и когда мое письмо обрадует Вас. Я думал, что и Вы так же точно, и моим душевным состоянием мерил состояние Вашей души. Это было глупо, как я вижу теперь. Вы обещали писать в две недели раз, теперь пишете каждую неделю, *и чаще писать не намерены*. Хвалю такую геройскую решимость и такую непоколебимую твердость характера. Я в восторге от них. Итак, теперь мне уже не от чего беспокоиться, мучиться, не получая от Вас долго письма: Вы здоровы, и мои опасения — грезы больного воображения, Вы здоровы и наслаждаетесь своим решением не писать больше одного раза в неделю. Но скажите же, отчего мне жаль моего беспокойства, моей тревоги, тоски и мучения? Отчего не радует меня мысль, что теперь Ваше молчание не означает Вашего нездоровья? Не знаю — или я слишком слаб характерен и в моем чувстве много детского, — или Вы написали ко мне Ваше третье письмо в состоянии той враждебности, которую чувствовали Вы ко мне в одну из суббот, когда мы втроем гуляли в Сокольниках. Так или этак, но только мне грустно, очень грустно. Я ждал себе сегодня светлого праздника...

Мне хочется разорвать это письмо и ни слова не говорить Вам о том, что так тяжело на меня подействовало; но меня остановила мысль, чтобы Вы знали меня таким, каков я есть. Поэтому я боюсь скрыть от Вас какое бы то ни было движение души моей.

Охотно признаюсь Вам в несправедливости моего упрека Вам за танцы и прошу Вас извинить меня за него. Что касается до меня,— в дождь по Невскому я не гулял. Я поехал обедать к Комарову (по воскресеньям я всегда езжу обедать или к Ком<арову>, или к Вержбицкому), поехал, когда не было дождя, а по дороге меня встал проливной дождь и промочил насквозь мне ноги.

М-Не Agrippine назвала меня Подколесиним. Всякий мужчина перед женитьбою есть Подколесин, только один лучше, другой хуже умеет скрывать это. Я, разумеется, всех хуже.

Что я писал к Вам письмо до 12 часов ночи,— Вы можете бранить меня за это сколько Вам угодно. Что мне делать? У меня нет Вашего благоразумия в деле переписки с Вами, и я не могу сказать себе: «буду писать тогда-то», а пишу, когда захочется писать. Вот сегодня, хотя бы я и рано лег, я не усну скоро, и потому хочу работать. Работу я запустил, ибо, не зная причины Вашего долгого молчания, всё беспокоился и тосковал, а работа не шла на ум. Я, точно, бестолков, а Вы — надо в этом отдать Вам полную справедливость — Вы очень благоразумны. Кстати о благоразумии и Татьяне — да нет, я сегодня не в состоянии рассуждать с Вами об этой прекрасной россиянке, за которую Вы так горячо заступаетесь.

Что касается до Б<откина> и его горя,— Вы не совсем так поняли всё это. Что Арм<ансе> не 30, а только 20 лет, в этом нет беды, а худо то, что они друг друга не понимают и что между ними ничего общего нет. Быть связанным с женщиною, которая меня горячо любит, которую я не могу не уважать за благородную душу и страстное сердце, но которая не знает ни того, чем я здоров, ни того, чем я болен, с которою мне не о чем слова перемолвить, с которою я молюсь не одному богу, с которою у меня нет ни одной общей симпатии, ни одного общего интереса, — о,* не чудак я буду, если скажу: зачем она дитя, зачем ей не 30 лет! Есть люди, которые любят в женщинах больше всего наивность и разные милые качества; есть другие, которые в женщине хотят видеть прежде всего человека, по образу и по подобию божью созданного: Б<откин> из таких людей.

Ваше изъяснение насчет моего друга несколько не озлобило меня, тем более, что я сам виноват в том, что Вы поняли это дело довольно в смешном виде: мне бы или совсем не следовало

* Далее зачеркнуто: тот

говорить Вам о нем ни слова, или бы надо было сказать поподробнее.

Адресы на моих письмах все без исключения писаны не мною, а Б<откины>м.

Да! скажите: может быть, Ваше твердое намерение не писать ко мне больше одного раза в неделю означает также и нежелание получать от меня больше одного письма в неделю? Уведомьте меня о Вашей воле в этом отношении. И если такова, действительно, Вапа воля, то, как ни больно мне это, а я постараюсь ее выполнить.

Какие ночи, боже мой! какие ночи! Моя зала облита фантастическим серебряным светом луны. Не могу смотреть на луну без увлечения: она так часто сопровождала меня в то прекрасное время, когда, бывало, возвращался я из Сокольников. Но теперь, в эту минуту, мне не весело смотреть и на чудную ночь. Прощайте, Marie, жму и целую Вашу руку и прошу ее написать ко мне хотя одно ласковое слово — оно утешило бы меня. — Почему-то мне захотелось перечесть Ваше второе письмо — оно доставило мне столько счастья.

Среда 29.

Долго не имел я духу ни перечесть своего письма, ни отослать его к Вам. А всё потому, что боялся или огорчить и обеспокоить Вас долгим молчанием, или показаться Вам смешным, придавая важное значение тому, что в глазах Ваших, может быть, очень обыкновенно и мелко. О, тысячу раз простите меня, если я был глуп и понял Ваше письмо не так, как должно было понять его!* Во всяком случае, я был бы рад и счастлив, если бы это мое письмо не огорчило Вас.

Всё это время я был не в духе и не совсем здоров. Я слишком impressionnable,** и душевное состояние мое так же сильно действует на здоровье, как и здоровье на душу. Теперь мне как будто лучше, и для того, чтобы мне было совершенно хорошо, недостает только нескольких дружественных строк, написанных Вашею рукою. О, тогда я снова буду счастлив и снова буду жить и дышать ожиданием Ваших писем.

Ответ на мое последнее письмо² надеюсь получить послезавтра (в пятницу, 1 октября), думая, что он отослан во вторник. Не знаю, обманет ли меня моя надежда.

Вчера только отделался я от 10 книжки «Отечественных записок».³ Мбчи нет, как устал и душою и телом; правая рука одеревенела и ломит.

Прощайте.

Ваш В. Белинский.

* Далее зачеркнуто: По крайней мере

** впечатлительен (франц.). — Ред.

Любезный Дмитрий, писал я к тебе недели две назад о том, чтобы ты написал к Петру Петровичу, *когда* будет готова грамота, и уведомил бы меня об этом.¹ Но ты ни слова. Бога самого ради — ответь мне, если не хочешь обидеть меня насмерть. Дело важное и отсрочки не терпит. Если ты не написал по следующей почте к П<етру> П<етровичу>, то напиши по следующей же почте: что-де заклинаю всем святым поторопиться насчет грамоты, и если в грамоте не будет выражения сыну покойного штаб-лекаря и пр., то прислали бы мне свидетельство о смерти отца моего. Друг Дмитрий, если не хочешь поступить со мной, как с врагом, то пошли мне ответ в четверг же, что вот-де я вчера послал письмо к отцу и т. д. Пожалуйста. Не заставь меня мучиться.²

Твой В. Белинский.

233. М. В. ОРЛОВОЙ

СПб. 1843, октября 1.

Ваше письмо доконало меня во всех отношениях. Вы ждете моего ответа, чтобы сообразно с ним распорядиться. Само собою разумеется, что я поступлю так, как Вы хотите, как ни страшно тяжело это для меня. Vous êtes esclave* и прекрасная россиянка — не в обиду Вам будь сказано. И это мне горше всего. Конечно, сбережение денег — вещь важная, и что я истрачу на проезд, всё это могло бы быть употреблено с большею пользою; но деньги не могут еще быть крайним препятствием. Гораздо важнее для меня потеря времени, ибо я нужен Краевскому, и он довольно уже терпел отлучки и помеху работе. Но что всего хуже, всего ужаснее, — это покориться обычаям шутовским и подлым, профанирующим святость отношений, в которые мы готовы вступить с Вами, обычаям, которые я презираю и ненавижу по принципу и по натуре моей. У дядюшки обед! Будь прокляты все обеды, все дядюшки, все тетушки и все чиновники с их гнусными обычаями. Если бы Вы приехали в Петербург, — тихо, просто, *человечески* обвенчались бы мы с Вами в церкви какого-нибудь учебного заведения, и присутствовали бы тут человек пять (никак не более) моих друзей да одна из жен моих друзей, с которою могли бы Вы приехать в церковь, если бы, в качестве прекрасной россиянки, нашли бы неловким приехать туда со мной. Я смотрю на этот обряд, как на необхо-

* Вы — рабыня (франц.). — Ред.

димый *юридически* акт, и чем проще он совершится, тем лучше. Б<откин> взял Арм<ансе> под руку, да и пошел с нею по Невскому в Казанский собор, в сопровождении пяти* приятелей — так и воротился, словно с прогулки. Вы могли бы остановиться у меня, ибо что Вам за дело до того, что об Вас станут говорить люди, которых Вы не знаете и никогда не узнаете; а те, которых Вы будете знать, будут на это смотреть, как я. Знаете ли что? Я должен теперь лгать перед моими друзьями, ибо я никогда не решусь сказать им о Ваших мотивах и той шутовской процедуре, которую должен я буду пройти в Москве. Они не поверят, что слышат это от Белинского.** Причины Ваши все недостаточны и ложны. M-me Charpiot¹ Вы легко могли бы приготовить, могли бы уверить ее, что мои дела не позволяют мне ни на день отлучиться из Петербурга, что через это я потеряю место, которым существую, и что Вы, с своей стороны, находите смешным отказываться от того, что считаете своим счастьем, для глупых условных приличий. Кстати замечу, что в Питере ни один человек не поймет, в чем тут неприличие, ибо в Петербурге правы ближе к Европе и человечности, — не то, что в Москве, этом *égout*,*** наполненном дядюшками и тетушками, этими подонками, этим отстоем, этою изгарью татарской цивилизации. При венчании будут — пишете Вы — всего человек *двадцать* да с моей стороны человек 10 или 15; да зачем и где наберу я такую орду? У меня всё такие знакомые, для которых подобное зрелище нисколько не интересно. Будут, может быть, человека три. Вы даже убеждены, что если бы мы, обвенчавшись, не уехали в тот же день — то были бы должны делать и отдавать визиты, — *иначе подпадем анафеме*; ах, Marie, Marie, да что же Вам за дело до всех этих анафем? Неужели Вам мало любви и уважения человека, которого Вы избрали в спутники Вашей жизни, уважения и приязни всех тех, которых *он* уважает и любит, — а Вы хотите еще знать, что об Вас говорят люди, с которыми у Вас нет ничего общего, которым до Вас так же, как и Вам до них, нет дела?.. Приятели, которые дали мне совет предложить Вам ехать одной в Питер, живут в действительности, а не в эмпирее — они люди женатые и отцы семейств, прозу жизни знают хорошо, но они не москвичи, не татары и не калмыки, а петербургские жители. Когда я, по какому<-то> грустному предчувствию, принял их совет нерешительно, они начали надо мною смеяться и бранить меня, говоря утвердительно, что с Вашей стороны препятствия быть не может, и думая видеть его с моей.

* Первоначально: трех

** Далее зачеркнуто: Но делать нечего. По крайней мере

*** сточной яме (франц.).— Ред.

Да что об этом говорить! Если Вы меня знаете и понимаете, то поймете, что во мне говорит это не *Подколесин*, а *человек* (я слово *человек* употребляю как антитеза *москвичу*). Не скрою от Вас и того, что мне горько видеть в Вашей воле те самые предрассудки, которых Вы выше умом Вашим. Я думал, что мое предложение обрадует Вас, как простое средство избавиться от необходимости делать из себя спектакль, и что Вы ухватитесь за него со всею силою Вашего характера и Вашей воли, уступчивых в пустяках (как Вы мне говорили), но твердых и настойчивых в важных делах. Но — быть так; я приеду, и умоляю Вас только вот о чем: венчаться в приходе Нового Пимена (это важно потому, что можно избежать повестки) и часа в 4, чтобы из церкви же ехать в контору дилижансов (есть одна, где дилижансы отходят в 6 часов вечера).

Упрек Ваш в болтовне несправедлив. Что я женюсь, — это знает только семейство Корш, и то не знает, на ком. Щепкиным я не только ничего не говорил, но боялся, чтобы они не узнали, почему я редко у них бываю. Откуда вышла сплетня, не знаю. Но, видно, Москва носом слышит повости. Очень жалею о страданиях m-lle Agrippine, но не я виноват в них.

К счастью, Ваше письмо получил я сегодня очень рано (в 10 часов) и потому сегодня же могу и отвечать Вам. Мой ответ должен быть у Вас в руках в понедельник (3). Бога ради, отвечайте поскорее.*

Что касается до моей статьи, то взгляды мои в ней Вы разделяете только *теоретически*:² Ваше письмо доказывает, что на *практике* мы разное понимаем вещи. Прощайте. Не сердитесь на меня за сердитые фразы: надо же мне дать волю высказать тяжесть души, — после этого я буду смирен, как теленок, и буду мычать у Ваших дядюшек и тетушек.

Ваш В. Белинский.

234. М. В. ОРЛОВОЙ

Суббота, 2 октября 1843. СПб.

Я никого не люблю огорчать ни умышленно, ни неумышленно, и, когда мне случится это сделать или так, или этак я страдаю больше тех, которых огорчил. Тем мучительнее для меня мысль, что, может быть, я огорчил Вас вот уже двумя письмами, от которых Вы ожидали только удовольствий и радости. Вот причина этого нового письма, которое будет для Вас совсем неожиданно. Давеча** поутру (это письмо пишется

* *Далее зачеркнуто*: А теперь — отчего всё это время бываю

** *Первоначально*: Вчера

в пятницу же, ночью) я был слишком расстроен и потрясен Вашим письмом, и потому не мог отвечать на него спокойнее и кротче, как бы следовало. Теперь я спокойнее и хочу* поговорить с Вами всё о том же, только хладнокровнее и рассудительнее. Когда я писал Вам насчет Вашего приезда в Петербург, я делал это в вопросительном тоне, из которого Вы могли видеть, что я готов последовать не моему, но Вашему решению касательно этого предмета. Я тут несколько не хитрил, ибо единственную причину, которая могла бы остановить Вас, полагал боязнь ехать одной и подвергнуться, может быть, каким-нибудь неприятным случайностям в дороге, не имея при себе мужчины. Хотя подобных случайностей на дороге между Москвою и Петербургом не бывает и хотя по этой дороге поездка теперь сделалась очень обыкновенною, удобною и безопасною, но, кого любишь, за того боишься всего, и меня самого пугала мысль, что Вы поедете без меня; а потому, в случае Вашего несогласия, я спокойно располагался приехать сам в М(оскву). Я не думал ни о дядюшках и тетюшках, ни о m-me Charriot (если и думал о последней, то предположительно только), ни об официальном обеде, с шампанским и поздравлениями, с идиотскими улыбками и, может быть, — о, infamie!** — с чиновническими шутками и любезностями. В этой поистине пленительной картине недостает только свахи, смотра, сговора, девшичника с свадебными песнями... Кажется, что — и при этой мысли ужас проникает холодом до костей моих — в посаженном отце и посаженной матери недостатка не будет, и нас с Вами встретят с образом, и мы будем кланяться в ноги. Знаете ли что? — мне больно не одно то, что Вы осуждаете меня на эту позорную пытку, но то, что Вы обнаруживаете столько *résignation**** в этом случае в отношении к самой себе. Это для меня всего тяжелее. Вы даже не хотите понять причины моего ужаса и отвращения к этим позорным церемониям и приписываете это трусости Подколесина. Во мне так много недостатков, что уже ради одной их многочисленности не следует мне приписывать несуществующих во мне. Подколесин трусит мысли, что вот-де всё был не женат, и вдруг женат. Я понимаю такую мысль, но она не может же меня испугать до того, чтобы я хотя на секунду, в уединенной беседе с самим собою, пожалел о моем решении жениться. В таком случае я чувствовал бы себя недостойным Вас и стал бы сам себя презирать. Такая мысль (т. е. подколесинский страх женатого состояния) может меня беспокоить как необходимость выехать в собра-

* Далее зачеркнуто: хладнокровно

** позор (франц.). — Ред.

*** покорности судьбе (франц.). — Ред.

ние или пройти по улице в мундире, но не больше. Подколенник пугается не церемоний и неприличных приличий — напротив, он не понимает возможности брака без них, и без них пропал бы от ужаса при мысли, что об этом говорят. Из окна я не выброшусь, но не ручаюсь, что накануне венчанья не проснусь с сильною проседею на голове и что в эту ночь не переживу длинного, длинного времени тяжелой внутренней тревоги. И пиша эти строки, я глубоко скорблю и глубоко страдаю от мысли, что Вы не поймете моего отвращения к позорным приличиям и шутовским церемониям. Для меня противны слова: *невеста, жена, жених, муж*. Я хотел бы видеть в Вас *ma bien-aimée, amie de ma vie, ma Eugénie*.^{*1} В церемонии венчанья я вижу необходимость чисто юридического смысла. По моему *кровному* убеждению, союз брачный должен быть чужд всякой публичности, это дело касается только двоих — больше никого. Вы боитесь *scandale*, анафемы и толков — этого я просто не понимаю, ибо я давно позволил безнаказанно проклинать меня и говорить обо мне всё, что угодно, тем, с которыми я на всю жизнь *расплеваюсь*. *Таковые* для меня не существуют. У меня есть свой круг и свое общество, состоящее всё из людей, женившихся совсем не по-русски. Вы пишете, что теперь поняли всю дикость нашего общества и пр. Знаете ли, что ведь Ваши слова — не более как слова, слова и слова?² Ибо они не оправдываются делом. Общество улучшается через благороднейших своих представителей, и ведь кому-нибудь надо же начинать. Вы похожи на раба-отпущенника, который хотя и знает, что его бывший барин уже не имеет никакой над ним власти, но всё по старой привычке почтительно спимает перед ним шапку и робко потупляет перед ним глаза. Мне кажется, что разум дан человеку для того, чтобы он разумно жил, а не для того только, чтобы он видел, что неразумно живет.

Из всех изложенных Вами причин невозможности ехать Вам в Питер я нахожу резонною только одну: неприятные отношения, в которые станет А<графена> В<асильевна> к своим родственникам. Я согласен, что, в этом отношении, не должно дразнить гусей; но должно сделать так, чтобы Вы настояли всё-таки на своем, а гусей не раздражили. Для этого есть очень простое средство: попросите у дядюшки (смиренно и интимно) совета в деле, на исполнение которого Вы и без него решились твердо. Может быть, он и поспорит, но потом непременно согласится, если поведете дело искусно и сумеете поладить с его самолюбием. Судя по Вашим же о нем рассказам, он человек не глупый и поймет, что смешно же Вам из уважения к разным,

* мою возлюбленную, друга жизни моей, мою Евгению (франц.).—
Ред.

хотя бы и важным, аппаратансам,³ отказываться от того, что и по его мнению должно составить счастие Вашей жизни. А я прилагаю Вам при сем (на всякий случай) официальное письмо к Вам, которое Вы можете показать ему. Если он согласится, то и тетенька (о милое слово!) тоже согласится. Сперва им будет это дико, но дня через три, привыкнув к этой мысли, они найдут ее очень естественною. Так же точно Вы можете поступить и с m-me Charriot. И по русской пословице — и овцы будут целы, и волки будут сыты. Потом изредка письма из Питера к m-me Ch<arriot> и к родственникам, — и m-lle Agrippine будет в лучших отношениях и с тою и с другими.

Повторяю Вам, я поступлю так, как решите Вы в ответе на это письмо (которым не медлите ни минуты, ибо время становится дорого); хотя, кроме сказанного мною об ужасе и отвращении, какое внушает мне одна мысль об ожидающих меня в Москве мешанских (bourgeois) проделках, есть и еще весьма неприятное обстоятельство: Краевскому крайне неприятна мысль о моем отъезде, и, несмотря на все мои доводы, он не видит достаточной для нее причины. И потому мне теперь надо страшно работать, чтобы статьи последних №№ успели ко времени и были хороши. Однако ж всё это я употреблю все мои силы преодолеть. Но, несмотря на то, умоляю Вас, Marie, — заставьте за себя вечно молиться богу и не обидьте сироту круглого — ведь ни батюшки, ни матушки, ни роду-племени, — попытайтесь устроить дело, как я Вам говорю. На коленах умоляю Вас. Если не удастся — ну, делать нечего — двух смертей не будет, одной не миновать.

Мне кажется, что Вас тут, кроме других причин, страшит мысль ехать одной. О дороге ни слова — это вздор. Возьмите место в карете malle-poste и выберите день, когда соседнее с Вами место занято будет дамою же. Если бы — чего да избавит бог — Вы заболели дорогою, то на всякой станции найдете Вы особую комнату и прислугу и можете послать ко мне письмо с своим же кондуктором, который, в надежде получить от меня шелковый, сейчас же доставит его мне, и я явлюсь к Вам немедленно. Если же Вас страшит мысль не ехать, а приехать одной в Питер, — то надо, чтобы Вы считали меня за Ивана Александровича Хлестакова, который в одно прекрасное утро хлоп перед Вами на колена, да и закричал: «Руки прошу, Марья Антоновна!»,⁴ а потом, как Вы приехали... да нет, у меня не достаёт духу кончить фразу, — и я прошу у Вас прощенья в пелепом предположении.*

Касательно причин, которые можете Вы представить m-me Charriot и дядюшке, я уже писал Вам в письме, полученном

* Далее зачеркнуто: Октября 2. Вы не простужались

Вами вчера. Вы нисколько не будете лгать, если скажете, что я не могу отлучиться из Петербурга по причине моих занятий. Вам придется только прикрасить эту истину, сказав, что я, в случае поездки, лишусь места при журнале, которое дает мне 6000 р. асс. в год и которое отдастся другому. Неужели такого довода мало для этих людей?

Октября 2.

Еще слово о приятелях, давших мне совет предложить Вам ехать одной в Петербург. Это Комаров, пять лет женатый, Краевский, уже два года вдовый, и Вержбицкий, двенадцать лет женатый. Вы, может быть, насмешливо улыбнетесь при этом исчислении лет женатой жизни, но я говорю дело, и Вы согласитесь со мною, что женатая жизнь не дает человеку жить в эмпирее в том смысле, какой Вы даете этому слову. Дело здесь в том, что в Петербурге, если бы о Вашем приезде дано было знать целому городу, никто бы не нашел этого странным, а все нашли бы это очень естественным и обыкновенным. Петербург столетием обогнал Москву и на 700 верст ближе ее к Европе. В Питере люди заняты, живут работою и знают, что такое время. Поэтому в Петербурге приезды невест к женихам (какие гнусные термины) не редки и обыкновенны. Калмыцкий принцип родства в Петербурге очень слаб в сравнении с Москвою. В Петербурге никому нет дела до других, потому что много своих хлопот. Там брат по году не видит брата, не будучи в ссоре. Москве больше нечего делать, как жрать и сплетничать. Разумеется, для нее позевать на свадьбу — великая радость; да какая же радость лишить ее этой радости! Неужели Вы не понимаете этого? Неужели, сказавши: «Je suis esclave, esclave par-dessus les oreilles»,* Вы этим и утешились, решившись навсегда остаться при этом? Я ловлю Вас на этом слове, — и как я ненавижу ложь и скрытность с теми, кого люблю, то скажу Вам прямо, что не верю, будто положение А<графены> В<асильевны> заставляет Вас так действовать: нет, причина этому — *Votre esclavage*,** Ваша московская боязнь того, что скажут о Вас люди, которых Вы в душе презираете и не любите, но перед мнением которых Вы ползаете. Это стыдно и грех. Это преступление перед богом и перед совестью. Скажу более: это низко и недостойно Вас. Если бы Вы, в понятиях Ваших, шли в уровень с толпою — тогда другое бы дело.

* «Я рабыня, рабыня по уши» (франц.). — *Ред.*

** Ваше рабство (франц.). — *Ред.*

И при этом Вы себя жестоко обманываете. Вы думаете, оставаясь в Москве, избрать из двух зол меньшее,—а я убежден в том, что вблизи, когда будет то, что теперь еще вдалеке, Вы горько раскаетесь, что не последовали моему совету. Вас измучает вмешательство этих людей, которым столько дела до других, Вас убьет пошлость и тривиальность этих проделок. Вы увидите, что их больше, чем Вы предвидели, что они гнуснее, чем Вы воображали. Что до меня, моя фигура в одно и то же время и жалкая и свирепая, и шутовская и звериная (ибо я не умею притворяться, да и не имею в этом нужды, не будучи рабом мнения подлой, презираемой мною толпы) вызовет толки, горькие для Вас. Скажут, пожалуй, что я женюсь на Вас потому только, что уж сказал слово, и что поэтому мое венчанье походило на похороны. А такого рода толки таковы, что возмущают мою душу заранее, при всем моем презрении к мнению толпы, ибо эти толки оскорбляют не меня, а Вас,—а я многое в состоянии перенести, кроме того, что бы могло бросить на Вас какую-либо тень и так или сяк оскорбить Вас. С некоторого времени я научился молиться, и моя молитва такого содержания:

A vous le calme — à moi l'orage.*⁵

Итак, Вы будете страдать вдвойне — и за себя и за меня. Приезжайте Вы в Петербург одни — ничего этого не будет. Люди, которые будут присутствовать при церемонии, Вам совершенно чужды, и тем лучше для Вас; они расположены к Вам хорошо и уважают Вас заранее и высокого о Вас мнения уже по тому одному, что Вы (это не мои, а их собственные слова) могли понять меня. Они уже расположены заранее мерять Ваши достоинства не масштабом толпы, ибо они знают, что мне нужно и что меня может сделать счастливым. И потому, будучи среди чужих, Вы больше будете среди своих и родных, чем в Москве. Если Ваша княгиня Марья Алексеевна⁶ запретит Вам остановиться прямо у меня, т. е. у самой себя, то можете остановиться у Краевского (у которого живет девушка, сестра покойной жены его), у Панаева (это в одном доме со мною), у Языкова, у Комарова — у кого хотите; все они радехоньки и наперерыв мне предлагают. Жена Языкова⁷ очень дика, и так как я не смущал ее разговорами, пока она не привыкла ко мне, то она меня очень полюбила. Муж ее знает нашу тайну, и я позволил ему сказать это его жене. Она ему изъявила свое желание, чтобы Вы остановились у нее, и сказала при этом, что она, еще не видя Вас, уже любит Вас за то, что Вы моя невеста. Если же Вам покажется неловко и тяжело явиться со мною в чужой

* Вам покой — мне буря. (Франц.)— Ред.

для Вас дом и к чужим для Вас людям (что я понимаю и против чего спорить не буду), — и это дело поправимое: Вы можете остановиться в одной из лучших гостиниц Петербурга — ведь это будет стоить всего каких-нибудь 25 р. асс. со всеми издержками, потому что это на одни сутки, ибо на другой же день и венчаться. Можно бы, пожалуй, и в тот же (т. е. в день приезда), да с дороги надо же Вам отдохнуть и оправиться. Вы меня уведомите, на какое число Вы взяли место, я жду Вас в день приезда в конторе malle-poste или дилижансов. Не будет у нас ни обеда, ни дядюшек с тетушками, воротимся мы с Вами из церкви одни. Незаметно пройдет несколько дней, и мы привыкнем к нашей новой жизни, и всё делается обыкновенным, без оскорбляющих человеческое достоинство сцен и спектаклей.

Marie, — еще раз прошу и заклинаю Вас всем святым для Вас в жизни — да идет мимо меня чаша сия! Не дайте погибнуть мне во цвете лет и красоты. Мне особенно жаль последней, т. е. моей красоты, ибо я буду очень некрасив всё время моего плачевного пребывания в Москве. Если же нельзя иначе — что делать! В таком случае я, конечно, не имею нужды уверять Вас, что будет по-вашему, а не по-моему.

Вы были больны, бедный друг мой, больны без простуды; это меня больше потревожило, нежели сколько потревожило бы, если бы Вы простудились. Когда к пиявкам прибегают без простуды, ушиба или другого случая, это должно быть очень невесело. А Вы всё толкуете о моем здоровье — как будто не знаете, что чорт ли мне делается. Вы пишете, что не можете тотчас же отвечать на мои письма потому, что у Вас дрожит рука; зачем же Вы, злая Marie, не сказали этого раньше и через то заставили меня написать к Вам преглуное и прегрубое письмо, которое Вы получили сегодня (2 октября, суббота)? Зачем Вы в Вашем третьем письме приняли такой холодный и высокомерный тон, как будто Вам лень и смотреть на нас, *pous autres, pauvres diables*?* Затем, что Вы женщина и не можете не быть верны своей женской натуре? Да от этого мне-то не легче, потому что если Вы кошка (виноват: все женщины более или менее кошки), то я медведь или наипаче бульдог и не умею проникать в ** капризы и противоречия женского сердца. Дело прошлое, а письмо Ваше тяжело подействовало на мою медвежью натуру. Если мое причинило Вам хоть минуту грусти, то будь я проклят за это и да разорвут меня на куски дядюшки и тетушки всего мира. Мир, Marie, — дайте мне Вашу руку, которой в эту минуту я как будто чувств-

* нас, бедных дьяволов (франц.). — Ред.

** Далее зачеркнуто: женские

вую обаятельное прикосновение — дайте мне крепко, крепко пожать ее и прижать к моим горящим устам, чтобы упала на нее накипающая на глаза слеза. Вижу в эту минуту Вас перед собою, смотрю в Ваши глаза и тону в глубине Вашего полного любви взгляда. Ах, Marie, Marie, Вы, которая так умеете понимать, чувствовать и любить — Вам ли быть рабою мнений дикой толпы? Вам ли иметь так мало силы характера и воли и дрожать призраков и теней, которыми пугают только глупцов? О нет, я уверен, что это только непривычка к новым мыслям, исполнение которых на деле требуется так безотлагательно, — не больше; я уверен, что теперь внутри Вас раздастся за меня сильный голос и что Вы выйдете из этой борьбы победительницею. Вам бог дал высокий рост — зачем же приседать, горбиться и сгибаться? Вам бог дал столько ума — зачем же ему ограничиться одною теориею и не перейти в жизнь, дабы самым делом служить господу и хвалить его? Вашу руку, Marie, Вашу руку — мне дал Вас бог, и потому я хочу, чтобы Вы были моею не только перед людьми и светом, но и перед богом; а это возможно только тогда, когда Вы и чувством, и словом, и делом вместе со мною станете перед ним на колена. Отвечайте мне скорее и не забывайте, что всё-таки, если надо будет мне приехать в Москву, я приеду.

Ваш В. Белинский.

235. М. В. ОРЛОВОЙ

<2 октября 1843 г. Петербург.>

Милостивая государыня

Мария Васильевна!

Мне очень прискорбно, что я должен огорчить Вас этим письмом; но Вы, конечно, поверите мне, если я скажу Вам, что мне самому это очень тяжело. Дела мои приняли такой оборот, что мне ни на единую неделю невозможно оторваться от журнала и отлучиться из Петербурга. Причина этому та, что я и так целое лето прожил в Москве, почти ничего не делая для «Отечественных записок». Но летние месяцы еще не так важны для журнала; теперь настала для него самая важная пора: от ноября до мая продолжится подписка, и книжки за эти месяцы должны быть одна другой лучше. Отложить наше дело до лета — одна мысль о такой отсрочке приводит меня в ужас и тоску; но сверх того, будущим летом мне еще больше нельзя будет выехать из Петербурга ни даже на три дня, потому что Краевский в мае месяце едет через Москву (где

остановится на некоторое время для свидания с матерью) в Крым и проездит почти до октября, а на это время мне поручает свой журнал. Вы не знаете, что такое журнал: от него ни на минуту нельзя отойти. А между тем, я, как Вам известно, существую журнальною работою; если я против воли Краевского выеду из Петербурга и тем поставлю его в затруднительное положение, это будет знаком, что я не хочу больше работать в его журнале, а он имеет право пригласить на мое место другого сотрудника. В таком ужасном для меня положении я беру на себя смелость сделать Вам предложение, мысль о котором подал мне Краевский и которое Вам, надеюсь, не покажется странным или неуместным, как вызванное обстоятельствами и необходимостью. Это — приехать Вам в Петербург одной, с тем чтобы на другой же день была церемония. А остановиться на одни сутки можете Вы у известной Вам Марьи Александровны Комаровой, урожденной Деметьевой, бывшей Вашей воспитанницы, которая через меня усердно Вас об этом просит, равно как и муж ее, Александр Александрович Комаров, с которым мы большие приятели. Я смею надеяться, что подобное предложение не будет Вами отринуто и что вынужденное обстоятельствами, а не моею прихотью, минование некоторых установленных приличием и необходимых обыкновений Вы не сочтете достаточной причиною лишить меня счастья, которое так давно было моею сладчайшею мечтою. Мне самому очень прискорбно, что священный обряд нашего соединения не будет почтен драгоценным присутствием Ваших почтенных родственников и столь мною уважаемой и любимой Вами начальницы Вашей *madame Charriot*, к которой Вас привязывает и чувство признательности и благородный ее характер; но что ж делать? Я смею думать, что как Ваши почтенные родственники, так и Ваша достойная начальница *madame Charriot* найдут мои резоны основательными и не посоветуют Вам сделать навсегда несчастным человека, которого чувства к Вам нашли отзыв в Вашем сердце, — потому только, что он не может выполнить некоторых весьма справедливых и уважительных требований приличия, но выполнение которых — обстоятельства делают для него решительно невозможным. Впрочем, в Петербурге, где все заняты должностями и каждый дорожит даже и одним днем, между людьми небогатыми такие примеры не редки, и никто не находит их странными и удивительными.

С волнением и трепетом ожидая Вашего ответа, от которого так многое будет зависеть для меня в жизни, и прося Вас передать мое почтение сестрице вашей Аграфене Васильевне, остаюсь навсегда преданный Вам беззаветно

Ваш В. Белицкий.

СПб. 1843. Октября 2 дня.

〈3—4 октября 1843 г. Петербург.〉

СПб. 1843, октября 3.

Не удивляйтесь моим частым письмам: Вы должны предполагать, в каком состоянии нахожусь я теперь; каково бы ни было Ваше — мое не лучше. Я осажден, подавлен одною и тою же мыслию. Много писал я Вам о ней, и всё еще остается что сказать. Сегодня поутру был я у Кр<аевского> и имел с ним продолжительный разговор, а потом целый день всё думал и передумывал, будучи у Комарова, где обедал. Дело ясное, что поездка моя в Москву жестоко расстроила бы дела «Отечественных записок», ибо в случае ее одна книжка необходимо должна остаться без моей статьи. Венчанье в Петербурге взяло бы у меня два-три дня — не больше; поездка в Москву отнимет *восемь* дней только на проезд взад и вперед, меньше недели нет никакой возможности остаться в Москве — итого 15 дней, да перед отъездом дня два или три какая уж работа, да по приезде дня два-три — тоже — итого 21 день!! Стало быть, о статье нечего и думать; а Кр<аевский> не хочет и думать, чтобы не было статьи. Конечно, я не стану Вас обманывать, уверяя, что это дело не могло бы уладиться, хотя с натяжкой; но согласитесь, что же мне за радость портить мои отношения к человеку, от которого зависит теперь мое благосостояние, от которого я, кроме хорошего и доброго, ничего не видал, который принял в моем деле самое искреннее и гуманное участие и которого требования от меня совершенно справедливы? Зачем же его интересы должны страдать от моих, особенно когда есть средства устроить дело к обоюдному удовольствию? Справедливо ли это? Здесь напомним Вам одну фразу из Вашего письма: «Думая о себе, должно ли забывать других?» Конечно, Кр<аевский> слишком ценит меня и дорожит мною, чтобы решился разойтись со мною в случае моего отъезда против его воли (в этом случае справедливой и законной); но он тогда будет иметь полное право стать со мною на холодно-вежливые отношения, а это, кроме* всего другого, сильно повредит моим интересам, о которых я теперь уже обязан думать и пешихсь. Теперь еще другое: уж коли дело пошло на выполнение китайских и монгольских обычаев, то смешно же было бы, исполняя** одни из них, презирать другие.*** Ведь я приеду в Москву за тем, чтобы сперва разыграть интересную роль *жениха*, а потом не менее интересную роль *молодого* (что за милые

* *Далее зачеркнуто:* того, что** *Первоначально:* презирая*** *Далее зачеркнуто:* Это повиди<мому>

термины!); это, повидимому, пустое обстоятельство обязывает меня, кроме траты на проезд и житье в Москве, истратить еще не мало денег на фрак, белый жилет, белый галстук, словом, на костюм, приличный обстоятельству. По приезде в Петербург вся эта дрянь мне будет не нужна, потому что мне никогда не придется надевать ее на себя. У меня есть фрак, который шит назад тому *три* года и давно уже страшно вышел из моды (Вы видели меня в нем в мою зимнюю поездку в Москву), и что же? несмотря на свою старость, он новехонек, как будто вчера шит, ибо я не надевал его и 10 раз. В Петербурге я и его надел бы, на случай церемонии, только для того, чтобы не смутить Вашего взгляда на эти вещи; что же касается до меня собственно, я знал бы, что наш брак был бы равно действителен перед гражданским законом — во ффраке или сюртуке венчался я. Если мы будем венчаться в Петербурге, на мне, сверх* обыкновенного ежедневного моего костюма, будет только один фрак, и тот старомодный, галстук черный; а жилет пестрый; не куплю даже белых перчаток — не из экономии, а так, по некоторому мне известному чувству. Да и перед кем же мне было бы рядиться; ведь родственника ни одного — всё друзья, всё люди, одинаково со мною думающие и чувствующие, и однако ж живущие совсем не в эмпирее, а на бедной нашей земле, под серым и дождливым небом Петербурга. Кстати о Петербурге. В нем есть по крайней мере 50 кругов, или обществ (*sociétés*), во всем резко отличающихся друг от друга. Каждый индивидуум в Петербурге соотнобщается с мнением и обычаями *своего* круга, не обращая внимания даже на существование других. Мои приятели принадлежат к кругу, подобного которому в Москве ничего нет. Вот это-то Вас и сбивает с толку. Вы, кажется, смотрите на моих приятелей, как на фантазеров и мечтателей, которые бранят толпу и не знают жизни. Ошибаетесь. Правда, все они немного чудаки (ибо умные среди дураков всегда странны), но женаты, а женатая жизнь** всякого сведет с эмпиреи на землю, как всякая действительная жизнь. Поженились они все немного странно: Комаров через три дня после того, как в первый раз увидел свою М<арью> А<лександровну>; женитьба Краевского была сюрпризом для всех его знакомых, из которых самые близкие к нему узнали через три дня после того, как он уже женился (и не было ни стола, ни бала); Вержбицкий женился, будучи мальчиком 22 лет, на девочке моложе двадцати лет, существуя *шестьюстами* <рублей> в год жалованья (теперь у него доходу около 40 000 — говорю Вам это для того, чтобы показать Вам, что в эмпирее

* Первоначально: против

** Далее *зачеркнуто*: говорят

не бывает таких доходов). Комаров получает страшными, усиленными трудами учительства 12 000 в год, для чего дает ежедневно до десяти уроков — тоже не эмпирейский человек. Поверьте, это не мечтатели и люди совсем не пылкие, менее всего фантазеры, — что, однако же, не мешает им быть прекраснейшими людьми во всех отношениях. Но что они люди известного круга, — это правда, и совет, данный ими мне, не удивит никого из людей этого круга. К этому я должен еще прибавить, что их совет основывался также и на уважении к моему выбору и на высоком мнении о Вас.

Октября 4, понедельник.

До сих пор не могу опомниться от Вашего письма — так неожиданно было для меня его содержание. Когда, в Москве, говорил я Вам о моем приезде, — у меня и мысли не было о *ma Chariot*, которой, по моему мнению, не было никакого дела и интереса до нашего дела и интереса; о дядюшке с тетушкой думал я, — может быть, захотят быть при церемонии — и этим всё и кончится. Присутствие 20 особ и парадного стола после церемонии мне и в голову не входило, ибо я думал, что Вы скорее согласитесь сто раз умереть, чем добровольно подвергнуться унижению и позору китайских и тибетских обычаев. Я так в этом случае был уверен в Вас, что не хотел и говорить об этом. Я робок и дик в обществе и с незнакомыми людьми. Но в обществе порядочном я менее дик, а иногда бываю даже разговорчив и смел; в обществе, каково то, и к которому принадлежат Ваши родственники, я теряюсь и уничтожаюсь, даже нечаянно попавши в него; а играть в нем роль, и притом еще такую, слушать поздравления, сопровождаемые то идиотскими, то злыми улыбками, слушать любезности и лакейские экивоки (что неизбежно, если тут будет, например, тот милый Ваш родственник, в котором Любовь¹ видит идеал светской любезности), — это не только наяву, но и во сне страшно увидеть — можно проснуться с седыми волосами. К этой пленительной картине недостает только встречи нас с хлебом и солью (впрочем, это-то, вероятно, будет), да еще того, чтобы члены честнова компанства (т. е. гости), прихлебывая вино, говорили бы: «Горько!» — а мы бы с Вами целовались в их удовольствие; да еще недостает некоторых обрядов, которые бываю на Руси уже на другой день и о которых я, конечно, Вам не буду говорить. Вы, может быть, скажете мне: «Что же за любовь Ваша ко мне, если она не может выдержать вот какого опыта и если Вы для меня не хотите подвергнуться, конечно, неприятным, но и необходимым условиям?» Прекрасно, но если бы на Руси

было такое обыкновение, что желающий жениться непременно должен быть всенародно высечен трижды, сперва у порога своего дома, потом на полпути, а наконец у входа в храм божий, — неужели Вы и тогда сказали бы, что мое чувство к Вам слабо, если не может выдержать такого испытания? Вы скажете, что я выражаюсь, во-первых, слишком энергично (извините: я люблю называть вещи настоящими их именами, а китаизм не считаю деликатностью), а во-вторых, по моему обыкновению утрирую вещи и что то, что я сказал, далеко * не то, чему я должен подвергнуться. Вот это-то и есть самый печальный и грустный пункт нашего вопроса. Я глубоко чувствую позор подчинения законам подлой, бессмысленной и презираемой мною толпы; Вы тоже глубоко чувствуете это; но я считаю за трусость, за подлость, за грех перед богом подчиняться им из ** боязни толков; а Вы считаете это за необходимость. Вопреки первой заповеди Вы сотворили себе кумира, и из чего же? — из презираемых Вами мнений презираемой Вами толпы! Вы чувствуете одно, веруете одному, а делаете другое. А это и не великодушно и не благородно. Это значит молиться богу своему втайне, а въявь приносить жертвы идолам. Это страшный грех. О, я понимаю теперь, почему Вы так заступаетесь за Т(атья)ну Пушкина и почему меня это всегда так бесило и опечаливало, что я не мог говорить с Вами порядком и толковать об этом предмете!

Любовь есть религия женщины, и нет для женщины высшего и более святого наслаждения, как всем жертвовать своей религии. Для нее свято всякое законное и справедливое требование того, которого она любит.²

С моей стороны, я тоже имею право предложить Вам вопрос: неужели же Ваше чувство ко мне так слабо, что Вы не можете принести мне жертвы (необходимость которой внутренне признаете сами) и не можете выполнить самого справедливого и законного, не требованного — я не требую, а прошу, умоляю Вас?..

Я уверен, Marie, что первые два письма мои произвели на Вас должное действие и вполне убедили Вас в справедливости моих настояний. Это письмо я пишу для того, чтобы окончательно утвердить Вас в разумном решении, чтобы договорить всё, что можно сказать об этом предмете, и чтобы во всяком случае, т. е. согласитесь Вы со мною или не согласитесь, *уже более не говорить об этом ни слова.*

Вы, может быть, увидите в этом письме некоторое противоречие: в начале его я говорю о невозможности ехать мне

* Первоначально: совсем

** Далее зачеркнуто: расчета и

в Москву и как будто на этой невозможности основываю необходимость Вашего решения ехать Вам ко мне в Петербург; а потом доказываю эту необходимость моим отвращением покориться китайским позорным обычаям. Тут противоречия нет никакого: мне действительно ехать нельзя, но в то же время скажу Вам откровенно, что мне было бы очень грустно, если бы Вы решились ехать только потому, что мне нельзя ехать, а не по согласию со мною, вместе с тем, в доводах второго разряда... Я уверен, что Вы хорошо поймете, что я хочу сказать этим.

Но — великий боже! — какая ужасная идея входит мне в голову: неужели это возможно, что дело наше из *такой* причины отложится и мы не будем обвенчаны до поста? Нет, Marie, если не из любви ко мне, то хоть из сожаления пощадите и спасите меня. Я, конечно, не окончу смертию живота моего — этого не бойтесь; но меня может постигнуть нравственная смерть — мною овладеет апатия, уныние, леность, преферанс — я опущусь до последней степени. Это неизбежно и верно, как и то, что я буду горд и счастлив Вами, если Вы победите своего внутреннего врага — боязнь княгини Марьи Алексеевны.³ Ах, Marie, Marie, только теперь почувствовал я, как сильно, как глубоко люблю я Вас. То, что считаю я в Вас недостатком, заставляет меня не сердиться на Вас, не охладевать к Вам, но болезненно страдать. Со времени получения Вашего письма я сам не свой. Вы* недавно писали ко мне, что Вы стары, больны и дики в обществе, что это такие недостатки в Вас, которые я должен принять для себя, как наказание божие; я смеялся и смеюсь над этим, хотя — скажу это не в похвальбу себе — немногие способны над этим смеяться. Но я вижу Ваш большой недостаток в том, в чем опять-таки слишком немногие способны увидеть его, — это в Вашем esclavage... ** Поймите же меня и уважьте во мне то, что составляет фонд и лучшую сторону моей природы, моей личности.

Прощайте, Marie. С нетерпением жду письма от Вас, и в первый еще раз желаю его получить попозже, т. е. уже как ответ вот на это письмо. Сегодня получили Вы мое первое письмо об этом предмете, завтра получите второе, а это получите в четверг; как хорошо, если бы Вы отвечали мне в пятницу или субботу.

Ваш В. Белинский.

P. S. Я бы очень желал знать мнение об этом предмете Аграфены Васильевны.

* Далее зачеркнуто: мне не раз говорили

** рабстве (франц.). -- Ред.

<10 октября 1843 г. Петербург.>

Октября 10.

Третьего дня (8, в пятницу) получил я одно Ваше письмо, сегодня — другое. Первое меня несколько не огорчило и не опечалило, а второе много утешило и сильно обрадовало. В нем я опять узнал в Вас давно родное и милое душе моей существо, мою Marie. О прошлом ни слова, да и настоящие обстоятельства так важны, что было бы смешно заниматься этими ребячествами и мелочами. Не буду (потому что не могу, не в силах) писать Вам, как обрадовало меня Ваше решение ехать в Петербург. Это решение достойно Вас и доказывает мне ясно, что я не ошибся в Вас. Сперва Вы думали об этом предмете иначе — что ж за беда! Зато теперь Вы думаете о нем, как следует. Ошибки извинительны человеку, особливо если они выходят не из его природы, а из воспитания, из общественного мнения и т. п. Дело не в том, чтоб никогда не делать ошибок, а в том, чтоб уметь сознавать их и великодушно, смело следовать своему сознанию. Я больше всего ценю в людях эластичность души, способность ее к движению вперед. Вот беда, когда эта божественная способность утрачена. В Вас она жива — этого для меня слишком довольно, чтоб быть счастливым через Вас и Вами. Итак, Вы решились. Хоть Вы и сказали, что не обещаете *непрерывно*, но я уверен, что будет так, ибо Вы из тех натур, которые склоннее ко всякой крайности, чем к середине — за то и полюбил я Вас. Кроме того, я не ожидаю и не предполагаю никакой оппозиции Вашему решению ни со стороны Вашего дяди, ни со стороны m-me Charriot. Сестра и без того во всем с Вами согласна, а до прочих Вам и дела нет. Но решение Ваше ехать 15 числа испугало меня: нужно сделать окличку, без которой нельзя венчаться. Об этом поговорю с Вами теперь обстоятельней; но прежде скажу несколько слов о другом деле, которое должно Вам знать.

В тот вечер, как получили Вы мое письмо, которое произвело на Вас такое сильное действие (и за которое написавшая его рука стоила хорошей мушки), я был у одного знакомого, в низеньких комнатах которого было душно и жарко. День был сухой и теплый, а потому, вышедши из дому еще с утра, я не надел калош. Надо сказать, что и перед этим я всё чувствовал себя не то чтоб больным, а indisposé.* Выхожу из гостей довольно поздно — улица мокра и грязна. И не знаю — промочил я ноги или быстрый** переход из жаркой и душной ком-

* нездоровым (франц.). — Ред.

** Первоначально: внезапный

наты на сырой и холодный воздух сильно на меня подействовал, только я проснулся на другой день с значительною болью в голове и ознобом. Как истинный славянин и русский человек, я не хотел признать себя больным, позавтракал яиц и пошел * к Краевскому, которого нашел в постели с обвязанною тряпками головою. Короче:** на другой день вечером я почувствовал адский огонь внутри себя при нестерпимом холоде снаружи. Поставил себе *семь* злых горчичников (на спину, к рукам, к икрам и к подошвам ног) и послал за доктором, который, прописав лекарство, велел мне сейчас же поставить 24 пъявки, по 12-ти за каждым ухом. На другой день поутру (в пятницу) Ваше письмо застало меня в самом животном положении: лежащего на кушетке — подушка запеклась в крови, воротник рубашки тоже, грудь окровавлена, перевязки за ушами ослабли — и запекаясь кровь отстала, лицо бледное, небритое, запачканное в крови. Словом, я был некрасив, но интересен. В этот день мне было уже так лучше, что у меня вечер провел Тургенев (автор «Параши»), и мы толковали с ним «о Байроне и о матерях важных».¹ Вчера (в субботу) мне было еще лучше, и вечер провели у меня четверо гостей; а сегодня я только несколько слаб, а то совсем здоров. Желудок мой собачьим голодом обнаруживает сильные корыстные претензии на разные яства; но неумолимый эскулап мой осудил его на суп с курицей, а выйти из дому позволил мне не прежде середины. Тогда возьму из мехового магазина мою шубу и без нее и без калош уже никуда ни шагу, несмотря ни на какую погоду,— честное слово и ненарушимую клятву даю Вам в этом, моя дорогая Marie.

Итак, о моем здоровье не беспокойтесь. Я теперь даже весел, благодаря Вашему письму. Если бы я лежал в постели, бесценное письмо Ваше, моя добрая, милая Marie, оживило бы меня.***

Всю эту историю поторопился я рассказать Вам больше для того, чтобы Вас не испугало начало приложенного здесь письма, писанного не знакомою Вам рукою. Дело вот в чем: все мои бумаги отсланы в пензенское депутатское собрание для получения дворянской грамоты. Я остался с одним университетским свидетельством, по которому я живу и записываюсь в полиции. Грамоту я жду со дня на день, но могу легко прождать ее и еще два месяца. И потому я просил моего знакомого переговорить со священником, у которого я исповедуюсь и причащаюсь, может ли он обвенчать меня по этому университетскому свидетельству, и притом с тем, чтобы свидетельство

* Первоначально: вышел

** Далее зачеркнуто: после

*** Далее зачеркнуто: Так

о смерти моего отца я доставил ему после. (Для этого-то я во вторник и был в том доме, выходя откуда простудился). Вчера я получил ответ от моего приятеля (Баландина),² который и прилагаю при моем письме, потому что мне трудно писать, и это письмо я царапаю уже целый день (а в пятницу начал было, да и бросил после нескольких строк). Препятствие, о котором он говорит, пустое: Петр Александрович есть не кто иной, как родной брат моего приятеля Языкова,³ полковник и инспектор в институте, о церкви которого идет речь. Я с П<етром> А<лександровичем> хорошо знаком, он чудесный человек и очень меня любит. Итак, Marie, Ваше метрическое свидетельство да позволение от Вашего родителя — не забудьте. Место возьмите в malle-poste на *двадцать восьмое* число октября вместо 15, ибо в следующее воскресенье (17 октября) будет наш первый оклик, 24 октября — второй, а 31 — третий и последний. Терять времени некогда, и потому я завтра же даю знать Баландину, чтобы он сказал священнику Ваше имя и попросил его с следующего же воскресенья начать оклик. Ежели Вы выедете из Москвы 28 октября, то будете в Петербурге 31 (в воскресенье — в день последнего оклика). С 10 часов утра я жду Вас в конторе malle-poste. А 1-го ноября мы можем обвенчаться. Время это самое удобное: от 11-й книжки «Отечественных записок» я буду тут свободен, а к 12-й приступлю не прежде 7 или 8-го ноября. Женщину Вы непременно должны были бы взять с собою, если б Вы и совершенно были здоровы. Да берите для нее место не в брике, а рядом с собою в карете: разница в 20 руб. асс., а между тем этот пустой лишний расход избавит Вас от неприятности иметь соседку или — что еще хуже — соседа и даст Вам удобства иметь Вашу служанку у себя под боком, так что, вместо кондуктора, она будет помогать Вам даже садиться в карету и выходить из нее. Хорошо, если бы эта же самая женщина могла остаться у нас кухаркою и горничною вместе; если же нет, уведоьте меня заранее, чтоб я мог приискать к вашему приезду кухарку, вмещающую в своей особе и горничную, — на что бывают очень хорошие шведки, которых в Петербурге много; а Вашу женщину можно будет отпустить в Москву, заплатив ей и взявши ей место в сидейке. Бога ради, оденьтесь теплее. Знаете ли что — у меня есть тулуп на прекраснейшем кошачьем меху — он мне совсем не нужен; не прислать ли мне его Вам, чтоб Вы перешли его себе на дорожный капот? Претеплая вещь! А? Не правда ли? Если решите — скорее напишите, куда отправить, на имя Вашего дядюшки, что ли, — и я сейчас же отправил бы его по четырехдневному транспорту. Да для ног купите себе меховые калоши, чтобы в них ставить ноги, сидя в карете. Да закажите себе башмаки на двойной коже, на двойной подошве —

одна чтоб была из пробкового дерева. Дорога Вам будет непременно полезна и благодетельна, если сбережете себя — не промочите ног и не попадете на струю ветра, будучи в легкой испарине после чаю, которым посему не советую Вам согреться. А берите себе место непременно в *malle-poste*, а не в заведении дилижансов: казенная карета надежнее, да и приедете полднем скорее и в определенный час.

Не прошу Вас писать ко мне это время часто или много. Вам будет за сборами и хлопотами не до того, и я доволен буду, если станете хотя двумя строками уведомлять о своем здоровье. Но на это письмо жду скорого, немедленного и удовлетворительного ответа, жду его с тоскою и тревогою, ибо не забудьте, что, желая сохранить время, я велел делать оклик, не получив от Вас на это решительного согласия и, стало быть, не зная, умно или глупо распорядился я.

Если Вам нужны деньги — без церемоний, скажите, сколько и на чье имя высылать.

Прощайте. Берегите себя. Да пуще всего, не поддавайтесь силе ощущений. Жизнь душит и давит ногами тех, которые глядят на нее с мистическим ужасом и подобострастием: надо смотреть ей прямо в глаза. В ней нет ничего ни столько сладкого, ни столько горького, ни столько ласкающего, ни столько страшного, чего бы смерть не изгладила равно, без всякого следа. Стало быть, не из чего слишком волноваться. Будьте спокойнее и смотрите рассудительнее, холоднее и прозаичнее — будет лучше. Жизнь, как и пуля, щадит храброго и бьет труса. Смелее. Вашу руку, Marie, которая — бог даст, скоро будет моею! Прощайте и не медлите утешить ответом Вашего

В. Белинского.

P. S. Трепещу ужасной мысли, что или письмо это прицесется к Вам накануне Вашего отъезда, или А<графена> В<асильевна> получит его, проводивши Вас. Если можно будет переменить число, немедленно сделайте это. Письмо это получится Вами или 14 вечером, или 15 поутру — страшно. Как это Вам пришло в голову ехать 15, не списавшись со мною? Вот уж подлинно из одной крайности в другую. Впрочем, я люблю крайности; к тому оклик не слишком важное дело, и, может быть, священник обвенчает и после одного или двух окликов. В таком случае еще лучше. Будь, что будет.

Это письмо пойдет завтра (11 октября).⁴

<12 октября 1843 г. Петербург.>

Октября 12.

Третьего дня получил я от Вас письмо, которое сделало меня кротко и тихо, но вместе с тем и глубоко счастливым; образ Ваш в душе моей снова стал светел и прекрасен, и я сказал Вам правду во вчерашнем письме, что это Ваше письмо могло бы воскресить меня умирающего. Да, до 4 часов нынешнего дня я был невыразимо счастлив Вами и через Вас, мысль о Вас действовала на мою грудь освежительно, я чувствовал вокруг себя Ваше незримое присутствие, жил двойною жизнью. Я не жалел о том, что письмо мое заставило Вас много и тяжело страдать: страдание благодатно, когда оно ведет к сознанию. Мне было бы даже неприятно, если бы Вы вдруг и спокойно согласились со мною в том, чего за минуту и представить не умели себе, как возможное и естественное; и потому в Вашем страдании я видел органический, живой процесс сознания и благословил его. Ваше письмо было написано в два приема и составляет как бы два письма. Первое оканчивается изъявлениями Вашей любви ко мне, которые тронули меня до глубины души, до слез; почерк слабеет, и последние строки едва дописаны — волненье души Вашей прервало их. Второе письмо начинается мыслию, что Ваше страдание было не бесполезно, — и по Вашему решению ехать в Петербург я увидел, что Вы с честью и победою вышли из борьбы. Да, Ваше письмо было прекрасно; как в зеркале, отражало оно в себе Вашу душу, Ваше сердце, всё, что я в Вас так высоко уважал, а *потому* и любил. В этом письме Вы были самой собою, без всяких посторонних влияний.

Сегодня получил я от Вас второе письмо, которое Вы написали, побывав у своего дражайшего дядюшки, и в котором *потому* я уже не узнал Вас. В нем ничего нет Вашего, — особенно Вашей благородной откровенности: Вы хитрите и лукавите со мною, а, может быть, прежде всего с самой собою. «Я приеду, непременно приеду», — говорите Вы; но к этому прибавляете: «если Вы так этого хотите». А разве Вы не знаете, что *я так этого хочу?* Разве Вы не знаете, что *я так этого хочу потому, что иначе нет возможности соединиться нам, ибо ехать в Москву я решительно не могу?* Кажется, я об этом писал подробно и ясно? Потом, как Вы обещаетесь приехать? — с оговорками, что, может быть, дурно сделаете, пожертвовав одному чувству другими, хотя и не столь сильными, но всё же святыми; что, может быть, убьете сестру и отца и что, может быть, приедете в белой горячке... Marie, Marie! да кто ж этак соглашается? Этак только отказывают начисто...

Потом: в одном месте Вашего письма Вы уверяете меня, что ошибаюсь я, думая, что Вы не поедете в Петербург по одному только уважению к княгине Марье Алексеевне;¹ уверяете, что Вам это трудно по родственным отношениям и по отношению к институту. А в конце письма, изъявляя сожаление о муках, в которые бросаете меня, оправдываетесь тем, что не раз предупреждали меня, что я считаю Вас лучшею, чем Вы есть на самом деле. Всё это, Marie, недостойно Вас, и Вы лучше бы сделали, если бы откровенно сказали мне, что не едете только по уважению к мнению родных Ваших и княгини Марии Алексеевны. Оно, конечно, такое признание было бы тяжело для Вашего самолюбия, но, по крайней мере, Вас утешила бы мысль, что Вы поступили добросовестно. А то истинного-то мотива Вашей нерешительности Вы не замаскировали, да и поступили-то не прямо. Я очень ясно вижу, что одна только причина, почему Вы *боитесь и ужасаетесь, словно смертной казни*, ехать в Петербург, это — мысль, что Вы, невеста, поедете ко мне, к жениху, вместо того, чтобы я приехал к Вам, как это считается символом веры московских баб и сплетниц и княгинь Марьев Алексеевн. Вот что! Аграфена Васильевна (дай ей бог здоровья!) удивляется, что я заставляю Вас ехать одну в такую погоду. А если я с Вами поеду, погода переменится? Помилуйте, да переезд из Москвы в Петербург и обратно теперь, особенно в *malle-poste*, да это * легче, чем из Москвы съездить к Троице, это теперь пустая поездка, и сколько женщин и девушек, одни-однихоньки, ездят по этой дороге. Сами Вы езжали и по проселочным, ночевывали на столах в крестьянских избах, среди общества свиней, поросят, ягнят, кур, мужиков, баб. Наконец, Marie, я должен выразиться откровеннее: у меня нет в голове органа, которым бы я мог понять, почему Вы делаете такой важный вопрос из такого пустого дела, как переезд Ваш из Москвы в Петербург? Я верю Вам, что Вы много и тяжело страдаете — да только я не понимаю, как же это и отчего, и потому не чувствую никакой симпатии к Вашим страданиям, — хотя мысль о них тем более усиливает мои собственные.

Агр<афена> Вас<ильевна> ссылается на Б<откина> и на Argm<ансе>. Напрасно: Вам бы следовало умолчать об этих лицах, чтобы не встретить их обвинительного или насмешливого взгляда, который бы заставил Вас покраснеть. Не Б<откин> для Argm<ансе> поехал за границу (он поехал для самого себя), а Argm<ансе> поехала для Б<откина>. Это раз. Потом, Argm<ансе> прожила с Б<откиным> около двух недель на моей квартире, до брака своего с ним, и всё твердила ему, что венчаться не нужно, что она так отдается ему вся и берет на себя все

* *Далее зачеркнуто*: всё равно

следствия этого решения, каковы бы они ни были. *Русская барышня* (существо, которое стоит *прекрасной россиянки*) не имеет в голове органа, чтобы понять подобную выходку со стороны *страстной, любящей француженки*. У Arg(ance) есть отец, мать и сестры, которых она безумно любит; но она религиозно считает себя обязанною жертвовать одному чувству другими, не так сильными, хотя и всё-таки святыми...

Письмо ваше, Marie, заставило меня перегореть в жгучем жупельном огне таких адских мук, для выражения которых у меня нет слов. Мне хотелось броситься не на пол, а на землю, чтобы грызть ее. Задыхаясь и стоная, валялся я по дивану. Мой доктор говорил на стороне, что если бы я не послал к нему в четверг, я бы или умер к утру от удара в голову, или сошел бы с ума. Когда мне об этом сказали, я не только был уже вне опасности, но уже и получил Ваше милое, Ваше бесценное письмо от 5 октября,— и потому весело улыбнулся при мысли об избегнутой опасности, думая: теперь мне есть для чего жить. Когда я прочел Ваше письмо от 8 октября, мне сейчас пришла в голову мысль: о, зачем я посылал за ним, зачем посланный мой застал его дома? Лучше было бы тогда издохнуть мне, как собаке, чем дожить до такой минуты!

Вам это так же покажется непонятым, как мне Ваши страдания. Горько мне, что мы в некоторых пунктах так мало понимаем друг друга. Мне мало того, что Вы приедете в Петербург: меня всё-таки будет убивать мысль, что Вы этим принесли мне жертву. Я хотел бы, чтоб эта поездка ничего Вам не стоила, кроме обыкновенных беспокойств дороги. Меня убивает мысль, что Вы, которую считал я лучшею из женщин, что Вы, в руках которой теперь счастье и бедствия всей моей жизни, что Вы, которую я люблю, Вы — раба мнений московских кумушек, салопниц и тетушек. Вот чем бог-то наказал меня за грехи, а не тем, что Вам 32 года и что Вы больны... И тяжка наказующая меня десница...

В Вас есть способность к безграничному самоотвержению, к любви и преданности, полной и совершенной, но не иначе, как с дозволения правительства и с одобрения дяденьки с тетенькою. Будь я Ваш муж, а Вы моя жена,— о! Вы поскакали бы на телеге ко мне на край света и обиделись бы, если б кто увидел в этом что-то необыкновенное и стал бы Вас хвалить. Но теперь Вы на меня смотрите не как на человека, которого Вы любите (самый человеческий и поэтический взгляд!), а как на *жениха* (подлое слово, чтобы чорт приснился тому, кто выдумал его!), и позвольте себе скорее умереть, задохнуться в горе и тоске вечной разлуки со мною, чем увидиться со мною против правил приличий, хотя бы от этого зависело мое спасение от смерти. Будь я в Москве, умирай я, Вы не решились бы прийти

ко мне на квартиру видеть меня. Да это еще извинительнее в глазах моих: таким поступком Вы разорвали бы все связи свои с обществом и лишили бы себя пристанища приклонить голову; но, выходя замуж, у нас, на Руси, девушка ничего не теряет, но всё выигрывает, и, если муж ее уважает, она имеет полное право плевать на всё остальное. Вы, Marie, так зависите от чужих влияний, что даже жаль Вас. Когда Вы поехали к дяденьке с тетенькою,— если бы эти изверги сказали Вам: конечно-де, глупо жертвовать счастьем жизни условному приличию,— Вы прискакали бы в институт к сестре, счастливая, веселая, довольная, с твердою решимостию презирать глухие условия, и были бы в восторге от своего героизма. Но как эти добродушные злодеи оказали отпор Вашему намерению,— оно вдруг ослабело, воля Ваша исчезла, характер спрятался, а любовь ко мне сказалась больною; всё святое, всё *Ваше* отлетело от Вас,— и в письме ко мне очутились только слова, слова² да ложь, ложь и ложь...

Ах, Marie, Marie! Пока дело шло о таких выражениях любви, как, например, подарить крестик и обязать меня носить его, перекрестить и пр. — Вы были смелы и решительны. А как дело коснулось до пожертвования крошечку посущественнее,— Вы испугались белой горячки... Что ж Ваша любовь ко мне, Ваше чувство?.. Робко же Вы любите! Вы говорите: *если б* Вы были сиротою, совершенно одинокою, Вы ни минуты не поколебались бы ехать в Петербург и не испугались бы остаться два, три дня до венчанья под одною кровлею со мною. Не верю, Marie, решительно не верю. Есть положения в жизни, для которых не существует условий, которые не допускают *если б*. Таково положение — любовь, особенно для женщины. Это ее долг, обязанность, религия, и для женщины нет ничего сладостнее, как всем жертвовать религии своего сердца. Любовь дает ей силу творить великое и пристыжать своею силою гордого, сильного мужчину. Принести жертву еще дело не великое: великое в том, чтобы насладиться, обрести источник счастья в собственной жертве. Жертвы, делаемые по холодному долгу, часто убивают (например, ввергая в белую горячку); жертвы, совершаемые по любви, дают счастье тому, кто приносит их. Иначе я не умею понимать ни любви, ни самоотвержения.

Вы на меня смотрите, как на своего жениха, т. е. как на человека, с которым Вы можете быть связаны навеки, но с которым Вы еще не связаны навеки. Я совсем иначе смотрю на наши отношения. Вы в моих глазах давно уже жена моя, с которою уже не может у меня быть разрыва. И потому я думаю, что если, женившись на Вас, я буду иметь право выписать Вас из-за тысячи верст по первой надобности,— то почему же общество теперь не признает моим этого права?

Слушайте же, Marie, что я скажу Вам теперь, и верьте — я не обманываю Вас — каждое слово мое верно и честно. Вы пишете ко мне, что в Москве можно обвенчаться скромно, словом, как я хочу: это обстоятельство делает то, что *убеждения* мои уже не помешали бы мне приехать в Москву; но *обстоятельства* — это дело другого рода, и клянусь Вам богом и честью, что, с этой стороны, *приехать в Москву* я никак не могу, как бы ни желал этого. Для Вас (о, только в трудные минуты моей жизни сознаю я, как глубоко и сильно люблю я Вас!) я сделал бы это охотно, мне было бы приятно попасть Вашу слабость и принести Вам эту жертву: но это не в моей власти, по трем причинам, из которых каждой одной достаточно, чтоб я и не думал о возможности этой поездки. *Во-первых: деньги.* Marie, Ваше женственное, тонкое чувство деликатности не допустит * меня до подробных объяснений по части этой статьи. Поверьте мне, что я скорее мот, чем скряга, и если уж я заговорил о деньгах, как о препятствии, значит дело не шуточное. Впрочем, я и на деньги еще не посмотрел бы: несколько бессонных ночей и несколько дней тяжелого труда впереди не испугали бы меня, — хотя я знаю, Вы сами потом бранили бы меня за недостаток откровенности по сей части. *Во-вторых: мои отношения к журналу и Краевскому.* Оставить № без статьи в это время, в то же время поставив Краевскому в необходимость достать и дать мне 3000 р. денег, которых он мне *не* должен, — согласитесь, что если я был бы так нагл, то он мог бы не быть так уступчив. Видите ли, Вы меня заставили же, наконец, быть вполне откровенным с Вами. Я существую только «Отечественными записками» и больше ничем. Плату получаю не задельную, а круглую, т. е. не по статьям, а в год — 4500. Теперь я собираюсь просить его, чтоб он прибавил мне 1500, чтоб я получал в год ровно 6000, а в месяц 500 р. По его же собственному расчету, нам с Вами на стол, чай, сахар, квартиру, дрова, двоих людей, прачку и пр. никак нельзя издерживать менее 250 р. в месяц, или 3000 в год: так нельзя же, чтобы столько же не оставалось у нас на платье и разные непредвиденные издержки. Теперь сообразите сами: каким образом я буду иметь бесстыдство просить у Кр(аевского) прибавки жалованья и за это отпуска, т. е. права оставить одну книжку «Отечественных записок» в такое критическое для журнала время без моей статьи? Я уж не говорю о том, что убедить Кр(аевского), как и многих в Петербурге, в том, что мне надо ехать в Москву, а Вам нельзя ехать в Петербург, нет никакой возможности, — так же, как нет никакой возможности убедить иных москвичей в том, что ничего нет худого ехать невесте к

* Первоначально: поймет

жениху, но что это даже хорошо, как знак ее желанья сделать легким тяжелый для обоих шаг. О третьей причине я писал к Вам в прошедшем письме. Документов у меня нет, и послать в Москву нечего. Если я пошлю университетское свидетельство, — мне потом не по чем будет взять от части позволения на выезд и не с чем будет остановиться в трактире (ибо, по моим убеждениям, остановиться у Вашего дядюшки я никогда и ни за что в мире не соглашусь). Грамоту из Пензы я могу получить завтра, но могу ее же получить и через три месяца. Свидетельство о смерти отца надо выхлопывать, когда же это? В Петербурге же священник церкви института корпуса путей сообщения венчает меня по одному университетскому свидетельству и больше ничего от меня не требует (а от Вас требует — и то, когда Вы приедете — метрическое свидетельство да позволение от Вашего родителя), и с будущего воскресенья (17 октября) начинает оклики, для чего я вчера переслал к нему Ваше имя, отчество и фамилию. Получив письмо, я долго был в страшной нерешительности — отложить оклик или нет. Не знаю, худо или хорошо я сделал, но решил не откладывать. Marie, моя добрая, моя милая Marie, у Ваших ног, рыдая, обнимая Ваши колена, целуя край Вашего платья, умоляю Вас: спасите меня от горя и отчаяния, сделайте меня вполне счастливым — приезжайте; но решитесь на это твердо, мужественно, проникнувшись чувством обязанностей, которые налагает на Вас любовь, если Вы любите меня. Что мне в Вашем вынужденном решении? Оно убьет меня, отравит мое счастье. Я и так давно уже влеку какое-то тяжелое существование, которое было прервано Вашим святым, благоуханным письмом от 5 октября, а теперь опять охватило меня своими холодными и слизистыми лапами. Вы страдаете сами; да зачем же Вы, бедный и милый друг мой, страдаете без достаточной причины? Зачем пугаете себя призраками, созданными Вашим воображением? Вы пишете, что, поехав в Петербург, убьете отца Вашего. Не верю, Marie. Много, много, если старик погрустит дней десяток, пока не получит от Вас письма, что Вы уже обвенчаны и что я Вас не обманул. Чтоб утешить старика, я готов буду приписать к Вашему письму, что угодно, или даже написать к нему особое письмо под Вашу диктовку. Поверьте мне, Marie, Вы пугаетесь призраков; Вы не можете выносить взглядов и выражений Ваших родственников — вот и всё. Но неужели же мысль о Вашем счастье не даст Вам силы быть слепой и глухой к людям, которые — поверьте — не по участию к Вам, а по страсти мешаться не в свои дела, будут изливать свое неудовольствие, что их лишили любопытного для них зрелища? Ах, Marie, Marie, если б вы знали, как болит моя грудь любовью к Вам и скорбью о Вас; если б Вы знали, как мысль о Вас

слилась со всем существом моим. И если я говорю с Вами иногда так резко и брагичиво — верьте — я бы никогда на это не решился, если бы полнота и сила моего к Вам чувства не давала мне на это права. Вы — милое дитя моего сердца, — и мне иногда нет сил не бранить Вас, а потом нет сил не жалеть о Вас и не сердиться на себя. Я ничего не могу делать для журнала, всё думая и мечтая о Вас. И больной, в огне лихорадки, я ни на минуту не переставал думать о Вас, и не за себя, а за Вас беспокоился моим положением и страшился его. Я живу Вашей жизнью, Ваша скорбь — отравка моей жизни, Ваша смерть — моя смерть. И что же — за всё это Вы убиваете себя пустыми сомнениями, пустою борьбою, вредите своему здоровью и налагаете печать страдания на Ваше лицо, которое должно сиять счастьем и быть прекрасно его блеском. О, нет, Marie, Вы сжалитесь надо мною, отгоните от себя своего черного демона и перестанете колебаться между мною и мнением людей, близких Вам только формально? Не правда ли? Вы ответите мне на это письмо, что решились ехать и что это решение не мучит, а веселит Вас? О, Marie, — тогда дай бог не сойти мне с ума от радости. Отвечайте мне скорее.

Ваш В.Белинский.

239 М. В. ОРЛОВОЙ

<13 октября 1843 г. Петербург.>
Октябрь 13.

Ваша сестра сказала правду, что я фатальный и что мне нет счастья. По всем соображениям, союз с Вами сулил мне тихое и спокойное счастье. Но увы! — мы еще не соединены, а я уже глубоко несчастен и страдаю таким страданием, которого и возможности прежде не подозревал. Я получил удар с такой стороны, с которой никогда и не ожидал его. Я разошелся бы навсегда с лучшим моим другом, если бы, назад тому несколько времени, он стал утверждать, что Вы до такой степени зависите от мнения людей, над которыми в других случаях внутренно смеетесь. Когда я положил писать к Вам о том, чтобы Вы приехали в Петербург, — не знаю, какое-то странное беспокойство овладело мною. Когда друзья мои говорили мне: «Разумеется, невеста Ваша не задумается ни одной минуты», — я отвечал им утвердительно, тогда как внутри меня проходил холод невольного сомнения. Я ругал себя за это сомнение, называл себя подлецом перед Вами, человеком, который не довольно уважает Вас; но мое непосредствен-

ное чувство говорило свое. Ваше письмо, в котором Вы так легко, как о чем-то возможном для меня, говорите о необходимости подвергнуться шутовским церемониям,— это письмо было для меня ударом грома, незапно упавшим к ногам моим, в ясную погоду. Я думал о Вас, что Вы скорее согласитесь умереть лютою смертью, чем добровольно подвергнуться бесчестию и позору подлых обычаев. Вышло, что я ошибался. Итак, с облаков упал я на землю и больно ушибся. Самолюбие мое было страшно поражено, и мне, как бы невольно, лезли в голову всё эти стихи Пушкина:

Смирилсь вы, моей веспы
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.¹

Но любовь к Вам победила всё. Я забыл о страшно раненном самолюбии и стал убеждать Вас в том, что Вы неправы, стараясь объяснить Вам мой взгляд на этот предмет. Ответа Вашего я так боялся, что бледнел при звуке колокольчика. Наконец получаю ответ. В нем нахожу я в Вас всё, что уважал и любил в Вас, всё, что заставляло меня быть счастливым и гордым моим выбором. Я был вознагражден за всё, и ни за что бы в мире не захотел, чтобы дело переделалось иначе, т. е. чтобы я не получал предшествовавшего письма, столько огорчившего меня. Душа моя озарилась спокойствием счастья — чувством, доселе неизвестным мне. Я любил Вас и был счастлив и горд Вами. Близость нашего соединения казалась мне несомненною, а в ней я видел близость нашего счастья. Мне стало так тепло, так светло, так хорошо. Ваше последнее письмо наповал убило это прекрасное расположение моей души. Страшная была для меня минута, когда прочел я его. И вот теперь я словно горю на малом огне. В груди у меня что-то щемит и не дает мне забыться ни на минуту; ночью мне снятся гробы. И всё это потому, что над Вами так сильна княгиня Марья Алексеевна, мнения Ваших родственников и что, подобно мне, Вы не хотите жить рассудком и презирать предрассудки, хотя в важных обстоятельствах Вашей жизни. Когда я собирался писать к Вам, чтобы Вы приехали в Петербург, и почувствовал что-то вроде перешительности, я посоветовался с одною особою, мнение которой было для меня очень важно. У Вержбицкого в доме живет в качестве гувернанты подруга жены его — они обе воспитывались в Екатерининском институте. Это девица уже не в первой молодости и не без ума, не без сердца. Я с нею довольно короток. Когда я ей сказал, что хочу просить Вас приехать в Петербург, она

отвечала: «Прекрасно, чего желучше!»— «И Вы не находите странным подобного предложения с моей стороны?»— «Нисколько»,— сказала она.— «Но если бы Вы были в положении моей невесты — как бы Вы поступили?»— «Разумеется, поехала бы» — и всё тут.

Это меня до того утешило и успокоило, что я даже начал фантазировать, как Вы будете делать печальные мины на плачевные и гневные восклицания Ваших родственников, наружно соглашаясь с их доводами и только ссылаясь на необходимость, а внутренне смеясь над всеми этими пошляками, — и довольная, счастливая весело готовитесь к пути...

Опыт представил мне тысяча первое доказательство, что нет ничего общего между миром фантазии и миром действительности...

Вчера (13 октября) мне было очень тяжело. Доктор позволил мне выходить. Погода была ужасная — дождь, слякоть, сырость — тем лучше было для меня: я готов был выкупаться в Неве, если б знал, что от этого мне будет легче. Я пошел к Вержбицким и поверил мое горе особе, о которой сейчас говорил. Я усомнился было даже в себе, в моих убеждениях, и мне хотелось, чтобы кто-нибудь во всем обвинил меня и во всем оправдал Вас. И Вас точно оправдывали (хотя меня и не обвиняли), но чем же? — тем, что Вы воспитаны и живете в Москве, а потому и не можете более или менее не думать по-московски... Боже мой! да я бы хотел видеть в Вас не дочь Москвы, Петербурга или другого города, а просто женщину, которая в важных обстоятельствах своей жизни руководствуется только внушениями и откровениями своей женской природы, не справляясь с мнением Москвы, Петербурга, дядюшки, тетуски и пр. и пр.

Может быть, Вас огорчит и оскорбит то, что я ставлю между собою и Вами чужих людей и поверяю им наши общие тайны, самые святые, — на коленях прошу у Вас прощения, и Вы не можете не простить меня, если сообразите, что я действую, как помешанный, ибо тяжкое горе сводит меня с ума.

Мысль, что Вы не выше предрассудков и зависите от мнения Ваших родственников, эта мысль — мрачная тень на мое счастье в прошедшем и будущем.

И несмотря на то, никогда так глубоко и живо не сознавал и не чувствовал я неразрывности уз, которыми связан с Вами — не данным словом, не тем, что далеко зашел в моих отношениях к Вам, — а моим к Вам чувством. Вне Вас я теряю смысл моей жизни и перестаю понимать, зачем мне жить. Ваш образ, звуки Вашего голоса, Ваши манеры — всё это неотступно и неотходно окружает меня. «Неужели же Вы этого не заметили?» — я и теперь не могу вспомнить этой фразы без

сердечного движения, без чувства счастья. И много хранит моя память слов и движений, которых значенье — темно или ничтожно,² но о которых не могу я вспомнить без живейшего волнения. Да, я люблю Вас, Marie. В моей любви к Вам нет ничего огненного, порывистого, но есть всё, что нужно для тихого счастья и благородного человеческого (а не апатического) спокойствия. Только с Вами мог бы я трудиться, работать и жить не без пользы для себя и для общества, только с Вами не тратились бы понапрасну мои лучшие дни и не тонул бы я в апатической лени. Только с Вами любил бы я мой тесный угол, неохотно бы оставлял его и радостно, нетерпеливо возвращался бы в него. Но нет, я не только люблю Вас, — у меня есть вера в Вас, — и я убежден, что Вы должны, что Вы не можете не победить своего внутреннего врага. Вы* никогда не боролись с жизнью и не решали *практически* вопросов теоретических, а оттого Вас теперь и пугают так эти вопросы, на которые вызвал я Вас. Нет, Вы не хуже того, чем я Вас считаю, но Вы только худо делаете, думая, что можно прожить на свете без воли и без борьбы. Возьмите над собою волю — и всё будет хорошо.

Я теперь бог знает что бы дал за возможность приехать к Вам. Клянусь Вам всем святым, я был бы счастливейшим человеком, если бы мог приехать в Москву, чтобы спасти Вас от бессонных ночей, от слез и мук нерешительности. Не симпатизируя с Вашим горем (ибо не понимаю его), я тем не менее страдаю им. Каждая слеза Ваша падает каплею яда на мое сердце и сушит его. Но я не могу приехать: могущественная сила обстоятельств не допускает меня до этого. Я только что выздоровел и еще ни строки не написал для журнала; а Краевский и теперь еще болен и ничего не может делать. Сегодня хотел его навестить, но он сказал моему человеку, что хотя ему и легче, но чтоб я отложил мое посещение дня на два. Сверх того, как Вам уже и известно это, — мне не с чем ехать в Москву — у меня нет бумаг.** Вы пишете, что и для Вас была бы тяжела отсрочка до Рождества; эта отсрочка невозможна, ибо, если я могу приехать в Москву, то разве только после Пасхи, когда прекращается подписка на журналы. Итак, ждать почти до мая! Неужели Вы согласитесь на это, чтоб только избежать ненавистной Вам поездки? Неужели Вам не страшна такая отсрочка? Мне так она ужасна. Кроме того, что всё это время я ничего не буду в состоянии делать и принужден буду снова приняться за преферанс, — кроме всего этого и многого другого, я еще не верю судьбе и жизни. Мало

* Далее зачеркнуто: доброго

** Далее зачеркнуто: Между

ли что может случиться в это время? Не должно пытаться судьбу: дает—берите сейчас же, или после не жалуйтесь на нее. В этом отношении я фаталист, чем и Вам желаю быть. Мне почему-то кажется, что если мы не обвенчаемся до поста предрождественского, то никогда уже не соединимся. Это предчувствие — глупость, но оно мучит меня.

Итак, вот мое положение: с одной стороны, ужас при мысли о какой бы то ни было отсрочке; с другой — Ваши слова: «Я приеду, непременно приеду, если Вы так этого хотите!» И потом, Ваши мучения, боязнь белой горячки. Ужасно! Часто приходит мне в голову: боже мой, не дай мне сойти с ума, но дай умереть. Еще вчера я повторял: «Зачем удалось мне пригласить в четверг моего доктора!» Мысль о Ваших мучениях, бессонных ночах и какой бы то ни было болезни, вследствие принужденной поездки в Петербург, эта мысль гложет, точит мою грудь, как червь. Она до того мучит меня, что я, пожалуй, готов на отсрочку до апреля (а тогда я сам могу приехать в Москву), если это Вам легче, чем поездка. Я, правда, не велел отложить оклик (и П. А. Языков, разумеется, позволил священнику обвенчать меня), но что за беда, что раз окличут, а потом и перестанут. Это еще не бог знает какое горе: ведь свадьба наша только отлагается, а не расходуется. Отложить совсем оклик я был не в состоянии: меня удержала тайная надежда, авось либо Вы одумаетесь, переломите себя и добровольно, бодро и весело, с полною доверенностью к провидению решитесь на то, на что теперь решается с отчаяньем, тоскою и сомнением.* И если бы моя надежда сбылась, и Вы написали бы ко мне, что едете — каково было бы мое положение: Вы едете, а время для оклика потеряно, и Вы, вместо одного дня, должны жить со мною до венчанья неделю или две? Теперь же, если бы Вы решились, можно, если хотите, обвенчаться в самый день Вашего приезда: это будет зависеть совершенно от Вас. Но если Вы не можете решиться на эту поездку без ужаса, подвергая себя тем болезни,— то, разумеется, *bon gré, mal gré*,** надо отложить наше дело до апреля. Письмо это Вы получите наверное в понедельник (18), и, если пошлете ответ во вторник (19), я, наверное, получу его в субботу (23) и буду еще иметь время остановить второй оклик, если Вы не решитесь ехать на лучшем нравственном основании, нежели на каком решается теперь. Из этого Вы, по крайней мере, можете видеть мою готовность на всевозможные уступки, лишь бы Вы не страдали. Уважая Ваш предрассудок, я решаюсь много, много взять на себя... Ну, да что об этом говорить.

* Первоначально: горем

** волей-неволей (франц.).— Ред.

Смотрите же: в субботу (23) я непременно должен получить ответ на это письмо. Ответ на вчерашнее письмо не будет для меня удовлетворителен. Какова будет жизнь моя до получения ответа на это письмо — можете догадаться сами. Мне жаль Вас, Marie; Вы одни, и некому укрепить Вас советом и мнением. М-ше Agrippine горячо и преданно любит Вас, но, к несчастью, она всегда и во всем согласна с Вами, а потому и не может дать Вам ни совета, ни мнения. На что бы Вы ни решились и что бы ни было, верьте одному — что я горячо и свято люблю Вас и что самая жесткость моих выходов против Вас доказывает только мою любовь к Вам. Да просветит Вас господь своим невидимым советом и да подаст он Вам силу и крепость воли. Вашу руку, мой милый, бесценный друг, моя добрая, дорогая Marie, — крепко жму ее и с тоскою и любовью смотрю в Ваши глаза, полные печалию и тяжелой думы. Прощайте.

Ваш В. Белинский.

240. М. В. ОРЛОВОЙ

<15 октября 1843 г. Петербург.>
Октября 15.

Сегодня почему-то ждал я от Вас письма рано поутру, письма, посланного Вами, как мне казалось, в понедельник; но вот уже 10 часов, а его нет, и я перестая ждать. Мне тяжело, невыносимо тяжело. Ко всем другим причинам моего страдания присовокупилась новая: это воспоминание о грубом и жестком тоне моих писем, который должен оскорбить, огорчить Вас, когда Вам и без того тяжело. Меня ужасает мысль, что, может быть, зверские письма мои сильно подействуют на Ваше здоровье. О, я зверь, родился зверем — им и умру. Но мое зверство скоро сменяется человеческим расположением, и тогда я из одного мучения перехожу в другое. Marie, друг мой, о простите меня, если я огорчил Вас, забудьте это, изорвите мои несчастные письма и помните только одно, верьте только одному, что я люблю, глубоко и сильно люблю Вас. Одумавшись, я понял, что требовал от Вас слишком многого, был к Вам несправедливо строг. Ваша слабость теперь понятна мне, и я от всей души извиняю Вас в ней.* Поживя со мной, Вы на многое будете смотреть иначе и во многом будете поступать иначе; но теперь — как винить Вас за то, что дышите тем

* Первоначально: за нее

воздухом, который окружает Вас, а не тем, который далек от Вас. Сегодня видел я во сне, будто Вы приехали ко мне. Я был бы счастлив, очень счастлив, если бы сон мой сбылся; но Ваше спокойствие, Ваше здоровье дороже мне всего, и Вы поступайте свободно, не принуждая себя. Зимой мне решительно невозможно будет приехать; придется подождать до весны. Так или сяк, только будьте здоровы и спокойны — здоровье и спокойствие всего нужнее Вам.

Боже мой, что со мной делается? Меня мучит злой дух. Не могу вспомнить о моих письмах без жгучего щемления в груди. Вечером страшно ложиться спать, и, прежде чем засну совсем, не раз забудусь и не раз проснусь вздрагивая. Тяжело. Неужели я наделал дел моими письмами? О боже, страшно подумать. Ответа на эти два письма буду ждать в пятницу и субботу (22, 23), а на это в воскресенье (24), — и если из ответа на это письмо увижу, что я опасался напрасно, что мои проклятые письма не подействовали на Ваше здоровье, — о, я с ума сойду от радости. Сегодня никак не думал писать к Вам, — и схватился за перо прежде, чем понял, зачем это делаю. Это было каким-то вдохновенным порывом.

Больше писать нечего. Вы поймете, что бы еще мог или хотел сказать я. Прощайте. Храни Вас господь, а мои обеты и мольбы за Вас неотлучно с Вами, равно как и мысль моя.

Ваш В. Белинский.

Сердце не обмануло меня: только что полез было я в ящик за конвертом, чтобы запечатать это письмо, как получил Ваше. Ах, Marie, Marie, Вы меня не понимаете или не хотите понять: не грех ли Вам думать, что я лгу перед Вами, обманываю Вас, уверяя Вас, что не могу к Вам приехать? И не могу я к Вам приехать совсем не по боязни шутовских церемоний, которых — я верю Вам — не было бы теперь, если б я приехал. Не могу я приехать потому же самому, почему часовой не может сойти с своего поста, хотя бы от этого зависело счастье всей его жизни. Я опять-таки несогласен с Вами, чтобы такое важное дело было — приехать Вам: в Петербурге никто с этим не согласится; но спорить с Вами не буду, ибо чем же Вы виноваты, что Вы жили в Москве, а не в Петербурге? Застать меня на столе — дело не невероятное и не невозможное; это было бы для Вас страшным несчастием, но неужели в Москве через это теряются права на уважение? Какой же это гнусный, подлый и киргиз-кайсацкий город! Если Вы одна приедете в Петербург и потом кого-нибудь и когда-нибудь встретите из московских, который *посмотрит на Вас так, что не поздоровится от этого взгляда*, то уверяю Вас, что мне будет не больно, как Вы пишете, а только смел-

но, и я буду об этом рассказывать с хохотом всем моим знакомым, чтобы заставить и их хохотать. Ах, Marie, Marie, как Вы будете смеяться над этими опасениями, когда будете моею женою и почувствуете себя в другой совершенно сфере петербургской жизни, где на вещи смотрят диаметрально противоположно. Но теперь ни в чем Вас не уверяю и ни в чем с Вами не спорю. Вижу, что решиться ехать для Вас то же, что решиться умереть. Жалею о силе смешного предрассудка над таким умом и таким сердцем, каковы Ваши; но извиняю Вас во всем этом, приписывая всё это не Вам, а судьбе. Что касается до Eugenie¹ — то Вы напрасно думаете уподобиться ей тем, что решитесь приехать в Петербург. Если б Вы и приехали, между ею и Вами всё бы ничего не было общего; ибо Eugenie в Петербурге никто бы не принял к себе, а Вас все примут, и, вместо презрения, Вы своим приездом приобрели бы только большее право на уважение всех и каждого. Вы неправы, думая, что я пишу под чьим-либо влиянием, а тем более под влиянием Краевского. Так же точно неправы Вы, видя в каждом моем слове *seigneur et maître*,* а во мне деспота. Это показывает, что Вы еще мало знаете меня. Я *фанатик*, это правда, но всего менее деспот. Не место и не время объяснять Вам теперь здесь разницу между деспотизмом и фанатизмом, деспотом и фанатиком, и потому оставляю эту материю. Если когда-нибудь мы будем соединены, тогда, надеюсь, Вы узнаете меня лучше и будете ко мне справедливее; а теперь Вы судите обо мне под влиянием тягостной для Вас идеи о поездке в Петербург.

Решайте Вы — от Вас я жду решения — оно в Вашей, а не в моей воле: или приезжайте, если хотите, чтобы к посту кончились наши пытки и страдания, или отложите до апреля, когда я буду в состоянии приехать к Вам в Москву. В первом случае Вы можете ехать и не 28 числа, а позже, лишь бы приехать в Петербург дня за три до поста; но в обоих случаях Вы не замедлите уведомить меня. Если Вы решитесь отложить, я покорюсь Вашему решению со всем *résignation*** преданного Вам друга, который Ваше спокойствие и здоровье предпочитает своему счастью. Я вижу сам, что ехать Вам нет никакой возможности, ибо *почему-то* вы воображаете, что таким поступком лишаетесь права на уважение общества. Может быть, в Москве оно и так, а потому больше и не спорю с Вами.

Ах, боюсь одного, одного боюсь: моего проклятого письма, которое получили Вы уже в воскресенье (17).² Только пронеси бог мимо эту бурю, а там пусть будет, что будет.

* господина и хозяина (франц.).— Ред.

** покорностью (франц.).— Ред.

Бедный друг мой, как Вы страдаете. Сердце мое сжалось, когда я прочел Ваше письмо. Правда, причина Вашего страдания — фантом, призрак, бред больного воображения; но разве от этого легче Ваше страдание? Напротив, тем большее страдание возбуждает в моей душе Ваше страдание. Да, Marie, есть пункты, в которых мы решительно не понимаем друг друга; зато благодаря им я понял, что такое Москва. Я давно уже не люблю ее; но теперь...

Что касается до приглашения, которым удостоивают меня Ваши родственники, — я должен объяснить с Вами определеннее на этот счет. В Петербурге нет обычая останавливаться у родни, своей или жениной; там это не в тоне, да никто и не пригласит и не пустит; для этого есть трактиры. Так водится и в Европе; но не так водится в Москве, патриархальной и азиатской. Если я захочу соблюсти экономию, я остановлюсь или у своих родственников, или у Щепкиных, которых считаю истинными своими родными в духе; но что ж мне за радость остановиться у людей, совершенно чуждых мне, быть связанным, притворяться, скрывать свой образ мыслей, говорить не то, что думаю? Бывать у них я готов — для Вас. Это другое дело. Вы, Marie, совсем не понимаете меня с моей главной и существенной стороны. Знаете ли Вы, что людей, с которыми я ни в чем не могу сойтись, я считаю моими личными врагами и ненавижу их? И знаете ли Вы, что я это считаю в себе добродетелью, лучшим, что есть во мне?

Прощайте. Отвечайте мне немедленно на это письмо. Будьте свободны в Вашем решении и верьте, что Ваше спокойствие и здоровье, в моих глазах, стоят моего счастья и что я постараюсь, как могу и умею, *me resigner*.*

Ваш В. Белинский.

241. М. В. ОРЛОВОЙ

<15 октября 1843 г. Петербург.>

Октября 15, вечером.

Не успею отослать к Вам одно письмо, как уж и хочется написать другое. Всякий раз мне представляется, что я не всё Вам высказал и что мне остается и еще что-то сказать Вам. Это происходит оттого, что мы друг друга не совсем хорошо понимаем, а потому и принуждены повторять всё одно и то же, не заставляя, однако же, тем лучше понять себя. Я решил

* покориться (*франц.*).— Ред.

ся на отсрочку; но отчего же не стало мне легче от этого решения, отчего это жгучее щемление в груди, как будто меня совесть мучит за какое-нибудь преступление? Что значит этот злой дух, который так неотступно и так жестоко терзает меня? Что он — предвестие несчастья, предчувствие, что не сбыться прекрасным надеждам, которые цветут не для *фатальных*? Если бы я имел какую-нибудь возможность поехать в Москву, я не стал бы медлить ни минуты. Эта возможность сделалась моею *idée fixe*,* моею точкою помешательства; но чем более я о ней думаю, тем яснее вижу, что не следуёт мне о ней и думать. Итак, до апреля, или почти до мая! И еще столько времени неопределенных отношений, которые мучительнее всего в мире и которые, сверх того, могут еще кончиться ничем; к вечному горю обоих из нас или того, кто из нас живучее! Вот что значат предрассудки! Нужно же людям мучить и терзать себя ими, как будто и без предрассудков мало у них горя! И накажи меня бог, если я до сего времени не готов был поклясться всем и каждому, что Вы, моя избранная, чужды всяких предрассудков, что Вы стоите выше их! И какое разочарование, боже великий, какое разочарование! Для меня тут есть от чего сойти с ума или умереть, хоть я и знаю, что ни с ума не сойду, ни умру, а только буду тяжело страдать про себя. Приезжайте Вы в Петербург, и к посту мы обвенчаны, а к празднику мы уже привыкли бы к нашему новому положению, река вошла бы в свои берега и потекла бы ровною, чистою и светлою волною, отражая в себе далекие небеса, если б то угодно было богу. А Вы думаете, *привычка* дело легкое и скорое? Я от брака с Вами никогда не ожидал восторгов, да и бог с ними, с этими восторгами, не стоят они того, чтобы гнаться за ними; я ожидал от жизни вдвоем с Вами существования мирного, ясного, теплого, охоты к труду и любви к своему углу, или, как французы говорят, к своему очагу. И это бы пришло, и этим бы мы наслаждались уже вполне месяца через два (если бы обвенчались в начале ноября); а теперь этого надо ожидать *месяцев* через *восемь*. И почему же? потому что Вы слишком уважаете приличия мелкого чиновнического круга, который по своим понятиям едва ли выше любого лакейского круга! Нет и в самой Москве все порядочные люди взяли бы мою сторону против Вас. Не могу забыть Вашего святого, благоуханного письма (от 5 октября), в котором Вы были самою собою, писали под диктовку Вашего сердца, а не Вашего почтенного дядюшки (проклятие ему!). Вы согласились со мною, Вы сами увидели, что я прав, что во всех отношениях лучше Вам ехать в Петербург, чем мне в Москву, и что в этом нет никакой

* навязчивой идеей (франц.).— Ред. .

жертвы и ничего странного, неуместного или предосудительного с Вашей стороны. Да как же иначе и могли бы Вы понимать простое и обыкновенное дело, Вы, у которой такое сердце, такая душа, такой ум и такой рассудок? Вы очень хорошо знаете, что девушки бегают от родителей,* чтобы тайно венчаться с тем, которого они любят, — и если дело действительно поворачивается браком, то общество и не думает их презирать. В России брак покрывает и не такие дела.** Ваше же положение перед глазами общества совсем другое. Вы с позволения своего отца поедете к жениху, который *по обстоятельствам* (а не по чему другому) не может приехать к Вам; вот и всё. Тут ничего нет ни странного, ни необыкновенного, ни неуместного, ни предосудительного. В Петербурге это для всех и каждого ровно обыкновенно и естественно; в Москве это осудят только салоппницы да чиновники — два подлейшие в России сословия. Неужели же на них смотреть? Вы всё это сами знаете и чувствуете не хуже меня. Но Вы съездили к Вашему драгоценному дяденьке и встретили отпор; опешили, оторопели и, — вместо того, чтобы спорить, доказывать и, то наступая, то уступая, то твердостью, то ласкою, заставить его согласиться с Вами или, по крайней мере, возбудить в нем терпимость (*tolérance*) к мысли*** о Вашей поездке, — Вы расплакались, голова у Вас разболелась, и Вы начали вдруг, ни с того ни с сего, смотреть в очки Вашего дражайшего дядюшки и стали *пренаивно* уверять меня, что, требуя Вашего приезда в Петербург, я требую, чтобы <Вы> в холод пошли по улице в дезабилье... Ах, Marie, Marie! да Вы уже от одной мысли о поездке, кажется, сошли с ума; что же бы стало с Вами, если б Вы в самом деле поехали?... Страшно и подумать! А Вы, право, не совсем в уме, Marie, иначе как же бы Вы могли о Вашей поездке в Петербург говорить таким тоном, как будто бы я требовал от Вас, чтобы Вы решились жить со мною в качестве**** жены, только без брака. И Вы не стали бы сравнивать Вашего положения с положением Eugenie,¹ с которым у Вас ровно ничего нет общего. Простите меня, милая Marie, за дерзость и жесткость моей шутки насчет состояния Вашего мозга: право, о нем нельзя сказать, чтобы оно было сладко, как сахар. Вы немного лукавите передо мною и прежде всего перед самой собою, но я Вас вижу насквозь. Вы не хуже меня понимаете, что поездка в Петербург — дело очень простое, вроде моих поездок с Маросейки в Сокольники; но у Вас слаб

* Далее зачеркнуто: и то

** Далее зачеркнуто: Неужели же

*** Первоначально: к этому,

**** Далее зачеркнуто: моей

характер, очень слаб, и Вы не можете прямо смотреть в глаза Вашему многоценному дяденьке, когда он с Вами несогласен. Вот и всё. Вы до такой степени esclave * перед своим высокоценным дядюшкою, что убеждаете себя насильно в его образе мыслей, ** не дерзая ему противоречить. Вот и всё. У Вас нет силы быть самой собою. Это жаль, очень жаль, тем более жаль, что, когда Вы являетесь самой собою (как в письме 5 октября), Вы бываете святы, нравственно прекрасны, достойны обожания и удивления, высоки и благородны, блистаете всем, чем велика и благодатна натура женщины. И зато, если бы Вы знали, какое сострадание возбуждаете Вы к себе, когда находитесь под влиянием Вашего подъячественного дядюшки! Святители! Вы ли это, Марья Васильевна? Нет, это Марфа Васильевна!.. Я не знаю, как мне благодарить бога, что я получил от Вас письмо от 5 октября. Если умру скоро, велю положить с собою в гроб это письмо, как лучшее и прекраснейшее, чем порадовала меня судьба и жизнь. Это письмо еще дорого для меня и с другой стороны: оно для меня — Ваш духовный портрет. Без него Ваш светлый образ затмился бы в душе моей, и я, как сумасшедший, измучил бы себя тщетным усилием вспомнить, кого же и что же любил я в Вас... Но теперь мне только стоит прочесть его, — и передо мною снова восстает прекрасный и светлый образ лучшей женщины, какую только встретил я в жизни, женщины, которая много любила и много страдала, женщины, которую полюбил я за ее любовь и ее страданье, за ее возвышенный и простой ум, за ее горячее сердце и благородную душу...

Перечитав Ваше сегодняшнее письмо, я с ужасом остановился на одном месте в нем. Вы пишете, каково бы Вам было, если б в Петербурге Вас встретил кто из московских и посмотрел бы на Вас таким взглядом, от которого не поздоровится. Кто же это, Marie? Уж не Любовь ли, горничная Вашей кухни? Или не тот ли милый родственник Вап, что такой мастер на лакейские любезности и кучерские каламбуры? Но кто бы ни был — он лакей, холопская подлая душа, если бы осмелился с презрением посмотреть на Вас за то только, что Вы решились приехать к своему жениху в Петербург, вместо того, чтобы дожидаться его к себе в Москву. Ну, Marie, как же слабо в Вас сознание Вашего достоинства, как же мало в Вас уважения к самой себе, если взгляды лакеев, кучеров, свинопасов и чиновников могут заставляя Вас потушлять Ваши глаза и страдать. Вы ли это, Marie, или тень Ваша, призрак? Нет, эти строки необдуманно сорвались с пера Вашего, и Вам, верно, теперь стыдно их.

* рабыня (франц.). — Ред.

** Далее зачеркнуто: чтобы только не

Да, Marie, мы с Вами во многом расходимся. Вы, за отсутствием каких-либо внутренних убеждений, обожествовали деревянного болвана общественного мнения и прееусердно ставите свечи своему идолу, чтоб не рассердить его. Я с детства моего считал за приятнейшую жертву для бога истины и разума — плевать в рожу общественному мнению там, где оно глупо или подло, или то и другое вместе. Поступить наперекор ему, когда есть возможность достигнуть той же цели тихо и скромно, для меня — божественное наслаждение. Зачем пишу я это Вам? Затем, что в Ваши светлые минуты, когда Вы будете самой собою, Вы поймете это и скажете: если б он был не таков, я бы, может быть, больше любила его, но меньше уважала...

Впрочем, нас разделило воспитание, а не природа. Я люблю и уважаю Вашу натуру, люблю и уважаю Вас, как прекрасную возможность чего-то прекрасного. В самом деле — чем же виноваты Вы, что родились и воспитались в «дистанции огромного размера»,² в городе княгини Марьи Алексеевны?..

А между тем в этом городе есть и хорошие, даже очень хорошие люди. Я отдыхал душою в семействе Корш, чуждом всяких предрассудков. Ах, если бы знали Вы, Marie, что за существо — жена Герцена!³ Она, девушкою, бежала от своей воспитательницы и благодетельницы — гнусной старухи, которая попрекала ее каждым куском, — бежала от нее, чтобы обвенчаться с теперешним мужем своим, и — поверите ли — не умерла, не впала в белую горячку, не сошла с ума от этого. Это женщина, подобно Вам, больная, низкого роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голоском, но страшно энергическая: скажет тихо, — и бык остановится и с почтением упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом. Наталья Александровна не побоялась бы познакомиться с Eugenie. Когда я был у Г<ерцена> в деревне,⁴ — даже меня поразила царствующая там европейская свобода. Все мужчины в блузах (род рубашки, опоясанной кожаным ремнем); гуляя, раз я пожаловался на усталость и жар, и ко мне все пристали (и она), чтобы я снял с себя сертук и понес его на плече. Раз я сконфузился даже, когда она подшутила над моею чиновническою (всё глупое и подлое есть чиновническое) вежливостию, что я поклонился ей, выходя из-за обеда. Как жаль, что Вы с нею незнакомы: она вывела бы Вас из затруднительного положения и указала бы Вашей совести большую дорогу. Б<откин> возил к ней знакомиться Агтансе, и та была очень довольна этим знакомством. Порядочный человек также и Грановский. Когда шли толки о том, надо ли обвенчаться Б<откину> с Агш<ансе>, или остаться им без венца в интимных отношениях, — я сказал, что это невозможно

в нашем обществе, ибо, прежде всего, кто же захочет быть знакомым с Агн<ансе>? — «Жена Герцена и моя⁵ жена прежде всех», — сказал Грановский. Право, Marie, всё это не дурные люди, и они образуют собою свой отдельный круг общества, который, кроме себя, никого знать не хочет и никем не интересуется, но которым многие и многие очень интересуются. Как жаль, Marie, что Вы не знаете никакого круга, кроме круга Ваших родственников, которые — люди добрые, не спорю, но по тону, манерам и понятиям принадлежат к самым низшим слоям русского общества. Что же касается до Вашего дядюшки, — я его смертельно ненавижу, как самого лютого врага моего. Если я с ним увижусь когда-нибудь, это будет не на радость Вам: Вы знаете,* как я не умею владеть лицом и взглядом моим: при встрече с ним мой взгляд выразит смертельную ненависть. Этот человек осмелился стать между мною и Вами и мнимым правом своего родства, может быть, разрушить наше счастье. Проклятие ему!

Итак, Marie, наше дело отложено. Мысль эта сжимает мне сердце. От нее мне стало холодно, и я почувствовал отвращение от себя и от жизни. Хотелось бы умереть, и жаль, что упустил прекрасный случай. Не знаю, как подействует на Вас это письмо, но в нем Вы должны видеть только мою прямоту, а следовательно, и мою любовь к Вам. Если б я не любил Вас искренно и глубоко, отсрочка меня обрадовала бы и не сделала бы несчастным (ибо слово *опечалила* здесь слабо), и я сумел бы замаскироваться, притворившись спокойным и согласным с Вами. Но я люблю Вас, — и меня огорчают Ваши недостатки, я болезненно страдаю от них. Признаться ли Вам: я всё еще не совсем потерял надежду, что ангел света победит в Вас ангела тьмы, что Вы сознаете свое смешное заблуждение и, не *по долгу*, а *по любви*, весело и бодро пуститесь в Питер, чтоб дать мне счастье, которого я несколько заслуживаю в качестве человека *скорбящего* и *работающего*, ибо только таким, по моему мнению, должна быть наградою любовь женщины. Не забывайте, Marie, что я даже не прошу Вас, а только надеюсь — и не на Вас, а на бога, который, сжалившись над моими невыносимыми страданиями, может быть, озарит Вашу спутанную и оглушенную родственными толками голову светом сознания. Вы с чего-то вообразили, что я пишу под влиянием моих друзей (как ни тяжело мне было при чтении Вашего письма, но эти строки заставили меня рассмеяться): не пишете-ко Вы под влиянием Ваших родственников, но пишете под диктовку Вашего сердца, которое одно люблю я, одно хочу знать — а что мне до Ваших родственников, равно как и им до

* Далее зачеркнуто: что

меня? У меня есть только один друг, который может иметь и действительно имеет на меня влияние,— это Б<отки>н, но его теперь, «в минуту жизни трудную»,⁶ нет со мною. Я очень люблю и уважаю моих петербургских приятелей, но никто из них не имеет на меня никакого влияния. Всех больше ценю я голову Тургенева, но он-то именно до сих пор и не подозревает, что я женюсь. Но забавнее всего Ваша премудрая и глубоко-мысленная догадка, что я пишу под влиянием Кр<аевско>го,— мне и теперь еще смешно при мысли о ней. Знаете ли Вы, что Кр<аевский> не видал ни одного ни Вашего, ни моего письма и что если я говорил с ним о моем деле, то более с точки зрения хозяйственной, денежной, практической. Знаете ли Вы, что я пишу к Вам вот уже пятое письмо, не выдавши Кр<аевского> сперва за моей собственной болезнью, а теперь за его болезнью, ибо он всё еще лежит, с середины уже другая неделя, и недавно только очуствовался? Полноте, Marie, пускайтесь в политику и строить догадки: Вы не мастерица на это. Идите-ко прямою дорогою — дорогою сердца. Ум женщину часто обманывает; сердце — никогда. Спрашивайтесь одного его. У меня есть вера в него, что оно спасет и осчастливит меня. А то я погибаю и глубоко несчастлив. Кр<аевский> болен, «Отечественные записки» запущены — у меня ни строки, а уж 15 число; примусь писать, принужу себя — не могу — внутренняя мука путает мысли.* Спасите меня, но не жертвою, не чувством долга, а любовью и здравым рассудком. Укрепитесь сознанием — и Вы исполнитесь силою. Бросьте софизмы и смотрите на дело прямо. А дело это очень просто.

Mlle Agrippine, на коленях умоляю Вас принять беспристрастное участие в нашем споре, — и целую Ваши прелестные ручки, — ведь, право, погибаю во цвете лет и красоты. Вам же будет жаль, что такой очаровательный молодой человек пропадет ни за копейку, на радость Булгарина, Погодина и Шевырева. Не знаю, Marie, надежда ли прокажит, или что другое, — только мне стало легче — на глазах слезы, к груди приливают горячие волны любви, — и мне хотелось бы излить перед Вами всю душу мою, чтобы Вы меня поняли. Я весь полон Вами, весь проникнут Вашим незримым присутствием. О, когда же незримое превратится в очевидное! Когда же, утомленный работою, тихо буду входить я в Ваше святилище и, глядя на Вас, слушая Вас, говоря с Вами, отдыхать душою и собирать новые силы на новые труды? Неужели чиновнические приличия должны надолго отсрочить мое счастье? Когда же тесный угол мой наполнится Вашим присутствием и, почуяв близость святыни, я буду жить полною жизнью? Когда же

* Далее зачеркнуто: и проч.

за минуты одушевленного труда будет мне наградою Ваша бледная рука? Когда буду верить я Вам мои мечты и читать мои писания, требуя Вашего мнения и совета? Ах, Marie, Marie! Жизнь коротка и обманчива, ловите ее — или после не раскаивайтесь. В Китае обычай и приличие выше истины и счастья, — выезжайте из Китая, т. е. из Москвы, и спешите ко мне. Верьте, счастье, которое Вы вкусите, не даст Вам помнить о существовании людей, которые любят вмешиваться не в свои дела. Узнавши меня, Вы не будете узнавать себя. Как женщина, Вы так мало знаете жизнь, что с Вами иногда нет возможности говорить о ней, словно с ребенком. Я знаю, например, что мои причины невозможности ехать в Москву Вы находите неудовлетворительными, особливо со стороны моих отношений к «Отечественным запискам» и Кр(аевско)му; но объяснить я Вам их не в силах, именно потому, что Вы женщина, и притом русская женщина. Приехав, сами увидите и — поверьте — не раз вспомните о своей несправедливости ко мне, обвините себя, пожалеете обо мне и посмеетесь над собою.

Хотел написать Вам несколько строк, и написал целых полтора листа. Чувствую необходимость беспрестанно говорить с Вами. Не обещаю писать в понедельник (завтра суббота), но и не ручаюсь, что не буду писать и что в будущую пятницу (23) Вы не получите от меня и еще письма, как получили его в воскресенье, в понедельник, во вторник и в среду.

Не хочется расстаться с Вами, мой добрый друг, моя милая Marie, — всё бы говорил и говорил. Подумайте обо всем, написанном мною, и посоветуйтесь с своим сердцем: на этого родственника у меня большая надежда, — может быть, он спасет меня; за то услышит он биение моего сердца, дружно и в лад отвечающее на его биение!.. Целую Вашу руку.

Ваш В. Белинский.

(НЗ. Письмо это пойдет 16 октября, в субботу).

242. М. В. ОРЛОВОЙ

<18 октября 1843 г. Петербург.>
Октября 18.

Мое положение и странно и невыносимо тяжело. У меня нет силы отказаться от надежды, что Вы приедете в Петербург, и я делаю приготовления, и один раз уже окликали нас. И в то же время я так вот и жду от Вас письма, в котором Вы уведомите меня, что свадьба наша отлагается до весны. Не знаю, какое именно действие произведет на меня такое

благоразумное, резонабельное решение с Вашей стороны; но знаю, что это действие очень дурное, которое не раз заставит меня от искреннего сердца пожалеть, что я не умер, когда для этого стоило только отложить до завтра послать за доктором... Сверх того, меня беспокоит ужасно еще и эффект моего к Вам письма à la Собакевич (Вы его получили вчера, 17 октября, в воскресенье).¹ Со всех сторон беда, и всё худо, *всё*, потому что если бы Вы и согласились приехать, опасение и страх Вашей болезни — о боже мой! — как невыгодно родиться на этот свет *фатальным!*

Сегодня видел я Вас во сне. Будто приехал я к вам в Сокольники поутру, обедать, вместе с Вашими родственниками. После обеда Вы ушли в свою комнату, и мне будто бы, по приличию, должно было сейчас же воротиться домой. И я пошел, неся в руках какую-то толстую книгу, которой мне не удалось Вам передать; отойдя на несколько шагов от Вашего дома, я увидел Вас: Вы гуляете в какой-то *guelle** между забором соседнего дома и своим флигелем, где торчали какие-то деревца. И я глядел на Вас издали с тоскою, и меня мучила мысль, что я не мог условиться с Вами о том, когда мне опять к Вам приехать. Всё это мне грезилось так живо, словно наяву, и теперь я полон мыслию о Сокольниках и живо вспоминаю все подробности моих поездок в Сокольники. Это было счастливое время! может быть, такого уже не будет для меня!

А всё родственники!..

Простите пока. Написал я Вам эти строки так, чтобы что-нибудь написать Вам. Ожидание Ваших писем обнаруживается во мне лихорадкою. Страшно получить, может быть, приговор целой жизни моей.

После болезни я чувствую себя гораздо лучше, чем до болезни. Это, вероятно, от пиявок, ибо меня душила кровь.

Прощайте.

Ваш В. Белинский.

243. М. В. ОРЛОВОЙ

<20 октября 1843 г. Петербург.>
Октября 20.

Сегодня опять видел Вас во сне, будто Вы приехали в Петербург и остановились у меня; я даже и не знал этого — прихожу домой и — застаю Вас у меня. Бог знает, что это значит. Говорят, сны надо толковать наоборот. Горе мне, если это

* уличке (франц.) — Ред.

так! Боже мой, до чего я поглупел: сны меня беспокоят, и я ломаю голову над толкованием их! А всё Вы виноваты!

Сегодня жду письма от Вас, в ответ на мое от одиннадцатого октября.¹ Что-то Вы скажете! Впрочем, мое письмо едва ли подействует на перемену Вашего решения: ведь оно было ответом на Ваше письмо от 5 октября. Вот уж половина десятого, а письма не несут. Погода прекрасная, небо чисто, солнце блещет.

Вечером того же дня

Сейчас получил Ваше письмо. Оно меня много обрадовало, и еще более опечалило. Обрадовало потому, что Вы уже, как кажется, не считаете поездку в Петербург для себя почему-то *позорною*; и — что еще для меня приятнее — решились наотрез объясниться с дядею; опечалило меня то, что всё-таки в дяде видите непреодолимое препятствие к отъезду. Мне кажется, что в этом Вы ошибаетесь. Если дело идет только о том, чтобы взять от части позволение на выезд да место в *malleposte* или дилижансе, — почему бы Вам не обратиться к Галахову? Я думаю, он с охотою всё это для Вас сделал бы. Смешно же таиться от него в том, что он и так скоро узнает и в чем нет ничего такого, чего бы не должно было никому знать. Если не Галахов, то Кетчер с удовольствием всё бы сделал. Что это за препятствие!

Опечалило меня и то, что Вы всё думаете, будто я не еду не по невозможности, а по эгоизму или уж и чорт знает почему, чуть не по подлости. Клянусь Вам честью и богом — *я приехать в Москву раньше апреля не имею никакой возможности*. Вы говорите о том, что я поспею, возвращаясь с Вами, к самой поре, когда мне надо будет писать. А знаете ли Вы, что вот уже 20-е число, а я только что сию минуту отослал к Краевскому *три полулистика* статьи для одиннадцатой книжки «Отечественных записок», тогда как по-настоящему вся статья должна была бы быть готова к 15-му числу.² Когда я ее кончу — не знаю — страшно и подумать, а надо кончить, хоть умри. А между тем, кроме статьи-критики, сколько еще надо написать рецензий, заметок, о театре!³ Отчего я так запустил работу? Во-1-х, от болезни, во-2-х, от нашей переписки по вопросу о Вашем приезде, вопросу, который меня изморил всеми смертями. Положим, что я кончил бы всё к 28 и 28 мог бы сесть в дилижанс, — в таком случае я был бы в Москве 2 ноября; меньше недели класть на пробытие в Москве невозможно (ради разных случайностей, которых теперь нельзя и предвидеть), итого я теряю время по *девятое* число да четыре дня на возвратный проезд, итого по 14-е число. Да неужели я

тотчас, приехав с Вами, буду в состоянии после дороги приняться за работу? Вот Вам и статья. Не спорьте со мною: я это дело знаю опытом. Об этом нечего и говорить. Если Вы не употребите всей энергии воли, наше дело отложится до весны — а об этом я думаю, как о ночах, проводимых за префрансом, словом, как о моей гибели. Что Вы там советуетесь с своим священником? Что-то он Вам скажет еще; да еще, сказавши Вам одно, кто поручится, что не заговорит он другого, когда я приеду в Москву? Между тем как в Петербурге всё слажено, всё готово, и нас уже раз окликали, а 24 будут в другой раз окликать. Весь Петербург знает, что я женюсь.

Спасите меня, приезжайте.

Торопитесь объясниться с madame Charpiot — это необходимо — времени терять нечего. Галахов не медля сделает, что от него зависит; а Ваш милый дядюшка — я понимаю, как он Вас любит, — и Вы, право, поступили бы умно, если бы послали его к чорту. Я знаю этот народ. Любя других, они любят самих себя. Знаю я их участие — это страсть к новостям, надежда играть роль в чужом деле.

Ну, Marie, грустно, тяжело мне, и теряю я надежду. Зачем я не умер или не сошел с ума! Спасите меня, но вместе с тем не забывайте и себя, ибо худо Вам — мне хорошо быть не может.

Ваш В. Белинский.

244. М. В. ОРЛОВОЙ

⟨22—23 октября 1843 г. Петербург.⟩
Октябрь 22.

Тяжело и грустно, а, кажется, надо расстаться с прекрасною мечтою Вашего приезда в Петербург; до сих пор надежда не оставляла меня, но полученное сегодня мною письмо сразило меня совсем, так что я прибег к мере, о которой и думать не смел: говорил с Краевским о том, чтобы мне ехать. Если достану денег в продолжение этих трех дней, поеду. Хотя эта поездка Краевскому горше редьки,* однако он был так добр, что хотя и нехотя, а сказал: «Что ж делать». Хотя и мне самому по разным причинам и отношениям поездка эта уж как тяжела и горька, но Ваше спокойствие для меня дороже всего. Притом же мысль об отсрочке, когда всё я же должен буду приехать, еще хуже мысли о поездке. Но как ехать? Ваш священник, ничего не видя, уже делает нелепые

* Далее зачеркнуто: да и мне то ⟨нраб.⟩

требования: каким образом и по какому праву мой священник удостоверит его, что я не женат? Да как же и почему он это знает? Если я могу* обмануть на этот счет Вашего священника, то кто же мне помешает обмануть моего? Такого рода свидетельство берется где-нибудь за подписью двух-трех знакомых; стало быть, я могу взять его и в Москве. Это раз. Потом, чтобы оклики не наделали хлопот. Что ж если я приеду да один и уеду — это будет очень невесело. Потом, надо заранее выслать к Вашему священнику свидетельство от моего, что я был у исповеди и причастия. Когда мне выслать? — Я привезу его с собою — некогда — ведь если ехать, так числа 27—28. Наконец, какого еще этому попу нужно свидетельства, что я грекороссийского исповедания? Где я ему возьму его! Всё что-то не так — по-московски и по-идиотски: в Петербурге ничего этого не нужно.

А к довершению всего, — я не достал еще денег — не такое теперь время. Есть надежда дня через три получить их, но надежды бывают часто не надежны. Если не получу, — то, разумеется, и не приеду. Таково мое положение, что если 1-го или 2-го числа не буду уже в Москве, то нельзя и ехать, потому что иначе декабрьская книжка останется без статьи. Если достану денег, поеду, ничего не изготовив к Вашему приему, — да это, я знаю, для Вас ничего, и я сам так думаю — сделать бы главное-то дело, а там понемногу всё само собою уладится. Если приеду, то привезу с собою женщину, без которой Вам и со мной пуститься в путь было бы не совсем хорошо.

При этом я помню Ваше слово: что шутовских церемоний, обеда у дядюшки, шампанского и поздравлений не будет. Не могу без содрогания подумать и о том, что буду представлен m-me Charriot, до которой мне нет никакого дела, и Вашему дядюшке, которого от души ненавижу и проклинаю.

Ваше письмо очень огорчило меня, но я заслужил его, и потому на Вас и не жалею. Я во многом виноват перед Вами и охотно сознаюсь в этом. Будьте добры, великодушны и забудьте нашу ссору — клянусь Вам, она была и первую и последнюю. Я сам глубоко страдал, а потому и действовал, как сумасшедший. Да и Вы не совсем правы, и я виню Вас в том, что Вы писали ко мне противоречащие одно другому письма: то соглашались на приезд в Петербург, то говорили о нем с ужасом, как о деле невозможном. Вот и предпоследнее письмо порадовало было меня этою надеждою; а от такой надежды — поверьте — не легко отказаться. Прискорбен мне показался Ваш упрек, будто я требую Вашего приезда в Петербург, как

* Первоначально: решушь

доказательства Вашей ко мне любви. Если бы это было так, я был бы глуп и пошл, как повесть Марлинского, стихотворение Бенедиктова. У меня и мысли не было испытывать Вашу любовь ко мне. Я верю ей и без испытания и знаю Вам цену. Сравнение Вас с Арм<ance> не могло не оскорбить Вас по грубому тону, с каким я его сделал; но в сущности оно несколько не обидно для Вас, Арм<ance> имеет перед Вами великие преимущества, как иностранка и, в особенности, как французенка; в этом отношении Вы, как русская женщина, дитя перед нею. Но у Вас есть свои стороны, которые делают Арм<ance> ребенком перед Вами и за которые Вас нельзя не ценить дорого. Вот и всё; надеюсь, что это для Вас не обидно. Дайте руку Вашу, бедный друг мой, и помиримся. Вы так много страдали, — и я был причиною Вашего страдания. О, если бы Вы знали, как жестоко был я наказан за это. Не говорите мне, что бывают минуты, когда Вам досадно на себя, что Вы любите меня, — не говорите мне этого — это огорчает меня, потому что я люблю Вас, потому что мне дорога Ваша любовь. О, верьте мне, что я люблю Вас, так, как я верю Вам, что Вы любите меня. В это последнее время мое чувство к Вам с честью выдержало строгий экзамен в моих собственных глазах. Мне тем тяжелее думать о том, что я заставил Вас страдать, что вся наша ссора вышла из недоразумений и недоумений. Я не верил Вам, будто Вы не можете ехать, а думал, что не хотите по уважению к предрассудкам; а Вы не верите мне, будто я не могу ехать, и думали, что не хочу по прихоти, деспотизму и бог знает еще чему. Мы оба были неправы. Верьте мне, я вспыльчив и бешен, но не зол, и в моей натуре много мягкости и даже нежности скрывается под грубою внешностью. Ваше влияние и Ваша власть надо мною будут безграничны. Я еще мог воевать с Вами заочно, но в глаза — увидите, какой я буду трус. Да простит меня в моих прегрешениях и m-Ne Agrippine.*...

Действуйте, пожалуйста, осмотрительнее и устройте так, чтобы я не даром прокатился к Вам в Москву. Разумеется, если бы, сверх чаяния, я получил от Вас на днях письмо, что Вы едете, то уж не поеду, а буду Вас дожидаться. Если же я поеду, то уже мне некогда будет дожидаться Вашего ответа на это мое письмо, которое Вы получите в среду, 27-го октября.

Не знаю, достану ли денег, а между тем пишу статью и все мои работы для ноябрьской книжки могу кончить во вторник только при усиленном труде. Вот отчего, если и достану денег, приготовлений никаких не сделаю — будет некогда, если поеду. Если же ни Вам ко мне, ни мне к Вам не удастся приехать в ноябре, — не грустите и не огорчайтесь: все

* Далее отрезано пол-листа.

силы употреблю, чтоб приехать на праздниках, декабря 28-го, и уехать с Вами генваря 2-го или 3-го. Буду ждать терпеливо.

Ваш В. Белинский.

Октября 23.

Сегодня ожидал от Вас письма, но вот уже 10 часов, а его нет, как нет. Правда, что я фатальный. Но всему прочему надо же было, чтобы Краевский так некстати и так тяжело заболел. Доктора давали ему только шесть часов жизни и никак не думали, чтобы он остался жив. Скажите сами: до того ли тут было, чтобы толковать с ним о моих делах, о деньгах и отъезде? Не больше трех дней, как с ним мог я начать, и то исподволь, подобные разговоры. Сколько потерянного времени, и какого времени — ужас! Но — повторяю Вам — если не успеем до поста, — так и быть, потерпим до праздников, тогда я непременно приеду на неделю.

Вероятно, завтра получу от Вас письмо или уж непременно в понедельник (25), и если бы, сверх чаяния, в этом письме было что о Вашем твердом намерении или хоть надежде ехать одной, — я, разумеется, приостановлюсь, если и достану денег. Насчет денег — проклятое обстоятельство — *первого ноября* я получу их наверное, но ведь, если ехать, надо иметь в руках завтра или послезавтра.

Вчера кончил большую статью для ноябрьской книжки — осталась мелочь, но эта мелочь мучит больше всего. Так скучно возиться с нею.¹

Здоровье мое в вожделенном состоянии, а об Вашем что-то мне очень тревожно думается, а всё мои проклятые письма! О, будьте спокойны, я смотрю на всё худое в прошедшем, как на дурной сон, который пророчит хорошую действительность наяву. Много бы хотелось сказать Вам, Marie, да как-то всё не идет с души, — может быть, потому именно, что она слишком полна. Прощайте. Ах да! Нельзя на меня слишком сердиться, что я не берегусь — Петербург такой город, что не убережешься. Я думаю, у Вас в Москве теперь уж чуть не зима, а у нас чуть не лето, но лето холодное, сырое, скверное. Прощайте.

Ваш В. Б.

245. М. В. ОРЛОВОЙ

<25 октября 1843 г. Петербург.>

Октября 25.

Фатальное мое счастье не перестает меня преследовать: третьего дня я опять почувствовал лихорадочный жар, а

вчера разболелся не на шутку и* провел мучительнейший вечер до часу ночи. Но благодетельный доктор, каким(-то) адским снадобьем произведя во мне сильную испарину, тошноту и рвоту, сделал то, что сегодня поутру я нахожу себя в состоянии не только написать к Вам письмо, но и приняться за окончание прерванной работы.

Вчера получил Ваше письмо. Половина его заставила меня испытать тяжелое чувство, которого характера и определить не могу. Хуже всего в этом чувстве было сознание, что Вы имели полное право усомниться в моем к Вам чувстве и дать вкрасться в Вашу душу сомнению насчет искренности моего к Вам поведения касательно вопроса о поездке. Потом мне пришла в голову мысль, — неужели она в моих последних двух письмах, особенно в предпоследнем, не могла или не хотела увидеть, что если я наделал глупостей, то хорошо и наказан за них. Надо сказать, что письмо Ваше было принесено часа в 4, когда я лежал весь в огне. Прочтя далее, я, несмотря на болезнь, чуть не заплакал от чувства умиления и радости. Слава богу! кончилась эта дрянная история, и кончилась лучше, нежели как я заслуживал. Забудем о ней.

Насчет моей поездки — кажется, что я еду в четверг или в пятницу. Есть сильная надежда завтра или послезавтра иметь деньги в руках — этим известием я был порадован вчера еще, и думаю, что оно много подействовало на мое выздоровление.

Не можете представить, как совестно и больно мне за мою грубую выходку против Агр(афены) Вас(ильевны).¹ Я уверен, что она уже простила меня по своей доброте и из уважения к моему сумасшествию; но прошедшего-то страдания этим не воротить. Вот всё-то на свете готов сделать, чтобы изгладить из ее ума впечатление моего неделикатного поступка: готов для этого, если бы она потребовала этого, влюбиться в Вашу тетеньку и строить ей куры — нет! больше — трижды и плотно поцеловать Вашу чахоточную родственницу, которая так тонко показала различие между искусством и скромною пищею. По праву будущего — и, кажется, близкого — родства целую прелестные ручки m-lle Agrippine — в отношении ее я нисколько не намерен отказываться от прав моего родства — и еще раз прошу ее отпустить мне мой тяжкий грех.

Ну, больше писать не о чем. Надеюсь, это мое последнее письмо к Вам, или — много, если *предпоследнее* — напишу дня через два к Вам строк пять, чтобы Вы знали, что я совершенно здоров и что я точно еду в Москву.

Сегодня же прошу моего знакомого похлопотать о перемене имеющегося у меня свидетельства об исповеди и причас-

* *Далее зачеркнуто: сегодня*

тии, писанного на простой бумаге, на свидетельство на гербовой бумаге. Если успею, вышлю его дня за два до отъезда, а не успею, привезу с собою. Свидетельство о грекороссийском исповедании — лишнее: кто бывает на исповеди у русского священника, тот, конечно, не лютеранского исповедания. Да и притом же об исповедании удостоверяет только консисторское свидетельство о рождении и крещении, а я уже говорил Вам, что все мои бумаги в пензенском депутатском собрании. Что я не женат, в этом могут поручиться двое, трое знакомых, петербургских или московских — всё равно.

Прощайте, Marie. Не сочтите этого письма холодным: я чувствую еще немного тоски болезни, а притом же, предчувствуя близость свидания с Вами и видя у себя на носу столько хлопот, я как-то потерял способность быть экспансивным. Ваш, моя милая Marie,

В. Белинский.

Доктор мою новую болезнь приписывает не столько простуде, сколько желчи вследствие нравственного раздражения.

246. М. В. ОРЛОВОЙ

<27 октября 1843 г. Петербург.>
Октября 27, среда.

Сегодня поутру работаю сплеча — вдруг гость — ба! Кетчер! Итак, у Вас, Marie, одним знакомым в Петербурге больше. Он сейчас заговорил об Вас и о нашем деле. Он думал, что Вы едете в Петербург, и хвалил Вас за это; узнавши от меня, что наоборот, начал бранить. Настоящий дядюшка в комедии или романе.

Я здоров совершенно; завтра выхожу с докторского разрешения. Деньгами надулся — достал наполовину меньше того, сколько надеялся; но делать нечего — хоть потянусь, а уж кончу главное-то. Я еду — это решено, и это письмо — последнее мое письмо к Вам. Когда я еду — сам не знаю. Хотелось бы в воскресенье, если успею; но уж никак не позже 2-го ноября. Хлопот полон рот. Сию только минуту (20 минут одиннадцатого часа ночи) дописал последнюю строку для ноябрьской книжки «Отечественных записок»¹ и тотчас же принялся за письмо к Вам. Рука ломит от держанья пера, и пишу через силу.

Слова два о Вашем дядюшке. Я знаю, Вы себя и вообще нашу историю считаете причиною его болезни (от которой

желаю ему от всей души скорее выздороветь — бог с ним: я бешен, но не злопамятен). Кетчер совсем иначе объяснил мне его болезнь. Вот его слова: «Ее дядя — неумолимый взяточник, впрочем, в нем есть свои хорошие и даже человеческие стороны; ему велели подавать в отставку — и вот причина его болезни, которую он с умыслу сваливает на *ее* упорство ехать в Петербург».

Я бы этого не написал к Вам, Marie, если б не знал, что Вы страдаете, считая то меня, то себя виною болезни Вашего дядюшки.

Ждите меня, Marie, и будьте здоровы. Вы скоро увидите
Вашего В. Белинского.

Письмо это пойдет к Вам завтра, октября 28.

247. М. В. ОРЛОВОЙ

⟨30 октября 1843 г. Петербург.⟩
Октября 30.

Сейчас получил Ваше письмо. Я ждал его и потому медлил брать билет. Так как поездка во всех отношениях расстроила бы дела мои (особенно в денежном отношении), то я и без ума от радости, что Вы едете, благословляю Вас и путь Ваш. О, если бы Вы знали, сколько Вы делаете для меня этою поездкою и какие новые права приобретаете ею на меня и жизнь мою!¹ Прощайте. Ваш

В. Белинский.

248. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1844, апреля 12.

Наконец-то собрался я, любезный Дмитрий, отвечать тебе. Вот уж подлинно — спустя лето в лес по малину; но что мне с собою делать? Первое письмо твое¹ повергло меня в такую апатию. что я махнул рукою на всё и проклял мое дворянство, которое пришлось мне солонее <и> хуже всякого мешанства, но которым тем не менее я всё-таки еще не пользуюсь и едва ли буду когда пользоваться. Писать к дворянскому предводителю Никифорову — да как и по какому праву стану я писать к человеку, которого совсем не знаю? И о чем буду я просить его? Если мое дело законное, он и без моей просьбы должен за честь себе поставить сделать его; если оно не законно, — как же буду я просить его сделать *для меня* то, чего он не должен делать? И что я ему, что он для меня должен делать то, чего не должен делать? Чувствую сам, что всё это вздор, но что ж мне делать с моим характером, который таков, что теряется и дрожит среди наших общественных условий? Потом, обещагь Волкову помещение его сочинения в «Отечественных записках» было бы с моей стороны явным надувательством, тем более что это помещение от меня нисколько не зависит. Я сотрудник, работник в журнале, но отнюдь не издатель и не распорядитель этого журнала. Мое мнение иногда может иметь вес в редакции, но мнение прямое и честное; а всякого другого у меня неостанет ни охоты, ни духу высказать вследствие каких-нибудь не касающихся до журнала расчетов. Впрочем, всё это ты сам хорошо понимаешь, как то и видно из твоего письма. Вот почему я пришел в такую апатию в отношении к моему злополучному дворянству, что никак не мог принудить себя взяться за перо, чтобы отвечать тебе.

Через месяц времени после первого письма твоего приехал в Питер один хороший мой знакомый, Алексей Алексе-

евич Тучков, уездный предводитель дворянства в Инзаре,² кажется, стало быть, нам с тобою земляк по губернии. Я сообщил ему мое горе, и он сказал, что это вздор, потому что он хорошо знает и Никифорова, и Волкова, и всех, и что ему ничего не будет стоить попросить всех, кого нужно, не опасаясь получить отказ. Я было воскрес. Но лишь уехал Тучков, как я получил твое второе письмо,³ которое совсем положило меня влоск. Что это за герольдия, где она — на небесах или в Америке, когда поступит в нее мое дело, что мне тут делать — ничего не знаю, хоть зарежь.⁴ Вот всё, что могу тебе сказать об этом несчастном деле. Много и премного благодарен Петру Петровичу и Николаю Петровичу — они сделали всё, что имели доброту и снисхождение взять на себя и что в их силах и возможности было сделать. О тебе нечего и говорить: мне с тобою век не разблагодариться, потому что за услуги и одолжения еще можно отблагодариваться, а за расположение, любовь и дружбу нельзя. Во всем остальном, касающемся до моего дворянства, приходится возложить упование на аллаха.

Ты, конечно, слышал, что я женился и, верно, знаешь (от Галахова) на ком, стало быть, об этом нечего и распространяться. Заочные знакомства и поклоны — не иное что, как китайские церемонии, которые и смешны и скучны: поэтому и не почитаю за нужное посылать тебе и жене твоей поклонов и приветствий от моей жены. Если бы случай свел тебя и твою жену с моею, я уверен, что она так же бы полюбила вас, как и вы ее; а до тех пор вы для нее, а она для вас — образы без лиц. Я держусь того мнения (и уверен, что ты будешь в этом согласен со мною), что любить или не любить можно только того, кого видишь, слышишь и знаешь. Вот почему я не счел (следуя китайским обычаям) за нужное и важное разослать родственникам и приятелям циркуляры с уведомлением о вожделенном вступлении в законный брак. Я думаю, что это дело важно для одного меня. Конечно, ты принял бы в нем самое дружеское участие, если бы мы жили в одном городе, но как мы живем далеко друг от друга, то нечего об этом и толковать. Если тебя интересуют подробности насчет моей жены, обратись к Галахову — он давно ее знает, и знает хорошо. О сем событии извести своих стариков.

Жаль, что я собрался писать к тебе именно в такое время, когда у меня дела по горло; а то надо бы мне отписать к Петру Петровичу и просить его, ради всего святого, войти в положение бедного Никанора и подвигнуть (если есть к этому какая-нибудь возможность) брата Константина выслать Никанору послужной список нашего отца: у бедного от этого вся служба идет не в службу. Бог судья Константину, а он поступает с Никанором не по-братски, да и не по-человечески. Вся на-

дежда на Петра Петровича. Попроси его, а я как-нибудь и сам соберусь к нему написать. Адресовать бумагу можно в штаб Грузинского гренадерского полка, в Тифлис. Хотя Никанор перешел в действующий полк (что мне очень в нем понравилось, как признак бодрости, души и сердца), но из Тифлиса перешлет начальство, куда следует.

Очень рад, что место в Воспитательном доме поправило твои обстоятельства. Желаю тебе всяких успехов. Леоноре Яковлевне низко кланяюсь, ребятшек твоих целую всех, особенно моего любимца — как бишь его — вот имя-то и забыл (чего, брат, скоро свое собственное буду забывать), — я бы готов был отнять его у тебя. Мой адрес: *в доме Лопатина, на Невском проспекте, у Анчикина моста, № 47.*

Алешу лобызая и в нос и в переносицу. Хочется мне послать ему какую-нибудь картинку — и потому приискиваю.

249. Т. А. БАКУНИНОЙ

< 5 декабря 1844 г. Петербург.>

Я так виноват перед Вами, что у меня недостает духу и извиняться. Заставить Вас написать ко мне третье письмо, не получив ответа на два первые, — это уже не просто невежество, а подлость.¹ Что делать? Русский человек — и мне приличнее обращаться с лошадьми, нежели с дамами. То болен (а я, действительно, с самого лета так болен, как еще никогда не бывал), то дела по горло, то не в духе, а главное — проклятая журнальная работа — этот источник моего нездоровья и физического и нравственного, — то, наконец, и сам не знаю почему, но только не мог приняться за перо. С некоторого времени я со всеми таков в отношении к письмам. Но Вы так добры и, верно, простили меня, не дожидаясь извинений. Книгу я Вам послал, и Вы получили ее.² Что касается до детского журнала, — это такая комиссия, которая хоть кого так поставит в тупик. У нас два издания в этом роде — «Библиотека для воспитания» (в Москве) Семена³ и «Звездочка» (в Питере) Ишимовой.⁴ — Которое же из них лучше, спросите Вы? — Оба хуже, отвечаю я Вам. «Библиотека» сначала пошла было не дурно; но теперь сю заправляет Шевырев с братиею, и из нее вышло пономарское издание. «Звездочка» всегда была дрянью. Так выбирайте сами. Если хотите «Библиотеку», так выпишите ее прямо из Москвы; если «Звездочку», то напишите ко мне. «Звездочка» издается вдвойне, одно отделение для детей малолетних, другое — для детей повозрастнее. Каждое отделение особенно стоит, с пересылкою, кажется, четыре руб-

ли серебром, оба вместе, кажется, *семь* рублей серебром с пересылкою. Ваших денег у меня осталось, за вычетом за книгу, ее пересылку и за комиссию книгопродавцу, шесть рублей семьдесят пять копеек с денежкой серебром. Этого достаточно, если Вы захотите выписать и оба отделения «Звездочки». В таком случае, я думаю, лучше Вам выписывать ее на будущий 1845 год. Если решитесь так — уведомьте, и с января Саша⁵ будет ежемесячно получать журнал.

Поздравляю Александру Александровну с замужеством,⁶ а Николая Александровича с дочерью.⁷ Я давно уже не имею никакого известия о его усах и очень рад, узнавши, что он сделался *pater familiae*.^{*} Теперь он настоящий помещик.

С глазами Т<ургенева> было что-то вроде припадка, но без всяких дурных следствий. Здоровьем он, как Вам известно, не крепок; но это не мешает ему жить, т. е. ничего не делать и быть больше веселым, нежели скучным. Он теперь весь погружен в итальянскую оперу и, как все энтузиасты, очень мил и очень забавен.

Что касается до Ваших извинений, что Вы меня беспокоите Вашими поручениями,— я чуть не заплакал от стыда, читая их: моим грубым молчанием я подал Вам основательную причину думать, что Ваши поручения могут мне быть в тягость. Делать нечего — надо принять это, как заслуженное наказание.

Кланяюсь Вам и всем Вашим. Будьте здоровы и счастливы, особенно здоровы, потому что без здоровья невозможно и счастье. Прощайте, Татьяна Александровна, и не забывайте никогда не забывающего Вас и всегда преданного Вам

В. Белинского.

СПб. 1844, декабря 5.

250. И. С. ТУРГЕНЕВУ

<Около 13 декабря 1844 г. Петербург.>

И звезды вечные высоко над землею
Торжественно неслись в *надменной тишине*.

Что такое: надменная тишина?— Великодушный кисель? Насупленные, седые, густые брови — всё равно, но с одним из двух последних эпитетов стих ловчее и звучнее.

Стр. 12, стих 4: *птица испуганная*; в русском языке нет

^{*} отцом семейства (*латин.*).— *Ред.*

глагола *вспугать*, а есть глагол *спугнуть*; поставьте: *птица спугнутая*.

Стр. 20: *обильной* (?) матери людей; изысканно и темно.¹ А между тем, что за чудная поэма, что за стихи! Нет правды ни на земле, ни в небесах,— прав Сальери: талант дается *гулякам праздным*.² В эту минуту, Тург<енев>, я и люблю Вас и зол на Вас...

251. А. И. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1845, января 26.

Спасибо тебе, добрый мой Герцен, за память о приятеле. Твои письма всегда доставляют мне большое удовольствие. В них всегда так много какого-то добродушного юмору, который хоть на минуту выведет из апатии и возбудит добродушный смех. Только при последнем письме я немного подосадовал на тебя. В одно прекрасное утро, когда в одиннадцать часов утра в комнате было темно, как в погребке, слышу звонок — кухарка (она же и камердинер) докладывает, что меня спрашивает г. Герц.¹ У меня вздрогнуло сердце: как, Герцен? быть не может — субъект запрещенный, изгнанный из Петербурга за вольные мысли о бутюшниках,² — притом же он оборвал бы звонок, залился бы хохотом и, снимая шубу, отпустил бы кухарке с полсотни острот — нет, это не он! Входит юноша с московским румянцем на щеках, передает мне письмо и поклоны от Г<ерце>на и Гр<ановско>го. Распечатываю письмо, думая, что первые же строки скажут мне, что за птица доставитель письма. Ничуть не бывало — о нем ни слова! Вести г. Герца о лекциях Шевырки, о фуроре, который они произвели в *зернистой* московской публике, о рукоплесканиях, которыми прерывается каждое слово этого московского скверноуста, — всё это меня не удивило нисколько; я увидел в этом повторение истории с лекциями Грановского.³ Наша публика — мещанин во дворянстве: ее лишь бы пригласили в парадно освещенную залу, а уж она из благодарности, что ее, холопа, пустили в барские хоромы, непременно останется всем довольною. Для нее хорош и Грановский, да недурен и Шевырев; интересен Вильмен,⁴ да любопытен и Греч. Лучшим она всегда считает того, кто читал последний. Иначе и быть не может, и винить ее за это нельзя. Французская публика умна, но ведь к ее услугам и тысячи журналов, которые имеют право не

только хвалить, но и ругать; сама она имеет право не только хлопать, но и свистать. Сделай так, чтобы во Франции публичность заменилась авторитетом полиции и публика в театре и на публичных чтениях имела бы право только хлопать, не имела бы права шикать и свистать: она скоро сделалась бы так же глупа, как и русская публика. Если бы ты имел право между первою и второю лекциею Шевырки тиснуть статейку⁵— вторая лекция, наверное, была бы принята с меньшим восторгом. По моему мнению, стыдно хвалить то, чего не имеешь права ругать: вот отчего мне не понравились твои статьи о лекциях Гр<ановско>го.⁶ Но довольно об этом. Москва сделала, наконец, решительное пронунциаменто:⁷ хороший город!⁸ Питер тоже не дурен. Да и всё хорошо. Спасибо тебе за стихи Яз<ыкова>.⁹ Жаль, что ты не вполне их прислал. Пришли и пасквиль. Калайдович,¹⁰ доставитель этого письма (очень хороший молодой человек, которого, надеюсь, вы примете радушно), покажет вам пародию Некрасова на Яз<ыкова>.¹¹ Во-1-х, распространите ее, а во-2-х, пошлите для напечатания в «Москвитяин». Теперь Некр<асов> добирается до Хомякова.¹² А что ты пишешь Краевскому, будто моя статья не произвела на ханжей впечатление и что они гордятся ею,— вздор;¹³ если ты этому поверил, значит, ты плохо знаешь сердце человеческое и совсем не знаешь сердца литературного — ты никогда не был печатно обруган. Штуки, судырь ты мой, из которых я вижу ясно, что удар был страшен. Теперь я этих каналов не оставляю в покое.

Кетчер писал тебе о парижском «Ярбюхере», и что будто я от него воскрес и переродился. Вздор! Я не такой человек, которого тетрадка может удовлетворить. Два дня я от нее был бодр и весел,— и всё тут. Истину я взял себе— и в словах *бог* и *религия* вижу тьму, мрак, цепи и кнут, и люблю теперь эти два слова, как следующие за ними четыре. Всё это так, но ведь я попрежнему не могу печатно сказать всё, что я думаю и как я думаю. А чорт <ли> в истине, если ее нельзя популяризировать и обнародовать? — мертвый капитал.¹⁴

Цена, объявленная вами Кр<аевско>му за статьи, показалась ему дорогою. В самом деле, уж и вы — нашли кого прижимать и грабить — человек бедный — у него всего дохода в год каких-нибудь тысяч сто с небольшим.

Кланяюсь Наталье Александровне и поздравляю ее с новорожденною.¹⁵ Жена моя также кланяется ей и благодарит ее за ее к ней внимание. Что, братец, я сам, может быть, весною буду *pater familiae*:* ; жена моя в том *счастливом* поло-

* отцом семейства (латин.).— Ред.

жении, в котором королева английская Виктория каждый год бывает по крайней мере два или три. Гр<ановско>му шепелявому не кланяюсь, потому что мои письма к тебе суть письма и к нему. Милому Коршу и его милому семейству чиню челобитье великос; воображаю, что его сын Федя¹⁶ теперь молодец хоть куда, а летом 43 года был такой слюнй, и это была его, а не моя вина, хоть его маменька и Марья Федоровна и сердились на меня, что я находил его не похожим на Аполлона Бельведерского. Михаилу Семеновичу, знаменитому Москалю-Чаривнику — уж и не знаю, что и сказать.¹⁷ Да, что делает Армансе?¹⁸ Жена моя давно уже ответила на ее последнее письмо, а от нес нет никакой вести; она беспокоится, что ее письмо к А<рмансе> не дошло по адресу.

А ведь Аксаков-то — воля ваша — если не дурак, то жалко ограниченный человек. Затем прощай. Твой и ваш

В. Белинский.

252. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

<Около 10 июня 1845 г. Петербург.>

Достоевский, душа моя (бессмертная)¹ жаждет видеть Вас. Приходите, пожалуйста, к нам, Вас проводит человек, от которого Вы получите эту записку. Вы увидите всё наших, а хозяина не дичитесь, он рад Вас видеть у себя.²

В. Белинский.

253. А. И. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1846, января 2.

Милый мой Герцен, давно мне сильно хотелось поговорить с тобою и о том, и о сем, и о твоих статьях «Об изучении природы»,¹ и о твоей статейке «О пристрастии»,² и о твоей превосходной повести, обнаружившей в тебе новый талант,³ который, мне кажется, лучше и выше всех твоих старых талантов (за исключением фельетонного — о г. Ведрине, Ярополке Вод<янском>⁴ и пр.), и об истинном направлении и значении твоего таланта, и обо многом прочем. Но всё не было то случая, то времени. Потом я всё ждал тебя, и раз опять испытал понапрасну сильное нервическое потрясение по поводу прихода г. Герца, о котором мне возвестили, как о г. Герцене.⁵ Наконец слышу, что ты собираешься ехать не то будущей весною, не то будущей осенью. Оставляя всё прочее до другого случая, пишу теперь к тебе не о тебе, а о самом себе, о собственной моей особе. Прежде всего — твою руку и с нею честное слово, что всё, написанное здесь, останется впредь до разрешения строго тайной между тобою, Кетчером, Грановским и Коршем.

Вот в чем дело. Я твердо решил оставить «Отечественные записки» и их благородного, бескорыстного владельца.* Это желание давно уже было моею *idée fixe*;** но я всё надеялся выполнить его чудесным способом, благодаря моей фантазии, которая у меня услужлива не менее фантазии г. Манилова, и надеждам на богатых земли.⁶ Теперь я увидел ясно, что всё это вздор и что надо прибегнуть к средствам, более обыкновенным, более трудным, но зато и более действительным. Но прежде*** о причинах, а потом уже о средствах. Журнальная срочная работа высасывает из меня жизненные силы, как вампир кровь.

* Далее зачеркнуто: Краевского и

** навязчивой идеей (франц.).— Ред.

*** Далее зачеркнуто: нежели по

Обыкновенно я недели две в месяц работаю с страшным, лихорадочным напряжением до того, что пальцы деревенеют и отказываются держать перо; другие две недели я, словно с похмелья после двухнедельной оргии, праздно шатаюсь и считаю за труд прочесть даже роман. Способности мои тупеют, особенно память, страшно заваленная грязью и сором российской словесности. Здоровье видимо разрушается. Но труд мне не опротивел. Я больной писал большую статью «О жизни и сочинениях Кольцова»⁷— и работал с наслаждением; в другое время я в 3 недели чуть не изготовил к печати целой книги, и эта работа была мне сладка, сделала меня веселым, довольным и бодрым духом. Стало быть, мне невыносима и вредна только срочная журнальная работа — она тупит мою голову, разрушает здоровье, искажает характер, и без того брюзгливый и мелочно-раздражительный. Всякий другой труд, не официальный, не ex-officio,* был мне отраден и полезен.** Вот первая и главная причина. Вторая — с г. Кр(ае)вским невозможно иметь дела. Это, может быть, очень хороший человек, но он приобретатель, следовательно, вампир, всегда готовый высосать из человека кровь и душу, потом бросить его за окно, как выжатый лимон. До меня дошли слухи, что он жалуется, что я мало работаю, что он выдает себя за моего благодетеля, который из великодушия держит меня, когда уже я ему и ненужен. Еще год назад тому он (узнал я недавно из верного источника) в интимном кругу приобретателем сказал: «Б(елинский) выписался, и мне пора его прогнать». Я живу вперед забираемыми у него деньгами,— и ясно вижу, что он не хочет мне их давать: значит, хочет от меня отделаться. Мне во что бы то ни стало надо упредить его. Не говоря уже о том, что с таким человеком мне нельзя иметь дела, не хочется и дать ему над собою и внешнего торжества, хочется дать ему заметить, что-де бог не выдаст, свинья не съест. В журнале его я играю теперь довольно поплую роль: ругаю Булгарина, этою самою бранью намекаю,*** что Кр(аевский)— прекрасный человек, герой добродетели. Служить орудием подлецу для достижения его подлых целей и ругать другого подлеца не во имя истины и добра, а в качестве холопа подлеца № 1, — это гадко. Что за человек Кр(аевский) — вы все давно знаете. Вы знаете его позорную историю с Кронебергом.⁸ Он отказал ему и на его место взял некоего г. Фурмана,⁹ в сравнении с которым гг. Кони и Межевич имеют полное право считать себя литераторами первого разряда. Видите, какая

* по обязанности (латин.).— Ред.

** Первоначально: не пил моих сил

*** Первоначально: даю знать

сволочь начала лезть в «Отечественные записки». Разумеется, Кр<аевский> обращается с Ф<урманом>, как с канальею, что его грубой мешанско-проприетерной душе очень приятно. Забавна одна статья его условия с Ф<урманом>: «Вы слышали (говорил ему Кр<аевский> тоном оскорбленной невинности), что сделал со мною Кронеберг?— Я не хочу вперед таких историй, и для этого Вы* подпишетесь на условия, что Ваши переводы принадлежат мне навсегда, и я имею право издавать их отдельно; за это я Вам прибавлю: Кр<онеберг>гу я платил 40 р. асс. с листа, а Вам буду платить 12 р. серебром». Итак, за два рубля меди он купил у него право на вечное потомственное владение его переводами, вместо единовременного, журнального!! Каков?.. А вот и еще анекдот о нашем Плюшкине. Ольхин¹⁰ дает ему 20 р. сер. на плату за лист переводчику Вальтера Скотта; а Кр<аевский> платит им только 40 <руб.> асс., следовательно, ворует по 30 р. с листа (а за редакцию берет деньги своим чередом). Ольхин, узнав об этом, пошел к нему браниться. Видя, что дело плохо, Кр<аевский> велел подать завтрак, послал за шампанским, ел, пил и целовался с Ольхиным, и тот, в восторге от такой чести, вышел вполне удовлетворенным и позволив и впредь обворовывать себя. Чем же Булгарин хуже Кр<аевско>го? Нет, Кр<аевский> во сто раз хуже и теперь в 1000 раз опаснее Булгарина. Он захватил всё, овладел всем. Кр<о>н<е>б<е>рг предлагал Ольхину переводить в «Библиотеку для чтения» (которой Ольхин сделался теперь владельцем),— и Ольхин сказал ему: «Рад бы, да не могу — боюсь, Кр<аевский> рассердится на меня».

Чтобы отделаться от этого стервеца, мне нужно иметь хоть 1000 р. серебром, потому что я забрал у Кр<аевского> до 1-го числа апреля и должен буду до этого времени работать, не получая денег, но зарабатывая уже полученные, а без денег нельзя жить с семейством. Открываются кое-какие виды на 2500 р. асс., остальную тысячу как-нибудь** авось найдем. К Пасхе я издаю толстый, огромный альманах. Достоевский дает повесть, Т<у>рг<е>нев — повесть и поэму, Некр<асов> — юмористическую статью в стихах («Семейство» — он на эти вещи собаку съел), Панаев — повесть; вот уже пять статей есть; шестую напишу сам; надеюсь у*** Майкова выпросить поэмку.¹¹ Теперь обращаюсь к тебе: повесть или жизнь! Если бы, сверх этого, еще ты дал что-нибудь легонькое, журнальное, юмористическое о жизни или российской словесности, или о том и другом вместе, — хорошо бы было!¹² Но я хочу не одного легкого, а потому прошу Гр<ановского> — нельзя ли ис-

* Далее зачеркнуто: дайте мне

** Далее зачеркнуто: между

*** Первоначально: от

торической статьи — лишь бы имела общий интерес и смотрела беллетристически. На всякий случай скажи юному профессору Кавелину — нельзя ли и от него поживиться чем-нибудь в этом роде.¹³ Его лекции, которых начало он прислал мне (за что я благодарен ему донельзя), — чудо как хороши; основная мысль их о племенном и родовом характере русской истории в противоположность личному характеру западной истории — гениальная мысль, и он развивает ее превосходно. Ах, если бы он дал мне статью, в которой* бы он развил эту мысль, сделав сокращение из своих лекций, я бы не знал, как и благодарить его! Сам я хочу написать что-нибудь о современном значении поэзии.¹⁴ Таким образом, были бы повести, юмористические стихотворения и статьи серьезного содержания, и альманах вышел бы на славу. Кстати, попроси К(е)тч(е)ра попросить у Галахова (Ста-Одного) какого-нибудь рассказца — я бы заплатил ему, как и многим из вкладчиков, по выходе альманаха.¹⁵ Теперь о твоей повести. Ты пишешь 2-ю часть «Кто виноват?». Если она будет так же хороша, как 1-я часть, — она будет превосходна; но если бы ты написал новую, другую, и еще лучше, я все-таки лучше бы хотел иметь 2-ю часть «Кто виноват?», чтобы иметь удовольствие заметить в выноске, что-де 1-я часть этой повести была напечатана в таком-то № «Отечественных записок».¹⁶ Понимаешь? Когда я кончу мои работы в «Отечественных записках» начисто, то пошлю в редакцию «Северной пчелы» письмо, прося известить публику, что я больше не принимаю никакого участия в «Отечественных записках».¹⁷ Это произведет свой эффект. Если вы не будете давать ему ни строки, равно как и никто из порядочных людей, может быть, что ему на будущий год пельзя будет и объявить подписки. Впрочем, немудрено, что он и сам давно решил прекратить издание (ведь у него после нынешнего года будет в ломбарде не менее 400 000 асс.), — пусть же кончит срамно; если же нет, то почувствует, что я для него значу, и тогда я предпишу ему хорошие условия.

Итак, вот в чем дело. Отвечай мне скорее. Анекдоты о Кр(аевском) можешь пустить по Москве, только не говори, что узнал их от меня. Но о моем намерении оставить «Отечественные записки»** — пока тайна; кроме того, я хочу разделаться с Краевским политично, с сохранением всех конвенансов и буду вредить ему, как человек *comme il faut*.*** Об альманахе тоже (если можно и сколько можно) держать в секрете. Скажи Кавелину, что его поручение о деньгах выполнить

* Первоначально: но ту

** Далее зачеркнуто: и даже об альманахе (если можно)

*** порядочный (франц.). — Ред.

не могу: в эти дела я давно* уже дал себе слово не вмешиваться, а теперь я с этим канальей тем более не могу говорить ни о чем, кроме, что прямо относится ко мне.¹⁸ Анненков 8 января едет. В Берлине увидится с Кудрявцевым, и, может быть, я и от этого получу повесть.¹⁹ Увидя в моем альманахе столько повестей, отнятых у «Отечественных записок», Кр(аевский) сделается болон — у него разольется желчь. Анн(енков) тоже придет что-нибудь вроде путевых заметок. Я печатаю Кольцова с Ольхиным — он печатает, а барыш пополам: это еще вид в будущем, для лета. К Пасхе же я кончу 1-ю часть моей «Истории русской литературы».²⁰ Лишь бы извернуться на первых-то порах, а там, я знаю, всё пойдет лучше, чем было: я буду получать не меньше, если еще не больше, за работу, которая будет легче и приятнее. Жму тебе руку, Н(а-талии) А(лександровне) также, потом всем тож, и с нетерпением жду твоего ответа.

В. Б.

254. А. И. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1846, января 14.

Наелся же я порядком грязи, поленившись написать тебе мой адрес и думая, что тебе скажет его Кетчер. Вот он: на Невском проспекте, у Аничкина моста, в доме Лопатина, кв. № 43.

Несказанно благодарен я тебе, любезный Герцен, что ты не замедлил ответом, которого я ожидал с лихорадочным нетерпением.¹ Не могу спорить против того, чтобы ты действительно не имел своих причин** не желать отказать Кузьме Рошину² в продолжении и конце твоей повести.³ Делай как знаешь. Но только на новую повесть твою мне плоха надежда.⁴ Альманах должен выйти к Пасхе; времени мало. Пора уже собирать и в цензуру представлять. Цензоров у нас мало, а работы у них гибель, оттого они страшно задерживают рукописи.*** Чтобы ты успел написать новую повесть — невероятно, даже невозможно. Притом же, бросивши продолжать и доканчивать старую, чтобы начать новую, ты**** испортишь обе. Я уверен, что ты не захочешь оставить меня без твоей повести, но данное слово Рошину тоже что-нибудь да значит. Делай как знаешь, а мое мнение вот какое: надо сплутовать. Напиши к нему письмо (пошутливее), что твой пегас охромел и повесть твоя, сначала

* Первоначально: об этих вещах я и прежде

** Далее зачеркнуто: колебаться

*** Далее зачеркнуто: Притом же

**** Далее зачеркнуто: едва

шестая хорошо, пошла вяло, надоела тебе и ты ее бросил до времени. А потом, как я скажу тебе, что пора, напиши к нему, что-де, к крайнему твоему прискорбию, ты никак не мог долго колебаться между обязанностью выполнить слово, данное подлецу и чуждому тебе человеку, и между необходимостью помочь в беде порядочному человеку и приятелю твоему; но что за неустойку ты дашь ему другую повесть — когда-нибудь. Вот и всё. Мое отсутствие из «Отечественных записок» скоро будет заметно, и *когда-нибудь* ты можешь заметить ему, что ты готов быть сотрудником направления, принципа, но не человека, особенно если этот человек — мошенник. Ты сумеешь сказать всё это так, что оно будет понятно, а придраться не к чему. Насчет писем Б(отки)на об Испании — нечего и говорить: разумеется, давайте. Анненков уехал 8 числа и увез с собою мои последние радости, так что я теперь живу вовсе без радостей.

Ах, братцы, плохо мое здоровье — беда! Иногда, знаете, лезет в голову всякая дрянь, например, как страшно оставить жену и дочь без куска хлеба и пр. До моей болезни прошлую осенью я был богатырь в сравнении с тем, что я теперь. Не могу поворотиться на стуле, чтоб не задохнуться от истощения. Полгода, даже 4 месяца за границею, — и, может быть, я лет на пяток или более опять пошел бы как ни в чем не бывал. Но бедность не порок, а хуже порока. Бедняк — подлец, который должен сам себя презирать, как парию, не имеющую права даже на солнечный свет. «Отечественные записки» и петербургский климат докончили меня. С чего-то, по обычаю всех нищих фантазёров, я прошлую весною возложил было великие надежды на Огарева. И, конечно, мои надежды на его сердце и душу несколько не были нелепы; но я уже после убедился, что человек без воли и характера — такой же подлец, как и человек без денег, и что всего глупее надеяться на того, кто по горло в золоте умирает с голоду.⁵

Статьи у Галахова просить не нужно. Это половинчатый человек. В нем много хорошего, но это хорошее на откуп у Давыдова и Козьмы Рощина.⁶ О Кавелине ты говоришь дело: я бы сам не решился взять у него статьи даром. А насчет того, что пишешь ты о деньгах мне, право, мне совестно и больно говорить. Кого я не грабил — даже К(е)тч(е)ра — богатого человека! Ну, да теперь не до того, теперь больше, чем когда-нибудь прежде, я имею право быть подлецом. Что ж делать, свет подло устроен. Уж, конечно, и ты совсем не богач, имеешь нужное, но не лишнее, а Огарев — богач не только передо мною или К(е)тч(е)ром — нищими подлецами, но и перед тобою, человеком, по крайней мере, обеспеченным, следовательно, почти честным; но выходит, что я грабил и граблю не только тебя, но и К(е)тч(е)ра, а не Огарева. Тьфу ты к чорту! да что я пристал

к Ог<ареву>, как будто бы он на то и родился богатым, чтоб быть моим опекуном или богатым дядею. Всё это очень подло, а подло потому, что я нищ и болен, на себя не надеюсь и готов хвататься за соломинку. Не знаю, откуда возьмешь ты 500 рублей, но если можешь достать, то шли скорее: я твердо решил не брать у Кр<аевского> ни копейки.

Пожди за меня крепко руку К<о>ршу и М. С. Щ<епки>ну — ведь они тоже подлецы страшные, как и я, и питаются собственным потом и кровью. М<ихайлу> С<еменовичу> насчет собственного поту и крови еще есть чего лизнуть — толст, потлив и полнокровен; но как К<о>рш до сих пор не съел самого себя — не понимаю.

Прощай. О поклонах* моих Наталье Александровне я решил никогда не писать: она должна знать, что я всегда носом моего сердца обоняю почку розы ее благополучия (я, братец, недавно опять прочел «Хаджи-Бабу» и проникся духом восточной реторики).⁷ А Грановского понукай — нельзя ли хоть чего-нибудь вроде извлечения из его теперешних публичных лекций. Что до участия <в> литературном прибавлении к «Московским ведомостям», — тут для меня нет ничего. Да мне лишь бы на первый-то случай как-нибудь извернуться, а у меня и своей работы пропасть, работы, которая даст мне хорошие деньги. О новом журнале в Питере подумывают многое, имея меня в виду, и я знаю, что мне не дадут и 2-х лет поблаженствовать без проклятой журнальной работы. Прощай.

В. Б.

Вот и еще приписка, в которой еще раз прошу тебя и всех вас держать в тайне это дело, потому что иначе это может мне повредить. От тайны будет зависеть мой перевес над жидом в объяснении с ним — мне надо упредить его. Это не человек, а дьявол, но многое у него — не столько скупость, сколько расчет. Он дает** мне разбирать немецкие, французские, латинские буквари, грамматики; недавно я писал об итальянской грамматике.⁸ Всё это не потому только, чтобы ему жаль было платить другим за такие рецензии, кроме платы мне, но и потому, чтоб заставить меня забыть, что я закваска, соль, дух и жизнь его пухлого, водяного журнала (в котором всё хорошее — мое, потому что без меня ни ты, ни Ботк<ин>, ни Тург<енев>, ни многие другие ему ничего бы не давали), и заставить меня увериться, что я просто — чернорабочий, который берет не столько качеством, сколько количеством работы. Святители! о чем не пишу я ему, каких книг не разбираю! И по части архитектуры

* Первоначально: поклоне

** Первоначально: присылает

(да еще какой — византийской!), и по части медицины. Он сделал из меня вряля, шарлатана, свою собаку, осла, на котором он въезжает в Ерусалим своих успехов. Булгарии ему в ученики не годится. Но что я болтаю — разве всего этого вы не знаете сами?

Портрет Гр<ановско>го вышел у Горб<унова> — чудо из чудес. Твой, о Герцен, очень похож, но никому не нравится. Это не ты — ты должен быть весел, с улыбкою. У ног Зевса я хочу видеть орла; у ног Искандера я хочу видеть ряд бутылок с несколькими, для разнообразия, штофами; при Зевсе должен быть Ганимед, при Искандере — Кетчер, наливающий, подливающий, возливающий и осушающий (ревуций не в зачет — это само по себе). Портрет Натальи Александровны — прелесть; я готов был бы украсть его, если б представился случай. Как хорош портрет Щепкина! Слеза, братец мой, чуть не прошибла меня, когда я* увидел эти старые, но прекрасные в их старости черты; мне показалось, будто он, друзьяка, сам вошел ко мне. Кто хочет убедиться, что старость имеет свою красоту, пусть посмотрит на этот портрет, если не может видеть подлинника. О портретах твоих детей не сужу — Саша изменяется, других я не видал.⁹ Они понравились моей дочери — она пробовала даже их есть, но стекло помешало. Ну, прощайте. Смотрите же — никому, кроме наших близких. Ах, говорят, бедняк Огарев умирает с голоду за границею; что бы вам сложиться по подписке помочь ему: я бы тоже пожертвовал 1 рубль серебром.

255. А. И. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1846, января 26.

Твое решение, любезный Герцен, отдать «Кто виноват? Кр<аевско>му, а не мне, совершенно справедливо. Подлости других не дают нам право поступать подло даже с подлецами.** Но только мне, соглашаясь, что ты прав, приходится волком выть. Я думал, что у меня будет две *капитальные* повести — Достоевского и твоя, — а мне надо брать повестями. Я еще не знаю, успеешь ли ты мне написать две вещицы, которые обещаешь, — уже одно то, что это не повести в *твоем* роде, т. е. с глубокою гуманною мыслию в основе, при внешней веселости и легкости, — важно. Такие вещи, как «Кто виноват?», не часто приходят в голову, а между тем одной такой вещи достаточно бы для успеха альманаха.¹

Как вас всех благодарить за ваше участие, не знаю и не сч-

* Далее зачеркнуто: его

** Далее зачеркнуто: Ты обещал ему, так должен напечатать, что будет <нрзб.> повестью

таю нужным, но не могу не сказать, что это участие меня глубоко трогает. Я раздумался и сознал, что в одном отношении был *вполне* счастлив: много людей любили меня больше, нежели сколько я стоил. Целоваться не с женщинами в наш просвещенный XIX век и глупо и пошло, — так хоть стукни побольше Мих(аила) Семеновича за меня, во изъявление моих к нему горячих чувств.² Статье г. Соловьева очень рад,³ что, однако, не мешает мне печалиться о том, что при ней не будет статьи шепелявого профессора.⁴ И статья была бы на славу и имя автора — всё это, братец, не что-нибудь так. — А всё-таки мне хотелось бы, чтобы Кавелин, о чем бы ни писал, коснулся своего взгляда на русскую историю в сравнении с историей Западной Европы. А то украду, ей-богу, украду — скажи ему. Такие мысли держать под спудом грех.⁵

Удивили и обрадовали меня две строки твои о Станкевиче: «Едет за границу и очень бы желал тебя взять. Стоит решиться». Чего же лучше? Одолжаться вообще неприятно в чем бы то ни было, и одолжать приятнее; но если уже такая доля, то лучше одолжаться порядочными людьми или вовсе никем не одолжаться. Я А(лександра) Ст(анкевича) хорошо узнал в его приезд в Питер, и мне быть одолженным ему будет так же легко, сколько легко быть одолженным всяким человеком, которого много любишь и много уважаешь, и поэтому считаешь близким и родным себе. Мне нужно только знать — как и каким образом, когда, а главное, не стеснит ли это его и не повредит ли хоть сколько-нибудь его отношениям к отцу. Где он? Напиши поскорее, ради аллаха, да кстати скажи ему: нельзя ли де поскорее повестцы или рассказца — он тиснул уже таковой в Питере — на славу.⁶ А сам ты, коли писать для альманаха, так брось сборы и пиши, да и других торопи. Времени мало: просрочить — значит всё испортить. Если Ст(анкевич) едет весною, благодаря альманаху я оставлю семейство не при чем, да и ворочусь ни с чем; если он едет осенью, я, может быть, и своих деньжонок прихвачу, да, пожалуй, еще и так, что чужих не нужно будет, а если и нужно, то немного. Всё это важно.

Пока довольно. Скоро буду писать больше, по okazji. Отрывок из записок М(ихаила) С(еменовича) — вещь драгоценная, я вспрыгнул, как прочел, что он хочет дать. Это будет один из перлов альманаха. Что Кетчер говорил Галахову — ничего: если даст что порядочное, не мешает;⁷ я заплачу — и дело с концом. Об оставлении мною «Отечественных записок» говорить еще не нужно. Мне падо помедлить неделю, другую — не больше.

Прощай. Кланяйся всем и скажи Саше,⁸ что тебе, мол, кланяется

Белинский.

Альманах Некрасова дерет; больше 200 экземпляров продано с понедельника (21 января по пятницу 25-е).⁹

256. А. П. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1846. Февраля 6.

Письмо ¹ и деньги твои (100 р. серебром) получил вчера, любезный мой Герцен, — за что всё не благодарю, потому что это лишнее. Рад я несказанно, что нет причины опасаться не получить от тебя ничего для альманаха, так как «Сорока-воровка» кончена и придет ко мне во-время. А всё-таки грустно и больно, что «Кто виноват?» ушло у меня из рук. Такие повести (если 2 и 3 часть не уступают первой) являются редко, и в моем альманахе она была бы капитальной статьей, разделяя восторг публики с повестью Достоевского («Сбритые бакенбарды»), ² — а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во сне, не только наяву. Словно бес какой дразнит меня этою повестью, и, расставшись с нею, я всё не перестаю строить на ее счет предположительные планы — например: перепечатал бы де и первую часть из «Отечественных записок» вместе с двумя остальными и этим начал бы альманах. Тогда фурорный успех альманаха был бы вернее того, что Погдин — вор, Шевырко — дурак, а Аксаков — шут. Но — повторяю — соблазнителем невинности твоей совести быть не хочу; а только не могу не заметить, кстати, что история этой повести мне сильно открыла глаза на причину успехов в жизни мерзавцев: они поступают с честными людьми, как с мерзавцами, а честные люди за это * поступают с мерзавцами, как с людьми, которые словно во сто раз честнее их, честных людей. Борьба неравная! — Удивительно ли, что успех на стороне мерзавцев? По крайней мере, потешь меня одним: сдери с Рощина ³ рублей по 80 серебром или уж ни в каком случае не меньше 250 асс. за лист. ** Повесть твоя имела успех страшный, и требование такой цены за ее продолжение никому не покажется странным. Отдавая 1-ю часть, ты имел право не дорожить ею, потому что не знал ее цены. Теперь другое дело. Некрасов хочет сделать именно это. Он обещал Рощину повесть еще весной ⁴ и вперед взял у него 50 р. серебром, а о цене не условился. Вот он и хочет просить 250 р. асс. за лист, чтобы отдать ее мне, если тот испугается такой платы, или наказать его ею, если согласится. Чтобы мой альманах <имел> успех *** после «Петербургского сбор-

* Далее зачеркнуто: тем больше

** Первоначально: с листа

*** Далее зачеркнуто: мне

лика», необходимо во что бы ни стало сделать его гораздо толще, не менее 50 листов (можно и больше), а потом — больше повестей из русской жизни, до которых наша публика страшно падка. А потому я повести *Некрасова* — будь она не больше, как порядочна — буду рад донельзя.

Что статья Кавелина будет дьявольски хороша — в этом я уверен, как нельзя больше. Ее идея (а отчасти и манера Кавелина развивать эту идею) мне известна, а этого довольно, чтобы смотреть на эту статью, как на что-то весьма необыкновенное.⁵

Впрочем, не подумай, чтобы я не дорожил твоею «Сорокой-воровкой»: уверен, что это грациозно-остроумная и, по твоему обыкновению, дьявольски умная вещь; но после «Кто виноват?» во всякой твоей повести *не* такой пробы ты всегда будешь без вины виноват. Если бы я не ценил в тебе человека так же много или еще и больше, нежели писателя, я, как Потемкин Фонвизину после представления «Бригадира», сказал бы тебе: «Умри, Герцен!»⁶ Но Потемкин ошибся: Фонвизин не умер, и потому написал «Недоросля». Я не хочу ошибаться и верю, что после «Кто виноват?» ты напишешь такую вещь, которая заставит всех сказать о тебе: «Прав, собака! давно бы ему приняться за повести!» Вот тебе и комплимент и посильный каламбур.

Ты пишешь: «Гранов<ский> *мог бы* прислать из последующих лекций».⁷ Если *мог бы*, то почему же *не пришлет*? Зачем тут *бы*? Статье г. Соловьева я рад несказанно и прошу тебя поблагодарить его от меня за нее.⁸

По экземпляру вкладчикам, по законам вежливости гниющего Запада, дарится от издателя всем, и давшим статью даром и получившим за нее деньги. А отпечатать 50 экземпляров особо той или другой статьи — дело плёвое и не стоящее издателю ни хлопот, ни траты. Но если мой альманах пойдет хорошо (на что я имею не совсем безосновательные причины надеяться), то я не вижу никакой причины не заплатить Кав<ели>ну и г. Соловьеву, — ведь я должен буду получить большие выгоды. Будет с меня и того, что эти люди с такою благородною готовностью спешат помочь мне без всяких расчетов. В случае неуспеха я не постыжусь остаться одолженным ими: зачем же им стыдиться получить от меня законное вознаграждение за труд в случае успеха с моей стороны? Это уж было бы слишком по-московски прекраснодушно. В случае успеха и ты, о Герцен, будешь пьян на мои деньги, да напишешь *редерером* (удивительное вино: я выпиваю его по целой бутылке с большою приятностию и без всякого ущерба здравью) и Кетчера и всех наших; а я в тот самый день (по условию) нарежусь в Питере. По части шампанского Кетчер — мой крестный отец, и я не знаю, как и благодарить его. Ко всем солидным винам (за исключением хереса, к которому чувствую еще не-

которую слабость) питаю полное презрение и, кроме шампанского, никакого ни капли в рот, а шампанское тотчас же после супу. Ожидал ли ты от меня такого прогресса?

Статье г. Мельгунова очень рад — нечего и говорить об этом. Не знаю, что он напишет, но уверен, что всё будет человечески хорошо. Поблагодари его от меня.⁹

А когда Станк(евич) думает ехать? Уведомь. И когда М(ихаил) С(еменович) думает выслать отрывок из записок?¹⁰ Этот гостинец словно с неба свалился мне, — и мне страшно одной мысли, чтоб он как-нибудь не увернулся от меня, и я до тех пор не смею считать его своим, пока не уцеплюсь за него и руками и зубами.

Это письмо пишется к тебе накануне его отправления (5 февраля), а завтра, братец ты мой, посылается к г. Кр(ае)вск(о)му цыдулка с возвещением о выходе из его службы. Думаю, что ответит: как-де хотите; но не считаю невозможным, что, одумавшись, примется и за переговоры. Но ни за что не соглашусь губить здоровье и жизнь на каторжную работу. Надо хоть отдохнуть; а там, если опять запрячься в журнал, то уж в такой, где бы я был и редактором, а не сотрудником только. Уведомь, какой эффект произведет на славенофилов статья во 2 № «Отечественных записок» «Голос в защиту от голоса „Москвитянина“». ¹¹

Пишешь ты: «Сегодня бенефис Щепкина»,¹² а когда было это «сегодня» — аллах ведает — на письме числа не выставлено. Уведомь, как сошел бенефис.

Альманах Некр(асова) — дерет, да и только. Только три книги на Руси шли так страшно: «Мертвые души», «Гарантас» и «Петербургский сборник». ¹³ Эх, как бы моя попала в четвертые! — Письма Б(отки)на получил. ¹⁴

Прощай. Что Кетчер? Как-то недавно во сне я ужасно обрадовался его приезду в Питер и весьма любовно с ним лобызался, но — что очень странно — шампанского не пил. Итак, крестному папеньке крепко жму руку, а равно и всем вам.

Твой В. Белинский.

Какой это Соколов так жестоко отвалил в «Отечественных записках» бедного Ефремова?¹⁵ Жаль даже.

А как бы придумать моему альманаху название попроче и получше? Оно затрудняет меня.

СПб. 1846, февраля 19.

Деньги и статьи получил. ¹ Кетчера ототкнуть и откупорить можешь. Ход дела был чрезвычайный. Я, будто мимоходом, уведомил Рощина, ² предлагавшего мне взять у него денег, что, спасая здоровье и жизнь, бросаю работу журнальную и прошу только добавить мне рублей 50 серебром, остающихся за ним по 1-е апреля. В ответ получаю, что без меня он не может счестся, что, дескать, придите — обо всем перетолкуем. Прихожу. Сцена была интересная. Он явно был смущен. Не знал, как начать — думал шуткою, да не вышло. Он ожидал, может быть, что я намекну о недостаточности платы, а я холодно и спокойно заговорил о жизни и здоровье. «Да ведь надо же работать-то». — «Буду делать, что мне приятно и не стесняясь срочностью». — «Гм! Как же это? Надо подумать об „Отечественных записках“. Что делает Кронеберг?» — «Не знаю». — «Гм! а Некрасов?» и т. д. Наконец: «Не знаете ли кого?» Вообще был сконфужен сильно; но опасности своей не понимает — это ясно. Он смотрит на меня не как на душу своего журнала, а как <на> работающего вола, которого трудно заменить, по потеря которого всё же не есть потеря всего. Видите ли: он не только скуп, но и туп в соразмерности. Теперь понятно, что, платя мне безделицу, он искренно считал себя моим благодетелем. В апреле едет в Москву — кажется, переманивать в Петербург Галахова. Желаю успеха. Сначала я решился отказаться по чувству глубокого оскорбления, глубокого негодования; а теперь у меня к нему нет ничего. Быть с ним вместе мне тяжело, потому что я не способен играть комедию; но вот и всё. Ты пишешь, что не знаешь, радоваться или нет. Отвечаю утвердительно: радоваться. Дело идет не только о здоровье — о жизни и уме моем. Ведь я тупею со дня на день. Памяти нет, в голове хаос от русских книг, а в руке всегда готовые общие места и казенная манера писать обо всем. Ты прав, что пьеса Некрасова «В дороге» превосходна; ³ он написал и еще несколько таких же и напишет их еще больше; но он говорит, это оттого, что он не работает в журнале. Я понимаю это. Отдых и свобода не научат меня стихи писать, но дадут мне возможность писать так хорошо, как дано мне писать. А то ведь я давно уже не пишу <...>, давно я литературный онанист. Ты не знаешь этого положения. А что я могу прожить и без «Отечественных записок», может быть, еще лучше, это, кажется, ясно. В голове у меня много дельных предприятий и затей, которые при «Отечественных записках» никогда бы не выполнились, и у меня есть теперь имя, а это много.

Твоя «Сорока-воровка»* отзывается анекдотом, но рассказана мастерски и производит глубокое впечатление. Разговор — прелесть, умно чертовски. Одного боюсь: всю запретят. Буду хлопотать, хотя в душе и мало надежды. Мысль записок медика — прекрасна,⁴ и я уверен, что ты мастерски воспользуешься ею. Статья «Даниил Галицкий» — дельный и занимательный монограф, мне очень нравится. Ведь это г. Соловьева? Почему он не выставил имени? Узнай стороною и уведомя. О статье Кавелина нечего и говорить — это чудо. Итак, вы, ленивые и бездеятельные москвичи, оказались исправнее наших петербургских скорописцев. Спасибо вам.

А что мой альманах должен быть слонем или левиафаном, это так. Пьеса Некр(асова) «В дороге» несколько не виновата в успехе альманаха. «Бедные люди» — другое дело, и то потому, что о них заранее прошли слухи. Сперва покупают книгу, а потом читают; люди, поступающие наоборот, у нас редки, да и те покупают не альманахи. Поверь мне, между покупателями «Петербургского сборника» много, много есть людей, которым только и понравится что статья Панаева «О парижских увеселениях». Мне рисковать нельзя; мне нужен успех верный и быстрый, нужно, что называется, сорвать, банк.⁵ Один альманах разошелся — глядь, за ним является другой — покупатели уж смотрят на него недоверчиво. Им давай нового, повторений они не любят. У меня те же имена, кроме твоего и Мих(аила) Сем(еновича). Когда альманах порядком разоидется, тогда статья Кавелина поможет его окончательному ходу, а сперва она только испугает всех своим названием — скажут: ученость, сушь, скука! Итак, мне остается рассчитывать на множество повестей да на толщину баснословную. И верь мне: я не ошибусь. Вы, москвичи, народ немножко идеальный, вы способны написать или собрать хорошую книгу, но продать ее не ваше дело: тут вам остается только снять шляпу да низко нам поклониться. Прозаический перевод Шекспира — вещь хорошая; но примись ** Кетчер за дело поумнее, через нас, у него было бы втрое больше покупателей, пошло бы лучше. И благородная цель была бы достигнута вернее, и карман переводчика чаще бы виделся с Дебре.⁶ Я знаю только одну книгу, которая не нуждается даже в объявлении для столиц: это 2-я часть «Мертвых душ». Но ведь такая книга только одна и была на Руси. Что же до цены, альманах Некрасова очень дешев. «Вчера и сегодня»⁷ стоит 150 коп. сер., а ведь дороже «Петербургского сборника». Рискнуть потратить на книгу тысяч пять, да не положить за нее 14 р. — невозможно. Политипажи — дело

* Далее зачеркнуто: силь(но)

** Первоначально: поступ(и?)

доброе: они вербуют тех покупателей, которые иначе не читают книг, как только глазами, а для кармана все покупатели хороши. Я в альманахе Некр(асова) знаю толку больше, нежели большая часть купивших его, а не купил бы его и при деньгах, зато купил бы порядочный перевод Тацита, если б такой вышел, и ты тоже; а покупатели альманахов Тацита не купили бы, — им и от «Илиады» Гнедича сладко спится.

Бедного Языкова постигло страшное несчастье — у него умер Саша, чудесный мальчик. Бедная мать чуть не сошла с ума — молоко готовилось броситься ей в голову, она уже заговаривалась. Страшно подумать — смерть двухлетнего ребенка! Моей дочери только восемь месяцев, ⁸ а я уж думаю: «Если тебе суждено умереть, зачем ты не умерла полгода назад!» Чего стоит матери родить ребенка, чего стоит поставить его на ноги, чего стоит ребенку пройти через прорезывание зубов, крупы, кори, скарлатины, коклюши, поносы, запоры — смерть так и бьется за него с жизнью, и если жизнь побеждает, то для того, чтобы ребенок сделался со временем чиновником или офицером, барышнею и барынею! Было из чего хлопотать! Смешно и страшно! Жизнь наполнена ужасного юмора. Бедный Языков!

Коли мне не ехать за границу, так и не ехать.⁹ У меня давно уже нет жгучих желаний, и потому мне легко отказываться от всего, что не удастся. С М(ихаилом) С(еменовичем) в Крым и Одессу очень бы хотелось; но семейство в Петербурге оставить на лето не хочется, а переехать ему в Гапсаль — двойные расходы. Впрочем, посмотрю.

Твоему приезду в апреле рад донельзя.

Зачем ты прислал мне диссертацию Надеждина?¹⁰ — Не понимаю. Разве для весу посылки? Это другое дело.

Если будешь писать к Рошину, пиши так, чтоб я тут был в стороне. И вообще в этом деле всего лучше поступать политично. Например, изъяви ему свое искреннее сожаление, что чертовская журнальная работа, разборы букварей, глупых романов и тому подобного вздору так доконали меня, что я принужден* был подумать о спасении жизни, и намекни, что вследствие этого обстоятельства ревность многих бывших вкладчиков «Отечественных записок» должна теперь охладеть. Последнее особенно нужно ему.¹¹ Он всё думает, что вы для него трудились; ему и в голову не входит, что вас привлекли не лица, не лицо, а благородное по возможности направление лучшего сравнительно журнала. Если хотите, он, может быть, думает и это, но только себя считает виновником всего хорошего в его журнале. Не худо изъявить ему сожаление,

* Первоначально: дол(жен)

что «Отечественные записки» теперь должны много потерять в духе и направлении. Ты бы это ловко мог сделать. Но оскорблять его прямо вовсе не нужно. Вот говорить о нем правду за глаза — это другое дело. Да для этого слишком достаточно одного Кетчера.

Ну, пока больше писать не о чем. Прощай.

В. Б.

258. А. И. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1846, марта 20.

Получил я конец статьи Кавелина, «Записки доктора Крупова», отрывок М<ихаила> С<еменовича> и, наконец, статью Мельгунова.¹ И всё то благо, всё добро.² Статья Кавелина — эпоха в истории русской истории, с нее начнется философическое изучение нашей истории. Я был в восторге от взгляда на Грозного. Я по какому-то инстинкту всегда думал о Грозном хорошо, но у меня не было знания для оправдания моего взгляда.³

«Записки доктора Крупова» — превосходная вещь. Больше пока ничего не скажу. При свидании мне много будет говорить с тобою о твоём таланте. Твой талант — вещь не шуточная, и если ты будешь писать меньше тома в год, то будешь стоять быть повешенным за ленивые пальцы. Отрывок М<ихаила> С<еменовича> — прелесть. Читая его, я будто слушал автора, столько же милого, сколько и толстого. Статья Мельгунова мне очень понравилась, и очень благодарен ему за нее. Особенно мне нравится первая половина и тот старый румянцевский генерал, который Суворова, Наполеона, Веллингтона и Кутузова называл мальчишками. Вообще, в этой статье много мемуарного интереса, читая ее, переносишься в доброе старое время и впадаешь в какое-то тихое раздумье. Ты что-то писал мне о статье Рулье — не дурно бы;⁴ не мешало бы и Грановского что-нибудь. Чисто литературных статей у меня теперь по горло, ешь — не хочу, и потому ученых еще две было бы очень не худо. Имя моему альманаху — «Левиафан». Выйдет он осенью, но в цензуру пойдет на днях и немедленно будет печататься.

Насчет путешествия с М<ихаилом> С<еменовичем>, — кажется, что поеду. Мне обещают денег, и, как получу, сейчас же пишу, что еду. Семейство отправляю в Гапсаль — это и дача в порядочном климате и курс лечения для жены, что будет ей очень полезно. Тарантас, стоящий на дворе М<ихаила> С<еменовича>, видится мне и днем и ночью — это не соллогу-бовскому тарантасу чета. Святители! сделать верст тысячи четыре, на юг, дорогою спать, есть, пить, глазеть по сторонам,

ни о чем не заботиться, не писать, даже не читать русских книг для библиографии — да это для меня лучше Магометова рая, а гурий не надо — чорт с ними!⁵

Роцин едет в Москву 2-го апреля, кажется, переманивать в Питер Галахова. Он говорит обо мне, как о потерянном мальчишке, которого ему жаль; говорит, что я никогда не умел покориться никакому долгу, никакой обязанности. Теперь через Некр<асова> пытается о моих делах, делает вид, что принимает участие, и, кажется, ему хочется, чтоб я взял у него денег, да нет же — скорей повешусь. Вообще ему, как видно, неловко, и он сконфужен. Слышал я, что он распространяет слухи, что хочет мне отказать, как человеку беспокойному и его изданию опасному. Поздно схватился!

Мне непременно нужно знать, когда именно думает ехать М<ихаил> С<еменович>. Я так и буду готовиться. Альманаха при мне напечатается листов до 15, остальные без меня (я поручаю надежному человеку), а к приезду моему он будет готов, а в октябре выпущу.

Здравствуй, Николай Платонович! наконец-то твое возвращение уже не миф. Я был на тебя сердит и больно, братец, а за что — спроси у Герцена. А теперь я хотел бы поскорей увидеть твою воинственную наружность и на радости такого созерцания выпить редереру — что это за вино, братец ты мой! Сатину и всем вам жму руку.⁶

В. Б.

259. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1846, марта 26 (апреля 6).

Давно мы не видались, друг Василий Петрович, и давно не подавали друг другу голоса.¹ Что до меня, мне все переписки надоели и я стал на письма так же ленив, как во время оно (глупое время!) был ретив. Сверх того, я и боюсь переписки: она годна только для недоразумений. Что при свидании решается двумя-тремя словами к обоюдному удовольствию, то в разлуке служит поводом к огромной переписке, где всё перепутывается. Это я много раз испытал, и пора мне воспользоваться уроком опыта. О себе писать мне просто противно, а больше ведь у нас не о чем писать. Скоро увидимся — тогда вновь познакомимся друг с другом — говорю: *познакомимся*, потому что после трехлетней разлуки ни я, ни ты — не то, что были.² Мая 30, а по-вашему, по-басурманскому, июня 11-го,³ стукнет мне 36 лет, * осенью три года, как я женат, и моей дочери

* Далее зачеркнуто: а так почти

теперь девять месяцев. В это время я пережил да передумал (и уже не головою, как прежде), право, лет за 30. Пройдут незаметно и еще 4 года — и мне 40 лет — страшно! Вот она и старость! Ну, да довольно об этом.

Спасибо тебе за письма об Испании и Танжере.⁴ Они прекрасны, и из них для моего альманаха выходит превосходная и преинтересная статья. Спасибо тебе за согласие отдать их мне.

Желал бы я знать, когда именно воротиться ты, да я думаю, пока ты и сам этого не знаешь. Я еду с М. С. Щепкиным в Новороссию (в Одессу и Крым). Воротимся мы в октябре. Вот мне и хотелось бы в Питере столкнуться с тобою, а не то хоть в Москве, но лишь бы не разъехаться дорогою.

О моем здоровье и частию моих обстоятельствах узнаешь от Николая Петровича;⁵ а в дополнение* прочти письмо к Анненкову.⁶

Мишелю жму руку. О семействе его не имею никаких известий.** Слышал от Беера, что А(лександра) А(лександровна) родила дочь, а больше ничего не знаю.

Странное дело! при мысли о свидании с тобою мне всё кажется, будто мы расстались молодыми, а свидимся стариками, и от этой мысли мне и грустно, и больно, и почти что страшно. Молодыми! Нет, я не был молод никогда, потому что всегда жил головой и сумел даже и из сердца сделать голову — отчего и вышла преуродливая голова.

Прощай, до свидания, надеюсь, скорого.

В. Б.

260. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

СПб. 1846, марта 26.

Дражайший Петр Николаевич. Тысячекратно благодарю Вас за дружескую готовность снабдить меня Вашею повестью, спешу уведомить Вас, что мой альманах выйдет осенью и что, следовательно, если Вы послали повесть, то Вам нечего беспокоиться о том, что опоздаете.¹ Если же не послали, то вышлите поскорее. Желал бы я узнать что-нибудь о Вас, тем более что обо мне Вы кое-что знаете через Анненкова. Что Вы, как Вы? Да хранит Вас судьба от сифилитического влияния шеллингианизма, пиэтистицизма, *** это пуще всего.² Надеюсь, что Вы здоровы и обретаетесь в духе. Затем, не имея ничего более писать, желаю Вам всего хорошего. Жена моя, ее сестра Вам усердно

* Первоначально: а о новостях в дополнение ко всему

** Первоначально: новостей

*** Далее зачеркнуто: и неметчи(ны)?

кланяются, а за мою дочь, по причине ее малолетства и безграмотности, кланяюсь Вам я, равно как и за себя.

Ваш В.Б.

261. А. И. ГЕРЦЕНУ

СПб. 1846, апреля 6.

Вчера записал было я к тебе письмо, сегодня хотел кончить, а теперь бросаю его и пишу новое, потому что получил твое, которого так долго ждал.¹ Признаюсь, я начал было беспокоиться, думая, что и на мою поездку на юг (о которой даже во сне брежу) чорт наложит свой хвост. Что ты мне толкуешь о важности и пользе для меня от этой поездки: я сам слишком хорошо понимаю это и еду не только за здоровьем, но и за жизнью. Дорога, воздух, климат, лень, законная праздность, беззаботность, новые предметы, и всё это с таким спутником, как М<ихаил> С<еменович>, — да я от одной мысли об этом чувствую себя здоровее. И мой доктор (очень хороший доктор, хотя и не Крупов²) сказал мне, что по роду моей болезни такая поездка лучше всяких лекарств и лечений. Итак, М<ихаил> С<еменович> едет решительно, и я знаю теперь, когда и <я> могу готовиться. Разве только что-нибудь непредвиденное и необыкновенное заставит меня отказаться; но во всяком случае я на днях беру место * в мальшост. Вчера я именно о том и писал к тебе, чтобы ты как можно скорее уведомил меня, едет ли М<ихаил> С<еменович> и когда именно. Вот почему сегодняшнее письмо твое ужасно обрадовало меня, так что куда девалась лень, и я сейчас же сел писать ответ, несмотря на то, что А. А. Т<учков>³ едет во вторник. Известие об обретении явленных 500 р. — тоже не последнее обстоятельство в письме твоём, меня обрадовавшее. Только этих денег ты мне не высылай, а отдай ** мне их в Москве. Оно проще, и хлопот меньше. На лето мне и семейству денег станет; может быть, станет их на месяц и по приезде в Питер, а там — что будет, то и будет, а пока — *vogue la galère!**** Нашему брату подлещу, т. е. нищему, а не то чтобы мошеннику, даже полезно иногда довериться случаю и положиться на авось. Делать-то больше нечего, а притом, если такая поведенция может сгубить, то она же иногда может и спасти.

Ну, братец ты мой, спасибо тебе за интермедию к «Кто виноват?»⁴ Я из нее окончательно убедился, что ты — большой

* Первоначально: билет

** Первоначально: приш(ли)

*** была не была! (Франц.) — Ред.

человек в нашей литературе, а не дилетант, не партизан, не наездник от нечего делать. Ты не поэт: об этом смешно и толковать; но ведь и Вольтер не был поэт не только в «Генриаде», но и в «Кандиде», — однако его «Кандид» потягается в долговечности со многими великими художественными созданиями, а многие не великие уже пережил и еще больше переживет их. У художественных натур ум уходит в талант, в творческую фантазию, — и потому в своих творениях, как поэты, они страшно, огромно умны, а как люди — ограничены и чуть не глупы (Пушкин, Гоголь). У тебя, как у природы по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборот — талант и фантазия ушли в ум, * оживленный и согретый, так сказать, *осердеченный* гуманистическим направлением, не привитым и не вычитанным, а присущим твоей натуре. У тебя страшно много ума, так много, что я и не знаю, зачем его столько одному человеку; у тебя много и таланта и фантазии, но не того чистого и самостоятельного таланта, который всё родит сам из себя и пользуется умом как низшим, подчиненным ему началом, — нет, твой талант — чорт его знает ** — такой же батард⁵ или пасынок в отношении к твоей натуре, как и ум в отношении к художественным натурам. Не умею яснее выразиться, но уверен, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думал об этом вопросе) и мне же выскажешь это так ясно и определенно, что я закричу: эврика! эврика!⁶ Есть умы чисто спекулятивные, для которых мышление почти то же, что чистая математика, — и вот когда такие принимаются за поэзию, у них выходят*** аллегории, которые тем глупее, чем умнее. Сочетание сухого и даже влажного и теплого ума с бездарностью родит**** камни и полена, которые показывала вместо детей Рея Кроносу.⁷ Но у тебя, при уме живом и осердеченном, есть своего рода талант — в чем он состоит, не умею сказать; но дело в том, что я глупее тебя на много раз, искусство (если не ошибаюсь) мне сроднее, чем тебе, фантазия у меня преобладает над умом, и, кажись, по всему этому такому *своего рода* таланту скорее следовало бы быть у меня, чем у тебя (уже по одному тому, что тебе читать Канта, Гегелеву феноменологию и логику — ни почем, а у меня трещит голова иногда и от твоих философских статей), — а вот у меня такого *своего рода* таланта ни больше ни меньше, как настолько, сколько нужно, чтобы понять, оценить и полюбить твой талант. И такие таланты необходимы и полезны не менее художественных. Если ты лет в десять напишешь три-четыре томика, поплотнее и порядочного разме-

* *Далее зачеркнуто:* а сердце

** *Далее зачеркнуто:* какой-то незаконнорожденный

*** *Далее зачеркнуто:* чисто

**** *Первоначально:* производит

ра, — ты — большое имя в нашей литературе и попадешь не только в историю русской литературы, но и в историю Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодетельное влияние на современность. У тебя свой особенный род, под который подделываться так же опасно, как и под произведения истинного художества. Как Нос в гоголевской повести того же имени, ты можешь сказать о себе: «Я сам по себе!» Деятельные идеи и талантливое, живое их воплощение — великое дело, но только тогда, когда * всё это неразрывно связано с личностью автора и относится к ней, как изображение на сургуче относится к выдавившей его печати. Этим-то ты и берешь. У тебя всё оригинально, всё свое — даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются в достоинства. Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить, но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши, как можно больше пиши, не для себя, а для дела: у тебя такой талант, за скрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие.

А об Рошине⁸ и «Отечественных записках» ты напрасно хлопчешь. За себя лично и за других я могу бояться худа; но в отношении к общему делу я предпочитаю быть оптимистом. Тебя смущает, что в литературе не останется органа благородных и умных убеждений. Это и так, да не так. Я уверен, что не пройдет двух лет, как я буду полным редактором журнала. Спекулянты не упустят основать журнал, рассчитывая именно на меня. Обо мне теперь знают многие такие, которые ничего не читают, и они смотрят на меня с уважением, как на человека, одаренного добродетельною способностью делать других богатыми, оставаясь нищим. «Отечественные записки» уже стары, и в них я сам стар, потому что, наладившись раз, как-то против моей воли иду одною и той же походкою. Я связан с этим журналом своего рода преданием: привык щадить людей, важных только для него, и вообще держаться тона не всегда моего, а часто тона журнала. Ведь и Рошин не мог же не отразить своей личности в своем журнале. Мне надо отдохнуть, во-1-х, для спасения жизни и восстановления (возможного) здоровья, а во-2-х, и для того, чтобы стрясти с сандалий моих прах «Отечественных записок», забыть, что я образовывал с ними** когда-то сиамских близнецов. Кроме того, у меня на памяти много грехов, наделанных во время оно в «Отечественных записках». И как хорошо, что мои статьи печатались без имени, и я в новом журнале всегда могу отпереться от того, что говорил встарь, если б меня стали уличать. Жизнь — премуд-

* Далее зачеркнуто: оно

** Далее зачеркнуто: был

ренная вещь; иногда перемена квартиры освежает человека нравственно. Поверь мне, что все мы в новом журнале будем те же, да не те, и новый журнал не будет «Отечественными записками» не по одному имени. Я надеюсь, что буду издавать журнал. А с Роциным мне делать нечего. Это страшно* ожесточенный эгоист, для которого люди — средство и либерализм — средство. Он очень умен по-своему и на Чичикова смотрит совсем не как на гения, как смотрим на него все мы, а как на своего брата Кондрата. Но в литературе он человек тупой и круглый невежда. Не пошли ему меня его счастливая звезда, его мерзкие «Отечественные записки» лопнули бы на втором годе. Повторяю: личность его не могла не отразиться на «Отечественных записках», и вот причина, почему в них так много балласту, почему толщину их все ставят в порок и почему, короче, они так гадки, несмотря на участие в них мое и многих порядочных людей. Я же не могу быть с человеком на торговых отношениях. Вот другое дело, если б хозяин «Отечественных записок» был Корш, — я готов бы остаться навсегда работником этого журнала. К Роцину у меня никогда не лежало сердце, но всё же я думал о нем лучше, чего он стоил. Оставаясь при нем, я должен лицемерить — на что у меня нет ни охоты, ни умения. А писать у него изредка — вздор, дудки. Ему самому смертельно хочется этого, и он уже подбегал ко мне через Панаева, да не надует. У него расчет верный: я напишу ему в год рецензий десятка два (разумеется, столько хороших, сколько это в моих средствах) да статьи три-четыре: направление и дух журнала спасется, а я за это получу много много рублей 500 серебром в год. Кто же в дураках-то? А между тем, хоть и меньше, а всё срочная работа, и я из-за нее своего дела не буду делать, а от его работы сыт не буду. Он теперь мечется то к тому, то к другому, и никого не находит. Заказал статью Милановскому,⁹ которого уже не раз гонял от себя по шее, как пустого и гадкого мальчишку. Не знаю, что будет вперед, а пока я просто изумлен тем, как имя мое везде известно и в каком оно почете у российской публики: этого мне и во сне не снилось. Весть о разрыве давно уже прошла и в провинцию. Все подлецы и филистимляне петербургские (даже и совсем не литературные) в восторге, что у «Отечественных записок» волоса обрезаны, а сыны Израиля печалются об этом. Р(оцин) этого не ожидал. Но теперь он, кажется, всё понял, но, думая, что я играю с ним комедию, хочет выждать и переломить меня. Посмотрим. В Москву он не поехал. У него <...> образовалась фистула, и он вытерпел

* Первоначально: глубоко

довольно мучительную операцию и теперь лежит. Но, вероятно, оправившись, поедет надувать Галахова. С богом!

Кончаю письмо известием, что мы с Некрасовым взяли билет в мальпост на 26 апреля.

В.Б.

262. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1846, апреля 15.

Любезный Дмитрий, 26 нынешнего месяца еду я в Москву, а 28 буду в ней.¹ Ты когда-то писал, что квартира у тебя большая. Скажи мне, могу ли я остановиться у тебя на неделю, много дней на десять. В таком случае, уведоь меня, такого ли свойства твоя квартира, чтобы я мог возвращаться домой по ночам,* и подумай о том беспокойстве, которое я этим буду тебе и твоему семейству оказывать; а подумавши, напиши *немедленно* искренний ответ. Мой адрес тот же, т. е.: *На Невском проспекте, у Аничкина моста, в доме Лопатина, квартира № 43.*²

В. Белинский.

263. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Москва. 1846, мая 1.

Вот уже четвертый день, как я в Москве, и всё еще не могу оправиться от проклятой дороги. Холод, дождь, слякоть, невозможность прилечь, необходимость сидеть — всё это порядочно измучило меня. Часто дождь проникал к нам сквозь стеклянную складную стору и живописно струился по ногам. Не возьми я зимних панталон и тулупа, я погиб бы. Погода в Москве такая же, как и в Петербурге. Вчера было солнце, но в то же время было ветрено и холодно. Сегодня, первое мая, решительно октябрьский день. Мдчи нет, как всё это гадко. Ни зелени, ни деревьев — глубокая осень.

Дорога до того испорчена, особенно между Клином и Москвою, что мы приехали в воскресенье в 6 часов вечера. Друзья мои дожидались меня в почтамте с двух часов. Принят я был до того ласково и радушно, что это глубоко меня тронуло, хотя я и привык к дружескому вниманию порядочных людей. Безо всякой ложной скромности скажу, что мне часто приходится

* Первоначально: поздно

в голову мысль, что я не стою такого внимания. Что это за добрый, за радушный народ москвичи! Что за добрейшая душа Герцен! Как бы я желал, чтобы ты, Marie, познакомилась с ним. Да и все они — что за славный народ! Лучше, т. е. оригинальнее, всех принял меня Михаил Семенович:¹ готовясь облобызаться со мною, он пресерьезно сказал: «Какая мерзость!» Он глубоко презирает всех худых и тонких. Дамы просто носят меня на руках, братец ты мой: озябну, укутывают своими шальями, надевают на меня свои мантильи, приносят мне подушки, подают стулья. Таковы права старости, друг мой! Впрочем, Наталья Александровна (к которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство)² нашла, что я *похорошел* (заметь это) и поздоровел. Она так была мне рада, что я даже почувствовал к себе некоторое уважение. Вот как!

Едем мы 16, 17 или 18 мая, не прежде. Боюсь, что возвратимся довольно поздно. М<ихаил> С<еменович> хочет лечиться, кроме купанья, и виноградом. Это и мне будет очень полезно.

Сегодня поеду к твоему отцу, а завтра увижусь с Галаховым. Кстати: завтра друзья мои дают мне торжественный обед. На днях (как назначит Галахов) увижусь с Остроумовой.³ Жду с нетерпением от тебя письма. Об Оле не могу вспомнить без беспокойства: так всё и кажется, что мой баран нездоров.⁴ В пятницу или субботу опять буду писать к тебе. А пока прощай, будь здорова и спокойна. Крепко жму твою руку.

Твой В. Белинский

264. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Москва. 1846, мая 4.

Вот уже неделя, как я живу в Москве, а от тебя всё ни строки. Это начинает меня сильно беспокоить. Всё кажется, что то больна ты, то плохо с Ольгою, то нельзя вам выехать по множеству хлопот, то терпите вы от грубости людей.¹ Так всякая дрянь и лезет в голову и отнимает веселье, а без этого мне было бы в Москве довольно весело. Когда получу твое письмо, и в нем не будет ничего неприятного, то мне будет настоящим образом весело.

Погода в Москве до сих пор — ужас. Сегодня ночью шел сильный снег. От такой погоды здоров не будешь. Особенного ничего не чувствую, а всё-таки так нехорошо, и всё от проклятой погоды. В прошлом письме моем я забыл сказать тебе, что хваленая прочная пломбировка почти вся повыпала еще дорогою от употребления пищи, но без всякого участия пера

или другого зубочистительного орудия. Уцелела только в нижнем зубу, и то сверху сошла. Ай да шарлатаны, чорт их возьми! Был у твоего «дражайшего». ² Почтенный человек! Вот истинный-то представитель отсутствия добра и зла, олицетворенная пустота! Он, впрочем, был мне рад и много суетился, угощая меня чаем. Я ему об вас с Агриппиной, ³ а он всё о себе — так и лупит, так и наяривает. Только об Ольге послушал минуты две не без удовольствия. Я рассказал ему о твоих родах и заключил, что, несмотря на гнусность бабки, дело кончилось всё-таки хорошо. — А бог-то на что! — сказал он мне с убеждением. — Да, никто, как бог! — отвечал я ему с умилением. Живет он бедно, и страшно трусит смерти его княжны, угрожающей ему монастырем. Буду у него еще раз и позову к себе обедать. У Н. И. Остроумовой еще не был, а буду во вторник — так назначил Галахов.

Здесь кружок живет нашего, и здешние дамы тоже поживее наших (благодари за комплимент). И для отдыха Москва вообще чудный город. Впрочем, и то сказать, теперь, как нарочно, почти все съехались туда в одно время, и оттого все село.

Сегодня дают мне обед; ему надо было быть в четверг, да по болезни Корпа отложили до сегодня, а Корп-то всё-таки не выздоровел. ⁴

Я уж не знаю, о чем больше и писать. И потому в ожидании известия от тебя, ma chère Marie,* и в чайнии, что вас уже нет в Питере, писать больше не буду до выезда из Москвы. Жму всем вам руки и от души всех вас целую — о собачке ⁵ и не говорю. Мамке кланяюсь. Прощай.

В. Б.

265. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Москва. 1846, мая 7.

Наконец я имею о вас нечто вроде известия. По крайней мере, Тургенев уверил меня, что вы все здоровы, и сказал мне, что вы отправляетесь из Петербурга 11-го мая. Стало быть, это письмо получишь ты накануне своего отъезда, в пятницу. Надеюсь, что в этот день ты отправишь ко мне письмо. Я еду 15 или 16. К 1-му июня будем мы в Харькове, куда ты можешь писать по следующему адресу: его высокоблагородию Николаю Дмитриевичу Алфераки; в собственном доме (*Pour*

* моя милая Мари (франц.). — Ред.

remettre à M-r Belinsky). * Из Харькова я уведомяю тебя, куда опять можешь ты писать ко мне. Затем прощай. Сегодня еду к Остроумовой

В. Б.

266. М. В. БЕЛИНСКОЙ

⟨7—8 мая 1846 г. Москва.⟩

Москва. 1846, мая 7.

Сейчас только (в 4 часа) прочел письмо твое,¹ *chère Marie**, воротившись домой для фрака и шляпы, необходимых для посещения Н. И. Остроумовой. Прочел — и порадовался: вы все скучаете, но здоровы, у Ольги появился 6-й зуб, и ничего худого не случилось. Худо только то, что у тебя, кажется, не определен еще день отъезда; по крайней мере, ты об этом ничего не говоришь мне. Странные мы с тобою, братец ты мой, люди: живем вместе — не уживаемся, а врозь скучаем. Вот и я: мне не скучно, я гуляю, ем, пью, ничего не делаю, дамы со мною любезны донельзя — кажется, тут и грешно и стыдно было бы помнить, что женат и есть жена, а ведь помнится. Да это еще куда бы ни шло, а то ведь хотелось бы увидѣться, как будто и бог весть, как давно не видались. Поэтому я думаю, что для поддержания супружеского благосостояния необходимы частые разлуки. Разлука сглаживает все неровности отсутствующего и делает яснее его хорошие стороны. Но это пока в сторону. Не знаю, получишь ли ты это письмо, если отправляешься в субботу, 11-го. Авось либо! Но писать больше не буду, если не получу от тебя письма об отсрочке отъезда. А собачка грустила обо мне, бедненькая!² Но зато скоро забыла, глупенькая! Берегите ее от простуды. Дочь Иванова застужена при прорезывании глазных зубов, и оттого получила воспаление в мозгу и лишилась зрения. Страшно и больно смотреть — а ребенок полный и здоровый.

Это письмо пойдет завтра (8, в среду), и завтра же докончу его.

Мая 8.

Боясь, что письмо это не застанет тебя в Питере, посылаю его на имя Маслова,³ чтобы в случае твоего отъезда он переслал его в Гапсаль. Вчера был у Н. И. Остроумовой. О чем болтали мы, можешь догадаться. Она умна, и у нее на многое

* для передачи г-ну Белинскому (*франц.*).— *Ред.*

** милая Мари (*франц.*).— *Ред.*

есть чутье. Над драматическою пьесою Кудрявцева она смеется.⁴ Вообще Н. И., не будь она погребена в этом монастыре, была бы очень порядочною особою.⁵ Когда я с нею раскланивался, появилась гнусная рожа Шахларевой; ⁶ боюсь во сне увидеть — стошнит.

Письмо твое пришло в Москву 5-го, а почтальон принес его 7-го: Москва город патриархальный, и в ней всё зависит от воли всех <и> каждого, а получающие письма зависят от прихоти почтальонов. Извозчики в Москве страшно дешевы, но ночных нет, а ходить ночью в Москве опасно. Меня чуть было не прибил один пьяный. И потому, кто хочет провести вечер в гостях, должен панимать извозчика на вечер.

Здоровье мое сносно и, мне кажется, даже несколько лучше, чем было в Питере. Мих<аила> Семеновича держит в Москве бенефис Мартынова, который будет 14 или 15 мая, а на другой день мы едем.⁷ В Крыму, может быть, ему отведут покои в Алушке, замке князя Воронцова, и мы там будем с ним упражняться в купании в море и в пожирании винограда. По приезде в Гапсаль напиши ко мне большое письмо; означь свой адрес, опиши, как вы собирались и убирались, как ехали и доехали и как устроились в Гапсале. Пошли письмо так, чтобы оно дошло в Харьков (на имя его высокоблагородия Николая Дмитриевича Алфераки, в собственном доме, для передачи мне) к 1-му июня; получив его, я напишу к тебе из Харькова, куда опять писать тебе. Прощай. Агриппине жму руку и всех вас целую

В. Б.

Печать я взял с собою Наполеона.

267. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Москва. 1846, мая 14.

Последнее письмо твое (от 9 мая) столько же огорчило меня, сколько доставило мне радости предпоследнее (от 6 мая).¹ Мерзости, которые делает с тобою управляющий Лопатина, действительно, возмутительны, но для меня еще тяжелее та раздражительность, с которою ты принимаешь их. Не спорю: тяжело, досадно, гадко, но всё же не вижу тут достаточной причины доходить до отчаяния, до расстройства здоровья, именно в ту минуту, когда здоровье особенно нужно. Я обрадовался, увидя твое письмо, но мне стало грустно и как-то неловко, когда я прочел его. Я как будто вижу тебя перед собою в этом письме: ты встревожена, раздражена, — и всё тебе кажется не

так, не хорошо. Ты начинаешь с того, что ты «никогда не говорила мне, чтобы я в „дражайшем” нашел что-нибудь лучше того, что нашел». Да я и писал к тебе о нем несколько не в тоне возражения против тебя, а просто передавал тебе впечатление, которое он произвел на меня. Я был уже заранее предубежден против него, хорошего ничего не ожидал, ехал к нему не для него, а для тебя, и несколько не раскаиваюсь, что был у него. Тебе показалось, что я не получал твоих писем: ясно, что ты не разочла, что наши письма сперва разъезжались в дороге, а потому мы оба и упрекали другу друга в молчании. Но я твой получил все, и первое, от 2-го мая. Ради всего святого для обоих нас, успокойся, Marie, и не давай себе выходить из себя по причине действительно досадных, но в то же время и мелких неудовольствий. 7-ой зуб Ольги гораздо важнее и двух целковых, которые содрал с тебя управляющий, и 30 рублей за клеенки и шкаф, а ты к этому зубу присоединила еще боль в своей груди и дошла до возможности слечь в постель. Я еду в четверг (16-го мая), — и если сегодня или завтра не получу от тебя более утешительного письма, то дорога моя не будет весела. Зная твой характер, я не шутя боюсь, чтобы ты не слегла в постель, если уже к бывшим неприятностям прибавится еще какая-нибудь мелочь; а тут еще у меня на уме 7-ой зуб... Тяжело!

Здоровье мое пока лучше, чем было в Питере. С 9-го мая началась в Москве теплая погода, и теперь так хорошо, что даже ночью пахнет весной. Я зяб не потому, что простудился, а потому, что все зябли от холода, а теперь не зябну, а потею и блаженствую от жару.

Твои неудачи в отъезде произошли оттого, что ты не хотела заранее взять билет, как это делают все. Но уж дело сделано, и лишь бы только выехать. Не знаю, получу ли от тебя письмо сегодня. Боюсь, чтобы оно не пришло послезавтра, в день отъезда (в четверг). А это письмо адресую на имя Маслова, тоже из боязни, что оно, придя в день твоего отъезда, не упадет в твои руки. Я виделся с Тютчевыми,² и они много меня порадовали известием о состоянии, в котором оставили вас; но в тот же день (т. е. вчера) получил я твое письмо... У Ал(ександры) Петр(овны) разболелись глаза, и по этой причине они проживут несколько дней в Москве. Насчет адреса в Харьков — адресуй письма ко мне, как хочешь. Я и забыл было о Кронеберге. Это всё равно. Скажи Маслову, что Некрасов будет в Питере в половине июля, и попроси его вложенное здесь письмо доставить по адресу хоть через Майковых, если он не знает, где живет Гончаров.³

Еще раз прошу тебя, милая Marie, быть спокойнее и беречь себя от губительного влияния, какое на тебя имеют petites

misères de la vie humaine.* Не думай, что *только* с тобою случаются такие беды. Чорт с ними, с такими бедами: лишь бы судьба пощадила от таких, какие обрушились над Языковыми.⁴
Прощай.

Твой В. Б.

268. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

Москва, 1846, мая 15.

Не знаю, как и благодарить Вас, любезнейший Петр Николаевич, за Ваш бесценный подарок.¹ Повесть Ваша привела меня в восторг по многим причинам. Признаюсь откровенно: Ваша драматическая пьеса² привела меня в отчаяние, так что я подумал было, что Ваш «Последний визит»³ действительно был последним визитом Вашим в область творчества. Не то, чтоб она была плоха: почему человеку с талантом не написать плохой пьесы;** но то, что она старчески умна и чужда всякого живого начала. Поэтому за повесть Вашу я взялся с некоторым беспокойством; но тем сильнее был мой восторг, когда я читал ее. Чудесная вещь, глубокая вещь! Это судьба, жизнь, положение русской женщины нашего времени! Характер героини выдержан, а муженек и любовник ее — чудо совершенства. Особенно хорош офицерик-то! Только два недостатка нахожу я в этой повести. Первый — прибавление к ее названию — *водевиль не для сцены*: оно не идет и его ирония весьма сомнительного качества. Не вычеркнуть ли? Второй — и очень важный недостаток: это вторая сцена (в канцелярии) — она не идет к делу, ничего не поясняет, ослабляет впечатление, и после нее отрывок из письма, которым оканчивается повесть, теряет всю силу, весь эффект. Если бы Вы ее позволили выкинуть вовсе, повесть ничего не потеряла бы и много бы выиграла.⁴ Как Вы думаете? Если Вы согласны со мною в <полезности> этой меры, то потрудитесь у<ведомить>*** об этом общего друга нашего Алексея Дмитриевича Галахова. Я в Москве проездом — еду завтра с М. С. Щепкиным в Одессу и Крым для восстановления здоровья, а может быть, и для спасения жизни. От «Отечественных записок» я отказался окончательно. Кстати: статья ваша о Бельведере умна и хороша, но

* маленькие несчастья человеческой жизни (*франц.*). — Ред.

** Первоначально: повести

*** Письмо повреждено, оторван угол листа.

о таких предметах, как живопись, теперь так странно читать такие длинные статьи: так думают многие.⁵

Позвольте попенять Вам за две вещи: за то, что Вы запла- тили деньги за пересылку первой тетради повести, и еще за то, что при последней Вы не хотели утешить меня ни строкою чего-нибудь похожего на письмо. Зная, что это не другое что, как лень и усталость от писания повести, я за это не очень сержусь и обращаюсь к Вам с этими строками, как к моему старому и доброму приятелю.

Семейство мое проведет лето в Гапсале. Жена в восторге от Вашей повести, а дочь моя Вам за нее низко кланяется, и я вместе с нею.

Ваш В.Белинский.

Скоро ли Шеллинг перестанет позориться, т. е. умрет? Право, не стоит жить, чтобы после такой славы на старости лет быть Шевыревым.⁶

269. М. В. БЕЛИНСКОЙ

<11—12 июня 1846 г. Харьков.>

Харьков. 1846, июня 11.

Вообрази — какую я сделал глупость: послал к тебе пись- мо из Калуги в Гапсаль на твое имя, думая, что ты непременно в Гапсале, что тебя в этом маленьком городке найдут и без адреса квартиры и что посылать через Маслова — только лиш- няя трата времени. Сын М. С. Щ<епки>на служит в кавалерий- ском полку в Воронеже, был долго в Москве и после нас дол- жен был отправиться в Воронеж.¹ Приезжаем туда — и он подает мне твое последнее письмо из Петербурга, которое пришло в Москву в день нашего выезда и которое Иванов отослал в дом Щ<епки>на. Из этого письма я узнаю, что ты остаешься в Ревеле и что, следовательно, я опростоволо- сился, послав к тебе письмо в Гапсаль. Досадно! письмо было подробное — почти журнал изо дня в день, с означением погоды каждого дня.² Перескажу тебе вкратце его содержа- ние. Выехали мы из Москвы 16 мая (в четверг), в 12 часов. Нас провожали до первой деревни, за 13 верст, и провожав- ших было 16 человек, в их числе и Галахов. Пили, ели, расста- лись.³ Погода страшная, грязь, дорога скверная, за лошадь- ми остановка. В Калугу приехали в субботу (18 мая), прожили в ней одиннадцать дней. Если б не гнусная погода, мне было бы не скучно. Еще в Москве я почувствовал, что поправляюсь

в здоровье и восстанавливаюсь в силах, а в Калуге в сносную погоду я уходил за город, всходил на горы, лазал по оврагам, уставал донельзя, задыхался насмерть, *но не кашлянул ни разу*. С возвращением холода и дождя возвращался и кашель. Пребывание в Калуге для меня останется вечно памятным по одному знакомству, которого я и не предполагал, выезжая из Питера. В Москве М. С. Щепкин познакомился с А. О. Смирновой. *C'est une dame de qualité*;* свет не убил в ней ни ума, ни души, а того и другого природа отпустила ей не в обрез. Она большая приятельница Гоголя, и Михаил Семенович был от нее без ума.⁴ Так как она приглашала его в Калугу (где муж ее губернатором), то я еще в Москве предвидел, что познакомлюсь с нею. Когда мы приехали в Калугу, ее еще не было там; в качестве хвоста толстой кометы, т. е. Михаила Семеновича, я был приглашен губернатором на ужин в воскресенье, во время спектакля; потом мы у него обедали. Во вторник приехала она, а в четверг я был ей представлен. Чудесная, превосходная женщина — я без ума от нее. Снаружи холодна, как лед, но страстное лицо, на котором видны следы душевных и физических страданий, изменяет невольно величавому наружному спокойствию. Благодаря тебе, братец ты мой, тебе, моя милая судорога, я знаю толк в этого рода холодных лицах. Потом я у ней два раза обедал, в последний раскланялся, да еще в тот же вечер раскланялся с нею на лестнице, ведущей из-за кулис в ее ложу. Пишу тебе всё это не больше, как материал для разговоров и рассказов при свидании, и потому в подробности не пускаюсь. Несмотря на весь интерес этого знакомства, погода делала мое пребывание в Калуге часто невыносимым; раз два дня сряду сидел я взаперти в грязной комнате грязной гостиницы, в теплом пальто, с оочевенными руками и ногами и с покрасневшим носом. Выехали мы из Калуги со вторника на среду (29 мая), в 4 часа утра, и поехали, или, лучше сказать, поплыли по грязи в Воронеж на Тулу. В Воронеж приплыли в субботу (1 июня), в 5 часов утра, и в пятницу ехали уже по хорошей дороге. В Воронеже погода была славная. Тут я получил твое письмо, на которое, для порядка, и буду сейчас отвечать.

Накануне нашего выезда из Москвы приехал туда Языков и успокоил меня на твой счет, сказавши мне, что твои геройские подвиги, достойные Бобелины,⁵ увенчались блестящею победою над злокачественным Лопатиным и гнусным клеветом его, управляющим. Это известие дало мне возможность уехать из Москвы в спокойном духе, который очень был

* Это знатная дама (франц.) — Ред.

расстроен твоим письмом от 9 мая. Я не знаю, получила ли ты мой ответ на него от 14 мая, кажется. Ты пишешь, что разлука сделает нас *уступчивее* в отношении друг друга, но и более *чуждыми* друг другу. Мне кажется — то и другое равно хорошо. Почему хорошо первое — толковать нечего: и так ясно; второе хорошо потому, что даст случай познакомиться вновь на лучших основаниях. Я уже не в той поре жизни, чтобы тешить себя фантазиями, но еще и не дошел до того сухого отчаяния, чтобы не знать надежды. А потому жду много добра для обоих нас от нашей разлуки. Я никак, например, не мог понять твоих жалоб на меня, что будто я дурно с тобою обращаюсь, и видел в этих жалобах величайшую несправедливость ко мне с твоей стороны; а теперь, как в новой для меня сфере я смотрю на нашу прежнюю жизнь, как на что-то прошедшее, вне меня находящееся, то вижу, что если ты была не вполне права, то и не совсем неправа. Я опирался на глубококом сознании, что не имел никакого желания оскорблять тебя, а ты смотрела на факты, а не на внутренние мои чувства, и в отношении к самой себе была права. Ежели разлука и тебя заставит войти поглубже в себя и увидеть кое-что такого, чего прежде ты в себе видеть не могла, — то разлука эта будет очень полезна для нас: мы будем снисходительнее, терпимее к недостаткам один другого и будем объяснять их болезненностию, первическою раздражительностию, недостатком воспитания, а не какими-нибудь дурными чувствами, которых, надеюсь, мы оба чужды. Что же касается до твоих слов, что муж, *без причины* оставляющий жену и детей, не любит их, — ты права; но, во-1-х, я говорил тебе о разлуке с причиною, хотя бы эта причина была просто желанием рассеяться и освежиться прогулкою или и прямо желанием освежить ею свои семейные отношения, а во-2-х, я кажется, уехал не без причины. Но об этом после, как ты сама говоришь в письме своем.

Маслов немного сердит на меня, что я не писал к нему. Но ведь он должен же знать, что я человек-то слабый (т. е. ленивый), мошенник такой. Слух носится, что умер Скобелев, а ты пишешь, что Маслов думает ехать в Ревель, Гапсаль и еще не знаю куда.⁶ Где же мне писать к нему. А напиши-ко лучше ты и уведоми его о моем знакомстве с Александрою Осиповной Смирновой: это для него будет интересно.

Комплимент, сделанный тебе Тильманом,⁷ основателен. Ты сильная барыня, а после твоей войны с Лопатиным я не шутя начинаю тебя побаиваться.

Что же ты не пишешь, взяла ли с собою Егора? И кто у тебя нянька? И как ты рассталась с прислугою?

В Воронеже мы застали чудесную погоду. Выехали во вторник, в 4 часа после обеда (4 июня). Солнце пекло нас, но к

вечеру потянул ветер с Питера, ночью полил дождь, и мы до Курска опять не ехали, а плыли, и в Курск приплыли в четверг (6). В тот же день поплыли в знаменитую Коренную ярмарку (за 28 верст от Курска). И уж подлинно поплыли, потому что жидкая грязь по колена и лужи выше брюха лошадям были беспрестанно. Ехали на 5-ти сильных конях с лишком 4 часа и наконец увидели ярмарку, буквально по пояс сидящую в грязи, и дождь так и льет. За 20 руб. в сутки нашли комнатку, маленькую, грязную, и той были рады без памяти. В тот же вечер были в театре, и М<ихаил> С<еменович> узнал, что он играть не будет. На другой день прошлись по рядам (крытым, до которых доехали на дрожках, выше ступицы в грязи). На другой день, около 2 часов пополудни, поехали назад, в Курск. На полдороге встретился крестный ход: из Курска 8 июня носят явленный образ богоматери в монастырь, при котором стоит ярмарка. Вообрази тысяч 20 народу, врозь идущего по колена в грязи, и который, пройдя 27 верст, ляжет спать под открытым небом, в грязи, под дождем, при 5 градусах тепла. В Курске переменили лошадей, закусили и пустились плыть на Харьков (часов в 8 вечера, в пятницу, 8 июня). Уж не помню, едучи в Курск из Воронежа,— да, именно, в Курск из Воронежа,— имели удовольствие засесть в грязи, и наш экипаж, вместе с нами (потому что выйти не было никакой возможности), вытаскивали мужики. В тот же вечер, как мы выехали из Курска, погода начала поправляться, а с нею и дорога, так что верст за сто до Харькова ехали мы по дороге довольно сносно и могли делать верст по 8 в час (на пяти лошадях), а станции две до Харькова делали по 10 верст. В Харьков приехали мы в воскресенье (9 июня) около 2 часов после обеда. Через час я был уже у Кронебергов, с полною уверенностию найти твое письмо, а может быть, и целых два. Кронеберги⁸ приехали меня радостно, добрая М. А. была просто в восторге, даже Андрей Иванович был, видимо, разогрет; а письма нет. Возвращается М<ихаил> С<еменович> от Алфераки — что письмо? — Нет!— Худо!— Я стал было утешать себя тем, что письмо твое должно идти до Харькова три недели; но Кронеберг сказал мне, что письма из Питера в Харьков приходят в 11-ый день, а по экстраспочте в 8-ой,— я и призадумался, забыв, что по этой дороге почты также делают в час по 5 верст, а иногда и в сутки по 50-ти. Был в театре, посидел с четверть часа и поехал к Кронебергам, где и пробыл почти до 12 часов. Вчера, часу в 1-м, приходит Кронеберг и подает мне твое письмо, которое взял он у Алфераки, с которым встретился где-то на улице. И хоть много в этом письме неприятного, но я воскрес. Теперь отвечаю тебе на твое последнее письмо.

Отчего ты ни слова не сказала в нем о том, опасна ли простуда груди твоей и лечишься ли ты? Отчего не отнимаешь Ольгу от груди? Ждешь ли 8-го зуба? Наем вторых мест на пароходе был порядочною глупостью со стороны Маслова. Заграничные пароходы лучше здешних, и вторые места на них немногим хуже первых, но и их потому все избегают, что надо быть в обществе лакеев, что не совсем приятно и для мужчин, а о женщинах нечего и говорить. О том, чего вы тут натерпелись — нечего и говорить; оставалось бы только радоваться, что всё это кончилось и Ольга здорова, если бы не твое положение, о котором я теперь ничего верного не знаю, потому что не знаю, какова эта болезнь — простуда груди, а ты об этом не сказала ни слова. И потому жду со страхом и нетерпением твоего второго письма, которое надеюсь получить в Харькове, в котором мы пробудем до 18 числа, потому что М<ихаил> С<еменович> в Харькове является в 5 спектаклях. Мне странно, что ты, пробывши в Ревеле 5 дней, всё еще только собираешься пригласить доктора, вместо того, чтоб пригласить его на другой же день приезда. Ты, видно, забыла мою осеннюю историю и что значит запускать болезнь. Это ни на что не похоже. Видно, мы все только другим умеем читать поучения, а сами... но делать нечего — ворчаньем не поможешь, а вот что-то скажет мне твое второе письмо.

Бога ради, не мучь себя заботами о будущем и о деньгах. Лишь стало денег вам и вы могли бы приехать в Питер хоть с целковым в кармане, а то всё вздор. И потому, если не хватит денег, адресуйся заранее к Алекс<андру> Александровичу⁹ и проси не в обрез, чтобы из пустой деликатности не натерпеться бед; а я по приезде *тотчас* же отдам ему, потому что в Питер я приеду с деньгами, которых станет не только на переезд на новую квартиру, но и на то, чтобы без нужды прожить месяца три-четыре. Я на это и рассчитывал, уезжая из Питера, потому что я тогда же ясно видел, что без этой надежды, несмотря на все альманахи, мы, после этой разлуки, съехались бы с тобою только для того, чтобы умереть вместе голодною смертью. К счастью, я не обманулся в моей надежде и могу приехать в Питер с деньгами. Но вот что меня беспокоит. Ты наняла квартиру до 15 сентября, а я, кажется, буду в Питер не прежде 15 октября: вот тут что делать? М<ихаилу> С<еменовичу> надо есть виноград, что и мне было бы бесполезно, а это делается в сентябре, в котором мы и будем в Крыму. Да еще очень может быть, что князь Воронцов пригласит М<ихаила> С<еменовича> в Тифлис, и хоть это не протянет нашей поездки, но сделает то, что раньше 15 октября мне невозможно будет быть в Питере. Тут худо то, что ведь ты не решишься остановиться у Тютчевых, а в трактире жить — боже сохрани.

И потому скажи мне, можешь ли ты остаться в Ревеле до моего возвращения.

Некрасов будет в Питере к августу. Он открывает книжную лавку и тотчас же займется печатаньем моего альманаха.¹⁰ Открытие лавки очень выгодно для моего альманаха, так же как мой альманах очень выгоден для лавки. Деньги для лавки дают ему москвичи. Кстати: во время моего пребывания в Москве у Герцена умер отец, после которого ему должно достаться тысяч четыреста денег.¹¹ Если без меня придет от тебя письмо в Харьков, его перешлют ко мне. А по получении этого письма пиши ко мне немедленно в Одессу, на имя *его высокоблагородия Александра Ивановича Соколова*.¹²

Я рад, что наши псы с вами, рад за них и еще больше за вас. И потому Милке жму лапку и даже дураку Люку посылаю поклон.

Об Ольге не знаю что писать — хотелось бы много, а не говорится ничего. Что ты не говоришь мне ни слова, — начинает ли она ходить, болтать, и что ее 8-й зуб? Ах, собачка, барашек, как она теперь уже переменялась для меня — ведь уж полтора месяца! Поблагодари ее за память о моем портрете и за угощение его молоком и кашею. Она чем богата, тем и рада, и понюхать готова дать всякое кушанье. Должно быть, она очень довольна поведением моего портрета, который позволяет ей угощать себя не в ущерб ее аппетиту.

Из Харькова я еще пошлю к тебе письмо, т. е. оставлю, а Кр^конеберг пошлет. А теперь пока прощай. Будь здорова и спокойна духом, Marie, и успокой скорее меня насчет твоего здоровья. Жму руку Агриппине и желаю ей всего хорошего, а я не объедаюсь и не простужаюсь, как она обо мне думает. Прощай. Твой

Виссарюн.

Среда, 12.

Сегодня пойдет на почту это письмо, а завтра Ольге — год, по каковому случаю чорт меня возьми, если я не выпью завтра шампанского. Из Харькова мы едем в ночь, в воскресенье, в Екатеринослав, а оттуда, через Николаев и Херсон, в Одессу. Пиши сейчас же в Одессу, как получишь это письмо. Если в Одессе твое письмо и не застанет меня, мне перешлют его в Крым. Вот уже другой день, как в Харькове опять *холодно*. Я от Петербурга, а он за мною. Прощай.

<14—15 июня 1846 г. Харьков.>

Харьков. 1846, июня 14.

Вчера вовсе неожиданно получил я твое второе письмо (от 27 мая), которое сильно огорчило меня. Что ты больна, — это мне горько, но горесть моя не ограничивается одною этою причиною: не меньше того мучит меня твое странное поведение в болезни. Еще в первом письме твоём из Ревеля писала ты мне о своей болезни, не говоря ни слова о мерах против нее; и во втором письме тоже ни слова о докторе и лечении. Это невыносимо. Тебе, кажется, хочется повторить историю моей болезни прошлую осенью. Если бы ты на другой же день приезда позвала доктора, — может быть, теперь была бы уже здорова; а так как ты этого не сделала, то можешь или вытерпеть опасную и продолжительную болезнь, или, что еще хуже, воротиться в Петербург с зерном какой-нибудь опасной болезни. Где тут разбирать докторов — бери какого-нибудь, если нет хорошего. От Достоевского ты могла узнать, кто из ревельских врачей считается лучшим.¹ Не могу понять, что ты делаешь с собою, со мною, с Ольгою и со всеми нами? Тебе может показаться неприятным, что, вместо того, чтобы утешать тебя, я бранюсь с тобою; но войди в мое положение и посуди, легко ли мне от всего этого?

О прислуге говорить нечего: в России нет хорошей прислуги, и потому надо дорожить не лучшею, а менее худшею. Это я всегда говорил тебе. Что чухонка мылась Ольгиным мылом, это — я понимаю — неприятно и досадно; но лучше было взять свои меры, чтоб она не могла вперед этого делать, даже купить ей кусок мыла, нежели ссылать ее. Плеть обуха не перешибет, и нам с тобою не переделать русской действительности. Другая чухонка не будет лучше и первой: оставит в покое Олино мыло, но сделает другую мерзость, не лучше этой. Надо сносить это терпеливо, потому что другого ничего не остается. В Петербурге ты доконала себя, отстаивая от Лоп<атина> каких-нибудь 30 р.; в Ревеле ты режешь себя куском мыла. Я знаю, тебе дороги не 30 р., не кусок мыла, а справедливость; но вот здесь-то и обнаруживается весь твой несчастный характер. Непривычка покоряться необходимости беспрестанно заставляет тебя жертвовать важным ничтожному. Что ж из этого выходит? Спасая грош, ты теряешь фунт крови, тогда как тебе дорога каждая капля ее. Грустно, больно, страшно!

Довольно об этом. Хотел бы говорить больше, но мысль, что это только огорчит, а не убедит тебя, удерживает мою руку. Мне грустно и больно. Теперь до самой Одессы я не получу от тебя письма: каково-то мне будет ждать его, и каково-то

будет мне распечатать его! Видишь сама, как весел будет путь мой до Одессы. Я боюсь, что у тебя изнурительная лихорадка — болезнь важная, которую ты ежеминутно усиливаешь и беспрестанно поддерживаешь своею способностью приходить в отчаяние от вещей досадных, но в сущности пустых. Что из всего этого будет — у меня язык не поворачивается сказать тебе. Бедная Оля!..

У Агриппины сердце доброе и благородное, но терпение не принадлежит к числу ее добродетелей. Хороши мы все сошлись: точно на подбор — один другого лучше. Там, где бы она еще справилась сама с собою, — ей надо нянчиться с тобою — какое положение! Не знаю, как вы еще обе живы! И в самом деле, как не приходить в отчаяние, видя, что чухонки глупы, грубы и жадны к деньгам? Подобное развращение нравов может быть терпимо только в столицах, а Ревель — провинция. Можно ли жить после этого? «Хорошо (скажешь ты) смеяться да делать наставления, а попробовал бы сам». Пробовал и пробую — и удается как нельзя лучше. Что такое русская дорога, русские ямщики, трактиры, обеды и пр. и пр. — этого и описать нельзя; но я решился находить всё в порядке вещей, всё сносным, если не хорошим, — и от этого мне стало хорошо и поездка уже принесла пользу и физически и нравственно. Перед моим отъездом, недели за две или за три, и ты попробовала сделать над собою усилие и повести себя в отношении ко мне иначе: я это видел — и, поверь мне, ты уже взяла хорошие проценты с капитала твоего усилия: это я знаю. Ведь стало же тебя на это! Лишь захоти — и всегда станет, и всё будет хорошо, и все страдания и мучения сами собою незаметно исчезнут.

Здоровье мое поправляется. Кашель почти совсем исчез, а между тем, не забудь, я еще почти не видал хорошей погоды и в этом отношении выехал только из Питера, но не из Москвы; что же будет в Одессе, где я буду через неделю и где я буду купаться в море?

Из плодов в Харькове мы нашли только землянику, да и ту подают только в гостиницах. Нынешняя весна и в Харькове была не лучше петербургской. Верст за 30 до Харькова я увидел Малороссию, хотя еще и перемешанную с грязным москальством. Избы хохлов похожи на домики фермеров — чистота и красивость неописанные. Вообрази, что малороссийский борщ есть не что иное, как зеленый суп (только с курицею или бараниною и заправленный салом), а о борще с сосисками и ветчиною хохлы и понятия не имеют. Суп этот они готовят превкусно и донельзя чисто. И это мужики! Другие лица, смотрят иначе. Дети очень милы, тогда как на русских смотреть нельзя — хуже и гаже свиней. зуб мой выпадает. В Москве хочу попро-

бовать счастья у Жоли — заплачу подороже — лишь бы сделал хорошо. Если и его пломбировка окажется такую же — полно платить деньги этим шарлатанам.

Из моей поездки хочу сделать статью.² В голове планов бездна. Словом: оживаю и вижу, что могу писать лучше прежнего, могу начать новое литературное поприще. А закабались опять в журнальную работу — идиот, кретин!

Всё бы хорошо, если б не твоя болезнь. Прощай. Жму и целую твою руку, прошу и умоляю тебя, милая Marie, береги себя, помни, что ты больше не принадлежишь себе. Когда я уезжал, вы все пророчили, что я и простужусь, и обожрюсь, и обошьюсь; а вышло не так: я берег себя и был осторожен — могу похвалиться этим. Мое здоровье всё улучшается, а ты больна, конечно, от простуды: но сколько же ты прибавила к ней от себя, и как помогаешь ты ей доканывать себя — бог тебе судья!

Вчера мы с М<ихаилом> С<еменовичем> пили шампанское за здоровье Ольги, о чем и прошу уведомить ее.³

15 июня.

В Харькове опять тепло. Третьего дня пошел теплый дождь — и стало тепло. Харьков был первый город, в котором на этой дороге встретился я с мухами и блохами, а вчера вечером (чудный вечер — так и парило!) укусил меня первый комар, которого я от радости тут же и раздавил. Что за пыль в Харькове! Ужас!

Меня печалит мысль, что ты долго не получишь моих писем, Твои шли ко мне — первое, кажется, 17, а второе 15 дней. Чего ты ни надумаешься в ожидании! Это письмо пойдет по экстра-почте, и потому не мудрено, что ты получишь его прежде первого, которое пошло к тебе в среду (12).

Завтра в ночь едем в Екатеринослав, через неделю будем в Одессе. Пиши туда на имя Александра Ивановича Соколова (в Одессе). Еще раз прощай, друг мой. Желаю тебе всего хорошего, а больше всего здоровья и терпения, терпения и здоровья.

Твой Виссарион.

271. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Одесса. 1846, июня 24, понедельник.

Мысль о твоей болезни, chère Marie,* так мучительно беспокоит меня, что мне тяжело писать к тебе. К этому присоединяется еще та мысль, что до сих пор ты не получила от меня ни одного письма со времени моего выезда из Москвы. При твоей обыкновенной мнительности в соединении с болезнью это обстоятельство должно быть для тебя истинною пыткой. То я болен,

* милая Мари (франц.). — Ред.

то умер, то забыл свое семейство до того, что и знать о нем не хочу, то мне скучно и я страдаю, то мне весело и я до того наслаждаюсь всеми благами, что мне вовсе не до жены, — вот мысли, которые денно и пощно вертятся у тебя в голове и грызут тебя. Я это знаю хорошо, потому <что> знаю тебя хорошо, не говоря уже о том, что на твоём месте и всякая другая женщина, хоть и не так, а всё бы не могла не беспокоиться. Я и сам, до получения от тебя письма в Харькове, чувствовал себя неловко, и хотя это письмо было и неутешительно, по всё-таки оно избавило меня хотя от чувства неизвестности, которое теперь опять мучит меня. Рассчитываю по пальцам, и всё выходит, что мои два письма из Харькова (от 12 и 15 июня) ты должна получить не прежде 28 числа, т. е. еще через 4 дня по отсылке вот этого письма; а когда получу от тебя письмо — не знаю. Я, впрочем, несмотря на это, живу недурно, даже больше весело, нежели скучно, потому что мысль о тебе и твоём положении вдруг набегаёт на меня, как волна на корабль — качнет и рванет, и отхлынет. Такие минуты довольно часты и очень тяжелы; но я гоню от себя чёрные мысли, как солдат на сражении, который всё-таки думает: авось не убьют, и с отчаянною храбростию слышит свист пуль. Я думаю: если худо, ещё будет время отдаться мукам страдания, а если хорошо, то нечего заранее напрасно себя мучить и терзать. Здоровье мое очень поправилось: я и свежее, и крепче, и бодрее. Что же касается до кашля, — в отношении к нему я сделался совершенным барометром: солнце жжет, ветру нет — грудь моя дышит легко, мне отрадно, и кажется, что проклятый кашель *навсегда* оставил меня; но лишь скроется солнце хоть на полчаса за облако, пахнет ветер — и я кашляю. Впрочем, сильные припадки кашля оставили меня уже с месяц. Вообще же, если бы я получил от тебя письмо, из которого бы увидел, что ты здорова и спокойна, Ольга попрежнему дует молоко, как теленок, здоровеет, полнеет, начинает ходить, лепетать, Агриппина находится в добром гуморе и вы с нею бранитесь только слегка, и то больше для препровождения времени, — я бы начал жить, как давно уже не жил, да и надежду потерял жить. Но когда я получу от тебя письмо (если бы и предположить, что оно будет так благоприятно, как бы мне хотелось): мое получишь ты 28, свое пошлешь, положим, 30-го июня, а получу я его и не знаю когда — недели через три. Наделал же я дела, пославши тебе письмо из Калуги в Гапсаль!

Из Харькова выехали мы в воскресенье, 16-го, в ночь, часа в три. Накануне, в субботу, Кронеберг участвовал в пикнике, который затеяли его знакомые. Заметив, что тут будет много незнакомых рож, которые, кажется, на меня и собирались, я отказался, хотя меня и сильно упрашивали. С пикника Кроне-

берг провожал одну даму, на ее лошадях, и лошади понесли их с страшной горы; жизнь сидевших была на волоске, Кр(онеберг) выпрыгнул счастливо, только ушиб колени и подбородок, и на другой день я увидел его с подвязанным лицом. Дама тоже отделалась легким ушибом; только кучеру досталось порядком. Пикник их был скучен, и я поздравил себя, что не поехал на него. В тот же вечер (в воскресенье) Кр(онеберг) был очень озабочен и сказал мне, что его Коля тяжело болен. У него была корь, она прошла, но после нее сделалось воспаление: такое теперь, говорят, поветрие. Не знаю, что теперь у них делается. А девочка их — ничего; здорова и смешна, как следует быть ребенку, даже довольно жива.

Из Харькова выехали мы, как водится, с дождем и довольно холодной погодою. Во время спектакля шел сильный дождь, обративший страшную пыль в порядочную грязь. Мы направили наш путь на Екатеринослав. Погода скоро поправилась, и стало светло, хотя и холодно, за исключением полдня, когда пекло солнцем. На одной станции мы припущены были почевать, прождавши лошадей ровно 12 часов. Во вторник, часов около 8 вечера, прибыли в Екатеринослав. Этот город, как все города в Новороссии, построен Потемкиным, который хотел из него сделать южную столицу России. И было где! Екатеринослав стоит у Днепра,* на высоком берегу; Днепр обтекает его полукругом и в этом месте шире Невы. Город чрезвычайно оригинален: улицы прямые, широкие; есть дома порядочные, но больше всё мазанки, по улицам бродят свиньи с поросятами, спутанные лошади. Город кишит жидами. На огромной (незастроенной) площади стоит храм, довольно большой; но он занимает только место алтаря по прежнему плану. Потемкин хотел его строить на целый аршин кругом шире собора Петра и Павла в Риме — величайшего в Европе храма. Но он умер, и с ним умерли все его исполинские планы. На той же площади стоит дворец Потемкина, в котором он припимал у себя императрицу Екатерину и австрийского императора Иосифа II. Середина дворца ресторирована для дворянского собрания, а боковые здания находятся в состоянии развалин. При дворце сад, омываемый заливом Днепра, в саду много деревьев, которые не могут расти в московском климате и которых нет и в Харькове (хотя от Харькова до Екатеринослава только 200 верст), например, шелковичное дерево и др. Интересен также казенный городской сад. В нем одних яблонь до 49 родов, акаций до 30 родов, много разных американских растений. Всё это смотрели мы на другой день приезда; погода была чудесная, я много ходил — и не уставал, и вид этой природы и чудного

* Первоначально: на берегу Днепра

местоположения упоил меня. Отобедавши у одного знакомого М<ихаила> С<еменовича>, в 5 часов вечера мы выехали из Екатеринослава. Проехали через Херсон (довольно дрянной городишко при днепровском лимане, т. е. заливе); от него поворотили параллельно морю, от востока на запад, ехавши до того времени прямо от севера на юг. Жаль, что через Николаев проезжали ночью. Город большой, портовой, стоит он при слиянии Буга с Ингулом, образующем реку шириною верста и 70 сажен.* Переправлялись на баркасе с парусом и на веслах; ночь была чудная, месячная. На другой день (в субботу, 22) за 30 верст от Одессы завидели Черное море, по берегу которого столько верст ехали, не выдавши его. В Одессу приехали в 2 часа. Оригинальный город! Чисто иностранный, с итальянским характером. Наш трактир на берегу моря, берег высокий, вдоль его идет бульвар, вниз к морю идет каменное крыльцо, с большими уступами, в 200 ступенек. По этой лестнице ходят купаться в море. На море корабли, суда. Вид единственный! А что за гулянье по этому бульвару в тихую, теплую погоду, лунною ночью! Боже великий! Когда в Одессе жары, жители днем спят, а ночью гуляют. Днем пыль страшная, и многие дома (и наш трактир) сделаны с жалюзи, которые днем и не открываются по причине страшной пыли. Есть в Одессе Пале-Рояль — четверугольное здание, с садиком внутри, с галереєю кругом, с 3-х сторон, — с 4-й ход в театр. Тут лавки с модными товарами, кофейни, кондитерские, в галереях всегда народ, сидят на скамейках, на стульях, перед маленькими столиками, пьют кофе, шоколад, лимонад, оршад, едят мороженое. Всё это довольно пестро, живо. Для меня одно скверно: нельзя купаться в море — вода страшно холодна. Это странное море — вода в нем холодеет от южного ветра, который ее выворачивает со дна, а при северном теплеет. Дня за три до нашего приезда вода была тепла. Впрочем, нынешний год весна и лето в Одессе скверные, как и во всей России. Оно, коли хочешь, тепло, даже жарко, но ветер холодный. Теперь, спасибо, вечера очаровательны; поэзия, чистая поэзия!

Приехавши, я взял ванну, теплую, из морской воды; меня от нее страшно расслабило — едва на ногах держался целый день. Завтра возьму похолоднее. Сдуру вымыл голову морскою водою — 4 раза мылил, а грязи всё-таки не смыл, потому что соленая вода уничтожает мыло. От смеси оставшейся в волосах грязи с морскою водою моя голова до сих пор словно смолою вымазана.

Шью себе сертук в Одессе. Неимение сертука в дороге было

* Первоначально: аршин

для меня истинною пыткой. Без фрака было бы во 100 раз легче обойтись. В Одессе всё страшно дешево.

Мы проживем в Одессе недели две, а может быть и три, и я надеюсь получить от тебя письмо в ответ на мои харьковские; а если не получу, А. И. Соколов перешлет их в Крым.¹

Пища это письмо, я всё жрал вишни. Пока из плодов только и есть. Впрочем, в Екатеринославе отведал дыни.

В пятницу мне будет весело от мысли, что наконец-то получила ты от меня мои письма. О, если бы они застали тебя здоровевшею!

Но пока прощай. Из Одессы ты получишь от меня еще письма два или три, смотря по тому, сколько времени проживем мы в ней. Целую тебя и Ольгу и кланяюсь всем вам.

Твой Виссарион.

Это письмо пойдет сегодня же, по экстрапосте.

272. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Одесса. 1846, июня 28.

Если только мои письма из Харькова не пропали на почте, то ты их уже получила сегодня, вчера или даже три и четыре дня назад. Но от тебя ни строки. Неужели ты после двух своих писем не послала еще ни одного в Харьков? Страшно подумать! потому что без особенной причины ты едва ли бы стала так долго не писать. Хорошо бы, если б это потому, что ты хотела сперва дожидаться ответа от меня, считая меня без вести пропавшим. Однако ж я всё надеюсь и жду: авось Кронеберг перешлет мне твое письмо из Харькова. Если ж нет — буду крепиться и ждать ответа от тебя на мои харьковские письма, ждать их до половины будущего месяца, до 20-х чисел его, а там уж, конечно, если не от тебя, так от других услышу что-нибудь о тебе. А пока буду писать в предположении, даже в уверенности, что всё хорошо, что ты теперь поправилась, а мои письма из Харькова успокоили и развеселили тебя.

Со вторника (на другой день по отправлении к тебе первого письма моего) в Одессе наступила летняя погода. Не знаю, сколько именно градусов, но уверен, что на солнце не меньше 35. М<ихаил> С<еменович> весь так и плывет; меня этим еще нельзя пронять, но бывает и мне тяжело. Потею чуть-чуть (потому что днем не выхожу), но иногда даже лежать трудно, не только сидеть. Сним с открытым окном, и я накрываюсь ночью моим салфеточным халатом — и то жарко. Но что за вечера! Что за луна! На одесском бульваре ночью, при луне, над

морем, поневоле становисься романтиком: грудь поет, а на душе так сладко, светло и ясно, хочется плакать, сам не зная о чем и отчего, на глазах кипят слезы, а в уме никакой определенной мысли. Смешно, право! Пале-Рояль — очарование, особенно вечером. Кругом магазины, с широкими галереями, с асфальтовым полом, внутри садик, горят огни; мужчины, дамы гуляют, сидят, болтают, пьют, едят. Хожу я настоящим аркадским пастушком: в белых панталонах, в жилете, легком платке на шее и белом пальто, прюнелевых сапогах и соломенной шляпе — да и то жарко. Сегодня в первый раз купался в море — хорошо. Вода вблизи зеленая, попадает в рот — солоно. В Одессе у М<ихаила> С<еменовича> есть доктор, короткий знакомый, прекрасный человек и искусный врач. Он меня расспрашивал о болезни, дал наставление, как купаться, и только потому не дал лекарства, что не нашел этого нужным. Он вместе с нами едет в Крым. В Одессе мы пробудем еще с месяц, а может быть, и больше. Из Одессы поедем в Крым морем, а там опять начнем колесить и кочевать из города в город: М<ихаил> С<еменович> заключил условие с одним содержанием труппы¹ и будет играть у него в Симферополе, Севастополе, Херсоне, Николаеве, Елисаветграде и не знаю, где еще — всего 41 спектакль.

В понедельник вечером вздумал я купить себе в Пале-Рояле дюжину фуляров, за которую заплатил 20 р. серебром. В Питере дюжина таких платков (большие, прочные, плотные) стояла бы рублей 30, если не больше. Да вздумалось мне кстати купить что-нибудь для тебя и Агришины, и купил я вам по полудюжине батистовых платков, тебе подороже, ей подешевле: за твою полудюжину заплатил я 45 р. ассигн., за ее — 25. Вы, пожалуйста, за этот гостинец, вместо спасибо, еще разберите меня. Но что ж было делать? Материи на платье в Одессе купить нельзя: таможня пропускает только шитое и надеванное (почему платки ваши будут обрублены и сполоснуты). Купить что-нибудь дешевенькое? — но в таком случае всего бы лучше купить при въезде в Петербург пару саяк, да и сказать, что вот мол вам, душеньки, подарок одесский. А если меня не обманули и лишнего не взяли, то таких платков за такую цену в Питере купить нельзя: вот почему одесский гостинец имеет смысл. Сегодня вечером принесут мне от портного суконный сертук и триковый сертук-пальто. Сукно по 25 р. аршин, и М<ихаил> С<еменович> говорит, что в Петербурге такое сукно стоит 35 р.; а весь сертук, с прикладом и работою, стоит 125 р. асс., а сертук-пальто 80. Непременно куплю еще полторы дюжины рубашек: дюжина готовых (голландского полотна) стоит 60 р. серебром — ведь это не мотовство, и рубашки надо же будет мне делать в Петербурге, а там они много дороже. Денег возьму у М<ихаила> С<еменовича>, а ему отдам в Москве; теперь же

трачу из 500 ассигн., которые дал мне Герц<ен>; он еще в Петербург писал о них и хотел мне выслать, но я написал к нему, чтобы он дал мне их в Москве.

Доктор сказал мне, что мой кашель не грудной и не желудочный, а происходит от расстройства всего организма, преимущественно же нервной системы. Теперь только вижу я, до какой степени расстроены твои нервы: мои крепче твоих, я не боюсь лошадей и не пугаюсь ничего, что вижу или знаю вперед, но когда я слышу залп из пушки (2 раза в день, в 12 часов дня и в 9 вечера), то всегда пугаюсь, как будто бы подо мною пол провалился, и я полетел вверх ногами. Доктор говорил мне о чудотворной силе морского купанья для страдающих расстройством нервов и уверял, что он отпустит меня домой совершенно здоровым. Я действительно становлюсь крепче. Сегодня только два раза отдыхал на лестнице в 200 ступенек, и то на минуту, и то от слабости ног, а не от одышки, которой почти не чувствовал; слабость же в коленях чувствуют все, не привыкшие ходить по этой лестнице, даже М<ихаил> С<еменович>, хотя это и железный человек. Вот уже три дня, как я не сплю после обеда, и зато как лягу ночью, так и засну сию же минуту и сплю крепко до 6¹/₂ часов; а ложусь в одиннадцатом, когда нет театра. А спать днем перестал потому, что за это провел адскую ночь — засну и проснусь — тяжело, жарко, душно, даром, что окно отворено. Не знаю, как буду спать нынешней ночью, после морского купанья. Морская вода действует на тело почти так же сильно, как и минеральные воды, и производит волнение и жар в крови ужасные. Поэтому я купался не больше двух минут. Ем вообще умеренно. Впрочем, в жары я не могу обжираться, если б и хотел, а здешние жары — не петербургские. Вишни и черешни не могу съесть и фунта за раз, а больше одного раза в день еще не случалось; от этой ягоды, слава богу, скоро делается оскомина. Других плодов пока еще нет, а апельсины теперь уж гадки. Вот в Крыму — другое дело, надо будет быть осторожнее; да с нами будет доктор, да и М<ихаил> С<еменович> смотрит за мной, словно дядька за недорослем. Что это за человек, если б ты знала!

В пятницу опять буду писать, а если б до понедельника получил через Кронеберга от тебя письмо из Харькова, то написал бы и в понедельник: в оба эти дня ходит экстрапочта. Прощай, целую тебя и Ольгу и жму руку Агриппине.

Твой Виссарион.

Одесса. 1846, июля 4

Вчера получил письмо твое, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо.¹ Насчет первого пункта вполне полагаюсь на тебя, не забывая только одного — распорядиться в том случае, если мы разъедемся.

Мои путевые впечатления, собственно, будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои «Письма об изучении природы» — вовсе не об изучении природы письма.² Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкою статьи, или, лучше сказать, придиркою к ней. Они будут состоять больше в толках * о скверной погоде и еще сквернейших дорогах. А буду писать я вот о чем:

1) О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими и мною, но предмет будет рассмотрен à fond.** М<ихаил> С<еменович> играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе, а может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и черт знает где еще. Я видел много, ходя и на респетиции и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, М<ихаил> С<еменович> преусердно снабжает меня комментариями и фактами — что всё будет ново и сильно.³

2) В Харькове я прочел «Московский сборник»: луплю и наяриваю об нем. Статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и, подлец, зацепляет меня в лице «Отечественных записок». Как умно и зло казнил он аристократические замашки Соллогуба! Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Хомяков — я ж его, ракалию! Дам я ему зацеплять меня — узнает он мои крючки! Ну уж статья! Вот бесталаннейший ёрник! Потешусь, чувствую, что потешусь!⁴

3) Я не читал еще ругательства Сенковского;⁵ но рад ему, как новому материалу для моей статьи.

Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонною болтовнею о всякой всячине, сдобренною полемическим задором. Уж сдобрю!

В Калуге столкнулся я с Иваном Аксаковым. Славный юноша! Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был сла-

* Далее зачеркнуто: что

** основательно (франц.). — Ред.

вянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего!*

Здоровье мое лучше. Я как-то свежее и заметно крепче, но кашель всё еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30 опять посвежело; впрочем, всё тепло, так что ночью потеешь в легком пальто. Начал было я читать Данта, т. е. купаться в море,⁶ да кровь прилила к груди, и я целое утро харкал кровью; доктор велел на время прекратить купанья.

Вот что скверно. Последние два письма от жены получил я в Харькове, от 22 и 27 мая, в обоих она жалуется на огорчения и на лихорадку; а с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с нею делается, — тоска! Без этого мне было бы весело — *far niente*.**

Соколов⁷ — славный малый, но впал в провинциальное прекраснородушие. Оттого, что ты в письме ко мне не упомянул о нем, чуть не расплакался. О, провинция — ужасная вещь! Одесса лучше всех губернских городов, это — решительно третья столица России, очаровательный город, но — *для прохладящих*.⁸ Остаться жить в ней — гибель.

Наталье Александровне мой поклон. А что ж ты не пишешь — где теперь пьет Огарев и селадонствует Сатин? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты Корша? Поклонись от меня его семейству и не сказывай Марье Федоровне, что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства: она, пожалуй, сочтет меня за примерного (!!)-семьянина, а такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты Корша. Прощай. Если не поленишься, напиши что-нибудь.

В. Белинский.

М<ихаил> С<еменович> страдает от одесских жаров и своего чрева, насилу носит его. Вам всем кланяется, а жертву своего обольщения, Марью Кашпаровну,⁹ целует — такой шалун!

274. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Одесса. 1846, июля 8.

Сейчас получил твое письмо, *chère Marie*;*** оно меня испугало, обрадовало, успокоило и удивило. Я думал, ты умираешь,

* Далее зачеркнуто: Вот

** безделье (*итал.*).— *Ред.*

*** милая Мари (*франц.*).— *Ред.*

если еще не умерла, или что с Ольгой плохо. Твоя лихорадка и ежедневные* мелкие огорчения, которые так сильно на тебя действуют, — о чем всем писала ты мне в последнем письме своем от 27 мая, не говоря ни слова о том, лечишься ли ты, — всё это напугало меня. Прибавь к этому, что вот уже почти месяц, как я не получал от тебя ни строки и, следовательно, не имел никакого понятия о твоём положении за целые полтора месяца, кроме того, что ты больна. Каждый день жду письма, через Кронеберга, из Харькова, и вот с полчаса назад — письмо; срываю конверт Кронеберга — там рука твоя — ну! — Читаю — и страшное впечатление произвело на меня это письмо. Что за старина!** Я исколесил более двух тысяч верст, проехал Калугу, Тулу, Воронеж, Курск, был на Коренной, в Харькове, Екатеринославе, вот уже 17-й день как в Одессе, — а ты всё еще не выехала из Москвы: всё пишешь мне о моем пребывании в Москве, которое я помню, как будто сквозь сон. Однако ж я очень хорошо помню, что ни в Москве, ни в другом каком месте не плакал. Это, вероятно, von mot*** Панаева, которое Маслов принял за наличные деньги, а ты и поверила. Впрочем, если это имеет какое-нибудь основание, т. е. хоть не то, чтоб я рыдал, а, может быть, глаза были влажны, — так не помню, как честный человек, не помню, потому что был в истинном «восторге», так что многое мне помнится, как сквозь сон.

Не понимаю, что у тебя был за план прожить зиму в Ревеле: что за ребяческая мысль? Но об этом после. Что я за Ольгу рад до смерти, что я люблю ее без памяти и заочно, *при сей верной okazji*, целую ее 1000 раз, — всё это разумеется само собою; но вот что мне кажется странно: когда же это она успела захворать и выздороветь: ведь в письме от 27 мая она была здорова, а от 27 мая до 6 июня — всего десять дней. И что же ты не написала, чем именно была она больна? Потом: забыла ли она о груди, как забыла обо мне, ветреница и изменница?

Я никак не ожидал, чтобы Ревель был так отвратителен. Хуже всего то, что ты не только не гуляешь, но и не купаешься в море. За этим люди приезжают чорт знает откуда; а ты приехала не издалека и понапрасну. А морские ванны должны бы тебе быть полезны, как всем слабонервным; только без доктора с ними обращаться опасно. Я начал купаться с пятницы (28-е июня), в субботу и воскресенье купался по два раз, а когда в понедельник (1-е июля) поутру пошел я сделать**** шестое ку-

* Далее зачеркнуто: мучения

** Далее зачеркнуто: Ты пишешь

*** острота (франц.). — Ред.

**** Первоначально: взять

панье, то заметил, что откашливаюсь с кровью. Это мне не помешало выкупаться. Однако в тот же день поехал я к доктору, и он велел мне на время оставить купанье и дал микстуру, от которой меня послабило и отвлекло прилив крови от груди вниз. Тем не менее, сегодня в первый <раз> позволил он мне возобновить купанья, и я поутру купался, а часа через три опять пойду. Чудо, что за наслаждение! Сегодня море в волнении, волна то подхватит тебя, взнесет на гору, сбросит вниз, окатит с головою, вода теплая, погода чудная, хотя и с ветром! Купанье уже оказало благодетельное влияние на мои нервы: я стал крепче, свежее и здоровее.

В Москву мы будем с М<ихаилом> С<еменовичем> к первому октября, и если опоздаем, то никак не больше, как двумя или тремя днями, потому что он получил отпуск только до этого времени. Приехавши, я тотчас же беру место в мальпост или где случится, и в Москве пробуду не более недели.

Ты пишешь, что это от тебя 4-е письмо в Харьков: я третьего не получал. Должно быть, ты адресовала его на имя Алфераки, а он теперь на ярмарке в Ромнах. Жаль, что так случилось.

Спектакли русские в Одессе кончились, и мы пока живем так, сами не зная, скоро ли едем. Это зависит от содержания театральной труппы в Новороссии, с которым М<ихаил> С<еменович> сделал условие.¹ Когда он напишет, мы по старому пути поедем на северо-восток, в Николаев, где проживем недель около двух, оттуда еще дальше — в Херсон, а оттуда опять в Одессу, чтобы из нее морем ехать на южный берег Крыма, откуда поедем в Симферополь и Севастополь, где М<ихаил> С<еменович> будет играть.

Я познакомился с братом покойного Кульчицкого. Он очень похож на А<лександра> Я<ковлевича>, только ниже его ростом, здоров и полон. Он показался мне порядочным молодым человеком.

Можно ли быть аккуратнее меня: получил от тебя письмо и часа через два послал ответ на почту!

Продолжай писать в Одессу на имя Александра Ивановича Соколова. Когда меня и в Одессе не будет, он станет пересылать ко мне. По моему расчету, на днях от тебя должен прийти ко мне ответ на мои два письма из Харькова. Если он придет до пятницы или в пятницу, то в этот день пошлю к тебе письмо по экстрاپочте, а если после, то буду писать в понедельник.

Что это у тебя за странная манера говорить и писать о своей беременности таким тонким штилем, как будто дело идет о контрабанде? Мне было бы приятнее, если б ты написала прямо о своем положении в этом отношении, т. е. в какой степени беременности находишься ты, когда придется тебе родить. Да, бога ради, познакомься с каким-нибудь лекарем: иначе я спокоен

не буду, а я и так еще не совсем успокоился: ведь от 6-го июня до 8 июля я ничего не знаю о вашем положении. Кланяюсь Агриппине и прощаюсь с тобою. Твой

Виссариион.

Погода в Одессе жаркая. Жру теперь всё абрикосы — их подвезли из Константинополя. Кстати: в Грузию мы *не* поедем. От Кроненберга получил письмо: у него дома всё хорошо.

275. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Одесса. 1846, июля 12.

Наконец я получил от тебя и ответ на мое первое письмо из Харькова и теперь совершенно спокоен насчет вашего положения по части здоровья. Правда, ты не совсем здорова, но нездоровье для нас с тобою вещь обыкновенная, а я боялся следствий простуды твоей, полученной на пароходе. Итак, поездка твоя в Ревель не принесла тебе ни пользы, ни удовольствия, оттого, главное, как теперь ясно оказывается, что ты ошибочно понадеялась найти в Ревеле прислугу и рискнула ехать туда без прислуги. Ты пишешь, что Марья была бы теперь для тебя прекрасною кухаркою; знаешь ли что? — я бы очень желал, чтобы по возвращении в Петербург ты не убедилась на опыте, что имела в Марье прекрасную няньку, лучше которой мудрено найти. Я, признаюсь, что-то сильно боюсь, что по этой части тебе предстоит много огорчений. По крайней мере, я желал бы, чтобы тебе сделали пользу купанья в море, — тогда бы, несмотря на все неудовольствия, всё бы стоило ехать в Ревель; а иначе гораздо лучше было бы остаться в Петербурге на даче. Насчет твоего переезда в Питер, — делай как хочешь. Если бы и не стало денег, можно попросить у Александра Александровича.¹ Кстати, о деньгах. Я писал к тебе о них с тем именно, чтобы совершенно успокоить тебя в этом отношении; но вышло иначе: по тону письма твоего видно, что тебе всё худо — нет денег и есть деньги. Я совсем не *надеюсь занять где-нибудь*, как пишешь ты. Где мне занять, и кто мне даст займы? Но я потому и решился ехать в такой дальний путь, что надеялся не *занять у кого-нибудь*, а *взять у друзей* денег, с которыми мог бы приехать в Петербург. И я не ошибся в моей надежде: Герцен предложил мне денег. Об отдаче их ему я и думать не намерен. И это меня несколько не беспокоит, не мучит и не унижает в собственных глазах: Герцен не Струговщиков, не Косиковский (о которых не могу вспомнить без сердечного и всяческого щемления). Если б подобный поступок с моей стороны я считал предосудитель-

ным, это значило бы, что я сам, будучи богат, не иначе помог бы бедному приятелю в его стесненном положении, как внутренне презирая его за то, что он взял у меня денег, зная, что ему нечем будет заплатить мне. Понимай меня как хочешь в этом отношении, но я таков и другим быть не хочу.

Опасение Агриппины, чтобы я не проболтался Достоевскому о том, что его родные — размазня, совершенно неосновательно. Я был бы не болтун, а дурак, если б счел себя в праве смеяться Достоевскому в глаза над близкими ему людьми, которые, в довершение всего, были к вам радушны.² На этот счет я могу вас успокоить. Не знаю также, почему тот — юноша и мечтатель, кто думает, что годовалый ребенок может ходить или летать.

Действительно, мне поездка лучше посчастливилась, чем тебе. Здоровье мое всё лучше и лучше становится; наконец и кашель начинает подаваться. В Одессе теперь жары, от которых всё охает и стонет. Представь себе, ночью душно от жару. Ветер одна отрада. Даже мне тяжело от жару. Купаться в море — наслаждение. Жить в Одессе дешево; только нет льду и нечего пить — вода прегнусная. Сегодня, как пойдет к тебе это письмо, мы едем в Николаев. Может быть, оттуда приедем опять в Одессу в первых числах августа, а 15 августа из Одессы морем поедем в Крым. Если же из Николаева М<ихаил> С<еменович> должен будет ехать играть в Херсон, то в Крым поедем из Херсона сухим путем. Во всяком случае письма твои мне будет доставлять Александр Иванович Соколов; а начиная с половины (или с 20) августа, адресуй их в Севастополь, на имя Михаила Семеновича Щепкина (отдать при театре), с передачею мне.

Я очень рад, что ты хочешь переехать в Петербург, не дожидаясь меня. Мне приятнее застать вас в Питере, нежели дожидаться. И квартиру вместе будем искать. О причинах же, которые ты приводишь в письме своем, нечего и говорить: они основательны, как нельзя больше. Только одного не понимаю я: почему ты не пишешь мне, когда тебе придется родить? Я вообще такого мнения, что мне не мешало бы знать это.

Спелые абрикосы — довольно вкусный плод. Я-таки порядочно истребляю их. Груши только начинают спеть, но их уже давно продают. Клубники и малины мне не удалось и отведать это лето. Клубнику я хоть видел мельком в Харькове, но малины и в глаза не видал. Скоро поспеют дыни и арбузы. Я писал к тебе, что в Харькове зуб мой выпал. Не знаю, как-то раз впихнул я его, да так удачно, что и теперь держится крепко, только торчит пренелепо, смотря изо рта воц.

Я было надеялся, что глазные зубы у Оли пойдут в июле и что к переезду она отмучается ими совсем. Ан нет, чорт дернул коренные полезть. Стало быть, худшее-то всё еще впереди.

В Николаеве мне будет скука смертельная. Спектакли мне надоели смертельно. Начну что-нибудь делать, если погода позволит. т. е. если жары не будут слишком мучительны. Буду купаться в Буге. Сегодня небо мрачно, ветер прохладен, а в комнате, при растворенном окне, всё-таки душно от жару, хотя я и сижу только в рубашке.

Ну, прощай. Всех вас обнимаю. Твой

Виссарион.

276. М. В. БЕЛИНСКОЙ

<17—23 июля 1846 г. Николаев.>

Николаев. 1846, июля 17.

М<ихаил> С<еменович> попросил меня свезти на почту его письмо с деньгами; а я кстати решился свезти и свое, хотя писать не о чем и жара страшная. Всё же тебе весело будет получить письмо, хоть в нем и ничего не будет интересного. Жить в Николаеве довольно скучно. Это первый город, в котором у нас не нашлось ни одного знакомого. Город этот флотский и набит матросами и их офицерами. Спектакли идут плоховато. Актеры — ничем не лучше твоих чухонских кухарок. Ужас! Кажется, 25 (в ночь, в четверг) мы опять поедem в Одессу. Я рад этому, потому что до 15 августа буду купаться в море, что принесет мне большую пользу. В будущем меня интересует только южный берег Крыма, который проедem мы дня в два, в три. Вне этого, поездка мне начинает надоедать, и мне начинает хотеться домой, в свой угол. Думаю, что в Севастополе, куда мы явимся, проехав по южному берегу Крыма, и где мы проживем с месяц, мне будет скучно. Впрочем, я там буду купаться в море, и потому если будет и скучно, зато полезно. Здоровье мое хорошо. Особенно поправился у меня сон — сплю чудесно. Прощай. Обнимаю и целую вас всех.

В. Б.

Ух, как жарко — мочи нет.

Это письмо ты получишь позднее обыкновенного: оно пойдет через Москву.

23 июля.

Пришедши на почту в прошлую среду, я узнал там, что московская почта ходит из Николаева по вторникам и пятницам. М<ихаил> С<еменович> в пятницу раздумал послать свое письмо, отложив до вторника. Так мне не было ни о чем особенном писать, и я отложил до нынешнего вторника. О нашем маршруте ничего верного не знаем. Сегодня содержатель труп-

пы, Жураховский, едет в Херсон, чтобы узнать, позволят ли там играть постом; если позволят, то первого августа или в ночь 31 июля мы выезжаем из Николаева в Херсон (59 верст). Если не позволят, то Жураховский будет просить позволения играть в Симферополе, и мы поедem туда. Если же бы не позволили ни там, ни тут, мы, оставив экипаж Жураховскому и оставив при нем человека, поехали бы из Николаева в Одессу на пароходе, где и прожили бы до 15 августа, а в этот день на пароходе поехали бы в Крым. Но всего вероятнее, что играть позволят в Херсоне, а не то — в Симферополе, и нам уже в Одессе не быть. В Херсоне мы пробудем дней около десяти, а оттуда морем поедem в Севастополь, где меня ожидает чудесное купанье в море, потому что при берегах Севастополя вода солонее, нежели при берегах Одессы. В следующую пятницу надеюсь написать тебе, верно ли мы едем 31 в Херсон, а если не в пятницу, то уж непременно во вторник (30), стало быть, ровно через неделю по получении этого письма ты получишь другое.

Со дня на день всё сильнее и сильнее начинаю скучать; хочется домой, поездка надоела, и меня утешает только то, что бóльшая половина поездки уже совершена и что я еще увижу, хотя и мимоходом, южный берег Крыма. Здоровье мое хорошо, кашля нет. Жду много добра от купанья в море в Севастополе. В Николаеве напали на меня блохи и мухи, особенно последние. Не дают спать проклятые, и если случится лечь попозднее, дольше 7 часов утра никак не дадут уснуть, днем тоже. А как жарко — мочи нет; а нынешнее лето еще не из жарких здесь. Абрикосы проходят. На базаре в Николаеве десяток лучших абрикосов стоит 10 коп. меди, лучших груш — 30 коп. меди. Вчера в первый раз увидели дыни и, кажется, за гривенник кушали четыре небольшие дыньки. Теперь скоро пойдут дыни и арбузы, а недели через три и виноград — ешь не хочу. И всё это нишчем. Боже мой! Что это за богатый край! Вчера мы обедали у контр-адмирала Берха — что за чудесный старик! ¹ До сих пор у нас не было никого знакомых; теперь зять Берха, офицер, будет у нас часто бывать.

А от тебя что-то опять долго нет писем. Всё жду от Соколова — и не получаю. Теперь уж ты адресуй письма на имя М<ихаила> С<еменовича> в Севастополь (*отдать при театре*). Еще раз прощай.

277. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Николаев. 1846, июля 30.

Оба письма твои, chère Marie,* адресованные в Одессу на имя А. И. Соколова, я получил здесь, в Николаеве, а если ты,

* милая Мари (франц.).— Ред.

и кроме их, послала по тому же адресу и еще* несколько, — я и их получу исправно в Херсоне или в Симферополе. Теперь я положительно могу уведомить тебя о нашем пути-дороге. В Одессу мы больше не будем, а отправляемся послезавтра в Херсон, где пробудем числа до 12 (августа), а потом поедем в Симферополь, где пробудем почти до сентября, а весь сентябрь проведем в Севастополе, куда и адресуй свои письма на имя М. С. Щепкина, подписывая каждый раз: *отдать при театре*. Начиная с 15-го сентября, посылай** свои письма в Воронеж, по адресу: *его благородию Николаю Михайловичу Щепкину, в канцелярию Драгунского его императорского высочества наследника цесаревича полка*. В Воронеже мы будем около 10 октября, — и я был бы очень рад получить там вдруг два или три письма твои. В Воронеже мы проживем суток двое, стало быть, в Москву приедем числа 16. В Москве я пробуду много, если дней пять, следовательно, в Петербург буду числа 25.

Письма твои, с одной стороны, очень порадовали меня, потому что я увидел из них, что все вы здоровы и ничего особенно дурного с вами не случилось; но, с другой стороны, они очень огорчили меня, показавши мне, что ни житье вместе, ни отдаление разлуки, ничто не научит вас понимать мой характер и читать мои письма не в одних строках, но и между строками. Это тем более огорчило меня, что мне пришлось вдруг в голову, что я сам виноват в этом, что создан так грубо, что не могу не оскорблять выражением моей симпатии так же точно, как и выражением моего нерасположения. Испугавшись за твою болезнь и увидя из твоих писем, что все дни твои есть ряд непрерывных мелких досад и огорчений, я, естественно, желал помочь чем-нибудь горю, и для этого не нашел другого средства, как, жалуясь вам же на раздражительность ваших характеров, особенно для вас вредную в таких обстоятельствах, этим самым обратить ваше внимание на это обстоятельство и возбудить*** в вас решимость бороться с ним. Во всяком случае, источник моих слов никоим образом не мог быть для вас оскорбителен, и, если б я даже и ошибся в этом случае на ваш счет, вам нечего было сердиться, но лучше было бы успокоить меня, уверивши меня (не оскорбляясь и не сердясь), что мои опасения были напрасны и что я ошибся. Но вместо этого в одном письме ты пишешь, что *Агриппина не шутя рассердилась на меня*, в другом, что *она плюет на меня, потому что я в каждом письме приписываю ей что-нибудь ругательное*. У меня руки опустились по прочтении этих вовсе неожиданных мною строк. Живя вместе, я часто вздо-

* Далее зачеркнуто: одно или

** Первоначально: адресуй

*** Далее зачеркнуто: ваше

рил с Агриппиною (потому что, повторяю под опасением быть снова оплеванным, у обоих нас, у нее и у меня, характеры прескверные, ребячески-мелочные, болезненно-раздражительные, а воспитание в обоих нас не развило того, что называется деликатностию и тактом), но никогда, ни наяву, ни во сне, не питал я к ней никаких враждебных чувств; но, находясь вдали от семейства, забывши все мелочные неудовольствия и, можно сказать, дрожа ежеминутно за здоровье и жизнь каждого из его членов, я писал и об Агриппине не только без всякого желанья оскорбить или кольнуть ее, не только без всякой враждебности, но с полным расположением, с самою теплою симпатиею к ней, — и ответ на это получаю в деликатном и грациозном образе плевания! Я в эту минуту походил на человека, который подошел к другому с улыбкою и протянутою для пожатия рукою, а в ответ получил оплеуху. Но что еще огорчительнее для меня, — это то, что вместо того, чтобы разуверить и успокоить Агриппину в ее несправедливом и неосновательном раздражении против меня, ты берешь ее сторону и вычисляешь мне всё, что делает для нас Агриппина. Я и прежде замечал с горестью, что ты убеждена в том, что я не вижу и не понимаю, что для нас делает и чем для нас жертвует Агриппина. Она вообразила, что живет у нас в тягость мне, словно из милости, а ты так и смотришь на меня, как будто ожидая, что вот я в одно прекрасное утро скажу тебе, что мне уже не в силах скрывать того, что ее пребывание у нас мне невыносимо. Вот это-то мне еще обиднее, нежели смешно и нелепо — неосновательные сомнения Агриппины. Но довольно об этом. Лучше переговорить при свидании или, еще лучше — вовсе никогда не говорить об этом: чего нельзя поправить, то только портится поправками. Видно, вам уже суждено не понимать меня, и я был бы очень рад убедиться, что я больше вас виноват в этом.

Если в Крыму есть кумыс, а мой доктор, с которым я там должен увидеться, скажет, что мне кумыс полезен, я буду пить его. Только едва ли он там есть, потому что для него ездят не в Крым, а в Оренбург. Плодами я не обжирюсь. Абрикосы решительно кончились, и дней пять назад я ел их в последний раз. До груш я не охотник: незрелые — они жестки, зрелые — безвкусно мягки. Бергамотов в Николаеве нет. Дыни только что показались, а арбузы только что показываются. В Херсоне отличные арбузы, а это безвредный плод.

У зятя контр-адмирала Берха¹ премиленькие дети — сын и дочь десяти месяцев, близнецы. На вид им кажется года по полтотору. Мальчик страдает зубами, спал с тела и стал вял, а девочка — что за прелесть, а зовут ее Ольгой.

С неделю назад тому дней с пять сряду были всё дожди, при которых было всё так же душно, жарко. Наконец, в пятницу

вечером, сделалось холодно, ртуть опустилась до 15 градусов. Субботу весь день было холодно, воскресенье стало теплее, а теперь опять жара. Странное лето! Ни одного дня не помню я, чтоб небо было совершенно чисто, чтоб не было на нем ни облачка. Ни одной грозы не видал. Было, правда, на прошлой неделе несколько ударов грома, и всё тут.

Уведомь меня, ради всего святого, когда тебе придется родить и купаешься ли ты в море, и есть ли тебе от этого лучше. Прощай, целую тебя и Ольгу. Твой

Виссарион.

278. Н. М. ЩЕПКИНУ

Николаев. 1846. Июля 30.

Дражайший Николай Михайлович! Пишу это письмо к Вам для того, чтобы браниться с Вами. Неужели Вам стоило бы такого ужасного труда потешить своего старика¹ несколькими строками, что Вы боялись от этого заболеть, а может быть, и умереть. Стыдно быть лентяем до такой степени! А он всё ждал и роптал на Вас. Не хорошо. Ему хотелось бы знать, как Вы сдали Вашу комиссию, что и как идет у Вас при новом начальнике.

Теперь мы в Николаеве, из которого послезавтра отправляемся в Херсон, где пробудем числа до 12 (августа), а оттуда в Симферополь, где пробудем почти до сентября, а сентябрь весь проведем в Севастополе. И потому Вы можете адресовать Ваше письмо в Севастополь, рассчитывая так, чтобы оно пришло туда к нашему приезду, а адресуйте на имя М. С. Щ<епкина> (отдать при театре).

В Николаеве такая труппа, какой подобной нет нигде под луной, а если есть, так, может быть, на луне, где, как известно, вовсе нет людей и, стало быть, никто не знает грамоте. Эти чучела никогда не знают ролей и этим сбивают М<ихаила> С<еменовича> с толку, путают, перевирая свои фразы и говоря его фразы. Это его бесит, мучит, терзает. Ко всему этому, он не совсем здоров: у него расхотелся геморой и он слегка претерпевает неправильное отделение мочи. Впрочем, ему уже легче, а как при переезде в Херсон он не будет играть дня четыре сряду, то и совсем поправится.

Я так себе, как будто здоров. В Одессе мне удалось покупаться в море не больше 15 раз; но и это принесло мне пользу. Надеюсь вознаграждать себя в Севастополе, где морская вода солонее одесской.

Прощайте, милый Николай Михайлович, желаю Вам больше здоровья и меньше лени.

Ваш В. Белинский.

Херсон. 1846, августа 6.

Третьего дня получил я неожиданно твое третье письмо в Харьков, от 3 июня. Оно было адресовано на имя Алфераки, который в это время находился на Роменской ярмарке, стало быть, получил его уже по возвращении оттуда, отдал Кронебергу, который переслал его в Одессу к Соколову, а тот ко мне в Херсон. Из этого письма узнал я, во-первых, что ты видела на мой счет преглуший сон, который почему-то нашла «очень неприятным»; во-2-х, у тебя в Ревеле есть доктор и что ты начала брать теплые ванны по его совету. Так вот в чем было дело: письмо не попало мне в руки во-время, а в других письмах тебе как-то не пришлось повторить это, а я беспокоился и мучился. Так-то большая часть наших страданий и огорчений в жизни происходит от таких недоразумений. Вот другое дело, что ты опечалилась от глупого сна: тут поделом вору мука — не верь глупым снам, коли знаешь грамоте и считаешь себя образованнее какой-нибудь старухи-салонницы; а если не хочешь, чтобы над тобой за это смеялись, не пиши об этом серьезно к человеку, который подобным глупостям давно уже не верит.

Выезд наш из Николаева ознаменовался двумя неприятными событиями: пожаром (сгорело 5 домов) и смертью ребенка у нашего хозяина, девочки лет двух. В среду вечером начала она кашлять с хрипением, М<ихаил> С<еменович> посоветовал сейчас же послать за лекарем или самим поставить ей пъявок; я, не зная этого, с своей стороны тоже советовал немедленно обратиться к доктору; но хозяин отвечал мне, что все доктора — скоты, которые уже уморили у него двоих детей, и что детям доктора не нужны; однако ж ночью пошел за доктором, но тот отказался по причине ночи; в четверг поставили пъявок, но, видно, поздно: вечером ребенок умер. Отец весь день ревел, как баба, а потом всю вину, по обыкновению, сложил на волю божию.

В Херсоне случилось с нами необыкновенное происшествие. Хотя содержатель театра, Жураховский, и выпросил заранее позволение у херсонского начальства играть от 4-го до 15 августа, но губернатор одумался и запретил. Вследствие этого мы в Симферополь не поедem, а проживем в Херсоне до 26 августа, так как жители этого города изъявили большую охоту видеть М<ихаила> С<еменовича> и заранее разобрали почти все билеты. Будет сыграно 7 спектаклей да восьмой — бенефис в пользу М<ихаила> С<еменовича>, который этим хотел вознаградить себя за две почти недели, даром прожитые в

Херсоне, потому что театр начнется 15 августа. Скучно, а делать нечего.¹

Уж как надоело мне ничего не делать и проживать в разных захолустьях — мочи нет, тоска да и только! Так бы и полетел домой! Утешаю и укрепляю себя только тем, что уже большая часть определенного на поездку времени прошла и что лучшее этой поездки, т. е. Крым, еще впереди, и что месяц в Севастополе (сентябрь) будет употреблен на дело — на купанье в море.

Ну, что Агриппина? — я думаю, еще больше осердилась на меня, разогорчилась и прочее и прочее? Есть из чего! Я так уже вовсе простыл на этот счет и даже жалею, что в прошедшем письме распространился об этих вздорах. Ну, Агриппина Васильевна, полноте сердиться — дайте-ко руку — это будет лучше.

Фу, чорт возьми, в какую даль заехал я от вас — инда страшно становится! Ах, как бы этот август да скорее прошел! Кабы деньги — я знал бы, как убить время — поехал бы до 25 августа в Одессу к Соколову и к морю.

В последнее время пребывания в Николаеве я довольно дурно чувствовал себя. Кровь прилила к груди, и оттого грудь болела, я кашлял, страдал запором, а от недостатка движения болела и голова. Накануне* отъезда Редкин дал мне каких-то пилюль, от которых на другое утро меня два раза послабило; но в пятницу поутру меня пронесло страшно слизями, с спазмами и жжением, — и грудь освободилась, дышу легко и полно, голова свежа, кашля нет. Даже язык так чист, как никогда не бывал, и после обеда поспорит в чистоте с языком Дюка и Малки² (что эти почтенные юноши? — напиши что-нибудь о них). Так как теперь по утрам и вечерам уже не так жарко, то хожу пешком на Днепр купаться два раза в день. Едим арбузы, из которых спелые еще очень редки. Но что за дыни — объеденье! Груши здесь очень недурны. Арбузы здешние продолговатые, изподобие дыни.

Да будет вам известно, что я хожу с бородою. С выезда из Калуги не брился, в Воронеже, на Коренной и в Харькове я ходил на беглого солдата, но к приезду в Одессу у меня уже явилось что-то вроде бороды, а теперь совсем борода. Я боялся, что моя борода выйдет вроде моих усов, то есть мерзость страшная, но борода вышла на славу — вот сама увидишь.

Ну, прощай, chère Marie, ** целую и обнимаю вас всех.

Твой Виссарион.

* Первоначально: В день

** милая Мари (франц.). — Ред.

Херсон. 1846. Августа 13.

Третьего дня получил я твое письмо от 26 июля. Волосы Ольги, упавшие из письма, когда я развернул его, неприятно поразили меня. Глаза мои упали на строку, что Ольга была больна не более 10 дней — я даже обомлел; но, пробежав письмо, я успокоился, видя, что это ответ на 2-е мое письмо из Одессы, о котором я совсем забыл. Когда ты писала ко мне о Прокоповиче?¹ — не знаю. Или ты вовсе не писала, или письмо это не дошло до меня. Советы твои насчет покупки рубашек пропали понапрасну: эта покупка не состоялась. Я хотел на нее взять денег у М<ихаила> С<еменовича>, но как для этого мне нужно было знать, играет ли он у Жураховского, то я и отложил дело до вторичного посещения Одессы, которое не состоялось. Я уже писал к тебе, что сшил в Одессе сертук за 125 р. асс., такого сукна, из какого в Питере не сошьешь за эту цену. Потом пальто из трико за 75 р. асс. Кроме дюжины фуляров и батистовых платков для тебя и Агр<ипины>, купил я трубку со стеклами, заплатил 4 р. серебром — в Питере надо бы заплатить 10 р. с.; палку-камыш, с прекрасно сделанною из бронзы головою кардинала Ришельё, заплатил 4 р. с. — эту вещь в Питере едва ли можно купить и за 10 р. с. Две пары французских прунелевых сапог по 3 руб. с. за пару. Вот и все мои покупки.

За присылку волос Оли спасибо. Я желал бы, чтоб ты выехала из Ревеля поскорее: чем больше промедлишь, тем дорога для тебя труднее. Сегодня Оле исполнилось два месяца другого года, а когда это письмо дойдет до тебя, ей, вероятно, минет и третий месяц. Письма мои доходят до тебя страшно поздно. Я жалею, что только два последние письма адресовал на имя Достоевского: боюсь, что последнее, адресованное на твое имя, не застанет тебя в Ревеле и пропадет. Это я адресую прямо в Питер на имя Тютчева. Мне кажется, я заехал на край света. А между тем, скоро надо будет и еще отдалиться на 360 верст. Вот уже почти две недели живем мы в Херсоне без всякого дела; спектакли начнутся послезавтра, а кончатся 25 или 27 августа, после чего поедем в Симферополь, где пробудем дней 10; а там — в Севастополь — крайний предел и последнее место нашего странствования, из которого уже домой. Считаю дни, пройдет день — я и рад, что одним днем меньше, и теперь утешаю себя мыслию, что скоро половины августа как не бывало и что по выезде из Херсона минет 4 месяца моему странствию со дня выезда из Питера. Лишь бы выбраться из скучного Херсона, а там время пойдет для меня быстрее. Во-1-х, надо будет

проехать 300 верст до Симферополя, а в дороге время летит быстро, да и, кроме того, эта дорога сама по себе будет интересна, ибо крымская природа уже другая; Симферополь — хотя и дрянной, но всё же новый для меня город, и в спектаклях 10 дней пройдут скорее, а там — Севастополь с морем, виноградом и устрицами. Если есть кумыс, то непременно буду пить. Я сам убежден, что он будет мне очень полезен. Ну, а из Севастополя поедем уже почти без остановок: остановимся на час, на другой в Николаеве, чтобы повидаться с Морицом Борисовичем Берхом,² да на час, на другой в Харькове; из Харькова сделаем крюк* на Воронеж, где остановимся на день, на другой и где я надеюсь застать письмо от тебя. (Не забудь: если ты после 15 сентября отошлешь хотя одно письмо в Севастополь, оно уже не застанет меня.) Из Воронежа до Москвы проедем уже безо всяких остановок. От Николаева до Харькова поедем новою дорогою, через Кременчуг и Полтаву, и это мне приятно. Итак, лишь бы выбраться из томительного Херсона, — я бы считал, что моя поездка, как будто, кончена. Нашлись у нас знакомые и в Херсоне, которые очень нас ласкают; предстоят они нам и в Симферополе.

В прошлый вторник я видел чудное для меня зрелище. Еду купаться и вижу страшные клубы пыли, поднимающиеся из-за Днепра по направлению к Херсону. Смотрю — нет, это не пыль, это густой дым, да откуда же и как? — Слышу, в Херсоне на одной колокольне бьют набат. Странно: зачем же это, ведь если это пожар, так в какой-нибудь деревнишке в окрестностях Херсона. Наконец вижу, что это не пыль, не дым, а туча саранчи, растянувшаяся на несколько верст и летящая через Херсон. Звонили затем, чтоб испугать ее и не дать ей сесть на Херсон — иначе она не оставила бы ни деревца, ни былинки в городе. Когда этот бич южных стран садится на поля, то не оставляет ни признака соломы — одну черную землю видят после нее там, где спелым колосом шумела колосистая рожь или пшеница. Саранча, которую я видел, на пути своем пожрала весь тростник в окрестностях Херсона. Насекомое это довольно велико: молодая саранча впятеро больше обыкновенного кузнечика, а старая немного потоньше пеночки (птички) и немного подлиннее ее. Я писал к тебе в последнем письме, что жары спали и стало прохладнее, — как нарочно начались опять такие палящие жары, что мочи нет. Ночью в комнате душно, а на дворе утра страшно прохладно. В субботу мы ездили на баркасе гулять, пристали верстах в 4 от Херсона к берегу, велели рыбакам закинуть тоню, варили уху,

* Первоначально: круг

ели, пили. Было человек 15. Разумеется, это затеи и расходы М<ихаила> С<еменовича>. Этот человек для удовольствия других готов ничего не жалеть. Даже я по части мотовства — пас перед ним. Воротились уже вечером, в темноте. Что за люди, что за мир окружает нас! Я дивлюсь, а М<ихаил> С<еменович> только посмеивается. Накануне этого пикника я обожрался раками, которые теперь линяют. Вечером был у нас один знакомый, я болтал и чувствовал только, что в комнате душно. Гость ушел, я вышел на галерею и в одну секунду почувствовал, что зябну. В комнату я воротился в пароксизме сильной лихорадки — било меня так, что зубы колотились. Я выпил рюмку мадеры и едва согрелся в постели под тулупом. Думал, что поутру надо будет иметь дело с доктором, со рвотными, слабительными и пьязками. Однако проснулся, как ни в чем не бывало. Скажи Александре Балтазаровне,³ как увидишься с нею, что Новороссийский край ее, со включением Отрадного, страна чудесная, но что жить в нем я не согласился бы ни за какие блага в мире, ни даже за цену обладания *Отрадным*. Климат и природа здесь чудные, но нет лесов, и оттого тоска смертельная. Кругом выжженная солнцем сухая степь, воздух проникнут какою-то сухостью. Степь эта хороша в апреле и в начале мая, а после она выгорает. Дерево — редкость в степи, и это всегда ветла. В городах тополь и белая акация, но и те растут только до 30 лет, ибо в это время корень их встречает каменную почву, и они сохнут.

Насчет абрикосов в Таганроге ничего не могу тебе сказать. В Николаеве мы покупали их по 3 к. сер. десяток, а в Херсоне уже не застали их. Здесь чудесные груши по 3 к. с. фунт. Начинают появляться спелые арбузы: 30 к. медью навыврез арбуз в полпуда. 10 к. медью цареградская огромная дыня, а свои нипочем. Арбузы мне всячески полезны: избавляют от необходимости пить воду со льдом (что опасно) и от них слабит.

Прощай, друг мой, обнимаю вас всех. Перед выездом буду писать, а если получу от тебя письмо, буду писать опять во вторник (20).

Твой Виссарион.

Когда приедешь в Питер, попроси Некрасова написать ко мне.⁴

<22—23 августа 1846 г. Херсон.>

Херсон. 1846, августа 22.

Скучно. Михаил Семенович страдает теперь на сцене па-костнейшего театра (сделанного из сарая), играя с бестолковейшими и пошлейшими в мире актерами; а я остался дома. Письмо это пойдет на почту завтра поутру, и я решился приготовить его с вечера, чтоб чем-нибудь заняться. Вот от тебя опять давно уже нет как нет письма. Мне хотелось бы получать решительно каждую неделю. Чем ближе к свиданию, тем беспокойнее и тоскливее становлюсь я. Мне кажется, я заехал на край света. Страшно подумать: пока пошлешь письмо и получишь на него ответ, должно пройти месяца два! Последнее письмо твое было от 26 июля: я ахнул, увидя, что это ответ *только еще* на мое второе письмо из Одессы!

Что тебе сказать о себе? В понедельник поутру едем из Херсона; остается трое суток, а мне всё кажется, как будто остается еще три года! Ай да Херсон — буду я его помнить! Вообще Новороссия страшно мне опротивела. Безлесная, опаленная солнцем, вечно сухая и пыльная сторона. За неимением лучшего утепления, утешаюсь мыслию, что ближе, чем через неделю, увижу деревья, леса, виноградные сады. Но, если б было возможно, кажется, уехал бы сейчас же домой, не посмотревши ни на что на это. В день нашего выезда, т. е. в понедельник, 26 августа, исполнится ровно *четыре месяца*, как я выехал из Питера, а мне кажется, что прошло с тех пор, по крайней мере, четыре года. Надеюсь, что сентябрь пройдет для меня скорее, нежели август.

Цель этого письма — не оставить тебя на долгое время без известий обо мне, потому что следующая почта во вторник, а в этот день меня уже не будет в Херсоне, а там дорога, новый город, пока отдохнешь, осмотришься, а между тем на 300 верст дальше, и письмо из Симферополя пройдет еще дольше всех прежних* писем. Здоровье мое хорошо. Если в воскресенье получу от Соколова¹ твое письмо, буду отвечать на него уже из Симферополя. В Крыму кумыс есть, и я буду пить его. Прощай, мой друг, целую тебя и Олю и жму руку Агриппине. Когда ты будешь читать эти строки, я буду уже в Севастополе — самой крайней точке нашего путешествия. Еще раз прощай, chère Marie,** будь здорова, спокойна и благоразумна.

Твой Виссарион.

* Первоначально: других

** милая Мари (франц.).— Ред.

Дорогою прочел Жилблаза,² «Roman comique»,^{* 3} теперь читаю «Lettres d'un voyageur»,^{** 4} и это последнее чтение порою очень освежает меня. Чудо как хорошо!

Августа 23.

Погода у нас начинает меняться. В прошлую пятницу был довольно прохладный и серый день, т. е. было тепло без жару и зною; в субботу опять жар и зной; в воскресенье опять прохладный день с сильным ветром и страшною пылью. Следующие дни — теплые, без малейшего зноя; вчера немного жарко, сегодня тоже. Но вечера уже с неделю как теплые, без малейшего жару, а утренники ужасно холодные. В 7 часов уже темнеет, а в 8 уже настоящая ночь. Вот уже, значит, время вечеров со свечами, время, в которое для меня необходимо быть в своем угле; а когда я доберусь до него! Прощайте — обнимаю вас всех.

Кто хочет насладиться долголетием, тому советую поехать в Херсон: если он в нем проживет год, ему покажется, что он прожил мафусаиловы веки, жизнь утомит его, и душа его востоскует по успокоительной могиле.

<Адрес:> Марье Васильевне Белинской.

282. М. В. БЕЛИНСКОЙ

<4—5 сентября 1846 г. Симферополь.>

Симферополь. 1846, сентября 4.

Меня опять начинает беспокоить, что я так давно не получаю от тебя, chère Marie,^{***} писем: последнее было от 26 июля, следовательно, я опять не имею никаких известий о положении моего семейства с лишком за месяц! Меня только и успокаивает одна мысль: верно, ты перестала писать, думая, что твои письма, адресованные в Одессу, не будут уже доходить до меня. Жаль! Они до сих пор доходили бы преисправно; но как же тебе знать это? Еще думаю, что застаю в Севастополе хотя одно (а может быть, и не одно) письмо твое, которое там уже ждет меня.

Августа 26 отправились мы из ужасного Херсона в Симферополь. Этот переезд был бы переходом из ада в рай, если б не одно обстоятельство. Августа 24 я заболел сильным припадком гемороя, каких у меня никогда не бывало. Сделалось страш-

* «Комический роман» (франц.).— Ред.

** «Письма путешественника» (франц.).— Ред.

*** милая Мари (франц.).— Ред.

ное раздражение в заднем проходе — вышла огромная шишка. На другой день хуже. Началась, по сочувствию, задержка мочи, от которой я частью освобождался только посредством страшного спазматического жиленья во время ложных позывов на низ (а слабило меня только кровью). Дело дошло до того, что позвал доктора, который, к несчастью, узнавши, что из меня вышло довольно крови, не решился поставить мне больше 8 пъявок. Я, однако, поставил одну лишнюю; но всё-таки нужно было, по крайней мере, 20, если не 30, а уж не 9. Однако ж это несколько облегчило меня, и поутру в понедельник, в 7 часов, мы поехали, сперва водою (14 верст), а потом на лошадях. Ехать мне было довольно сносно; приехали мы во вторник, часа в 2. Чорт меня дернул пойти с М<ихаилом> С<еменовичем> в турецкую* баню, с холодным передбанником. Мы приехали в пыли невыразимой и грязны, как свиньи. Должно быть, я тут простудился. Короче: в пятницу мною овладело бешенство — хоть на стену лезть. Тогда наш доктор велел мне поставить 20 пъявок. После этого, со дня на день мне становится всё легче и легче. Доктор наш — Андрей Федорович Арендт, родной брат знаменитого петербургского врача, предобрейший старик, который полюбил нас так, что и сказать нельзя. К этому, он очень искусный и опытный врач. Я его спрашивал о кумысе и объяснил ему мою болезнь; но он сказал, что это не нужно, и, вместо этого, велел мне курить траву (которой и дал мне), а курить ее надо, как табак, и затягиваться. Она производит сильный кашель и сильное отделение мокроты, и после одной трубки груди легко, дыхание свободно, мокрота отделяется прекрасно. И надо курить всякий раз, как почувствуешь припадок кашля, одышки или и просто усталости. Не знаю, вылечит ли это меня, но как паллиатив — это хорошее средство. Я знаю, что тебе неприятно будет узнать, что я не пью кумыса; скажу тебе по секрету, что и мне это не совсем приятно, да что же делать? Не с моими средствами собирать консилиумы. В Симферополе, кроме Арендта, есть еще искусный доктор — Мильгаузен, да как я к нему пойду? А ведь Арендт лечит нас даром и о деньгах слышать не хочет.

Местоположение Симферополя пленительное. От него начинаются горы, и в 60 верстах от него виднеется Чатыр-Даг. То-то бы гулять! А я сегодня еще в первый раз вышел. Завтра еду за город с М<ихаилом> С<еменовичем>. Город завален арбузами, дынями, грушами, сливами, яблоками, виноградом. Но как-то всего этого я ем мало, хотя мой доктор велит есть, как можно больше всего, кроме груш. Арбузы здесь посредственные; но дыни — невообразимые. То и другое здесь дорого,

* Первоначально: греческую

сравнительно с Херсоном. Небольшая дыня стоит 5 к. серебром. Как-то купили мы ок (3 фунта) груш за 28 коп. медью, а в оке их было 9, и каждая величиною с французскую, что в Питере в дешевую пору продаются по 10 р. асс. десяток, да и то неспелые. Виноград еще неспел, точно такой, какой мы едим в Петербурге и Москве, по 20 коп. медью за ок. Но сегодня М<ихайлу> С<еменовичу> один знакомый прислал винограду, во-1-х, спелого, а во-2-х, такого, который на виноделие не употребляется, а разводится для еды. Святители! Что это такое! Вообрази себе, если можешь, сладчайший виноград, один с ароматом* муската, а другой с ароматом ананаса! Я только теперь могу сказать, что я ел виноград. Обыкновенный (винодельный) виноград в сравнении с этим то же, что огурец в сравнении с арбузом, тыква или репа — в сравнении с дыней. Вот бы привез вам хоть по яголке, если б не было невозможно!

В Севастополь будем числу к 15-му, а там, октября 2-го или 3-го — марш домой! Дождусь ли этого! Нет, вперед ни за какие блага один надолго в вояж не пущусь. Особенно по России, где существует только какое-то подобие почтовых сношений между людьми. Как<то> вскоре по приезде в Симферополь всю ночь снилась мне Оля — будто, такая хорошенькая, такая миленькая, и всё без умолку болтала, а мы всё на нее смотрели. Потом, как-то после обеда, я спал и всё видел ее. Не могу смотреть без тоски на маленьких детей, особенно девочек. Ох, дожить бы поскорее до октября!

Не поверишь, как грустно писать не в ответ на письмо, тем более, что ответ на *это* письмо я могу получить если не в Москве, то разве в Воронеже. Прощай, ma chère Marie,** крепко жму твою руку и обнимаю и целую всех вас.

Твой Виссарион.

М<ихайл> С<еменович> в театре; я один дома. Пора принять порошок. Письмо это пойдет на почту завтра. Благо еще теперь не жарко — можно читать. «Lettres d'un voyageur»***² кончил; теперь читаю «Les Confessions»****³ — не много книг в жизни действовали на меня так сильно, как эта. Когда поправлось совсем, примусь писать. Вечера теперь уже длинные, и работа сократит время и незаметно приблизит минуту отъезда. А дня через три я надеюсь совершенно поправиться.

Сентября 5.

Ночью шел дождь — явление редкое в нынешнее лето. Пыли

* Первоначально: вкусом

** моя милая Мари (франц.). — Ред.

*** «Письма путешественника» (франц.). — Ред.

**** «Исповедь» (франц.). — Ред.

нет, свежо; облака расходятся; если пригреет солнышко, поедем за город.

Сильно меня беспокоит мысль, что ты запоздала своим выездом из Ревеля и, может быть, должна ехать в дурную погоду. Досадно мне на себя, что в последнем письме моем, адресованном на имя Достоевского, я позабыл уведомить тебя, что следующее буду адресовать на имя Тютчева, прямо в Питер. Еще раз прощай, будь здорова и спокойна.

В.

283. А. И. ГЕРЦЕНУ

Симферополь. 1846, сентября 6.

Здравствуй, любезный Герцен. Пишу к тебе из тридевятого царства, тридесятого государства, чтобы знал ты, что мы еще существуем на белом свете, хотя он и кажется нам куда как черным. Въехавши в крымские степи, мы увидели три новые для нас нации: крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени: так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то, тем не менее, хорошо понимают друг друга. А смотрят решительными славянофилами. Но увы! в лице татар даже и настоящее, коренное, восточное, патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада: татары большею частью носят на голове длинные волосы, а бороду бреют! Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотческих обычаев времен Кошихина: ¹своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего в роде, т. е. татарина, позволяя ему вести себя, куда угодно, и не позволяя себе спросить его, почему, будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом: принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеть что-нибудь поинтереснее того, что блеет Шевырко и вся почтенная славянофильская братия.

Несмотря на то, Симферополь по своему местоположению очень миленький городок: он не в горах, но от него начинаются горы, и из него видна вершина Чатыр-Дага. После степей Новороссии, обожженных солнцем, пыльных и голых, я бы видел себя теперь как бы в новом мире, если б не страшный припадок гемороя, который теперь проходит, а мучить начал меня с 24 числа прошлого месяца.

Настоящая цель этого письма — напомнить всем вам о «Букиньоне», или «Букильоне» — пьесе, которую Сатин видел

в Париже и о которой он говорил Михаилу Семеновичу, как о такой пьесе, в которой для него есть хорошая роль.² А он давно уж подумывает о своем бенефисе и хотел бы узнать вовремя, до какой степени может он надеяться на ваше содействие в этом случае.

Нет! я не путешественник, особливо по степям. Напишешь домой письмо — и получаешь ответ на него через полтора месяца: слуга покорный пускаться вперед в такие Австралии!

Когда ты будешь читать это письмо, я уже, вероятно, буду на пути в Москву. По сие время еще не пришли в Симферополь «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения» за август. Прощай. Кляняюсь всем нашим и остаюсь жаждущий увидеться с ними поскорей

В. Белинский.

P. S. Не знаю, привезу ли с собою здоровье; но уж бороду непременно привезу: вышла, братец, бородка весьма недурная.

284. Н. М. ЩЕПКИНУ

Симферополь. 1846, сентября 9.

Дражайший Николай Михайлович, весьма сожалеем, что понапрасну обвинили Вас в лености;¹ нам следовало бы, в свою очередь, извиниться перед Вами, но ведь не поможет? — Не поможет. — Не поможет. М<ихайла> С<еменовича> Вы насмешили тем, что свели в одно место Лопань, протекающую через Харьков, и Тускарь, протекающую через Курск. Писать лень, и потому скорее к делу. Будьте в Воронеже от 6 до 9 октября, ожидая нашего проезда. Заезжать же нам к Станкевичу уже будет не время.² М<ихайла> С<еменовича> так и подмывает домой; я тоже испытываю частенько припадки бешенства нетерпения. И у Вас мы пробудем неделю. Если бы Станкевич в это время случился в Воронеже, мы были бы очень рады; но разъезжать нам уже не приходится. Чем меньше остается времени, тем сильнее тоска нетерпения. А там, не забудьте, какие у нас осенью дороги. В пятницу (13 сентября) едем в Севастополь.

Прощайте, юный друг мой. Будьте здоровы и невредимы душою и телом.

Ваш В. Белинский.

А что ж Вы не написали, когда ждут домой А. Станкевича?

285. В. П. БОТКИНУ

СПб. 29 января 1847.

Письмо твое, Боткин, очень огорчило меня во многих отношениях.¹ Прежде всего и пуще всего скажи мне ради всего святого в мире: какой ожесточенный и хитрый враг «Современника» — Кр<аевский> или Булгарин, уверил* вас всех, будто в отделе *наук и художеств* постановили мы непременно законом помещать только статьи русские, касающиеся России и писанные людьми,** могущими доказать неоспоримо свое русское происхождение, по крайней мере, двадцатью четырьмя коленами? Ведь это было бы страх как смешно, если бы не было страх как грустно и обидно. Когда я прочел в твоём письме, что ради этой фантастической причины Корш бросил уже начатую им статью о Гердере,² у меня выпало из рук твое письмо и я чуть не заплакал от досады и бешенства. Предпочтенью всегда русскую статью переводной — это дело; но наполнить журнал только русскими статьями — это мечта, которая может войти в голову только ребенку или человеку, который вовсе не знает ни нашей литературы, ни наших литераторов. Что касается до твоих писем об Испании, их сейчас же нужно хоть на пять листов (и уж по крайней мере на три), а пойдет эта статья не в смесь, а в науки.³ Поторопись. Этот отдел губит нас. Да попроси Корша, чтоб он составлял для наук статьи, какие он хочет. Что переезд твой в Питер окончательно рушился, это меня повергло в глубокую печаль. Если не найдем человека, беда да и только. Причины твои все неоспоримы, кроме последней. Тебе на Некр<асова> и не нужно было иметь никакого влияния. Выбор статей уже по одному тому зависел

* Первоначально: сказал

** Первоначально: русскими людьми

бы только от одного тебя, и всего менее от Некр<асова>, что ты в случае спора всегда мог сказать: «Ну, так выбирайте сами». И ты здесь скорее имел бы дело со мною, чем с Некр<асовым>, даже скорее с Пан<аевым>, который знает по-французски, нежели с Некр<асовым>, который в этом случае человек безгласный. И потому взаимное ваше друг к другу недоверие, которое ты предполагаешь существующим между тобою и Некр<асовым>, тут вовсе не причина. Скажу тебе правду: твое новое практическое направление, соединенное с враждою ко всему противоположному, произвело на всех нас равно неприятное впечатление, на меня первого.⁴ Но я понял, что на деле с тобою так же легко сойтись, как трудно сойтись на словах, ибо, несмотря на твое ультрапрактическое направление, ты всё остался отчаянным теоретиком, немцем, для которого спор о деле гораздо важнее самого дела и который только в споре и вдаётся в чудовищные крайности, а в деле является человеком порядочным.

Некр<асов> выказал себя человеком без такту в отношении к повестям Григоровича и Кудрявцева не в том только, что он их не понял (с кем этого не случилось и не может случиться), а в тоне, с каким выражал он свое мнение и в котором было что-то заносчивое.⁵ Это случилось с ним в первый раз с тех пор, как я его знаю. Зато и осекся он крепко. А повесть Панаевой он не хвалил, а только был к ней снисходителен, будучи строг к несравненно лучшим ее повестям.⁶ Насчет стихов Огарева ты меня не совсем понял: кроме гамлетовского направления, давно сделавшегося пошлым, оно бесцветно и вяло в эстетическом отношении. Это набор общих мест и избитых слов, а главное — тут нет стиха, без которого поэзия есть навоз, а не искусство.⁷ Ты говоришь, что стихи не обязаны выражать дух журнала, а я говорю: в таком случае и журнал не обязан печатать стихов. Из уст журнала не должно исходить слово праздно. Таковое мнение. Журналист делает преступление, помещая в своем журнале статью, в помещении которой не может дать отчета. Балласт — это гибель журнала. А что гамлетовское направление в стихах многим нравится, мне до этого дела нет. Многим нравится онанизм, однако ж я для этих многих не стал бы издавать журнала, а если б стал, то с тем, чтоб этих многих превратить в немногих, а потом и вовсе вывести.

Поездка моя на воды — миф. Некр<асов> не в состоянии дать мне 300 р. серебром, которые должен он Г<ерце>ну. Твои 2500 слишком неопределенны и гадательны, чтобы на их основании решить что-нибудь положительно. «Если бы чего не достало, говоришь ты, ты напишешь к Г<ерцену>, а он, верно, пришлет еще 1000». Увы, друг мой, многие горькие опыты в жизни убедили меня, что в ней ничего нет *верного*. Так, например, возвращаясь из поездки в Москву, я был *уверен*, основ-

ваясь на слове Г<ерцена>, получить 3000 асс., а получил половину, и это произвело большую сумятицу в моих обстоятельствах.⁸ Скажу тебе откровенно: эта жизнь* на подаяниях становится мне невыносимою. Еще когда бы эти подаяния достигали своей цели — ну, по крайней мере, было бы из чего вынести их тяжесть. Т. е., если бы тороватый и богатый приятель вдруг дал мне тысячи три серебром, — это поставило бы меня в возможность жить моим трудом, не забирая вперед незаработанных еще денег, это, одним словом, надолго поправило бы мои обстоятельства. А то всё паллиативы, которые тяжело ложатся на душу, а помогают-то мало. Да что говорить об этом. Конечно, на этот раз дело идет о спасении жизни. На всякий случай напиши мне, в чем должен состоять мой *maximum*,** чтобы съездить на 3 месяца *только* на воды в Силезию и больше никуда. А поездка эта не только облегчила бы — излечила бы меня. Я знаю моего доктора: он не послал бы меня тратиться чорт знает куда только для развлечения. Он человек правдивый, и, когда я был близок к смерти, он не скрыл этого от жены моей.

Насчет условий с «Современником» — всё будет сделано по выходе 2-ой книжки. У самого Некр<асова> не сделано еще с Пан<аевым> никаких условий.⁹ Я думал иначе, и это-то и взволновало меня. А славянофилы напрасно сердятся на Гогля: он только консеквентнее и добросовестнее их — вот и всё. Мальчишки! розгами бы их!¹⁰

Может быть, на днях пришлю тебе и еще несколько строк, а может быть, и нет. Но ты пиши ко мне. Прощай. Жена моя тебе кланяется.

Твой В. Б.

Дядя Бука, здравствуй, Оля тебя любит, пришли ягоды.¹¹

286. В. П. БОТКИНУ

СПб. 6 февраля 1841

Я не даром приписал в конце письма моего, что буду еще писать к тебе.¹ Я видел, что письмо мое, как ни длинно оно, было не кончено и может подать тебе повод понять его не так, как следует. Поэтому я через день же хотел послать другое письмо — да то лень, то некогда, то успею еще.

Прежде всего, ради аллаха, не подумай, что я сержусь на тебя за то, что ты не хочешь переезжать в Питер, чтобы рабо-

* Далее зачеркнуто: основан<ная>

** максимум (латин.).— Ред.

тать с нами в «Современнике». Я был бы очень глуп в таком случае. Я был опечален этим известием, как неприятным мне фактом, и смотрел на него только по его отношению ко мне — вот и всё. Тебе невыгодно и нет у тебя охоты: против этого сказать нечего, кроме того, что ты совершенно прав. Потом,* если я писал, что ты не прав, думая, что недоверчивость к тебе Некрасова (если б она и существовала) могла быть тебе какою-нибудь, хотя малейшею, помехою твоей работе в «Современнике», — не выводи из этого, что я имел намерение убедить тебя переменить решение и ехать в Питер. Я слишком далек от мысли, чтобы считать тебя мальчишкою, которого ловкий приятель может поворотить, куда ему угодно. А сверх того, даже если б и считал тебя в отношении ко мне столь слабым, а себя в отношении к тебе столь сильным, — и тогда бы я не возымел глупой мысли** насильно толкать тебя туда, куда тебе не хочется.*** У меня и у моих друзей было слишком много опытов, чтобы вразумить меня, как опасно подобное вмешательство в жизнь другого, и от него, этого вмешательства, отказался даже герой наш, М(ишель),² по крайней мере, в теории. Всё это я пишу к тебе, еще не зная, как принял и понял ты мое письмо, из одного страха, чтобы ты не понял его криво — в чем, разумеется, был бы виноват один я, ибо выразился не обстоятельно. А писал я к тебе возражения против пункта письма твоего о Некрасове только для того, чтобы ты не оставался в заблуждении на этот счет, оставаясь при своем решении.

А насчет решения — я завидую тебе. Сказать правду — я считал бы себя блаженнейшим из смертных, если б без труда получал в год максимум**** того, что могу выработать. Мое отвращение от литературы и журналистики, как от ремесла, возрастает со дня на день, и я не знаю, что из этого выйдет наконец. С отвращением бороться труднее, чем с нуждою; оно — болезнь. То ли дело ты — счастливый человек! Квартира с отоплением, стол — готовые, на одежду и прихоти всегда хватит; занимайся, чем хочется, а ничего не хочется — ничего не делай. Твоя строка, что ты хочешь заняться органическою химиею, обдала меня кипятком зависти. Наука для меня не существует, я не так воспитывался, не так развивался, чтобы быть способным заняться ею. Но разве не наслаждение заниматься чем-нибудь, хоть à la дилетант? О естественных науках я готов болтать, или, лучше сказать, слушать, кто это дело

* Далее зачеркнуто: не подумай, чтобы я, доказывая тебе

** Далее зачеркнуто: настаивать

*** Далее зачеркнуто: Многие

**** максимум (латин.).— Ред.

знает; но заниматься самому ими* — это не мое дело. Меня сильнее всего интересует нравственный мир человека, представляемый историей, и в ней есть эпоха, которой я, конечно, не мог бы изучить и разработать ученым образом; но я предался бы ее изучению просто, без претензий и нашел бы для себя в этом занятии замену всего, чего так глупо добивался всю жизнь и чего так умно не дала мне судьба, зане такого мудреного кушанья у нее не оказалось. Да поди — займись тут чем-нибудь!.. Э, да что вздор-то молоть — ведь от этого у меня не явится обеспечение в виде капитала, дающего хоть тысячи две серебром. А тебе опять-таки скажу: благую избрал ты часть. Если обстоятельства** настоятельно потребуют твоего переезда в Питер, тогда дело другое, но *без крайней нужды* запрягаться в телегу срочной работы — это безумие, хотя бы работа давала и чорт знает что... Еще раз: поздравляю тебя за мудрое решение и жалею, что не могу последовать твоему примеру.

2-я книжка «Современника» вышла во-время. Она лучше первой.³ Но Никитенко так поправил одно место в моей статье о Гоголе, что я до сих пор хожу, как человек, получивший в обществе оплеуху. Вот в чем дело: я говорю в статье, что-де *мы*, хваля Гоголя, не ходили к нему справляться, как он думает о своих сочинениях, то и теперь *мы* не считаем нужным делать это; а он, добрая душа! в первом случае *мы* заменил словом *некоторые* — и вышла, во-1-х, галиматья, а во-2-х, что-то вроде подлого отпирательства от прежних похвал Гоголю и сваления вины на других. А там еще цензора подрадели — и всё это произвольно, без основания. Вот они — поощрения к труду!⁴

Статья об «Элевзинских таинствах» показалась мне ни то ни се.⁵ Основная мысль ее та, что Элевзинские таинства — великий факт древней жизни, а что они такое были, мы об этом ровно ничего не знаем. Кажется, тут было хранилище всех преданий космогонических и нравственных, которые с Востока собрались в Грецию и в Элевзине передавались в мистических формах и обрядах для сильнейшего эффекта на подлейшую часть человеческой души — фантазию. Короче: это был мистицизм древности. Меня поразило в статье то, что практический, здравомыслящий Сократ отказался участвовать в Элевзинских таинствах и был к ним вообще холоден, тогда как *le plus sublime*,*** фантастический романтик Платон благоговел перед ними. Вообще, мне кажется, Элевзинские таинства имеют толь-

* *Далее зачеркнуто*: для меня

** *Далее зачеркнуто*: неизбежно заставят

*** *возвышенный безумец (франц.)*. — *Ред.*

ко ученый, чисто объективный интерес, а со стороны субъективного интереса — они не стоят выеденного яйца.

Статья о физиологии Литтре⁶ — прелесть! Вот человек! От него морщится «Revue des Deux Mondes»,* хотя и печатает его статьи, а социальные и добродетельные ослы не в состоянии и понять его. Я без ума от Литтре, именно потому, что он равно не принадлежит ни <...> подлецам и вора́м — умникам «Journal des Débats»** и «Revue des Deux Mondes», ни <...> социалистам — этим насекомым, вылупившимся из навозу, которым завален задний двор гения Руссо. Кстати: в «Journal de France»*** я прочел отрывок из 1-го тома «Истории революции» Луи Блана.⁷ Это его суждение о Вольтере. Святители — что за узколобие! Да это Шевырев! Всё, что говорит Л<уи> Б<лан> в порицание Вольтера, справедливо, да глупо то, что он не судит о нем, а осуждает его, и притом, как нашего современника, как сотрудника «Journal des Débats». Я в первый раз понял всю гадость и пошлость духа партий. В то же время я понял, отчего «Histoire de dix ans»**** так хороша, несмотря на все ее нелепости: оттого, что это памфлет, а не история. Л<уи> Б<лан> — историк современных событий, но за прошедшее, сделавшееся историею, ему, кажется, не следовало бы браться. Вот уже сколько времени лежит у меня книжка «Revue des Deux Mondes» с статьею об Огюсте Контэ и Литтре⁸ — и не могу прочесть, потому что загнулся на гнусном взгляде этого журнала с первых же строк статьи. Беда мне с моими нервами! Что не по мне — действует на меня болезненно, но пересилию себя и прочту.

О себе мне нечего тебе сказать нового. Впрочем, вот уже с неделю, как здоровье мое как будто лучше и желудок как будто поправляется. Зато скучаю смертельно. Без Тургенева я осиротел плачевно. Может быть, от этого во мне опять пробудилась давно оставившая меня охота писать длинные письма. Пожалуйста, пиши ко мне: в теперешнем моем положении ты сделаешь мне этим много добра.

Читал ли ты «Переписку» Гоголя? Если нет, прочти. Это любопытно и даже назидательно: можно увидеть, до чего доводит и гениального человека<...>. А славеноперды московские напрасно на него сердятся. Им бы вспомнить пословицу: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива». Они подлецы и трусы, люди неконсеквентные, боящиеся крайних выводов собственного учения; а он человек храбрый, которому нечего терять,

* «Обзорение двух миров» (франц.). — *Ред.*

** «Журнала прений» (франц.). — *Ред.*

*** «Журнале Франции» (франц.). — *Ред.*

**** «История десяти лет» (франц.). — *Ред.*

ибо всё из себя вытряс, он идет до последних результатов.⁹

После русского водевиля нет ничего глупее русского фельетона. Так привык я думать, читая фельетоны петербургских газет; но, прочтя в «Московском листке» описание бала у Корсакова, я изумился, убедившись, что наши петербургские фельетоны — сам ум, само остроумие в сравнении с московскими. Глупее я ничего не читывал. Ай да «Листок»!¹⁰

Я думаю, что наши московские друзья будут бранить меня за похвалы «С.-Петербургским ведомостям». Статья эта писана мною не для «С.-Петербургских ведомостей», это удар рикошетом по «Пчеле».¹¹

Оля моя больна; неделю назад в это время думали мы, что она умрет. Теперь ей лучше, но всё еще нездорова. А при твоём имени, которое всё помнит, всегда говорит она: *ягоди*. Ей кажется, видно, что твое имя — вспомогательный глагол к страдательному причастию: *ягоды*.

Ну, пока больше нечего говорить. Прощай. Жена моя тебе кланяется.

В. Б.

287. В. П. БОТКИНУ

СПб. 7 февраля 1847.

Вчера поутру послал я к тебе, любезный Боткин, письмо, а вечером получил твое.¹ Вчера же приготовил я для отсылки на нынешний день еще три письма в Москву — к Кавелину, Галахову и Иванову — такой уж письменный вышел день!² Мало этого: в письме к Кавелину есть поручение к тебе — поторопить тебя присылкою писем из Испании, что ты вчера и выполнил так неожиданно для меня.³ Да есть еще в письме Кавелина лоскуток бумажки для тебя;⁴ так как он доставит тебе его, то и не хочу повторять его содержания. Теперь о главном пункте твоего последнего письма.

Письмо это глубоко меня тронуло. Человек ленивый и тяжелый на подъем, я во всю жизнь мою ни разу не хлопотал так усердно о себе, как хлопочешь ты обо мне, при этом решаясь попрежнему на жертвы для меня, которые должны поставить тебя в стесненное положение. Понял ли я всё это и как отозвалось всё это во мне, — об этом распространяться не буду. Если бы дело шло о доставлении мне удовольствия поглядеть на Европу, я не стал бы с тобою и говорить об этом: подобные удовольствия не покупаются ценою чужих пожертвований. Но как дело идет о деле, т. е. о здоровье и, может быть, жизни, то я, благодаря тебя от души, докажу тебе несбыточность этого

плана. Как человек одинокий, ты видишь только одну сторону предмета. Положим, ты достанешь 2500 рублей. Если ты говоришь, что двух тысяч для меня достаточно, значит, я сделал бы умно, взявши с собою и 500 р. Лишек в таком случае — дело святое: не попадется, можно привезти его домой, а понадобится — он спасет, выручит из беды. Маслов вчера сказал, что мне надо будет с месяц прожить там, хоть на том же месте, если деньги не позволят поехать около, ибо тамошние доктора не любят нас, русских, сейчас же после курса вод из тамошнего благодатного климата отпускать в атмосферу губительных болотных миазмов Петербурга. Итак, вот уже не 3, а 4 месяца. Теперь слушай. За 4 месяца я теряю мою плату от «Современника», следовательно, теряю слишком 2300 р. асс. Это раз. Потом, с чем я оставлю семейство? Если бы Некр(асов) и мог мне дать 300 р. серебром — что мне в них? Оставивши их семейству, я бы оставил по 100 р. серебром на месяц (считая только 3 месяца), а я за квартиру плачу *более* 50 р. серебром в месяц! Если бы я оставил семейству по 500 р. в месяц, т. е. 2000 р. асс., и то не был бы спокоен и, следовательно, не мог бы лечиться, как должно. Вот в чем дело. От «Современника» я и так забрался страшно — за полгода вперед, а заработал только <за> два месяца. Да, братец, что и говорить — рад бы в рай, да грехи не пускают. Бедный человек — пария общества.

Корректурою твоих писем из-Испании я займусь сам — будет хорошо. Так как они пойдут в 4 № и заранее присланы, то их можно напечатать как следует. Вот выгода и для автора присылать во-время. Если бы они пришли к нам неделями полтора раньше, попали бы в 3 №, а теперь нельзя, кажется, а впрочем, я еще не видел Некр(асова) и положительно об этом не могу выразиться. Некр(асов) не отвечал тебе, вероятно, потому, что последние 10 дней месяца он ложится спать поутру в 6 часов, а теперь всё еще не отоспался и не вытянулся. Статью о Шев(ыреве) в «Сыне отечества» едва ли писал Надеждин, ибо он обещал статью о нем Панаеву в «Современник». ⁵ Стало быть, Шев(ырев) еще может ожидать себе таски — да какой! Какой Павлов написал статью о Гоголе — Н(иколай) Ф(илиппович)? Уведомь, равно как и о том, будет ли она напечатана и где? ⁶

О твоём разговоре с Некр(асовым) не знаю, что сказать. ⁷ Может быть, ты и прав, но еще больше может быть, что ты неправ. Ты немножко сюсцептибелен, ⁸ и под влиянием разродившейся недоверчивости мог увидеть то, чего и не было, а Некр(асов) страшно угловат, и его надо знать да знать, чтобы иногда действительно не принять за мерзость то, в чем никакой мерзости нет. По крайней мере, я ручаюсь за то, что Некр(асов) слишком умен для того, чтобы не ценить такого сотрудника,

как ты. В последнее время он надоел мне толками о тебе. Так как я давно чувствовал, что тут толку не будет, и не знал, что ему говорить. Тяжело быть посредником между людьми.

Вчера в первый раз узрел я московскую газету «Листок» — что за безвкусице в наружности! А статьи! О Москва! Неужели на эту милую газету есть подписчики? Бедные славенперды! они свыше осуждены на бездарность. Да так и следует: талант — мирское, земное, греховное, он порождает гордость. Ум тоже. Отказавшись от того и другого, «Листок» явится достойным выразителем славенпердской доктрины.⁹

Оля выздоравливает и каждый день вспоминает тебя и ягоди. Жена моя тебе кланяется. А затем прощай. Твой

В. Белинский.

288. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 7 февраля 1847.

Я виноват перед тобою, любезный и добрый мой Дмитрий, потому что немного досадовал на тебя вовсе понапрасну. Я думал, что письмо и деньги получишь ты на 3-й, много на 4-ый день по приезде Б<отки>на в Москву,¹ а ты получил их чуть ли не через месяц. Но посылке этой суждено было быть несчастною. Какой-то злой дух внушил тебе странную мысль застраховать ее в 20 р. сер., тогда как ее отнюдь не следовало страховать более, как в *трех* р. сер. Так как это делают многие, то почтамт питает к таким посылкам недоверчивость и, вручая их получателям, распечатывает их. Так и случилось с нашею посылкою. Глазам чиновника представилось всего прежде восемь маленьких книжечек, а потом письмо жены моей.² Лучшее, что ты мог сделать с этим письмом, — это бросить его в печь, ибо оно мне ни на что не нужно, так как о содержании его я мог узнать от той, которая писала его. Не дурно сделал бы ты также, если б распечатал его и заложил бы между листами толстой книги, ибо я совсем не считаю тебя человеком, который не может удержаться, чтоб не прочесть чужого распечатанного письма. За это несчастное письмо я заплатил 1 р. 15 к. сер. штрафа. Это бы еще пустяки: хуже всего то, что контора Языкова через это окомпрометировалась (без всякой вины с ее стороны) перед почтамтом, столь важным для нее местом.³ Пишу это тебе не для упреков и выговора, ибо в сущности и ты тут ничем не виноват, а для того, чтобы снабдить тебя полезным для жизни опытом.

Очень рад, что малютка твоя поправилась. Английская болезнь — еще не страшное зло. Весною и летом больше на воз-

духе да на песке. Не худо в большой комнате навалить в углу просеянного хоть сквозь решето теплого песку и сажать ее на него так, чтобы она, привыкши в нем рыться, сходила с него как можно реже. А доктор — своим чередом. Лукерья Савельевна ⁴ сделала самое лучшее дело в своей жизни, и я уважаю ее за это. Бедного Алешу мне жаль крайне. Нужно же было случиться такой беде. Но хуже всего, что он должен работать. Эх, как бы он поскорее уплеся в свои поля и леса. Зная его натуру, я уверен, что там он в два года помолодеет 20-тью годами. Жизнь в столице вовсе не по нем, ибо он по своей натуре несколько не способен пользоваться ее наслаждениями и удобствами, а способен только терпеть от ее невыгодных сторон. Что же до службы, особенно гражданской, то теперь она — да что и говорить! Кланяйся от меня ему и Агаше. ⁵ Известие твое о ее серебряной табакерке бросило меня в пот. Уезжая на извозчике в контору почтовых колясок, я отдал ее провожавшему меня Константину Петровичу Барсову ⁶ с просьбой немедленно передать ее тебе. Бога ради, сходи к Щепкиным и узнай его адрес, а может быть, и там его найдешь, и переговоры с ним. Да сделай это сам, а не через человека. В таком многолюдном доме, каков Щепкина, мудрено иначе добиться какого-нибудь толку. Если, сверх чаяния, табакерка затеряна, спроси у Агаши, что за нее просят: я сейчас же вышлю деньги. Оправдай меня перед нею: ты видишь сам, что я совсем не так виноват, как она вправе считать меня.

К твоим когда-нибудь напишу. Здоровье мое плохо, однако с неделю уж чувствую себя лучше. У нас в Питере свирепствуют теперь морозы. Г-ну Перевлесскому ⁷ скажи, что статья о Державине («Отечественные записки» 1843, №№ 2 и 3) моя, и что он может сослаться на нее и делать из нее выписки или что там нужно ему. Я и жена моя кланяемся всем вам и целуем ваших малюток. Моя Оля была очень нездорова — теперь поправляется; маленький хорош. ⁸ Когда будешь писать к своим в Ломов,* не забывай кланяться от меня. Прощай. Твой

В. Белинский.

289. В. П. БОТКИНУ

СПб. 17 февраля 1847.

В день получения твоей записки, любезный Боткин, я был решительно убежден, что нет никакой возможности напечатать твоей статьи в 3 № «Современника», как ты этого желаешь;

* Далее зачеркнуто: так

но на другой день к величайшему моему удовольствию узнал, что это дело выполнимое.¹ Вот в чем дело. В 3 № печатается 1-я часть романа Гончарова, 9 листов!² От этого книжка выходит страшно толста. К этому, вышел роман Диккенса;³ упустить его нам было никак нельзя, потому что не только «Отечественные записки», но надо ожидать, что и «Библиотека для чтения», его напечатают в своих 3-х №№. Роман этот в переводе занимает 6 листов, итого, в отделе словесности 3 № «Современника» 15 листов! Надо было думать, как бы экономнее распорядиться другими отделами. Выкинули назначенную в науки и уже переведенную статью Тьерри о среднем сословии в Европе,⁴ листа 3 с небольшим, и заменили ее статью Комаришки о железных дорогах в отношении к выгодам (денежным), которые они дают.⁵ Но тут вышла преуморительная история. Отдавая Панаеву статью, подлец Комаришка сказал ему, что такой статьи (mon cher*) мир не производил. Однако ж какой-то добрый гений шепнул Панаеву показать эту знаменитую статью Небольсину (очень дельный человек, который пишет в «Современнике» обо всем, касающемся до промышленности и торговли).⁶ Небольсин сказал, что, несмотря на богатство материалов, которые Ком<аров> имел под рукою, статья его — такой же сумбур, как и его статья в «Отечественных записках» о железных же дорогах.⁷ Надо тебе сказать еще, что Комаришка же составляет для смеси «Современника» ученые известия. Вдруг профессор Савич⁸ присылает к Пан<ае>ву письмо, где, извиняясь в своей откровенности своим желанием всякого добра «Современнику», говорит, что ученые известия Комаришки для не знающих дела людей очень хороши, но для знающих — курам смех и журналу позор!.. Вследствие этого подлец Комаришка из «Современника» изгоняется. Статья его о железных дорогах будет напечатана только в таком случае, если Небольсин ее переделает, и, разумеется, уж в следующей книжке. Так как твоя статья хотя и вдвое больше Комаришкиной, однако ж листом, а может быть и более, менее статьи Тьерри, — то помещение ее в 3 книжке сделалось возможным.

Знаешь ли, о чем я теперь хочу говорить с тобою? Это удивит тебя: о моем путешествии. Я спросил Некрасова, мог ли бы я удержать мое жалованье в случае поездки за границу, и он отвечал утвердительно и даже советовал мне непременно ехать, обещая, что, несмотря на то, что я много забрал вперед, жена моя в мое отсутствие может брать у них сколько ей нужно. Это изменяет дело, и если ты в состоянии достать 2500 р. асс., — буду собираться не шутя. Курс мой будет продолжаться шесть недель; столько же или еще и более советует Тильман

* мой милый (франц.).— Ред.

ездить, гулять; я ему сказал: рад бы в рай, да денег нет. Однако ж, может быть, будет возможность заглянуть хоть в Саксонскую Швейцарию и побродить около ворот рая. Жду с нетерпением твоего ответа на это письмо.

Тургенев хочет перевести немцам статью Кавелина «Юридический быт России до Петра Великого».⁹ Скажи ему это, равно как и то, что помещением своих критических статей на книгу Погодина в «Отечественных записках» он растерзал мое сердце и усилил мои немощи.¹⁰ Кронеберг — только переводчик, а как сотрудник — хуже ничего нельзя придумать. Современное для него не существует, он весь в римских древностях да в Шекспире. При этом страшно ленив, а теперь, как нарочно, на него напала страшная апатия. Педантическая добросовестность его — хуже воровства со взломом. Например, о романе Бульвера¹¹ было говорено во всех русских журналах и, разумеется, со слов иностранных журналов, а ему, вишь ты, надобно прочесть роман, а читать он по лености не может ничего. Когда я жил у тебя летом 43 года, сколько в это время интересных статей в «Allgemeine Zeitung»* находил ты; Кронеберг доселе не нашел ни одной, кроме статьи о центральном солнце, да и та оказалась пуфом!¹²

Прочти во 2 № «Отечественных записок» повесть Даля «Игривый». Есть в ней превосходные вещи. Да если ты не читал еще, непременно прочти его же: «Колбасники» и «Бородачи», «Денщик», «Дворник». Всё это найдешь ты в его сочинениях, недавно изданных. Да прочти в прошлом году «Отечественных записок» его же: «Небывалое в былом, или Былое в небывалом»: целое — ничего, но есть дивно-прекрасные частности.¹³ В Питере нашлись люди, которым повесть Панаева очень нравится, они не совсем довольны только концом. Повесть Кудрявцева никому не нравится. Поди ты тут!¹⁴

Прочел я в «Revue des Deux Mondes»** статью Сессе о положительной философии Конта и Литтре.¹⁵ Сколько можно получить понятие о предмете из вторых рук, я понял Конта, в чем мне особенно помогли разговоры и споры с тобою, которые только теперь уяснились для меня. Конт — человек замечательный; но чтоб он был основателем новой философии — далеко кулику до Петрова дня! Для этого нужен гений, которого нет и признаков в Конте. Этот человек — замечательное явление, как реакция теологическому вмешательству в науку, и реакция энергическая, беспокойная и тревожная. Конт — человек богатый познаниями, с большим умом, но его ум сухой, в нем нет той полетистости, которая необходима всему

* «Всеобщей газете» (нем.). — Ред.

** «Обзрении двух миров» (франц.). — Ред.

творческому, даже математику, если ему* даны силы раздвинуть пределы науки. Хотя Лигтре и ограничился смиренной ролью ученика Конта, но сейчас видно, что он — более богатая натура, чем Конт.

О г. Saisset'e,** изрекающем роковой приговор положительной философии Конта и Лигтре, много говорить нечего: для него метафизика — *c'est la science de Dieu*,*** а между тем он поборник опыта и враг немецкого трансцендентализма. О немецкой философии он говорит с презрением, не имея о ней ни малейшего понятия. И здесь я имел случай вновь полюбоваться нахальной недобросовестностью, свойственной французам, и вспомнил Пьера Леру,¹⁶ который, обругав Гегеля, восхвалял Шеллинга, предполагая в последнем своего союзника и оправдываясь, когда его уличали в невежестве, тем, что он узнал всё это от достоверного человека. — Между тем, в нападках Saisset много дельного, и прежде всего смешная претензия Конта — слово *идея* заменить *законом природы*. Хорошо будет Конту, если его противники будут ратовать с остервенением за слово; но что с ним станется, если они будут так благоразумны, что согласятся с ним? Ведь дело тут не в деле (помоему, не в идее), а в новом названии старой вещи, несколько не изменяющем ее сущности, с тою только разницею, что старое название имеет за собою великое преимущество исторического происхождения и основанной на вековой давности привычки к нему и что от него производится слово *идеал*, необходимое не в одном искусстве. Абсолютная идея, абсолютный закон — это одно и то же, ибо оба выражают нечто общее, универсальное, неизменяемое, исключаящее случайность. Итак, Конт пробавляется стариною, думая созидать новое. Это смешно. Конт находит природу несовершенную: в этом я вижу самое поразительное доказательство, что он не вождь, а застрельщик, не новое философское учение, а реакция, т. е. крайность, вызванная крайностию. Пизетисты удивляются совершенству природы, для них в ней всё премудро рассчитано и размерено, они верят, что должна быть великая польза даже от гнусной и плодущей породы грызущих, т. е. крыс и мышей, потому только, что природа сдуру не скупится производить их в чудовищном количестве. И вот Конт их нелености, по чувству противоречия и необходимости реакции, противопоставляет новую неленость, что природа-де несовершенна и могла б быть совершеннее. Последнее — чепуха, первое справедливо, да в несовершенстве-то природы и заключается ее совершенство. Совершенство есть идея абстрактного трансцендентализма, и по-

* Далее зачеркнуто: суждено

** Сессе (франц.). — Ред.

*** божественная наука (франц.). — Ред.

тому оно — подлейшая вещь в мире. Человек смертен, подвержен болезни, голоду, должен отстаивать с бою жизнь свою — это его несовершенство, но им-то и велик он, им-то и мила и дорога ему жизнь его. Застрахуй его от смерти, болезни, случая, горя — и он — турецкий паша, скучающий в ленивом блаженстве, хуже — он превратится в скота. Конт не видит исторического прогресса, живой связи, проходящей живым нервом по живому организму истории человечества. Из этого я вижу, что область истории закрыта для его ограниченности. Ломоносов был в естественных науках великим ученым своего времени, а по части истории он был равен ослу Тредьяковскому: явно, что область истории была вне его природы. Конт уничтожает метафизику не как науку трансцендентальных нелепостей, но как науку законов ума; для него последняя наука, наука наук — физиология. Это доказывает, что область философии так же вне его природы, как и область истории, и что исключительно доступная ему сфера знания есть математические и естественные науки. Что действия, т. е. деятельность, ума есть результат деятельности мозговых органов — в этом нет никакого сомнения; но кто же подсмотрел акт этих органов при деятельности нашего ума? Подсмотрят ли ее когда-нибудь? Конт возложил свое упование на дальнейшие успехи френологии; но эти успехи подтвердят только тождество физической природы <человека> с его духовною природою — не больше. Духовную природу человека не должно *отделять* от его физической природы, как что-то особенное и независимое от нее, но должно *отличать* от нее, как область анатомии отличают от области физиологии. Законы ума должны наблюдаться в действиях ума. Это дело логики, науки, непосредственно следующей за физиологией, как физиология следует за анатомиею. Метафизику к чорту: это слово означает сверхнатуральное, следовательно, нелепость, а логика, по самому своему этимологическому значению, значит и *мысль* и *слово*. Она должна идти своею дорогою, но только не забывать ни на минуту, что предмет ее исследований — цветок, корень которого в земле, т. е. духовное, которое есть не что иное, как деятельность физического. Освободить науку от призраков трансцендентализма и *théologie*,* показать границы ума, в которых его деятельность плодотворна, оторвать его навсегда от всего фантастического и мистического — вот, что сделает основатель новой философии, и вот, чего не сделает Конт, но что, вмеее со многими подобными ему замечательными умами, он поможет сделать *призванному*. Сам же он слишком узко построен для такого широкого, многообъемлющего дела. Он реактор, а не

* теологии (франц.). — Ред.

зпждитель, он зарница, предвестница бури, а не буря, он одно из тревожных явлений, предсказывающих близость умственной революции, но не революция. Гений — великое дело: он, как Петрушка Гоголя, носит с собою собственный запах;¹⁷ от Конта не пахнет гениальностью. Может быть, я ошибаюсь, но таково мое мнение.

В том же № «Revue des Deux Mondes»* меня очень заинтересовала небольшая статья какого-то Тома: «Un nouvel écrit de M. de Shelling»**.¹⁸ У меня было какое-то смутное понятие о новом мистическом учении Шеллинга. Тома говорит, что Шеллинг деизм называет imbécile*** (с чем и поздравляю Пьера Леру) и презирает его больше атеизма, который он нескананно презирает. Кто же он? — он пантеист-христианин и создал для избранных натур (аристократии человечества) удивительно изящную церковь, в которой обителее много. Бедное человечество! Добрый Одоевский раз не шутя уверял меня, что нет черты, отделяющей сумасшествие от нормального состояния ума, и что ни в одном человеке нельзя быть уверенным, что он не сумасшедший. В приложении не к одному Шеллингу как это справедливо! У кого есть система, убеждение, тот должен трепетать за нормальное состояние своего рассудка. Ведь почти все сумасшедшие удивляют в разговоре ясностью своего рассудка, пока не нападут на свою idée fixe.****

Я позволил себе сделать некую мерзость с письмом Анненкова, т. е. вычеркнуть его суждение о Лукр(еции) Флориани; мне была невыносима мысль, что в «Современнике» явится *такого рода* суждение. Как ты думаешь, не осердится он за мою неделикатность?¹⁹

Прочти в 35 № (15 февраля) «Санкт-Петербургских ведомостей» статью Губера о книге Гоголя: это замечательное и отрадное явление.²⁰ Прочел ли ты книгу Макса Штирнера?²¹ Кстати, чуть было не забыл — презабавный анекдот о Достоевском. Воспользовавшись крайнею нуждою Кр(аевско)го в повестях, он превосходно надул этого умного, практического человека. Он забрал у него более 4 тысяч асс. и заключил с ним контракт, по которому обязался 5 декабря доставить ему 1-ю часть нового своего большого романа, 5 января — 2-ю, 5 февраля — 3-ю, 5 марта — 4-ю часть.²² Проходит декабрь — Дост(оевский) не является к Кр(аевскому), проходит январь — тоже (а где найти его, Кр(аевский) не знает); наконец в нынешнем месяце, в одно прекрасное утро, раздается в прихожей Кр(аев-

* «Обозрение двух миров» (франц.). — Ред.

** «Новое о Шеллинге» (франц.). — Ред.

*** слабоумием (франц.). — Ред.

**** навязчивую идею (франц.). — Ред.

ского) звонок, человек отворяет дверь и видит Дост(оевского), снимает с него шинель и бежит доложить. Кр(аевский), радуется, обрадовался, говорит—проси, человек идет в переднюю и — не видит ни калош, ни шинели, ни самого Достоевского...

Что это делается с твоею головою? Уж не поветрие ли теперь на эту болезнь? У меня до сих пор остались еще корни этой болезни, и при кашле иногда голова сильно трещит, хоть и легче, чем прежде. Да что ты ни слова не скажешь мне: обжился ли ты в Москве до того, чтобы известные отношения тебя уже больше не смущали и не беспокоили?²³ Хочу знать это не из бабьего любопытства, а по участию к тебе. Если всё это хорошо уладилось, то, разумеется, без особенно важных причин было бы нелепо переезжать тебе в Питер.

Что за чудак Мельгунов! Пишет он к Панаеву, чтобы делать нам авансы Павлову для получения от него в «Современник» писем к Гоголю.²⁴ Для этого нам должно перевести из каких-то немецких журналов отзывы о Павлове, вероятно, преувеличенные. К чему это? «Теперь (говорит М(ельгунов)), когда звезда Гоголя закатилась, звезда Павлова опять засияет». Что за ерунда! <...> имеет больше отношения к звезде Гоголя, нежели звезда Павлова: по крайней мере, рифма, да еще богатая, а притом и Гоголь сделался теперь <...>. Я не отрицаю в Павлове блестящего беллетристического дарования, но не вижу ничего общего между ним и Гоголем. Говорят, покойный Давыдов был доблестный партизан и не плохой генерал, но не смешно ли было бы, если б кто из его друзей сказал ему: «Звезда Наполеона закатилась, твоя засияет теперь». Прощай. Твой

В. Б.

Это письмо было написано вчера поутру; а вчера вечером Тютчев принес мне твое письмо и дикое письмо Кавелина; ответы на оба пойдут завтра.²⁵

290. И. С. ТУРГЕНЕВУ

СПб. 19 февраля (3 марта) 1847.

Любезнейший, дражайший и милейший мой Иван Сергеевич, наконец-то я собрался писать к Вам.¹ Не поверите, сколько писем написал я в последнее время — даже рука одеревенела от них. Вы скажете, что Вам от этого не веселее, но всё нужные, иначе я не стал бы мучить себя ими. Вот теперь, решившись засесть на беседу с Вами, увидел, что нет почтовой бумаги, и пишу Вам на лоскутках.

Когда Вы сбирались в путь, я знал вперед, чего лишаюсь в Вас, но когда Вы уехали, я увидел, что потерял в Вас больше,

нежели сколько думал, и что Ваши набегн на мою квартиру за час перед обедом или часа на два после обеда, в ожидании начала театра, были *одно*, что давало мне жизнь. После Вас я отдался скуке с каким-то апатическим самоотвержением и скучаю, как никогда в жизнь мою не скучал. Ложусь в 11, иногда даже в 10 часов, засыпаю до 12, встаю в 7, 8 и около 9 и целый день, особенно целый вечер (с после обеда), дремлю — вот жизнь моя!

Что сказать Вам нового? С Некрасовым у меня всё порешено: я получаю на тот год 12 тысяч асс. и остаюсь сотрудником. Мне предлагали контракт: 8 тысяч платы, да после двух тысяч подписчиков по 5 к. с рубля и, в случае болезни или смерти, получение процентов до истечения десятилетия журнала. Я отказался и предпочел сохранить мою свободу и брать плату, как обыкновенный сотрудник и работник. Что, юный друг мой, кто из нас ребенок — Вы или я?.. Признаться, я и не хотел было распространяться с Вами об этой материи, но полученное мною от Кавелина письмо решило меня познакомить Вас с положением дел. Кавелин пишет, что Боткин им *всё* рассказал, что Н^екрасов в их глазах тот же Кр^аевский, а «Современник» то же, что «Отечественные записки», и потому он, К^авелин, будет писать (для денег) и в том и другом журнале. Мало этого: выдумал он, что по 2 № «Современника» видно, что это журнал положительно подлый, и указал на две мои статьи, которые он считает принадлежащими Н^екрасову. Объявление о 2 изданиях «Современника» поставлено им в страшно подлую проделку. Всё это глупо, и я отделал его, как следует, в письме на 4^{1/2} больших почтовых листах. Но касательно главного пункта я мог только просить его, что, так как это дело ко мне ближе, чем к кому-нибудь, и я, так сказать, его хозяин, — чтобы он лучше захотел видеть меня простым сотрудником и работником «Современника», нежели без куска хлеба, и потому, не обращая внимания на П^анаева и Н^екрасова, думая о них, как угодно, попрежнему усердствовал бы к журналу, не подрывал бы его успеха и <не> ссорил бы меня с его хозяевами. Видите ли: я писал, значит, с тем, чтобы спасти журнал. Глупые обвинения мне легко отстранить, но я хорошо знаю наших москвичей — честь Н^екрасова в их глазах погибла без возврата, без восстания, и теперь, кто ни сплети им про него нелепицу, что он, например, что-нибудь украл или сделал другую гадость — они всему поверят: Еще прежде П^анаев получил от Кетчера ругательное письмо, которого не показал Н^екрасову. Последний ничего не знает, но догадывается, а делает всё-таки свое. При объяснении со мною он был не хорош: кашлял, заикался, говорил, что на то, чего я желаю, он, кажется, для моей же пользы согласиться никак не

может по причинам, которые сейчас же объяснит, и по причинам, которых не может мне сказать. Я отвечал, что не хочу знать никаких причин, и сказал мои условия. Он повеселел и теперь при свидании протягивает мне обе руки — видно, что доволен мною вполне, бедняк! По тону моего письма Вы можете видеть ясно, что я не в бешенстве и не в *преувеличении*. Я любил его, так любил, что мне и теперь иногда то жалко его, то досадно на него за него, а не за себя. Но мне трудно *переболеть* внутренним разрывом с человеком, а потом ничего. Природа мало дала мне способности ненавидеть за лично нанесенные мне несправедливости; я скорее способен возненавидеть человека за разность убеждений или за недостатки и пороки, вовсе для меня лично безвредные. Я и теперь высоко ценю Н(екрасо)ва за его богатую натуру и даровитость; но тем не менее он в моих глазах — человек, у которого будет капитал, который будет богат, а я знаю, как это делается.² Вот уж начал с меня. Но довольно об этом. Да, чуть было не забыл: так как Толстой, вместо денег, прислал им только вексель, и то на половинную сумму, и когда уже и в деньгах-то журнал почти не нуждался, — то он и отстранен от всякого участия в «Современнике», а вексель ему возвращен.³ Стало быть, Н(екрасов) отстранил меня от равного с ним значения в отношении к «Современнику» даже не потому, что $\frac{1}{4}$ меньше $\frac{1}{3}$, а потому, что $\frac{1}{3}$ меньше $\frac{1}{2}$ -ой... Расчет простой и верный.

Еще слово: если Вы не хотите поступить со мною, как враг, ни слова об этом никому, Н(екрасо)ву всего менее. Подобное дело и лично распутать нельзя (это Вы уже и испытали на себе), а переписка только еще больше запутает его, и всех больше потерплю тут я, разумеется.

Скажу Вам новость: я, может быть, буду в Силезии. Боткин достает мне 2500 р. асс.⁴ Я было начисто отказался, ибо с чем же бы я оставил семейство, а просить, чтобы мне выдавали жалованье за время отсутствия, мне не хотелось. Но после объяснения с Н(екрасовым) я подумал, что церемониться глупо, а надо брать всё, что можно взять. Он был даже рад, он готов сделать всё, только бы я... Я написал к Б(отки)ну, и теперь ответ его решит дело.

Достоевского переписка шулеров, к удивлению моему, мне просто не понравилась — насилиу дочел.⁵ Это общее впечатление. Кстати: вот Вам анекдот об этом молодце. Он забрал у Кр(аевско)го более 4 тысяч асс. и обязался контрактом 5 декабря доставить ему 1-ую часть своего большого романа, 5 января — 2-ю, 5 февраля — 3-ю, 5 марта — 4-ю.⁶ Проходит декабрь и январь — Дост(оевский) не является, а где его найти, Кр(аевский) не знает. Наконец в феврале в одно прекрасное утро в прихожей Кр(аевского) раздается звонок. Человек от-

воряет — и видит Дост<оевского>. Наскоро схвативши с него шинель, бежит доложить — Кр<аевский>, разумеется, обрадовался, человек выходит сказать — дескать, пожалуйста, но не видит ни калош, ни шинели Дост<оевско>го, ни самого его — и след простыл... Не правда ли, что это точь-в-точь сцена из «Двойника»?

Ваш «Русак» — чудо как хорош, удивителен, хотя и далеко ниже «Хоря и Калиныча». Вы и сами не знаете, что такое «Хорь и Калиныч». Это общий голос. «Русак» тоже всем нравится очень. Мне кажется, у Вас чисто творческого таланта или нет, или очень мало, и Ваш талант однокроен с Далем. Судя по «Хорю», Вы далеко пойдете. Это Ваш настоящий род. Вот хоть бы «Ермолай и мельничиха» — не бог знает что, безделка, а хорошо, потому что умно и дельно, с мыслию. А в «Бретере», я уверен, Вы творили. Найти свою дорогу, узнать свое место — в этом всё для человека, это для него значит сделаться самим собою. Если не ошибаюсь, Ваше призвание — наблюдать действительные явления и передавать их, пропуская через фантазию; но не опираться только на фантазию. Еще раз: не только «Хорь», но и «Русак», обещает в Вас замечательного писателя в будущем. Только, ради аллаха, не печатайте ничего такого, что ни то ни се, не то, чтобы не хорошо, да и не то, чтоб очень хорошо. Это страшно вредит тоталитету известности (извините за кудрявое выражение — лучшего не придумалось). А «Хорь» Вас высоко поднял — говорю это не как мое мнение, а как общий приговор.⁷

Некр<асов> написал недавно страшно хорошее стихотворение. Если не попадет в печать (а оно назначается в 3 №), то пришлю к Вам в рукописи. Что за талант у этого человека! И что за топор его талант!⁸

Повесть Кудрявцева не имела никакого успеха, откуда ни послышишь — не то что бранят, а холодно отзываются.⁹

Здоровье мое уже около месяца, как будто, всё лучше.

Все наши об Вас вспоминают, все любят Вас, я больше всех. Не знаю, почему, но когда думаю о Вас, юный друг мой, мне всё лезут в голову эти стихи:

Страстей неопытная сила

Кипела в сердце молодом...¹⁰ и пр.

Вот Вам и загвоздка; нельзя же без того: на то и дружба... Что бы еще Вам сказать, право, не знаю, а потому крепко жму Вам руку и обнимаю Вас заочно, от всей души желая всего хорошего и приятного. Жена моя и все мои домашние, не исключая Вашего крестника,¹¹ кланяются Вам; все они Вас любят и часто о Вас вспоминают. Итак, прощайте. Ваш

В. Белинский.

Гоголь покаран сильно общественным мнением и разруган во всех почти журналах, даже друзья его, московские славноперды, и те отступились если не от него, то от гнусной его книги¹².

291. В. П. БОТКИНУ

СПб. 26 февраля 1847

Спасибо тебе за доброе письмо твое, Боткин.¹ Право, я отроду не хлопотал так о самом себе, как ты обо мне. Меня не одно то трогает, что ты всюду собираешь для меня деньги и жертвуешь своими, но еще больше то, что ты занят моею поездкою, как своим собственным сердечным интересом. А я всё браню тебя, да пишу тебе грубости. Недавно истощил я весь площадной словарь ругательств, браня и тебя и себя. Сколько раз говорил я с тобою о твоих письмах из Испании, — и не могу понять, как мог я забыть сказать тебе то, о чем так долго собирался говорить с тобою! Это о неуместности фраз на испанском языке — что отзывается претензиею. Мне кажется, что в следующих статьях ты бы хорошо сделал, выкинув эти фразы. Но еще за это тебя бранить не за что, а вот за что я проклинал тебя: эти фразы, равно как и все испанские слова, ты должен был не написать, а нарисовать, так чтобы не было ни малейшей возможности опечатки, а ты их нацарапал, и если увидишь, что от них равно откажутся и в Мадриде и в Марокко или равно признают их своими и там и сям, то пеняй на себя. А я помучился за корректурую твоей статьи довольно, чтобы проклясть и тебя и испанский язык, глаза даже ломом ломили. Вот и Кавелин: пишет Шеволье, а ну как это не Шеволье, а Шевалье?² Так нет — везде о, кроме двух раз, вот тут и держи корректуру. Скажу тебе пренеприятную вещь: статью твою Куторга порядочно поцарапал — говорит: политика.³ Действительно, у тебя много вышло резко, особенно эпитеты, прилагаемые тобою к испанскому правительству, — терпимость на этот раз изменила тебе. Вот тут и пиши! Впрочем, Некр(асов) говорит, что выкинуто строк 30, но ты понимаешь каких. Не знаю, как это известие подействует на тебя, но знаю, что если ты и огорчишься, то не больше меня: я до сих пор не могу привыкнуть к этой отеческой расправе, которую испытываю чуть не ежедневно.

Я понимаю, какое содержание письма Анненкова.⁴ Это меня несколько не удивило. Я давно знаю, что за человек Анненков, и знаю, что он любит меня. Тем не менее, с нетерпением жду этого письма. А что касается до 300 р. серебром

Н<екрасо>ва, то это дело плохо, и на него нельзя рассчиты-
вать. Н<екрасов> сказал мне, что у него денег ни копейки, но
что он может отдать мне эти 300 р. с., взявши их из кассы «Со-
временника». Теперь рассуди сам: за 47 год я должен получить
с них 2000 р. с., а я УЖЕ забрал 1400 р. — стало быть, остается 600.
Я должен забирать, без меня жена будет забирать, я приеду —
опять начну забирать — за будущий год. Положим, Некр<асов>
отдаст тебе 300 р. с.; тогда мне меньше можно будет забирать,
а без забору мне хоть умирать. Итак, если* нельзя обойтись,
не рассчитывая на эти 300 р., то хоть брось всё дело. Отвечай
мне на это скорее: только в случае ответа, что-де можно и не
рассчитывать на эти 300 р., я буду уверен окончательно, что
еду за границу, и примусь готовиться серьезно. Пока прощай.

Твой В. Белинский.

292. В. П. БОТКИНУ

СПб. 28 февраля 1847.

Нечего говорить тебе, как удивило и огорчило меня письмо
твое. Вижу, что оно от тебя, хотя рука и незнакомая, а всё
не могу увериться, что это точно от тебя.¹ Вот уже с другим из
близких мне людей в Москве случилось нынешнею зимою это
несчастье. У нас в Питере случаются подобные несчастья, но
редко, и то не с пешеходами, а с теми, кто едет в санях, да сзади
наедет экипаж с дышлом. Это случается очень редко, и то при
разъезде из театров, в страшной тесноте. У нас на это славный
порядок: если экипаж на кого наехал, кучер в солдаты, а лошади
в пожарное депо, чьи бы они ни были. Оттого и редки эти случаи.
Я нахожу эту меру мудрою и в высшей степени справедливою —
с русским человеком иначе не справиться — иной нарочно
наедет для потехи.

Спасибо тебе за пересылку письма Анненкова. Я знаю, что
при его средствах (ведь он не богач же какой) и, живя за гра-
ницею, 400 франков — деньги; но этого я всегда ожидал от
него, и это меня несколько не удивило. Но его выражение, что
мое положение отравляет все его похождения там <поразило
меня>. Разумеется, я не принял этих слов в буквальном их зна-
чении, но понял, что в них истинного — и это тронуло меня до
слез. А его решимость переменить свои планы путешествия
для меня?² Нет, если б он дал мне две тысячи франков, — это
бы далеко так не тронуло меня. Говорю тебе без фраз и без ли-
цемерства, что любовь ко мне друзей моих часто меня конфузит

* Далее зачеркнуто: без этого

и грустно на меня действует, ибо, по совести, не чувствую, не сознаю себя стоящим ее.

Ехать я должен на первом пароходе, а когда он пойдет, — этого теперь знать нельзя, ибо это зависит от раннего или позднего очищения моря от льду. Могу сказать только, что не раньше 3-го и не позже 17-го мая (3, 10 и 17-е приходятся в субботы — день, в который отходят пароходы из Питера в Кронштадт с пассажирами).³

Бедный Кронеберг, действительно, болен серьезно. Тяжело думать о нем!

К Анненкову пишу завтра же; к Тургеневу тож.⁴

О статье моей о Гоголе⁵ мне не хотелось бы писать к тебе, ибо я положил себе за правило — никогда и ни с кем не спорить о моих статьях, защищая их. Но на этот раз нарушаю мое правило потому, что ты болен и что в твоём положении письмо приятеля тем приятнее, чем больше в нём разных вздоров (для этого я считаю за обязанность писать теперь к тебе чаще, не ожидая от тебя ответов). Видишь ли, в чём дело: ты решительно не понимаешь меня, хотя и знаешь меня довольно. Я не юморист, не остряк; ирония и юмор — не мои оружия. Если мне удалось в жизнь мою написать статей пяток, в которых ирония играет видную роль и с большим или меньшим умением выдержана, — это произошло совсем не от спокойствия, а от крайней степени бешенства, породившего своею сосредоточенностью другую крайность — спокойствие. Когда я писал тип на Шевырку и статью о «Тарантасе»,⁶ я был не красен, а бледен, и у меня сохло во рту, отчего на губах и не было пены. Я могу писать порядочно только на основании моей природы, моих естественных средств. Выходя из них по расчету или по необходимости, — я делаюсь ни то ни се, ни рак ни рыба. Теперь слушай: кроме того, что я болен и что мне опротивела и литература и критика так, что не только писать, читать ничего не хотелось бы, — я еще принужден действовать вне моей природы, моего характера. Природа осудила меня лаять собакою и быть шакалом, а обстоятельства велят мне мурлыкать кошкою, вертеть хвостом по-лиси. Ты говоришь, что статья «написана без довольной обдуманности и несколько сплеча, тогда <как> за дело надо было взяться с тонкостью». Друг ты мой, потому-то, напротив, моя статья и не могла никак своею замечательностью соответствовать важности (хотя и отрицательной) книги, на которую писана, что я ее обдумал. Как ты мало меня знаешь! Все лучшие мои статьи несколько не обдуманы, это импровизации, садясь за них, я не знал, что я буду писать. Если первая строка хватит издали — статья болтлива, о деле мало сказано; если первая строка ближе к делу — статья хороша. И чем больше я ее запущу, чем меньше мне времени писать ее, тем она

энергичнее и горячее. Вот как я пишу! Если б мне надо было обдумывать, я не мог бы кормиться литературою и каждый месяц, кроме мелких статей, поставлять по критике. Статья о гнусной книге Гоголя могла бы выйти замечательно хорошою, если бы я в ней мог, зажмурив глаза, отдаться моему негодованию и бешенству. Мне очень нравится статья Губера⁷ (читал ли ты ее?) именно потому, что она писана прямо, без лисьих верчений хвостом. Мне кажется, что она — моя, украдена у меня и только немножко ослаблена. Но мою статью я обдумал, и потому вперед знал, что отличною она не будет, и бился из того только, чтоб она была дельна и показала гнусность подлца. И она такую и вышла у меня, а не такую, какую ты прочел ее. Вы живете в деревне и ничего не знаете. Эффект этой книги был таков, что Никит^{енко}, <ее> пропустивший, вычеркнул у меня часть выписок из книги, да еще дрожал и за то, что оставил в моей статье. Моего он и цензора вычеркнули целую треть, а в статье обдуманной пометка слова — важное дело. Ты упрекаешь меня, что я рассердился и не совладел с моим гневом? Да этого и не хотел. Терпимость к заблуждению я еще понимаю и ценю, по крайней мере в других, если не в себе, но терпимости к подлости я не терплю. Ты решительно не понял этой книги, если видишь в ней *только* заблуждение, а вместе с ним не видишь артистически рассчитанной подлости. Гоголь — совсем не К. С. Аксаков. Это — Талейран, кардинал Феш, который всю жизнь обманывал бога, а при смерти надул сатану.⁸ Вообще, ты с твоею терпимостию доходишь до нетерпимости именно тем, что исключая нетерпимость из числа великих и благородных источников силы и достоинства человеческого. Берегись впасть в односторонность и ограниченность. Вспомни, что говорит Анненков по поводу новой пьесы Понсара о том, что и здравый смысл может порождать нелепости, да еще скучные.⁹ И отзыв Анненкова о книге Гоголя тоже не отзывается терпимостию. Повторяю тебе: умею вчуже понимать и ценить терпимость, но останусь гордо и убежденно нетерпимым. И если сделаюсь терпимым — знай, что с той минуты я — кастрат и что во мне умерло то прекрасное человеческое, за которое столько хороших людей (а в числе их и ты) любили меня больше, нежели сколько я стоил того.

Что Михаил Семенович?¹⁰ Здоров ли он? До меня доходят на его счет не совсем радостные слухи. Попроси кого-нибудь уведомить меня о нем. Если его положение не так дурно, как мне кажется, нельзя ли напомнить ему о его мне обещании. Крайне нужно для статьи о театре, которая для него будет интересна.¹¹

СПб. 1/13 марта 1847.

Дражайший мой Павел Васильевич, Боткин переслал мне Ваше письмо к нему, в котором так много касающегося до меня. Не могу выразить Вам, какое впечатление произвело оно на меня, мой добрый и милый Анненков! Я знаю, что Вы человек обеспеченный, и порядочно обеспеченный, но отнюдь не богач, и я знаю, что и не с Вашими средствами за границую 400 фр. никогда не могут быть лишними. Но всё-таки не в этом дело: это я всегда ожидал <от> Вас и это меня несколько не удивило, не взволновало. Но Ваши строки: «Грустную новость сообщили Вы мне о Бел<инском>, новость, которая, сказать признательно, отравляет все мои похождения здесь» — тронули меня до слез. Я не был так самолюбив и прост, чтобы вообразить, что Вы близки к отчаянию и, пожалуй, наложите на себя руки, не принял их даже в буквальном значении; но понял всё истинное, действительно в них заключающееся, понял, что мысль о моем положении иногда делает неполными Ваши удовольствия. Но это не всё: для меня вы изменяете план своих путешествий и, вместо Греции и Константинополя, располагаетесь ехать ко мне в Силезию, около Швейдница и Фрейбурга, недалеко от Бреславля! Вот что скажу я Вам на последнее в особенности: если бы не чувствовал, как много и сильно люблю я Вас, — Ваше письмо, вместо того, чтобы преисполнить меня радостью, которую я теперь чувствую, возбудило бы во мне неудовольствие и досаду.¹ Но довольно об этом. Думаю я отправиться на первом пароходе, а когда именно пойдет он, теперь знать нельзя — зависеть это будет от очистки льду на Балтике. Пароход с пассажирами отходит из Питера в Кронштадт по субботам; последняя суббота в апреле приходится 26 апреля (по вашему 8 мая), первая суббота в мае — 3/15, вторая — 10/22, третья — 17/29. Итак, всего вероятнее: не раньше 3/15 и не позже 17/29 мая. Как только сам узнаю наверное, сейчас же извещу Вас и Тургенева.

Да, я было струхнул порядком за свое положение, но теперь поправляюсь. Тильман ручается за выздоровление весною даже и в Питере, но всегда прибавляет: «а лучше бы ехать, если можно». Когда я сказал ему, что нельзя, он видимо насупился, а когда потом сказал, что еду — он просиял. Из этого я заключаю, что в Питере можно меня починить до осени, а за границую можно закрепить готовый развязаться и расплзтись узел жизни. Вот уже с месяц чувствую я себя лучше, но упадок сил у меня — страшный: устаю от всякого движения, иногда задыхаюсь оттого, что переверочусь на кушетке с одного бока на другой.

Письма Ваши — наша отрада. В 2-м письме я был совсем готов принять Вашу сторону против добродетельных врагов введения науки земледелия и ремесл, но когда увидел, что это введение направлено против древних языков — я на попятный двор. У меня на этот счет есть убеждение, немощно даже фанатическое, и если я за что уважаю Гизо, так это за то, что в 1835, кажется, году он отстоял преподавание во Франции древних языков. Но об этом поговорим при свидании. Выходка «добродетельной» партии против эфира привела меня на минуту в то состояние, в которое приводит эфир. Этот факт окончательно объяснил мне, что такое эти новые музульмане, у которых Руссо — алла, а Р<обеспье>р пророк его, и почему эта партия только шумлива, а в сущности бессильна и ничтожна.²

Все наши живут, как жили; только бедный Кронеберг болен и, кажется, серьезно. Богатый Краевский тоже болен и, говорят, тоже серьезно, но о нем я не жалею, хотя и не желаю ему зла.

Приеду к Вам с запасом новостей, а для письма как-то и не помнится ничего. Привезу Вам «Современника». Перед отъездом заеду к Вашим братьям, заранее предупредив их — всё сделаю, как следует человеку, который раздумал умирать и разохотился жить. Жена моя и все мои Вам кланяются — все Вас любят и помнят, от всех Вы своим уездом отняли много удовольствия.

Кланяйтесь от меня милому Петру Николаевичу.³ Если б и с ним столкнуться там — да уж не слишком ли я многого хочу, уж не зазнался ли я?

А ведь новостей-то я Вам много привезу. Я знаю, что Вы многое знаете через Боткина, но я Вам многое из этого многого передам совсем с другой точки зрения.⁴ Прощайте пока.

Ваш В. Белинский.

294. И. С. ТУРГЕНЕВУ

СПб. 1/13 марта 1847.

Вот, мой милый Иван Сергеевич, я пишу Вам другое письмо, не дожидаясь от Вас ответа на первое.¹ Не говорите же, что я ленив, забыл Вас, не люблю Вас и пр. Зная, что первое письмо мое должно было огорчить Вас, я очень рад, что это должно утешить Вас на тот же предмет. Приступаю к делу без предисловий и скажу Вам, что я почти переменял мое мнение насчет источника известных поступков Н<екрасо>ва.² Если нельзя сказать, чтобы это было несомненно, то можно сказать, что последнее мнение вероятнее первого. Мне теперь кажется, что

он действовал честно и добросовестно, основываясь на объективном праве, а до понятия о другом, высшем он еще не дорос, а приобрести его не мог по причине того, что возрос в грязной положительности и никогда не был ни идеалистом, ни романтиком на наш манер. Вижу из его примера, как этот идеализм и романтизм может быть благодетелем для иных натур, предоставленных самим себе. Гадки они — этот идеализм и романтизм, но что за дело человеку, что ему помогло отвратительное на вкус и вонючее лекарство, даже и тогда, если, избавив его от смертельной болезни, привило к его организму другие, но уже не смертельные болезни: главное тут не то, что оно гадко, а то, что оно помогло. Главная ошибка Н(екрасо)ва состоит в том, что он не понял, что кружок людей, в который он вошел, имеет совсем иные понятия о праве, а между тем он, войдя в этот кружок, пришел от него в некоторую зависимость, особенно по изданию журнала. Отчего ж он этого не понял? — оттого, что еще далеко не очистился от грязи своей прежней жизни, привычек и понятий. Но Вы спросите: что же навело меня на перемену моего мнения обо всем этом? Отвечаю: наблюдения и факты. В 1-м письме моем я сказал, что Н(екрасов) будет с капиталом; а теперь вижу, что к этому даже я способнее его, ибо могу работать и во мне* чувство обязанности и долга сильнее лени и апатии. Человек, способный разжиться, долго терпит нужду, может быть ленив и апатичен, но зато как скоро попало ему в руки дельце, обещающее разживу, — он тотчас же перерождается: делается жив, бодр, деятелен, не щадит трудов, минута не пропадает у него даром, сам не дремлет, да и другим дремать не дает. Таков Кр(аевский); но вовсе не таков Н(екрасов). Вместо того, чтобы ожить и проснуться от «Современника», он еще больше замер и заснул, и апатия его дошла до нестерпимой отвратительности. Счеты ведет, с типографией возится, корректуру держит — но и всё тут. Переписка в запущении. Сказал мне, что завтра пошлет письмо к Б(откину) (весьма нужное), а послал его через 3 недели. Я его уличил, а он мне, зевая, ответил, что не считал письма важным. А между тем письмо было такого рода, что могло произвести нужный результат только полученное прежде моих писем.** Библиография состоит только из моих и Кавелина статей, от этого она страшно однообразна и весьма серьезна: ни то, ни другое нашей публике нравиться не может. Говорю Н(екрасо)ву: напишите на 3 глупых романа рецензии; не будет у Вас иронии и юмора — что делать — зато будет журнальная и фельетонная легкость, а это важно, публика наша это любит, да и биб-

* *Далее вычеркнуто:* глубоко

** *Далее вычеркнуто:* Говорю я ему: напиши

лиография делается разнообразнее.— Хорошо, говорит, напишу.— 4-го дня спрашиваю: написали? — Нет, ничего делать не хочется.— Послушайте, говорю я, да Вы, кроме ведения счетов, типографии да корректуры, ничего знать не хотите.— Да я так и решился ограничиться этим.— Стало быть, Вы не желаете успеха журналу? — Он поглядел на меня с удивленным видом.— Как? — Да так: Вы отнимаете у «Современника», в своем лице, талантливого сотрудника. Вашими рецензиями дорожил и Кр<аевский>, хоть этого и не показывал, Вы писывали превосходные рецензии в таком роде, в котором я писать не могу и не умею. Вы, сударь, спите, от «Современника» толку не будет, Вы его губите.— Он во всем согласился, но толку из этого никакого не будет. И я теперь не шутя грущу, что Кр<аевский> такая скотина и стервец, с которым нельзя иметь дела, и что поэтому я верное променял на неверное. Сердце мое говорит мне: затея кончится вздором. Кто ближе всех к «Современнику»? Н<екрасов>, и он-то не обнаруживает ни малейшего к нему усердия. Я всех ретивее, хотя и вовсе не ретив. И такой человек может быть капиталистом! Он смотрит мне в глаза так прямо и чисто, что, право, все сомнения падают сами собою. Я уверен, что если с ним объясниться, он согласится во всем, но это сделает ему не пользу, а вред,— повергнет его еще в большую апатию.

«Современник» — журнал без редактора, без главы. Первый год, благодаря случайному огромному запасу статей для моего альманаха, первый год сгоряча пройдет как-нибудь еще недурно; но о 2-м страшно мне и подумать. Н<екрасов> — золотой, нецененный сотрудник для журнала; но распорядитель — сквернейший, хуже которого разве только Панаев. А между тем за всё взялся сам. Теперь он видит, что без меня шагу сделать нельзя, да что! Всё это не то. Еще когда бы он жил у меня на квартире или двери против дверей — другое дело. Я один тоже не гожусь, но с придачею его и с полною властью всё бы походил на редактора, не говоря уже о том, что толкал бы его и будил. Сколько ужасных ошибок наделано! У «Современника» теперь 1700 подписчиков. Завтра выйдет 3 №, и по всем признакам повесть Гончарова должна произвести сильное впечатление.³ Будь она напечатана в первых 2-х №№, вместо подлейшей во всех отношениях повести Панаева,⁴ можно клясться всеми клятвами, что уже месяц назад все 2100 экземпляров были бы разобраны и, может быть, надо было бы печатать еще 600 экземпляров, которые тоже разошлись бы, хотя и медленно, и доставили бы собою не большую, но уже чистую прибыль.

Теперь фельетон поверен человеку порядочному, но это всё — не Вы, мой бесценный Иван Сергеевич: уж такого фельетона, какой был в 1 № «Современника», не дожидаться нам раньше

Вашего возврата в Питер.⁵ Раз читаю фельетон «Пчелы» и вижу, что м-г и м-те Аланы дают свой последний прощальный бенефис.⁶ Спрашиваю Н(екрасо)ва, распорядились ли они с Панаевым на этот счет, а они, мои милые, оба даже и не знали о бенефисе: Панаев и театральные афиши получает для блеску только, чтоб видели другие, но не заглядывает в них. Поверите ли, что я один, читая русские газеты, знаю все петербургские и московские новости, а они почти ничего не знают. А при каких счастливых обстоятельствах начато дело! Несмотря на все ошибки, 1700 подписчиков на первый год!

Насчет Кр(аевского) я сильно ошибся: у него не только не убавилось, но даже прибавилось число подписчиков, несмотря на успех «Современника», — мы отняли у него, может быть, сотню, другую, а у него новых набежало несколько сотен.⁷ Вот как велика в публике жадность к журналам. Было бы из чего не спать, а работать.

Чувствую, что довольно нескладно и неполно изложил я Вам дело, но утешаюсь, что Вы сами всё дополните и поймете так, как будто бы Вы были не в Берлине, а в Питере.

Поездка моя в Силезию решена. Этим я обязан Боткину. Он нашел средство и протолкал меня. Нет, никогда я не хлопотал и никогда не буду хлопотать так о себе, как он хлопотал обо мне. Сколько писем написал он по этому предмету ко мне, к Анненкову, к Герцену, к брату своему, сколько разговоров, толков имел то с тем, то с другим! Недавно получил он ответ Анненкова и прислал его мне. Анненков дает мне 400 фр. Вы знаете, что это человек, порядочно обеспеченный, но отнюдь не богат, а по себе знаете, что за границу во всякое время 400 фр., по крайней мере, не лишние деньги. Но это еще ничего, этого я всегда ожидал от Анненкова, а вот что тронуло, ущипнуло меня за самое сердце: *для меня* этот человек изменяет план своего путешествия, не едет в Грецию и Константинополь, а едет в Силезию! От этого, я Вам скажу, можно даже сконфузиться, и если б я не знал, не чувствовал глубоко, как сильно и много люблю я Анненкова, мне было бы досадно и неприятно такое путешествие. Отправиться я думаю на первом пароходе, значит не раньше 26 апреля (по-вашему 8 мая — чего, впрочем, едва ли можно ожидать) и 3/15 мая и не позже 17/29 мая. 3, 10 и 17 приходится на субботы, когда отходят с пассажирами пароходы из Питера в Кронштадт. Ах, если бы и с Вами свидеться! Где Вы будете в это время? Не в Берлине ли, которого мне не миновать по пути на Швейдниц (недалеко от Бреславля)? Или не <в> Дрездене ли, откуда Вам ничего не будет стоить приехать повидаться со мною? Да одного этого достаточно для выздоровления, кроме приятной поездки, отдыха, целебного воздуха, прекрасной природы и минеральных вод.

Все наши живут, как жили, кроме бедного Кронеберга, который болел серьезно — вот уже недели две, если не больше, как он не в состоянии выходить из дому. У него что-то нехорошо в левом боку. Одним словом — он в опасном положении.

Ах, забыл было о друге моем Панаеве! В нем есть что-то доброе и хорошее, за что я не могу не любить его, не говоря уже о том, что я связан с ним и давним знакомством и привычкою и что он по-своему очень любит меня. Но что это за бедный, за пустой человек — жаль даже. Комаришка — дурак положительно, кроме того, что препустейший человек.⁸ А Панаев далеко не глуп всегда, а иногда и умен положительно, но вот и вся разница между им и Комаришкою: во всем остальном та же легкость характера и та же никакими инструментами не измеримая внутренняя пустота. Видя, как он иногда, положив огромную книгу на колена, пишет при говоре и смехе нескольких человек, я думал, что он пишет не торопясь, но легко, без всякого напряжения. Последняя повесть его открыла мне глаза: писание этого человека — самые трудные роды. А что за абсолютное отсутствие всякой самодеятельности ума! Некрасов недавно рассказывал мне с некоторым видом удивления, как, составляя для смеси известия о литературных новостях во Франции, Панаев не умел от себя ни прибавить суждения, ни слова, ни переменить фразы, и если что по этой части сделал, то почти под диктовку Некрасова. Так как я уверен, что он уже выписался и порядочной повести написать не в состоянии, то и смотрю на него скорее, как на вредного, нежели как на бесполезного сотрудника журнала.

Что бы еще сказать вам? У нас так мало нового. Моя Ольга, найдя в «Иллюстрации» картину, изображающую группу сумасшедших в разных положениях, и увидя между ними сидящего в креслах, подпершись на руку подбородком, — бросилась всем нам поочередно показывать, говоря: *Тентенев*. Вот и не метилась, а попала отчасти! — подумал я. Вот Вам и за гвоздка. Крестник Ваш⁹ обнаруживает живость не по возрасту и обещает здорового мальчика.

Кривецкий, говорят, очень болен — не выходит. Причина — фистула. Зла ему не желаю, а жалеть его не могу. У нас стоит свирепая зима. Как-то недели две назад выпал денек — весною запахло, снег сделался кашею. Но затем пошли дни с морозом от 6 до 15 градусов и с ужасным ветром. Тоска, да и только! Ну, прощайте, дорогой мой. Желаю Вам всего хорошего.

Ваш В. Белинский.

Наши все Вам кланяются.

СПб. 4 марта 1847.

Поездка не выходит у меня из головы. Энтузиазма нет и не будет никакого: в этом отношении я сильно изменился — сам себя не узнаю. Но тем не менее всё вертится у меня около этой *idée fixe*,* и я чувствую, что мне тяжело было бы, если б дело расстроилось. Письмо Анненкова озарило каким-то веселым и теплым колоритом мою поездку, — и я жду ее, как счастья дня. Ехать мне надо не на Любек, а на Штеттин — и короче, и железная дорога в Берлин, стало быть, экономия в деньгах, времени и здоровья (мне тяжело ездить в каретах на лошадях). Скоро обещано в «Пчеле» объявление цен и пр.;¹ сейчас же возьму место. Языков мне обработал великой важности дело — выхлопотал метрическое свидетельство о рождении. В этом ему много помогло то обстоятельство, что он имеет случай в Морском министерстве и мог в короткое время получить оттуда такие справки, каких мне и в 10 лет не добиться бы.² Не можешь представить, как я этому рад. Дворянская грамота — для меня дело великой важности, тем более, что я не служил и не имею никакого чина. Но это не всё: без этого свидетельства (т. е. метрического) я ни рак, ни рыба, я не сын отца моего, и меня могли бы заставить избрать род жизни, т. е. приписаться в мещане; блистательная участь! А теперь я спокоен. Хлопоты еще остались, но уже далеко не столь важные.

Прочел я в 3 № «Отечественных записок» повесть Кудр(явце)ва «Сбоев» и рядом с нею помещенную Галахова «Кукольную комедию».³ Кажется, таланту К(удрявце)ва — вечная память. Этот человек, видно, никогда не выйдет из своей коры. Он и в Париж привез с собою свою Москву. Что за узкое созерцание, что за бедные интересы, что за ребяческие идеалы, что за исключительность типов и характеров. Ты видел Гончарова. Это человек пошлый и гаденький (между нами будь сказано). В этом отношении смешно и сравнивать его с Кудр(явцевым). Но сильно ли понравится тебе его повесть, или и вовсе не понравится, — во всяком случае, ты увидишь великую разницу между Гонч(аровым) и Кудр(явцевым) в пользу первого. Эта разница состоит в том, что Г(ончаро)в — человек взрослый, совершеннолетний, а К(удрявцев) — духовно малолетний, нравственный и умственный недоросль. Это досадно и грустно. Читая его повести, чувствуешь, что они могут быть понятны и интересны только для людей, близких к автору. Вот отчего некогда я с ума сходил от повестей К(удрявце)ва: я знал и лю-

* навязчивой идеи (франц.). — Ред.

бил его, в нем и в них было много моего, т. е. такого, что было моим коньком. Того конька давно нет — и повести не те. Талант вижу в них и теперь, но чорта ли в одном таланте! Земля ценится по ее плодородности, урожаем; талант — та же земля, но которая вместо хлеба родит истину. Порождая одни мечты и фантазии, талант, даже большой, — песчаник или солончак, на котором не родится ни былинки. Две повести выходят * из ряда обычных повестей К<удрявце>ва: «Последний визит», в котором конец он всё-таки испортил эффектом, и «Без рассвета», в которой прекрасное намерение осталось гораздо выше исполнения.⁴ Стало быть, ничего удовлетворительного вполне и вместе дельного. Что же это? Слабость таланта? — Нет, вся беда в том, что К<удрявце>в — москвич. От головы до пяток, на всех московских отпечаток.⁵ Герцен, конечно, не Галахов, даже — не К<удрявце>в, во многих отношениях; а всё москвич. Он считает очень нужным уведомить публику печатно, что чувствует глубокую симпатию к своей жене; он употребляет в повести семинарственно-гнусное слово *ячность* (эгоизм т. е.), герой его повести говорит любимой им женщине, что человек должен *довлеть самому себе!*.. Что же удивляться, что в философских статьях он пишет *нус*, *non-sens*, ** и русскими буквами отшлепывает немецкое слово *Gemüthlichkeit*?*** — москвич! вот и всё!⁶ Почти все повести К<удрявце>ва и Галахова посвящены какой-нибудь *барышне*: без посвящения нельзя. Ах, господа, изображайте любовь и женщин, я вам не запрещаю этого на том основании, что**** я начисто разделался с подобными интересами; но изображайте не как дети, а как взрослые люди. Вот и в повести Гонч<арова> любовь играет главную роль, да еще такая, какая субъективно всего менее может интересовать меня: а читаешь, словно ешь холодный полупудовый сахаристый арбуз в знойный день.⁷ Что за непостижимое искусство у К<удрявце>ва, не будучи нисколько субъективным, не быть ни на волос объективным, и наоборот.

3 № «Современника» вышел, кажется, недурен. Перечел я твою статью: поцарапана, но сущность осталась и главная мысль даже не затемнена.⁸ Палач Куторга⁹ вычеркнул статью о Ройе-Коларе и много нагадил.¹⁰ Письмо Тургенева из Берлина интересно.¹¹ К Анненкову я писал.¹² Хороша статья Савича — популярное изложение сущности подвига Леверрье.¹³ Ясна и понятна — стало быть, достигает своей цели, а потому и хороша. Я теперь только понял, что такое Леверрье. Я думал, что вся штука в открытии новой планеты. Нет, дело в уяснении

* Первоначально: имеют]

** бессмыслица (латин.).— Ред.

*** уют, сердечность, глубина чувства (нем.).— Ред.

**** Далее зачеркнуто: для меня

открытого Ньютоном всеобщего закона тяготения. Лавверье двинул науку. Это похоже на гения, царство которого — общее, а не частности — удел талантов и даже людей дюжинных. Ну, прощай. Твой

В. Белинский.

Жена моя очень жалеет о твоём несчастье¹⁴ и шлет тебе усердное приветствие и желание скорого выздоровления. Что это делается в семействе Щепкиных? Елена Дмитриевна опасно больна.¹⁵ Я получил письмо из Воронежа от Н. М. Щепкина: просит справиться в инспекторском департаменте военного министерства, почему нет резолюции на его прошение об отставке. Справщики нашлись, и дело будет сделано, тогда и ответ дам.¹⁶ Бедная мать, бедные дети — они так любили ее, она так любила их! Бедное семейство! И для старика какой новый обвал под ногами жизни!

296. Н. М. ЩЕПКИНУ

СПб. 5 марта 1847.

Большое Вам спасибо, добрый мой Николай Михайлович, что Вы обратились ко мне с Вашим поручением; но Вы очень нелепо поступили, если медлили сделать это не по чему иному, как по опасению обеспокоить меня. Я действительно за подобное дело не взялся бы сам собою, по решительной неспособности к делам такого рода; но у меня есть знакомые, а у моих знакомых тоже есть знакомые — люди разных сортов и служб. Во всяком случае — попытка дело для Вас важное, а для меня нисколько не обременительное. Положение Ваше меня огорчило, а известие о его причине и удивило, и встревожило, и огорчило. Приказ о Вашей отставке подписан е. и. в⟨еличеством⟩ 28 февраля, и я его прилагаю при этом письме. Письмо Ваше я получил, кажется, в прошлую пятницу (28 февраля), в субботу попросил знакомых, а вчера, вместо ответа, получил приказ.¹ Пока больше ничего не знаю. Прощайте. Желаю, чтоб всё кончилось хорошо. Ваш

В. Белинский.

297. В. П. БОТКИНУ

СПб. 8 марта 1847.

Мне пришла в голову благая мысль, которую и спешу сообщить тебе, любезный Боткин. Всё, что вымарано варваром Куторгою из статьи твоей, ты можешь вставить в следующие

статьи.¹ Особенно жаль двух мест: о любви и замужестве Христины и о наборе кортесов из бродяг и сволочи. Никитенко обещает отстаивать на том основании, что это история (прошедшее), а не политика. В последнее перед выходом 3 № «Современника» ценсурное заседание он хотел это сделать, но, как нарочно, почти никто не пришел, а комитет должен состоять из большинства членов. На всякий случай посылаю тебе твою рукопись. Только первых 3 листков я не нашел у себя: вероятно, отослал их при корректуре Некрасову, а может быть, и затерял; но у тебя ведь есть черновые материалы, письма и пр. Статья твоя всем нравится, и вообще 3 № «Современника» произвел самое благоприятное для него впечатление на питерскую публику. Прочти, пожалуйста, повесть Диккенса «Битва жизни»: из нее ты ясно увидишь всю ограниченность, всё узколюбие этого дубового англичанина, когда он является не талантом, а просто человеком.² Это едва ли не единственная плохая вещь, помещенная в 3 № «Современника» — что мне очень досадно. Уважаю практические натуры, *les hommes d'action*,* но если вкушение сладости их роли непременно должно быть основано на условии безвыходной ограниченности, душевой узкости — слуга покорный, я лучше хочу быть созерцающею натурою, человеком просто, но лишь бы всё чувствовать и понимать широко, правильно и глубоко. Я — натура русская. Скажу тебе яснее: *je suis un russe et je suis fier de l'être.*** Не хочу быть даже французом, хотя эту нацию люблю и уважаю больше других. Русская личность пока — эмбрион, но сколько широты и силы в природе этого эмбриона, какдушна и страшна ей всякая ограниченность и узкость! Она боится их, не терпит их больше всего, — и хорошо, по моему мнению, делает, довольствуясь пока ничем, вместо того, чтобы закабалиться в какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что нам нечего делать, — чем больше об этом думаю, тем больше сознаю и убеждаюсь, что это ложь. Грузинцам тоже нечего делать, и мало ли других народов, ничего не делающих, и всё-таки бедных замечательными личностями. Русак пока еще, действительно, — ничего; но посмотри, как он требователен, не хочет того, не дивится этому, отрицает всё, а между тем чего-то хочет, к чему-то стремится. Но о таком предмете надо говорить много или совсем не говорить, и потому мне досадно за себя, что я заговорил. Не думай, чтобы я в этом вопросе был энтузиастом. Нет, я дошел до его решения (для себя) тяжким путем сомнения и отрицания. Не думай, чтобы я со всеми об этом говорил *так*; нет, в глазах наших квасных патриотов,

* людей дела (франц.). — Ред.

** я — русский и горжусь этим (франц.). — Ред.

славенопердов, витязей прошедшего и обожателей настоящего, я всегда останусь тем, чем они до сих пор считали меня.

Желал бы я знать, как твое здоровье, поправляешься ли ты и скоро ли надеешься поправиться. Продикуй для меня небольшую писульку. Кронебергу лучше, он выходит из дому.³ Я против прежнего чувствую себя лучше, но живу только мыслию о поездке за границу. Прощай. Твой

В. Белинский.

298. В. П. БОТКИНУ

<15—17 марта 1847 г. Петербург.>

СПб. 15 марта 1847.

Да продикуй мне, Боткин, какую-нибудь писульку, а то, право, не знаю, о чем писать к тебе, с чего начать письмо. А писать бы я готов. Но вижу, что без отклика дело не клеится.

Здоровье мое в сравнении с прежним лучше, но безотносительно — плохо. Тоска страшная, и не знаю, как дожидаться вождеденного дня отъезда. Только этою мыслию и живу; без нее, право, не знаю, что бы со мною теперь было. Новостей у нас, *somme de raison*,* нет никаких, а если какие и есть, они известны и у вас. Книга Гоголя как будто пропала, — и я немного горжусь тем, что верно предсказал (не печатно, а на словах) ее судьбу.¹ Русского человека не надуешь такими проделками, а если и надуешь, так на минуту. Если еще не вовсе забыто существование этой книги, так это потому, что от времени до времени напоминают о ней журнальные статьи. Статья Н. Ф. Павлова — образец мастерства писать. Я прочел ее несколько раз, и с каждым разом она кажется мне всё лучше и лучше. Сколько ума, какая последовательность, как всё ровно и цело; дочитывая конец, ясно помнишь начало и середину! Словом — чудо, а не статья! Сначала на меня произвел было неприятное впечатление взгляд на мертвопочитание *русской породы*; но я сообразил, что вся сила статьи в том и заключается, что П<авлов> бьет Г<оголя> не своим, а его же оружием, и имеет в виду доказать не столько нелепость книги, сколько ее противоречие с самой собою. Но особенно понравилась мне в статье одна мысль — умная до невозможности: это ловкий намек на то, что перенесенная в сферу искусства книга Г<ого>ля была бы превосходна, ибо ее чувства и понятия принадлежат законно Хлестаковым, Коробочкам, Маниловым и т. п. Это так умно, что мочи нет! Жаль одного: что эта превосходная статья напе-

* таким образом (*франц.*). — Ред.

чатана в «Московских ведомостях» — издании, сохраняющем свято внешние формы времен Петра Великого и читаемом только в Москве, да и то больше людьми солидными. Что как бы позволил нам Н<иколай> Ф<илиппович> перепечатать его статью в «Современнике», и позволил бы не словесно, а письмом к Панаеву? Право, от этого не одним нам было бы хорошо: статья получила бы больше народности.²

Сегодня полотеры помешали мне писать, и я опоздал на почту. Кончу и пошлю на почту в понедельник.

Марта 17.

Повесть Гонч<арова> произвела в Питере фурор — успех неслыханный!³ Все мнения слились в ее пользу. Даже светлейший князь Волхонский, через дядю Панаева, изъявил ему, Панаеву, свое удовольствие за удовольствие, доставляемое ему вообще «Современником» и повестью Г<ончаро>ва в особенности.⁴ Действительно, талант замечательный. Мне кажется, что его особенность, так сказать личность, заключается в совершенном отсутствии семинаризма, литературщины и литераторства, от которых не умели и не умеют освободиться даже гениальные русские писатели. Я не исключаю и Пушкина. У Г<ончаро>ва нет и признаков труда, работы; читая его, думаешь, что не читаешь, а слушаешь мастерской изустный рассказ. Я уверен, что тебе повесть эта сильно понравится. А какую пользу принесет она обществу! Какой она страшный удар романтизму, мечтательности, сентиментальности, провинциализму!

«Современник» нравственно процветает, т. е. авторитет его велик, у нас в Петербурге на него все смотрит, как на первый, т. е. лучший русский журнал. Об «Отечественных записках» и «Библиотеке для чтения» никто не говорит, а между тем нам достоверно известно, что у Кр<аевско>го нынешний год не убавилось, а, напротив, прибавилось подписчиков. Вот тут и рассуждай, как и почему! Должно быть, причина та, что потребность чтения год от году усиливается в России. Новинки же русский человек дичится, всё выжидает, будет ли толк. Вот почему (вероятно) у нас только 1800 подписчиков и экземпляров 300 нового издания еще лежит в конторе (печаталось его 600 экземпляров). Если нынешний год «Современник» выдержится, можно головой ручаться за 3000 подписчиков в будущем году. Он ведь и так <имел> успех небывалый и неслыханный!

Тургенев пипет, что целует и обнимает тебя за мою поездку, хочет жить в Штеттине и, подобно Моине, бродя по морскому берегу, ждать Фингала, т. е. меня.⁵ Он прислал рассказец (3-й

отрывок из «Записок охотника») — недурен; и повесть — ни то ни се.⁶ Что за чудачки москвичи! Н. А. Мельгунов вызвался составить нам московский фельетон..⁷

299. И. С. ТУРГЕНЕВУ

СПб. 12/24 апреля 1847.

Пишу к Вам несколько строк, любезный мой Тургенев. Вскоре по получении Вашего второго ко мне письма,¹ в котором Вы изъявляете свое удовольствие о здоровье моего сына — он умер.² Это меня уходило страшно. Я не живу, а умираю медленной смертью. Но довольно об этом. К делу. Я взял билет на первый штеттинский пароход («Владимир»); он отходит 4/16 мая; в Штеттине будет 9/21. Вот когда я, Ваш Фингал, обниму Вас, мою Моину, если Вы сдержите Ваше обещание — ждать меня в Штеттине.³ Если бы, сверх чаяния, лед на Неве помешал, «Владимир» пойдет не 4/16, а 10/22 мая. Но это едва ли возможно: во вчерашнем № «Полицейской газеты» напечатано донесение шлиссельбургского исправника, что Нева прошла на 4 версты от истока, вниз по течению.

Я уже публикуюсь;⁴ свидетельство Тильмана вчера отправлено в Физикат.⁵ Ждите меня. А затем прощайте, до скорого свидания. Ваш

В. Белинский.

300. В. П. БОТКИНУ

СПб. 22 апреля 1847.

Любезный друг Боткин, хоть мне немного и лучше теперь против прежнего, но я всё еще плох, притом же и работы пропасть, — и если я пишу к тебе, то по особенному обстоятельству. Дело идет о Н. А. Мельгунове.¹ Бог послал нам в нем сотрудника уже чересчур деятельного и плодовитого. Это с одной стороны хорошо, а с другой вовсе не хорошо. Н<иколай> А<лександрович> человек умный и образованный, с копотливым усердием он следит за всем новым, и нет ничего нового, чего бы не принял он к сведению. Но, по своей натуре, он не в состоянии усвоить себе никакого резко определенного, *характеристического* образа мыслей. Он *примиритель*; московский Одоевский. Он чуть не плачет, когда у нас при нем Шёверева называют подлецом (я сам был свидетелем этому), и я уверен, что он тоже чуть не плачет, когда Ш<е>в<ы>р<е>в при нем честит меня по-своему. Ему хотелось бы всех нас свести и поми-

рять. Он не понимает антипатии убеждений и натур. Поэтому роль его жалка: обе крайние стороны смотрят на него, как на половину своего, а в сущности ничьего. Это отражается и в его статьях: он хлопочет, чтобы в них не было односторонности, пристрастных убеждений, нетерпимости, узкости в созерцании и понятиях, — а достигает только того, что в них нет закваски, крепости, что они бесцветны, ни то ни се. В них всё умно, дельно, *современно*, по большей части справедливо; но читать их скучно, и от них мало остается в голове. Они благонравны в отличие от статей Г<е>р<це>на, которые — решительные повесы и сорви-головы. Видишь ли что, Боткин: благонравие — прекрасная вещь; я всегда готов награждать ее уважением, похвалами, но не... *ДЕНЬГАМИ*. Платить деньги можно и должно только за статьи, по поводу которых не может быть раздумья: поместить или нет? но которых было бы грустно, обидно, досадно лишиться и видеть, как ими воспользовался другой журнал. В отношении к таким статьям деньги — вздор, потому что такие статьи поддерживают журнал, дают ему ход и кредит, а деньги возвращают с хорошими процентами. Но в отношении к статьям, которые не то, чтобы дурны, да и не то, чтобы хороши, от которых журналу *ni chaud, ni froid*,* которые можно поместить и можно не поместить, — в отношении к таким статьям деньги — вещь важная и сорить их глупо. Такие статьи для журнала — не лишнее дело (если они не длинные и не часто печатаются), когда за них плата — не деньги, а честь напечатания в хорошем журнале. Вот пример: вызвался М<ельгунов> писать нам московский фельетон. Получаем: святители! что это! тяжело, скучно! Но на безлюдье и Фома дворянин, на безрыбье и рак рыба; нет лучше, давайте этот. Но вот беда: фельетон снабжен введением, которое вдвое длиннее его и пахнет диссертациею. Некр<а>с<о>в прибегает ко мне в отчаянии: так-де и так; поместить вместе с фельетоном нельзя никак, а не поместить — значит оскорбить человека, который так усердствует нашему журналу. Что делать? Подумав, я посоветовал отделить введение и напечатать его в науках.² Думаю: надо журналу по возможности давать характер журнала русского, а в статье трактуется о вопросе, для нас, русских, близком и интересном; статью нельзя назвать положительно дурною, а отрицательно она даже хороша. Итак, ты видишь, что статья помещена из деликатности. Похвал мы за нее не слышали, а брань уже слышали. И платить деньги из деликатности! Это именно одна из тех статей, которые так и смотрят *даровыми* и которые журналист бережет на черный день, чтобы заткнуть недостаток хорошей статьи — ведь хорошие-то не всегда бы-

* ни тепло, ни холодно (*франц.*). — Ред.

вают. И что же? Н<иколай> А<лександрович> не только не понял причины помещения* статьи в отделе наук, но не догадался даже и <о> причине ее разделения!!.. Но это бы всё ничего, и с известной точки зрения Н<иколай> А<лександрович> сотрудник *иногда* полезный; но его плодовитость привела бы нас в беспокойство, если б не стоила и ни копейки; а то — ужас!** Печатай всё это, — и журнал сейчас примет характер умной, честной, добросовестной и благородной посредственности. Хотя и теперь на «Современник» публика смотрит лучшими глазами, нежели его издатели и сотрудники, считает его первым и лучшим журналом (*это мы знаем достоверно*), но по причине болезни, которая вот уже 7 месяцев как парализовала мою энергию и деятельность, лишила меня сил даже для физического труда, «Современник» и так не отличается особенною резкостью или цветистостью. При этом Н<иколай> А<лександрович> решительно не понимает, что такое журнал и чем он должен отличаться ото всего, что не есть журнал. Он предложил нам перевести из какого-то немецкого журнала похвальную статью Н. Ф. Павлову, потому-де, что *это будет приятно Н. Ф. Павлову*. Теперь просит нас перепечатать свою статью о Берлиозе (из «Московских ведомостей»), потому что это будет приятно Берлиозу!!!³ Стало быть, журнал должен издаваться не для пользы общества, а для удовольствия некоторых лиц! Если мы перепечатываем статью Н<иколая> Ф<илипповича>, так это потому, что, по ее важности и достоинству, она стоила б быть перепечатанною во всех журналах.⁴ Разумеется, мы не перепечатаем статьи о Берлиозе. Также не напечатаем статьи «Бурши и филистеры».⁵ Он в ней прав, по крайней мере более прав, нежели я, против которого он тут пишет, но «Современник» — не «Московский листок», против себя не станет печатать статей, подобно г. Драшусову, прося прощения, в выносках, что сделал глупость, соврал. Особенно нельзя в «Современнике» допустить того, что говорится в статье против Т<у>рг<е>н<е>ва: нельзя выдавать своих сотрудников, кроме того, что если бы Т<ургенев> судил и односторонне, его односторонность жива, оригинальна; а его письмо о Берлине,⁶ как ни коротко оно, было замечено и скрасило наш журнал больше, нежели все статьи Н<иколая> А<лександровича>, вместе взятые. А потом статья о «Буршах и филистерах» не имеет никакого интереса для нашей публики; она имела бы смысл только в виде журнальной заметки и будучи втрое покороче и сжатее. Но вот, что всего ужаснее: Акс<аков> и Н<иколай> А<лександрович> затевают диспут о Москве и Петербурге и удостоивают

* Первоначально: разделения

** Далее зачеркнуто: Ко всему этому у него нет; он такой

«Современник» быть ареною их спора. Избави бог. О Москве и Петербурге можно написать статью, высказать свое мнение; но этим всё и должно кончиться. Спору тут нет места, потому что для решения вопроса нет положительных данных, и всё дело должно вертеться безвыходно на личных мнениях. А каковы же эти личные мнения? Акс(аков) будет петь гимны не той Москве, которая существует действительно, а той, которую он создал себе в своей фантазии, и будет возвышать ее на счет Петербурга, которого он решительно не знает ни дурных, ни хороших сторон. Н(иколай) А(лександрович) будет стараться отдать должную справедливость* Москве, которую он знает, и Петербургу, которого он не знает (ибо не жил в нем) и к которому он чувствует предубеждение, с трудом им скрываемое. Ну, что это за спор! Я уже не говорю, что все споры смешны. Возразите на чужое мнение, да и замолчите. А тут всё дело перекричать противника: кто замолчал первый, тот побежден, кто крикнул последний — победил. Это смешно, а хуже всего то, что смешное падет на журнал, а как мы этого не хотим, то такого спора принять в журнал никогда не решимся. Теперь посмотри, какое наше гадкое положение. Акс(аков) хочет поместить статью у нас; в этом видно с его стороны уважение к нашему журналу и доверенность к нам. За что же мы ответим** грубостью на вежливость? Отказать — значит: заставить его думать, что мы с ним, как с славянофилом, не хотим иметь дела. Бога ради, Боткин, сам, если видишься с ним, или через других скажи ему, что всякую другую статью его готовы поместить; но спора этого по особым причинам допустить в «Современник» не можем.⁷ А Н(иколаю) А(лександровичу) так хочется поспорить — и ему неприятно отказать, а делать нечего. Прибавлю к этому еще две черты, из которых одна очень странна со стороны Н(иколая) А(лександровича). В одном письме он дал заметить свое удивление, что некоторым сотрудникам «Современник» платит 50 р. с., тогда как ему только 150 р. асс. Кому же «Современник» платит 50 р. с.? Кавелину и Соловьеву! Да если бы плата устанавливалась не абстрактным обычаем и реальною необходимостью, а сравнительною ценностью статей, — то, платя Н(иколаю) А(лександровичу) 50 р. с. за лист, мы Кавелину должны были бы платить пять тысяч серебром с печатного листа. Это потому, что золотой полуимпериал стоит с лишком в 5 раз дороже 5-ти целковых, которых он меньше в 20 раз. Как же этого не понять? Неужели самолюбие до того может ослеплять человека? И, сверх того, человека богатого, тогда как Кавелин, сверх всего прочего, еще и бедный человек!

* Далее зачеркнуто: тому и другому
** Первоначально: заплатим

Признаюсь, эта выходка со стороны Н<иколая> А<лександровича> меня сильно озадачила. А вот другое, менее важное. Сердится, что возражение его против Шевырева не попало в 4 №,⁸ и замечает, что Кр<ае>вский статью Гр<ановско>го, посланную от 23 числа, успел же напечатать. Да если бы Гр<ановский> прислал ее нам, мы бы выпустили книжку 2-го числа, а ее всё бы напечатали.⁹ А тут, как нарочно, Страстная и Святая недели пришлись в конец месяца, и мы не знаем, как еще книжка вышла. Некр<асов> уже посылал было статью Н<иколая> А<лександровича> в типографию, а тут вдруг — письмо Анненкова.¹⁰ Послать обе статьи, значило рисковать выходом книжки, а Н<екрасов> рисковать не хотел (и хорошо сделал) и послал одно письмо А<нненко>ва.

Вследствие всего этого мы решились несколько расхолодить усердие Н<иколая> А<лександровича> к нашему журналу. Для этого берутся следующие меры: за фельетон ему предлагается только 35 р. с. — цена, которую получает Штрайдман, составляющий петербургские современные заметки.¹¹ Н<иколай> А<лександрович> спрашивает нас, почему мы смеем ценить меньше наук. Тут дело не в смеси, а в достоинстве статей. Если б Г<ерце>и взялся писать московский фельетон, но потребовал бы 100 р. с. с листа: дорого, тяжело редакции было бы это, а согласиться ей следовало бы. Если бы такие фельетоны, какие пишет нам Н<иколай> А<лександрович>, составлял бедный студент, ему можно было бы давать 25 р. с., и то больше на основании филантропической мысли, что оно-де и плата за труд и помощь бедному человеку. Потом фельетон его будет без церемоний урезан, особенно будет выкинуто всё о бале Корсакова, где праздные московские бары глупо пародировали нравы русской старины, что Н<иколай> А<лександрович> находит хорошим и почему-то сравнивает с рококо. Спор не будет допущен, статья о Берлиозе не будет перепечатана и многие другие его предложения будут отклонены. Обо всем этом завтра же пойдет к нему письмо Панаева, вежливое, деликатное, но твердое и решительное. А цель моего этого к тебе письма есть та, чтобы поставить тебя и друзей наших на настоящую точку зрения в отношении к этому делу. 700 верст расстояния порождают часто недоразумения, и потому надо всегда заранее объясняться искренно и обстоятельно. Но будет об этом. И надоело и устал!

Скажу тебе о себе новость, которая удивит тебя. Я решил переехать жить в Москву, и это может быть, если не встретится особенных препятствий, по последнему снежному пути конца будущей зимы 1848 года.¹² Я привык к Питеру, люблю его какую-то странную любовью за многое даже такое, за что бы печего любить его; в нем много удобств. В Москве меня,

кроме друзей, ничто не привлекает; как город я не люблю ее. Но жить в петербургском климате, на понтинских болотах, гнилых и холодных, мне больше нет никакой возможности. Если я поправлюсь за границу, в Питере через год, будущую же весною, могу прийти опять в прежнее положение. Итак, мне суждено жить вместе с тобою, ибо если ты и не оставил намерения переехать в Питер, то непременно вернешься назад (если не умрешь) в Москву с расстроенным здоровьем. Кетчер покрепче нас сложен, да и тот узнал, что значит быть беспрестанно больным, ходя на ногах и даже работая. Брат его Христофор тоже не из слабых, а вот на днях ни с того ни с сего лихорадка с ног срезала его. На 12 000 я в Москве могу жить, как в Петербурге нельзя жить на 18 000. Для семейного человека жизнь в Петербурге дороже лондонской. Для холостого — другое дело; и то да не льстится он на 1 р. с. хорошо поесть в любом ресторане: везде мерзость мерзостью. Я теперь уже около месяца обедаю у Панаева, а как в иные дни он дома не обедает, посылаю к Лерху, Излеру, Доминику, и в эти дни бываю болен: масло горькое, яйца не свежие, приготовлено грубо. А в Москве в любом почти русском трактире можно пообедать если не изящно, то здорово. Недавно некоторые из наших знакомых обедали у Сен-Жоржа. Когда они сказали ему, что хотят иметь обед в 4 р. с., он посмотрел на них, как на каналий, и накормил их, как свиней. А в Москве у Шевалье, когда наши друзья давали мне обед,¹³ плачено было без вина 12 р. асс., и обед был такой, какого в Петербурге за 5 р. с. едва ли можно иметь. Для меня корм, пища — дело первой важности, а не прихоть; мой желудок сделался от болезни аристократом.

Для журнала это будет немножко, даже довольно, неудобно, но здоровье прежде всего, а притом и до железной дороги недалеко. Вот я и в Питере живу, а для «Современника» не сделал и десятой доли того, что он ожидал и вправе был ожидать от меня. Если поездка восстановит меня (а Тильман сулит не поправку, а выздоровление), всё впрочем и надеюсь много сделать для «Современника». С повестями, какими мы владеем, с статьями Кавелина, Соловьева, твоими письмами об Испании (да протянутся они на 10 №№!) да с моими статьями о Лерм(оптове) и Гоголе¹⁴ (вертится в голове у меня много и другого) «Современник» осенью же переродится. Если на первый год он приобрел почти 2000 подписчиков, при страшной филистерской боязни русского человека к новизне, — то, выдержавши с честью первый год, на второй он может считать несчастием, если у него будет только 3000 подписчиков, не больше. Уже и теперь только и толков, что о нем; об «Отечественных записках» здесь никто не говорит, а о «Библиотеке для чтения» и подавно, как будто их и не было. Действительно, от «Отечественных записок»

несет мертвечиною, в них страшное разнообразие, всякого жита по лопате, есть статьи дельные и интересные; но читать их — скука смертельная. Прежде они были соусом, который был вкусен, потому что сдабривался соею, а теперь сои нет, и соус только пресен. Самая полнота и разнообразие их утомительны и наводят скуку: думаю, это потому, что отзываются демьяновою ухою. Кредит Кр<аевско>го падает со дня на день; недаром он поседел, как лушь. Его раскусили. Несмотря на горькие опыты, он всё тот же: найдет дешевле сотрудника и откажет тому, который подороже. Потом, иные сотрудники отстали по причине его грубости и неделикатности. Даже Майков просил у нас работы: это недаром.¹⁵ Ежели это впечатление скуки поддержится до конца года с таким же блистательным успехом, с каким поддерживалось теперь, — нам будет хорошо. Журнал может сделаться пошлым — и не пасть; но скука — другое дело. Слухи об увеличении числа подписчиков на «Отечественные записки» нынешний год оказались преувеличенными. Мы достоверно знаем, что он печатал нынешний год 4300 экземпляров, а разошлось у него с даровыми (которых у него тоже довольно) ровно 4000, — стало быть, 300 экземпляров он читает теперь сам. Держится он нынешний год привычкою к старине и боязнию, недоверчивостию к новизне. Вот тебе факт того и другого. Перенеся контору от мошенника Иванова, Кр<аевский> особыми афишами объявил об этом и об этом же печатал и печатает на задней обертке каждой книжки «Отечественных записок»¹⁶ (что делают и все другие журналы), что его контора там-то и что он ручается за верную доставку только тем, кто подпишется в его конторе. И что же? На 6000 р. с. опять подписалось у Иванова!!.. Иванов деньги промотал, а экземпляры просит. Кр<аевский> без денег не дает, а подписчики ругают не Иванова, а Кр<аевско>го. Чем же кончилось дело? Сторговались: Кр<аевский> за 3000 р. с. дал Иванову экземпляров на 6000 р. с., предпочитая потерю меньшую потере большей, а главное, боясь потерять кредит у ослов-подписчиков. Мы лишились рублей тысячи асс. по милости Иванова, которому, разумеется, экземпляров не дали. Вот оно филистерство-то — стоит немецкого! Привык человек писать адрес Иванова, и уж ему тяжело написать другой. Поди ты с ним толкуй. Теперь понятно, что наши 2000 подписчиков — успех невероятный. Подписка тянется до сих пор, и нет никакого сомнения, что все 2000 экземпляров будут разобраны; а между тем у нас вовсе нет критики (которая, после русских повестей, важнейший отдел в журнале), да и библиография-то не совсем такова, как следует быть. (После повести Гончарова¹⁷ подписка заметно оживилась). О, если бы только мне ожить, — да лишь бы московские друзья наши не охладели в своей решимости

поддерживать «Современник», — осенью же нынешнею это был бы журнал именно такой, какого в наше время нужно! Вникая в себя, я чувствую, что во мне убита только сила работать, но не сила души; меня всё занимает, волнует, бесит попрежнему, голова работает беспрестанно. Но если не поправлюсь физически — погиб всячески, погиб страшно!

Хотелось бы обо многом поговорить с тобою, особенно насчет «Хоря и Калиныча»; мне кажется, что в отношении к этой пьесе, так резко замечательной, ты совсем не прав. Но писать некогда, времени немного, а работы бездна, благо я могу теперь хоть через силу работать.

Нынешний год в денежном отношении для меня ужасен, хуже прошлого: я забрал *все* деньги по 1-е января 1848 года, без меня жена, а потом я по приезде осенью будем забирать сумму 1848 года. У меня на лекарства выходит рублей 30 и 40 серебром в месяц, если не больше, да рублей 50 сер. стоит доктор. Дом мой — лазарет. Пиши ко мне перед отъездом-то.¹⁸ Я еще, вероятно, пошлю тебе письмо, последнее, разумеется. Хотелось бы от тебя получить тоже. Это письмо пошлю на почту 23. Прощай. Тысячи радостей и утех тебе. Твой

В. Белинский.

301. В. П. БОТКИНУ

СПб. 5 мая 1847.

Я еще в Питере, мой дорогой Боткин, но сегодня еду, а письмо это пойдет к тебе завтра, получишь ты в пятницу, когда я буду, если не в Берлине, то в Штеттине. Если я ворочусь восстановленным и мое бедное семейство уверится, что его опора с ним, — это твое дело. Вот лучшая благодарность с моей стороны за всё то, что ты для меня сделал. К Анненкову я писал обо всем недели три с лишком назад, в то же время писал и к Тургеневу и от него давно уже получил ответ.¹ Еду я в Зальцбрунн, около Шведница и Фрейбурга, недалеко от Бреславля. Пробыть *постараюсь* до половины ноября по старому стилю. Поездка моя, конечно, не роскошна и не блестяща, лишняя тысяча много ее улучшила бы; но она, по крайней мере, обеспечена, тогда как положение моей жены не таково, чтобы я вовсе не имел причины беспокоиться на его счет. Поэтому прошу тебя, ради всего на свете, эту тысячу передать через Тютчева моей жене, и это должно остаться между нами. Излишняя осторожность в таком случае — дело совсем нелишнее; если бы, сверх чаяния, эта 1000 осталась у жены моей цела (а жена моя будет

брать у Некр(асова) деньги так, как будто бы у нее этой тысячи не было), она пригодится нам по возвращении моем, тем более, что мы, может быть, тогда же переедем в Москву. Утешь и успокой меня, докончи и доверши этим всё, что уже сделал ты для меня. Я один, хотя и на чужбине — не хватит малости — поможет Анненков; а женщине с семейством — другое дело. Вот уже недели три, как жена моя отчаянно больна нервическими припадками. Теперь ей легче, но всё еще болезнь не прошла, и доктор ездит каждый день. Ей угрожало нечто хуже смерти. Это может и возобновиться. Бога ради, сделай так, как я прошу тебя, и в мое отсутствие перенеси свою заботливость на мое семейство. Ты такой человек, на которого можно положиться больше, чем на кого-нибудь. За это и терпи в чужом пиру похмелье.

Хотел бы обо многом писать к тебе, да некогда, не до того. Прощай. Обнимаю тебя крепко. Всем нашим поклон и братское приветствие от меня. Кавелина обними за меня. Это сын моего сердца, у меня к нему особенная симпатия, и я знаю, за что он меня любит и за что я его люблю. Еще раз прощай. Твой

В. Белинский.

Письмо твое (последнее) во многих отношениях меня порадовало, особенно насчет нетерпимости и терпимости. Писать к тебе буду.

302. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 5 мая 1847.

Любезный Дмитрий, письмо это пойдет завтра, получишь ты его в пятницу, когда я буду, если не в Берлине, то в Штеттине. Уведомь наших о моей поездке за границу, предпринятой мною как последнее средство к избавлению от чахотки, которая еще не развилась, но уже началась во мне. На Страстной неделе у меня умер сын, которого я любил страстно.¹ Это меня сильно расшатало, а я и без того был плох. Мне наконец выхлопотали свидетельство о рождении и крещении, из канцелярии обер-священника армий и флота. Скажу тебе еще новость о себе: по невозможности с моим здоровьем переносить петербургский климат, я с семейством переезжаю на житье в Москву. Когда именно — не знаю; но если не удастся тотчас же по возвращении из-за границы, по первому зимнему пути, то употреблю все средства, чтобы уже не застать в Питере его страшной весны (которая едва ли не хуже его осени) и махнуть в Москву по последнему зимнему пути. Обо всем этом уведомь наших

родных и передай им мой родственный и дружественный поклон и привет и желание всяких им благ. Сам я писать не могу, ибо в последнее время даже для журнала не мог работать, ни записки написать. А теперь хоть чувствую себя и лучше, но хлопот бездна, и насилу нацарапал тебе это письмо. Сегодня в 4 часа пополудни отправляюсь в Кронштадт, там пересаживаюсь на большой пароход — и в путь.

Кланяюсь Леоноре Яковлевне от себя и от жены моей, которая и тебе кланяется. Затем, мысленно обнимаю тебя и Алешу и целую детей твоих, остаюсь твой

В. Белинский.

303. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Берлин. 10/22 мая 1847.

Пишу к тебе в комнате Тургенева, в татарском халате, *chère Marie*. * Как можешь видеть из этих строк, я не только жив, даже здоров, сколько позволено мне быть здоровым. Лучше всего тут то, что мне не стало хуже после того, что я вытерпел в дороге. Хотя во время переезда в Кронштадт качки вовсе не было, однако у меня так кружилась голова и даже несколько тошнило, что я сидел, как мертвый. Когда я увидел себя в зеркале, я ужаснулся моей страшной бледности. На кронштадтском пароходе пассажиров было, как сельдей в бочке, повертиться негде было, а пройти и думать нельзя, сиди на одном месте, да и только. На «Владимире» еще стало теснее. Наконец провожающие удалились, остались одни отъезжающие, а всё теснота страшная. Все бросились есть, а я и думать об этом не смел — меня бы вырвало. Только в 9 часов вечера я мог ужинать, и дурнота моя совершенно прошла. Бродя по палубе, я увидел, что, положив калоши в чемодан, мы сделали еще не самую большую глупость, а большая глупость в том, что я не купил теплых сапог. Если я не расплатился за это страшную беду, это уже особенная милость ко мне судьбы. В теплом пальто и в шубе мне было еще не совсем по себе на палубе, а в каюте я шубу снимал. Вечером я как-то заснул на палубе, проснулся в 3 часа, покашлял с полчаса, ходил, чтобы отогреть несчастные ноги, потом опять заснул до 6 часов. Снялись мы с якоря в час ночи, с понедельника на вторник. Поутру часов <в> 7 попались мы в льды и часов 5 плыли верст 5. Позавтракал и заснул на палубе. Вдруг слышу над собою голос Победоносцева:¹ качка. Качка была небольшая, продолжалась

* милая Мари (*франц.*).— *Ред.*

сутки. Меня два раза вырвало, в среду поутру — слизями, мокротою, потому что сутки, как я не ел. Была потом опять качка, но боковая, и меня уже не тошнило. Сильно качало на речном судне при переезде из Свинемюнде в Штеттин. Утро было сумрачное, с дождем. В Штеттин мы прибыли часа в четыре в пятницу, а в 9 по железной дороге прибыли в Берлин. Мое незнание немецкого языка наделало мне много хлопот и комических несчастий. Кое-как нашел Тургенева, который очень был мне рад. Спал раздетый, сегодня умылся и освежился. Письмо это написал больше для того, чтобы не оставлять тебя долго в неизвестности о моем положении и от тебя скорее получить письмо. Подробности оставляю до другого письма. Обнимаю и целую вас всех, а Ольге кланяюсь. Твой

В. Белинский.

⟨Приписка И. С. Тургенева:⟩

Любезная Марья Васильевна, вчера вечером, к крайнему моему удовольствию, нашел я у себя на квартире Вашего мужа — и хоть мне досадно было, что я его не встретил по обещанию в Штеттине (чему, впрочем, я не виноват) — но радость видеть его в гораздо лучшем положении, чем я ожидал, заглушила все другие чувства. Вы можете теперь быть совершенно покойны на его счет; я его беру на свое попечение и отвечаю Вам за него своей головой. Мы, вероятно, недолго останемся в Берлине и сперва съездим в Дрезден (потому что сейчас еще рано ему ехать в Силезию, на воды). Вы можете писать к Вашему мужу на имя здешнего банкира «Meyer et Co» — Bärenstrasse № 44, pour remettre à M-r Béliński* или, если хотите, на имя банкира: «Mendelssohn et Co»** (это последнее еще лучше, потому что вексель Вашего мужа адресован на его имя); а он (т. е. банкир) будет знать, где будет находиться Ваш муж; когда же мы, наконец, попадем в Силезию, на постоянное жительство, мы Вам оттуда вышлем свой адрес. Повторяю Вам: будьте на его счет совершенно спокойны — старайтесь сами быть здоровыми. Кланяюсь Вам, Вашей сестре и Вашей маленькой. Жму Вам искренне руку и остаюсь

преданный Вам И. Тургенев.

304. М. В. БЕЛИНСКОЙ

⟨24 мая/5 июня 1847 г. Зальцбрунн.⟩

Зальцбрунн. 5 июня/24 мая 1847.

Вот я и в Зальцбрунне и уже начал мой курс. Приехали мы сюда 3 июня, по-вашему 22 мая; на другой же день были у доктора Цемплина. Это благообразный старик, внушающий к себе доверие. Дочитав в истории моей болезни до имени Тильмана, он припрыгнул от удовольствия на стуле. Лучше всего то, что

* «Мейер и Ко» — Беренштрассе № 44, для передачи г-ну Белинскому (франц.). — *Ред.*

** «Мендельсон и Ко» (франц.). — *Ред.*

он сказал Тургеневу, что по моему виду ручается за мое выздоровление; а хуже всего то, что он лишил меня кофею, заменив его теплым молоком, потом запретил наедаться досыта и велел меньше есть говядины. В тот же день, по его предписанию, начал я мой курс. В 5 часов после обеда отправился я на колодезь и выпил через $\frac{1}{4}$ часа два полустакана теплой сыворотки, которая делается из козьего молока и очень приятна на вкус. На другой день (т. е. вчера) поутру, проснувшись в 5 часов, выпил я чашку ослиного молока, после чего, умывшись и одевшись, отправился на колодезь. Там выпил стакан смеси — $\frac{2}{3}$ сыворотки и $\frac{1}{3}$ зальцбрунна, а походивши полчаса, повторил то же, а через полчаса пошел домой завтракать. Вчера меня слабило 5 раз, просто несло, как из утки. Доктор сказал сегодня, что это хорошо, и велел прибавить третью порцию.

Обедают здесь в половине первого часа или в час — не позже. Кормят недурно и дешево; за 12 билетов я заплатил 4 талера, стало быть, обед обходится в 10 серебряных грошей, что составляет ровно 30 к. сер. на наши деньги. Однако этот обед хорош, пока его ешь, а после от него чувствуется изжога, почему мы и хотим следующие 12 билетов взять в другой гостинице, где подороже (12 билетов стоят 5 талеров), да зато без отравления, в чем мы удостоверились, поужинав вчера там. Квартира у нас недурная — две опрятные комнаты с необходимою мебелью. За каждую из них платим мы 10 талеров, т. е. 31 рубль с полтиною асс. на наши деньги, да за постель с бельем 15 серебр. грошей, т. е. 157 $\frac{1}{2}$ коп. асс. на наши деньги. Всё это очень дешево. Квартира наша в нижнем этаже и недалеко от ключа. Здоровье мое в порядочном состоянии, по крайней мере, я чувствую себя лучше, чем в Питере, и почти не принимал лекарства. А между тем погода здесь мерзейшая, не лучше вашей. Но теперь я перескажу в порядке, что упомяну, всю историю моего вояжа. Описывать подробно плавание на пароходе не стану, потому что я уже и писал тебе об этом, да и почти забыл всё это теперь. Однако кое-что скажу в добавление уже сказанному. Когда я почувствовал качку и мне было невмочь, я, шатаясь, как пьяный, сошел в каюту и там почувствовал такое презрение к жизни, что извергнул на пол весь мой завтрак; а затем, не раздеваясь, забился в мою койку, в которой не то, чтоб спал, а дремал часов до 2-х следующего дня. Я не ел сутки, кроме того, что меня рвало, — стало быть, в желудке моем чувствовалась пустота страшная. В перемерках от головокружения качки мне хотелось есть — и я съел два ломтя хлеба, который был у меня в дорожном мешке. Затем велел я подать себе 2 порции ветчины с горчицею и уксусом: это меня поправило. Часам к 5 вечера качка кончилась, и я за ужином страшно жрал. Пароход «Владимир» внутри убран

великолепно, но удобства никакого и теснота страшная. За стол в шубе сесть нельзя — и тесно и жарко, а положить ее некуда. Я понял, как корабли набивают неграми торгующие этим товаром. Буфет снабжен гадко. Пива нет, квасу, кислых щей — тоже; был limonade gashaltig,* да и тот вышел весь на другой же день; а вода воняет смолою, и пить ее не было никакой возможности. Что же пить? — вино! Это расчет со стороны буфетчика, потому что за бутылку плохого Chateau Langrant он брал 150 к. серебром, вместо 150 к. асс. Разумеется, я вина не пил для утоления жажды; но с ветчиною выпил рюмку хересу; потом, когда началась новая качка — другую; но на этот раз меня не рвало и почти не тошнило, хотя голова и ходила кругом. Я уже писал тебе, что в Свиномюнде мы пересели в судно, которое буксировал речной пароход в Штеттин. Тут мы вытерпели порядочную боковую качку, но никого не рвало, и я мог даже есть. Вместо бифштексу, которого я спросил, мне подали небольшой кусок битой говядины, в котором вкусу не было ни капли, а перцу была пропасть; от этого кушанья меня мучила изжога до той минуты, когда я заснул ночью в Берлине. В Свиномюнде деревья давно уже распустились, и сирени были в полном цвету. В Штеттин плыли мы часов пять; у пристани Победоносцев сказал мне, что через полчаса пойдет в Берлин поезд по железной дороге. Как тут быть? Опоздать не хочется — оставаться в Штеттине незачем, а распорядиться без немецкого языка нельзя. Какой-то дюжий малый, по указанию моего пальца, схватил мой чемодан и потащил его, как перышко. В теплом пальто и шубе, с тяжелым сакom в руке, побежал я за ним, да еще в гору. Кричу ему: «Chemin de fer!»** он что-то рычит мне в ответ и летит дальше. Я изнемог, думаю, что уж умираю; останавливаюсь; к счастью, и дурак мой остановился отдохнуть и, видя, как я тяжело дышу, взял у меня сак. Пошли опять, и скоро очутились у большой отели. Швейцар бросился ко мне с вопросом: «M-g veut la chambre?»*** — Я ему кое-как объяснил, что мне нужно. Он помог мне расплатиться с носильщиком, позвал мне извозчика и велел ему везти меня на железную дорогу. Я благодарил его чуть не со слезами на глазах: ведь спас, просто спас! Приехали на станцию железной дороги. Вынув кошелек и раскрыв его, я сказал кучеру: «Nehmen Sie!»**** Но он подвел меня к окну, где раздавались билеты, давая знать, что я могу опоздать. Кое-как я управился, и то потому, что столкнулся с Победоносцевым. Чемодан заклеямили и отнесли; наконец и я поехал. В Берлин прибыли часов в 9 вечера.

* газированный лимонад (нем.). — *Ред. В автографе описка: gazewe.*

** «Железная дорога!» (Франц.) — *Ред.*

*** «Г-н хочет комнату?» (Франц.) — *Ред.*

**** «Берите!» (Нем.) — *Ред.*

По выходе из вагона я снова пропадаю; но вдруг слышу обращенный ко мне на чистом русском языке вопрос: много ли из Петербурга прибыло пассажиров? Это был трактирный слуга. Я объяснил ему затруднительность моего положения, и он взялся распорядиться. Отыскав кого следует, он переговорил с ним, чтоб мой чемодан был доставлен ко мне на квартиру; взявши дрожки, мы отправились с ним в улицу Bärenstrasse* № 9, на квартиру Тургенева. Проводник мой метался, как угорелый, бегал по высоким лестницам, наконец напел. Тургенева не было дома, однако хозяйка его пустила меня в его комнату. Когда я дал моему проводнику талер, он чуть не припрыгнул до потолка от восторга. Ровно через 2 часа пришел Тургенев; мое внезапное появление видимо обрадовало его. Всё это меня успокоило, и я почувствовал себя в пристани: со мною была моя нянька. Прожив в Берлине довольно скучно три дня, мы решились съездить в Дрезден, а оттуда дня на три прогуляться по саксонской Швейцарии, так как погода всё еще была свежа и к водам торопиться было нечего. О Берлине распространяться не буду: город довольно скучный. Хуже всего в нем вода: вонючая, мерзкая, которою невозможно даже полоскать рот и которою противно умываться. Я было принялся за пиво, но скоро увидел, что надо быть немцем, чтобы каждый день пить эту мерзость, и заменил пиво искусственною зельтерскою водою. Тиргартен — огромный сад, тенистый и красивый. В это время цвели прекрасные каштановые деревья. Во вторник 13/25 отправились мы по железной дороге из Берлина в Дрезден и переночевали в Лейпциге. Мне так хотелось спать, что я не пошел посмотреть на Лейпциг, хотя было всего часов 9 или 10. Часов в 11 утра на другой день мы были в Дрездене. Город старый, оригинальный. Пошли ходить; погода была скверная; светло, ясно, но тепла всего было 13 градусов в тени, и при этом пронзительно холодный ветер. В теплом пальто мне было холодновато. В тот же вечер Тург(енев) утащил меня в оперу; давали «Гугенотов», пела madame Виардо.¹ На другой день погода была прекрасная, мы ездили за город, и мне было очень весело. На третий пошли в галерею. Т(ургенев) всё поджидал м-г Виардо, на что я сердился; Т(ургенев) мне представлял, что В(иардо) знает толк в картинах и покажет нам всё лучшее, а я говорил, что не хочу сводить знакомства, когда не на чем объяснить, кроме разве, как на пальцах; но Т(ургенев) успокоил меня, сказав, что я пойду за ним и никого знать не буду. Но Виардо упредили нас; входим в одну залу, они прямо нам навстречу, — и Т(ургенев) представил меня им. Но, как дело обошлось одним немым поклоном с обеих сторон, я ничего.

* Берештрассе (нем.). — Ред.

На другой день опять пошли. Всё шло хорошо, как вдруг, уже в последней зале, m-ме Виардо, быстро обратившись ко мне, сказала: «Лучше ли Вы себя чувствуете?» Я так потерялся, что ничего не понял, она повторила, а я еще больше смешался; тогда она начала говорить по-русски очень смешно, и сама хохотала. Тут я, наконец, понял, в чем дело, и подлейшим французским языком, каким не говорят и лошади, отвечал ей, что мне лучше. Но и этим не кончилось дело. Виардо жили в одной с нами гостинице. Когда мы дошли до нее, г-жа В<иардо> пригласила меня в свой концерт. Делать нечего, я сказал, что буду, и она прислала мне билет, за который отказалась взять деньги, говоря, что она меня пригласила в свой концерт. После концерта Т<ургенев> тащил было меня к ней, чтобы поблагодарить, как оно бы и следовало; но я уперся, как бык, и не пошел. На другой день они должны были уехать; но мы еще раньше уехали в саксонскую Швейцарию. Утро было прекрасно и обещало жаркий день; но часам к десяти погода начала портиться, и день был ни то ни се. Я ходил пешком, ездил верхом, носили меня на носилках, только на ослах не ездил; видел чудную природу, прекрасные и грандиозные местоположения; видел на скалах, по берегу Эльбы, развалины разбойничьего рыцарского замка, неприступного, как орлиное гнездо, видел развалины одного из тайных судилищ, столь знаменитых и страшных в средние века. Но всё это скоро надоело мне. У меня ужасная способность скоро привыкать к новости. И потому мне в тот же день показалось, что я лет сто сряду видел все эти дива дивные и они давно мне наскучили, как горькая редька. Погода не мешала, а способствовала такому настроению моего духа,— и мы решили завтра же воротиться в Дрезден, чтоб оттуда не медля ехать в Зальцбрунн, который манил меня, как место оседлого на шесть недель пребывания. Воротились в Порну, где и ночевали. На другой день съездили посмотреть одно действительно удивительное местоположение; а потом съездили в крепость Кёнигштейн. Это по неприступности третья крепость в мире, с Гибралтаром и Свеаборгом. Она стоит на площади высокой, круглой горы, оканчивающейся отвесными скалами. Но меня всё это уже не занимало, а только утомляло; день был полумрачный и холодный, а со мною не было теплого пальто. К счастью, с Тург<еневым> было пальто, которое я надел на мое белое пальто, и мне стало сносно. Часов в 6 воротились мы в Дрезден, а на другой день, в 4 часа, по железной дороге пустились в Бреслау. Железная дорога верст на 30 прерывается шоссе. Ночевали в каком-то городке; а на другой день были часов в 11 в Бреслау. В истории моей болезни Тильман упоминает «о романтических окрестностях Зальцбрунна, которые невольно влекут *чувствительное*

сердце к наслаждению природою». Этих окрестностей я не замечал на дороге из Бреслау до Фрейбурга, но от Фрейбурга до Зальцбрунна мы ехали на лошадях и уже всё в гору, и вдали рисовалась полукруглием цепь гор. Но погода — мерзость, хоть шубу надевай. Гулять не хочется, да и негде: всюду нивы, а по нескошенному лугу ходить нельзя — штраф сдерут: вот тебе и «романтические окрестности, невольно влекущие чувствительное сердце к наслаждению природой!» Теснота страшная, всюду люди, и буквально негде на двор сходить человеку. А между тем местоположения, действительно, манят к прогулке.

Вообще, из моего пока еще краткого пребывания за границею я извлек глубокое убеждение, что я вовсе не путешественник и что в другой раз меня и калачом не выманишь из дому. Еще другое дело с семейством; а одному — слуга покорный! Мне становится страшно; это я испытываю вот уже в другой раз. Приехав в Зальцбрунн, я начал выкладывать чемодан, и мне вдруг сделалось так грустно, что хоть плакать. В глазах мерещились все вы, а в ушах всё раздавалось: «Висалён Глиголич». Но как мне тяжело было всё сегодняшнее утро (6/25 воскресенье; письмо это пойдет на почту завтра)! Погода была всё это время холодная, ветреная, но светлая, ясная, а сегодня небо мрачно, кроме холода и ветра. Я вовсе раскис и изнемог душевно, вспомнилось и то и другое, насилу отчитался «Мертвыми душами». Чувствую, что пока не получу от тебя доброго письма, не буду спокоен и жить мне будет тяжело. А какое еще письмо получу я от тебя, и от тебя ли еще получу я его?.. Нет, вперед ни за спасение жизни не уеду вдаль от семейства. Я не гожусь в путешественники еще и по слабости моего здоровья; вставай, ложись, ешь без порядку, когда можно, а не когда хочешь. Если б не желание* основательнее вылечиться, я в августе махнул бы домой, не жалея, что не видел того и этого.

Доктор велел мне в 8 часов вечера быть в комнате, несмотря ни на какую погоду, а в 9½ быть в постели. Должно быть, от холодной погоды на меня всё это время напала спячка — сидеть я не могу, ходить много тоже, а чуть прилягу — и засну. В сутки сплю я от 12 до 14 часов.

Анненков приедет к нам в Зальцбрунн 10 июня/29 мая. Мы получили от него письмо. Июня 4 он выезжает из Парижа. С Кудрявцевым я надеюсь скоро увидиться, и вероятно, и ты скоро увидишь его.

Прощай, chère Marie,** желаю тебе всего доброго и хоро-

* Далее зачеркнуто: иметь здоровье

** милая Мари (франц.).— Ред.

шего так же искренно и горячо, как желаю его самому себе. Обнимаю и целую вас всех.

Твой В. Б.

Адрес мой:

Salzbrunn in Schlesien bei Freiburg.*

Скажи Некрасову, что он нелепо сделал, что не послал со мною Тургеневу 5 № «Современника».² Он для нас погиб, потому что не жить же нам было для него век в Берлине. Тург<енев> этим очень огорчился. Скажи Некрасову же, что, по словам Тург<енева>, роман Фильдинга «Том Джонс»³ можно смело переводить и печатать; а гётевского романа «Сродства» не советует переводить.⁴ Кланяйся от меня всем нашим. Письмо это посылаю нефранкированное, на имя конторы, в предположении, что, может быть, тебе удалось сдать квартиру.

305. М. В. БЕЛИНСКОЙ

<29 мая/10 июня 1847 г. Зальцбрунн.>

Зальцбрунн. 10 июня/29 мая 1847.

Вчера получил я твое письмо,¹ *ma chère Marie*,** и оно нельзя сказать, чтобы очень успокоило меня. Ты всё еще больна и, кажется, хуже, чем была при мне, судя по 24 пъявкам. Я знаю, что Тильман до пъявок и всякого кровоупускания не охотник, и если прибегает к нему, то в трудных случаях. Вообще, письмо твое дышит отчаянием, которое, в свою очередь, производит во мне отчаяние. Когда же будет этому конец? Или ни твоей болезни, ни этой погоде конца не будет? Вот и здесь — нет тепла, да и только. Вчера день было разгулялся и потеплел, так что в 7 часов вечера пъярило теплом, чего еще ни разу не было; но с 9 пошел дождь, шел всю ночь и идет теперь; сыро и холодно, а на душе тяжело. Слухи о нашем пароходе, которые, не знаю зачем, поспешила сообщить тебе, больной, страждущей женщине, М. А. К<омаро>ва, не имеют никакого основания, и ты вовсе понапрасну страдала от них. Лды заставили нас напрасно потерять часов пять — вот и всё; толчка же не было ни одного, ни большого, ни малого. Качка была, но легкая; может быть, я всех более страдал от нее, но и меня вырвало только раз в целые сутки. Такие ли бывают качки! Замертво никто не лежал; даже не всех рвало. Ни одной брызги не перелетело через борт на палубу. Так вот от чего ты страдала: ровно

* Зальцбрунн в Силезии близ Фрейбурга. (Нем.) — Ред.

** моя милая Мари (франц.) — Ред.

ни от чего, или совершенно от ничего. Насчет лекарств и рецептов Тильмана, бога ради, не беспокойся: они всегда со мною были и в дороге — лекарства в мешке, рецепты в бумажнике. А теперь, когда я основался на оседлое житье, нечего и говорить об этом.

Что касается до того, что Ольге необходим воздух, — это новая причина к немедленному переселению в Москву. Купанье же в Ревеле в свое время будет хорошее, потому что после этих неестественных холодов жары будут смертельные. И ты хорошо бы сделала, если б отправилась в Ревель тотчас, как почувствуешь себя крепче, а на квартиру *следует, должно* плюнуть, чорт с нею. А поездки твоей в Штеттин и того, что ты хочешь гоняться за мною, я несколько не боюсь и не боялся; а напротив, вчера же мечтал о том, как бы хорошо было, если б каким-нибудь счастливым случаем ты могла очутиться не в Штеттине, а в Зальдбрунне. Коли пришлось к слову, скажу на всякий случай: подумай, спишись с Боткиным насчет 1000 р. да переговори с Некрасовым, сама или через Тютчева, сколько он может дать тебе; и если всё это устроится хорошо и скоро, то поезжай с Ольгой и Агриппиной на воды, которые укажет тебе Тильман. Ведь дорого ездить беспрестанно, а жить на одном месте, да еще на водах, ужасно дешево. Подумай.

О моем здоровье пока не могу сказать тебе ничего. Известно, что первую неделю больным от всяких вод бывает хуже. Я пил, с нынешним днем, всего *семь* дней, и действительно в первые дни чувствовал себя нехорошо; кашля не было и ничего особенного, а было тяжело, особенно в прошлое воскресенье. Как почувствую перемену, тотчас извещу тебя. А о Зальдбрунне рассказывают чудеса. Вот что говорил Тургеневу один немец: «Я, — говорил он, — прошлого года с величайшим трудом переходил в другую комнату (на судно), *харкал кровью и кусками легких*; меня послали сюда (прошлого же года), и вот видите — я хожу, избегаю на лестницы, говорю, пою. Когда я воротился, пославшие меня доктора не верили глазам своим, и теперь я по их предписанию повторяю курс и на следующий год опять повторю для совершенного выздоровления». Это мне подает сильную надежду. Впрочем, я здесь из самых здоровых больных; много таких, на которых страшно смотреть, а ведь надеются же на выздоровление. Вообще мое положение кажется мне гораздо надежнее твоего, которое тревожит меня и во сне и наяву (это не фраза, а правда).

Теперь я пью по 4 стакана, $\frac{2}{3}$ сыворотки и $\frac{1}{3}$ воды; с завтра буду пить по 5 стаканов, сыворотку пополам с водою. Сначала меня начало было нести, но теперь слабит раз в день, в одно время.

Бедный Беер! Жаль мне его. Нельзя ли ему доехать живым

до Зальцбрунна: может быть, здесь он ожил бы.² Или уже Тильман и этого не считает для него возможным?

А насчет поездки за границу подумай. Ведь еще не поздно. Сентябрь и октябрь и без того здесь всегда хороши, а нынешний год должны быть превосходны. Время, стало быть, еще не ушло. Ей-богу, подумай.

Я уже писал тебе о моем адресе, но вот еще для большей точности: Salzbrunn in Schlesien bei Freiburg.*

Пиши ко мне чаще, но не принуждай себя: пусть будет твоих строк пяток, а остальное Агриппина может написать от тебя. А то из твоего письма, т. е. из его почерка, видно, что ты себя принуждала. Это напрасно. Затем, прощай, мой друг. Выздоровливай непременно, если хочешь, чтоб я выздоровел, и живи непременно, если хочешь, чтоб я жил. С тоскою и ужасом жду дальнейших известий о твоём здоровье. Обнимаю тебя и всех вас трех и остаюсь твой

В. Б.

Кланяюсь всем нашим. Скажи Панаеву или Некрасову, чтоб выслали к нам 6 и 7 №№ в Зальцбрунн.

Сегодня ждем к себе Анненкова.

306. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Июня 16/28, поведельник. 1847. <Зальцбрунн.>

В прошлый вторник получил я твое первое письмо и, не без основания думая, что ты будешь немедленно отвечать мне на 2-е мое письмо, посланное дня через три после первого, решился отвечать тебе уже на оба твои письма.¹ По моему расчету, 2-е письмо твое должно было придти ко мне в прошлый четверг, но оно пришло только в субботу, и то вечером. Еще дня за три до получения 1-го письма твоего, я получил письмо от Тютчева,² которое вывело меня из невыносимо тяжелого состояния духа известием о том, что тебе лучше. А то мне всё чувствовался запах ладану и мерещились попы и гробы и я в моей безнадежности утешал себя только этою безнадежностью, потому что безумная надежда не оставляла меня до самой смерти Володи.³ Видно, приходит моя старость, и я становлюсь до того бабою, что меня пугают даже сны, самые глупые и нелепые. Видел я раз во сне, будто я женюсь — на ком бы ты думала? — на А. П. Тютчевой; а почему, не знаю, потому что ни о твоей

* Зальцбрунн в Силезии близ Фрейбурга. (Нем.) — Ред.

смерти, ни о смерти Тютчева никакой мысли не представлялось, как будто ни тебя, ни Тютчева и не существовало на свете. Смешно сказать, а этот сон немножко встревожил меня. Но письмо Тютчева успокоило меня, и я начал дышать легче и свободнее. А тут подоспело еще и твое письмо. Конечно, твое положение и теперь несколько не радостно, но всё-таки надежда не даром сменила во мне отчаяние. Теперь буду говорить тебе о себе. Я начинаю чувствовать себя лучше и надеяться, что Зальцбрунн мне действительно поможет. Кашля почти нет, а бывает вместо его легкое удушье, по вечерам преимущественно, и тут, когда я стараюсь отхаркаться, еще порядочно стучит в голову; но зато я чувствую себя крепче и начинаю без задыханья взбираться даже на горы, разумеется, ползком, с чувством, толком, расстановкой.⁴ В сравнении с тем, как я был в Питере, я чувствую себя в этом отношении богатырем. А перед этим мне было тяжело; я чувствовал себя слабым, и спазматическое дыхание сильно меня мучило даже и по утрам. А было мне хуже, между другими причинами, и от воды (Зальцбрунна), потому что ее действие, как и всех вод, сначала проявляется усилением болезни, от которой лечишься. Но в следующий четверг (19/31) исполнится четыре недели, как я пью воды, стало быть, пора быть лучше. Лето тут не играет никакой роли, потому что до сих пор у нас, в Силезии, лета нет, и мы наслаждаемся преотвратительною осеннею погодою. Ни одного не было хорошего дня; были утра, вечера, полдни прекрасные даже, но дня хорошего не было ни одного. Вдруг прекрасное утро — тепло, ясно, в полдень даже жарко, а часов в 5 хоть шубу надевай от холода. Вдруг после холодного, ветреного, дождливого утра сносный полдень и прекрасный вечер: тепло, солнце заходит ясно, тихо — ну, погода установилась, ведь и барометр поднялся, завтра будет прекрасное утро; просыпаешься — мрачно, холодно, унылый шум ветра и падающего дождя. Я уж и не жду хорошей погоды — надоело обманывать себя. Никто в Зальцбрунне не запомнит такого мая и такого июня: это что-то чудовищное для страны, в которой растут каштаны, платаны, тополи, белая и розовая акация, *boul-de-neige*,* клемотиты, розовые деревья аршина в четыре вышиною и т. п. В последнем письме я писал к тебе: сегодня ждем Анненкова. Действительно, он приехал вечером этого дня (10 июня/29 мая); вечер был не дурен, но с утра следующего дня пошел проливной дождь, лил он пятницу, субботу, а в воскресенье, с проливным дождем, стало так холодно, что мы потому только не топили печей, что в нашем *Мариенгофе* (так называется дом, где мы живем) их не имеется (из чего не заключи, что наш дом похож

* калина махровая (франц.).— Ред.

на петербургские дачи с щелями — он каменный, окна сделаны как следует). К довершению нашего веселого положения, когда я дрожал от холоду в зимнем пальто, надетом на летнее, и мечтал об оставленной в Берлине шубе, часов около семи вечера с Тургеневым начался припадок, которым он теперь страдает аккуратно 2 раза в год. У него делаются судороги в груди, он раздирает себе руки, плечи, грудь щетками до крови, трет эти места одеколоном и облепляет горчичниками. Припадок продолжался часов до 6 утра, и я ночью два просыпался от его стонов, хотя он от них и воздерживался с удивительною твердостью. На другой день погода поправилась, а во вторник мы было уже подумали, что настало лето; но не тут-то было: холодов таких уже не было, но дождя и осенней прохлады до сих пор — ешь, не хочу! Воображаю, что делается у вас в Питере!

Действие вод обнаруживается у меня преимущественно в желудке — пученьем, спазмами и такими ветрами, каких у меня еще никогда не бывало. Теперь меня опять начало чистить — непременно 2 раза в день, иногда 3, несет слизями. Язык у меня чист, а на лицо я со дня на день становлюсь здоровее, как говорят все — и доктор, и мои компаньоны. Совету твоему я последую и спрошу Цемплина насчет Эмса; только я должен сказать тебе, что доверие наше к этому эскулапу сильно поколебалось: это, кажется, обыкновенный доктор, какие бывают на всех водах в мире. Он долго держит в своей руке руку пациента, нежно смотрит ему в глаза, но путного от него ничего не услышишь. Он получает, говорят, 50 000 р. годового дохода; у него в Зальцбрунне несколько домов и дач, заведение сыворотки принадлежит ему, а за сыворотку каждый больной платит талер в неделю; вероятно, поэтому он заставил употреблять сыворотку и Тургенева, у которого грудь несколько не болит. Чахоточный немец, с которым говорил Тургенев, сказывал ему, что у иных больных действие вод оказывается гораздо после леченья. Прошлый сезон был здесь один слабогрудый, которому воды несколько не помогли; так он и уехал с этим убеждением. Но зимою, и особенно в масленицу, когда он больше всего страдал грудью, он, к удивлению своему, чувствовал себя совершенно здоровым и на нынешний сезон не приехал в Зальцбрунн, как предполагал в прошлом году. Впрочем, если бы Зальцбрунн мне не помог, сверх чаяния, у меня есть еще средство едва ли не лучше Эмса. В Париже, где столько знаменитых специальных врачей, один делает чудеса по части чахотки. Это мне сказывал Анненков, — и вот доказательство, что это не слухи, которые часто бывают обманчивы. Л. П. Языкова поехала за границу умирать от чахотки.⁵ Анненков стал ходить к ней тотчас по ее приезде в Париж и сам

видел, что от перехода из одной комнаты в другую она падала в обморок от изнеможения. Она обратилась к этому доктору, — и теперь отправилась в Россию даже без одышки, почти совсем здоровая. А она еще будет опять у него пользоваться, потому что в августе опять едет в Париж. Всё это произошло на глазах у Анпенкова.

Тильман, конечно, прав, говоря, что я должен быть как можно больше на чистом воздухе; я так и делаю, когда нет дождя, что бывает не весьма часто. Ну, довольно обо мне. Теперь надо отвечать на твои письма.

Из твоих писем заметно, что нашего переселения в Москву ты не считаешь необходимым, и мне немножко досадно, что ты на этот счет не выразилась прямее и положительнее. Я бы об этом подумал и поразмыслил. Такое дело одному решить нельзя, и без обоюдного согласия кончать его не следует. И потому прошу тебя об этом написать ко мне поподробнее и обстоятельнее; а я сейчас же скажу тебе мои резоны. В Москве климат лучше. Раз: там нет сырости; потом, когда там летом стоит хорошая погода, то в одиннадцать часов вечера захлебываешься волнами теплого воздуха, чего в Питере не бывает: там и в хорошую летнюю погоду в 9 часов вечера уже берегись. Это, воля твоя, разница, и притом большая, и важно не для одного меня, но и для Оли. От комнатной жизни освободиться нельзя, а гулять час-другой ежедневно можно и в Москве, как и в Петербурге. Потом, в Москве жить много дешевле: это обстоятельство важное для нас. Подумай обо всем этом и напиши мне. А с Некрасовым мне переписываться на этот раз нечего: на этот счет у нас с ним переговорено и порешено. Что ты сдала квартиру, меня это радует; а что ты не поехала сейчас же в Москву, потому что, по болезни, едва двигаешься, — нечего и говорить, что это хорошо, а не дурно. Из этого же логически следует, что ты хорошо сделаешь, переехавши на дачу. Ты проживешь на ней, может быть, недель десять, т. е. тебя с нее прогонят не холода и дожди, а ранние и прохладные вечера, ибо надо ожидать осени удивительной, какая только бывает на юге. Я помню в Питере одну почти такую осень, когда почти до конца октября стояла погода сухая и ясная, без дождей. По возвращении же с дачи ехать в Москву тебе не советую. Кроме того, что этот переезд может еще по каким-либо неожиданным обстоятельствам затрудниться и отсрочиться, — во всяком случае, лучше переезжать всем вместе. А то я приеду в Питер и принужден буду прожить в нем долее, чем предполагал; а этого я не хочу. Разумеется, квартиру не надо нанимать там, куда Тильман не ездит вовсе; но забиваться и в его сторону не следует. К Некрасову можно и ближе и дальше, как случится. Квартиру, на всякий случай, нанимать надо такую, чтоб и

зиму можно было на ней прожить. Я бы желал переехать в Москву тотчас же по возвращении в Питер; но ведь это еще как удастся.

Что касается моего совета тебе — ехать за границу, — я не удивляюсь, что Тютчев пожал плечами: когда я получил его письмо и несколько успокоился насчет твоего положения, то и сам пожал плечами, вспомнив, какую дичь напорол я тебе в письме.

Что же ты во 2-м письме ничего не говоришь о Марье Александровне?⁶ Уведомь о Кронеберге, которому передай мой поклон, если увидишь его. Бедный Беер! Думал ли я тогда, что говорю с человеком, уже отмеченным рукою смерти! Но еще больше жаль бедную Наталью Андревну.⁷ Ей теперь ничего не остается, как поскорее умереть. Жаль, что не знаешь ее адреса и не можешь навестить ее. Напиши мне, разделалась ли ты с кухаркой, у тебя ли еще Егор. Хочу знать даже о здоровье Малки. Зачем Оле соленые ванны? Ведь она здорова и весела, как ты пишешь? С нетерпением жду от тебя известия, сдала ли ты квартиру.

Вот тут и гуляй: сегодня поутру пасмурно и холодно. С закрытыми окнами немножко душно, а открыть — руки коченеют и писать нельзя. Пошли обедать, нас встретил дождь, лил часа два. Теперь 6 часов вечера, на дворе и холодно и сыро — выйти нельзя — осень, да и только.

Прибавлю тебе насчет Зальцбрунна, что по устройству и удобствам это самые дрянные воды в Германии, которая славится и в этом отношении своими водами. Это оттого, что воды недавно открыты и всё в них молодо и ново. Хуже всего то, что кормят гадко. Мы обедаем теперь в лучшем трактире (который помещается в здании, где находится и колодезь, и которого изображение помещено на первом листе моего письма), а иногда изжога мучает. Готовят всё мясное, и то плохо. По причине гнусной погоды мы успели сделать только две прогулки в окрестности, которые удивительны. Одну в замок Фюрштенштейн, против которого находятся развалины средневекового рыцарского замка, как можешь сама видеть на картинке второго листа моего письма. Потом ездили в Альт-Вассер, где есть соленые ванны и копи каменного угля. В оба эти места мы ездили. А дня два-три ходили на ферму, верстах в двух от Зальцбрунна. Там, в горах, стоит большой трехэтажный дом в швейцарском вкусе. В 1-м этаже кухня и коровий хлев, а в хлеву коров десять, величины, красоты и дородства неописанного, и с ними бык английской породы, толстый, жирный и длины непомерной. Зовут его Гамлетом. Рыло глупое и доброе, мы кормили его из рук травкою. Все эти звери с железными цепями на шеях. А что за молоко! святители! Если будет хорошая по-

года, каждый день буду ходить туда полдничать. Хорошо у них и масло, только они солят его чересчур. Большой стакан молока пополам со сливками стоит зильберггрош (3 коп. сереб.).

На другой день по получении твоего второго письма получили мы 2 №№ «Современника»; для меня это было радостью к радости.

Я теперь пью шесть стаканов, немножко меньше полустакана сыворотки, остальное вода. Эта смесь неприятна. Кажется, я и кончу смесью, потому что Цемплин и слышать не хочет, чтоб я пил воду без сыворотки. А послеобеденное питье сыворотки, с его решения, давно уже оставлено, потому что от него у меня усилился кашель, вероятно, от того, что сыворотка теплая, чуть не горячая, а погода-то всё прохладная.

У нас почти еще нет мух, и начали они появляться не больше, как с неделю.

Курс мой должен кончиться 4/16 июля; ты этого не забывай и сделай так, чтобы я последнее письмо твое в Зальцбрунн получил не позже 5/17 июля.

Ольге Виссарионовне в прошлую пятницу исполнилось 2 года, и она всё развивается до того, что знает твое и свое имя — bravo! А меня, верно, забыла, изменница!

Ну, вот я, как видишь, и спокоен насчет твоего положения, даже весел; но это мне не мешает опять захандрить, если долго не получу от тебя письма. Теперь твой черед успокоиться насчет моего положения. Желаю тебе всего хорошего, целую и обнимаю всех вас, тебя, Ольгу и Агриппину. Тургенев и Анненков вам всем кланяются. Письмо это пойдет на почту завтра.

307. М. В. БЕЛИНСКОЙ

<25 июня/7 июля 1847 г. Зальцбрунн.>

7 июля/25 июня.

Спасибо тебе, chère Marie *, за твое последнее письмо. Оно очень обрадовало меня, и потому, что я не ожидал его, и потому, что оно исполнено приятных вестей. Итак, ты разделалась, наконец, с квартирою, ты на даче, где ** можно иметь и Тильмана, а главное — тебе лучше. Мне почти не о чем писать к тебе, но, чтоб ты не была в беспокойстве насчет моего долгого молчания, пишу как-нибудь и что-нибудь. Я знаю, что ты ожидала с большим нетерпением и, может быть, беспокойством моего письма (которое получила в число, выставленное на этом

* милая Мари (франц.).— Ред.

** Первоначально: куда

письме). Я, действительно, позапоздал с моим ответом; но это не от лени, не от невнимательности. Кроме того, что, как я уже писал тебе об этом, я поджидал твоего второго письма, чтобы разом отвечать на оба, — тут была еще и другая, более важная причина: мне хотелось сказать тебе что-нибудь положительное о моем здоровье, — и потому я ждал и медлил. А на этот счет я и теперь не могу сказать тебе ничего определенного и положительного ни в хорошем, ни в худом отношении. С одной стороны, мое здоровье плохо, ибо одышка, судорожное дыхание и стукотня в голову, не позволяющая откашливаться, мучат меня почти так же, как мучили в Петербурге. В этом отношении мне в Зальцбрунне гораздо хуже, нежели было в Берлине и Дрездене. С другой стороны, я чувствую себя крепче не только того, как я был в Петербурге, но и чуть ли не крепче того, как я чувствовал себя в прошлое лето во время поездки (а я тогда чувствовал себя очень недурно). Язык мой чист, как у человека, совершенно здорового, хотя я пользуюсь преподлейшим столом: это явно действие вод. Appetit и сон у меня совершенно в порядке. И потому, друг мой, ты не снеси приходиться в волнении от состояния моего здоровья: вопрос о нем довольно запутан, и его может решить только время. Тут может быть много причин. На иных Зальцбрунн действует задним числом, как я уже писал тебе об этом. Дурное состояние моей груди может происходить от действия воды, и в таком случае это хорошо, а не дурно. Может оно также происходить от дурной погоды и скверной пищи. А пока у нас вот еще в первый раз как третий день сряду нет дождя. С прошлого воскресенья (4 июля) стало ясно, но ветрено и холодно, вчера опять ясно, но немного теплее, а сегодня (это письмо пишется во вторник, 6 июля) ни облачка на небе и тепло, почти как летом. А до сих пор — осень, осень и осень, да еще какая — петербургская. Мне остается скучать в Зальцбрунне ровно *девять* дней, и в четверг (15/3 июля) последний день моего водопития. В этот же день мы и выезжаем, расплатившись и устроивши чемоданы в среду. С Цемплиным решительно ни о чем не хочу советоваться. Это шарлатан и каналья. Тург<енев> говорит ему о моем удущье, а он отвечает: «Да, я это понимаю, это бывает, это от воды, но это пройдет». Скажи, пожалуйста, если б я, вместо доктора, посоветовался с тобой, — могла ли бы ты дать мне ответ более неопределенный и пустой? Есть тут и другой докторишка под командою Цемплина, но этот, кроме всего другого, еще и страшно глуп. Оба они находятся во всеобщем презрении у своих пациентов, которые обращаются к ним не в чаянии помощи, а так, для успокоения совести.

Из Зальцбрунна мы едем, через Дрезден, во Франкфурт, побываем на Рейне, взглянем на замечательнейшие города

Бельгии, да и — в Париж. До Парижа пройдет неделя, может быть, полторы. Если в это время я не почувствую значительного облегчения, сейчас же по приезде в Париж обращусь к знаменитому Тира де Мальмор. Есть слухи, что великий князь Михаил Павлович приглашает его в Петербург для великой княжны. Из этого можешь видеть, как велик авторитет Тира де Мальмора в деле лечения легочных болезней. Анненков говорит, что он решительно не верит неизлечимости чахотки и творит чудеса. Он дает больным какую-то водицу, которая разбивает мокроту, дает больным возможность легко отхаркиваться и быстро очищает легкие. Может быть, мне придется пожить у него в его *Maison de santé*,* в Елисейских полях. Из этого видишь, что меня в Париж влекут не удовольствия и что может быть, что Париж будет для меня тем же Зальцбрунном. Это будет зависеть от того, в каком состоянии Тира де Мальмор найдет мои легкие. Кланяйся от меня Тильману, но о моем намерении лечиться у Тира де Мальмор пока не говори ему. Можно будет сказать ему после, представив дело так, что в Париже мне стало хуже, и я поневоле обратился к Т<ира> де М<альмор>.

Вот думал, что нечего и не о чем писать, а, между тем, дошло и до второго листка. Твое предостережение насчет покупки холста приму к сведению и поступлю сообразно с ним: если разница в цене будет большая, то сошью себе белье, а если пустая, — отложу на неопределенное время. Хотя морское путешествие мне и менее вредно, нежели сухопутное, но скорее умру, чем поеду морем, особенно осенью. До сих пор от езды в коляске у меня кружится голова, а я выдержал на море самую легкую качку. Тургенев и Анненков захохотали, когда я им сказал, что ты спрашиваешь меня, почему я не пишу тебе о зальцбрунских окрестностях. Судя по нынешнему дню, кажется, погода летняя устанавливается, и эту последнюю неделю можно будет поездить по окрестностям, не нуждаясь в шубах. Я привезу тебе раскрашенные картинки замечательнейших окрестностей Зальцбрунна, которые, действительно, очаровательны. Анненков сперва пил за обедом по полубутылке (то рейнвейну, то шампанского, то других вин), а теперь нашел, что для его здоровья полезнее пить по целой бутылке. Однако он не очень здоров и частенько терпит от приливов крови к голове. Он, видишь, создан так, что должен держаться режима, диаметрально противоположного моему. Он может быть здоров только в шумном городе, где нельзя ложиться спать раньше двух часов ночи. Ему необходимо истощать свое здоровье, чтоб быть здоровым. Рад ли я ему был — об этом нечего и спрашивать. С Тургеневым я беспрестанно бранюсь, потому что для

* санатории (франц.).— Ред.

моего здоровья необходимо кого-нибудь бранить. А впрочем, мы живем хорошо и пока еще друг другу не надоели.

Ольга не забыла слова Володя? *Каково же?* Хорошо еще, что это слово для нее не более, как слово, звук пустой.¹ По всему видно, что к моему приезду она крепко переменится. Меня очень порадовали подробности, которые ты сообщаешь мне о ней, и я желал бы и впредь находить их в твоих письмах. Пиши о ней всякий вздор, ведь ребенок вздором-то и мил и дорог.

Что за нищета в Силезии! Ужас! Нищих здесь больше, чем у нас взяточников. Немцы — народ добродушный, но тупой и безвкусный. Они мне порядочно надоели.

Кланяйся от меня всем нашим знакомым. Некрасов, вероятно, давно уже воротился из Москвы; проси его и Панаева писать ко мне о всевозможных литературных новостях, слухах и сплетнях: это для меня будет невыразимым лакомством.² Что М. А. Комарова? Обнимаю всех вас.

В. Б.

Письмо это идет сегодня (7-го), а бумаги еще много. Кстати: я вспомнил, что Тургенев носит на шее красную шерстинку (шерстяную нитку, которой шьют по канве) для предохранения себя от горловых простуд. Не знаю, верно ли это средство, но он уверяет, что с тех пор, как носит эту вещь, ни разу не простужался. Анненков очень расположен к простудам этого рода, и у него начинало болеть горло, но он надел, по совету Т<ургене>ва, шерстинку — и простуда прошла. Может быть, это и не от того, но во всяком случае я думаю, ты не дурно бы сделала, если б надела Оле на шею ожерелье из цветной берлинской шерсти, которое она примет за украшение.

Теперь уже пиши в Париж на мое имя, *poste restante*.*

Погода опять портится — утро было чудное, в 5 часов было тепло, а в 5¹/₂ — жарко, а вот теперь (10 ч.) собираются тучи, и, кажется, быть буре. Лишь бы не сделалось холодно, а то ничего. Я чувствую, что холодная погода губит меня. Ну, прощай еще раз. Обнимаю тебя.

308. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Дрезден. 7/19 июля 1847.

Последнее письмо твое от 24 июня не застало меня в Зальцбрунне, и я получил его в Дрездене. Из него увидел я, как надо нам быть осторожными друг с другом. Я потому поспоздал

* до востребования (*франц.*). — *Ред.*

письмом к тебе, что хотел отвечать разом на оба письма твои и поджидал второго. Это было с моей стороны непростительно глупо, и я давно уже догадался, что наделал бед. Ну, делать нечего. Только, ради бога, вперед будь спокойнее, если долго не будешь получать от меня писем. Ведь не всегда же можно писать, когда нужно. Что же касается до твоих опасений насчет не только моего здоровья, но и жизни, то они, слава богу, до того далеки от истины, что твое письмо к Тургеневу даже рассмешило нас противоположностью твоих страхов с моим состоянием.¹ Против того, каким я чувствовал себя, выезжая из Питера, я теперь чувствую себя совсем другим человеком, хотя кашель, удушье и головная боль и остались еще при мне. Но несколько теплых дней (особенно последние два дня в Дрездене) дают мне надежду, что хорошая погода dokonчит дело зальцбруннской воды. Только два дня теплых,— и я уже откашливаюсь, стукотня в голову сделалась гораздо сноснее, а припадки удушья реже. Но главное,— я стал несравненно крепче телом и бодрее духом. Сплю и ем, как нельзя лучше.

Я теперь в Дрездене с Анненковым, а Тургенев улетел от нас в Лондон; впрочем, в Париже мы с ним съедемся. Из Зальцбрунна мы выехали 3/15 июля, в четверг. В последний раз встал я в 5 часов утра, проглотил насильно чашку ослиного молока, в последний раз пошел на водопой и насильно проглотил 6 стаканов. Пришел домой — и сейчас укладываться. В 12 часов выехали. В Дрездене мы остановились по следующим причинам: Анненков давно не был в галерее, а я — шить белье. Ты очень кстати упомянула в одном из твоих писем об этом предмете. Я как-то сказал Ан(ненко)ву, что думаю сделать себе белья в Париже. — «Зачем же в Париже?» — «Да где же? ведь там оно дешево». — «Дешевле, чем в России, и дороже, чем где-нибудь». — «Так где же надо шить белье?» — «Разумеется, или в Дрездене, или в Брюсселе; но в Дрездене всего лучше, и я сам там шил себе белье». — Дюжину рубах взялись мне сшить в три дня. Принесли нам кусков десять полотна. Цены: три, пять и шесть талеров за рубашку, с полотном и работою. Мы выбрали голландского полотна по 6 талеров. Анненков говорит, что тоньше стыдно и носить белье. Было тут саксонское полотно, еще тоньше того голландского, которое я выбрал, цена тоже 6 талеров; но саксонское далеко уступает в прочности голландскому. Мы приехали в Дрезден в пятницу, часов в 12 утра, и если сегодня принесут мне рубашки, как обещались, то завтра едем из Дрездена.

Ты писала, что в Питере, у Юнкера, штука порядочного голландского полотна стоит 50 р. сер., да за работу 20, итого 245 асс. Но, во-1-х, Анненков сильно сомневается, чтобы из куска могла выйти дюжина рубах; во-2-х, мы выбрали себе кусок

не порядочного, а превосходного голландского полотна; а в-3-х, всё это мне будет стоить не 245, а всего только 200 с небольшим р. асс. на наши деньги. 12 рубак по шести талеров, это составит 72 талера, или 234 рубля асс. на наши деньги; да *Анн(енков)* уторговал от общего счета 10 талеров, почему и вышло всего 62 талера, или 201 рубль с полтиною.

Из Дрездена мы едем на Веймар и Эрфурт по железной дороге. Эрфуртом железная дорога прекращается, и нам придется до Франкфурта-на-Майне ехать суток двое с половиною, а может быть, и трое в дилижансе; зато из Франкфурта до самого Парижа уже ни одной версты не проедем на лошадях, а всё или по железной дороге, или на пароходе по Рейну. Через Брюссель проедем в Париж. Если буду писать к тебе с дороги, то из Брюсселя, и то в таком только случае, если остановимся в нем дня на два, на три; иначе писать трудно, потому что дорога утомляет людей и покрепче меня. И потому не беспокойся, если после этого письма долго не будешь получать писем от меня. Может случиться и так, что даже по приезде в Париж я не тотчас напишу к тебе, а отдохнув, осмотревшись, а главное— побывавши у Тира де Мальмор. Тогда я буду в состоянии написать тебе о себе что-нибудь положительное.

Знаешь ли, сколько я заплатил Цемплину? — Три талера! это такса. Не думай поэтому, чтоб он мало получал. В Зальцбрунн ежегодно приезжает тысячи три народа. Если половина из них заплатит ему по 3 талера, выйдет сумма в 4500 талеров, т. е. в 15 000 р. асс. с лишком. Да сверх того, он получает много с своего заведения сыворотки, на котором еще мошенничает, делая ее из коровьего молока, вместо козьего. Вообще я в Зальцбрунне прожил, с квартирою, столом, сывороткою, ослиным молоком, водою,— словом, всем,— менее 250 франков. Это страшно дешево.

Письмо твое, друг мой, немножко пахнет сумасшествием. Письмо к Тургеневу писано 22, по случаю неполучения от меня писем, а послано оно 24, когда уже ты получила мое письмо и уверилась, что я жив. В ответ на мое письмо ни полстроки, ни полслова. Видно, что заметалась вовсе? Поэтому мне было бы крайне приятно сейчас же по приезде в Париж отправиться на почту, в отделение *poste restante*,* и найти там твое письмо, писанное в спокойном духе и с хорошими известиями о состоянии здоровья и духа всех вас.

Последнее письмо из Зальцбрунна послал я к тебе в среду, 7 июля н. с. Там я писал, что день портится, но тучи прошли, и день был яркий и знойный. Мы поехали в старый замок Фюрштенштейн,— и я, к моему удивлению, с интере-

* до востребования (*франц.*).— *Ред.*

сом осматривал его 500-летние древности, лазал по лестницам, уставал, тяжело дышал, но не задыхался и не чувствовал боли в груди. Это от теплой погоды. Воротился я, порядочно уставши, с полчаса покашливал в постеле, после чего заснул таким богатырским сном, что не слышал и не подозревал ужаснейшей бури, почти всю ночь свирепствовавшей над Зальцбрунном. Четверг был опять зноен, часа в 2 пополудни была буря с громом, молниею, проливным дождем и ярким солнцем вместе. Потом всё стало холоднее и холоднее. А в день выезда я в теплом пальто чуть не дрожал от холода. Но по выезде из Бреслава в вагоне было душно; а по приезде в Дрезден и в 10 часов вечера тяжело было дышать от жару. Предпрошлую ночь я почти всю не спал, а нынешнюю потому только спал, что окно было отворено, и я даже поутру не проснулся от свежести, покрывшись одною простынею. Однако сегодня день довольно свежий. Прощай, друг мой. Обнимаю тебя и всех вас.

В. Б.

Здравствуй, друг мой Анганга, *je t'aime, ma petite*,* и привезу тебе гостинку за то, что ты слушаешься маму.

Твой папаша.

Чуть было не забыл сказать, что накануне выезда из Зальцбрунна Анненков говорил с Цемплиным обо мне, спрашивал его о диете и пр. Цемплин между прочим сказал ему, что, судя по цвету лица моего, я сильно поправился против того, как приехал в Зальцбрунн. Действительно, я сам не надивлюсь теперь здоровому выражению моего лица.

〈Прписка П. В. Анненкова:〉

Свидетельство

Коллежский секретарь Павел Васильев сын Анненков, у исповеди и святого причастия был, сим свидетельствует, что дворянин Виссарион Григорьев сын Белинский не токмо что не предан земле заживо, как у некоторых подозрение оказывается, но и намерен сему воспротивиться всеми своими силами и с успехом, какой истинному старанию и усердию всегда предлежит. Мы же в отстранение всяких толков сие наше свидетельство даем сколько для признания истины, коей всегда были верный слуга, столько и для того, чтоб персонам, духом смущенным, оно было не токмо в успокоение, но и в надежду лучшего порядка вещей, как из существа дела начинает уже оказываться, в уверение чего и подпись нашу с гербом вместо печати прилагаем. Июля 19-е 1847. Город Дрозды.

Коллежский секретарь и не кавалер Павел Васильев сын Анненков сие свидетельство дано Марье Васильевне Белинской, которой при сем случае датчик поручает себя в воспоминание.

* я тебя люблю, моя маленькая (франц.).— *Ред.*

Анненков хотел это свидетельство утвердить подписью саксонской палаты депутатов, но я уверил, что можно обойтись даже и без его гербовой печати, за которою ему надо было лезть в чемодан. Кланяйся от нас всем нашим знакомым. Один из трех листков последнего моего письма к тебе принадлежит Тютчеву, Некрасову и т. д.² А ты в своем письме ни слова не сказала, что отдала его Языкову.

309. В. П. БОТКИНУ

Дрезден. 7/19 июля. 1847.

Здравствуй, дражайший мой Василий Петрович. Насилу-то собрался я писать к тебе. Вот уже в другой раз я в этом дрянном и скучном Дрездене. Впрочем, это, может быть, и вздор (т. е. что Дрезден дрянной и скучный город, а не то, что я в нем вторично — последнее обстоятельство не подвержено ни малейшему сомнению). Увы, плешивый друг мой, я ездил в Европу только затем, чтоб убедиться, что я вовсе не для путешествий рожден. Был я, например, в Саксонской Швейцарии; на минуту меня было заняли эти живописные места, но скоро мне надоели, как будто я знал и выучил их наизусть давным-давно. Скука — мой неразлучный спутник, и жду не дождусь, когда ворочусь домой. Что за тупой, за пошлый народ немцы — святители! У них в жилах течет не кровь, а густой осадок скверного напитка, известного под именем пива, которое они лупят и наяривают без меры. Однажды за столом был у них разговор о штандах.¹ Один и говорит: «Я люблю прогресс, но прогресс умеренный, да и в нем больше люблю умеренность, чем прогресс». Когда Т<ургенев> передал мне слова этого истого немца, я чуть не заплакал, что не знаю по-немецки и не могу сказать ему: «Я люблю суп, сваренный в горшке, но и тут я больше люблю горшок, чем суп». Этот же юный немец, желая похвалить одного оратора, сказал о нем: «Он умеренно парит». Но всего не перескажешь об этом народе, скроенном из остатков и обрезков. Короче: <...>! В деле суждения о немцах я сделался авторитетом для Анн<енкова> и Т<у>рг<енева>: когда немец * выведет их из терпения своею тупостью, они говорят: «прав Белинский». Что за нищета в Германии, особенно в несчастной Силезии, которую Фридрих Великий считал лучшим перлом в своей короне. Только здесь я понял ужасное значение слов *наперизм*² и *пролетариат*. В России эти слова не имеют смысла. Там бывают неурожаи и голод местами, там есть плантаторы-помещики, третирующие своих крестьян, как негров, там есть

* Далее *зачеркнуто*: сделает ему

воры и грабители чиновники; но нет бедности, хотя нет и богатства. Лениость и пьянство производят там грязь и лохмотья, но это всё еще не бедность. Бедность есть безвыходность из вечного страха голодной смерти. У человека здоровые руки, он трудолюбив и честен, готов работать — и для него нет работы: вот бедность, вот пауперизм, вот пролетариат! Здесь еще счастлив тот, кто может с своею собакою и своими малолетними детьми запрячь себя в телегу и босиком возить из-за Зальцбрунна во Фрейбург каменный уголь. Кто же не может найти себе места, собаки или лошади, тот просит милостыню. По его лицу, голосу и жестам видно, что он не нищий по ремеслу, что он чувствует весь ужас, весь позор своего положения: как отказать ему в зильбергроше, а между тем, как же и давать всем им, когда их гораздо больше, нежели сколько у меня в кармане пфеннигов? Страшно!

Был я в Дрезденской галерее и видел Мадонну Рафаэля. Что за чепуху писали о ней романтики, особенно Жуковский!³ По-моему, в ее лице так же нет ничего романтического, как и классического. Это не мать христианского бога; это аристократическая женщина, дочь царя, *ideal sublime du comme il faut*.* Она глядит на нас не то, чтобы с презрением, — это к ней не идет, она слишком благовоспитанна, чтобы кого-нибудь оскорбить презрением, даже людей, она глядит на нас не как на каналий: такое слово было грубо и нечисто для ее благородных уст; нет, она глядит на нас с холодною благосклонностию, в одно и то же время опасаясь и замараться от наших взоров и огорчить нас, плебеев, отворотившись от нас. Младенец, которого она держит на руках, откровеннее ее: у ней едва заметна горделиво сжатая нижняя губа, а у него весь рот дышит презрением к нам, ракалиям. В глазах его виден не будущий бог любви, мира, прощения, спасения, а древний, ветхозаветный бог гнева и ярости, наказания и кары. Но что за благородство, что за грация кисти! Нельзя наглядеться! Я невольно вспомнил Пушкина: то же благородство, та же грация выражения, при той же верности и строгости очертаний! Не даром Пушкин так любил Рафаэля: он родня ему по натуре.⁴ Понравилась мне сильно картина Микель-Анджело — Леда в минуту сообщения с лебедем; не говоря уже о ее теле (особенно *les fesses***), в лице ее удивительно схвачена мука, смерть наслаждения. Понравилось и еще кое-что, но обо всем писать не хочется.

Еду в Париж и вперед знаю, что буду там скучать. Притом же, чорт знает, что мне за счастье! В Питере, перед выездом, я только и слышал, что о шайке воров с Тришатным и Добры-

* совершеннейшее выражение приличия (франц.).— Ред.

** ягодицы (франц.).— Ред.

ниным во главе;⁵ при приезде в Париж только и буду слышать, что о воре Тесте⁶ и других ворах, конституционных министрах, только подозреваемых, но не уличенных еще вором Эмилем Жирарденом.⁷ O tempora! o mores!* О XIX век! О Франция — земля позора и унижения! Ее лицо теперь — плевальница для всех европейских государств. Только ленивый не бьет по щекам ее. Недавно была португальская интервенция, а скоро, говорят, будет швейцарская, которая принесет Франции еще больше чести, нежели первая.⁸

Прочел я книгу Луи Блана.⁹ Этому человеку природа не отказала ни в голове, ни в сердце; но он хотел их увеличить собственными средствами, — и оттого у него, вместо великой головы и великого сердца, вышла — раздутая голова и раздутое сердце. В его книге много дельного и интересного; она могла бы быть замечательно хорошею книгою; но Блашка умел сделать из нее прескучную и прешошлую книгу. Людовик XIV унизил, видишь, монархизм, эманципировавши церковь во Франции от Рима! О лошадь! Буржуази у него еще до сотворения мира является врагом человечества и конспирирует против его благосостояния, тогда как по его же книге выходит, что без нее не было бы той революции, которою он так восхищается, и что ее успехи — ее законное приобретение. Ух как глуп — мбчи нет! Теперь читаю Ламартинишку и не знаю, почему он на одной странице говорит умные и хорошо выраженные вещи о событии, а на другой спешит наболтать глупостей, явно противоречащих уже сказанному, — потому ли, что он умен только вполонину, или потому, что, надеясь когда-нибудь попасть в министры, хочет угодить всем партиям. Надоели мне эти ракалии: плачу от скуки и досады, а читаю!¹⁰

Я кончил мой курс вод и немного поправился. Но, как, говорят, вода на многих действует гораздо после того, как ее пьют, надеюсь еще больше поправиться. Во всяком случае по приезде в Париж тотчас же обращусь к знаменитому Тира де Мальмор.

Жена писала ко мне, что Кр<аевский> в Москве и остановился у тебя. Поздравляю тебя с новым другом. Найти на земле друга — великое дело, как об этом не раз так хорошо говорил Шиллер, особенно друга с чувствительным сердцем, такого, одним словом, как А. А. Кр<аевск>ий. Говорят, дела сего кровопийцы, высосавшего из меня остатки моего здоровья, плохи и его все оставляют. Если правда, я рад, ибо от души желаю ему всего скверного, всякой пакости. Прощай, Боткин. Кланяйся всем нашим — Кавелину, Грановскому, Коршу, Кетчеру, Щепкину и пр. и пр.

В. Б.

* О времена! о нравы! (Латин.) — Ред.

Париж. 3 августа н. с. 1847.

Письмо твое от 3/15 июля, chère Marie,* я получил в poste restante ** на третий день по приезде в Париж. Хотя ты в нем и не говоришь положительно, что твое положение опасно, но оно тем не менее почему-то произвело на меня самое тяжелое впечатление.¹ Я теперь только о том и думаю, как бы поскорее домой да чтоб уж больше одному не ездить от семейства дальше, чем из Петербурга в Москву. Вообще всё письмо твое дышит нездоровьем. Конечно, к нездоровью пам давно уже пора привыкнуть, как к нормальному нашему положению, но мне почему-то кажется, что ты не совсем в безопасном положении. День, в который новое письмо твое разуверит меня в этом предположении, будет одним из лучших дней в моей жизни. Мне так тяжело и грустно от мысли о твоём здоровье, что не хочется писать о себе, и если я сделаю это, то потому только, что могу сообщить тебе положительно хорошие известия о состоянии моего здоровья и надеюсь рассеять твои болезненные предположения на мой счет.

Я уже писал тебе, что мы с Аппенковым остановились в Дрездене на 4 дня. Там я сшил себе дюжину рубах. Оттуда до Эйзенаха ехали мы по железной дороге. В Эйзенахе остановились ночевать. Поутру осмотрели замок Вартбург, в котором содержался Лютер. В час мы выехали из Эйзенаха во Франкфурт-на-Майне уже в дилижансе, потому что на этом пространстве (140 верст) железная дорога еще не готова. Ехать в дилижансе после железной дороги — пытка: тесно, душно, да еще проклятые немцы курят сигары — тоска, смерть, да и только. Но всякой пытке бывает конец, и часов около 7 на другой день поутру мы приехали во Франкфурт. Тут мы ночевали, а на другой день переехали, по железной дороге, ночевать в Майнц. Из Майнца отправились на пароходе по Рейну. День был гнусный: осенний мелкий дождь, ветер, холод. В каюте душно, на палубе мокро, сыро и холодно; одно спасение в боковой каютке на палубе, но там курители сигар, эти мои естественные враги. Всё это сделало то, что я холодно смотрел на удивительные местоположения, на виноградники, на средневековые замки как реставрированные, так и в развалинах. Вечером прибыли в Кёльн. Когда я сказал Анненкову, что решительно не намерен терять целый день, чтобы полчаса посмотреть на Кёльнский собор, — с ним чуть не сделался удар. Он дико хохотал, всплескивал руками — я думал, что с ума сойдет. Поутру мы

* милая Мари (франц.). — Ред.

** до востребования (франц.) — Ред.

пустились по железной дороге на Брюссель, куда и прибыли вечером. В Брюсселе почевали и провели следующий день, ради усталости от дороги. Были в соборе, куда попали на отпевание покойника. Еще прежде видел я католических попов: верх безобразия! Наши сквернавцы перед ними красавцы; по крайней мере, как заметил Анженков, пикторескны, с их длинными волосами, бородою и широким длинным платьем. А здешние — бритые, коротко остриженные, с трехуголками на голове, в длинном, но узком платье — мочи нет, как гадко. Но служба эффектна, особенно в огромном соборе, когда при пении хора орган отвечает трубе. Ну, да об этом поговорим при свидании. На другой день, в 8¹/₂ часов поутру, отправились мы по железной дороге в Париж, куда и прибыли часов в 6 вечера. Когда еще мы приближались только к французской границе, то уже начали чувствовать сильную перемену в погоде: тепло, почти жарко, а в Париже нашли такую погоду, какой я уже не надеялся нынешним летом и во сне видеть. Переодевшись, поехали мы к Герцену; там все были так рады нам, особенно эта добрейшая Марья Федоровна Корш. Проболтали часов до 12. На другой день (в пятницу, 30 июля) один из моих парижских друзей должен был привести ко мне Тира де Мальмор: однако явился без него, потому что, ждавши его несколько часов, едва мог переговорить с ним несколько минут и взять с него слово приехать с ним завтра ко мне. От этого прожdanья не успели мы съездить на почту; впрочем, оттого больше, что не знали, что почта открыта только до 4 часов вечером. Пошли в Тюльери. Меня с первого взгляда никогда и ничто не удовлетворяло — даже Кавказские горы; но Париж с первого же взгляда превзошел все мои ожидания, все мечты. Тюльерийский дворец, с его площадью, обсаженною каштанами, с его террасою, с которой смотришь на place de la Concorde* (что прежде была площадь Революции), с ее обелиском, великолепными фонтанам — это просто, братец ты мой, Шехеразада. Вечером поехали мы (Гер<цен> с Нат<альей> Алекс<андровной>), я и Анженков) в Пале-Рояль: новое чудо, новая Шехеразада! Представь себе огромный четверугольник залитых огнем роскошных магазинов, а в середине каштановый лес с большим бассейном, в центре которого бьет, в форме плакучей березы, огромный фонтан! Вечер был до того тепел, что так и тянуло стать под самый фонтан, чтоб освежиться его холодными брызгами. Но обо всем этом лучше говорить, чем писать.

На другой день (в субботу), часу в 12, приехал доктор. Долго, внимательно слушал он меня, а потом сказал, что нет никакого сравнения моего положения с положением, в котором он

* площадь Согласия (франц.).— Ред.

начал лечить m-ше Языкову,² что он несколько не считает меня опасным больным и надеется в 1 1/2 месяца не только восстано-вить мою грудь, но и вогнать меня в тело, т. е. заставить по-толстеть и пожиреть.

Августа 4.

Вчера я писал, словно пьяный или как будто во сне: меня мучила тошнота от лекарства, и потому не удивляйся нескладице моего языка. Продолжаю. Доктор объявил затем, что мне надо жить не в Париже, а в *maison de santé*, в Passie,* предме-стии Парижа. Причины: там лучше воздух, а в Париже нельзя еще и вести правильного образа жизни, тогда как мне следует ло-житься не позже 10 ч. вечера, а вставать раньше. Отнял у меня кофе, говоря, что он раздражает нервы и вредит легким. Он на-шел, что у меня в легких есть два завала, оба в плечах, но что завал правого плеча незначителен, а надо обратить внимание на завал левого плеча и разбить его. Действительно, еще в Зальцбрунне я не раз говорил Т<ургеневу> и А<нненку>ву, что мне нельзя лежать ни на котором боку, потому что от этого делается у меня болезненное сжатие в груди. Я сказал ему, что, по словам моего доктора, у меня были раны на легком тут-то, и указал ему место; он точас бросился слушать и сказал, что, действительно, раны были, но что они совершенно затянулись и теперь уже ничего не значат в моей болезни. Прописавши ле-карства и давши адрес дачи, он уехал. Мы поехали с Тургене-вым (который словно с неба свалился к нам на другой день на-шего приезда в Париж) на почту, где я получил твое письмо и от Некрасова,³ а Т<ургенев> получил 7 № «Современника». Письмо твое нагнало на меня сильную тоску, как я уже говорил тебе. Перед тем как ехать на почту, я принял микстуры и пи-люлю, а потом повторил это на ночь — и на утро мой кашель был уже легче. В воскресенье мы с Анн<енковым> приехали в Пасси. Через полчаса приехал туда и Тург<енев>. Они про-были у меня часа 4, до приезда доктора. Я выбрал себе комнату по вкусу, очень уютную и спокойную. Когда я остался один, на меня напала спячка, продолжающаяся до сих пор. В поне-дельник доктор прибежал ко мне три раза. Во 2-ой раз он при-шел, узнавши, что у меня Анненков. Толкует, хлопочет, мечется; такого внимания и вообразить трудно. Сам положил мне пла-стырь на левое плечо; сам носит жаровню с горячими угольями, на которые сыплет какой-то порошок, запах которого сильно походит на ненавистный мне ладан. И я должен вдыхать в себя эту мерзость при закрытых окнах.** Третьего дня я начал

* санатории, в Пасси (франц.).— Ред.

** Далее зачеркнуто: Вчера я в первый раз

принимать его радикальное, им изобретенное лекарство — *eau pectorale dissolvante*,* — и вот уже другое утро, как я ни разу не кашлянул, в первый раз после стольких лет! (Днем же я уже несколько дней, как не кашляю). Только от этого лекарства тошнит — в нем есть что-то ядовитое. Вчера m-г Tirat** сказал Анненкову, послушав меня, что он вылечит меня уже не в 1½ месяца, а в 15 дней, потому что лекарство на меня действует удивительно.

Из этого ты видишь, что я бросился к Tirat не по нежеланию пить воды в Эмсе. О водах в Эмсе мне Тильман ничего не говорил, а Цемплину я не верю не потому, что он получает 50 000 талеров, а потому, что он шарлатан, невежда и мошенник. А что Тильман меня послал к нему, это очень просто: больные не к кому было послать: на этих водах всего два доктора, один шарлатан и невежда, но не дурак, а другой и шарлатан, и невежда, и дурак вдобавок. Я уже не говорю о том, что Тильман для меня совсем не то, что Магомет для музульман. Он прекрасный доктор и прекрасный человек, но из этого не следует, чтобы все люди, с которыми он связан знакомством и которых он хвалит, ходили на него, и чтобы он не мог ошибаться. Я обратился к Tirat, как к известному в Европе специально для грудных болезней доктору, изобретшему новое и самое действительное против чахотки средство, тайну которого он хранит для себя. Я не имею ни малейшего желания умереть, а, напротив, имею сильное желание жить; сверх того, я обязан семейством стараться о сохранении моей жизни. Теперь: хорош бы я был, если б предпочел г. Цемплина, доказавшего мне свое невежество и свое невнимание к больным, г-ну Тира, о котором Анненков рассказывал мне чудеса, которых очевидным свидетелем он был сам, ежедневно посещая m-ше Языкову. Но твое болезненное воображение и тут умело сочинить целую небывалую историю, чтобы мучить себя. Ты *вообразила*, что Языкова лечилась года полтора и т. д. Слушай же, как она лечилась. Она целые дни палила и жгла папиросы, несмотря на строжайшее запрещение Tirat, сама их приготавливала на машинке, сидя над кучею табаку и вдыхая в себя его ядовитую пыль. Вместо того, чтобы ложиться в 9 и в 10 часов, она просиживала ночи до 5 часов. Сверх того, она считает себя большим знатоком в медицине и, лечась лекарствами Тира, принимала еще и свои. А лечилась она у него не 1½ года, как пишешь ты, а только одну зиму, — и несмотря на всё это, несмотря на то, что он нашел ее готовую умереть через три дня, — он отпустил ее в Россию почти здоровою. Ведь это уже не просто лечение,

* вода грудная растворяющая (франц.).— *Ред.*

** г-н Тира (франц.).— *Ред.*

а что-то вроде чуда! Нет, что касается до меня, у меня есть какое-то глубокое убеждение, что Tirat сделает меня совершенно здоровым, приведет в лучшее положение, нежели в каком я был лет 5 назад.

Ты всё думаешь, что я бросился в Париж для удовольствий, для кутежа; а если бы не слова Анненкова о Tirat, так я из Зальцбрунна бросился бы сломя голову в Петербург. Я уверен, что ты думаешь теперь, что я уже и бог знает как повредил себе разными наслаждениями и вином и прочим; но я — мое тебе честное слово — до сих пор ни капли вина в рот не взял, а о прочем, может быть, и не подумал ни разу. Я совсем не так жаден к удовольствиям, как ты думаешь, и если я действительно несколько повредил себе вином прошлое лето, — так это вина не моя, а Тильмана: скажи он мне, что у меня были раны на легких и что я легко при невоздержании могу дойти вот до таких-то и таких-то последствий, — да мне насильно никто не впустил бы в рот капли вина. Вот и с этой стороны мне Tirat особенное внушает к себе доверие: он сказал, что считает долгом обманывать только таких больных, которые неизлечимы и близки к смерти; но что, как скоро есть какая-нибудь надежда на излечение, он никогда не скрывает от больного его положения, но говорит ему самую правду, а уж тот веди себя сам как хочет. Как только Tirat выпустит меня из своего *maison de santé* * и скажет мне, что ему больше нечего делать со мною, — сейчас же скачу домой, и если промедлю недельку в Париже (мне хочется посмотреть на театры), то в таком только случае, если известия от тебя будут благоприятны.

Насчет шерстинки ты не так меня поняла: ее надо Оле носить постоянно, как предохранительное от горловой простуды средство, а не надевать временно, как лекарство. Я в нее не верю, потому что сам не ношу. Впрочем, Tirat надел на меня нечто похуже шерстинки: фланелевую фуфайку, и велел ее всю жизнь, и днем и ночью, и зимою и летом, носить под рубашкою! И я уже надел. Вчера был день холодный, так ничего, а сегодня опять жар — так мочи нет, да еще пластырь рвет грудь.

За комнату, стол и прислугу я плачу 200 франков в месяц. Лечение с лекарствами обойдется, вероятно, столько же. У дома сад, а из саду калитка ведет в Булонский лес. Обедаю я в 6 часов вечера, завтракаю часов в одиннадцать. Кофею не пью. Что это делается с Агриппиною? Впрочем, там, где в июне месяце 12 градусов тепла — редкость, мудрено быть здоровыми. Ты мне ни слова не пишешь, лечитесь ли вы? Спасибо

* санатория (франц.). — Ред.

тебе за подробности об Ольге Висаеновне Гъиголевне: они меня много порадовали.

Анненков ездит ко мне каждый день. Сегодня я поеду к нему обедать: это мне позволено, лишь бы возвращаться домой часу в десятом. Лекарство же я принимаю только по утрам да на почь, а днем свободен. А что касается до знакомства с кондрашкою, то Анненков сам давно знает, что ему едва ли миновать его.

Скажи Тютчеву, что в одном со мною доме будет жить осужденный ех-министр Тест;⁴ он знает, о ком идет дело, и тебе объяснит. Кланяйся всем нашим знакомым, кого увидишь. Ровно через неделю после получения этого письма ты получишь другое. Боюсь я, что долгое неполучение этого письма тебе наделает много зла. А что же мне было делать? Дорогою не до писанья, а из Парижа хотелось написать что-нибудь положительное. Затем, прощай. Обнимаю и целую всех вас.

Твой В. Белинский.

311. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Париж. 14 августа н. с. 1847.

Мне почти нечего и не о чем писать к тебе, chère Marie.* И потому пишу больше потому, чтобы ты не беспокоилась обо мне. Я обещал в прошлом письме послать тебе следующее ровно через неделю; но это как-то не удалось. Я всё ждал письма от тебя, сам не знаю, почему, а всё ждал. Не получая давно известий от тебя, я по этой причине порядочно беспокоюсь и скуечаю; но пока еще не теряю духа. Здоровье мое видимо поправляется. Я могу сказать тебе положительно и утвердительно, что теперь чувствую себя в положении едва ли не лучшем, нежели в каком я был до моей страшной болезни осенью 1845 года; если же не в лучшем, то уже и нисколько не в худшем. Кашлю почти нет вовсе, а если и случится иной день раз закашляться,— это так легко в сравнении с прежними припадками кашля, что и сказать нельзя. Иные же дни не случается кашлянуть ни разу — чего со мною уже сколько лет как не бывало! Лучшее всего то, что меня оставил утренний кашель, самый мучительный, как ты должна это помнить. Теперь я по утрам только харкаю и отхаркиваюсь без труда и усилия, но уже не кашляю вовсе. Прежде меня мучило такого рода ощущение в груди, как будто мои легкие засыпаны песком,— теперь этого ощущения нет вовсе — я дышу свободно и могу вздохнуть глубоко. Еще недавно при глубоком вздохе я чувствовал боль

* милая Мари (франц.).— Ред.

в боках, под ребрами — теперь и это проходит. Вообще со стороны дыхания я в лучшем положении, нежели в каком был в 1844 году. Вот тебе все новости о моем здоровье. Сплю, как убитый, ем славно. Только желудок по временам бывает расстроен; но это явно действие лекарств, которые я принимаю. Что делать! Леча одну болезнь, медикаменты производят другую, но это зло временное. Даже головная боль, появившаяся у меня прошлую осенью при установке книг, проходит видимо. Итак, что касается до меня, всё хорошо. Скучаю сильно, хочется скорее домой, надоело шататься; беспокоюсь о вас, боюсь получить дурное известие; но, — за исключением этого, я в таком положении, в котором желал бы и вам быть.

В прошлом письме я забыл тебе ответить насчет переезда в Москву. Этот вопрос я предоставляю вполне на твое решение: как хочешь, так тому и быть. Пожалуй даже хоть и вовсе не переезжать. В последнем случае мне жаль только того, что я продал шкапы. Но что ж делать!

Ах, как мне хочется видеть Олю — мочи нет. Но пока целую ее заочно. Прощай. Пиши ко мне, и если б ты могла написать мне насчет своего здоровья такие же хорошие вести, как я тебе насчет моего, больше я ничего бы не желал. Что Агриппина? Лучше ли хоть ей? Прощай.

Твой В. Б.

⟨Адрес:⟩ М. В. Беллинской.

На Петербургской стороне, в Гребецкой улице,
в доме Пекмарю, против Второго ⟨кадетского⟩ корпуса.
Настасья Петровна Евсева.

312. М. В. БЕЛЛИНСКОЙ

Париж. 22 августа ⟨н. с.⟩ 1847.

В прошлую среду (18 августа) неожиданно получил я твое письмо, *chère Marie*,* которого так долго ждал. Паспорт мой постоянно находится у Анненкова, чтобы он мог брать мои письма на *poste restante*.** Герцен с Н⟨атальей⟩ А⟨лександровной⟩ и сыном уехал в Гавр;¹ его сыну доктор предписал брать морские ванны. Марья Федоровна Корш осталась одна с Наташею.² В среду приезжаю к ней; через час является Анненков и подает мне твое письмо. Еще за неделю перед тем он подал мне также письмо, но то было от Гоголя.³ Я и на этот раз боялся, не от чужих ли от кого. Что сказать тебе о впечатлении, которое произвело на меня и это письмо? Из него я увидел, что ты

* милая Мари (франц.). — Ред.

** до востребования (франц.). — Ред.

продолжаешь быть больною и что болезнь твоя серьезна: ею отзывается каждое слово твоего письма и ты высказываешь о ней больше, нежели сколько хочешь высказать. Я не хочу говорить, как это на меня действует. Удивляюсь только тому, что ты ни слова не пишешь о том, лечишься или нет, бывает у тебя Тильман или нет.

Что касается до меня,— я, конечно, еще не выздоровел, но, тем не менее, нет никакого сравнения с тем, что я был еще недавно, еще в Зальцбрунне, и чем я стал теперь. Капель еще есть, хоть он бывает редко и его припадки очень слабы, но бывает — не хочу тебя обманывать ложными известиями. Но не забудь, что по утрам кашля у меня *вовсе* не бывает; а ты помнишь, что по утрам у меня были постоянные и сильные припадки кашля. Они продолжались и в Зальцбрунне и дорогою; прекратились же дня через три после того, как я начал лечиться у Тира. Если же теперь бывает капель, то не в определенное время, а как-то нечаянно, неожиданно (и не по утрам); иногда его дня по два, по три *вовсе* не бывает. Вот, например, дня два назад стояла в Париже такая знойная погода, что я два вечера трудно засыпал, метаясь в постели и чувствуя, что мне недостает воздуха для дыхания. Этот нестерпимый зной произвел некоторое раздражение в моих легких, и я эти два дня покашливал изредка и слегка,— при чем чувствовал, что головная стукотня еще не прошла у меня. Вот тебе вся правда о моем кашле; тут нет ни йоты преувеличенной или уменьшенной. Но ты ведь хорошо знаешь, что я страдал не одним кашлем, но еще и одышкою, что я не мог быть в лежащем положении, особенно не мог лежать на спине — как, бывало лягу, так и закашлиюсь; что дышать для меня было трудом, работою, да еще тяжелою, что я беспрестанно чувствовал, что мои легкие как будто засыпаны мукою или мелкою пылью. Что касается до одышки, она еще есть и теперь; но уже не такая, как была прежде — постоянная и беспричинная: теперь если она бывает, то от усталости, от лестницы, от иного движения, если и не трудного, то быстрого (особенно от наклонения корпусом к полу, чтоб поднять что-нибудь). И притом, эта одышка до того легка в сравнении с преждею, что я ее почти не замечаю, тем более что иногда по целым дням *вовсе* не испытываю ее. В лежащем положении мне теперь так же удобно, как и в стоячем; и я могу по нескольку часов сряду лежать на спине, не чувствуя ни малейшего раздражения или стеснения в груди и позыва к кашлю. Дышу я теперь легко, а в погоду теплую и несколько сырую даже наслаждаюсь процессом дыхания; и ни в какую погоду уже не чувствую, чтобы мои легкие были засыпаны какою-нибудь дрянью. Последнее радует меня больше всего,— и в этом отношении я чувствую себя решительно и положитель-

но лучше, нежели как я был весною и летом 1845 года, до моей страшной болезни. По временам чувствую некоторую боль в груди, но эта боль имеет особенный характер: она не только легка, даже приятна, как всякая боль после ушиба или раны, когда больное место уже залечено, но еще отзывается старою болью. Вот тебе самый подробный и верный отчет о состоянии моего здоровья. Закрываю: я еще не выздоровел, но крепко и видимо выздоравливаю. Узнать же, выздоровел ли я, можно только проведя осень и зиму в Петербурге.

Во вторник (накануне получения от тебя письма) у меня обедали Анненков и Тургенев. Кухарка, подавая кушанье, сказала им, что доктор просит их не уезжать, не переговоривши с ним. Он всегда рад моим друзьям, потому что с ними ему объясняться, конечно, легче, чем со мной. Пришедши, он объявил, qu'il me regarde comme guéri* и что я могу, если хочу, переехать в Париж. При этом удивлялся скорому на меня действию лекарств. Я сказал, что перееду через неделю. И послезавтра я, действительно, перееду в Париж, в соседи Анненкову. (А потому, на это письмо, когда будешь отвечать, адресуй на имя Анненкова, rue Caumartin, 41, с передачею мне. Это лучше, чем *poste restante*,** да и если бы случилось, что последнее письмо твое не застало бы меня в Париже, оно всё бы не пропало, потому что Ан<ненков> мог бы переслать его). Я очень рад моему переезду в Париж, потому что в Passy*** скучаю страшно и время тянется для меня ужасно медленно,— для избежания чего я часто езжу в Париж. Впрочем, переездом в Париж ни мое лечение, ни мой régime**** не прекращаются. Я буду по мере надобности видаться с m-г Тира*****. В Париже я думаю прожить до 15 сентября, т. е. по-вашему до 3 сентября. Я ведь вовсе не видал Парижа, не был ни разу в театре, не ездил ни в Версаль, ни в Сен-Клу, ни в другие замечательные места. Если бы Герцен утащил меня в какую-нибудь поездку подальше и известия от тебя были бы успокоительнее, я, может быть, остался бы в Париже и до 1 октября (т. е. по-вашему до 18 сентября) и вот, главное, в каком расчете: от Парижа до Берлина идет железная дорога, которая в Ганновере перерывается 30-ю часами езды в дилижансе, а к октябрю этого перерыва не будет, ибо на этом клочке откроется железная дорога. Это, впрочем, предположение; всего вероятнее, что я не утерплю и отправлюсь 15 сентября н. ст. Но если бы я пробыл до октября, то единственно по причине ужаса, какой

* что он на меня смотрит, как на выздоровевшего (франц.).— Ред.

** до востребования (франц.).— Ред.

*** Пасси (франц.).— Ред.

**** режим (франц.).— Ред.

***** г-н Тира (франц.).— Ред.

вдыхает в меня одна мысль о 30-ти часовой пытке в дилижансе. Страх дилижанса во мне так велик, что я еду из Берлина на Штеттин, а оттуда морем вплоть до Питера, рискуя подвергнуться всем возможным качкам. Если б я не оставил моей шубы в Берлине, может быть, я решился бы 15 сентября н. с. отправиться в Гавр (4 часа езды по железной дороге), а оттуда* морем до дому — 8 суток. И потому всего вероятнее, что я поеду 15 сентября на Берлин, несмотря на 30 часов езды в дилижансе. Но путь мой лежит уже не через Дрезден. Впрочем, в Брюсселе голландское полотно не дороже, чем в Дрездене; но для этого надо будет остановиться на сутки или больше, чего сохрани боже! И потому, если можно будет, я в Париже куплю эту гостинку Оле; разница в цене будет небольшая, ибо в Париже дорого питье, а не материал. Что же касается до твоего желанья на будущее лето быть за границею, об этом теперь распространяться рано, и потому скажу коротко, что употреблю для этого все силы и что если будет какая-нибудь возможность, то непременно всею семьею уедем, хоть месяца на три, за границу. А что Агриппина учит Ольгу ругаться, это мне вовсе не нравится. Заметь, что Ольга называет ее «пожилою девкою» не просто, а когда рассердится. Это дурно. Слову «чудище» нечего удивиться: она могла его слышать от каждой из вас и запомнить. Ребенок должен знать только слова ласки и привязанности, а не брани. Я очень верю, что Агриппина в восторге от таких выходов Оли: это совершенно в ее эксцентрическом характере; но я не понимаю, ты-то чему нашла тут радоваться?

Ты пишешь, что Панаев и Некрасов были у тебя, а не пишешь, взяла ли ты у Некрасова денег. Я получил от В. П. Б(отки)на письмо, в котором он говорит, что 1000 р. асс. тебе будет им непременно доставлена.⁴

Говоря о моем здоровье, я забыл сказать, что у меня так же не бывает кашлю, когда я ложусь спать, как и поутру, и что в силах я себя чувствую, по крайней мере, не хуже того, как я чувствовал себя в 45 году до болезни. Всё это суцая правда, без всякого преувеличения. Пиши и ты о себе суцую правду, какова бы она ни была.

Забыл я еще сказать тебе, что и на зиму в Питер Тира снабдит** меня своими лекарствами. Затем прощай. Кланяюсь Агриппине и целую Олю.

Твой В. Б.

Кланяйся от меня Мариане и поздравь с замужеством. Вот тебе и нянька Оли! Где вы найдете такую?

* *Далее зачеркнуто:* прямо

** *Первоначально:* отпустят

Париж. 3 сентября п. с. 1847.

Еще в прошлую субботу думал ехать в *poste restante*,* но расчел, что рано — нет еще двух недель от получения тобою моего первого письма из Парижа. Зато в понедельник — ровно две недели — приезжаю и спрашиваю письма на мое имя с полною уверенностию, что получу его; а вышло, что нет. В среду не удалось съездить; но вчера (четверг) получил. Спасибо тебе за него; оно успокоило меня. Ты бранишь меня, что я вообразил тебя умирающею. Вообразишь, братец ты мой, поневоле, читая твои письма. Но что толковать об этом. Если ты действительно не так больна, как я воображал, — этого мне и нужно. Конечно, еще было бы лучше, если б ты вовсе не была больна и совершенно была здорова; но, за неимением лучшего, хорошо и не совсем худое.

Состоянием моего здоровья я продолжаю быть довольным, хотя погода вот уж около недели стоит подлейшая. Сегодня решительная осень: даже Анненков, одаренный от природы шубою из толстого слоя жиру, выходил сегодня в теплом пальто. А меньше, чем за неделю назад, были жары невыносимые, по крайней мере для меня, потому что даже вечером я чувствовал, что мне недостает воздуха для дыхания, так как воздух в жаркую погоду сух и жидок. Но всё это еще бы ничего; худо то, что северный климат опасен мне не столько холодом, сколько этими быстрыми, неожиданными, крутыми переломами погоды. Вот где я обыкновенно простужаюсь и от чего я получил непрерывный катар, который чуть не обратился в чахотку. И вот почему я желал переехать на житье в Москву. Климат московский не только не теплее, но я думаю, что еще холоднее петербургского; но он постояннее, менее изменчив и капризен, а оттого менее опасен мне. Признаюсь, я сильно боюсь Питера.

Я думал ехать домой 15 сентября (по-вашему 3 сентября); Тургенев обещал проводить меня до Берлина и, пожалуй, до Штеттина; но на Тург<енева> плоха надежда — вот он показался было на несколько дней в Париже, да и опять улизнул в деревню к Виардо.¹ Обстоятельства заставляют воротиться домой Н. П. Боткина, и он мне сказал было, что едет тоже 15 сентября, чему я, разумеется, очень обрадовался; но третьего дня он сказал мне, что нельзя ли еще недельку утянуть, потому что его жена заказывает для себя разные вещи. Конечно, лучше мне ехать через три недели с кем-нибудь из знакомых, нежели через две одному; но я боюсь, чтобы вместо одной недели не потерять, по крайней мере, двух; тогда как мне решительно

* до востребования (*франц.*). — *Ред.*

нечего делать в Париже, страх наскучило и домой тянет страшно. Да мне и опасно долго оставаться в Париже: здешняя осень и зима, с каминами вместо печей, с комнатами без зимних рам, не по мне. Кроме того, Н. П. Боткин любит ездить с отдыхами. Например, можно взять билет на железную дорогу от Парижа прямо до Кёльна,— и в таком случае до Кёльна на таможенных чемоданов смотреть не будут; но, как надо ехать часов 22 без отдыха, то, несмотря на его отвращение к таможенным осмотрам, он возьмет билет только до Брюсселя, где будет отдыхать. Боюсь я, что с этими отдыхами мы проедем до Берлина дней десять или и больше, вместо каких-нибудь пяти дней. И потому, если Тург<енев> приедет в Париж около 15 числа и попрежнему будет предлагать провожать меня,— я думаю, что уеду с ним. Но из этого ты всё-таки сама можешь видеть, что я не могу назначить тебе с точностью дня моего отъезда и сделаю это в следующем письме, которое будет последним моим письмом к тебе из-за границы,— особенно, если не придется прожить несколько дней в Берлине, дожидаясь отхода парохода,— а не то, так напишу еще из Берлина. Во всяком случае, на это письмо ты мне уже не отвечай, ибо мудрено, чтобы твой ответ застал меня в Париже.

Поклон твой Н. А. Герцен я передал; она благодарит тебя и кланяется тебе. Она попрежнему худа на вид, но уверяет, что чувствует себя хорошо. Насчет же того, что она скучает в Париже,— не знаю, кто тебе сказал, но сказал неправду. Что ей скучать — ведь они путешествуют всею семьею, с детьми.

Больше писать не о чем, и чем ближе к отъезду, тем больше не хочется писать. Прощай. Обнимаю и целую всех вас, а Ольге Виссарионовне еще, сверх того, и нижайше кланяюсь. Анненков тебе кланяется.

Твой В. Белинский.

314. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Париж. 22 сентября <н. с.> 1847.

Второе письмо мое к тебе было вложено в письмо к Некрасову; уже с лишком пять недель, как оно отправлено. Но вот уже ровно 31 день, как послал я к тебе мое третье письмо, прося адресовать его на имя Анненкова.¹ И до сих пор нет ответа. В ожидании его я нарочно промедлил в Париже дня три. Что это значит? Боюсь отвечать себе на этот вопрос. Сегодня отдам это письмо на почту, завтра пойдет оно в Петербург,— и завтра же выезжаю и я сам из Парижа. Письмо мое * должно упре-

* Далее зачеркнуто: во всяком

дить меня, потому что мне придется, может быть, ждать в Берлине несколько дней (сколько именно — не знаю), когда пойдет пароход. Попроси кого-нибудь из наших повидаться с Гопчаровым и попросить его, нельзя ли ему доставить мне некую протекцию в таможене.² Это, я думаю, не мудрено, потому что все мои товары состоят единственно в игрушках Оле. Наталья Александровна Г(ерцен) посылает ей, от имени своей дочери Таты (Наташи) великолепную игрушку с музыкою; от себя — платье; Марья Федоровна Корш — швейцарский дом. Я купил кое-какой дряни, франков на десяток.

Здоровье мое в хорошем положении. Больше писать не о чем, да и некогда. Если буду иметь счастье обнять вас всех живых и здоровых, тогда расскажу всё, чего в письмах не перепишешь. Прощай, до скорого свидания, друг мой.

Твой В. Б.

Если в Берлине мне придется прожить больше трех дней, то буду писать оттуда.

315. П. Р. АННЕСКОВУ

Берлин. 29 сентября <н. с.> 1847.

Вот я и в Берлине, и уже третий день, дражайший мой Павел Васильевич. Приехал я сюда часов около 5-ти, в понедельник. Надо рассказать Вам мой плачевно-комический вояж от Парижа до Берлина. Начну с минуты, в которую мы с Вами расстались. Огорченный неприятною случайностию, заставившею меня ехать без Фредерика,¹ и боясь за себя остаться в Париже, заплативши деньги за билет, я побежал к поезду и задохнулся от этого движения до того, что не мог сказать ни слова, ни двинуться с места, я думал, что пришел мой последний час, и в тоске бессмысленно смотрел, как двинется поезд без меня. Однако минуты через три я пришел немного в себя, мог подойти к кондуктору и сказать: *première place*. * Только что он толкнул меня в карету и захлопнул дверцы, как поезд двинулся. Я пришел в себя совершенно не прежде, как около первой станции. Тогда овладели мною две мысли: таможня и Фредерик. Спать хотелось смертельно, но лишь задремлю — и греза переносит меня в таможню; я вздрагиваю судорожно и просыпаюсь. Так мучился я до самого Брюсселя, не имея силы ни противиться сну, ни заснуть. Таково свойство нервической натуры! Что мне делать в таможене? Объявить мои игрушки? Но-

* первое место (франц.).— Ред.

для этого меня ужасали 40 фр. пошлины, заплаченные Герценом за игрушки же. Утаить? Но это вещи (особенно та, что с музыкою) большие — найдут и конфискуют. Это еще хуже 40 фр. пошлины, потому что (и об этом Вы можете по секрету сообщить Марье Федоровне и Наталье Александровне) я очень дорожу этими игрушками, — и когда подумаю о радости моей дочери, то делаюсь ее ровесником по летам. Где ни остановится поезд, всё думаю: вот здесь будут меня пытаться, а Фредерика-то со мною нет, и чорт знает, кто за меня будет говорить. Наконец, действительно — вот и таможня. Ищу моих вещей — нет. Обращаюсь к одному таможенному: *Je ne trouve pas mes effets. — Où allez-vous? — A Bruxelles. — C'est à Bruxelles qu'on visita vos effets.** — Ух! словно гора с плеч — отсрочка пытке! Наконец я в Брюсселе. «Нет ли у вас товаров — объявите!» — сказал мне голосом пастора или исповедника таможенный. Подлая манера! коварная, предательская уловка! Скажи — нет, да пойдет — вещь-то и конфискуют, да еще штраф сдерут. Я говорю — нет. Он начал рыться в белье, по краям чемодана, и уж совсем было сбирался перейти в другую половину чемодана, как чорт дернул его на полвершка дальше засушить руку для последнего удара — и он ощупал игрушку с музыкой. Еще прежде он нашел сверток шариков — я говорю, что это игрушки, безделушки, и он положил их на место. Вынувши игрушку, он обратился к офицеру и донес ему, что я не рекламировал этой вещи. Вижу — дело плохо. Откуда взялся у меня французский язык (какой — не спрашивайте, но догадайтесь сами). Говорю — я объявлял. — Да, когда я нашел. — Офицер спросил мой паспорт. Дело плохо. Я объявил, что у меня и еще есть игрушка. Я уже почувствовал какую-то трусливую храбрость — стою, словно под пулями и ядрами, но стою смело, с отчаянным спокойствием. Пошли в другую половину чемодана; достали игрушку М(арьи) Ф(едоро)вны. Разбойник ощупал в кармане пальто коробочку с оловянными игрушками. Думаю — вот дойдет дело до вещей Павла Васильевича. Однако дело кончилось этим. Офицер возвратил мне паспорт и потребовал, чтоб я объявил ценность моих вещей. Вижу, что смловались и дело пошло к лучшему — и от этого опять потерялся. Вместо того, чтобы оценить 1-ю игрушку в 10 фр., 2-ю — в 5, а оловянные в 1¹/₂, — я начал толковать, что не знаю цены, что это подарки и что я купил только оловянные игрушки за 5 фр. Пospоривши со мною и видя, что я глуп до святости, они оценили всё в 35 фр. и взяли пошлины — 3¹/₂ франка. Так вот из чего я страдал и мучился столько — из трех с половиною

* Я не нахожу моих вещей. — Куда вы едете? — В Брюссель. — В Брюсселе и будут осматривать ваши вещи. (Франц.) — Ред.

франков! Чемодан Фредерика оставили в таможене. Вышел я из нее, словно из ада в рай. Но мысль о Фредерике всё-таки беспокоила. Однако ж в отеле тотчас расспросил и узнал, что поезд из Парижа приходит в 8 часов утра, а в Кёльн отходит в 10¹/₂. Поутру отправился я на извозчике в таможеню, нашел там моего *bon homme** в крайнем замешательстве на мой счет и привез его с чемоданом к себе в трактир. До Кёльна ехал уже довольно спокойно. Думаю: Бельгия — страна промышленная, со всех сторон запертая для сбыта своих произведений — стало быть, таможни ее должны быть свирепы; но Германия — страна больше религиозная, философская, честная и глупая, нежели промышленная: вероятно, в ней и таможни филистерски добры. Но когда очутился в таможене, то опять струсил от мысли: где меньше ожидаешь, там-то и наткнешься на беду; игрушки-то я уже объявлю, да чтоб вещей Анненкова-то не нашли бы. А кончилось только осмотром Фредерикова чемодана и ящика с лекарствами. В мой чемодан плут-таможенный и не заглянул, но, схвативши его, понес в дилижанс, — за что я дал ему франк. Поутру ехать надо было рано. Встали во-время и убрались. Но Фредерик сделал глупость — уверил меня, что до железной дороги близехонько, и мы пошли пешком, перешли по мосту через Рейн и еще довольно прошли в гору до места. Я еле-еле дотащился. Но беда этим не кончилась — пожитки наши повез носильщик; звонят во второй раз, а их нет! Фр(едерик) бросился в кабриолет и поехал навстречу нашим чемоданам. Я пошел в залу, но ее уже затворяли, и я, только показавши билет, заставил себя пустить. Вообразите мою тоску! Иду на галерею: там всё отзывается последнею суетою. Слышу — звонят в 3-ий раз; бегу в залу — о радость! — Фр(едерик) весит пожитки. Я сел — и видел, как пронесли наши чемоданы. Я решился брать везде первые места, чтоб не страдать от сигар и не жить там, где живут другие. Из Гама до Ганновера я проехал лучше, чем ожидал. Во-1-х, ехали мы не 30 часов, а ровно 24 ¹/₄; во-2-х, Фред(ерик) как-то умел всегда пихнуть меня в купе, где и просторно, и светло, и свежо. А это было нелегко, потому что на каждой станции дилижансы переменялись, чорт знает зачем. Только последнюю станцию сделал я внутри дилижанса, как будто для того, чтобы понять, от какой муки избавил меня Фред(ерик) на ночь. Вообще, в этот переезд он был мне особенно полезен, и без него я пропал бы. В воскресенье ночевали в Брауншвейге, где, сверх всякого чаяния, я опять наткнулся на таможеню. Но тут я уже был совершенно спокоен, потому что не спрашивали, а осматривали молча; вынули большую игрушку, свесили, и взяли с меня 7 зильбер-

* доброго малого (франц.).— *Ред.*

Берлин. 29 сент. 1847. Вот и я от Берлина, и уже
теперь дею, джизмашии мой Роберт Ваульке,
приехал я сюда около 5-ми, и немедленно
иду докладывать вам мои, намеренно-комме-
сией видяю, что пишуна в том Берлине, которую
в минуту, а так и в обилие раздала. Опы-
теным креститным суровым стило, желованно
мене поразило сест. Фредерика, и более за себя
вспомнил от П-ми, пожелованно делами за
делами, и побоялись в поводу, и задумываю
от того стилием в том, что не могу
сказать ни слова, ни двинувшись от слова,
и думать, что пишуна мой писем дин? так, и
от слова, делами стило стило, как два
конец поводу сего мене. Опять пишуна в
тому я пишуна делами от себе, мой пишуна
за контрасту и делами: premiere place. От
меня это от пишуна мене от пишуна
и делами пишуна, как пишуна
я пишуна от себе делами не пишуна, как
один пишуна пишуна пишуна пишуна пишуна
два пишуна: пишуна и пишуна. Стало
вот пишуна пишуна, и пишуна пишуна-
и пишуна пишуна мене от пишуна,
делами пишуна пишуна и пишуна пишуна,
конец пишуна и в пишуна пишуна, как
конец пишуна и пишуна пишуна, как пишуна.

Автограф первой страницы письма Белинского к П. В. Анненкову
от 29 сентября 1847 г.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР.

грошей. Тем и кончилось. В Кёльне и Брауншвейге Фр(едерик) ночевал в одной со мною комнате, и это было хорошо — он во-время будил меня, да и вообще по утрам был мне полезен. Сначала он отговаривался от такой чести; но когда я настаивал, он заметил: «Je suis progre».* Действительно, белье на нем было безукоризненно. Ночуй-ко в одной комнате, не то что с лакеем, с иным чиновником русским — он и обовшивит тебя, каналья! Заметил я за Фр(едериком) смешную вещь: он со всеми немцами заговаривал по-французски и не скоро замечал, что они его не понимают, так что я часто напоминал ему, чтоб он говорил по-немецки. Эх сила привычки-то! Вчера поутру он со мною простился.

В Кёльне, когда я из таможи ехал в дилижансе в трактир, со мною заговорил какой-то поляк. Вдруг один из пассажиров говорит мне по-русски: «Вы, верно, из Парижа выгнаны, подобно мне, за то, что смотрели на толпы в улице Saint-Honoré?»** Завязался разговор, который продолжался в отели за столом. Как истинный русак, он умеет говорить в духе каждого мнения (т. е. приноровляться), но своего не имеет никакого. Ругает Луи-Филиппа и Гизо,² Францию и говорит, что недаром некоторые французы отдают преимущество *нашему* образу правления. Я его осадил, и он сейчас же согласился со мною. Было говорено и о славянофилах, которых он всех знает, и, между прочим, он сказал: «Да за что их хватать — что они за либералы; вот их петербургские противники, так либералы». Разговор наш кончился вот как: «А вот у нас драгоценный человек!» — Кто? — Белинский. — Другой на моем месте тут-то бы и продолжал разговор; но я постыдно обратился в бегство, под предлогом, что холодно, да и спать пора.

Здоровье мое решительно в лучшем положении, нежели в каком оно было до дня отъезда из Парижа. Первые два дня мне было трудно, потому что было тепло, и я беспрестанно потел; но при выезде из Кёльна погода сделалась такая, что без халата у меня отмерзли бы ноги. В холоде я более уверен, что не простужусь, потому что больше берегусь. Сверх того, я постоянно (кроме переезда из Гама в Ганновер) принимаю лекарство, и даже усилил приемы: вечером три ложки да поутру пять. Кашель, появившийся было в последние дни пребывания в Париже, опять оставил меня, и я дышу вообще свободнее. Вообще, если я в таком состоянии доеду до дома, то ни для меня, ни для других не будет сомнения, что я-таки поправился немного и, в этом отношении, недаром ездил за границу.

Приехав в Берлин, я *** велел Фредерику сказать кучеру,

* «Я чистый». (Франц.) — Ред.

** Сент-Эноре (франц.) — Ред.

*** Далее зачеркнуто: отправился

чтобы вез в отель, ближайшую к Bärenstrasse. * Подвезли к отелю, но Фр(едерик) хотел еще ближе, велел поворотить назад и — привез меня в отель целою улицею дальше. Пошел к Щепкину³ — думаю — вот одолжит, если переменял квартиру. Однако, нет. Только его не застал — он был в театре, и я вчера поутру увиделся с ним. Он принял меня приятно, предложил и настоял, чтоб я переехал к нему, и я эту ночь почевал у него. Спрашивал я его, что делается в Берлине, в Пруссии, по части штандов⁴ и конституции. Он говорит — ничего. Сначала штанды повели себя хорошо, так что король почувствовал себя в неловком положении; но началось гладью, а кончилось гадью. Началось тем, что Финке⁵ предлагал собранию объявить себя палатою и захватить диктатурою конституционную, а кончилось тем, что король распустил их с полным к ним презрением и теперь держит себя восторжествовавшим деспотом. — Да отчего ж это? — Оттого, что в народе есть потребность на картофель, но на конституцию ни малейшей; ее желают образованные городские сословия, которые ничего не могут сделать. — Так ты думаешь, что из этого ничего не выйдет? — Убежден.

Знаете ли что, Анненков: это грустно, а похоже на дело, особенно по прочтении 1-го тома истории Мишле,⁶ где показано, кто во Франции-то сделал революцию?.. Видел я портрет Мирославского с его факсимиле: чудное, благородное, мужественное лицо!⁷ Щ(епкин) говорит, что, по всем вероятиям, Миросл(авский) будет казнен, ибо король благодарил procureur générale,** который употреблял все уловки, чтоб запутать и погубить подсудимого. Общественное мнение в Б(ерли)не решительно за поляков: публика часто прерывала речи подсудимых криками браво, так что под конец правительство просило публику вести себя смиреннее. А всё-таки будет так, как угодно деспотизму и неправде, а не как общественному мнению, что бы ни говорил об этом верующий друг мой, Б(акунин)-ъ!

Вот Вам подробный и даже скучный отчет о моем путешествии. Теперь мне грозит последняя и самая страшная таможня — русская. Щ(епкин) говорит, что она да английская самые свирепые. Будь, что будет. Меня немножко успокаивает то, что не будут спрашивать и исповедывать. А я купил целый кусок голландского полотна, его теперь режут и шьют на простыни.*** Воля Ваша, а я родился рано — куда ни повернусь, всё вижу, что жить нельзя, а путешествовать и подавно. Что ни говорите о таможнях, а в моих глазах это гнусная, позорная для человеческого достоинства вещь. Я отвергаю ее не головою,

* Беренштрассе (нем.). — Ред.

** генерального прокурора (франц.). — Ред.

*** Далее зачеркнуто: Денег нет, чтобы и В пятницу в

а нервами; мое отвращение к ней — не убеждение только, но и болезнь вместе с тем. Когда дочь моя будет капризничать, я буду пугать ее не шифонье,*⁸ как Тату, а таможеню.

Прощайте, милый мой Павел Васильевич, крепко, крепко жму Вам руку и говорю мое горячее дружеское спасибо за всё, что Вы делали для меня; это спасибо Вы разделите с Герц(еном) и Боткиным.⁹ Наталье Алекс(андровне) и М(арье) Ф(едоров)не тысячу приветствий и добрых слов; Саше поклонитесь, а Тату расцелуйте.¹⁰ Катерине Николаевне Б—ой¹¹ мое почтение. Вспомнилось мне, что второпях прощания я забыл поблагодарить Константина¹² за его чудные макароны, божественный ризот et cetera et cetera:** поправьте мою оплошность. Ну, еще раз прощайте. Скажите Марье Ф(едоро)вне, что вопреки ее злым предчувствиям, я часто думал о всех жителях авеню Маругни***¹³ и о ней, что мне было грустно, что я с ними расстался, и что я по приезде домой буду часто говорить о них с своими и следить за ними в их вояже.

Поклонитесь от меня Н. И. Сазонову¹⁴ и напомните ему о его обещании написать статью. Б(акуни)ну крепко жму руку.¹⁵

В. Белинский.

316. В. П. БОТКИНУ

<4—8 ноября. 1847 г. Петербург.>
СПб. 1847, ноября 4.

Виноват я перед тобою, дражайший мой Василий Петрович, как чорт знает кто. Да что ж делать? Приехал я на временную квартиру, отдохнув дня два-три, принялся искать новую. Нашел ее после страшных хлопот и скитаний. Вот уже месяц, как я переехал, а поверишь ли — третьего дня **** было последнее воскресенье, когда столяр покончил свои услуги по части устройства квартиры. Переезжая, мы перевозились с временной квартиры да перевозили мебель свою от Языкова и книги мои от Тютчева — из трех мест.¹ Одна укладка книг взяла у меня дней пять. А там немножко заболел, а тут работа приспичила, и я в шесть дней написал около трех с половиною печатных листов.² Теперь одеревенелая рука отошла, дела нет, всё уложено и уставлено, и я пишу к тебе.

Я приступал к работе со страхом и трепетом; но, к счастью, она-то и убедила меня ясно и несомненно, что поездка моя за

* В автографе ошибочно: шкоропье.

** и так далее и так далее (франц.).— Ред.

*** авеню Мариньи (франц.).— Ред.

**** Первоначально: то вчера

границу в отношении к здоровью была благодетельна и что я недаром скучал, зевал и апатически страдал за границую. Во время усиленной работы я чувствовал себя даже здоровее, крепче, сильнее, бодрее и веселее, чем в обыкновенное время. Итак, я еще могу работать, стало быть, пока еще не пропал.

Ноября 5

Начало этого письма написано вчера поутру, а вчера вечером я был в редакции, и там дали мне твое письмо.³ Ты пишешь, что я кошусь на тебя и что какая-то черная кошка пробежала между нами. Стыдно тебе питать подобные предположения. За что мне на тебя коситься? За разность мнений? Что за вздор — ведь я не мальчишка, и романтико-философические времена, когда никто из нас не смел предаться свободно своему чувству или взгляду, под опасением оказаться в собственных глазах пошлецом и подлецом, для меня так же прошли, как и для тебя. Действительно, бывают такие расхождения в образе мыслей, за которыми необходимо должно следовать и расхождение в знакомстве. Но это бывает там, где существуют партии, где мнение есть дело и жизнь. У нас же это возможно только на условии нравственной смерти одного из приятелей. Но, любезный Боткин, я тебя считаю не только живым, даже здоровым, потому что как ни мало видишь ты во мне терпимости, но ты решительно ошибаешься на мой счет, если думаешь, что я, подобно русским раскольникам, ужасаюсь есть из одной чашки с человеком, который позволяет себе думать, как ему думается, а не как мне угодно, чтобы он думал. Чорт возьми, да это уже был бы не фанатизм, а дуризм. Если в спорах с тобою я бывал резок или неумерен, бога ради, не приписывай это даже моему характеру (который и в этом отношении много изменился), а вспомни, или, лучше сказать, пойми, что прошлою зимою я был на волос от смерти и что Тильман не надеялся дотянуть нити моей жизни до минуты отъезда за границу. Вот почему на меня так болезненно подействовала выходка покойного Майкова,⁴ и теперь я совершенно с тобою согласен, что не на что было сердиться, а тогда — о, если бы ты знал все мои выходки в семейной жизни! Вспоминая о них, я дивлюсь, как будто дело идет не обо мне, а о ком другом. Вообще, ты очень мало обращаешь внимания на мою болезнь, потому только, что я на ногах, а не в постели. Но в такой болезни и умирают на ногах, в полном сознании. Если бы ты теперь приехал в Петербург и застал бы меня в таком положении, как я чувствую себя теперь, ты бы напел во мне совершенно другого человека в сравнении с тем, которого видел около года назад тому. А я и теперь еще не вне опасности. Вчера я оставил мое письмо к тебе на столе,

и жена заглянула в него. Ты, сказала она мне после, пишешь к В<асилию> П<етровичу>, что был недавно немножко нездоров — ты ошибаешься: у тебя опять показались раны на легких, и Тильман струсил. Он говорит, что ты большой исключительный, каких у него не бывало: о всяком другом в этой болезни он может сказать наверное — умрет-де и тогда-то или выздоровеет; у тебе он ничего не может сказать, ибо много раз считал тебя обреченным на смерть и определял ее время; а ты — глядишь — через три, четыре дня опять далеко от смерти. Действительно, дней через 5 раны на легких опять исчезли, и теперь я себя чувствую препорядочно.

Но обращаюсь к прерванной нити. Мне хочется покончить раз навсегда этот вопрос. Какая еще может быть причина, что я на тебя кошусь? Личные твои ко мне отношения? Но пока ты был в Питере, они выразились тем, что ты всегда являлся ко мне с участием, что ты прощал мне в отношении к моей нетерпимости то, чего другим ты не мог простить и в меньшей степени. Когда же ты уехал в Москву, личные твои ко мне отношения выразились тем, что ты, чорт тебя знает как, устроил мою поездку за границу, которая без тебя, даже при готовности других помочь мне (которые и действительно помогли) никак бы не состоялась. Ну, за это мне на тебя коситься было бы странно. Теперь остается один пункт: твое участие в «Отечественных записках». Да, оно меня огорчает, очень огорчает, и я готов сказать тебе это и в письме и в глаза; но коситься на тебя по этому поводу я не считаю себя вправе и не кошусь. Вообще, первый признак *кошения* есть молчание о предмете кошения; а я об этом давно хотел говорить с тобою, и если собрался сделать это поздно, то потому же, почему до сих пор не писал, например, к Анненкову, на которого я тоже вовсе не кошусь и который, сверх того, не подал мне ни малейшего повода огорчаться. Благо зашла об этом речь, не поскучай выслушать меня внимательно, несмотря на мое многословие. Вчера я увидел в «Отечественных записках» страницу, наполненную обещанием статей для будущего года: она меня, что называется, положила в лоск.⁵ И потому я пишу теперь об этом предмете подробнее, чем намерен был сделать это прежде.

Да, твое участие в «Отечественных записках» глубоко огорчает меня; но за него я и не думал коситься на тебя, потому что не считаю себя вправе указывать дорогу твоей воле и деятельности. Это было бы и несправедливо и глупо с моей стороны. Приятель мой хочет жениться на А., а мне кажется, что ему следует жениться на Б.: меня может огорчить его решение, но как же бы я мог коситься на него, не будучи смешон не только в его, но и в своих собственных глазах. А в деле твоего участия в «Отечественных записках» мне уже следует коситься не на од-

ного тебя: Кавелин и Грановский как будто уговорились с тобою губить «Современник», отнимая у него, своим участием в «Отечественных записках», возможность стать твердо на ноги. Но их непонятный для меня образ действия огорчает меня, глубоко огорчает, но не заставляет на них коситься. А почему огорчает — выслушай и суди. «Библиотека для чтения» всегда шла своею дорогою, потому что имела свой дух, свое направление. «Отечественные записки» года в два-три стали на одну с нею ногу, потому что со дня моего в них участия приобрели тоже свой дух, свое направление. Оба эти журнала могли не уступать друг другу в успехе, не мешая один другому, и если теперь «Библиотека для чтения» падает, то не по причине успеха «Отечественных записок» и «Современника», а потому, что Селк(овский) вовсе ею не занимается. Совсем в других отношениях находится «Современник» к «Отечественным запискам»: его успех мог быть основан только на перевесе над ними. Дух и направление его — одинаковы с ними, стало быть, ему для успеха необходимо было доказать чем-нибудь свое право на существование при «Отечественных записках». Тут, стало быть, прямое соперничество, и успех одного журнала необходимо условливается падением другого. В чем же должен состоять перевес «Современника» над «Отечественными записками»? В переходе из них в него главных их* сотрудников и участников, дававших им дух и направление. Об этом переходе и было возведено публике, и это возведение было *единственною* причиною необыкновенного успеха «Современника», приобретшего в первый же год больше 2000 подписчиков, несмотря на то, что его объявление вышло только в ноябре. И это понятно: публика вправе была думать, что настоящее направление «Отечественных записок» перейдет в «Современник», а в «Отечественных записках» останется только тень, призрак этого направления. Но Кр(аевский) — пошлец и мерзавец, стало быть, за него судьба и честные люди — два союзника, вечно обеспечивающие успех негодяев. Я помог «Современнику» только моим именем, а действительного моего участия в нем мало заметно было и до отъезда моего за границу (умирая, мудрено писать хорошо, и даже так, как я писал, умирая, только я мог писать, по моей привычке к делу, обратившейся у меня в натуру), пока я был за границею, в 5 №№, уже буквально не было никакого с моей стороны участия. От этого произошли те важные недостатки «Современника», в которых ты его очень основательно обвиняешь. Это был сборник статей, весьма замечательный, можно сказать, превосходный; но журнал плохой, вовсе не журнал. Публика ожидала моих больших критических статей, особенно

* В автографе описка: его

о Лермонтове и Гоголе, которые были ей неоднократно обещаны, а вместо того не нашла в «Современнике» даже и библиографии порядочной. Разумеется, ей дела мало до моей болезни или моего отъезда; она видела только, что как сборник (особенно со стороны повестей) «Отечественные записки» упали, но как журнал — имели решительный перевес над «Современником». Судьба за мерзавца! Однако, несмотря на то, подписка на «Современник» шла, хотя и тихо, даже и летом, и до сих пор еще не прекратились требования на «Современник» 1847 года. Но развратная судьба не удовлетворилась только этим в помощи Кузьме Рошину.⁶ Есть в Питере некто г. Дудышкин, чиновник,* кончивший курс в Петербургском университете. Ему лет 30. Он никогда ничего не писал и не воображал сделаться литератором.⁷ Покойник Майков убедил его, что он может писать, и заставил писать в «Отечественные записки», — и что же, этот Дудышкин дебютировал статьею о Фонвизине, которая, по моему мнению, просто превосходна. По приезде сейчас пустился я в чтение того, что вышло без меня. Прежде всего мне указали на статью о Фонвизине. Я пришел от нее в восторг, чрезмерность которого понятна только во мне, потому что всякое сколько-нибудь живое и замечательное явление в русской литературе радует меня в тысячу раз больше, нежели действительно огромное явление в европейских литературах. Но вот я читаю в «Отечественных записках» статью на книжку Григорьева о еврейских сектах. Статья прекрасная, фактов в ней больше, чем в книжке, и есть взгляд, которого нет в книжке.⁸ Чья это статья? — Да всё Дудышкина же; он для нее ходил в Публичную библиотеку, рылся в книгах. Читаю в 8 № «Отечественных записок» статью о французской литературе — статья дельная; чья? Всё Дудышкина же. Понравились мне в «Отечественных записках» две или три рецензии; чьи? — Дудышкина. Одна о поэме Вердеревского «Большой»; Майков покойник об этой же поэме писал в «Современнике»; но рецензия «Отечественных записок» прекрасна, а в «Современнике» — пл-о-о-о-ха!!⁹ Ну не <...> ли, не <...> ли судьба? Ведь это всё случай: Д<удышкин> так же мог бы начать и у нас, как и в «Отечественных записках», а случилось же, что он начал в «Отечественных записках». Разумеется, Заблочкий нам ничего не даст, и если не в «Журнале государственных имуществ», то в «Отечественных записках» будет помещать свои лучшие статьи. Тут нет судьбы и случайности. Но надо же было, чтобы именно в нынешнем году напечатал он в «Отечественных записках» свою архи- и прото-превосходнейшую статью (во мнении

* Первоначально: человек

о которой—я уверен—ты à la lettre * согласен и пересогласен со мною) о причинах колебания цен на хлеб в России.¹⁰ А там кто-то из неизвестных прислал Краевскому прекрасную и преинтересную статью о золотых приисках в Сибири.¹¹ Счастье подлецу! Но, несмотря на то, наше дело еще далеко не проиграно; даже была бы надежда на победу, ибо для этого есть все средства. Повести у нас—объедение, роскошь—ни один журнал никогда не был так блистательно богат в этом отношении; а русские повести с гоголевским направлением теперь дороже всего для русской публики, и этого не видят только уже вовсе слепые. От Краевского все переходят к нам. Покойник Майков перед смертью решительно перешел было к нам. Пронюхавши о Дудышкине, Некрасов сейчас же бросился в Царское Село, поехал туда для порядка, а воротился пьян,¹² но и Дудышкина оставил в веселом расположении духа. Я, с своей стороны, тотчас же поспешил с ним познакомиться, расхвалил ему его статьи, и он сказал мне, да я и сам это ясно видел, что ничья похвала не могла польстить его самолюбию столько, как моя. Теперь он наш. Он уже взял сочинения Муравьева, Хемницера, Каптемира (в новом издании Смирдина), чтобы писать о них.¹³ Он человек умный и с характером, сразу понял Андриюшку и в глаза язвил его ловкими выходками. Мы даже имеем причину надеяться, что ни одной строки Дудышкина не будет в «Отечественных записках». Теперь есть еще в Петербурге молодой человек Милютин. Он занимается соп амоге** и специально политической экономией. Из его статьи о Мальтусе ты мог видеть, что он следит за наукою и что его направление дельное и совершенно гуманное, без прекраснодушия. Правда, он пишет скоро, а потому многословно, часто повторяется, любит книжные, иностранные слова — принципы, аргументы и тому подобные мерзости, но это от молодости: он еще выпишется, и даже очень скоро, ибо соглашается вполне насчет своих недостатков.¹⁴ Он начал у Кр<аевского>, перешел к нам, и есть надежда, что вовсе от него откажется. Я подал Некрасову мысль, так как на будущий год мы значительно раздвинем пределы библиографии, поручить ему в полную редакцию разбор книг по его части. Есть еще в Питере некто г. Веселовский.¹⁵ Он относится к Заблоцкому, как я относился к Кр<аевско>му, с тою только разницею, что Заблоцкий-то к нему относится не как чугунная голова, пешка, способная загребать жар только чужими руками. Я и теперь помню некоторые рецензии Веселовского в «Отечественных записках» на книги по части

* буквально (франц.).— Ред.

** с любовью (итал.).— Ред.

сельского хозяйства. Это человек с знанием дела, с убеждением и талантом. Я вчера с ним познакомился и предложил Некрасову — предложить ему редакцию библиографии по части литературы сельского хозяйства. Не знаю, чем кончились их переговоры; но из всего видел ясно, что В(еселовский) Кр(аевско)го презирает, а с нами симпатизирует. Если б это удалось — куда бы хорошо! Сельское хозяйство — статья теперь важная. Если всё это устроится да мое здоровье позволит мне *поналечь* на дело, было бы хорошо. В первой книжке будет моя большая статья — обзор русской литературы 1847 г. Мне хочется разобрать «Кто виноват?» и «Обыкновенную историю». Эти две вещи дают возможность говорить обо многом таком, что интересно и полезно для русской публики, потому что близко к ней. Во 2 № — о Лермонтове, благо кстати вышло новое его издание. Затем о Ломоносове, Державине и других изданных теперь Смирдиным писателях русских; а там, с сентябрьской книжки, — о Гоголе.¹⁶ Таким образом «Современник» делается по преимуществу критическим журналом, и лишь бы только здоровье мое позволило, а уж в этом отношении я доставлю «Современнику» огромный перевес над «Отечественными записками». Тут важна мне будет помощь Дудышкина. Кроме того, чтобы критика не была односторонняя, можно будет помещать статьи критические по части политической экономии, сельского хозяйства, в чем надеюсь на Милютина и Веселовского. Благодаря Кавелину, критика и библиография по части русской истории уже и была более, чем удовлетворительна; почему же не быть ей вперед такою? Если бы Грановский и Корш хоть статьи по три давали в год, и по части истории «Современник» мог бы щеголять и блистать.

Да, средств у нас пропасть; а дело наше в настоящее время никуда не годится. Ты видишь, что и в Петербурге есть дельные молодые люди; они все не любят Краевского и любят нас. Стало быть, мы нашли там, где не искали и где не думали найти; но зато потеряли там, где не сомневались найти. Московские наши приятели поступают с нами, как враги, и губят нас. Начну с тебя. Ожидая твоего возвращения из-за границы, я был уверен, что ты будешь работать или в одном журнале со мною, или нигде. Что делать? Я привык к этой мысли. Да и другие привыкли видеть нас с тобою всегда вместе. Это известно, особенно в Москве, многим людям, которых мы с тобою даже не знаем. Новости литературные у нас то же самое, что за границею новости политические. Все знают, что я работал в «Телескопе» — и ты тоже; я в «Наблюдателе» — и ты тоже; я в «Отечественных записках» — и ты тоже. Что же подумают эти люди, видя, что теперь ты и в «Современнике» и в «Отечественных записках», и еще в последних больше? Не вправе ли

они* приписать это тому, что если мы с тобою и не перегрызлись, как собаки, то между нами пробежала черная кошка? Я уже говорил, что фундамент, основание и условие (conditio sine qua non**) успеха «Современника» есть переход в него главных и важнейших сотрудников и участников «Отечественных записок». Где же теперь этот переход? Его нет. Стало быть, программа «Современника» — пуф, а сам «Современник» — диверсия карманная, нечто вроде угрозы Кр<аевскому>. Почему не подумать публике, что и я, Белинский,*** тоже не думал оставлять вовсе «Отечественные записки», а только решил писать, для больших выгод, в двух журналах, т. е. работать и нашим и вашим? И Кр<аевский> в своих программах сильно напирал на то, что его сотрудники и не думали оставлять «Отечественные записки».17 Почему знать, что на словах он многих не уверяет, что такие-то и такие-то статьи в «Отечественных записках» — мои? Ведь моего особенного участия в «Современнике» не заметно. Почему не думать многим, что в «Отечественных записках» может явиться повесть или статья Герцена? Почему, наконец, мало-помалу не образоваться в публике убеждению, что «Современник» есть не что иное, как следствие личной ссоры Панаева с Кр<аевски>м или попытка на наживу по примеру Кр<аевско>го и что многие из сотрудников и участников «Отечественных записок»**** согласились участвовать в «Современнике» не по особенной к нему симпатии, а потому, что для них «Современник» так же ничем не хуже «Отечественных записок», как и «Отечественные записки» ничем не хуже «Современника»? Какое влияние подобное мнение произведет на подписку будущего года — увидим... И как ожидать в этом отношении успеха, когда самое счастье наше обратилось нам в несчастье? ***** Например, твои «Письма об Испании» были для нас находкою. Я не скажу, чтобы они произвели в публике фурор; но я скажу утвердительно, что их все хвалят, все довольны ими и нет ни одного против них голоса. Даже Куторга, этот человек, который ничего не хвалит, не раз хвалил твои письма Панаеву. Это успех. Ты теперь составил себе в литературе имя и приобрел в отношении к Испании авторитет. Тут ничего нет удивительного. Когда еще я только получил твои письма для моего альманаха, я предвидел этот успех, что было вовсе немудрено. В последние десять лет беспрестанно писано было в газетах об Испании, но любопытство публики только было раздражено, а нисколько не удовлетворено, и чем

* Далее зачеркнуто: подумать, что

** непеременимое условие (латин.).— Ред.

*** Далее зачеркнуто: я жду

**** Далее зачеркнуто: долго не

***** Далее зачеркнуто: Вот хоть

более читала она известий об Испании, тем более Испания оставалась для нее terra incognita*. Теперь понятно, что, если бы кто-нибудь, не зная ни одного слова по-испански, не выезжая никогда из России, по хорошим французским, немецким или английским источникам составил большую статью о нравах современной Испании, — эта статья не могла бы не обратить на себя общего внимания. А тут пишет человек, видевший Испанию собственными глазами, знающий ее язык, и пишет с умом, знанием и талантом, с умением писать для публики, а не для записных читателей и писателей. И потому, говорю тебе, в отношении к Испании ты сделался авторитетом, так что о чем бы ты ни писал другом и как бы хорошо ни писал, всякая твоя статья, касающаяся Испании, будет иметь, в глазах публики, в 1000 раз больше интереса, чем статья о другом предмете. И вот ты теперь испанским перцем поддаешь жизни и бодрости «Отечественным запискам» да еще обещал им статью—«Взгляд на Испанию, за три последние века»!!!¹⁸ Ты, может быть, в этом случае и совершенно прав перед самим собою и несколько не виноват передо мною и «Современником», но мне-то от этого не легче, а напротив, тяжело, очень тяжело, горько, прискорбно. Моя жизнь сплетена с твоею моими глупыми, но всё-таки лучшими годами, у меня так много общих с тобою воспоминаний, мы сошлись не на чем-нибудь, но нас связало одно общее, благородное, человеческое стремление. Не думал я, чтобы, приближаясь к сорокалетнему возрасту, мы пойдем врозь и что нас разделит — кто же? — каналья, ничтожный, презренный Кр(асвск)ий!.. Больно мне также, что ты напрасно колеблешься между своим рассудком, который склоняет тебя на сторону мою и «Современника», и между непосредственным стремлением к «Отечественным запискам». Вижу я, что «Современнику» нечего от тебя ожидать, что если ты, несмотря на данное слово, ничего не мог сделать для него, так это не по лени, а потому, что к чему не лежит сердце, то как ни бейся, а для того ничего не сделаешь. Но опять-таки повторяю тебе: мне больно и тяжело, душа моя прискорбна до смерти, но я на тебя за это не кошусь, не дуюсь, ибо коситься и дуться значит молча сердиться, таить в сердце неудовольствие, а я высказал тебе всё откровенно, прямо. Я всегда и весь наруже — такова моя натура. И еще раз; несмотря на всё, я слишком уважаю свободу человека, в настоящем значении этого слова, чтобы считать тебя виноватым передо мною, а себя вправе сердиться на тебя. Ты прав передо мною, но мне тяжело и грустно; мне тяжело и грустно от тебя и по причине тебя, но я не сержусь, не кошусь, не дуюсь на тебя. Пойми это, умоляю тебя.

* неизведанной областью (латин). — Ред.

Обращаюсь теперь к другим, ибо желаю, чтобы это письмо было прочтено соборно, всем * тем, до кого оно касается, и Николаю Петровичу¹⁹ тож (последнее для меня очень важно, потому именно, что Н<иколай> П<етрович> не сотрудник «Современника», а человек этому делу посторонний). ** Я сказал, что подлецам счастье, и докажу это. Мерзавцы во всем успевают, а честные люди осуждены на горе жизни. Когда Герц<ен> не решался отдать мне «Кто виноват?» для альманаха, по ложной деликатности, я писал к нему: подлецы потому и успевают в своих делах, что поступают с честными людьми, как с подлецами, а честные люди поступают с подлецами, как с честными людьми.²⁰ Эта простая и верная мысль привела Г<ерпе>на в восторг, а повести-то он мне всё-таки не дал, т. е. всё-таки решился с подлецом Кр<аевски>м поступить, как с честным человеком, — вероятно, для подтверждения фактом теории доктора Крупова²¹ о повальном сумасшествии людей. Слушай же далее. Когда еще Кр<аевский> далеко не обозначился вполне и на «Отечественные записки» мои московские друзья смотрели более как на мой, нежели как на Кр<аевско>го журнал, — Грановский не дал в них ни строки, отговариваясь недосугом со стороны его профессорских обязанностей. Ну, коли недосуг мепает доброй воле — жаль, а делать нечего! Но что же? Вдруг в «Москвитянине» является большая статья недосужного Тимофея Николаевича!²² Почему же она явилась в журнале презираемого им человека, в журнале противного и ненавистного ему направления? Потому только, что Погодин, встретив его, обругал его за леность и *пристал* к нему — дай статью. Вот она*** подобострастная-то, запуганная славянская природа! Презирайте после этого русского мужика, который часто несговорчив и груб с тем, кто обращается с ним человечески, и внутренне благоговеет перед тем, любит даже того, кто начинает с ним объяснения с < . . . > и с труха по салазкам! Дураки славянофилы, думающие, что европеизм нас выродил и что между русским мужиком и русским профессором легла бездна! Но далее. Судьбе угодно было, чтоб Грановский, наконец, не миновал же «Отечественных записок». Но когда это случилось, когда Кр аевский> обнаружился вполне, а я отошел от «Отечественных записок». Но тут еще был смысл. Хомяков обругал статью Кавелина, напечатанную в «Отечественных записках» — и ответу прилично было явиться в «Отечественных же записках». И потому, как ни больно нам было видеть имя Гр<ановского> в «Отечественных записках», но ничего: в чем есть смысл, то легче вынести.²³ Но я спрашиваю тебя, Гр<ановского> и

* Далее зачеркнуто: нашим

** Первоначально: чуждый

*** Далее зачеркнуто: рабская-то

всех вас: по какой достаточной причине биография Помбалья, писанная Грановским,²⁴ явится в «Отечественных записках», а не в «Современнике»? Я знаю, что такое Помбаль; составь об этом предмете статью какой-нибудь Головачев²⁵ — и тогда она могла бы быть страшно интересною; а у Гр<ановско>го — что и говорить. Что же это значит? Тайное ли, ничем не победимое нерасположение к «Современнику», или — да скажите же, наконец, ради всего святого для вас — что же это такое? У меня голова кружится, я болен от этого вопроса. Объявляет Кр<аевский> о нескольких критических статьях по части русской истории Кавелина и о «Несторе» в двух статьях какого-то К. К—на. Ужас!

Вы, пожалуй, скажете, что я слишком горячо принимаю дело, что не большая-де важность дать что-нибудь и в «Отечественные записки». Нет—большая! Теперь время подписки. Первый год не окупился, и если не прибавится целой тысячи подписчиков новых (предполагая, что 2000 старых останутся), беда еще будет не в том только, что Панаев ничего не получит и на другой год, а Некрасов еще год будет существовать в долг, в надежде будущих благ, но и в том еще, что надо будет съезжиться, ибо на прежнем широком основании издавать уже не будет никакой возможности. Надо будет думать не о будущем успехе, а об уравнении расходов с приходом, для этого надо будет убавить число листов и установить новую плату сотрудникам (за исключением немногих), например хоть сравнять ее с платою «Отечественных записок». А это убьет всякую возможность подняться в 1849 году, ибо основательно принято будет за упадок журнала. Но как же надеяться теперь хорошей подписки, когда наши московские друзья, надававши К<раевско>му столько статей, ясно показали этим публике, что все объявления и толки о переходе сотрудников и участников «Отечественных записок» в другой журнал — пуф?.. «Отечественные записки» пользуются перед «Современником» страшным преимуществом—*девятилетнею*, да еще почетною, давностию; к ним привыкли, их все знают; а известное дело, что у нас журналу легче подняться, чем, поднявшись, упасть. Вот «Библиотека для чтения» — уже мерзость мерзостью, а можно смело пари держать, что и на будущий год у ней будут се 3000 подписчиков. Но «Отечественные записки», благодаря судьбе, покровительствующей подлецов, и нашим московским друзьям, действующим заодно с судьбою, еще не упали. Они страшно плохи в отношении к повестям; но и это случай, т. е. мой предполагавшийся альманах, так кстати обогативший «Современник» повестями. Направление «Отечественных записок» одно с «Современником». За что же публика променяет старый журнал на новый, который, сверх того, похож на пуф? Не всякий в состоянии подписываться

на два журнала, и, конечно, большая часть останется в этом выборе на стороне старого. Нас обвиняли за шарлатанские объявления. Мы сами знаем цену этим объявлениям; но без них нечего было и за дело браться.²⁶ По прошлогодней подписке видно, что есть целые уезды и полосы, куда не попал ни один экземпляр «Современника» и где, стало быть, не знают о его существовании. Так надо дать знать, надо прокричать. Но пусть только «Современник» станет твердою ногою, пусть на будущий год у него будет 3000 подписчиков, и я ручаюсь честным моим словом, что объявление о продолжении «Современника» на 1849 год будет состоять в нескольких строках такого содержания, что будет-де продолжаться в прежнем духе и что редакция употребит всё от нее зависящее, чтобы еще более улучшить свое издание. Не будет никаких обещаний вперед, перечней обещанных или предполагаемых статей. А теперь без этого невозможно. Вон Кр<аевский> делает это не по нужде, а потому что у него натура лавочника. Журнал его давно обеспечен, а он каждый год пишет огромные объявления гостинодворским слогом, где вечно рассказывает одну и ту же историю о тщетных усилиях врагов «Отечественных записок» поколебать их успех. Но что касается до его последнего объявления о статьях,— это с его стороны умно, потому что необходимо. Он имеет причины бояться «Современника», и ему надо показать на деле, что его прежние сотрудники и теперь его же сотрудники. Видите ли вы, какую ужасную силу даете вы ему и какой, следовательно, ужасной силы лишаете «Современника»? Ведь это просто битье по карману! Как тут надеяться на подписку?

Ты еще имел какие-нибудь причины вязаться с Кр<аевским> и снабжать его своими трудами: ты давно помещал свои статьи в «Отечественных записках», давно лично знаком с Краевским, в последнее время он тебе даже оказал услугу. О Редькине я не говорю; он ко мне не так близок, хотя всё бы (скажу мимоходом) и ему следовало бы сперва исполнить свое обещание дать нам что-нибудь, а потом уже обещать и другим. Нечего и говорить о Соловьеве. Это человек совершенно чуждый нам, да не близкий и вам. Он не хочет принадлежать никакому журналу исключительно. Он наклонен к славянофильству, но его отношения к Погодину не позволяют ему печатать своих статей в «Москвитянине».²⁷ Поэтому для него «Отечественные записки» и «Современник»— всё равно, и мы очень будем ему благодарны, если, печатая в «Отечественных записках», он будет и нам давать статьи. Но наши друзья-враги совсем другое дело. Мы не того ожидали от них, да и не то обещали они нам. Давай они статьи свои в «Библиотеку для чтения», нам было бы это крайне прискорбно, но всё далеко не так, как видеть их в «Отечественных записках»; еще сноснее было бы

нам видеть их статьи в каком-нибудь «Москвитянин» (хотя и тоже вовсе не весело), потому что между «Москвитянином» и «Современником» нет никакого соперничества. Сколько я помню, наши московские друзья-враги дали нам свои имена и труды, сколько по желанию работать соединенно в одном журнале, чуждом всяких посторонних влияний, столько и по желанию дать средства к существованию некоему Белинскому. Цель их, кажется, достигнута. «Современник» имеет свои недостатки, действительно, очень важные, но поправимые и происшедшие от положения моего здоровья. Едва ли можно обвинить его даже в неумышленно дурном направлении, не только в умышленном. И другая цель тоже достигнута: я был спасен «Современником». Мой альманах, имея он даже большой успех, помог бы мне только временно. Без журнала я не мог существовать. Я почти ничего не сделал нынешний год для «Современника», а мои 8 тысяч давно уже забрал. Поездка за границу, совершенно лишившая «Современник» моего участия на несколько месяцев, не лишила меня платы. На будущий год я получаю 12 000. Кажется, есть разница в моем положении, когда я работал в «Отечественных записках». Но эта разница не оканчивается одними деньгами: я получаю много больше, а делаю много меньше. Я могу делать, что хочу. Вследствие моего условия с Некрасовым мой труд больше качественный, нежели количественный; мое участие больше нравственное, нежели деятельное. Я уже говорил тебе, что Дудышкину отданы для разбора сочинения Кантемира, Хемницера, Муравьева. А ведь эти книги — прямо мое дело. Но я могу не делать и того, что прямо относится к роду моей деятельности; стало быть, нечего и говорить о том, что выходит из пределов моей деятельности. Не Некрасов говорит мне, что я должен делать, а я уведомляю Некрасова, что я хочу или считаю нужным делать. Подобные условия* были бы дороги каждому, а тем более мне, человеку больному, не выходящему из опасного положения, утомленному, измученному, усталому повторять вечно одно и то же. А у Кр(аевского) я писал даже об азбуках, песенниках, гадательных книжках, поздравительных стихах швейцаров клубов (право!), о книгах о клопах, наконец, о немецких книгах, в которых я не умел перевести даже заглавия; писал об архитектуре, о которой я столько же знаю, сколько об искусстве плести кружева. Он меня сделал не только чернорабочим, водовозною лошадию, но и шарлатаном, который судит о том, в чем не смыслит ни малейшего толку. Итак, то ли мое новое положение, доставленное мне «Современником»? «Современник» — вся моя надежда: без него я погиб в буквальном,

* Первоначально: отношения

а не в переносном значении этого слова. А между тем, мои московские друзья действуют так, как будто решились погубить меня, но не вдруг, и не прямо, а помаленьку и косвенным путем, под видом сострадания к Кр<аевско>му. Сатин пишет к нам, что московские друзья наши питают к «Современнику» больше симпатии, чем к «Отечественным запискам», и что нам они желают всевозможных успехов, но жалеют также и Кр<аевско>го.²⁸ О милый, добрый, паивный Сатин, о драгоценный субъект для психиатрических наблюдений доктора Крупова над человеческим родом! Ко мне питают больше симпатии, чем к Кр<аевско>му! *Quel honneur! Quel bonheur!* *²⁹ Услышав об этом, я вырос в собственных глазах и подбежал к зеркалу, чтобы увидеть лик человека, который лучше даже Кр<аевского>. Целый день ходил я индейским петухом, так что жена спросила меня, не получил ли я наследства от богатого дяди, индийского набоба. Нам желают всевозможных успехов, но жалеют и Кр<аевского>! О добрые, чувствительные, сострадательные души! Как глубоко вникли они в мысль писания: блажен кто и скоты милует! Ай да Галахов — молодец! То-то, я думаю, доволен, то-то смеется! И «Отечественным запискам» помог, следовательно, и самому себе, и умных людей заставил поступить по-своему. И как было не надавать Кр<аевско>му статей? Галахов кланялся, ползал, плакал, умолял, хлопоча о своем отце и командире, благодетеле и покровителе, кормильце и милостивце! Форма пошла и гадка, но сущность поступка Галахова разумна.³⁰ Ему в «Современнике» не может быть ни на столько работы, как в «Отечественных записках», ни такой, как в них, роли. Там он теперь первый и главный; у нас всегда был бы одним из нескольких. Но вы-то, господа профессора, из чего разжалобились? Девять лет издает Кр<аевский> «Отечественные записки».³¹ Начались они плохо, без всякого направления; я спас их, дав им направление, нелепое и дикое, но направление. С третьего (1841) года начали они поправляться денежно; на 4-й (1842) Краевский был в барышах. Пятый (1843) год был последний, в который он вдове Свинына заплатил 5000 рублей. Теперь, неужели в пять последних лет он ежегодно получал меньше 30 тысяч серебром? Положим, в <18>43 меньше, зато в <18>46 и <18>47 больше. Значит, у него *по крайней мере полтора*ста тысяч серебром лежит теперь в ломбарде, т. е. больше полумиллиона ассигнациями! Как не пожалеть его, бедняжку! Что вы не сложитесь для него на подписку? Из доходов «Отечественных записок» он не потратил ни копейки. Он всегда жил, как жид, и жил на деньги «Литературной газеты» (которая

* Какая честь! Какое счастье! (Франц.) — Ред.

никогда не давала ему меньше 2 тысяч сер., а в 1845 г. дала 12 тысяч асс.), на жалованье за «Инвалид» (4500 асс.),³² на жалованье по корпусу, где он учит. У него всегда бывало больше 3000 сер. посторонних доходов. Нет, господа, если бы Кр(аевский) и не был подлецом и мерзавцем, и тогда бы, видя его в полумиллионе, вам нечего было бы колебаться между ним, посторонним вам, хотя и хорошим человеком, и мною, которого вы зовете своим, вашим, в благороднейшем значении этого слова, да к тому еще и нищим. Не верю я этой всеобщей любви, равно на всех простирающейся и не отличающей своих от чужих, близких от дальних: это любовь философская, немецкая, романтическая. Может быть, она и хороша, да чорт с ней, непотребную <...> подымающею хвост равно для всех и каждого! Но ведь вы, к довершению эксцентричности вашего средневекового поступка, еще знали, что Кр(аевский) подлец, Вапьяка Каин, человек без души, без сердца, вампир, готовый высосать кровь из бедного работника, вогнуть его в чахотку и хладнокровно рассчитывать на работу его последних дней, потом, при расчете, обсчитать и гроша медного не накинуть ему на сосновый гроб. Ведь он у тебя, В(асилий) П(етрович), украл тридцать копеек медью, а не больше, потому, что больше не мог, а не потому, чтоб не хотел. Странное дело! Года два или три назад Кр(аевский) ездил в Москву; тогда еще он только начинал обозначаться,— и его приняли холодно, презрительно и покойник Крюков, и здравствующий доньше Искандер (да продлит аллах дни его в бесконечность, как человека, который уже Кр(аевско)му не дает ни полстроки!), и все вы. А прошлое лето * Кр(аевский) приехал в Москву уже с клеймом на лбу за воровство,— и его приняли хорошо; он украл 30 к. меди, и к нему пошли жрать, не будучи даже уверены, что это он даст обед, и положившись только на уверения Боткина, почему-то великодушно отважившегося распицаться за такого благородного субъекта, даже с риском оказаться его козлом грехоносцем.³³ Мало того: эта ракалия, этот стервец презренный осмелился предложить тебе, о Василий Петрович, в виде условия его драгоценного у тебя пребывания, чтоб ему не встречаться с Кетчером. Тебе бы следовало заметить ему, что это очень легко, что ему стоит только взять шляпу и уйти, когда войдет Кетчер; но ты, кажется, ничего ему на это не сказал, и вор имел полное право думать, что он предпочтен честному и благородному человеку, нашему общему и старому другу. Кстати уж расскажу** новый анекдот о вашем новом друге, чтобы еще более усилить ваше к нему сострадание. Нанял он себе на Невском

* Первоначально: А теперь

** Далее зачеркнуто: еще о нем

проспекте великолепный отель, за 4000 асс. Увидев, что у него * одна компата лишняя, он решил извлечь из нее всевозможную выгоду и пустил в нее двух своих protégés, ** взяв с каждого по 100 р. сер. Один из них — Бутков. Кр<аевский> оказал ему важную услугу: на деньги Общества посетителей бедных он выкупил его от мещанского общества и тем избавил от рекрутства. Таким образом, помогши ему чужими деньгами, он решил заставить его расплатиться с собою с лихвою, завалил его работою, — и бедняк уже не раз приходил к Некр<асову> жаловаться на желтого паука, высасывающего из него кровь. Кстати: *** Бутков дал нам повесть, кажется, порядочную (две его повести в «Отечественных записках» нынешнего года куда плохи!); впрочем, если только сносна, — и тогда я рад смертельно. Повестей у нас мало, и те нужны на будущий год, так в последнюю книжку куда ни шло, а главное — Кр<аевскому> одолжение.³⁴ Второй его protégé, некто г. Крешев,³⁵ он его употребляет и для «Отечественных записок» и для посылок. Раз Кр<аевский> говорит человеку: позвать ко мне Крешева. Крешев является. Сходите туда и туда, да не торопитесь, время терпит, лишь бы только сегодня. Выполнив все поручения, т. е. побывав на разных концах Петербурга, Крешев является к своему патрону, отдает отчет в поручениях и просит целкового, чтоб заплатить извозчику. — Как целковый, на что целковый? — воскликнул в ужасе побледневший Плюшкин. — Да ведь я ездил для Вас же туда и сюда. — Да ведь я же Вам сказал, чтоб Вы не торопились, что время терпит, стало быть, Вы могли б и пешком сходить. — Честные люди всегда имеют дурную привычку со стыдом опускать глаза перед наглою и нахальною подлостью. Крешев струсил, как Грановский перед Погодиным, когда тот, ругая его, просил у него статью, и стал просить целкового в счет следующей ему платы. — А, это другое дело, — сказал смягченный вампир, — на свой счет возьмите, только что Вам за охота мотать деньги!

Хорош! Когда он уехал от тебя, говорят, ты сказал, что, посмотрев его вблизи, тебе стало гадко. Гадко-то тебе стало, а испанского-то перцу ты всё-таки подсыпал в «Отечественные записки», чтоб поперхнуться тебе этим перцем!

Вот еще обстоятельство, о котором меня просили не говорить никому из вас; но как я пишу от себя и у меня от избытка сердца уста глаголят, так уж кстати всё, чтоб потом об этой дряни нечего было больше говорить. Я уже говорил, что если б «Современник» знал заранее, что его московские друзья будут действовать в минуту жизни трудную для него, как его враги,

* Далее зачеркнуто: есть

** протеже (франц.). — Ред.

*** Далее зачеркнуто: вскоре

он должен был бы идти поскромнее, основываясь на [действительных своих средствах, т. е. на 2000 подписчиков, а не на обещаниях, увы! не всегда надежных даже и со стороны самых, повидимому, надежных людей. Руководствуясь таким правилом, он бы и вовсе не напечатал иного из того, что им напечатано, а за иное не дал бы той цены, которую дал. Для журнала статьи ученого содержания тогда только важны и дороги, когда они по общности интереса и по изложению имеют всю заманчивость и легкость беллетристической статьи. Такова, например, статья Заблоцкого о колебании цен на хлеб: ее прочли многие и из тех, которые, кроме повестей, стихов да рецензий, ничего не читают и о сельском хозяйстве и торговле понятия не имеют. Такова же статья Кавелина о юридическом быте древней России.³⁶ И вот почему статьи Кав(ели)на для нас в 1000 раз важнее и дороже статей Соловьева, и были бы такими даже и тогда, когда бы нам доказали, как $2 \times 2 = 4$, что для науки статьи последнего в 1000 раз важнее статей первого. Я никогда не забуду, как Герцен в Париже, прочтя об отношениях князей Рюрикова дома, сказал мне: очень хорошо, только страшно скучно и читать — мұка.³⁷ А ведь Герцен — не публика! Но кафедра — иное дело; и там ценится высоке живое и красноречивое изложение; но, как бы сухо и мертво и неуклюже ни читал профессор, если в его лекции есть крупны фактов и воззрений чистого золота, молодые служители науки будут от него даже в восторге. Журнал — другое дело. Он занимается и наукою, но не для науки, его цель — не просвещение, а образование; его задача: поставить не занимающегося наукою человека в возможность обратить для себя вопросы науки в вопросы жизни. Вот, например, статья о государственном хозяйстве при Петре Великом — очень дельная статья, но для журнала она не большая находка.³⁸ Составление ее стоило автору невероятных трудов; но не иди она в «Современник» от Кавелина, за нее «Современник» не дал бы того, что он за нее дал; а не взяли бы меньше, «Современник» мог бы и без нее обойтись. Но почему же он дал за нее по 150 асс. с своего листа, т. е. 200 р. асс. с листа «Отечественных записок», и еще дал охотно, как говорится, с удовольствием? Разумеется, столько же по желанию сделать приятное сотруднику, которым он дорожит, сколько и по расчету, что излишний расход в частном случае с избытком вознаграждается выгодною в общем *исключительном* участии в «Современнике» москвичей. Но во всяком случае статья эта не бог знает какая находка для журнала, но напечатания стоила; и если я сказал, что не стоила заплаченной за нее цены, так это потому, что цена определяется обыкновенно не объемом труда, которого вещь стоила, а большею или меньшею степенью нужды в ней покупающего. Но

вот статьи г. Фролова, особенно о Гумбольдте, — другое дело. Редакция «Современника» содрогнулась этой статьи, а напечатала ее потому только, что г. Фролов явился в редакцию с толками о Граповском, одном из *исключительных* сотрудников «Современника», как о своем друге. Фролов бесспорно человек хороший, но литератор он плохой. Он холоден, сух, пишет сонно, нескладно и варварским языком. Будь его статья для одного № — еще куда ни шло; а то ведь, кажется, №№ на десять пойдет пугать читателей и подписчиков «Современника». ³⁹ Ужас! Да еще наделал шуму из того, что статью его напечатали сжато, и насилу убедили его в необходимости поправлять слог его статей. А дали ему по 150 с нашего листа, т. е. почти по 200 с листа «Отечественных записок», тогда как, повторяю, было бы во всех отношениях выгоднее ничего не дать, т. е. вовсе не печатать статьи. Также точно, основываясь на выгодах исключительного участия москвичей в «Современнике», и в Питере многим платили по 150 р. с нашего листа, вместо того, чтоб платить по листу «Отечественных записок». Такая роскошь имела смысл и оправдание только в надеждах, которые подавало редакции «Современника» исключительное сотрудничество моих московских друзей. Без него и за журнал никто бы не взялся, а, взявшись, повели бы дело на основании собственных средств. Тягаться с «Отечественными записками» «Современнику» трудно. Кр<аевский>, как подлец, в сорочке родился. Сколько подарили ему статей Воткин и Герцен! Даже моих две даром напечатано было в отделе наук! Несколько лет сряду какая-то барыня переводила ему оптом всё, что ни назначал он ей, за 600 асс. в год. Правда, ему много труда было выправлять эти переводы, но зато тысяч 10 оставалось у него в кармане. Даровых статей у него всегда много и есть теперь, а за переводы он и теперь платит пакостью. А сколько усчитает, отжилит, сколько возьмет нажимом, наглостью, бесстыдством! Лист его больше, а обходится он ему меньше нашего: его бумага серая, дешевая, а за работу с него он платит меньше, потому уже, что он больше нашего. Расходы наши всячески больше. И вот теперь листок его с обещаниями режет нас без ножа. Обещания хотя и шарлатанские, но тем не менее они возьмут свое. Он обещает повести, явно не написанные (Кудрявцева и Гончарова), статью Милютина и Веселовского, он сам сочинил заглавие, они ему обещали, сами еще не зная, что, только чтоб отвязаться от него. Он обещал статью Перевощикова, обещанную нам, о чем Панаев писал к Перевощикову и получил ответ, что статья наша и что ее Кр<аевско>му не обещал. ⁴⁰ Всё это пуф, но он грозит нашей подписке. А тут, как нарочно, друзья наши придали пуфу действительность истины, на нашу гибель. А не будь у него этой едва ли ожидаемой им помощи,

гибнуть-то пришлось бы ему. Его беда — повести; не то, что у него нет хороших повестей, а то, что он печатает мерзости, вроде: «Минут из жизни деревенской дамы» (Жуковой), «Веры» (пошлейшая повесть в 3 №), «Противоречий» (идиотская глупость), «Хозяйки» Достоевского (первическая <...>) да еще без конца.⁴¹ Не будь у него чего пообещать — он не даром струсил и натравил на вашу сострадательность холопское усердие Галахова.

Да, счастливы подлецы! А Кр<аевский> и из них-то счастливейший. Примера подобного не бывало в русской литературе. Какой-нибудь Греч и тот не даром приобрел известность, а что-нибудь да сделал. А Кр<аевский> украл свою известность — да еще какую! Ни ума, ни таланта, ни убеждения (не по одному тому, что он подлец, но и потому, что в деревянной башке своей не способен связать двух мыслей, не обращенных в рубли), ни знания, ни образованности — и издает журнал, бывший лучшим русским журналом и доселе один из лучших, журнал с лишком с 4000 подписчиков!!!.. Какой-нибудь Погодин, на которого он всех больше похож по бесстыдству, наглости и скаредной скупости, что-нибудь знает, имеет убеждения, хотя и гнусные, что-нибудь сделал. Конечно, надо сказать правду, и Кр<аевский> имеет перед Погодиным свои преимущества: он меняет часто белье, моет руки, полощет во рту, <...>, а не пятернею, обтирая ее о свое рыло, как это делает трижды гнусный Погодин, вечно воняющий. А впрочем, <...> обоих, подлецов!

Уф! как устал! Но зато, болтая много, всё сказал. Знаю, что не убежду этим москвичей; но люблю во всем, и хорошем и худом, лучше *знать*, нежели *предполагать*; это необходимо для истинности отношений. Знаю горьким опытом, что с славянами пива не сварить, что славянин может делать только от себя, а для совокупного, дружного действия обнаруживает сильную способность только по части обедов на складчину. Никакого практического чутья: что заломил, то и давай ему — никакой уступки ни в самолюбии, ни в убеждении; лучше ничего не станет делать, нежели делать настолько, сколько возможно, а не настолько, насколько хочет. А посмотришь на деле, глядишь — возит на себе Погодина или Краевского, которые едут да посмеиваются над ним же. А послушать: общее дело, мысль, стремление, симпатия, мы, мы и мы: соловьями поют. Эх, братец ты мой Василий Петрович, когда бы ты знал, как мне тяжело жить на свете, как всё тяжелей и тяжелей день ото дня, чем больше старею и хирею!..

Вероятно, ты уже получил XI-ю книжку «Современника». Там повесть Григоровича, которая измучила меня — читая ее, я всё думал, что присутствую при экзекуциях. Страшно! Вот

поди ты: дурак пошлый, а талант! Цензура чуть ее не прихлопнула; конец передслан — выкинута сцена разбоя, в которой Антон участвует.⁴² Мою статью страшно ошельмовали. Горше всего то, что совершенно произвольно. Выкинуто о Мицкевиче, о шапке мурмолке, а мелких фраз, строк — без числа.⁴³ Но об этом я еще буду писать к тебе, потому что это меня довело до отчаяния, и я выдержал несколько тяжелых дней.

Получил я недавно письмо от Тургенева и рад, что этот несовершеннолетний юноша не пропал, а нашелся.⁴⁴ Он зиму проводит в Париже, где и Анненков пробудет до нового года, а Герцен уехал в Италию.

Прощай, Василий Петрович. Да что ты там уселся в своей Москве? Ты ли домосед, ты ли не любишь рыскать? Что бы тебе прокатиться в Питер? Клапайся от меня милому, доброму Николаю Петровичу, которого я люблю от всей души. Твой

В. Белинский.

Ноября 8.

Пока возился с этим письмом, узнал новые черты из жизни великого Кр<аевско>го. Так как мне суждено быть Плутархом сего мужа, то не могу удержаться, чтоб не рассказать вам, как сейчас буду подробно рассказывать Анненкову (равно как и о счастье Кр<аевско>го находить сотрудников в затруднительных обстоятельствах). Бутков ищет квартиры — жить ему у Кр<аевско>го стало невмочь — бежит от него. Кроме того, что барин замучил работою, лакеи (которым он платит 5 р. сер. за метение и топку комнаты) грубят, а комнаты и не метут и не топят, и бедняк замерз. Раз Бутков просит у Некр<асова> «Отечественные записки». — Да зачем вам мои «Отечественные записки»? Ведь вы живете не только в одном доме с Кр<аевским>, но даже у него на квартире — что ж не возьмете у него? — Сколько раз просил — не дает; говорит: подпишитесь. — Продал он Крешеву диван, набитый клопами. Крешеву эта набивка показалась очень неудобною, диван понравился Достоевскому, и Крешев продал ему его за 4 р. с., за ту же цену, которую взял с него Кр<аевский>. В этот вечер Крешев не почевал дома, и поутру на другой день без него явились ломовые извозчики и потащили диван. Кр<аевский> узнал и взбесился: «Я продал им диван, чтоб у них компата была не пустая, а они его перепродают — вздор!» и остановил диван.

Веселовский принял предложение Некрасова. Он рад, как я думаю, что будет мочь печатать свои статьи с своим именем, а то Краевский их приписывает себе, и недавно Заблоцкий

(достойный друг Кр(аевско)го, хотя умный и даровитый человек!) в Географическом обществе прочел статью Веселовского — за свою!! Молодцы! ⁴⁵

317. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

⟨8 ноября 1847 г. Петербург.⟩

Здравствуйте, дражайший Петр Николаевич. Сколько лет, сколько зим не видались мы с Вами. А ведь в Зальцбрунне-то * чуть было не увиделись. Вольно Вам было не приехать. Денег ждал из Питера. Да чего же бы лучше, как ждать их в Зальцбрунне, где нас было трое, и у каждого Вы могли взять до получения из Питера столько, сколько Вам нужно было. А как бы весело было вчетвером-то. Да что будешь делать с Вами, мой несправимый, милый дикарь.

Как Вы поживаете, что поделываете? Дайте о себе весточку. А как жене моей хотелось повидаться с Вами, сколько раз писала она ко мне в Зальцбрунн, чтобы я дал Вам ее адрес. Она Вам, *при сей верной оказии*, низко кланяется.

Думаю, что Вам пока едва ли до журнальных работ и всяких подобных дрязг. Но если, сверх чаяния, найдется у Вас время и охота написать повесть или что-нибудь вроде повести, — может ли «Современник» надеяться на Вашу готовность быть и ему полезным? Вот еще вопрос в таком же роде: мы и не думаем о Вашем постоянном участии по какой-нибудь отдельной части, но если бы Вам когда пришла охота разобрать какую-нибудь книгу, особенно почему-нибудь Вас интересующую, — можем ли мы надеяться, что Вы дадите нам Вашу рецензию? Нечего и говорить, что и для Вашей ученой статьи всегда найдется почетное место в нашем журнале, лишь бы только Вы захотели занять его. ¹

Затем, желая Вам всего хорошего, остаюсь весь Ваш

В. Белинский.

СПб. 1847, ноября 8 дня.

⟨Адрес:⟩ Петру Николаевичу Кудрявцеву.

318. П. В. АННЕНКОВУ

⟨20 ноября — 2 декабря 1847 г. Петербург.⟩

Дражайший мой Павел Васильевич, виноват я перед Вами, как чорт знает кто, так виноват, что и оправдываться нет духу,

* Далее зачеркнуто: мы

даже на письме, хотя в вине моей перед Вами и есть *circonstances atténuantes*.* И потому, не теряя лишних слов, предаю себя Вашему великодушию, которое в Вас сильнее справедливого негодования.

Не можете представить, как, с одной стороны, обрадовало меня письмо Ваше, а с другой — каким жгучим упреком кольнуло оно мою трикраты виновную перед Вами совесть.¹ Но довольно об этом. Пущусь в повествовательный слог и расскажу Вам о себе и прочем всё в хронологическом порядке. Гибельная привычка быть подробным и обстоятельным в письмах главная причина моей несостоятельности в переписке. Отправивши к Вам письмо из Берлина, в котором я расхвастался моим здоровьем,² я через несколько же часов почувствовал, что мне хуже, что я, значит, простудился. Такова моя участь. Из Парижа только что расхвастался жене чуть не совершенным выздоровлением, как на другой же день и простудился и стал никуда не годен. В Берлине погода стояла гнусная. Мы с Щ^епкиным³ выходили только обедать, да еще по утрам он ходил к своему египтологу, Лепсиусу,⁴ а я всё сидел дома. Кстати о Щ^епкине. Он самолюбив до гадости, до омерзения; это правда; но он всё-таки не чужд многих весьма хороших качеств, и малый с головой. Может быть, я так говорю потому, что дружеское расположение, с каким обошелся со мною Щ^епкин, затронуло, подкупило мое самолюбие. Да, я, в этом отношении, в сорочке родился: многие люди различно, а иногда и противоположно, враждебно даже, относящиеся друг к другу, ко мне относятся почти одинаково. Может быть, тут не одно счастье, а есть немножко и заслуги с моей стороны; а эта заслуга, по моему мнению, заключается в моей открытости и прямоте. Например, Тург^енев был оскорблен обращением с ним Щ^епкина и этим и ограничился. Я же, напротив, не оскорблялся, а чуть замечал, что он заносится, показывал ясно, что это вижу, и не уступал ему, как это одни делают по робости характера, другие по гордости, третьи по уклончивости. Впрочем, у Щ^епкина есть в манере нечто странное и пошлое, независимо от его самолюбивого характера, а это мало знающие его приписывают его самолюбию. Но вот я и заболтался, вдаюсь в диссертацию и уж сам не знаю, как выйти из нее приличным образом. Прожив с Щ^епкиным с неделю в одной комнате, я уразумел предмет его занятий и восчувствовал к нему уважение. Для него искусство важно, как пособие, как источник для археологии. Он выучился по-коптски, читает бойко иероглифы, и Египет составляет главный предмет его изучения. Археологию

* смягчающие обстоятельства (*франц.*).— *Ред.*

я высоко уважаю и слушать знающего по ее части человека готов целые дни. И Щ(епкин) сообщил мне много интересного касательно Египта. Его профессор Лепсиус так обшарил весь Египет, что теперь после него нет никакой возможности поживиться надписью или иероглифом, хоть останься для этого жить в Египте. Большая комната у Лепсиуса кругом обставлена шкапами, наполненными *только* материалами для истории Египта. Он восстановил (по источникам) хронологию Египта за 5000 лет до нашего времени, следовательно, с лишком за 3000 лет до Р. Х. И в этом отношении Лепс(иус) сделался уже авторитетом, на него все ссылаются, все его цитируют. Теперь он обрабатывает грамматику коптского языка, после чего приступит к другим важным работам по части истории Египта. Поразил меня особенно факт, что египтяне называли евреев *прокаженными*. Вот и дивись после этого, что иной индивидуум грязен и вонюч не по бедности и нужде, а по бескорыстной любви к грязи и воню (как Погодин), — когда целый народ, с самого своего появления на сцену истории до сих пор, подобно Петрушке, носит с собою свой особенный запах!

В пятницу я уехал в Штеттин, а на другой день, ровно в час, тронулся наш Адлер. Лишь только начали мы выбираться из Свибемюнде, как началась качка. Я пообедал в субботу, часа в два, а потом позавтракал во вторник, часов в 10 утра. В промежутке я лежал в моей койке то в дремоте, то в рвоте. Во вторник я обедал и оправился. Были слабее меня, например Полуденский (брат мужа сестры Сазонова),⁵ который лежал в агонии вплоть до Кронштадта. В Кронштадт прибыли мы в среду, часов в 6. Началась переписка и отметка паспортов — церемония длинная и варварски скучная. Между тем, переложилась на малый пароход. Да, и забыл было сказать, что при виде Кронштадта нам представилось странное зрелище: всё покрыто снегом, и накануне (нам сказали) в Петербурге была санная езда. Страдая морскою болезнью, я поправился в моей хронической болезни и прибыл здоровехонек. Тут я вполне убедился, что ездить по ночам по железным дорогам, словом, спать тепло одетому на открытом воздухе, — для меня своего рода лечение, едва ли не более действительное всех других родов лечений. Недаром я так не люблю *спать* в трактирах. Если не в моей комнате, в которой я *привык* спать, то всего лучше на вольном воздухе, одетому. Если судьба опять накажет меня путешествием, я буду ездить по ночам, а останавливаться на отдыхи днем. Оно и здорово и полезно: можно и пообедать, не торопясь, и город осмотреть, и кости распрavить ходьбою.

Но вот и Питер. Что-то у меня дома? Так и полетел бы, а изволь идти в таможню. Часа 4 прошло в муке ожидания и

хлопот, но дело сошло с рук лучше, нежели где-нибудь. Да, я забыл было: в понедельник была на море буря и пароход несколько часов был в опасности. К счастью, я ничего не знал.

Дома я нашел всё и всех в положении довольно порядочном. Тильман назвал Тира шарлатаном, лекарства его велел оставить. Это меня страшно огорчило. Плакали мои 68 франков! Через несколько дней, после обеда, сделалось мне худо: я хрипел, задыхался, словом, это был вечер хуже самых худых дней прошлой зимы, когда я беспрестанно умирал. Жена пристала, чтоб я начал принимать лекарство Тира. Что делать? Не принимать — пожалуй, издохнешь, пока дождешься приезда Тильмана; принимать — как сказать об этом Тильману? Эти доктора хуже женщин по части самолюбия и ревности. Однако дело обошлось хорошо. Мне было лучше, и Тильман не только не рассердился, но еще и велел продолжать микстуру Тирашки. Он, видите ли, достал рецепт этой микстуры. Надо Вам сказать, что Тильман лечит m-me Языкову.⁶ Он говорит, что средства Тира все самые известные и обыкновенные, что ими и он, Тильман, часто лечит и что, зная теперь состав Тирашкиных снадобий, он может позволить их употребление. Кстати: Языкова несколько раз была в опасности, харкала кровью. Теперь ей лучше. Дочь ее замужем и в Москве. Сама она, кажется, и не думает сбираться за границу. Я всё собираюсь побывать у ней, да всё не соберусь: то заболелю, то работа. Через неделю по приезде был я у Ваших братьев.⁷ Что это за добрые души! Они обрадовались мне, словно родному, как говорится. Что у них теперь за квартира! В нижнем этаже окна на бульвар, и как их комнаты выступают из улицы углом, то из их окон видны Адмиралтейство и Зимний дворец. Вид несравненный!

Жена моя жила на квартире временной; надо было искать новую. С ног сбился, а не нашел. Из нескольких гадких порешились взять менее других гадкую. Она до того мала, что половина мебели нашей не вошла бы в нее и я задохнулся бы в ней. Я собирался перейти в нее, как собирается человек, осужденный за долги на тюремное заключение, переезжать на эту квартиру. К счастью, случайно нашли квартиру большую, красивую и дешевую. Кроме кухни и передней — шесть комнат, большие стекла, полы парке, обои, цена 1320 р. асс. Переезд был хлопотен; мы перевозились из трех мест: с старой квартиры, а большая часть мебели была у Языкова, книги — у Тютчева. При переезде я простудился, и у меня открылись раны на легких (о чем я узнал после). Тильман говорил жене, что такого большого у него не бывало, что он уже не один раз назначал день моей смерти — и я его неожиданно обманывал. Это хорошо, но это только одна сторона медали, а вот и другая: не

раз считал он меня вне всякой опасности и назначал время совершенного моего выздоровления — и я пять каждый раз его обманывал. Самарин тиснул в «Москвитянине» статью (весьма пошлую и подлую) о «Современнике»⁸ мне надо было ответить ему.⁹ Взялся было за работу — не могу — лихорадочный жар, изнеможение. Как я испугался! Стало быть, я не могу работать! Стало быть, мне надо искать места в больнице; а жене в богадельне! Но дня через два, через три лихорадка прошла совершенно, Тильман велел мне оставить все лекарства; я принялся за работу, и в шесть дней намахал три с половиною печатных листа. И всё это с отдыхами, с ленью, с потерей времени: иногда принимался не раньше 12 часов, а после обеда работал только три дня, и то от 7 до 9 часов, не более. И во всё это время я чувствовал себя не только здоровее и крепче, но бодрее и веселее обыкновенного. Это меня сильно поощрило. Значит — я могу работать, стало быть, могу жить. Вообще, чтоб уже больше не возвращаться к этому предмету, скажу Вам, что как ни хил и ни плох я, а всё гораздо лучше, нежели как был до поездки за границу — просто, сравнения нет!

В литературе нашел я много нового. «Отечественные записки»* гнусны по части изящной словесности, но во всем остальном — журнал хоть куда! Разумеется, тут не ум и таланты Кр(аевско)го виноваты, а его счастье в качестве подлеца. Нужно же было Заблоцкому именно в нынешнем году написать превосходнейшую статью (которую я выпросил у автора и для себя и для Вас, а контора взялась переслать Вам). Прочел я в «Отечественных записках» превосходную критику сочинений Фопвизина, таковую же на книжку: «О религиозных сектах евреев», и несколько прекрасных рецензий. Автор их — некто г. Дудышкин. Он никогда не писал и не думал писать; но покойник Майков убедил его взяться за перо.¹⁰ Ну, не счастье ли подлецам? Ведь он мог начать и у нас, а что он начал в «Отечественных записках» — это дело чистого случая. Теперь Дудышкин — наш,¹¹ а всё-таки «Отечественным запискам» он помог, и этого не воротить. Какой-то шут прислал в «Отечественные записки» превосходную статью, или, лучше сказать, ряд превосходнейших статей о золотых приисках в Сибири. Опять счастье! Боясь, что «Современник» подрежет его при новой подписке, Кр(аевский) велел Галахову валяться в ногах у москвичей, чтобы выпросить у них названий будто бы обещанных в «Отечественные записки» статей; и те — дали! Что ж тут удивительного: подлецы всегда выезжают на дураках! В. П. Б(отки)н обещал историю Испании за три последние столетия; Грановский — биографию Помбалья, Кавелин разные

* Далее зачеркнуто: сколько

вещи по части русской истории. Это решительная гибель для «Современника». Они оправдываются тем, что желают нам всяких успехов, но *жалуют* и Кр<аевско>го!! Я написал к Б<отки>ну длинное письмо. Он сложил вину на Некрасова — зачем-де он их не предупредил. Грановский отвечал прямо, что, так как «Отечественные записки» издаются в одном духе с «Современником», то он очень рад, что у нас, вместо одного, два хороших журнала, и готов помогать обоим.¹² Подите, растолкуйте такому шуту, что именно по одинаковости направления оба журнала и не могут с успехом существовать вместе, но должны только мешать и вредить друг другу. А между тем, отложение от «Отечественных записок» главных их сотрудников «Современник» выставил в своей программе, как право на свое существование. Кр<аевский> же уверяет печатно, что сотрудники его *всё те же*, и наши московские друзья-враги теперь торжественно оправдали Кр<аевско>го и выставили лжецом «Современника». Мы крепко боимся, чтобы за это не сесть на мель при новой подписке. Одинаковое направление! Эти господа не хотят понять, что направлением своим теперь «Отечественные записки» обязаны только случаю да счастью, а не личности их редактора. Кстати, об этой прекрасной личности. Вы знаете, что Кр<аевский> прошлое лето ездил в Москву и останавливался у Б<отки>на. Как *conditio sine qua non** своего драгоценного пребывания у Б<откина>, он сказал ему, что не хочет встречаться с Кетчером. Вместо того, чтобы сказать ему, что это очень легко, стоит-де Вам взять шляпу да уйти, когда придет Кетчер, ему ничего не сказали, и подлец имел полное право заключить, что честный и благородный человек ему принесен в жертву. По совету Н. Ф. Павлова, Кр<аевский> купил за 4 р. 70 к. меди примочку для ращения волос. В день отъезда он входит в комнату Б<отки>на с пузырьком в руке и горько жалуется, что П<авлов> заставил его потерять деньги на дрянь. Всякий другой сказал бы ему, выкиньте-де за окно, если это дрянь; но В<асилий> П<етрович> почел долгом быть благоговейно и преданно деликатным в отношении к Кр<аевско>му. — Отдайте мне; что Вы заплатили? — Пять рублей.—(Видите ли, подлец украл у Б<отки>на 30 к. медью). На этом дело не кончилось. В минуту отъезда Кр<аевский> пришел к Б<откину> с пустым пузырьком и попросил его отлить ему на дорогу примочки. — Приглашает Кр<аевский> москвичей обедать к Шевалье. В назначенное для сбора время приглашенные колеблются, боясь, что придется расплачиваться каждому за себя; но Б<откин>, великодушно посвятивший себя в козлы-грехоносцы Кр<аев-

* неперемное условие (латин.).— Ред.

ско>го, клянется и божится, что Кр<аевский> заплатит за всех. И он, действительно, заплатил, даже велел подать 2 или 3 бутылки лафиту — и больше ничего по части вин. Видя, что в одной бутылке осталось до половины вина, Кр<аевский> тщательно заткнул ее пробкою и положил в карман. На другой день назначен был пикник, на который каждый должен был явиться с каким-нибудь съестным или питейным запасом, — и Кр<аевский> явился с недопитою накануне бутылкою лафита! Не подумайте, чтобы я тут что-нибудь переиначивал или преувеличивал: нет, я историк тем более точный и правдивый, чем более желаю выставить Кр<аевского> в настоящем его виде. Малейшая ложь могла бы оправдать его в главном, а этого-то я и не хочу. Это его московские подвиги; а вот и петербургские. Нанял он себе великолепный отель на Невском, над рестораном Доминика, за 4000 р. асс. Раз были у него Дудышкин, Милютин и еще кто-то третий, все люди, которыми он дорожил для «Отечественных записок». Нужно ему было с ними переговорить, а время было обеденное, — и он пригласил их к Доминику, так как в этот день у него не готовили стол. Ну, те рады — думали пообедать на славу. Но Кр<аевский> велел подать 4 обеда *трехрублевые* — и ни капли вина: он насчет вина придерживается Магометова закона и разрешает только на чужое вино. Собеседники его велели подать вина; но Кр<аевский> не шевельнул и бровью, заплатил за 4 обеда, а за вино великодушно предоставил расплачиваться своим гостям. — Выкупил он из мещанского общества (и тем спас от рекрутства) Буткова, но выкупил на деньги Общества посещения бедных, и за такое благодеяние запряг Буткова в свою работу. Тот уже не раз приходил со слезами жаловаться Некрасову на своего вампира. Раз Бутков просит у Некр<асова> № «Отечественных записок». Но прежде Вам надо сказать, что Б<утков> живет у Кр<аевско>го вместе с другим молодым человеком — Крешевым. Он дал им лишнюю комнату, взявши с каждого из них по 100 р. сер. в год. Некр<асов> заметил Буткову, что ему лучше брать «Отечественные записки» у Кр<аевского>, с которым он живет в одном доме. — Просил не раз, да не дает: говорит — подпишитесь. — Продал Кр<аевский> Крешеву старый диван, набитый клопами, за 4 р. сер. Диван этот понравился Достоевскому, и он, за ту же цену, перекупил его у Крешева. Поутру являются двое ломовых извозчика от Достоевского, и они понесли было диван. Но Кр<аевский>, узнав об этом, велел остановить: я, говорит, дал им (продать за деньги — по его мнению, значит дать), чтобы комната не была пуста и было бы на что сесть. За отопление и метение этой комнаты люди Кр<аевско>го получают от Буткова 5 р. с. в месяц, но не топят и не метут, а только грубиянят Буткову, благо он тих и робок. — Раз

Кр<аевский> говорит человеку: позвать ко мне Крешева. Пришел К<решев>, и Кр<аевский> надавал ему комиссий, по которым он должен был побывать в разных частях города. — Только не торопитесь — время терпит. — Выполнив комиссии и отдав в них отчет, Крешев просит целкового заплатить извозчику. — Как извозчику? — Да ведь я ездил. — А почему же Вы не сходили пешком? Ведь я же Вам сказал, что время терпит и торопиться не к чему. — Сконфуженный такою наглостию, Крешев просит целкового в счет следующей ему платы. — Ну, коли на Ваш счет — извольте; только, что у Вас за охота мотать деньги. — Каков? — Раз приходит к нему Дудышкин. — Что говорят в городе об «Отечественных записках»? — спрашивает Кр<аевский>. — Да говорят, что единство направления в них исчезает. — А, да! это надо поправить; я открою у себя вечера по четвергам для моих сотрудников. — Здесь, Вы видите, будто он хочет давать направление (которого у него-то самого никогда и не бывало) своим сотрудникам; но умысел другой тут был:¹³ ему нужно набираться чужого ума, за отсутствием своего собственного. Действительно, что ни напечатает, обо всем настоятельно требует мнения Дудышкина, и потом выдает это мнение за свое собственное. Вечера он открыл, да только к нему никто на них не ходит, ибо все его не терпят и презирают. А он было решился уже поить своих гостей выпаренным на самоваре чаем, от которого пахнет человеческим потом.

И вот кого поддерживают наши московские друзья во вред «Современнику»! Хороши гуси, нечего сказать!

Достоевский славно подкузмил Кр<аевско>го: напечатал у него первую половину повести; а второй половины не написал, да и никогда не напишет. Дело в том, что его повесть до того пошла, глупа и бездарна, что на основании ее пачала ничего нельзя (как ни бейся) развить. Герой — какой-то нервический <...> — как ни взглянет на него героиня, так и хлопнется он в обморок.¹⁴ Право!

Ваше последнее письмо — прелесть во всех отношениях, и даже со стороны слога и языка безукоризненно. А что, дражайший мой автор «Кирюши», что бы Вам потряхнуть еще повестцой?¹⁵ Написали одну (и весьма порядочную), стало быть, можете написать и другую, и еще лучше. Говорят, Вы скучаете. Это мне странно. Вот бы от скуки-то и приняться за дело.

Я очень рад, что мальчишка наш нашелся. Подлинно, чему не пропасть, то всегда найдется. Кланяюсь ему, но писать теперь некогда, а на письмо его отвечу через некоторое время.¹⁶ Некр<асов> выполнил все его поручения. Смотрите за ним.

Слегка за шалости браните

И в Тюльери гулять водите.¹⁷

Григорович написал удивительную повесть.¹⁸ В той же книжке увидите Вы мою статью против Самарина, страшно изуродованную цензурою.¹⁹

Мои все Вам кланяются. Я скоро (право, не вру) опять буду писать к Вам.

Ваш В. Б.

Кланяйтесь Герценам и М(арье) Ф(едоровне) и всем нашим. А что же статья об «Эстетике» Гегеля?²⁰

СПб. 1847. 20 ноября — 2 декабря.

319. К. Д. КАВЕЛИНУ

<22 ноября 1847 г. Петербург.>

Сейчас только получил и разобрал (с большим трудом) Ваше, писанное небывалыми до Вас на свете гиеероглифами, письмо, милый мой Кавелин, — и сейчас отвечаю на него.¹ Что Вы летом ничего не делали для «Современника», за это никто из нас и не думал сердиться на Вас. Вы наш сотрудник, соучастник, а не работник, не поденщик, обязанный не иметь ни лени, ни отдыха, ни других дел, более для Вас важных. И Вы напрасно извиняетесь, потому что никто Вас и не обвинял. Вот, что Вы губите нас, помогая скверनावцу Кр(аевско)му, — это нам больно; но об этом после. Отзыв Ваш о моей статье² тронул меня глубоко, хотя в то же время и посмешил своею преувеличенностью. Статья моя, действительно, не дурна, особенно в том виде, как написана (а не как напечатана), но и далеко не так хороша, как Вы ее находите. Не называю Вас за это ни мальчишкою (изо всех моих друзей и приятелей, этим именем я называю только Тургенева), ни рыцарем. Дело просто: Вы меня любите, а между тем сочли за человека, который заживо умер и от которого больше нечего было ожидать. И такое мнение с Вашей стороны не было ни несправедливо, ни опрометчиво: оно основывалось на фактах моей прошлогодней деятельности для «Современника». Дело прошлое: а я и сам ехал за границу с тяжелым и грустным убеждением, что поприще мое кончилось, что я сделал всё, что дано было мне сделать, что я измочалился, выписался, выболтался и стал похож на выжатый и вымоченный в чаю лимон. Каково мне было так думать, можете посудить сами: тут дело шло не об одном самолюбии, но и о голодной смерти с семейством. И надежда возвратилась мне с этою статьею. Неудивительно, что она всем Вам показалась лучше, чем есть, особенно Вам, по молодости и темпераменту более других склонному к увлечению. Спасибо

Вам. Ваше сравнение моей статьи с Пушкина и Лермонтова последними сочинениями и еще с последними распоряжениями кого-то, чье имя я не разобрал в Ваших гieroглифах, — это сравнение дышит увлечением и вызывает улыбку на уста. Так! но есть преувеличения, лжи и ошибки, которые иногда дороже нам верных и строгих определений разума: это те, которые исходят из любви; видишь их несостоятельность, а чувствуешь себя человечески тепло и хорошо. Еще раз спасибо Вам, милый мой Кавелин. Кстати о статье. Я уже писал к Б<отки>ну, что она искажена цензурою варварски и — что всего обиднее — совершенно произвольно.³ Вот Вам два примера. Я говорю о себе, что, опираясь на инстинкт истины, я имею на общественное мнение больше влияния, чем многие из моих *действительно ученых* противников; подчеркнутые слова не пропущены, а для них-то и вся фраза составлена. Я метил на ученых ослов — Надеждина и Шевырева. Самарин говорит, что согласие князя с вече было идеалом новгородского правления. Я возразил ему на это, что и теперь в конституционных государствах согласие короля с палатою есть осуществление идеала их государственного устройства: где же особенность новгородского правления? Это вычеркнуто. Целое место о Мицкевиче и о том, что Европа и не думает о славянофилах, тоже вычеркнуто. От этих помарок статья лишилась своей ровноты и внутренней диалектической полноты. Ну, да черт с ней! Мне об этом и вспоминать — нож вострый! Скажу кстати, что я Вам угрожает такая же участь. В заседании Географического общества Панаев столкнулся с маленьким, черненьким, плюгавеньким Поповым.⁴ — Я читал ответ Самарину. — Что ж мудреного, когда он напечатан! — Нет, вторую статью, Кавелина.⁵ — Как же это? — Мне показывал Срезневский (цензор),⁶ и я уговорил его кое-что смягчить. — Видите ли, сколько у нас цензоров и какие подлецы славянофилы!

Насчет Вашего несогласия со мною касательно Гоголя и натуральной школы я вполне с Вами согласен, да и прежде думал таким же образом. Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, потому что не сообразили, *для кого и для чего* она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов Гоголя и натуральной школы, в защиту от их фискальных обвинений. Поэтому, я счел за нужное сделать уступки, на которые внутренно и не думал соглашаться, и кое-что изложил в таком виде, который мало имеет общего с моими убеждениями касательно этого предмета. Например, всё, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решусь: это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от нее. А они и так напали на след и только ждут, чтобы мы прогово-

рились. Вы, юный друг мой, хороший ученый, но плохой политик, как следует быть истому москвичу. Поверьте, что в моих глазах г. Самарин не лучше г. Булгарина, по его отношению к натуральной школе, а с этими господами надо быть осторожну.

Вы обвиняете меня в славянофильстве. Это не совсем неосновательно; но только и в этом отношении я с Вами едва ли расхожусь. Как и Вы, я люблю русского человека и верю великой будущности России. Но, как и Вы, я ничего не строю на основании этой любви и этой веры, не употребляю их, как неопровержимые доказательства. Вы же пустили в ход идею развития личного начала, как содержание истории русского народа.⁷ Нам с Вами жить недолго, а России — века, может быть, тысячелетия. Нам хочется поскорее, а ей торопиться нечего. Личность у нас еще только наклеивается, и оттого гоголевские типы — пока самые верные русские типы. Это понятно и просто, как $2 \times 2 = 4$. Но как бы мы ни были нетерпеливы и как бы ни казалось нам всё медленно идущим, а ведь оно идет страшно быстро. Екатерининская эпоха представляется нам уже в мифической перспективе, не стариною, а почти древностью. Помните ли Вы то время, когда я, не зная истории, посвящал Вас в тайны этой науки? Сравните-ко то, что мы тогда с Вами толковали, с тем, о чем мы теперь толкуем. И придется воскликнуть: свежо предание, а верится с трудом!⁸ Терпеть не могу восторженных патриотов, выезжающих вечно на междометиях или на квасу да каше; ожесточенные скептики для меня в 1000 раз лучше, ибо ненависть иногда бывает только особенною формою любви; но, признаюсь, жалки и неприятны мне спокойные скептики, абстрактные люди, беспачпортные бродяги в человечестве. Как бы ни уверяли они себя, что живут интересами той или другой, по их мнению, представляющей человечество стране, — не верю я их интересам. Любовь часто ошибается, видя в любимом предмете то, чего в нем нет, — правда; но иногда только любовь же и открывает в нем то прекрасное или великое, которое недоступно наблюдению и уму. Петр Великий имел бы больше, чем кто-нибудь, право презирать Россию, но он —

Не презирал страны родной:

Он знал ее предназначенье.⁹

На этом и основывалась возможность успеха его реформы. Для меня Петр — моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-нибудь делать, быть чем-нибудь полезными. Без непосредственного элемента — всё гнило, абстрактно и безжизненно, так же как при одной непосредственности всё дико и нелепо. Но что ж я разоврался? Ведь Вы и

сами то же думаете или, по крайней мере, чувствуете, может быть, наперекор тому, что думаете.

Ну-с, теперь о житейских делах. Во-первых, Вы не дали мне ответа на мой вопрос: хотите ли Вы по примеру прошлого года составить обзор литературной деятельности за 1847 год по части русской истории?¹⁰ Знаю, как скучно писать несколько раз об одном и том же, а потому и не настаиваю. Но ведь это можно сделать покороче, лишь бы видно было, что говорит человек, знакомый с делом. Как Вы думаете? Если согласитесь, то не откладывайте вдаль, и во всяком случае не замедлите прислать мне Ваше *да* или *нет*.

Милютина зовут Владимиром Александровичем.¹¹ Его адрес: *На Владимирской, в доме Фридрикса, квартира № 54.*

Насчет Вашего зловредного и опасного для «Современника» участия в «Отечественных записках» отвечу всем вам зараз. Я очень жалею, что потерял напрасно труд и время на длинное письмо к Б<отки>ну и без пользы оскорбил людей, которых люблю и уважаю. Дело вот в чем: Вы обещали статьи Кр<аевско>му потому, что, во-1-х, не видели в этом вреда для «Современника», во-2-х, потому, что два журнала с одинаково хорошим направлением лучше одного. Это Ваше мнение, и Вы совершенно правы.¹² Что касается до нас, мы думаем иначе. По нашему убеждению, журнал, издаваемый свинцовою <...>, вместо мыслящей головы, не может иметь никакого направления, ни хорошего, ни дурного; а если «Отечественные записки» доселе имеют направление, и еще хорошее, это потому, что они еще не успели простыть от жаркой топки — Вы знаете, кем сделанной, а потом еще от разных случайностей, из которых главная — участие Дудышкина. Но уже несмотря на то, противоречий, путаницы промахов — довольно; погодите немного — то ли еще будет, несмотря на Ваше участие. Вспомните мое слово, если в будущем году не появится там таких статей и мнений, которые лучше всех моих доводов охладят Ваше участие к этому журналу. Далее. Мы убеждены, что у нас два журнала с одинаковым направлением существовать не могут: один должен жить на счет другого или оба чахнуть. Если, несмотря на Вашу помощь «Отечественным запискам», подписка на «Современник» окажется хорошею, это будет несомненным признаком падения «Отечественных записок». Но мы, благодаря Вам, ожидаем противного. Тогда я в особенности буду иметь причины быть Вам благодарным. Вот наше мнение. Вы стоите на своем, мы — на своем. Ссориться, стало быть, не из чего. Пиша мое письмо, я ожидал от Вас всякого ответа, кроме того, который Вы дали. Если бы это предвидел, вместо яростного и длинного письма, написал бы Вам три-четыре спокойных строки. И потому я беру назад мое письмо и раскаиваюсь перед Вами в его

написании. Что же касается до статьи Афанасьева, Вы, милый мой Кавелиц, вовсе не так, как бы следовало, меня поняли. Это место моего письма, взятое отдельно, для Вас оскорбительно, а мне мало делает чести. Если Вы взглянете на него с главной точки зрения *всего письма*, Вы увидите, что тут для Вас ничего нет обидного. Исключительное участие москвичей в «Современнике» мы понимаем, как главную силу нашего журнала, и, основываясь на ней, начали действовать широко и размахисто в надежде будущих благ. Оттого первый год принес убыток. Знай мы заранее, что Вы поддержите Краевского в тяжелую для него годину, мы повели бы дело иначе, поскромнее, т. е. платили бы хорошие деньги только немногим, а всем остальным поумереннее; тогда расход не превзошел бы прихода. Я совершенно согласен с Вами насчет достоинств статьи Афанасьева, но более как статьи ученой, нежели журнальной. Считая Вас исключительно нашими сотрудниками, мы и не думали видеть в 150 р. за лист непомерно большой цены за эту статью; но теперь — другое дело; теперь мы имеем причины горько жалеть и о том, что, вместо обещанных 250 листов, дали 400, — а ведь это сделано не по Вашему же совету. Поняли ли Вы теперь смысл моих слов по поводу статьи Афанасьева? Если нет, — то Вашу руку — извините меня, и забудем об этом так, как будто бы я вовсе не писал, а Вы не читали моего письма.

Что касается до статей Фролова, еще прежде этой истории, лишь только я приехал и узнал о его бесконечном Гумбольдте, как содрогнулся и сказал Некрасову: это зачем Вы печатаете? — Да что ж такое — он хорош с Грановским, почему ж не напечатать, — отвечал мне Некрасов. Фролов человек умный, но ум его поражен хронической болезнью, не то насморком, не то запором. Такие сотрудники — гибель для журнала. Но я всё-таки не понимаю, чем я обидел Грановского, сказавши ему, что из желания сделать ему приятное мы сделали то, за что он на нас вовсе не осердился, если б мы этого не сделали, тем более, что он нас и не просил об этом? Впрочем — чорт знает, может быть, я как-нибудь неуклюже выразился, в таком случае опять прошу извинить меня и дружески забыть всё это.¹³

К В. П. Б(отки)ну я не пишу по причине слухов о его скором прибытии в Питер; боюсь, что мое письмо его не застанет в Москве.

Вам, милый мой юноша, поправилось то, что Самарин говорит о народе: перечтите-ко да переводите эти фразы на простые понятия — так и увидите, что это целиком взятые у французских социалистов и плохо понятые понятия о народе, абстрактно примененные к нашему народу.¹⁴ Если б об этом можно было писать, не рискуя власть в тон доноса, я бы потешился над ним за эту страничку. Повесть «Аптон» — прекрасна, хотя и не бо-

жественна, как Вы говорите. Читать ее — пытка: точно присутствуешь при экзекуции.¹⁵

Позвольте побранить Вас за неаккуратность. Вашею статьею (вторую) о книге Соловьева Вы поставили нас в затруднительное положение: 12 № должен раздуться чудовищно.¹⁶ Если бы Вы неделями двумя раньше уведомили, что пришлете такую-то статью такого-то (приблизительно) размера, тогда из отдела словесности была бы выкинута комедия.¹⁷ Ох вы, москвичи, вечно поленились во-время сказать нужное словцо.

Тютчев Вам кланяется, а я крепко жму руку и остаюсь Вашим

В. Беллинским.

СПб. 1847, ноября 22.

320. П. В. АННЕНКОВУ

<1—10 декабря 1847 г. Петербург.>

Дражайший мой Павел Васильевич! Не удивляйтесь сему посланию, столь интересному по его содержанию: Вы его получаете из Берлина.¹ Больше ничего не скажу на этот счет; но прямо приступлю к изложению тех необыкновенно интересных русских новостей, которые заставили меня на этот раз взяться за перо.

Тотчас же по приезде услышал я, что в правительстве нашем происходит большое движение по вопросу об уничтожении крепостного права. Г<осударь> и <мператор> вновь и с большею против прежнего энергиею изъявил свою решительную волю касательно этого великого вопроса. Разумеется, тем более решительной воли и искусства обнаружили окружающие его *отцы отечества*, чтобы отвлечь его волю от этого крайне неприятного им предмета. Искренно разделяет желание г<осударя> и <мператора> только один Киселев;² самый решительный и, к несчастью, самый умный и знающий дело противник этой мысли — Меншиков.³ Вы помните, что несколько назад тому лет движение тульского дворянства в пользу этого вопроса было остановлено правительством с высокомерным презрением. Теперь, напротив, послан был тульскому дворянству запрос: так ли же расположено оно теперь в отношении к вопросу?⁴ Перовский выписал в Питер Мяснова⁵ для совещания с ним о средствах разрешить вопрос на деле. Трудность этого решения заключается в том, что правительство решительно не хочет дать свободу крестьянам без земли, боясь пролетариата, и в то же время не хочет, чтобы дворянство осталось без земли, хотя бы и при деньгах. Вы имеете понятие о Мяснове. Это человек неглупый, даже очень неглупый, но пустой и ничтожный, болтун на все руки, либерал

на словах и ничто на деле. Роль, которую он теперь играет, забавляет его самолюбие и дает пищу болтовне, а он и без того помолчать не любит. Он говорит, что в губернии его считают Вашингтоном (по его, это значит быть радикалом в либерализме), а вот мы, молодое поколение, хотели бы его повесить, как консерватора, хотя, по правде, мы и не считаем его достойным такого строгого наказания, а думаем, что довольно было бы прогнать его по шее к его лошадям, на его завод — писать для них конституцию; это его настоящее место — коюшья. Раз в доме Колзакова (зятя нашего Языкова) Мяснов принимал у себя молодое поколение аристократии, которая всё рвется служить по выборам, и прочел им свой проект освобождения крестьян. Приехал в половине чтения приятель его Жихарев (сепатор),⁶ и он вновь прочел весь свой проект, написанный преглупо и начиненный текстами из св. писания. «Сукин ты сын, <...>», — сказал ему Жихарев, при всех этих Шуваловых, Строгановых и пр., ни мало не привыкших к такому демократическому красноречию в порядочном обществе. «Ты сделал смешным твой проект». — А мне что за дело! лишь бы я сделал мое дело, а там пусть смеются! — Да <...>! коли ты сделаешь смешным свое дело, ты погубишь его. Дай сюда! — Вырывает бумагу, складывает и кладет себе в карман. — Я обделаю это дело сам, я примусь за это сон amore,* ночи не буду спать — я не говорю, чтобы ты написал всё вздор, у тебя есть идеи, да не так всё это надо сделать. — И Мяснов после говорил Языкову, что он жалеет, что тут не было Виссариона, который посмотрел бы, какая это была мишута, когда Жихарев, и пр. Видите ли, какой это государственный человек! И Жихарев принялся за дело ревностно. Какой был результат, т. е. что и как написал он, не знаю, ибо вот уже 4-я неделя, как по причине гнусной погоды не выхожу из дому, а приятели редко ко мне заглядывают, потому что живу теперь не по дороге всем, как прежде. Но знаю, что Мяснов уже выгодно продал свой завод конский троим из молодых аристократов и по условию остался, за хорошее жалованье, смотрителем и распорядителем завода. Итак, дело обошлось не без пользы, если не для крестьян, то для Мяснова! Перовский, который в душе своей против освобождения рабов, а по своему шаткому положению (он теперь в немилости) объявил себя (с Уваровым) за необходимость освобождения, рад, что нашел в Мяснове человека, к которому может посылать всех для переговоров. Но не думайте, чтобы дело это было в таком положении. Всё зависит от воли г<осударя> и м<ператора>, а она решительна. Вы знаете, что после выборов назначается обыкновенно двое депутатов от дворянства, чтобы благодарить

* с любовью (итал.).— *Ред.*

г<осударя> и <мператора> за продолжение дарованных дворянству прав, и Вы знаете, что в настоящее царствование эти депутаты никогда не были допускаемы до г<осударя> и <мператора>. Теперь вдруг смоленским депутатам гелено явиться в Питер. Г<осударь> и <мператор> милостиво принял их, говорил, что он всегда был доволен смоленским дворянством и пр. И потом вдруг перешел к следующей речи.—Теперь я буду говорить с вами не как г<осуда>рь, а как первый дворянин империи. Земля принадлежит нам, дворянам, по праву, потому что мы приобрели ее нашею кровью, пролитою за государство; но я не понимаю, каким образом человек сделался вещию, и не могу себе объяснить этого иначе, как хитростию и обманом, с одной стороны, и невежеством — с другой. Этому должно положить конец. Лучше нам отдать добровольно, нежели допустить, чтобы у нас отняли. Крепостное право причиною, что у нас нет торговли, промышленности. — Затем он сказал им, чтобы они ехали в свою губернию и, держа это в секрете, побудили бы смоленское дворянство к совещаниям о мерах, как приступить к делу. Депутаты, приехав домой, сейчас же составили протокол того, что говорил им г<осударь> и <мператор>, и потом явились к Орлову ⁷ рассказать о деле. Тот не поверил им; тогда они представили ему протокол, прося показать его г<осударю> и <мператору> — точно ли это слова е<го> в<еличест>ва. Г<осударь> и <мператор>, просмотрев протокол, сказал, что это его подлинные слова, без искажения и прибавок.⁸ Через несколько времени по возвращении депутатов в их губернию Перовский получил от смоленского губернатора донесение, что двое из дворян смущают губернию, распространяя гибельные либеральные мысли. Г<осударь> и <мператор> приказал Пер<овско>му ответить губернатору, что в случае бунта у него есть средства (войска и пр.), а чтобы до тех пор он молчал и не в свое дело не мешался. Я забыл сказать, в речи своей депутатам г<осударь> и <мператор> сказал, что он уже намекал (указом об обязанных крестьянах)⁹ на необходимость освобождения, да этого не поняли. Недавно г<осударь> и <мператор> был в Александринском театре с Киселевым и оттуда взял его с собою к себе пить чай: факт, прямо относящийся к освобождению крестьян.¹⁰ Конечно, несмотря на всё, дело это может опять затихнуть. Друзья своих интересов и враги общего блага, окружающие г<осударя> и <мператора>, утомят его проволочками, серединными, неудовлетворительными решениями, разными препятствиями, истинными и вымышленными, потом воспользуются маневрами или чем-нибудь подобным и отклонят его внимание от этого вопроса, и он останется перешенным при таком монархе, который один по своей мудрости и твердой воле способен решить его. Но тогда он решится сам собою, другим образом, в 1000 <раз> более

неприятным для русского дворянства. Крестьяне сильно возбуждены, спят и видят освобождение. Всё, что делается в Питере, доходит до их разума в смешных и уродливых формах, но в сущности очень верно. Они убеждены, что царь хочет, а господа не хотят. Обманутое ожидание ведет к решениям отчаянным. Перовский думал предупредить необходимость освобождения крестьян мудрыми распоряжениями, которые юридически определили бы патриархальные по их сущности отношения господ к крестьянам и обуздали бы произвол первых, не ослабив повиновения вторых: мысль, достойная человека благонамеренного, но оградиченного!¹¹ Попытку свою начал он с Белоруссии возобновлением уже забытого там со времен присоединения Литвы к России *инвентария*.¹² Поляки и жиды растолковали мужикам, что инвентарий значит то, что царь хочет их освободить, а господа не хотят, и что царь, бывши в Кіеве, хотел к ним захватить, а господа не пустили его. Я думаю, что тут даже не нужна была интервенция поляков и жидов и что такое толкование могло само собою родиться в крестьянских головах, уже настроенных к мыслям о свободе. Итак, Перовский достиг цели, совершенно противоположной той, какую имел. Оно и понятно: когда масса спит, делайте что хотите, всё будет по-вашему; но когда она проснется — не дремлите сами, а то быть худу...

(Сейчас я узнал, что Мяснов, а потом Жихарев, писали не проект, а совет смоленскому предводителю дворянства; бумага неважная, из которой и не вышло никаких следствий.)¹³

Так вот-с, мой дражайший, и у нас не без новостей и даже не без признаков жизни. Движение это отразилось, хотя и робко, и в литературе. Проскальзывают там и сям то статьи, то статейки, очень осторожные и умеренные по тону, но понятные по содержанию. Вы, верно, уже получили статью Заблоцкого. В другое время нельзя было бы и думать напечатать ее, а теперь она прошла. Мало этого: недавно в «Журнале Министерства народного просвещения» ее разбирали с похвалою и выписали место о зле *обязательной ренты*.¹⁴ Помещики наши проснулись и затолковали. Видно по всему, что патриархально-сонный быт весь изжит и надо взять иную дорогу. Очень интересна теперь «Земледельческая газета» — орган мнений помещиков. Толкуют о съездах помещиков и т. д.¹⁵ Обо всем этом Вам дадут понятие XI и особенно XII №№ «Современника» (смесь).¹⁶

Что еще у нас нового? Разнесся было слух, что Воронцов по неудовольствию отказывается от Кавказа, ссылаясь на болезнь глаз.¹⁷ Но эта болезнь была не выдуманная, он выздоровел и не думает оставлять Кавказа. А то было говорили, что на его место пошлют Меншикова, чтоб избавиться от докучного оппонента по вопросу об освобождении. Строганов вышел в от-

ставку и, рассказывают, вот по какому случаю. Он получил именное секретное предписание (что-то вроде того, как носятся темные слухи, чтобы наблюдать над славянофилами) и отвечал Уварову, что, находя исполнение этого предписания противным своей совести, он скорее готов выйти в отставку. Разумеется, Уваров поспешил изложить это дело, как явный бунт — и Стр<оганов> был уволен. На место его утвержден скотина Голохвастов. То и другое -- большое несчастье для Московского университета.¹⁸

Перовский в немилости и, говорят, еле держится. Причина: он скрутил по делу Клевещкого полицмейстера Брянчанинова, как уличенного члена шулерской шайки, и посадил его под арест, отдав под суд. Это было во время отсутствия г<осударя> и <мператора> в Питере. Одна особа женского пола, весьма значительная при дворе, по родству с Брян<чаниновым>, написала к нему письмо, чтобы он не беспокоился, что лишь бы приехал г<осударь>, а то всё будет хорошо, и ему дадут хоть другое, но такое же место. Перовский, захватив бумаги Брянч<анинова>, велел пришить к делу и это письмо... Так говорят.¹⁹

Наводил я справки о Шевченке и убедился окончательно, что вне религии вера есть никуда негодная вещь. Вы помните, что верующий друг мой²⁰ говорил мне, что он *верит*, что Шевченко — человек достойный и прекрасный. Вера делает чудеса — творит людей из ослов и дубин, стало быть, она может и из Шевченки сделать, пожалуй, мученика свободы. Но здравый смысл в Шевченке должен видеть осла, дурака и пошлеца, а сверх того, горького пьяницу, любителя горелки по патриотизму хохлацкому. Этот хохлацкий радикал написал два пасквиля — один на г<осударя> и <мператора>, другой — на г<осударын>ю и <мператрицу>. Читая пасквиль на себя, г<осударь> хохотал, и, вероятно, дело тем и кончилось бы, и дурак не пострадал бы, за то только, что он глуп. Но когда г<осударь> прочел пасквиль на и<мператри>цу, то пришел в великий гнев, и вот его собственные слова: «Положим, он имел причины быть мною недовольным и ненавидеть меня, но ее-то за что?» И это понятно, когда сообразите, в чем состоит славянское остроумие, когда оно устремляется на женщину. Я не читал этих пасквилей, и никто из моих знакомых их не читал (что, между прочим, доказывает, что они несколько не злы, а только плоски и глупы), но уверен, что пасквиль на и<мператри>цу должен быть возмутительно гадок по причине, о которой я уже говорил. Шевченку послали на Кавказ солдатом. Мне не жаль его, будь я его судьей, я сделал бы не меньше. Я питаю личную вражду к такого рода либералам. Это враги всякого успеха. Своими дерзкими глупостями они раздражают правительство, делают его подозрительным, готовым видеть бунт там, где нет ничего

ровно, и вызывают меры крутые и гибельные для литературы и просвещения.²¹ Вот Вам доказательство. Вы помните, что в «Современнике» остановлен перевод «Пиччинино» (в «Отечественных записках» тож), «Манон Леско» и «Леон Леони».²² А почему? Одна скотина из хохлацких либералов, некто Кулиш (экая свинская фамилия!) в «Звездочке» (иначе называемой <...>), журнале, который издает Ишимова для детей, напечатал историю Малороссии, где сказал, что Малороссия или должна отторгнуться от России, или погибнуть.²³ Цензор Ивановский²⁴ просмотрел эту фразу, и она прошла. И немудрено: в глупом и бездарном сочинении всего легче недосмотреть и за него попасться. Прошел год — и ничего, как вдруг государь получает от кого-то эту книжку с отметкою фразы. А надо сказать, что эта статья появилась отдельно, и на этот раз ее пропустил Куторга, который, понадеясь, что она была цензорована Ивановским, подписал ее, не читая. Сейчас же велено было Куторгу посадить в крепость. К счастью, успели предупредить графа Орлова и объяснить ему, что настоящий-то виноватый — Ивановский! Граф кое-как это дело замял и утишил, Ивановский был прощен. Но можете представить, в каком ужасе было министерство просвещения и особенно цензурный комитет? Пошли придирки, возмездия, и тут-то казанский татарин Мусин-Пушкин (страшная скотина, которая не годилась бы в попечителя конского завода)²⁵ накинулся на переводы французских повестей, воображая, что в них-то Кулиш набрался хохлацкого патриотизма, — и запретил «Пиччинино», «Манон Леско» и «Леон Леони». Вот, что делают эти скоты, безмозглые либералишки. Ох эти мне хохлы! Ведь бараны — а либеральничают во имя галушек и вареников с свиным салом! И вот теперь писать ничего нельзя — всё марают. А с другой стороны, как и жаловаться на правительство? Какое же правительство позволит печатно проповедывать отторжение от него области? А вот и еще следствие этой истории. Ивановский был прекрасный цензор, потому что благородный человек. После этой истории он, естественно, стал строже, придирчивее, до него стали доходить жалобы литераторов, — и он вышел в отставку, находя, что его должность несообразна с его совестью. И мы лишились такого цензора по милости либеральной свиньи, годной только на сало.

Так вот опыт веры моего верующего друга. Я эту веру определяю теперь так: вера есть поблажка праздным фантазиям или способность всё видеть не так, как оно есть на деле, а как нам хочется и нужно, чтобы оно было. Страшная глупость эта вера! Вещь, конечно, невинная, но тем более пошлая.

Ну, что бы Вам еще сказать? Книги мои я получил 21 ноября/3 декабря. Скоренько — нечего сказать. То-то ждал, то-то проклинал удобство и скорость европейских сношений.

Письмо Ваше, или, вернее сказать, Тургенева, получил. Благодарю вас обоих. Тургеневу буду отвечать, теперь недосуг, и это письмо измучился пища урывками. Скажите ему, чтобы в письмах своих ко мне он не употреблял некоторых собственных имен, например, имени моего верующего друга. Можно быть взрослому детине с проседью в волосах ребенком, но всему есть мера, — и так компрометировать друзей своих, право, ни на что не похоже! Бога ради, уведомьте меня о брошюрке против Ламартина, по поводу Робеспьера.²⁶

А затем прощайте. Да, кстати: Историческое общество в Москве открыло документ, из которого видно, что князь Пожарский употребил до 30 000 рублей, чтобы добиться престола. Возникло прение — печатать или нет этот документ. Большинство голосов решено — печатать. Славянофилы в отчаянии. Читали-ль Вы «Домби и сын»? Если нет, спешите прочесть. Это чудо. Всё, что написано до этого романа Диккенсом, кажется теперь бледно и слабо, как будто совсем другого писателя. Это что-то до того превосходное, что боюсь и говорить — у меня голова не на месте от этого романа.²⁷

Б.

321. В. П. БОТКИНУ

СПб. 1847, <2—6> декабря.

В последнем письме моем к Кавелину, дражайший мой Василий Петрович, писал я о причине, почему не отвечал на письмо твое.¹ Я надеялся крепко, что ты на это отзовешься и скажешь определенно, когда именно едешь в Питер или вовсе не едешь, или отложил эту поездку на неопределенное время. Но ни от тебя, ни от Кавелина — ни слова в ответ. Приезжает сюда Н. М. Щепкин — первое мое слово ему было: когда едет сюда Боткин? — Не знаю, отвечал он, я видел его перед моим отъездом, но он ни слова не сказал мне, что собирается, так что я от вас только и узнаю, что он хотел ехать. — Но вот Щепкин и приехал и уехал, а всё нет ни тебя, ни ответа от тебя. И мне пришла в голову вот такая мысль: ты всегда меня считал немножко диким человеком, и поэтому уж не думаешь ли ты, что я сержусь на тебя за историю с объявлением Краевского? Я, действительно, горяч и раздражителен, и когда взбешусь на приятеля, то непременно выстрелю в него длинным письмом, от которого смертельно устану. Эта ли усталость, или то, что в письме я выbleвываю на приятеля всю дрянь, какая во мне против него* была (и таким образом письмо мне служит пурга-

* В автографе описка: меня.— Ред.

тивом), — только после этого я уже не чувствую никакой досады, кроме разве, как на себя, — потому что припомнится вдруг, что то сказал резко, а вот этого вовсе бы не следовало говорить. И потому сердиться (в смысле сохранения надолго неприятного чувства) вовсе не в моей натуре. Я способнее вовсе разойтись навсегда с приятелем, если поступок его против меня будет таков, что должен охолодить меня к нему, нежели сердиться. А твой поступок таков, что даже и с натяжками, при явном желании растолковать его, как личную обиду мне, из него нельзя сделать обиды мне. Напротив, я бы жестоко оскорбил тебя, если б после всего, что ты для меня делал всегда, и особенно в последнее время, я обнаружил, что могу подозревать тебя в желании нагадить мне. Всё, что ты писал мне в оправдание свое насчет Переса, не только убедило, но и тронуло меня. Ты прямо, без уверток говоришь, что, не чувствуя к К<раевско>му никакой приязни, ты тем не менее не можешь отворотиться от него, хотя бы и хотел, пока он будет хорош с тобою. Я понимаю это, тем более что я сам не из сильных характеров и не раз в жизни по этой причине вживал на спине своей по одну каналью. Обвинение твое Некрасова в том, что он не предупредил вас не давать К<раевско>му обещаний, довольно странно; но и в нем даже видно, что тебе неприятно, что дело сделано. Этим ты меня много утешил. Но довольно об этом. Я прошу тебя забыть об этом так же, как я забыл. Повторю еще раз — я мог на минуту вспылить на всех на вас за ваш поступок, как необдуманый и нелепый; но у меня никогда не было в голове дикой мысли — видеть в нем личную обиду мне.²

Ну-с, Василий Петрович, что-то будет, а пока дела не совсем хороши. Подписка нынешний год идет преплохо на все журналы. Разумеется, «Современник» далеко уже обогнал не только «Отечественные записки», но и «Библиотеку для чтения». Вот что у нас значит право давности! Можно ли вообразить себе журнал более сухой, мертвый, пустой, скучный, как была «Библиотека для чтения» нынешний год? Не сделала ли редакция всего, чтоб уронить свой журнал? И всё-таки он и на будущий год не выйдет из своих 3000 подписчиков!

Выпустили мы 12 № — чудище вроде Левиафана; без машины нельзя <ни> читать, ни держать. Это устроил мой юный друг Кавелин. Прислал, не предупредив, огромнейшую статью в половине месяца. Смотрит раз Нек<расов> в окно и видит: на их двор везут груды бумаг на трех парах волов, в трех огромных фургонах. Что такое? Статья г. Кавелина. — Некр<асов> вместе с волами отправился в типографию; Прац, услышав, что всё это необходимо напечатать в 12 №, почувствовал припадки холеры; однако ж, хоть и с сомнением, а взялся набирать.

А между тем, статья была еще не вся — кончик вышло на днях, писал Кавелин. Некр(асов) думал, что этот кончик привезут к нему уже на одной ломовой лошади — глядит, а тащат на паре волов. Тогда Прац решительно отказался набирать конец статьи, потому что невозможно было успеть. Каково наше положение? Конец прошлогодней статьи надо переносить в новый год. Не вправе ли будут многие подумать, что это ловушка для подписчиков? Кавелину, верно, неприятно будет увидеть, что его статья разорвана. А кто ж виноват? — сам. Оставить ее всю было нельзя, ибо бóльшая половина была набрана — не разбирать же; а оставить в наборе — на это Прац не согласен. В 1 № поместить конца нельзя, потому что в первой книжке должны быть все свежие статьи, а не хвосты прошлогодних. А между тем, уведомя он заранее, что статья будет, мол, очень велика, да пришли начало ее пораньше, — тогда не было бы напечатано кое-что другое и взяты были бы свои меры, чтобы вся статья вошла в этот №.³ Да книжка бы вышла в 9 часов 1 числа, а не в 3, и приходившие в контору с билетами не выходили бы из нее с огорченными лицами.

Любопытно мне знать, что ты скажешь о «Полиньке Сакс».⁴ Эта повесть мне очень понравилась. Герой чересчур идеализирован и уж слишком напоминает сандовского Жака, есть положения довольно натянутые, местами пахнет мелодрамою, всё юно и незрело, — и, несмотря на то, хорошо, дельно, да еще как! Некр(асов) давал мне читать в рукописи. Прочтя, я сказал: если это произведение молодого человека, от него можно много надеяться; но если зрелого — ничего или почти ничего. Оказалось, что это человек 25 лет, а повесть эта написана им три года назад; но что всего более меня порадовало, так это то, что автор очень недоволен своею первою повестью. Эта повесть неожиданно прислана нам цензором Куторгою и пришлась кстати: Бутков надул Некрасова и конца своей повести не доставил.⁵ Нельзя сказать, чтобы и «Современник» не пользовался иногда особенною благосклонностию фортуны: должно быть, и он — подлец?

Кстати о повестях. С твоим мнением о повести Григоровича я не совсем согласен. Длинноты из нее были выкинуты — это вялые описания природы, — я сам зачеркнул одно такое место. Остались длинноты существенные, которым повесть обязана своими достоинствами. Наша разница в воззрении происходит от разницы наших отношений к русской повести. Для меня иностранная повесть должна быть слишком хороша, чтобы я мог читать ее без некоторого усилия, особенно вначале; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не мог осилить (доказательство — я прочел с начала до конца «Веру» в «Отечественных записках» — да и задам же я ей при обзоре!),

а будь повесть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное — сколько-нибудь *дельна* — я не читаю, а пожираю с жадностью собаки, истомленной голодом.⁶ Я знаю, плохой иностранной повести ты читать не станешь, а не очень хорошей — и начнешь, да <не> кончишь; но к русской повести ты еще требовательнее и строже. Стало быть, мы с тобою сидим на концах. Ты, Васенька, сибарит, сластена — тебе, вишь, давай поэзии да художества — тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мне поэзии и художественности нужно не больше, как настолько, чтобы повесть была истинна, т. е. не впадала в аллегорию или не отзывалась диссертациею.* Для меня дело — в деле. Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатление.** Если она достигает этой цели и вовсе без поэзии и творчества, — она для меня *тем не менее* интересна, и я ее не читаю, а пожираю. Я с удовольствием прочел, например, повесть не повесть, даже рассказ не рассказ, и рассуждение не рассуждение — «Записки человека» Галахова (в 12 № «Отечественных записок»), да еще с каким удовольствием!⁷ Разумеется, если повесть возбуждает вопросы и производит нравственное впечатление на общество, при высокой художественности, — тем она для меня лучше; но главное-то у меня всё-таки в деле, а не в щегольстве. Будь повесть хоть расхудожественна, да если в ней нет дела-то, братец, дела-то: je m'en fous.*** Я знаю, что сижу в односторонности, но не хочу выходить из нее и жалею и болею о тех, кто не сидит в ней. Вот почему в «Антоне» я не заметил длиннот, или, лучше сказать, упивался длиннотами, как амброзиёю богов, т. е. шампанским (которое теперь для меня тем соблазнительнее, что запрещено мне на всю жизнь). Боже мой! какое изучение русского простонародья в подробных до мелочности описаниях ярмарки! Поди ты, ведь дурак набитый, по крайней мере пустейший человек, а талант, да еще какой! Но перечитывать «Антоня» я не буду, хотя всегда перечитываю по несколько раз всякую русскую повесть, которая мне понравится. Ни одна русская повесть не производила на меня такого страшного, гнетущего, мучительного, удушющего впечатления: читая ее, мне казалось, что я в конюшне, где благонамеренный помещик порет и истязует целую вотчину — законное наследие его благородных предков.

А читаешь ли ты «Домби и сын»? Это что-то уродливо, чудовищно прекрасное! Такого богатства фантазии на изобретение резко, глубоко, верно нарисованных типов я и не подозревал не только в Диккенсе, но и вообще в человеческой природе.⁸ Много написал он прекрасных вещей, но всё это в сравнении

* Далее зачеркнуто: Если же в ней творчества нет и в

** Первоначально: влияние

*** я плюю на нее (франц.).-- Ред.

с последним его романом бледно, слабо, ничтожно. Теперь для меня Диккенс — совершенно новый писатель, которого я прежде не знал. Зачем он так мало *личен*, так мало *субъективен*, так мало человек — и так много англичанин! Зачем он ближе к Вальтеру Скотту, чем к Байрону! Зачем не дано ему сознательных симпатий и стремлений хоть настолько, сколько их у Eugene Sue!* Он и без того так неизмеримо выше этого наемного писаки, по столько-то су со строки, что их смешно и сравнивать; что же было бы тогда? Кстати о французских романистах. «Пиччинино» я не читал.⁹ Все говорят, что больно плох. Мне что-то и не хочется приняться. Больно, когда такой талант падает, издавая недостойное себя произведение. А ведь кроме G. Sande,** право, некого у них теперь читать. Все пошлецы страшные. Я уж не говорю о твоём protégé*** А. Дюма: это сквернавец и пошлец, Булгарин по благородству инстинктов и убеждений, а по таланту — у него, действительно, есть талант, против этого я ни слова, но талант, который относится к искусству и литературе точно так же, как талант канатного плясуна или наездницы из труппы Фравкони относится к сценическому искусству.¹⁰ Ах, кстати: недавно я одержал блистательную победу по части терпения — прочел «Оттилию». Святители! Думал ли я, что великий Гёте, этот олимпиец немецкий, мог явиться такою немчурою в этом прославленном его романе. Мысль основная умна и верна, но художественное развитие этой мысли — аллах, аллах — зачем ты сотворил немцев?.. Умолкаю...¹¹

Недавно прочел я записки Дюкло о конце царствования Луи XIV, регентстве и начале царствования Луи XV. Прелесть что за книга, и что за умный человек этот Дюкло!¹² Больно мне думать, что в молодости я перечел горы вздору и только на старости принялся читать дельные книги, когда потерял свежесть восприимлемости и засорил печатным навозом память.

Теперь о письмах Герцена. Впечатление, которое произвели они на Корша, Грановского, тебя и других москвичей, доказывает мне только отсутствие у вас, москвичей, той терпимости, которую вы считаете главной вашею добродетелью. В твоём отзыве я, действительно, вижу еще что-то похожее на терпимость: ты хоть не сердись на письма за то, что они думают не по-твоему, а по-своему, не краснеешь, как Корш, и не называешь ерническим тоном того, что надо по-настоящему называть шуткою, острою, отсутствием педантизма и семинаризма. Ты, по-моему, не прав только в том отношении, что не хотел признать ничего хорошего во взгляде и мнении, противоположном

* Евгения Сю (франц.).— Ред

** Ж. Санд (франц.).— Ред.

*** протеже (франц.).— Ред.

твоим. Эти письма, особенно последнее, писались при мне, на моих глазах, вследствие тех ежедневных впечатлений, от которых краснели и потупляли голову честные французы, да и мошенники-то мигали не без замешательства. Если и есть в письмах Г<ерце>на преувеличение — боже мой — что ж за преступление — и где совершенство? Где абсолютная истина? Считать же взгляд Герцена неоспоримо ошибочным, даже не стоящим возражения, — не знаю, господа, может быть, вы и правы, но я что-то слишком глуп, чтобы понять вас в вашей мудрости. Я не говорю, что взгляд Г<ерце>на безошибочно верен, обнял все стороны предмета, я допускаю, что вопрос о bourgeoisie * — еще вопрос, и никто пока не решил его окончательно, да и никто не решит — решит его история, этот высший суд над людьми.¹³ Но я знаю, что владычество капиталистов покрыло современную Францию вечным позором, напомнило времена регентства, управление лакея Дюбуа, продававшего Францию Англии, и породило оргию промышленности.¹⁴ Всё в нем мелко, ничтожно, противоречиво; нет чувства национальной чести, национальной гордости. Взгляни на литературу — что это такое? Всё, в чем блещут искры жизни и таланта, всё это принадлежит к оппозиции — не к паршивой парламентской оппозиции, которая, конечно, несравненно ниже даже консервативной партии, а к той оппозиции, для которой bourgeoisie** — сифилитическая рана на теле Франции. Много глупостей в ее анафемах на bourgeoisie, — но за то только в этих анафемах и проявляется и жизнь и талант. Посмотри, что делается на театрах парижских. Умная тщательная постановка, прекрасная игра актеров, грация и острота французского ума прикрывают тут пустоту, ничтожность, пошлость. Искусство напоминает о себе только Рашелью и Расином; а не то, напомнит его иногда своими «Ветошниками» при помощи Леметра какой-нибудь Феликс Пиа, человек вовсе без таланта, но достигающий таланта силою (à force) ненависти к буржуазии.¹⁵ Герц<ен> не говорил, что прокуроры французские — шуты и дураки, но только распространился о поступке одного прокурора (при процессе Бовалонова секунданта), поступке, достойном шута, дурака, да еще и подлеца вдобавок.¹⁶ Этот факт им не выдуман — он во всех журналах французских. Кстати о французских журналах, из известий которых будто бы Г<ерцен> спивает свои письма: это упрек до того смешной, что серьезно и отвечать на него не стоит. Да разве можно сказать о Франции какой-нибудь факт, о котором бы уже не было говорено во французских журналах? Дело не в этом, а в том, как отразился этот факт в лич-

* буржуазии (франц.). — Ред.

** буржуазия (франц.). — Ред.

ности автора, как изложен им. Касательно последнего пункта Г<ерцен> и в своих письмах остается, как и во всем, что ни писал он, человеком с талантом, и читать его письма — наслаждение даже и для тех, кто замечает в них преувеличение или не совсем согласен с автором во взгляде. А то, пожалуй, вон г. Арапетов¹⁷ и о письмах Анненкова отозвался с презрением, как о компиляции из фельетонов парижских журналов. А что касается до Н. Ф. Павлова, то, вместо писем о Париже с Среденского бульвара, я бы советовал ему позаняться третьим письмом к Гоголю, да на этом уж и кончить, так как дальше идти ему, видимо, не суждено провидением. Когда мы получили в Париже тот № «Современника», где IV-е письмо, я захохотал, а Герц<ен> прсерьезно остановил меня замечанием, что, верно, 3-е письмо не пропущено цензурою. Я даже покраснел от нелепости моего предположения. Но, воротясь в Питер, я узнал, что я был прав и что в отношении к литературе, как и многому другому, москвичи, действительно, находятся на особых правах у здравого смысла и смело могут издать сперва конец, потом середину, а *наконец* — начало своего сочинения.¹⁸

Я согласен, что одною буржуази нельзя объяснить à fond * и окончательно гнусного, позорного положения современной Франции, что это вопрос страшно сложный, запутанный и прежде всего и больше всего — исторический, а потом уже, какой хочешь — нравственный, философский и т. д. Я понимаю, что буржуази явление не случайное, а вызванное историею, что она явилась не вчера; словно гриб выросла, и что, наконец, она имела свое великое прошедшее, свою блестящую историю, оказала человечеству величайшие услуги. Я даже согласился с Анненковым, что слово bourgeoisie ** не совсем определено по его многоместительности и эластической растяжимости. Буржуа и огромные капиталисты, управляющие так блистательно судьбами современной Франции, и всякие другие капиталисты и собственники, мало имеющие влияние на ход дел и мало прав, и, наконец, люди, вовсе ничего не имеющие, *** т. е. стоящие за цензом. Кто же не буржуа? Разве ouvrier, **** орошающий собственным потом чужое поле. Все теперешние враги буржуази и защитники народа так же не принадлежат к народу, и так же принадлежат к буржуази, как и Робеспьер и Сен-Жюст. Вот с точки зрения этой неопределенности и сбивчивости в слове буржуази письма Герц<ена> sont attaquables. ***** Это ему тогда же заметил Сазонов, сторону которого

* вполне (франц.).— Ред.

** буржуазия (франц.).— Ред.

*** Далее зачркнуто: а потому и без всякого ус<неха>

**** рабочий (франц.).— Ред.

***** уязвимы (франц.).— Ред.

принял Анненков против М<ише>ля (этого немца, который родился мистиком, идеалистом, романтиком и умрет им, ибо отказаться от философии — еще не значит переменить свою натуру) и Г<ерце>н согласился с ними против него. Но если в письмах есть такой недостаток, из этого еще не следует, что они дурны. Но это в сторону. Итак, не на буржуази вообще, а на больших капиталистов надо нападать, как на чуму и холеру современной Франции. Она в их руках, а этому-то бы и не следовало быть. Средний класс всегда является великим в борьбе, в преследовании и достижении своих целей. Тут он и великодушен и хитер, и герой и эгоист, ибо действуют, жертвуют и гибнут из него избранные, а плодами подвига или победы пользуются все. В среднем сословии сильно развит *esprit de corps*. * Оно удивительно смышленно и ловко действовало во Франции и, правду сказать, не раз эксплуатировало народом: подожжет его, да потом и вышлет Лафайета и Балли расстреливать пушками его же, т. е. народ же.¹⁹ В этом отношении основной взгляд на буржуази Луи Блана не совсем неоснователен, только доведен до той крайности, где всякая мысль, как бы ни справедлива была она в основе, становится смешною. Кроме того, он выпустил из виду, что буржуази в борьбе и буржуази торжествующая — не одна и та же, что начало ее движения было непосредственное, что тогда она не отделяла своих интересов от интересов народа. Даже и при *Assemblée constituante* ** она *** думала вовсе не о том, чтобы успокоиться на лаврах победы, а о том, чтобы упрочить победу. Она выхлопотала права не одной себе, но и народу; ее ошибка была сначала в том, что она подумала, что народ с правами может быть сыт и без хлеба; теперь она сознательно ассервировала народ голодом и капиталом, но ведь теперь она — буржуази, не борющаяся, а торжествующая. Но это всё еще не то, что хочу я сказать тебе, а только предисловие к тому, не сказка, а присказка. Вот сказка: я сказал, что не годится государству быть в руках капиталистов, а теперь прибавлю: горе государству, которое в руках капиталистов. Это люди без патриотизма, без всякой возвышенности в чувствах. Для них война или мир значат только возвышение или упадок фондов — далее этого они ничего не видят. Торгаш есть существо, по натуре своей пошлое, дрянное, низкое и презренное, ибо он служил Плутусу, а этот бог ревнивей всех других богов и больше их имеет право сказать: кто не за меня, тот против меня. Он требует себе человека всего, без раздела, и тогда щедро награждает его; приверженцев же неполных он бросает в банкротство, а потом в тюрьму, а наконец в нищету.

* сословное чувство (франц.).— *Ред.*

** Учредительном собрании (франц.).— *Ред.*

*** Далее зачеркнуто: еще

Торгаш — существо, цель жизни которого — нажива, поставить пределы этой наживе невозможно. Она, что морская вода: не удовлетворяет жажды, а только сильнее раздражает ее. Торгаш не может иметь интересов, не относящихся к его карману. Для него деньги не средство, а цель, и люди — тоже цель; у него нет к ним любви и сострадания, он свирепее зверя, неумолимее смерти, он пользуется всеми средствами, детей заставляет гибнуть в работе на себя, прижимает пролетария страхом голодной смерти (т. е. сечет его голодом, по выражению одного русского помещика, с которым я встретился в путешествии), снимает за долг рублище с нищего, пользуется развратом, служит ему и богатеет от бедняков. Торгаш — жид, армянин, грек, Погодин, Краевский. Торгашу недоступны никакие человеческие чувства, и если какое-нибудь явится у него, например, любовь к сыну или дочери, то не как естественное чувство, а как уродливая страсть, как кара за его отвержение от человечества. Не спеши обвинять меня в фантазерстве и преувеличении, дай сперва высказаться. Это портрет не торгаша вообще, а торгаша-гения, торгаша-Наполеона. С литературой знакомятся и знакомят не через обыкновенных талантов, а через гениев, как истинных ее представителей. Я знаю, что между торгашами бывают (особенно бывали) фанатики торговой чести,* мученики добродетелей по-своему: но это не мешает им быть людьми черствыми, без поэзии, их добродетели уважаешь, а не любишь. Но главное — это торгаши — таланты, а не гении, порода смешанная, а не чистая. Я знаю, что Жак Лаффит был благороднейший человек, истинный патриот, но зато-то он и разорился:²⁰ Плутус — бог ревнивый. Вон Ротшильд — тот не разорится: он жид, стало быть, торгаш par excellence.**

Возьмем противоположную крайность — мотов, расточителей, проживателей, гуляк, даже развратников: в них не редкость встретить черты доброты, человеколюбия, широту натуры, человечность. Вспомни Алкивиада, Лукулла, Антония, вспомни регента (duc d'Orléans)*** — кто больше его сделал зла Франции своим управлением? И всё-таки это был человек добрый и гуманный, который почти никого не сделал несчастным. Вспомни сатиру Гранжа,²¹ где регент обвиняется в отравлении королевской фамилии — выслушав ее, он пришел в ужас, а Гранжу ничего не сделал. Вспомни шекспировского «Тимона Афинского».

Из этой параллели ты, пожалуй, заключишь, что я не уважаю труда, и в гуляке праздном²² вижу идеал человека. Нет,

* Далее зачеркнуто: слова

** по преимуществу (франц.). — Ред.

*** герцога Орлеанского (франц.). — Ред

это не так. В гуляках я только вижу потерянных людей, по людей, а в наживальщиках я не вижу никаких людей. Тимон Афинский Шекспира есть великий нравственный урок гулякам с широкими натурами. Он, что посеял, то и пожал. Но об этом много нечего говорить. Я уважаю расчетливость и аккуратность немцев, которые умеют никогда не забываться и не увлекаться, и за то, не зная больших кутежей, часто успевают не знать и большой нищеты; уважаю немцев за это, но не люблю их. А люблю я две нации — француза и русака, люблю их за то, общее им обоим свойство, что тот и другой целую неделю работает для того, чтобы в воскресенье прокутить всё заработанное. В этом есть что-то широкое, поэтическое. Известно, что француз и русак и по понедельникам — плохие работники, потому что провожают воскресенье. Работать для того, чтоб не только иметь средства к жизни, но и к наслаждению ею — это значит понять жизнь человечески, а не по-немецки. Ты скажешь, что наслаждение русака состоит в том, чтобы до зари нарезать свиньею и целый день валяться без задних ног. Правда, но это показывает только его гражданское положение и степень образованности; а натура-то остается всё то(ю же) натурою, вследствие которой на Руси решительно невозможно фарисейско-английское чествование праздничных дней. Народ гулящий! Исстари, чуть только — как сказал.* Кантемир —

Сегодня один из тех дней свят Николаю,
Как уж весь город пьян от края до края.²³

Обращаясь к торгашам, надо заметить, что человека искажает всякая дурная овладевшая им страсть и что, кроме наживы, таких страстей много. Так, но это едва ли не самая подлая из страстей. А потом она дает *esprit de corps* ** и тон всему сословию. Каково же должно быть такое сословие? И каково государству, когда оно в его руках? В Англии средний класс много значит — нижняя палата представляет его; а в действиях этой палаты много величавого, а патриотизма просто бездна. Но в Англии среднее сословие контрабалансируется аристократиею, оттого английское правительство столько же государственно, величаво и славно, сколько французское либерально, низко, пошло, ничтожно и позорно. Кончится время аристократии в Англии, — народ будет контрабалансировать среднему классу; а не то — Англия представит собою, может быть, еще более отвратительное зрелище, нежели какое представляет теперь Франция. Я не принадлежу к числу тех людей, которые утверждают за аксиому, что буржуази — зло, что ее надо унич-

* Далее зачеркнуто: старик

** сословное чувство (франц.). — Ред.

тожить, что только без нее всё пойдет хорошо. Так думает наш немец — М<ишель>; так или почти так думает Луи Блан. Я с этим соглашусь только тогда, когда на опыте увижу государство, благоденствующее без среднего класса, а как пока я видел только, что государства без среднего класса осуждены на вечное ничтожество, то и не хочу заниматься решением априори такого вопроса, который может быть решен только опытом. Пока буржуазии есть и пока она сильна, — я знаю, что она должна быть и не может не быть. Я знаю, что промышленность — источник великих зол, но знаю, что она же — источник и великих благ для общества. Собственно, она только последнее зло в владычестве капитала, в его тирании над трудом. Я согласен, что даже и отверженная порода капиталистов должна иметь свою долю влияния на общественные дела; но горе государству, когда она одна стоит во главе его! Лучше заменить ее ленивою, развратною и покрытою лохмотьями сволочью: в ней скорее можно найти патриотизм, чувство национального достоинства и желание общего блага. Недаром все нации в мире, и западные и восточные, и христианские и мусульманские, сошлись в ненависти и презрении к жидовскому племени: жид — не человек; он торгош раг excellence.*

Перечитывая твое письмо, я остановился на строках, что ты отложил свой приезд, ожидая уведомления, ловко ли будет тебе остановиться у Некр<асова> и Пан<ае>ва после этого объявления? Что за вздор такой — стыдно слышать! Еще другое дело, если б ты стороною узнал, что мы огорчились вашим пособием Кр<аевско>му; но мы вам сказали прямо — какие ж тут предположения затаенного сердца? Короче: я поступил бы, как пошлец, если б, зная, что Некр<асову> и Пан<аеву> твой приезд к ним мог быть хоть сколько-нибудь тяжел, стал уверять тебя в противном, вместо того, чтоб поспешить сказать тебе правду. Приезжай прямо к ним — тебе будут рады и примут тебя радушно: я отвечаю за это. Вот как мудрено понимать друг друга на таком большом расстоянии. Слушай, Боткин: ведь я могу же за что-нибудь взбеситься на тебя и прийти к тебе обедать, да, пожирая твой стол и твое вино, перебраниться с тобою, а кончить ссору фразою: приходи-ко завтра ко мне жрать? Между такою приятельскою размолвкою и между тем неудовольствием, которое делает уже невозможным продолжение приятельских отношений — целая бездна. И если б мы ваш поступок с Кр<аевски>м приняли в последнем смысле, — вы имели бы полное право ответить нам, что с этой минуты и все статьи ваши пойдут в «Отечественных записках», а в «Современнике» — ни одной. Я считаю ваш поступок неразумным;

* по преимуществу (франц.). — Ред.

но ведь надо сойти вовсе с ума, чтоб растолковать его, как пизкий поступок. Вот Гр<ановский> и Кавелин даже не признают его и неразумным, — и они правы с своей точки зрения, если и ошибаются, потому что кто же не имеет права ошибаться? По крайней мере, из всех моих прав, за это я всегда готов стоять с особенным остервенением.

Письма твои об Испании (12 № «Современника») продолжают быть страшно интересными, и все хвалят их наповал. Хотя я столько же не люблю испанцев, сколько ты обожаешь их, а письма твои и теперь прочел с большим наслаждением. Особенно заинтересовали меня подробности о Мурильо. Если б ты вздумал передавать свои впечатления от каждой картины и пустился в разбор отдельных произведений, это было бы скучно и пошло; но взгляд на целую живопись народа, столь оригинальную, столь непохожую на самые известные школы живописи, — это другое дело. Жаль только, что уничтожение монастырей и истребление монахов у тебя являются как-то вскользь, а об андалузках и обожании тела подробно. Но это я говорю, как мое личное впечатление: андалузки для меня не существуют, а мои отношения к телу давно уже совершаются только через посредство аптеки. Но и это я читал не без удовольствия, ибо в каждом слове видел перед собою лысую, чувственную, грешную фигуру моего старого развратного друга Воткина. О козлиная природа! Дай тебе хоть на минуту всемогущество Зевеса, ты мигом употребил бы его на то, чтоб весь мир обратить в <...> и всех женщин — в <...>. Но это-то всё и доставило мне наслаждение при чтении подробностей о таком предмете, от которого я заснул бы, если б это не ты описывал его.²⁴ Затем прощай. Будь здоров и дай узреть тебя и наговориться с тобою — жажду этого со дня на день всё сильнее и сильнее. Николаю Петровичу мой дружеский поклон. Прощай. Твой

В. Белинский.

322. К. Д. КАВЕЛИНУ

СПб. 1847, декабря 7.

Что с Вами делается, милый мой Кавелин? Прислали Вы мне письмо в тетрадь, вызвали на разные вопросы, я отвечал, как мог, ждал скорого ответа — а его нет, как нет.¹ Уж не больны ли Вы, или Ваша жена? Или Вам не до писем по случаю отставки Строганова? Это я считаю очень возможным. Я человек посторонний Московскому университету, а весть об отставке Стр<оганова> огорчила меня даже помимо моих отношений

к Вам, Гр<ановскому>, Коршу. Это событие — прискорбное <для> всех друзей общего блага и просвещения в России.² О вас, господа, я и не говорю: всё это время не было дня, чтоб я не думал об этом, и это думанье вовсе не веселое и не легкое. Сокол с места, ворона на место! Тяжело и грустно! Чорт возьми, иной раз, право, делается легко и весело от мысли, что жизнь — фантазмагория, что, как мы ни волнуемся, а придет же время, когда и кости наши обратятся в пыль,

И будет спать в земле безгласно¹
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролася любовь.³

Статья Ваша против Самарина жива и дельна, как всё, что Вы пишете, но я крайне недоволен ею с одной стороны.⁴ Этот барич третировал нас с Вами *du haut de grandeur*,* как мальчишек; а Вы возражаете ему, стоя перед ним на коленях. Ваше заключительное слово было то, что он — даровитый человек! Что Самарин человек умный — против этого я ни слова, хотя его ум парадоксальный и бесплодный; что Самарина нельзя никак назвать бездарным человеком — и с этим я совершенно согласен. — Но не быть бездарным и быть даровитым, это вовсе не одно и то же. Это, впрочем, общий всех нас недостаток — легкость в производстве в гении и таланты. Причина этому — молодость нашего образования и нашей литературы; мы еще не пригляделись к гениям и талантам. Если человек написал статью или две так, что в этих статьях видно уменье владеть языком и более или менее прилично и ловко выражать свои мысли, каковы бы они ни были, — мы уж и разеваем рот от удивления и кричим: талант, талант, огромный талант! Пора бы, кажется, нам расстаться с этою немножко детскою привычкою и быть поскупее на хвалебные эпитеты. Как ни молода наша литература, а уж сколько фактов успела она нам дать для нашего возмужания! Я помню, что такое были эти люди: Языков, Марлинский, Баратынский, Подолинский, Брамбсус, Бенедиктов. Толковали уже не о том, таланты ли они, а не гении ли? И где ж они теперь, где их слава, кто говорит о них, кто помнит? Не обратились ли они в какие-то темные предания? А между тем, все они, действительно, были люди не только не бездарные, но и с талантами. Это доказывает, что и талант сам по себе еще не бог знает что! А Загоскин и Лажечников? Даже Булгарин в свое время? Да это были колоссы родосские в наше время и делили славу с Пушкиным. Вся Русь о них знала; за их романы платили десятками тысяч.

* с высоты своего величия (франц.). — Ред.

С. Т. Аксаков и Н. С. Степанов отвалили за «Рославлева» 40 000 р. асс., не получили, правда, ни копейки барыша, но свои деньги и издержки напечатания воротили, несмотря на то, что роман продавался 20 р. асс. экземпляр.⁵ А теперь? Даже «Юрий Милославский» печатается только для бывших читателей романов Алекс(андра) Анфимовича Орлова. Итак, если и талант так дешев (а Загоскин и Лажечников люди с талантом), то что же нам падать ниц перед тем, что только не бездарность. Г-н Самарин в два года высидел две статьи. Первая книжка «Современника» вышла первого января, а статья на нее явилась в сентябре. Стало быть, автор обтесывал и отчеканивал ее, по крайней мере, пять месяцев. Было времени придать ей ума и таланта! Вы скажете, у кого нет ни ума, ни таланта, тому досуг и работа не дадут их. Это не совсем так. 1. Вам прочту самую живую и горячую, но сплеча написанную статью мою; она Вам понравится, может быть, приведет Вас в восторг. Но дайте мне время обработать эту импровизацию — Вы не узнаете ее: живость и теплота в ней останутся, а силы ума и таланта прибавится на 20 процентов. Иногда сгоряча напишешь глупость — и не заметишь; станешь потом читать в печати и покраснееешь до ушей, да потом дня три ходишь сам не свой. Имея время, не просмотришь этой глупости. Когда пишешь сгоряча и к спеху, о чем надо говорить по логическому развитию мысли сперва, о том говоришь после, и наоборот; о чем надо сказать вскользь, глядишь, расползется в существенную часть статьи, а иная существенная часть выходит заметкою à propos;* а сколько водяных мест, вялых фраз, риторики, болтовни, и всё это поневоле, по неимению времени добиться до ясного изложения собственной мысли! Дайте время, и всё будет, как надо! Знаете ли, какие лучшие мои статьи? Вы их не знаете: это те, которые не только не напечатаны, а никогда не были и написаны, и которые я слагал в голове моей во время поездок, гуляний, словом, в нерабочее мое время, когда ничто извне не понуждало меня приняться за работу. Боже мой! сколько ярких неожиданных мыслей, сколько страниц живых, страстных, огненных! И многое, что особенно хорошо в моих печатных статьях, большею частию — удержанные в памяти и ослабленные урывки из этих на свободе слагавшихся в праздной голове статей. Я не обольщен моим талантом (скажу Вам кстати, благо уж разболтался, увлекшись по обыкновению отступлением), я знаю, что моя сила не в таланте, а в страсти, в субъективном характере моей натуры и личности, в том, что моя статья и я — всегда нечто нераздельное. Но опять-таки я не скажу о себе, чтоб я был только не бездарный чело-

* кстати (франц.).— Ред.

век, и чтобы у меня не было положительного таланта: без таланта невозможно объектировать ни своей мысли, ни своего чувства; я хочу только сказать, что я нисколько не ослеплен объемом моего таланта, ибо знаю, что это далеко не бог знает что. Вот, например, Некрасов — это талант, да еще какой! Я помню, кажется, в 42 или 43 году он написал в «Отечественных записках» разбор какого-то болгаринского изделия с такою злостью, ядовитостью, с таким мастерством — что читать наслаждение и удивление;⁶ а между тем, он тогда же говорил, что не питает к Булгарину никакого неприязненного чувства. Разумеется, его теперешние стихотворения тем выше, что он, при своем замечательном таланте, внес в них и мысль сознательную и лучшую часть самого себя. — А вот и еще пример, еще более поразительный, замечательного таланта как таланта — Григорович. Если б Вы видели этого доброго, но пустейшего малого — Вашему удивлению не было бы конца!

Но я заболтался и сбился — отступления всегда — точки преткновения для меня. Поворачиваю круто к прежней материи. В чем увидели Вы даровитость Самарина? В том, что он пишет не так, как Студитский⁷ или Брант?⁸ Но ведь это дураки, а он умен. Вспомните, что он человек с познаниями, с многосторонним образованием, говорит на нескольких иностранных языках, читал на них всё лучшее; да не забудьте при этом, что он светский человек. Что ж удивительного, что он умеет написать статью так же порядочно (*comme il faut*), как умеет порядочно держать себя в обществе? Оставляя в стороне его убеждения, в статье его нет ничего пошлого, глупого, дикого, в отношении к форме, всё как следует: но где же в ней проблески особенного таланта, вспышки ума и мысли? Надо быть слишком предубежденным в пользу такого, чтобы видеть в нем что-нибудь другое, кроме человека сухого, черствого, с умом парадоксальным, больше возбужденным и развитым, нежели природным, человека холодного, самолюбивого, завистливого, иногда блестящего по причине злости, но всегда мелкого и посредственного. Может быть, я ошибаюсь, и он со временем докажет, что у него есть талант — тогда я первый признаю его; но пока — воля Ваша — спешить не вижу нужды. Вы имели случай раздавить его, Вам это было легче сделать, чем мне. Дело в том, что в своих фантазиях он опирается на источники русской истории; тут я пас. Мне он сказал об Ипатьевской летописи, а я не знаю и о существовании ее;⁹ Вы — другое дело, Вы ее читали и изучали и ею же его и могли бить. Вы это и сделали, но с таким уважением к нему, что иной читатель может подумать, будто Вам и бог весть как тяжело бороться с таким могучим противником и что Вы хотите задобрить его, чтоб он уж больше не подвергал Вас случайностям

и опасностям такой трудной борьбы. А вместо этого Вам следовало бы подавить его вежливою ирониею, презрительною пасмешкою. Вы же так способны и ловки на это. Надо Вам сказать, что Вашу статейку на Погодина, в смеси «Современника»,¹⁰ я прочел, видно, в недобрый час что ли, и то не прочел, а как-то просмотрел, перелистовал, словно во сне. Но недавно от нечего делать, после обеда, перечитывая то и другое в смеси, добрался я и до Вашей статейки и — проглотил ее, перечел два раза. Это не просто зло, *c'est mordant*.* И чем эта злость добродушнее и спокойнее, тем вострее ее щучьи зубы. Как всё ловко, метко, как с начала до конца ровно выдержан тон. Этого я, признаться, и не ожидал от Вас, ученый друг мой. Ваша статья, несмотря на ее содержание и тяжесть многих доводов, вышла истинно фельетонная — род сочинений, который так редко дается русским литераторам, не говоря уж об ученых. Что, если бы Вы так же высекли Самарина, как Погодина. А церемониться с славянофилами нечего. Я не знаю Киреевских, но, судя по рассказам Грановского и Герцена, это фанатики, полупомешанные (особенно Иван), но люди благородные и честные; я хорошо знаю лично К. С. Аксакова, это человек, в котором благородство — инстинкт природы; я мало знаю брата его И〈вана〉 С〈ергеевича〉 и не знаю, до какой степени он славянофил, но не сомневаюсь в его личном благородстве. За исключением этих людей, все остальные славянофилы, знакомые мне лично или только по сочинениям, подлецы страшные и на всё готовые или, по крайней мере, пошлецы. Г-н Самарин не лучше других; от его статьи несет мерзостью. Эти господа чувствуют свое бессилие, свою слабость и хотят заменить их дерзостью, наглостью и ругательным тоном. В их рядах нет ни одного человека с талантом. Их журнал «Москвитянин», читаемый только собственными сотрудниками, и «Московский сборник» — издание для охотников. А журналы их противников расходятся тысячами, их читают, о них говорят, их мнения в ходу. Да что об этом толковать много! Катать их, мерзавцев! И бог Вам судья, что Вы отпустили живым одного из них, имея его под пятою своею. Верьте, когда удастся пастушить на гадину, надо давить ее, непременно давить.

Теперь я хочу в последний раз и серьезно поговорить с Вами о деле Вашего сотрудничества в «Отечественных записках». Я на это и не жду от Вас ответа, ибо эти строки не вопрос, а окончательное объяснение недоразумения. Мне досадно, что я написал по этому поводу столько же глупое, сколько и длинное письмо к Боткину.¹¹ А досадно потому, что вижу теперь,

* это убийственно (франц.). — Ред.

что письмо мое было холостым выстрелом в воздух и, вместо того, чтобы попасть в Вас с Гр<ановски>м, никуда не попало, и я остался в дураках. А всё потому, что Вы не хотели быть со мною откровенным,— за что я, впрочем, на Вас не сержусь, потому что источник этой неоткровенности — деликатность: в уверенности, что убедить меня нельзя, Вы не хотели попусту тревожить меня тем, что, казалось Вам, может действовать на меня неприятно. Дело в том, что разговор с Н. М. Щепкиным раскрыл мне глаза. Как ни деликатно и ни мягко наметнул он мне о деле, я понял всё. Позвольте же мне на этот счет объясниться с Вами прямо, откровенно. Вы давали и прежде статьи Кр<аевско>му, теперь дали обещание участвовать на будущий год в его журнале. Вы это сделали не потому, что (как я думал) творили, не ведая, что, а как люди, действующие сознательно. Хоть в письме Вашем и Гр<ановско>го главная и истинная причина обойдена вовсе, но вы отвечали мне твердо, как люди, поступившие по убеждению. Одно это должно бы мне открыть глаза, но я только усумнился, да тут же и подавил свое сомнение. Итак, дело вот в чем: Вы остаетесь при том дурном мнении о Н<екрасов>е, при той недоверчивости к нему, о которой Вы писали мне великим постом нынешнего года. Я, с моей стороны, вполне сознавая несправедливость и не деликатность поступка со мною Н.,¹² — тем не менее не вижу в нем дурного человека. Это потому, что я знаю его, знаю давно и хорошо, и знаю все *circonstances atténuantes* * его поступка со мною, прямой его источник. Вы предполагаете возможным, что при падении «Отечественных записок» «Современник» будет ими, а Н. вполне заменит Кр<аевского>. Я глубоко убежден, что вы ошибаетесь. Но, к несчастью, вы правы в отношении к самим себе, потому что он дал вам, поступком со мною, повод и основание так думать о нем. На все мои доводы в его защиту вы вправе сказать мне: пусть Вы его знаете хорошо, да мы-то не знаем, а судим по факту. Я, любезный Кавелин, пишу к Вам это не для того, чтобы поднимать старые дрязги, даже не из желания, как говорится, помочь делу, но *только* для того, чтобы показать и доказать Вам, что я вовсе не такой человек, которому что войдет в голову, так гвоздем не выколотишь, который не умеет влезть на минуту в чужую кожу и посмотреть на дело глазами людей, которые это дело видят иначе, и с которым, следовательно, необходимы умолчания, обходы и т. п. Мне эта история обошлась дорого. Если я ее, болезнь и потерю ребенка выдержал прошлою осенью, зимою и весною, это доказывает, что, несмотря на мою слабость, я физически живуц страшно. Вы мне поверите, если я Вам

* смягчающие обстоятельства (*франц.*).—Ред.

скажу, что посягательство на мои личные, материальные интересы слишком мало на меня действовало, и то в начале только истории, и что я страдал больше за *него*. Я должен Вам признаться, что до сих пор я чувствую, что мне с ним не так тепло и легко, как было до этой истории. Вообще, по причине ее всё начало «Современника» какое-то неблагоприятное: что-то петвердое и шаткое виделось в самых успехах его, чуялось, что не таковы бы еще были его успехи, если б разделение и охлаждение не проникли туда, где всё зависело от единодушия и общего одушевления. В первой же книжке «Отечественных записок» была Ваша статья, потом это продолжалось и потом; а это было куда нехорошо для нового журнала!¹³ Я признаюсь, у меня не доставало духа взглянуть на дело прямо. Да и то сказать: болен, близок к смерти, без средств, я должен же был, волею или неволею, ухватиться за «Современник», как за надежду и за спасение. Вот Вам моя исповедь, после которой Вы должны вполне понять меня в отношении к известному вопросу. Больше об этом чтоб не было и речи. Покажите мое это письмо (или только эти строки) только Гр<аповс>кому, так как это дело больше всех касается только вас двоих, да и письмо мое к Б<отки>ну писалось преимущественно об вас и для вас двоих. Я о нем очень жалею, что написал его, особенно о той выходке, которая оскорбила вас: признаюсь, она была неуместна и неловка. Я опять-таки повторяю, что вы ее не совсем так поняли, но я вижу, что иначе понять вам было бы мудрено. Забудьте ее — я прошу об этом Вас и Гр<аповско>го именем тех симпатий и убеждений, которые соединяют нас; а доказать мне, что вы забыли ее, вы можете только тем, что опять возьметесь хлопотать в том же деле насчет известных статей. Самый расчет запрещает теперь нам хотя малейшее ограничение в расходах, напротив, требует еще большей готовности на большие издержки, несмотря на то, что и нынешний год может принести опять убытки.

Принимаясь за это письмо, я перечел снова Ваше и хочу уж зараз еще кое-что сказать по его поводу, в дополнение моего прежнего ответа. Вы спрашивали: «Представляет ли современная русская жизнь такую *другую* сторону, которая, будучи художественно воспроизведена, представила бы нам положительную сторону нашей народной физиономии?» — и видите с моей стороны уступку славянофилам в утвердительном моем ответе. Но, несмотря на него, я и не думал с ними соглашаться по причинам, изложенным в Вашем письме и с которыми я всегда был вполне согласен. Но поймите, что в отношении к этому вопросу в печати необходимо или обходить его, или решать утвердительно. Но этот вопрос многими поставляется проще, т. е. многие, не видя в сочинениях Г<ого>ля и натуральной шко-

лы так называемых «благородных» лиц, а всё плутов или плутишек, приписывают это будто бы оскорбительному понятию <о> России, что в ней-де честных, благородных и вместе с тем умных людей быть не может. Это обвинение нелепое, и его-то старался я и буду стараться отстранить. Что хорошие люди есть везде, об этом и говорить нечего, что их на Руси, по сущности народа русского, должно быть гораздо больше, нежели как думают сами славянофилы (т. е. истинно хороших людей, а не мелодраматических героев), и что, наконец, Русь есть по преимуществу страна крайностей и чудных, странных, непонятных исключений,— всё это для меня аксиома, как $2 \times 2 = 4$. Но вот горе-то: литература всё-таки не может пользоваться этими хорошими людьми, не впадая в идеализацию, в реторику и мелодраму, т. е. не может представлять их художественно такими, как они есть на самом деле, по той простой причине, что их тогда не пропустит цензурная таможня. А почему? Потому именно, что в них человеческое в прямом противоречии с тою общественною средою, в которой они живут. Мало того: хороший человек на Руси может быть иногда героем добра, в полном смысле слова, но это не мешает ему быть с других сторон гоголевским лицом: честен и правдив, готов за правду на пытку, на колесо, но невежда, колотит жену, варвар с детьми и т. д. Это потому, что всё хорошее в нем есть дар природы, есть чисто человеческое, которым он несколько не обязан ни воспитанию, ни преданию,— словом среде, в которой родился, живет и должен умереть; потому, наконец, что под ним нет terrain,* а как Вы говорите справедливо, не пловучее море, а огромное стекло. Вот, например, честный секретарь уездного суда. Писатель риторической школы, изобразив его гражданские и юридические подвиги, кончит тем, <что> за его добродетель он получает большой чин и делается губернатором, а там и сенатором. Это цензура пропустит со всею охотою, какими бы негодьями ни был обставлен этот идеальный герой повести, ибо он один выкупает с лихвою наши общественные недостатки. Но писатель натуральной школы, для которого всего дороже истина, под конец повести представит, что героя опутали со всех сторон и запутали, засудили, отрешили с бесчестием от места, которое он *портит*, и пустили с семьею по миру, если не сослали в Сибирь, а общество наградило его за добродетель справедливости и неподкупности эпитетами беспокойного человека, ябедника, разбойника и пр. и пр. Изобразит ли писатель риторической школы доблестного губернатора — он представит удивительную картину преобразованной коренным образом и доведенной до последних крайностей благоден-

* почвы (франц.).— Ред.

ствия губернии. Натуралист же представит, что этот, действительно, благонамеренный, умный, знающий, благородный и талантливый губернатор видит, наконец, с удивлением и ужасом, что не поправил дела, а только еще больше испортил его, и что, покоряясь невидимой силе вещей, он должен себя считать счастливым, что, по своему крупному чину, вместе с породой и богатством, он не мог покончить точь-в-точь, как вышеупомянутый секретарь уездного суда. Кто ж будет пропускать такие повести? Во всяком обществе есть солидарность — в нашем страшная: она основывается на пословице — с волками надо выть по-волчьи. Теперь Вы видите ясно, как я понимаю этот вопрос и почему решаю его не так, как бы следовало.

Итак, Вы видите, что я вполне и во всем согласен с Вами. Найдутся, впрочем, и несогласия, но не в мыслях, а в оттенках мыслей, о чем писать скучно. Говоря, что Гоголь изображает не пошлецов, а человека вообще, я имел в виду отстоять от его врагов сущность его художественного таланта.¹⁴ С этой стороны и Вы не совсем правы, видя в нем *только* комика. Его «Бульба» и разные отдельные черты, рассеянные в его сочинениях, доказывают, что он столько же трагик, сколько и комик, но что отдельно тем или другим он редко бывает в отдельном произведении, но чаще всего слитно тем и другим. Комизм — слово узкое для выражения гоголевского таланта. У него и комизм-то выше того, что мы привыкли называть комизмом. Что касается до добродетелей Собакевича и Коробочки, Вы опять не поняли моей цели; а я совершенно с Вами согласен. У нас все думают, что, если кто, сидя в театре, от души гнушается лицами в «Ревизоре», тот уже не имеет ничего общего с ними; и я хотел заметить, с одной стороны, что самые лучшие из нас не чужды недостатков этих чудищ, а с другой; что эти чудища — не людоеды же. А Вы правы, что собственно в них нет ни пороков, ни добродетелей. Вот почему заранее чувствую тоску при мысли, что мне надо будет писать о Гоголе, может быть, не одну статью, чтобы сказать о нем мое последнее слово: надо будет говорить многое не так, как думаешь.¹⁵ В этом отношении о Лерм(онтове) писать гораздо легче. Что между Гоголем и натуральною школою — целая бездна; но все-таки она идет от него, он отец ее, он не только дал ей форму, но и указал на содержание. Последним она воспользовалась не лучше его (куда ей в этом бороться с ним!), а только сознательнее. Что он действовал бессознательно, — это очевидно, но Корш больше, чем прав, говоря, что все гении так действуют. Я от этой мысли года три назад с ума сходил, а теперь она для меня аксиома, без исключений. Петр В(еликий) — не исключение. Он был домостроитель, хозяин государства, на всё смотрел с утилитарной точки зрения: он хотел сделать из России

ничто вроде Голландии и построил было Пет(ербург)-Амстердам. Но то ли только вышло, или должно выйти из его реформы? Гений — инстинкт, а потому и откровение: бросит в мир мысль и оплодотворит ею его будущее, сам не зная, что сделал, и думая сделать совсем не то! Сознательно действует талант, но зато он кастрат, бесплоден; своего ничего не родит, но зато лелеет, растит и крепит детей гения. Посмотрите на Ж. Санд в тех ее романах, где рисует она свой идеал общества: читая их, думаешь читать переписку Гоголя. Но довольно об этом.

Статья Ваша о Соловьеве дельна, и я читал ее с наслаждением. У Вас везде мысль — и всегда одна и та же, от этого в самых сухих материях Вы живы и литературны. Продолжайте Ваше дело. Кстати: Вам, верно, будет досадно, что статья Ваша не вся напечатана в 12 №. Что делать — сами виноваты. Но об этом я много говорил Боткину.¹⁶ Что это делается с Погодиным? Что за слухи? Ничего не понимаю. Он скотина, но умен, очень умен, даже без сравнения с славянофилами, которые умом все очень не богаты. А впрочем, чем он умнее, тем отвратительнее, потому что лицемер.

Отвечайте мне, ради аллаха, что Вы думаете насчет моего предложения — обозреть вкратце литературную деятельность по части русской истории за нынешний год?¹⁷ Не стесняйтесь себя ни малейше, если не имеете времени или даже просто охоты. Обойтись без этого можно: скажу просто, что об этом в «Современнике» отдавались постоянные и подробные отчеты — и дело с концом. Только уведоьте, чтоб я уж знал, чего держаться. Да, забыл я в письме к Б(отки)ну спросить: на старой ли квартире (в *Доброй слободке*) живет Галахов: я писал к нему туда, со вложением письма к Кудрявцеву, и ответа не получал.¹⁸ Прощайте.

Ваш В. Белинский.

323. Д. П. ИВАНОВУ

СПб. 1847, декабря 10.

Здравствуй, любезный Дмитрий! Вот уже почти четыре месяца, как я воротился,¹ а только теперь собрался написать к тебе. Что делать? Это моя всегдашняя история: то некогда, то нездоровится, то развлечен чем-нибудь, то просто лень. Вот завтра да завтра, а смотришь — из этих завтраков составляют недели и месяцы. Воротился я лучше, нежели как поехал, даже очень лучше; но в Питере опять так простудился в начале октября, что легкие опять покрылись ранами, и доктор

перепугался. Однако дело обошлось лучше, нежели можно было ожидать. Я скоро (недели через две) оправился, принялся за работу и теперь чувствую себя очень порядочно. Оно, конечно, я слаб, хил и плох, да дело в том, что уже нет никакого сравнения между теперешним моим состоянием и тем, в котором я был прошлого года в это время. Насчет переезда в Москву думать не перестаю; но смущает мысль, что до открытия железной дороги еще далеко. Посмотрю, как перенесу зиму и весну: коли плохо, то в июне в Москву на переселение.

Ну, как и что ты? Как живешь, что делаешь? Какие вести от наших и о наших из Пензенской губернии? Что Алеша (кланяйся ему и крепко пожми руку от меня)? Что все твои? Жена, дети? У меня пока всё порядочно. Оля болтает без умолку. Только жена всё прихварывает.

Был я в Зальцбрунне, прожил там полтора месяца,пил воду. Оттуда проехал в Париж, где прожил месяца два и лечился.

Пожалуйста, отвечай мне поскорее. Адрес мой: *на Лиговке, против Кузнецкого моста, в доме Галченковых.*

Я писал с месяц назад к Галахову и адресовал письмо в Добрую слободку; там ли еще он живет?² Уведомь меня. Боюсь, что и ты переменил квартиру и письмо это пропадет. Когда будешь писать к своим, не забудь от меня кланяться.

Пока прощай. Некогда — работать пора, и работать сильно. И потому, прощай. Целую тебя и всех твоих.

В. Белинский.

324. А. Д. ГАЛАХОВУ

⟨4 января 1848 г. Петербург.⟩

...В письме к Вам было письмо к Петру Николаевичу, — и от него ни слова, хоть бы через Вас.¹ Предложением его насчет повести я никак не могу воспользоваться. Он дал мне повесть в альманах в минуту жизни, трудную для меня, и этим доказал мне свою готовность помочь в беде старому приятелю, чем может, и я принял эту повесть, как подарок, и не думал церемониться и ломаться. Но альманах мой не состоялся, дела приняли другой оборот.² Конечно, я и теперь не в малине, но уж и не в ренейнике. На нынешний год я получаю 12 000, а главное — впереди у меня пока не тьма крошечная, как было в то время, когда я в издании альманаха видел единственное средство к спасению от голодной смерти. Чтобы поправить меня в теперешних обстоятельствах, надо поправить радикально, а этого не в состоянии сделать люди и не с такими средствами, как все мы, горемычные: я, Вы, Кудрявцев и пр. А в то время это была поправка, да еще какая, вместе с другими статьями. Теперь посудите: на каком бы основании, по какой бы достаточной причине воспользовался я 600 руб. асс., следующими Кудрявцеву, — тем более, что его собственное положение едва ли не хуже моего? Нет, об этом нечего и говорить. Случись со мною беда, я сейчас же обращаюсь к Кудрявцеву с просьбою о подобном вспоможении, а если он упредит ее, не подумаю отговариваться, ибо одолжиться таким человеком, как он, для меня вовсе не тягостно; но теперь было бы пошло и низко. Итак, это дело порешенное: Петр Николаевич получит от редакции деньги за «Без рассвета».

Я бы очень был рад удостовериться, что он не прочь писать иногда и в «Современнике». Я далек от мысли докуками и просьбами вытягивать от него статью: нет, что захочет, что сможет, и когда вздумает — вот условие! Надеюсь от него или через Вас (это всё равно) получить на это ответ решительный...

... Кто прочтет общую часть и моей и Вашей статьи, тот право, подумает, что мы согласились говорить одно и то же. Но как только дойдет дело до оценки литературных произведений, тогда — иная история: посылай за стариком Белинским, а без него плохо...³

325. П. В. АННЕНКОВУ

<15 февраля 1848 г. Петербург.>

Дражайший Павел Васильевич, случайно узнал я, что Ваш отъезд из Парижа в феврале отложился еще на два месяца; но это еще не заставило бы меня приняться за перо чужою рукою, если б не представился случай пустить это письмо помимо русской почты.¹ Я, батюшка, болен уже шестую неделю — привязался ко мне проклятый грипп; мучит сухой и нервический кашель, по поверхности тела пробегает озноб, а голова и лицо в огне; истощение сил страшное — еле двигаюсь по комнате; 2 № «Современника» вышел без моей статьи, теперь диктую ее через силу для 3-го;² вытерпел две мушки, а сколько переел разных аптечных гадостей — страшно сказать, а всё толку нет до сих пор; вот уже недели две, как не ем ничего мясного, а ко всему другому потерял всякий аппетит. К довершению всего, выезжаю пользоваться воздухом в наморднике, который выдумал на мое горе какой-то чорт англичанин, чтоб ему подавиться куском ростбифу. Это для того, чтоб на холоде дышать теплым воздухом через машинку, сделанную из золотой проволоки, а стоит эта вещь 25 сер. Человек богатый, я — позволите видеть — и дышу через золото, и только попрежнему в карманах не нахожу его. Легкие же мои, по уверению доктора, да и по моему собственному чувству, в лучшем состоянии, нежели как были назад тому три года. Насчет гриппа Тильман утешает меня тем, что теперь в Петербурге тяжелое время для всех слабогрудых, и что <я> еще не из самых страждущих, но это меня мало утешает.

Поговоривши с Вами о моей драгоценной особе, хочу говорить о Вашей драгоценной особе, но не иначе, как с тем, чтоб опять обратиться к моей драгоценной особе. Читал я Вашу повесть, и скажу Вам о ней мое мнение с подобающею в таком важном случае откровенностию. Вы сами верно оценили себя, сказавши, что Вы не поэт, а обыкновенный рассказчик; я прибавлю к этому от себя, что между обыкновенными рассказчиками Вы необыкновенный рассказчик. Не то, чтоб у Вас было мало таланта, чтоб быть поэтом, а род Вашего таланта не такой, какой нужен поэту; для рассказчика же у Вас гораздо больше таланта, чем сколько нужно, но я отдам Вам отчет в порядке в моих впечатлениях в продолжение чтения Вашей повести. Вступление мне не понравилось. Толкуете Вы на двух или

более страницах, что оба приятеля, несмотря на всю разницу их характеров, ничем не разнились между собою. Я это понял (не без труда и поту) так, что оба они были — дрянь. Если Вы хотели сказать это, мне кажется, Вы могли бы сказать и короче, и проще, и прямее, а то перехитрили, повели дело чересчур тонко, а где тонко, там и рвется. Но всё это не важно; по праву дружбы мы сами сократили и переменили бы это место: ведь дружба на то и создана, чтоб друзья при всякой возможности гадили своим друзьям, особенно за глаза, когда те далеко. Сильно заинтересовала меня Ваша повесть с того места, где герой утешает горемычную вдову Преспову; письмо к нему армейского его приятеля привело меня в восторг; встреча его со вдовой, пьяный извозчик, урезонившийся оплеухами, пребывание друзей на даче у вдовы, сама вдова, ее тетка, ее гости, наконец, прогулка верхами, сперва на двух лошадях, а потом на одной, ночное объяснение друзей — всё это прекрасно, превосходно; но конец повести ни к чорту не годится. Рассказ армейского друга о его изгнании из деревни делает вдову совершенно непонятною; а слова обоих приятелей: «она погибнет» — слова, которые должны намекать на смысл всей повести и быть ее заключительным аккордом — ничего не объясняют и ничего не заключают, и аккорд дребезжит такими неладными звуками, как будто Вы его не написали, а пропели, да еще вместе с Тургеневым, что еще сквернее, нежели когда каждый из вас поет особо. Игак, конец повести — пшик. Как хотите, а, по моему мнению, в таком виде печатать ее не представляется никакой возможности. Чем выше будет удовольствие читателей при чтении ее, тем более будут оскорблены ее неожиданно вялым и совершенно непонятным концом. Мне кажется, Вы тут опять перетонили. Воля Ваша, конец Вы должны переделать, потому что жаль бросать такую прекрасную вещь.³ Но ведь у Вас, я думаю, не осталось черновой? Так напишите нам, прислать что ли Вам назад. Бога ради, не бросайте этой вещи — она так хороша, из нее видно, что Вы во всем успеваете и Вам всё дано — кроме пения и каламбуров, от которых снова дружески прошу Вас воздержаться. С чего Вы это, батюшка, так превознесли «Лебедянь» Тургенева? Это один из самых обыкновенных рассказов его, а после Ваших похвал он мне показался даже довольно слабым. Цензура не вымарала из него ни единого слова, потому что решительно нечего вычеркивать. «Малиновая вода» мне не очень понравилась, потому что я решительно не понял Стёпушки. В «Уездном лекаре» я не понял ни единого слова, а потому ничего не скажу о нем; а вот моя жена так в восторге от него — бабье дело! Да ведь и Иван-то Сергеевич бабье порядочное! Во всех остальных рассказах много хорошего, местами даже

очень хорошего, но вообще они мне показались слабее прежних. Больше других мне понравились «Бирюк» и «Смерть». Богатая вещь — фигура Татьяны Борисовны, педурна старая девица; но племянник мне крайне не понравился, как список с Андриюши и Кириюши, на них непохожий. Да воздержите Вы этого милого младенца от звукоподражательной поэзии — *Рррракалиооон! Че-о-эк*. Пока это ничего, да я боюсь, чтоб он не пересолил, как он пересаливает в употреблении слов орловского языка, даже от себя употребляя слово *зеленя*, которое так же бессмысленно, как *лесяня* и *хлебенья*, вместо леса и хлеба.⁴ А какую Дружинин написал повесть новую — чудо!⁵ 30 лет разницы от «Полиньки Сакс»! Он для женщин будет то же, что Герцен для мужчин. «Сорока-воровка» напечатана и прошла с небольшими изменениями — несмотря на них, мысль ярко выказывается.⁶ Я и забыл было сказать, что Вашу повесть прежде меня читал Боткин, и мы совершенно сошлись с ним во мнении о ней. Последние рассказы Тур<генева> все без исключения очень нравятся Ботк<пну> и всем нашим друзьям, публике тож. «Сорока-воровка» имела большой успех. Но повесть Дружинина не для всех писана, так же как и «Записки Крупова». Не знаю, писал ли я Вам, что Достоевский написал повесть «Хозяйка» — ерунда страшная! В ней он хотел помирить Марлин<ского> с Гофманом, подболтавши немножко Гоголя.⁷ Он и еще кое-что написал после того, но каждое его новое произведение — новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о «Бедных людях». Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же мы, друг мой, с Достоевским — гением! О Тург<еневе> не говорю — он тут был самим собою, а уж обо мне, старом чорте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате. Читаю теперь романы Вольтера и ежеминутно мысленно плюю в рожу дураку, ослу и скоту Луи Блану.⁸ Из Руссо я только читал его «Исповедь» и, судя по ней, да и по причине религиозного обожания ослов, возымел сильное омерзение к этому господину.⁹ Он так похож на Дост<оевского>, который убежден глубоко, что всё человечество завидует ему и преследует его. Жизнь Руссо была мерзка, безнравственна. Но что за благородная личность Вольтера! какая горячая симпатия ко всему человеческому, разумному, к бедствиям простого народа! Что он сделал для человечества! Правда, он иногда называет народ *vil populase*,* но за то, что народ невежествен, суеверен, лгувер, кровожаден, любит пытки и казни. Кстати, мой верующий друг¹⁰ и наши славянофилы сильно помогли мне сбросить с себя мистическое верование в народ. Где и когда народ

* чернь (латин.). — *Ред.*

освободил себя? Всегда и всё делалось через личности. Когда я, в спорах с Вами о буржуази, называл Вас консерватором, я был осел в квадрате, а Вы были умный человек. Вся будущность Франции в руках буржуази, всякий прогресс зависит от нее одной, и народ тут может по временам играть пассивно-вспомогательную роль. Когда я при моем верующем друге сказал, что для России нужен повый Петр Великий, он напал на мою мысль, как на ересь, говоря, что сам народ должен всё для себя сделать. Что за наивная аркадская мысль! После этого, отчего же не предположить, что живущие в русских лесах волки соединятся в благоустроенное государство, завздут у себя сперва абсолютную монархию, потом конституционную и, наконец, перейдут в республику? Пий IX в два года доказал, что значит великий человек для своей земли.¹¹ Мой верующий друг доказывал мне еще, что избави-де бог Россию от буржуази. А теперь ясно видно, что внутренний процесс гражданского развития в России начнется не прежде, как с той минуты, когда русское дворянство обратится в буржуази. Польша лучше всего доказала, как крепко государство, лишенное буржуази с правами. Странный я человек! когда в мою голову забьется какая-нибудь мистическая нелепость, здравомыслящим людям редко удастся выколотить ее из меня доказательствами: для этого мне непременно нужно сойтись с мистиками, пиэтистами и фантазерами, помешанными на той же мысли — тут я и назад. Верующий друг и славянофилы наши оказали мне большую услугу. Не удивляйтесь сближению: лучшие из славянофилов смотрят на народ совершенно так, как мой верующий друг; они высосали эти понятия из социалистов, и в статьях своих цитуют Жоржа Занда и Луи Блана.¹² Но довольно об этом. Дело об освобождении крестьян идет, а вперед не подвигается. На днях прошел в государственном совете закон, позволяющий крепостному крестьянину иметь собственность — с позволения своего помещика!¹³ Через год снимутся таможи на русско-польской границе. Переделывается, говорят, тариф вообще. Когда будете писать Герцену, крепко кланяйтесь от меня Нат<алье> Алек<сандровне> и Мар<ье> Фед<оровне>.¹⁴ Тург<енева> обнимаю и мыслю и руками. Слышал я, дела его плохи, а живет он чорт знает где и чорт знает зачем, и по всему этому представляется мне каким-то мифом. Устал диктовать, а потому и говорю Вам — прощайте, мой благоутробный и не мистически, а рационально обожаемый друг мой, Павел Васильевич.

СПб. 1848, февраля 27/15.

<Адрес:> Павлу Васильевичу Анненкову.

В Париже,

rue Caumartin 41

<27 марта 1848 г. Петербург.>

Милостивый государь

Михаил Максимович.

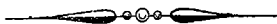
Из последней Вашей ко мне записки я увидел, что Вы не получили моего ответа на первую, — ответа, который я вручил Вашему же посланному. Это обстоятельство вдвойне для меня неприятно и прискорбно: и Вы, и его превосходительство Леонтий Васильевич может думать, что я отлыниваю и как будто хочу притаиться не существующим в этом мире, потому что и не являюсь и не даю от себя никакого отзыва. Если бы я и действительно предвидел себе в этом приглашении беду, — и тогда такая манера избегнуть ее была бы слишком детскою и смешною. Ваша первая записка сначала, точно, привела меня в большое смущение и даже напугала, тем более, что нервы у меня всё это время так раздражены, что и менее важные обстоятельства действуют на меня тяжело и болезненно; но потом я скоро успокоился, тем более что был уверен в доставлении Вам моего ответа. В нем писал я к Вам, что по болезни не выхожу из дому. Я и теперь еще не оправился, и доктор запретил мне ходить до тех пор, пока не просохнет земля и не установится теплая погода. Теперь же для меня, как для всех чахоточных, самое опасное время: чуть простудишься слегка, и опять появятся ранки на легких, как это уже не раз со мною было. Конечно, я не в постели, и только без опасности для моего здоровья не могу выйти из дому, но в крайности выйти могу. Только в таком случае я очень боюсь, что его превосходительство, вместо того чтобы из разговора со мною узнать, что я за человек, узнает только, что я кашляю до рвоты и до истерических слез. И Ваше последнее письмо застало меня в акте рвоты, так что я уж и не знаю, как я смог расписаться в книге о получении. Со спины моей не сходят мушки да горчичники, и я с трудом хожу по комнате. Смею надеяться, что такие причины могут мне дать право, не боясь навлечь на себя дурного мнения со стороны его превосходительства, отсрочить мое с ним свидание еще на некоторое время, пока не установится весна и я не почувствую себя хоть немного крепче. Будьте добры, Михаил Максимович, как Вы прежде бывали ко мне добры, потрудитесь уведомить меня, могу ли я поступить так. Меня пользует главный доктор Петропавловской больницы г. Тильман: он может подтвердить справедливость моих слов о состоянии моего здоровья.

В надежде Вашего ответа, имею честь остаться Вашим, милостивый государь, покорным слугой

В. Белинский.

27 марта 1848 г.

ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ



⟨1. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ ОТ Г. А. ГУРЦОВА⟩

Сто рублей ассигнациями получил от Г. Гурцова.

В. Белинский.

21 июля 1841 г.

**⟨2. ДОВЕРЕННОСТЬ Н. П. ИВАНОВУ НА ПОЛУЧЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О «ДВОРЯНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ»⟩**

12 августа 1843 г.

Милостивый государь Николай Петрович!

Родитель мой, Григорий Никифорович Бельинский, продолжая служение уездным лекарем Пензенской губернии, в городе Чембаре, за выслугу узаконенных лет произведен в чин коллежского асессора, со старшинством 1826 года сентября 30 числа, и, не прерывая служения, скончался 1835 года июля 3-го числа, оставя после себя детей: меня, братьев Константина, Никанора и сестру Александру, из которых первый по представленным в Пензенское дворянское депутатское собрание доказательствам получил на право дворянства из оного 1837 года генваря 30 грамоту, а я еще в дворянскую родословную книгу не внесен и на потомственное дворянство грамоты не имею, почему и на службе нигде не состою, то — прилагая при сем в подлиннике отношение на имя отца моего, состоявшего прежде лекарем 7 учебного экипажа, от 9 июня 1841 года за № 315, о изъявлении согласия на восприятие меня от купели его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Константина Павловича и засвидетельствованную копию с формулярного списка о службе покойного родителя моего, — прошу вас, милостивый государь, представить оные в Пензенское дворянское депутатское собрание и просить о внесении меня в дворянскую родословную книгу Пензенской губернии, о выдаче мне с протокола копии и на потомственное дворянство грамоты, в принятии коих расписаться и доставить ко мне, причем, если надобно будет по сему

предмету ходатайство и по другим местам, то подавайте и в оные от имени моего за вашим рукоприкладством разного наименования бумаги. Во всем том я вам верю, и что по сему учините, впредь спорить и прекословить не буду.

Не служащий дворянин Виссарион Григорьев
сын Белинский.

〈3. ПРОШЕНИЕ В ПЕНЗЕНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ〉

22 ноября 1843 г

По представленным им о дворянском его происхождении документам внести его в дворянскую родословную книгу, выдать ему о том дворянскую грамоту, а с определения на случай поступления в службу — копию, причем нужным считает объяснить, что метрического свидетельства о рождении его он не может представить потому, что так как он рожден от отца его во время нахождения его в походах на службе во флоте, а потому ему и неизвестно, откуда получить оное.

〈4. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГЕРОЛЬДИИ О «ДВОРЯНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ»〉

1848 года января 30-го дня я, нижеподписавшийся, дал сию подписку полиции Каретной части в том, что присланное из первого департамента Управы благочиния предписание за № 1736 и приложенное из Пензенского дворянского депутатского собрания от 9-го декабря прошлого 1847 года за № 1347 мне объявлено, в чем и подписуюсь сын коллежского асессора Григория Никифорова Белинского Виссарион Григорьев Белинский.

ПРИМЕЧАНИЯ



**УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ В РАЗДЕЛЕ «ПРИМЕЧАНИЙ»**

- Бакунин — М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем. 1828—1876. М., 1934, тт. I—III.
- БКр — В. Г. Белинский и его корреспонденты. Под ред. Н. Л. Бродского. М., 1948 (Гос. библиотека СССР им. В. И. Ленина. Отдел рукописей).
- ВЕ — «Вестник Европы».
- ГИМ — Государственный исторический музей (Москва).
- ГПБ — Государственная публичная библиотека РСФСР им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград).
- ИАН — настоящее академическое издание сочинений В. Г. Белинского.
- Р. В. Иванов-Разумник — Р. В. Иванов-Разумник. Собрание сочинений, т. III. Великие искания. СПб., <1912>.
- ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград).
- Н. А. Котляревский — Н. А. Котляревский. Несколько отрывков из неизданной переписки Белинского. — сб. «Помощь голодающим». М., 1892.
- ЛБ — Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва).
- ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
- ЛН — «Литературное наследство» — орган Отделения литературы и языка АН СССР.
- Е. А. Лядкий — А. Н. Пыпин. Белинский, его жизнь и переписка. Изд. 2-е, с дополнениями и примечаниями <Е. А. Лядкого>. СПб., 1908. н. т. — настоящий том.
- Панаев — И. И. Панаев. Литературные воспоминания. Под ред. И. Г. Ямпольского. Л., Гослитиздат, 1950.
- Переписка Станкевича. — Переписка Н. В. Станкевича. 1830—1840. М., 1914.
- Письма — Белинский. Письма. Ред. и примеч. Е. А. Лядкого. СПб., 1914, тт. I—III.
- ПссБ — Полное собрание сочинений Белинского. Под ред. С. А. Венгера (тт. I—XI. СПб., 1900—1917) и В. С. Спиридонова (тт. XII и XIII. М.—Л., 1926 и 1948).
- ПссГ — Полное собрание сочинений и писем А. И. Герцена. Под ред. М. К. Лемке, тт. I—XXII. Пг., 1919—1925.
- А. Н. Пыпин — А. Н. Пыпин. Белинский. Его жизнь и переписка. «Вестник Европы» 1874—1875 гг.
- РВ — «Русский вестник».
- РМ — «Русская мысль».
- РС — «Русская старина».
- СГУ — Саратовский государственный университет.
- ЦГАОР — Центральный Государственный архив Октябрьской революции (Москва).

ПИСЬМА

1841

169. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, из собрания А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1874, № 12, стр. 565—569); дополнено С. Неведенским в статье «Белинский и Катков» (РВ 1888, № 6, стр. 52—54); Н. А. Котляревским (стр. 437—438) и Е. А. Ляцким (стр. 621—623); полностью — в Письмах, т. II, стр. 196—212.

Ответное письмо Боткина см. в «Литер. мысли», II, 1923, стр. 176.

¹ Это письмо не сохранилось.

² В пору «примирения с действительностью» Белинский отрицательно отзывался о произведениях Шиллера и противопоставлял ему Гёте (см. ИАН, т. XI, письма 104, 109, 124; т. II, стр. 563, 755). Пересматривая в начале 40-х годов свое отношение к Шиллеру и Гёте, Белинский по-прежнему полагал, что Гёте «велик как художник», но сурово осуждал его «как личность» (см. письмо 212), между тем как Шиллер определялся критиком уже как «трибун человечества», «провозвестник гуманности», «яркая звезда спасения» (см. ИАН, т. XI, письмо 161; т. III, стр. 417, 646; т. IV, стр. 520, 655).

Резко отрицательное отношение Белинского к книге Менцеля выражено в его статье 1840 г. «Менцель, критик Гёте» (см. ИАН, т. III, стр. 385—419, 638—646), а также в письмах 133 и 134 (ИАН, т. XI).

³ Об искажении подлинного текста «Гамлета» Шекспира в переводе, сделанном в 1837 г. Полевым, Белинский писал в рецензии на этот перевод («Моск. наблюдатель» 1838, май, кн. 1; ИАН, т. II, стр. 424—436) и в статье «Репертуар русского театра» («Отеч. записки» 1840, № 4; ИАН, т. IV, стр. 129—131).

⁴ Возможно, что Белинский цитирует слова из устной беседы с Н. А. Полевым.

⁵ О П. Н. Кудрявцеве см. ИАН, т. XI, примеч. к письму 149. О Красове см. ИАН, т. IV, стр. 623.

Кирюша — К. А. Горбунов. См. о нем ИАН, т. XI, письмо 127 и примеч. 5 к нему.

⁶ Цитата из неизданной в то время сатиры А. Ф. Воейкова «Дом сумасшедших», ходившей по рукам в списках (опубликована была в 1857 г.).

⁷ Белинский противопоставляет выступления Н. А. Полевого как передового журналиста, издателя «Московского телеграфа» (1825—1834), его деятельности конца 30—40-х годов. С 1841 г. Полевой стал редактором реакционного журнала «Русский вестник», которым руководил до 1844 г. См. о нем ИАН, т. IX, № 117.

«Гнусные драмы» — псевдонатриотические драмы Полевого: «Душка русского флота» (1838), «Иголкин, купец новгородский» (1838), «Смерть или честь» (1839), «Параша-сибирячка» (1840), «Солдатское сердце» (1840).

Об отношении Белинского к Полевому в это время см. ИАН, т. XI, письмо 50 и примеч. к нему и письмо 171.

- ⁸ «Письмо из провинции к издателям „Русского вестника“, напечатанное (под псевдонимом: А. Б. В.) в «Св. пчеле» от 13 и 14/XI 1840 г. (№№ 258 и 259). В нем говорилось об упадке русской журналистики и резко критиковались «Отеч. записки» (без упоминания их названия) за их интерес к немецкой философии, печатание больших переводных романов, саморекламу, толщину и дороговизну издания.
- ⁹ Источник цитаты не установлен.
- ¹⁰ Особенное возмущение Белинского вызывали «Чтения о русском языке» Н. И. Греча, в которых тот травил «Отеч. записки» и глумился над статьями Белинского. См. об этом ИАН, т. V, стр. 156, 796 и т. XI, письмо 131 и примеч. 8 к нему.
- ¹¹ Персонаж из баллады Жуковского «Двенадцать спящих дев».
- ¹² Письмо Кольцова от 10/I 1841 г. (см. в Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 237). В этом же письме Кольцов сообщал Белинскому: «Накануне Рождества были мы с Боткиным у Ксенофонта Алексеевича Полевого; у него застали только что приехавшего Николая Алексеевича. Был разговор об Вас. Ксенофонт Вас не любит и побранивает, а Николай Алексеевич, заметно, с большим усилием, но отзывается с уважением, и что много находит он у Вас мнений весьма хороших» (там же, стр. 237).
- ¹³ О приезде М. Н. Каткова в Петербург см. ИАН, т. XI, примеч. к письму 132.
- В период появления статьи Каткова о сочинениях Сарры Толстой (см. ИАН, т. XI, письмо 135 и примеч. 5 к нему) Белинский еще и сам не критически воспринимал основные положения эстетики Гегеля, популяризируемой Катковым.
- ¹⁴ В письме от 27/I 1841 г. Кольцов сообщал Белинскому о том, что П. В. Нащокин дал экземпляр сочинений Сарры Толстой К. С. Аксакову, но что тот возьмет экземпляр и для Белинского (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 242). Статья о сочинениях С. Ф. Толстой для плетневского «Современника» Белинским не была написана (в «Отеч. записках» книгу рецензировал Катков).
- ¹⁵ Речь идет об увлечении Белинского А. М. Щепкиной. См. ИАН, т. XI, письма 112, 113, 124, 141, 145.
- ¹⁶ Имеется в виду увлечение Каткова М. Л. Огаревой. См. ИАН, т. XI, письма 127, 129, 132, 137. Нелепый — прозвище Н. Х. Кетчера.
- ¹⁷ О Н. С. Селивановском см. ИАН, т. XI, письмо 52 и примеч. к нему. — Жена его — Екатерина Федоровна, урожд. Гизетти (ум. в 1860 г.). — Казначей, — очевидно, А. И. Клыков (см. о нем ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 14 к нему).
- ¹⁸ Цитата из стихотворения Пушкина «Алексееву».
- ¹⁹ От немецкого *Minne* — любовь к даме на языке миннезингеров.
- ²⁰ Цитата из неопубликованного тогда «Демона» Лермонтова (ч. II). См. о «Демоне» письмо 188 и примеч. 13 к нему.

- ²¹ Имеется в виду история увлечения Боткина А. А. Бакуниной (см. ИАН, т. XI, письма 137, 163, 165). Старик — отец А. А. Бакуниной, А. М. Бакунин.
- ²² Источник цитаты не установлен.
- ²³ Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Завещание» (1840). См. об этих стихах далее настоящее письмо.
- ²⁴ Неточная цитата из «Евгения Онегина» (посвящение).
- ²⁵ О В. А. Дьяковой и ее браке см. ИАН, т. XI, письмо 66, примеч. 17 к нему, письмо 77 и н. т., письмо 215.
- ²⁶ М. А. Бакунин. О его нездоровом влиянии на сестер см. ИАН, т. XI, стр. 457, 570, 571.
- ²⁷ В письме от 27/I 1841 г. Кольцов писал Белинскому о Боткине: «Только как-то опять начал он входить в прежнее тяжелое положение» (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 238).
- ²⁸ Замысел этот не был осуществлен.
- ²⁹ Повесть Герцена, напечатанная в «Отеч. записках» 1840 г. (№ 12, отд. II, стр. 267—288) за подписью: Искандер. В статье «Русская литература в 1841 году» Белинский охарактеризовал эту повесть как «полную ума, чувства, оригинальности и остроумия» (ИАН, т. V, стр. 584).
- ³⁰ Белинский, вероятно, имеет в виду корреспонденции Гейне «Французские дела» в «Allgemeine Zeitung» («Всеобщей газете»), вышедшие в 1833 г. отдельным изданием.
- ³¹ О вечерах Селивановского см. статью Ю. Г. Оксмана в «Уч. зап. СГУ», т. XXXI, вып. филологич., 1952, стр. 250—262, и ЛН, т. 56, стр. 274—276.
Воскресенский Михаил Ильич (ум. в 1867), беллетрист. О его бездарности Белинский неоднократно упоминал в своих критических статьях. В 1839 г. им была написана уничтожающая рецензия на роман Воскресенского «Проклятое место» («Моск. наблюдатель» 1839, т. I, кн. 2; ИАН, т. III, стр. 72—73).
- ³² О «Ромео и Юлии» Шекспира в переводе М. Н. Каткова см. ИАН, т. XI, письмо 93, примеч. 18 к нему.
В обзоре «Русская литература в 1841 году» Белинский назвал перевод Каткова «замечательным по своему поэтическому достоинству» («Отеч. записки» 1842, № 1; ИАН, т. V, стр. 585). О нем же он писал в статье «Русский театр в Петербурге» («Отеч. записки» 1842, № 3; ИАН, т. VI, № 12).
- ³³ См. письмо 171 и примеч. 18 к нему.
- ³⁴ В «Утренней заре», альманахе на 1841 год, изданном В. Владиславлевым (СПб., 1841), было впервые опубликовано стихотворение Пушкина «Для берегов отчизны дальней...» (стр. 389—390).
Стихотворением Пушкина «В степи мирской, печальной и безбрежной...» (под названием «Три ключа») открывался № 2 «Отеч. записок» 1841 г. По свидетельству Некрасова, оно было любимым стихотворением Белинского (ЛН, т. 49-50, 1949, стр. 169).
- ³⁵ Речь идет о стихотворении «Есть речи — значенье...»
- ³⁶ В № 2 «Отеч. записок» 1841 г. были помещены в переводе Герцена «Рассказы о временах меровингских. Статья первая»; стихотворения: Пушкина «Ее глаза»; Лермонтова «Завещание»; Кольцова «Грусть девушки», «Ночь», «Тоска по воле»; Сатина «Желание»; повесть Е. П. Гребенки «Записки студента»; статья Белинского «Стихотворения М. Лермонтова» (отд. V, стр. 35—80; без подписи). Отдел «Смеси» включал в

себя: «Замечания на статью о Китае в сочинении Эйрис» Иакинфа (Бичурина), «Письменные памятники русской старины в С.-Петербурге», «Славянские новости — Чешский театр» П. П. Срезневского, «Влияние ветров на атмосферу», «Новые судебно-медицинские исследования о мышьяке», рассказ Д. Джеррольда «Пятидесятилетний философ и молоденькая девушка».

Стихотворения Красова «Соседи» и «Песня» («Взгляни на тучу...») были напечатаны в № 3 журнала, повесть В. Ф. Одоевского «Саламандра» — в № 1 за подписью: К. В. О.

- 37 Статья Белинского — «Стихотворения М. Лермонтова» (ИАН, т. IV, № 86).
- 38 Имеются в виду рецензии для № 2 «Отеч. записок» 1841 г.: «Русский театр в Петербурге. Александр Македонский... Соч. М. М.», «Пиитические опыты Елисаветы Кульман», «Портретная и биографическая галерея словесности, художеств и искусств в России», «Памятник искусств» (см. ИАН, т. IV).
- 39 Статьи Белинского «Разделение поэзии на роды и виды» и «Деяния Петра Великого. Соч. И. И. Голикова» появились в №№ 3 и 4 «Отеч. записок» 1841 г. (первая — в № 3, отд. I, стр. 13—64, за полной подписью; вторая — в № 4, отд. V, стр. 37—60, без подписи). См. о них ИАН, т. V, № 1.
- 40 Перевод Д. В. Веневитинова двух сцен из «Фауста» вошел в посмертный сборник его «Стихотворений» 1829 г. — В № 1 «Отеч. записок» 1841 г. были напечатаны «Две сцены из „Фауста“ Гёте» в переводе А. Н. Струговщикова (отд. III, стр. 39—44). О Струговщикове см. примеч. к письму 170.
- 41 Усеченный стих из сказки Н. М. Карамзина «Илья Муромец».
- 42 А. А. Бакунина.
- 43 О Кульчицком см. ИАН, т. XI, письмо 159 и примеч. к нему, а также н. т., письма 189 и 190.
- 44 Рассказ Е. П. Гребенки «Кулик» Белинский положительно оценил в рецензии на «Утреннюю зарю» 1841 г. (ИАН, т. IV, стр. 456) и в обзоре «Русская литература в 1841 году» (ИАН, т. V, стр. 585).
- 45 Письма В. И. Красова к Белинскому после 1840 г. не сохранились.
- 46 Боткин 5 января 1841 г. уехал с А. И. Клыковым в Харьков, откуда вернулся 8 февраля (см. письмо Кольцова к Белинскому от 10/I 1841 г. — Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 238, и письмо Боткина от 10/II — «Литер. мысль», II, 1923, стр. 176).

170. А. Н. СТРУГОВЩИКОВУ

Печатается по автографу (ИРЛИ). Судя по содержанию письма и внешнему виду автографа, начало его не сохранилось. Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 212 (с датировкой: «вероятно, 1841 г.»).

Датируется на основании содержания (время работы Белинского над статьей «Стихотворения М. Лермонтова»); см. наст. письмо, примеч. 1, а также ЛН, т. 56, стр. 213.

Струговщиков Александр Николаевич (1808—1878) — переводчик. Белинский познакомился с ним в конце 1839 — начале 1840 г. 27 апреля 1840 г. он был на вечере у Струговщикова в обществе М. И. Глинки, Брюллова, Шевченко и др. (см. РС 1874, № 4, стр. 701—702).

Белинский высоко ценил переводы Струговщикова и доброжелательно отзывался о них в печати. См. его рецензии на перевод «Римских элегий» Гёте 1840 г. и «Стихотворений из Гёте и Шиллера» 1845 г. (ИАН, т. IV, № 17 и т. IX, № 55).

¹ Белинский имеет в виду диалог Фауста с Мефистофелем в сцене «Рабочая комната Фауста» и слова Фауста:

Святая истина от глаз моих сокрыта,
Высокой мудрости уму не суждено.
Всем горестям отныне грудь открыта,
И всем, что человечеству дано,
В самом себе хочу я насладиться
И в ад и в небо погрузиться,
И грусть людей, и радость их испить,
С их бытием свое совокупить
И с ними, наконец, в уничтоженьи слиться.

Эти строки нужны были Белинскому для вступительной части статьи «Стихотворения М. Лермонтова». СПб., 1840, появившейся в февральском номере «Отеч. записок» 1841 г. (см. ИАН, т. IV, № 86). Струговщиков в это время переводил «Фауста», но Белинскому пришлось взять нужную ему цитату из перевода Э. И. Губера (1838 г.), так как Струговщиковым перевод еще не был закончен.

² Первая часть «Фауста» в переводе Струговщикова была издана в 1856 г.

171. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 598—604; № 4, стр. 565); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 5, 71—72, 79, 85); полностью — в Письмах, т. II, стр. 212—221.

¹ Это письмо Боткина не сохранилось.

² Белинский имеет в виду критический разбор Т. Эхтермайером книги Л. Сакса «К воспоминанию о Лессинге» в журнале «Hallische Jahrbücher» 1840, № 179, S. 1428—1429.

Об отношении Белинского к Гегелю см. ИАН, т. III, стр. 396, 643 и т. XI, стр. 219, 272, 313, 386—387, 474.

³ «Хвост дьявола», — выражение из романа Э. Т. А. Гофмана «Элексир сатаны».

⁴ Цитата из «Гамлета» Шекспира в переводе Н. А. Полевого (М., 1837, стр. 73; д. II, явл. 1).

⁵ См. письмо 169 и примеч. 45 к нему.

⁶ Цитата из «Ромео и Юлии» Шекспира в переводе М. Н. Каткова (д. IV, явл. 14) — «Пантеон русского и всех европейских театров» 1841, ч. I, стр. 54.

⁷ «Тройственным союзом палачей» Белинский называет союз трех монархов — императора Николая I, австрийского императора Фердинанда I и прусского короля Фридриха-Вильгельма III, прокламировавших после совещания в Теплице в октябре 1835 г. свою верность реакционным принципам Священного союза 1815 г.

⁸ Письмо Анненкова не сохранилось.

Белинский имеет в виду сочинения Гейне, изданные Гофманом и Кампе. Гамбург, 1837 г.

- ⁹ См. письмо 169 и примеч. 16 к нему.
- ¹⁰ Об отношении Белинского к Полевому в то время см. письмо 169 и примеч. 7 и 8 к нему.
- ¹¹ См. примеч. 39 к письму 169.
- ¹² Тетрадки Каткова содержали в себе конспект «Лекций по эстетике» Гегеля.
- ¹³ Имеется в виду Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), профессор, член С.-Петербургского цензурного комитета.
- ¹⁴ Строки о Шекспире, изуродованные цензурой, восстановлены в тексте статьи «Разделение поэзии на роды и виды». См. ИАН, т. V, стр. 56—57.
- ¹⁵ Это письмо Боткина не сохранилось. — О пребывании Боткина в Харькове см. примеч. 46 к письму 169.
- ¹⁶ Цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя.
- ¹⁷ Белинский намекает на интерес к нему Софьи Ивановны Кронеберг, о котором ему год назад сообщал Боткин. См. ИАН, т. XI, письмо 134.
- ¹⁸ Имеется в виду перевод Боткиным двух глав («Юлия» и «Офелия») из книги Джемсон «Женщины, созданные Шекспиром» («Отеч. записки» 1841, № 2, отд. II, стр. 64—92). К главе «Офелия» Боткин взял элиграф из «Бахчисарайского фонтана» Пушкина:

Я помню столь же нежный взгляд
И красоту еще земную.

Книгу Джемсон Белинский высоко оценил в статье «Русская литература в 1841 году» (ИАН, т. V, стр. 536).

Гёте писал о Шекспире в «Ученических годах Вильгельма Мейстера», эти главы были напечатаны в переводе С. П. Шевырева в «Моск. вестнике» (см., например, главу «Характер Гамлета» — «Моск. вестник» 1827, № 3, стр. 217—226).

- ¹⁹ О Рётшере и об отношении к нему Белинского в 1838 г. см. ИАН, т. XI, письма 104, 109, 122.
- ²⁰ Дмитрий Капитонович Исаев, брат жены К. Г. Белинского. См. о нем письма 202 и 203.
- ²¹ Белинский отвечает на строки письма Боткина от 10/II 1841 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 176).
- ²² Стихотворение Гёте «Ганимед» в переводе А. И. Кронеберга Боткин прислал Белинскому для помещения в «Отеч. записках», где оно и было напечатано (№ 4, отд. III, стр. 262). В этом стихотворении Кронеберг трижды употребляет слово «любящая» с неправильным ударением.
- ²³ Стихотворение В. И. Красова «Соседи» было напечатано в «Отеч. записках» 1841, № 3, отд. III, стр. 48.
- ²⁴ Цитата из стихотворения Лермонтова «Оправдание» («Отеч. записки» 1841, № 3, отд. III, стр. 44).
- ²⁵ В письме от 3/XII 1840 г. Красов писал Белинскому о своем проекте поездки весной в Петербург с целью получения места при помощи Жуковского и В. Ф. Одоевского (БКР, стр. 117).
- ²⁶ Речь идет о стихотворениях Лермонтова, помещенных в начале 1841 г. в «Отеч. записках»: «Есть речи — значенье...» (№ 1), «Завещание» (№ 2) и «Оправдание» (№ 3).

- 27 См. ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 14 к нему.
- 28 См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 16 к нему.
- 29 Статья Боткина о «Прометее» неизвестна.
- 30 Речь идет, очевидно, о статье Баумана, направленной против брошюры Рётшера «О философии в искусстве» (1837 г.). См. ИАН, т. XI, письмо 107 и примеч. 16 и 17 к нему.
- 31 См. ИАН, т. XI, письмо 69 и примеч. к нему.
- 32 Кольчугин Иван Григорьевич, книгопродавец, приятель Боткина, привлекавшийся в 1827 г. к секретному политическому дознанию по делу братьев Критских (см. о нем: П. К. С и м о н и. Материалы к истории русской книжной торговли в XVIII—XIX ст. Вып. 1. СПб., 1907, стр. 48—66 и статью Ю. Г. Оксмана в «Уч. зап. СГУ», т. XXXI, вып. филологич., 1952, стр. 254).
- 33 Сохранилось лишь окончание одного письма И. П. Ключникова к Белинскому 1841 г. (БКр, стр. 74—75). Этот отрывок весь посвящен критике «Отеч. записок», но перечисленных Белинским положений в нем нет.— О статье о Лермонтове см. письмо 169, примеч. 37 к нему.
Письма Белинского к Ключникову не сохранились.
- 34 К 1841 г. «Эгмонт» Гёте не был издан Кетчером на русском языке. Белинский, вероятно, читал этот перевод в рукописи. См. ИАН, т. XI, письмо 156 и примеч. 4 к нему.
- 35 В части 1-й «Пантеона русского и всех европейских театров» за 1841 г. была напечатана анонимная статья «Шиллер. Человек и поэт» (отд. II, стр. 1—15).
О книге Гофмейстера см. ИАН, т. XI, письмо 107 и примеч. 67 к нему.
- 36 В мартовской книжке «Отеч. записок» 1841 г. напечатаны два письма П. В. Анненкова, открывающие его серию «Писем из-за границы»; первое — от 12/XI 1840 г. из Гамбурга, второе — от 10/I 1841 г. из Берлина («Смесь», стр. 15—21; за подписью: А — в).

172. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 604—606); дополнено Н. А. Котляревским (стр. 431, 437); Е. А. Ляцким (стр. 623—624); полностью — в Письмах, т. II, стр. 221—227.

Письмо это не застало Боткина в Москве. О его приезде в Петербург см. письмо 174.

Ответ Боткина в приписке к его письму от 31/III 1841 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 178).

¹ Эти письма не сохранились.

² Речь идет об увлечении Боткина А. А. Бакуниной. См. ИАН, т. XI, письма 93, 137.

См. ИАН, т. XI, письма 75, 107, 122, 124.

⁴ См. примеч. 41 к письму 169.

⁵ Белинский имеет в виду неудачный роман Н. В. Станкевича Л. А. Бакуниной. См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 5 к нему.

⁶ Гегель посвятил вопросам брака главу в «Философии права» (ч. III, отд. I, § 161—169 — см. Собр. соч. Гегеля, изд. 1833 г., т. VIII).

- 7 Имеется в виду М. А. Бакунин.
- 8 О семье П. Я. Петрова см. ИАН, т. XI, письмо 39 и примеч. 3 к нему. Письмо Петровых не сохранилось.
- 9 Аретино Пьетро (1492—1557), итальянский поэт, автор эротических сонетов, тематически связанных с картинами Джулио Романо.
- 10 Неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (ред. 1836 г.; д. V, явл. 9).
- 11 См. письмо 169 и примеч. 17 к нему.
- 12 Стихотворение Лермонтова «Родина» было напечатано в «Отеч. записках» 1841, № 4 (отд. I, стр. 283).

173. Н. Х. КЕТЧЕРУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. В. Станкевичем в «Русском архиве» 1887, № 3, стр. 359, 361; полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 242—243.

Датируется на основании упоминания статьи Булгарина, опубликованной в «Сев. пчеле» от 24/III 1841 г. (см. наст. письмо, примеч. 4).

¹ Речь идет о Н. Г. Белинском.

² Пять драм Шекспира в переводе Кетчера — «Король Иоанн», «Ричард II», «Генрих IV» (в 2-х частях) и «Генрих V» (вышли в свет отдельными выпусками в начале 1841 г.). Говоря о «Генрихе V», Белинский имеет в виду 2-ю сцену V действия — объяснение Генриха с Екатериной, дочерью Карла VII.

Кетчер, очевидно, согласился с замечаниями Белинского, так как в печатном тексте Екатерина «не ломает слова» и Генрих называет ее «Кэт» (Ш е к с п и р. Генрих V. Вып. V. М., 1841, стр. 128—135). См. также письмо 179 и примеч. 12 к нему.

Июньская Роза — героиня романа Ф. Купера «Путеводитель в пустыне, или Озеро-море» (дикарка). См. о нем ИАН, т. XI, письмо 123, примеч. 3.

³ Имеется в виду настроение периода «примирения с действительностью».

⁴ Ф. А. Кони издавал с 1840 г. журнал «Пантеон русского и всех европейских театров» и с 1841 г. — «Литер. газету».

Полемику с Булгариным начал Кони, обвинивший «Сев. пчелу» в перепечатке из «Литер. газеты» переводной статьи об английской литературе («Литер. газета» 1841, № 26, от 4/III). Булгарин, возражая на это утверждение, писал, между прочим, что при Кони «Литер. газета» стала «вдесятеро скучнее, чем прежде» (анонимная статья «В какой степени справедливы замечания некоторых журналов на „Северную пчелу“» — «Сев. пчела» 1841, № 67 от 24/III).

⁵ О П. Д. Козловском см. ИАН, т. XI, примеч. 2 к письму 84.

174. Н. А. БАКУНИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 619—621); дополнено В. А. Гольцевым в «Сборнике Общества любителей российской словесности на 1891 год» (М., 1891, стр. 280—281); Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 65); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 229—238.

¹ Письма Н. А. Бакунина к Белинскому не сохранились. О его ответе на настоящее письмо см. письмо 179.

- ² Глуздырь — умник, разумник; шутливое — дурень.
- ³ Это письмо М. А. Бакунина не сохранилось. — Далее Белинский вспоминает взаимоотношения с М. А. Бакуниным в 1837—1839 гг. (см. ИАН, т. XI, стр. 281—348). Говоря о «поступках» Бакунина «с одним и еще со многими», Белинский, очевидно, имеет в виду некорректное поведение его с Боткиным, Катковым, Заикиным и др.
- ⁴ П. Ф. Заикин, приятель Белинского, находившийся в это время за границей. См. ИАН, т. XI, письмо 126 и примеч. 7 к нему.
- ⁵ От французского *dure* — одураченным, обманутым.
- ⁶ Неточная цитата из «Демона» Лермонтова. См. письмо 169 и примеч. 20 к нему.
- ⁷ Белинский имеет в виду реплику, повторяющуюся в «Сорочинской ярмарке» Гоголя.
- ⁸ Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 4, строфа VII).
- ⁹ Цитата из стихотворения Лермонтова «Завещание», напечатанного в № 2 «Отеч. записок» 1841 г.
- ¹⁰ Цитата из стихотворения А. В. Кольцова «Расчет с жизнью», посвященного Белинскому. Кольцов послал эти стихи Белинскому в письме от декабря 1840 г. (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 230). Стихотворение было напечатано в «Отеч. записках» 1841, № 3 (отд. III, стр. 50).
- ¹¹ Цитата из стихотворения А. И. Полежаева «Вечерняя заря» (см. ИАН, т. XI, письмо 7 и примеч. 3 к нему).
- ¹² Мачеха В. П. Боткина, Анна Ивановна (рожд. Посникова), умерла 18 марта 1841 г.
- ¹³ Л. А. Бакунина, умершая 6 августа 1838 г. См. ИАН, т. XI, письма 66, 75—77, 94, 101, 102.
- ¹⁴ Имеется в виду В. А. Дьякова, находившаяся в это время за границей. См. ИАН, т. XI, письма 66, 75, 77.
- ¹⁵ Речь идет о подозрениях в недоброжелательности Т. А. Бакуниной в пору увлечения Белинского А. А. Бакуниной.
- ¹⁶ Белинский говорит о повести Гофмана «Золотой горшок».
- ¹⁷ Родители Н. А. Бакунина.
- ¹⁸ Цитата из «Ревизора» Гоголя (ред. 1836 г.; д. V, явл. 9).
- ¹⁹ Цитата из стихотворения Пушкина «Алексееву».

175. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копий (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 607); полностью — в Письмах, т. II, стр. 238—239.

- ¹ Настоящее письмо является ответом на письмо Боткина от 31/III 1841 г. (см. «Литер. мысль», II, 1923, стр. 178). — О приезде Боткина в Петербург см. письмо 174.
- ² Имеется в виду письмо 172.

- ³ Письмо к Н. А. Бакунину — 174; письмо к М. Н. Каткову не сохранилось.
- ⁴ Боткин просил Белинского получить в аптеке копию с рецепта лекарства, прописанного ему в Петербурге.
- ⁵ Речь идет о книге Г. К. Котошихина «О России в царствование Алексея Михайловича» (СПб., 1840), забытой Боткиным у Белинского. Белинский писал о ней в статье «Деяния Петра Великого» («Отеч. записки» 1841, № 4; ИАН, т. V, стр. 106—115). Книга эта сохранилась в его библиотеке (см. ЛН, т. 55, стр. 467).— О Котошихине см. письмо 283, примеч. 1 к нему.
- ⁶ В письме Боткина к Белинскому от 31/III были такие строки: «Мне кажется, я с тобой не простился — я не знаю, как это случилось. Знаешь ли,— это очень мучит меня... Пожалуйста, приезжай летом. Мне кажется, я только одну минуту был с тобою».
- ⁷ См. ИАН, т. XI, примеч. 2 к письму 84.
- ⁸ См. письмо 174 и примеч. 13 к нему.
- ⁹ М. А. Языков. О больных ногах Языкова Белинский писал Боткину в письме 172 (стр. 35; см. также ЛН, т. 56, стр. 215).
- ¹⁰ Речь идет о рецензии С. П. Шевырева на «Стихотворения М. Лермонтова». СПб., 1840, в которой он упрекал поэта в механическом усвоении поэтических формул Жуковского, Пушкина, Кириши Данилова, Бенедиктова, Баратынского и Дениса Давыдова. В частности, Шевырев находил в «Тучках небесных» подражание стихотворению Бенедиктова «Незабвенная» («Москвитянин» 1841, № 4, стр. 527, 533). См. отзыв Белинского об этом сборнике — ИАН, т. IV, № 86.
- ¹¹ Имеется в виду статья «Деяния Петра Великого. Соч. И. И. Голикова». См. письма 169, примеч. 39, и 179.

176. А. А. КРАЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ГПБ, архив А. А. Краевского). Впервые опубликовано И. А. Бычковым в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 17—18.

Датируется на основании упоминания о рецензии Белинского на «Душеньку» Богдановича (см. наст. письмо, примеч. 2) и письма Белинского к Д. П. Иванову от 11/IV 1841 г. (№ 178) с сообщением о ликвидации его денежных затруднений (см. ЛН, т. 56, стр. 213—214).

Письмо это вызвано острыми материальными затруднениями Белинского из-за неаккуратности Краевского в денежных расчетах с ним. Герцен писал Кетчеру 26/V 1841 г. из Петербурга: «Краевский дурно платит Белинскому и вообще немножко *schmutzig* <грязноват>» (ИсСГ, т. II, стр. 433).

¹ В это время Белинский жил в доме Е. Л. Бем на 2-й линии Васильевского острова (№ 4, кв. 7), в отдельном флигеле, во дворе (дом этот не сохранился). Вскоре Белинский переехал на новую квартиру, в Семеновский полк, в дом Бутаровой (см. письмо 179 и ЛН, т. 57, стр. 398—399).

² Рецензия Белинского на «Душеньку» Богдановича была напечатана в майской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (№ 5, отд. VI, стр. 1—4). См. ИАН, т. V, стр. 159—165.

Печатается по автографу (ГПБ, архив А. А. Краевского). Впервые опубликовано И. А. Бычковым в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 19—20.

Датируется на основании связи с предыдущим письмом, от которого настоящее явно отделено только несколькими часами (см. ЛН, т. 56, стр. 213—214).

- ¹ Третья статья о «Деяниях Петра Великого» Белинским не была написана из-за цензурных затруднений. См. письмо 179 и примеч. 13 к нему.
- ² Эти замыслы остались неосуществленными.
- ³ Речь идет, очевидно, о рецензиях для № 5 «Отеч. записок» на книги: «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой», «Мозаисты». Соч. Ж. Занд; «Интересные проделки». Соч. Г. Г. и др. (см. ИАН, т. V).

178. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 239—242.

Ответ Д. П. Иванова на это письмо см. в ЛН, т. 57, 1951, стр. 219—220.

- ¹ Последнее письмо Белинского к Д. П. Иванову было от 4/X 1840 г. (№ 162).
- ² Имеются в виду московские долги Белинского.
- ³ Бывшая квартирная хозяйка Белинского. О долге ей см. ИАН, т. XI, письмо 166.
- ⁴ Белинский говорит о «Латино-русском лексиконе» И. Я. Кронеберга (1-е изд. его вышло в 1819 г.).
- ⁵ Речь идет, вероятно, о книгах: «Начало церковной истории от библейских времен до XVIII в.» еп. Иннокентия (3-е изд. 1820—1821 гг.) и «История русской церкви» еп. Филарета (издавалась шесть раз).
- ⁶ Поляков Василий Петрович, петербургский издатель и книгопродавец.
- ⁷ См. ИАН, т. XI, примеч. 33 к письму 107.
- ⁸ Белинский имеет в виду падение подписки на журналы, вызванное двумя годами неурожая и голода в центральных губерниях. Особенно остро кризис ощущался редакцией «Отеч. записок». См. об этом письма А. А. Краевского к М. Н. Каткову от 9(21)/I и 11/III 1841 г. (ЛН, т. 56, стр. 150, 152) и письмо В. А. Солоницына к Е. Ф. Коршу от 20/V 1841 г. (ЛН, т. 45-46, стр. 373—374).
- ⁹ Жена Д. П. Иванова.
- ¹⁰ Письмо Белинского к Н. Г. Белинскому не сохранилось. Ответ на него Н. Г. Белинского от 23/IV 1841 г. см. в ЛН, т. 57, стр. 220—221.
- ¹¹ Алексей Петрович Иванов. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 7.
- ¹² П. П. Иванов. См. ИАН, т. XI, примеч. 1 к письму 31.

179. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, из собрания А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 607—613); дополнено Р. В. Ива-

новым-Разумником (стр. 76—77, 86—87); почти полностью (с цензурными пропусками) — в Письмах, т. II, стр. 243—251; цензурные пропуски восстановлены Н. К. Пиксановым («Венок Белинскому». М., 1924, стр. 58—59).

Ответное письмо Боткина от 18/VII см. в «Литер. мысли», II, 1923, стр. 179—180.

¹ Последнее известное письмо Белинского к Боткину — от 9/IV 1841 г. (№ 175).

² Анахарсис — легендарный скиф, путешествовавший по Греции (VI в. до н. э.). Белинский знал о нем по роману Ж. Ж. Бартеlemi «Путешествие молодого Анахарсиса по Греции» (1788). С 1803 г. роман несколько раз издавался на русском языке.

³ Об отношении Белинского в это время к Н. А. Полевому см. письмо 169 и примеч. 7 к нему.

⁴ Кайданов Иван Кузьмич (1782—1843), автор популярных учебников по русской и всеобщей истории.

⁵ Цитата из басни И. А. Крылова «Ларчик».

⁶ Николай Петрович Боткин (1813—1869), путешественник.

⁷ Дестунис Спиридон Юрьевич (1782—1848) перевел на русский язык «Плутарховы сравнительные жизнеописания славных мужей» (13 чч. СПб., 1814—1820). Все 13 частей Плутарха сохранились в библиотеке Белинского (см. ЛН, т. 55, стр. 484).

⁸ В майской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (отд. III, стр. 1—2) было напечатано стихотворение Лермонтова «Последнее новоселье», посвященное перенесению праха Наполеона с о-ва Св. Елены в Париж (в декабре 1840 г.). См. об этом также письмо 180.

⁹ Имеется в виду статья Рётшера «Четыре новые драмы, приписываемые Шекспиру», напечатанная в переводе В. П. Боткина в «Отеч. записках» 1840, № 11 (отд. II, стр. 1—24).

¹⁰ Речь идет об апокрифической драме «Лондонский блудный сын».

¹¹ Эта мысль была высказана позднее Боткиным в статье «Шекспир, как человек и лирик» («Отеч. записки» 1842, № 9, отд. II, стр. 33).

¹² Речь идет о переводах трагедий Шекспира, сделанных Кетчером. См. примеч. 2 к письму 173.

¹³ Вторая статья Белинского о «Деяниях Петра Великого», напечатанная в 6-й книжке «Отеч. записок» 1841 г., заканчивалась примечанием: «Предположенного продолжения статей о „Деяниях Петра Великого“, по не зависящим от редакции причинам, не будет» (отд. V, стр. 18).

¹⁴ В библиотеке Белинского сохранились второй и третий томы сочинений Беранже, 1837 г. (Oeuvres complètes de P.-J. Beranger. Paris). Стихотворение «Hâtons-nous!» (т. II, стр. 98) — призыв на помощь к восставшей Польше в 1831 г.

Белинский всегда высоко ценил Беранже за его свободолюбие и поэтическое мастерство. Царем французской поэзии называл он Беранже в статье «О критике и литературных мнениях „Московского наблюдателя“» (ИАН, т. II, стр. 153). См. также статью «Русская литература в 1840 году» (ИАН, т. IV, стр. 421) и письмо 186, стр. 72.

¹⁵ Н. Г. Белинский.

¹⁶ Письмо это не сохранилось.

⁷ Герцен был назначен советником Новгородского губернского правле-

ния. Из Петербурга он выехал 1 июля 1841 г. (ПссГ, т. II, стр. 434). См. письмо 251 и примеч. 2 к нему.

¹⁸ Наталья Александровна Герцеп, рожд. Захарьина (1817—1852). См. «Былое и думы», гл. XX, XXII—XXIV, и XLIII—L.

¹⁹ Речь идет о письме 174.—Мисель — М. А. Бакунин.

²⁰ Поездка Белинского в Москву состоялась в конце декабря 1841 г.

²¹ Липперт Карл Роберт, переводчик произведений Пушкина и Лермонтова на немецкий язык, в 1841 г. заменивший в «Отеч. записках» М. Н. Каткова, как обозревателя иностранной литературы. В апрельской книжке «Отеч. записок» 1841 г. была помещена заметка о переводах Липперта и о его переезде в Петербург (отд. VII, стр. 122—124). Липперту принадлежит большая часть обзоров в «Отеч. записках» 1842 г. и статья «Греция в нынешнем своем состоянии» («Отеч. записки» 1841, № 11, отд. II, стр. 14—32 и № 12, отд. II, стр. 49—70). См. о нем ИАН, т. VIII, стр. 667—670.

180. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

Печатается по автографу, хранящемуся в Отделе редкой книги Научной библиотеки им. Горького МГУ (архив П. Н. Кудрявцева). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 616—617); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 251—253.

О П. Н. Кудрявцеве см. ИАН, т. XI, письмо 149 и примеч. к нему.

Ответное письмо Кудрявцева от 17/VII 1841 г. см. в БКр, стр. 142—144.

¹ Повесть Кудрявцева «Звезда» была напечатана в мартовской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (отд. III, стр. 10—43) за подписью: А. Н.

² Повесть Кудрявцева «Цветок», посвященная В. П. Боткину, также появилась в «Отеч. записках» 1841 г. (№ 9, отд. III, стр. 5—56) за подписью: А. Н. О повестях Кудрявцева см. письма 98, 99, 124, 149, 186.

³ О К. Липперте см. письмо 179 и примеч. 21 к нему. Его переводы повестей Кудрявцева неизвестны. О названных повестях Кудрявцева см. письма, указанные в примеч. 2 к наст. письму.

Кудрявцев не подписывал повестей своим именем, а только инициалами: А. Н. или псевдонимом: А. Неустроев.

⁴ Речь идет о рецензии Кудрявцева на книгу Ф. Л. Морошкина «О значении имени руссов и славян». М., 1840, напечатанной в «Литер. газете» 1841, № 63 от 10/VI, без подписи. В ней Кудрявцев высмеял Морошкина за несостоятельную попытку произвести слово «Россия» от корней: лес, лоза и т. п.

О Морошкине см. ИАН, т. XI, письмо 47 и примеч. 4 к нему.

⁵ О стихотворении Лермонтова «Последнее новоселье» см. письмо 179 и примеч. 8 к нему.— На перенос праха Наполеона А. С. Хомяков откликнулся тремя славянофильскими стихотворениями: «Небо ясно, тихо море...», «Суета свет» и «Еще об нем» («Москвитянин» 1841, № 1, стр. 341—343; № 2, стр. 347—348; № 3, стр. 6).

⁶ Стихотворение Лермонтова «Спор» было напечатано в «Москвитянине» 1841 г. (№ 6, стр. 291—294).

⁷ Мечта Белинского о поездке за границу осуществилась лишь летом 1847 г.

⁸ Проект издания альманаха более серьезно занимал Белинского в 1846 г., но и это издание (в связи с необходимостью поддержать на первых порах «Современник») не состоялось. См. письма 253—259, а также ИАН, т. XI, стр. 694.

⁹ Речь идет о письме 179.

181. [В. Ф. ОДОЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ГПБ, архив В. Ф. Одоевского). Впервые опубликовано И. А. Бычковым в РС 1904, № 8, стр. 413.

Одоевский, кн., Владимир Федорович (1802—1869) — писатель, музыкальный критик, умеренный либерал, сотрудник «Отеч. записок», «Современника» и «Литер. приб. к Русск. инвалиду»; издавал вместе с А. П. Заблоцким в 1843—1847 гг. «Сельское чтение» — сборники для массового чтения, положительно оцененные Белинским (см. ИАН, т. VI, № 129; т. VIII, №№ 35, 69). Неоднократно одобрял Белинский и произведения Одоевского для детей (см. ИАН, т. IV, № 12). Лично познакомились они в Петербурге в ноябре 1839 г. О посещениях Белинским вечеров Одоевского рассказывают И. П. Панаев (стр. 298—300) и Герцен («Былое и думы», ч. I, гл. XXV). См. об Одоевском также ИАН, т. XI, письма 126, 129 и т. IX, №№ 68, 72).

Со второй половины 1840-х годов Белинский, видимо, перестает общаться с Одоевским и уклоняется от печатных суждений о нем. Иронические строки в письме от 22/IV 1847 г. (№ 300) о Мельгунове, как о «московском Одоевском», объясняют и причины этого охлаждения — умеренный либерализм и половинчатость Одоевского.

Одоевский написал воспоминания-характеристику Белинского («Русский архив» 1874, кн. 1, стр. 339—342). Из переписки Одоевского с Белинским сохранилось лишь настоящее письмо.

¹ Речь идет о рукописи педагога, автора учебника для глухонемых и директора училища для глухонемых в Одессе, Георгия Александровича Гурцова. В 1841 г. Гурцов привез в Петербург свой новый труд, отданный, очевидно, при посредничестве Одоевского для литературной обработки Белинскому. Эта книга не была издана. Рукопись ее неизвестна (см. ЛН, т. 56, стр. 159—161).

О расчетах Гурцова с Белинским см. письмо 182.

182. А. А. КРАЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ГПБ, архив В. Ф. Одоевского). Впервые опубликовано И. А. Бычковым в РС 1904, № 8, стр. 413—414.

Датируется на основании записки Краевского к Одоевскому от 19/VII 1841 г. (см. наст. письмо, примеч. 2).

¹ О Гурцове см. письмо 181.

² 19 июля 1841 г. Краевский послал это письмо В. Ф. Одоевскому со следующими строками: «Вот что пишет ко мне Белинский, в ответ на Вашу записку. Извольте читать и решать...» (ЛН, т. 56, стр. 160). Не дошедшая до нас записка Одоевского была вызвана присылкой Гурцовым для Белинского 100 руб. за выполненную критиком работу. 22 июля Краевский сообщал Одоевскому: «Вот расписка Белинского в получении денег. Он просит сказать Вам, что нисколько не в претензии на Гурцова и доволен этими 100 рублями» (там же, стр. 160). Расписка Белинского сохранилась в бумагах Одоевского (см. н. т., стр. 473).

³ Михайловский-Данилевский Александр Иванович (1790—1848) — генерал-лейтенант, военный писатель и историк. Белинский положительно отзывался о его исторических трудах в статьях «Взгляд на главнейшие явления русской литературы в 1843 году» и «Русская литература в 1844 году» (см. ИАН, т. VIII, стр. 93, 487). В статье «Сто русских литераторов. Издание А. Смирдина» («Отеч. записки» 1841, № 7, отд. V, стр. 1—22) Белинский дал уничтожающий разбор исторических романов Булгарина и Загоскина. Эта статья, действительно, могла вызвать у Михайловского-Данилевского желание «подкупить» своим гостеприимством опасного критика.

О вечере, проведенном Белинским у Михайловского-Данилевского, рассказывал Панаев со слов Белинского. Подавленный чрезмерным и неискренним вниманием хозяина, считавшего нужным ухаживать за «первым критиком», Белинский никогда не повторял своего посещения (Панаев, стр. 256—258).

⁴ Перефразировка реплики Хлестакова из «Ревизора» (д. III, явл. 6).

⁵ Стихотворение Н. М. Сатина «Поэту-судие» Краевский поместил, согласно желанию Белинского, в «Отеч. записках» 1841 г. (№ 8, отд. III, стр. 189).

183. Н. Х. КЕТЧЕРУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 618—619); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 62, 161—163); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 254—258.

¹ О переводах Шекспира, сделанных Кетчером, см. ИАН, т. XI, письмо 146, примеч. 2 и н. т., письмо 173, примеч. 2.

О недовольстве Белинского, Краевского и Панаева непрактичностью Кетчера в деле издания его переводов Шекспира см. также письмо Н. М. Сатина к Кетчеру от 5/VII 1841 г. (ЛН, т. 56, стр. 157—158).

Юнгмейстер — петербургский книгопродавец.

² В этих строках Белинский иронизирует над писателями круга «Москвитянина», намекая, в первую очередь, на Ф. Н. Глинку, автора стихотворной листовки «Москве благотворительной» 1840 г. О ней Белинский писал в специальной рецензии (см. ИАН, т. V, № 28).

³ Проект Краевского превратить журнал «Сын отечества» в общественно-политическую и литературную газету не осуществился.

Упоминание об этом проекте см. в письме Краевского к В. Ф. Одоевскому от 4/VIII 1841 г. (РС 1904, № 6, стр. 582).

С 1838 г. «Сын отечества» издавал А. Ф. Смирдин (сперва под редакцией Н. А. Полевого, а затем — А. В. Никитенко). В сентябре 1841 г. Никитенко отказался от редактуры журнала, но выразил категорический протест против передачи издания Краевскому (см. «Записки и дневник», т. I. СПб., 1904, стр. 317).

⁴ Лермонтов был убит на дуэли Н. С. Мартыновым 15 июля 1841 г.

Белинский имеет в виду статьи С. П. Шевырева «Герой нашего времени. Соч. М. Лермонтова. Две части. СПб., 1840» («Москвитянин» 1841, № 2, стр. 515—538) и С. О. Бурачка «Стихотворения М. Лермонтова. СПб., 1840 (Письмо к автору)» («Маяк современного просвещения и образованности» 1840, т. XII, отд. IV, стр. 149—171; за подписью: С. Б.).

- ⁵ О В. С. Межевиче см. ИАН т. XI, письмо 44, примеч. 3 и письмо 147, примеч. 5.
- ⁶ Речь идет об анонимном фельетоне Булгарина «Журнальная всякая всячина», появившемся в «Сев. пчеле» 1841, № 168 от 30/VII. Разбирая биографию Пушкина, напечатанную в «Портретной и биографической галерее словесности, наук, художеств и искусств в России», Булгарин всячески порочил память великого поэта.
- ⁷ Абд-эль-Кадер (1807—1883), вождь арабов, упорно боровшийся с французами за независимость Алжира в 1832—1847 гг.
- ⁸ Россель Джон (1792—1878), английский государственный деятель; в 1839—1841 гг. — министр колоний, глава вигов в палате общин.
Пиль Роберт (1788—1850), знаменитый государственный деятель, лидер ториев. Россель выступал против Пила по вопросу о хлебных законах.
- ⁹ Дондуков-Корсаков Михаил Александрович. См. ИАН, т. XI, письмо 145 и примеч. 14 к нему.
- ¹⁰ Жена Ф. Н. Глиники (1795—1863), поэтесса, сотрудничавшая в «Москвитянин», автор религиозных стихотворений.
- ¹¹ Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. V, явл. 8).
- ¹² Оба альманаха «Ластовка. Сочинения на малороссийском языке гг. Л. Боровиковского, Е. Гребенки...» 1841 г. и «Сніп український новорочник. Зкрутив Александр Корсун. Рік первій», Харьков, 1841 — были рецензированы Белинским в «Отеч. записках» 1841 г., №№ 6 и 8 (см. ИАН, т. V, № № 23, 34 и примеч. к ним).
- ¹³ А. С. Шишков (1754—1841), президент Российской академии. В статье «Сто русских литераторов» Белинский дал памфлетную характеристику Шихкова («Отеч. записки» 1841, № 1; ИАН, т. V, стр. 190—197).
- ¹⁴ Федоров Борис Михайлович (1798—1875), литератор охранительного лагеря, автор известных доносов на «Отеч. записки», по предложению Шихкова был избран в почетные члены Российской академии.
- ¹⁵ См. ИАН, т. XI, письмо 151 и примеч. 11 к нему.
- ¹⁶ Статья «Еще из записок одного молодого человека», напечатанная в «Отеч. записках» 1841, № 8 (отд. III, стр. 161—188), за подписью: Искандер.
- ¹⁷ Дача Булгарина под Дерптом.
- ¹⁸ Статья «Сочинения Александра Пушкина. Томы IX, X и XI», появившаяся в августовской книжке «Отеч. записок» 1841 г. (см. ИАН, т. V, № 32 и примеч. к ней).

184. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 259—261.

Настоящее письмо является ответом на письмо Д. П. Иванова от 18/VIII 1841 г. с сообщением о провале С. П. Шевыревым на приемном экзамене в Московский университет Н. Г. Белинского (см. ЛН, т. 57, стр. 221—223).

¹ Судя по письму Иванова, Белинский называл в своих письмах «рыцарем чести» Шевырева.

- 2 М. Т. Каченовский, в то время ректор Московского университета, при-
дирался к документам Н. Г. Белинского, поданным в университет.
- 3 Н. Г. Белинский ответил на это письмом от 4/IX 1841 г. (ЛН, т. 57,
стр. 223).
- 4 См. письмо 178 и примеч. 3 к нему.
- 5 П. Д. Савельев, репетитор Н. Г. Белинского.
- 6 Сестра Д. П. Иванова.
- 7 О поездке Белинского в Москву см. письмо 188 и примеч. 3 к нему.
- 8 Братья Д. П. Иванова. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 7 и примеч. 1
к письму 31.

185. Н. Х. КЕТЧЕРУ

Печатается по автографу (ЛВ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 209. На автографе, явно позднее, написано несколько слов П. П. Ключниковым Н. Х. Кетчеру (там же, стр. 412).

- 1 А. Х. Кетчер. Письма Н. Х. Кетчера к Белинскому не сохранились.
- 2 О приглашении Краевским в Петербург Кетчера см. письмо 183.
- 3 Письма Н. П. Огарева к Белинскому не сохранились. 1 июля н. с. 1841 г. Огарев писал Герцену из Карлсбада о том, что он видел Мадонну Рафаэля (РМ 1889, № 11, стр. 5).

186. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, из собрания А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Сопдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 613—618); дополнено Н. А. Котляревским в 1892 г. (стр. 429—430, 438); Е. А. Ляцким в 1908 г. (стр. 624—625) и Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 60, 63, 82, 163); полностью (с небольшими цензурными пропусками) — в Письмах, т. II, стр. 261—271. Выброшенные цензурой строки восстановлены В. С. Спиридоновым в издании «Избранные философские сочинения В. Г. Белинского». Под общ. ред. М. Т. Иовчука. Ред. текста и комментарии В. С. Спиридонова. М., 1941, стр. 176.

- 1 Белинский отвечает на письмо Боткина от 18/VII 1841 г. (см. «Литер. мысль», II, 1923, стр. 179—180).
- 2 В копии Пыпина: указ. Вероятно, ошибка.
- 3 Это первое свидетельство об усвоении Белинским идей утопического социализма, популяризуемых в его статьях периода 1842—1846 гг. («Руководство к всеобщей истории. Соч. Фридриха Лоренца» — ИАН, т. VI, № 13; «История Малороссии Николая Маркевича» — т. VII, № 12; «Парижские тайны», Роман Эжена Сю — т. VIII, № 41). Об исключительном интересе Белинского к произведениям французских социалистов-утопистов — Сен-Симона, Фурье, Пьера Леру, Кабэ, Прудона, Луи Блана, Жорж Санд — вспоминали И. И. Панаев (стр. 242), П. В. Анненков («Литературные воспоминания». М.—Л., 1928, стр. 300—305), Ф. М. Достоевский (Полн. собр. худож. произведений, т. XI. М.—Л., 1929, стр. 8—10, 135; т. XII, стр. 319—321). Об основных высказываниях Белинского о социализме см. в книге «Социализм Белинского. Статьи

- и письма». Ред. и коммент. П. Н. Сакулина. М., 1925 и в статье В. Л. Комаровича «Идеи французских социальных утопий в мировоззрении Белинского» («Вестник Белинскому» М., 1924, стр. 243—272). См. также ИАН, т. V, стр. 781—782; т. VI, стр. 96, 723; т. VII, стр. 45—46.
- ⁴ Об увлечениях Белинского, Боткина и Н. В. Станкевича см. ИАН, т. XI, письма 66, 93, 124, 137, 165.
- ⁵ Цитата из стихотворения Пушкина «В степи мирской, печальной и безбрежной...». См. письмо 169, примеч. 34.
- ⁶ Роман Ф. Купера. Белинский упоминает о нем в рецензии на «Путеводитель в пустыне» («Отеч. записки» 1841, № 1; ИАН, т. IV, стр. 459).
- ⁷ Банкаль Жан Анри (1750—1826), политический деятель эпохи французской революции, член Конвента, жирондист; был в числе комиссаров, которых Дюмурие предал австрийцам; в 1795 г. обменен в числе других на дочь Людовика XVI.
- ⁸ Портрет Боткина работы К. А. Горбунова воспроизведен в ЛН, т. 31—32, 1937, стр. 799.
- ⁹ Неточная цитата из «Разбойников» Шиллера (д. I, явл. 2).
- ¹⁰ Эти же мысли Белинского, в более приспособленной к условиям легальной печати форме, получили выражение в его статье «История Малороссии. Николая Маркевича». См. ИАН, т. VII, стр. 45—46.
- ¹¹ См. ИАН, т. XI, письмо 155.
- ¹² Выражение, приписываемое императору Фердинанду I.
- ¹³ Белинский имеет в виду критическое изучение многотомного труда Луи Адольфа Тьера — «Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'au 18 brumaire», 10 vls. P., 1823—1827 («История французской революции с 1789 года по 18 брюмера»).
- ¹⁴ См. письмо 188 и примеч. к нему.
- ¹⁵ Эти восклицания были выражением сочувствия французам революционной Польше.
- ¹⁶ Цитата из «Гамлета» Шекспира (д. II, явл. 2).
- ¹⁷ См. письмо 179 и примеч. 7 к нему.
- ¹⁸ См. письмо 179 и примеч. 14 к нему.
- ⁹ Боткин прислал Белинскому письмо от 18/VII 1841 г. с А. Я. Кульчицким с целью их познакомить. В этом письме он просил Белинского поместить Кульчицкого у К. А. Горбунова, чтобы ему самому не беспокоиться («Литер. мысль», II, 1923, стр. 179).
- ²⁰ Повесть П. Н. Кудрявцева — «Цветок». См. письмо 180, примеч. 2 к нему.
- ²¹ Очевидно, Владимир Константинович Ржевский. См. ИАН, т. XI, письмо 107 и примеч. 33 к нему.

187. Н. А. БАКУНИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 621—622); дополнено В. А. Гольцевым («Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год», стр. 281) и Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 65, 103—104); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 271—276.

- ¹ Письмо это не сохранилось.
- ² См. примеч. 2 к письму 174.
- ³ Цитата из «Ревизора» (ред. 1836 г.; д. V, явл. 8).
- ⁴ Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Ответ А. И. Готовцовой».
- ⁵ Цитата из стихотворения Пушкина «Катеницу» («Кто мне пришлет ее портрет...»).
- ⁶ Об Алексее Александровиче Бакуanine см. ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 5 к нему.
- ⁷ Имеется в виду М. А. Бакунин.
- ⁸ А. М. Бакунин. См. ИАН, т. XI, письма 79, 96 и 104.
- ⁹ Цитата из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Могила».
- ¹⁰ См. письмо 174 и примеч. 5 к нему.
- ¹¹ Гёте сравнивал мужа с кораблем в стихотворении «Морское плавание» (1776 г.).
- ¹² Белинский имеет в виду себя, М. А. Бакунина, В. П. Боткина, И. П. Ключникова. См. об их кружке в ИАН, письма 66, 70, 107 и 124.

1874 2

188. И. И. ХАНАНЕНКЕ

Печатается по тексту первой публикации в «Русском архиве» 1876, № 7, стр. 359—360 («Письмо Белинского к приятелю его И. И. Х.»).

Ханенко Иван Иванович — приятель Белинского, богатый помещик, в 1846—1847 гг. почетный смотритель уездного училища в Киевском учебном округе. См. о нем письмо 186.

Ответное письмо см. в БКр, стр. 279—281.

- ¹ Это письмо не сохранилось.
- ² Ханенко лично знал Ф. Н. Глинку и высоко ценил его как поэта, что вызывало насмешки Белинского. Об отношении Белинского в эту пору к Ф. Н. Глинке см. письмо 183 и примеч. 2 к нему.
- ³ В Москве Белинский был в конце декабря 1841 — начале января 1842 г.
- ⁴ Неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (ред. 1836 г.; д. V, явл. 8).
- ⁵ Цитата из послания Пушкина «Чаадаеву».
- ⁶ Ханенко ответил Белинскому: «...четвертый том прибавления к сочинениям Шиллера должны прислать к тебе на квартиру из немецкой книжной лавки» (речь идет об издании «Supplement zu Schillers Werke» 1840—1841 гг.).
- ⁷ Лицо неизвестное.
- ⁸ Имеется в виду попытка полковника Денисова, начальника художественных заведений Главного управления путей сообщения и публичных зданий, определить Белинского на государственную службу как преподавателя русского языка в художественных мастерских (см. «Исторический вестник» 1911, № 10, стр. 229—231). Дело это началось в конце мая 1841 г., а 30 сентября Белинский получил назад свои документы ввиду отказа Главного управления путей сообщения утвердить его в должности без свидетельства о происхождении.

- ⁹ Ханенко ответил согласием на эту просьбу Белинского.
- ¹⁰ См. ИАН, т. XI, письмо 84 и примеч. 2 к нему.
- ¹¹ Лицо неустановленное. Возможно — К. А. Булгаков (см. письмо 215).
- ¹² Комаров Александр Сергеевич (1814—1862) окончил Петербургский университет со степенью кандидата, затем — Институт путей сообщения, где впоследствии был профессором. Белинский отзывался о нем очень пренебрежительно, называя его: «Комаришка», «капиташка», «дурак положительный» и «прегустейший человек» (см. письма 206, 215). О вечерах Комарова см. книгу А. И. Дельвига «Мои воспоминания», т. I. М., 1912, стр. 68—69, 151 и Панаева, стр. 260—262.
Вержбицкий Павел Викентьевич, майор корпуса горных инженеров. См. о нем письма 199, 230, 234, 236, 239.
О А. С. Комарове и П. В. Вержбицком см. также ЛН, т. 56, стр. 214.
- ¹³ Поэма Лермонтова «Демон», предназначавшаяся для «Отеч. записок», была запрещена цензурой. Сохранился корректурный оттиск этой поэмы. В 6-й книжке журнала за 1842 г. (стр. 187—201) появились только отрывки. О цензурной истории поэмы см. ЛН, т. 57, стр. 261—272.
- ¹⁴ Речь идет, вероятно, о материалах по истории Украины.

189. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, из собрания А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 622—625); полностью — в Письмах, т. II, стр. 279—282.

Письмо напечатано Лядким, как два самостоятельных документа (2-й отрывок начинается со слов: «Статьею о Майкове я сам доволен...», но, очевидно, это — фрагменты одного и того же письма; ср. обзор Ю. Г. Оксмана — ЛН, т. 56, стр. 214).

- ¹ Это письмо Боткина не сохранилось.
- ² А. Я. Кульчицкий.
- ³ Цитата из рассказа Гофмана «Крейслериана». См. подробнее ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 10 к нему.
- ⁴ Реплика Отелло из трагедии Шекспира в переделке Дюси (перевод Вельяминова). По тексту этого перевода зимой 1827 или 1828 г. Белинский с товарищами ставил трагедию на домашнем театре в Чембаре (см. воспоминания Д. П. Иванова. — «Письма», т. III, стр. 437).
- ⁵ Речь идет о памфлете Белинского «Педант. Литературный тип», изображающем Шевырева («Отеч. записки» 1842, № 3, отд. VIII, стр. 39—45; подпись: Петр Бульдогов; ИАН, т. VI, стр. 68—75). Поводом для этого памфлета явилась статья Шевырева «Взгляд на современное направление русской литературы» («Москвитянин» 1842, № 1, стр. I—XXXII).
- Предположение о принадлежности «Педанта» И. П. Ключникову Боткин высказал в письме к Краевскому от 14/III 1842 г. («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 45)
- ⁶ Пародия Н. А. Полевого «Рим» на «Стансы Риму» Шевырева была напечатана в «Моск. телеграфе» 1832, № 7, за подписью: Картофелин (см. ИАН, т. VI, стр. 718—720).
- ⁷ Статья Белинского «Стихотворения Аполлона Майкова. СПб. 1841» появилась в «Отеч. записках» 1842, № 3 (отд. V, стр. 1—16), без подписи. См. ИАН, т. VI, № 1.

- ⁸ Статья Белинского «Кузьма Петрович Мирошев. М. 1842» напечатана в «Отеч. записках» 1842, № 3 (отд. V, стр. 17—34), без подписи. Цензурную историю ее см. в ИАН, т. VI, стр. 712.
- ⁹ Стихотворения Огарева «Характер» и «Кабак» опубликованы в «Отеч. записках» 1842, № 2 (стр. 128; № 3, стр. 2). Стихотворение «Была пора...», вероятно, — «Обыкновенная повесть» («Была чудесная весна...»), напечатано в «Отеч. записках» 1843, № 1 (стр. 1—2).
«О раскаянии, как мучении слабых душ» — неточная цитата из стихотворения Огарева «Характер».
- ¹⁰ Повесть Е. А. Ган (З. Р—вой) «Напрасный дар» была опубликована в «Отеч. записках» 1842, № 3 (стр. 3—65). В обзоре «Русская литература в 1842 году» Белинский охарактеризовал «Напрасный дар» как рассказ, «сверкающий искрами высокого таланта» (ИАН, т. VI, стр. 537).
- ¹¹ Перевод А. Н. Струговщикова из Гёте «Границы человечества» был напечатан в «Отеч. записках» 1842 (№ 1, отд. I, стр. 125).
- ¹² Клавиво — герой одноименной драмы Гёте. На русском языке она вышла отдельным изданием в 1840 г. в переводе А. Н. Струговщикова.
- ¹³ Немецкое *Sehnsucht* — тоска.
- ¹⁴ Это письмо неизвестно.
- ¹⁵ См. письмо 171 и примеч. 32 к нему.
- ¹⁶ В «Отеч. записках» 1841—1842 гг. печаталась серия статей И. В. Сабурова (1788—1883) — «Записки пензенского земледельца о теории и практике сельского хозяйства» и др.
Высокую оценку статьям Сабурова дал Кольцов в письме к Белинскому от 27/II 1842 г. (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 272).
- ¹⁷ Т. Н. Грановскому, Д. Л. Крюкову и П. Г. Редкину.
- ¹⁸ Верне Орас (1789—1863), французский художник-баталист.
- ¹⁹ Статья Белинского «Руководство к всеобщей истории. Соч. Фридриха Лоренца. Ч. I. СПб. 1841» была напечатана в «Отеч. записках» 1842 г. (№ 4, отд. V, стр. 35—45) без подписи.
- ²⁰ Цитата из стихотворения Лермонтова «Памяти А. И. Од(оевско)го».

190. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, из собрания А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 625—627); дополнено Е. А. Ляцким (стр. 625—626); полностью — в Письмах, т. II, стр. 284—287.

- ¹ См. письмо 189 и примеч. 19 к нему.
- ² См. письмо 169, примеч. 39 и письмо 179, примеч. 13.
- ³ Цитата из «Демона» (ред. 1838 г.).
- ⁴ Оценка «Демона» и «Боярина Орши», выраженная в этом письме, близка характеристике этих произведений в его рецензии «Стихотворения М. Лермонтова», помещенной в «Отеч. записках» 1843, № 1 (см. ИАН, т. VI, стр. 548).
Белинский цитирует не стихотворение «Договор», а конец послания к Е. П. Ростопчиной («Я знаю под одной звездкою...»).
- ⁵ Белинский говорит о своем чувстве к М. В. Орловой.

- ⁶ А. А. и Т. А. Бакунины. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 75.
- ⁷ Очевидно, Григорьев 1-й, Петр Иванович, артист Александринского театра. См. ИАН, т. XI, письмо 159 и примеч. 6 к нему.
- ⁸ Цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя.
- ⁹ А. И. Клыков. См. письмо 169 и примеч. 17 к нему.
- ¹⁰ Во время проезда через Новгород около 25—26 декабря 1841 г. Белинский навещал Герцена, только что похоронившего новорожденную дочь Наталью (ум. 24 декабря 1841 г.). В Москве Белинский попал на похороны А. М. Щепкиной. См. письмо 195.
- ¹¹ Один из младших братьев Боткина поехал в Китай по делам их чайной торговли.
Кон-фу-дзы — Конфуций (551—479 до н. э.), древнекитайский философ.
- ¹² См. примеч. 6 к письму 172.
- ¹³ Белинский имеет в виду посылку «Демона» М. В. Орловой. См. письмо 193 и примеч. 1 к нему.
- ¹⁴ См. письмо 171 и примеч. 32 к нему.
- ¹⁵ Речь идет о письме Кольцова к Белинскому от 27/II 1842 г. (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 270—274).

191. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 288.

Настоящее письмо является ответом на письмо Иванова от 20/I 1842 г. (ЛН, т. 57, стр. 224), в котором тот рекомендует Белинскому А. Н. Щетинина (мужа Н. Н. Владыкиной) и просит принять участие в воспитании его племянников.

- ¹ Речь идет о портрете Лермонтова работы К. А. Горбунова (1841 г.). Литографическое воспроизведение его было приложено к первой части «Стихотворений М. Лермонтова» 1842 г.
- ² В ответном письме (от 8/VI 1842 г.) Д. П. Иванов сообщает о получении им у чиновника Антонова метрики Н. Г. Белинского.
- ³ Зинаида, Леонид и Алексей — дети Д. П. и Л. Я. Ивановых.

192. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 631—632, 639); дополнено Е. А. Ляцким (стр. 626); Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 61, 70, 111); полностью — в Письмах, т. II, стр. 289—293.

Настоящее письмо является ответом на два письма Боткина. Первое — не сохранившееся и второе от 22—23/III 1842 г. (Письма, т. II, стр. 416—422).

- ¹ Боткин сообщил Белинскому о бешенстве Шевырева, вызванном появлением «Педанта», и о его намерении жаловаться высшему начальству (Письма, т. II, стр. 422). О шуме, произведенном «Педантом», и реакции на него партии «Москвитянина» сообщал Краевскому А. Д. Галахов

в письме от 13/III 1842 г. (см. «Венок Белинскому». М., 1924, стр. 143 и ЛН, т. 56, стр. 165).

См. также письмо 189, примеч. 5 к нему и письма Боткина к Краевскому от 14 и 16/III 1842 г. («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 43—44, 46).

- ² Неточная цитата из пасхальной молитвы «Христос воскрес...».
- ³ См. примеч. 5 к письму 174.
- ⁴ См. письмо 189 и примеч. 3 к нему.
- ⁵ Карточные термины.
- ⁶ Очевидно, квартирная хозяйка Белинского.
- ⁷ Перефразировка из «Песни про царя Ивана Васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова» Лермонтова
- ⁸ Владелец гастрономического магазина в Петербурге.
- ⁹ Кречетов Василий Иванович, наставник И. И. Панаева, учитель русской словесности М. И. Глинки, А. И. Подолинского, Н. М. Языкова. См. о нем — Панаев (по указателю). — Кульчик — А. Я. Кульчицкий.
- ¹⁰ Письмо Белинского к Кольцову не сохранилось. — На приглашение Белинского Кольцов ответил в своем предсмертном письме (от мая 1842 г.), что оно «совершенно воскрешает» его душу (Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 208).
- ¹¹ См. письмо 189 и примеч. 19 к нему.
- ¹² Осуждая Белинского за «неуважение» к Державину, Гоголь имел в виду статью «Русская литература в 1841 году», в которой критик, отдавая должное поэтическому мастерству Державина, называл, однако, его творчество бесплодным и бессодержательным (см. ИАН, т. V, стр. 528—552).
- ¹³ Повесть Гоголя «Рим. Отрывок» была опубликована в «Москвитяине» 1842 г. (№ 3, стр. 22—67). В ней автор дал отрицательную характеристику французского народа (см. Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. III, 1938, стр. 228—229).
- ¹⁴ Рукопись «Мертвых душ» Гоголь долго не получал, видимо, по недосмотру Погодина. См. письмо 198 и примеч. 10 к нему.
- ¹⁵ Речь идет о М. В. Орловой, которой Белинский посылал копию «Демона». См. письмо 193 и примеч. 1 к нему.
- ¹⁶ Рецензия Боткина «История древней философии Карла Зедергольма М. 1842» появилась в № 3 «Отеч. записок» 1842 г. (отд. VI, стр. 4—6). В письме к Краевскому от 9/II 1842 г. Боткин писал, посылая рецензию, что он был очень стеснен в ней, так как Зедергольм «беспрепятственно говорит о человечестве, как о роде падшем, ну и подобные библейские штуки. Может быть, вы найдете, что рецензия написана слишком философским языком. Что делать: надо было как-нибудь изворачиваться; эти же самые мысли, написанные литературным языком, цензура не пропустит» («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 37—38).
- ¹⁷ См. письмо 189 и примеч. 5 к нему.
- ¹⁸ Это письмо Белинского разошлось с письмом к нему Боткина от 27/III 1842 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 180—181).
- ¹⁹ А. А. и Т. А. Бакуйины. Письмо А. А. Бакуиной к Белинскому не сохранилось.

Печатается по тексту первой публикации Г. А. Джаншиева в сб. «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 440—441. Там же — факсимильное воспроизведение 1-й страницы письма. Автограф неизвестен. В письме явная описка — 4 марта вместо 4 апреля.

Орлова Мария Васильевна (1812—1890) — дочь священника с. Городищ Клинской округи В. В. Орлова; с 12 ноября 1843 г. — жена Белинского. Орлова училась в Московском Александровском институте, где по окончании была пешиньеркой, потом — гувернанткой в семье племянницы И. И. Лажечникова; в 1835—1843 гг. — классная дама Александровского института.

Белинский познакомился с Орловой еще в 1835 г. у Петровых (см. о них ИАН, т. XI, письмо 7, примеч. 7 и письмо 39, примеч. 3), но обратил на нее внимание только во время поездки в Москву в начале января 1842 г. Сближение между ними произошло в следующий приезд Белинского в Москву в июне — августе 1843 г. (см. далее письма 227—247).

О М. В. Белинской см.: сб. «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 447—449; ЛН, т. 56, стр. 174; т. 57, стр. 319—326; сб. «Звенья», I, 1932, стр. 188—191.

Письма Орловой к Белинскому не сохранились.

¹ Полный текст поэмы, переписанный Белинским для М. В. Орловой, хранится в ЛБ (см. ЛН, т. 57, стр. 261—272). О запрещении поэмы в печати см. примеч. 13 к письму 188.

В письме от 22/IV 1842 г. Боткин сообщил Белинскому, что М. В. Орлова произвела на него положительное впечатление («Помощь голодающим». М., 1892, стр. 443—445).

194. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 632—633); полностью — в Письмах, т. II, стр. 293—295.

¹ Дочь М. С. Щеткина.

² Копия «Демона» для М. В. Орловой. См. письмо 193.

³ Речь идет о письме М. Н. Каткова к Краевскому из Берлина от 30/III 1842 г. (см. С. Неведенский. Катков и его время. СПб., 1888, стр. 88—90 и ЛН, т. 56, стр. 76). Белинский на него ответил письмом 195.

⁴ См. письмо 189 и примеч. 10 к нему.

⁵ Фамилия ростовщика в первой редакции «Портрета», напечатанной в «Арабесках» Гоголя.

⁶ Имеется в виду «Месяц в Риме» — дневник, опубликованный в «Москвитянине» 1842 г. (№ 2, стр. 360—410).

⁷ Письмо от 22—23/III 1842 г. (см. Письма, т. II, стр. 416—422).^{*} Боткин в нем пишет об образе демона: «В молодости он тоже на мгновение являлся Пушкину, — но кроткая, нежная, святая душа Пушкина трепетала этого страшного духа, и он с тоскою говорил о печальных встречах с ним. Лермонтов смело взглянул ему прямо в глаза, сдружился с ним и сделал его царем своей фантазии».

⁸ Цитата из стихотворения Пушкина «Демон» (1823 г.).

⁹ См. ИАН, т. VII, стр. 37 и 688—689.

¹⁰ Восточная цитата из «Евгения Онегина» (гл. 1, строфа V).

¹¹ См. письмо 192 и примеч. 13 к нему.

195. М. Н. КАТКОВУ и А. П. ЕФРЕМОВУ

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые опубликовано К. Н. Григорьяном и Н. П. Мордовченко в ЛН, т. 56, 1950, стр. 74—76.

¹ О письме Каткова см. письмо 194 и примеч. 3 к нему.

Катков откликнулся на это письмо Белинского строками в письме к Краевскому от 29/VI 1842 г.: «...маленькое и очень миленькое рассужденьице на тему: все люди смертны, мы — люди, ergo мы смертны» (С. Н е в е д е н с к и й. Катков и его время. СПб., 1888, стр. 90).

² См. ИАН, т. XI, письмо 60 и примеч. 7 к нему.

³ К увлечению Каткова немецкой идеалистической философией, в частности реакционной «философией откровения» Шеллинга, Белинский относился отрицательно. См. письма 199, 204.

⁴ Сестра Бакуниных.

⁵ См. ИАН, т. XI, письмо 126 и примеч. 7 к нему.

196. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (с обращение К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые опубликовано в Письмах, т. II, стр. 295.

¹ Анна Яковлевна Краевская, рожд. Брянская (1817—1842), сестра А. Я. Панаевой, в прошлом актриса.

² Варвара Николаевна фон дер Пален, содержательница пансиона для благородных девиц в Москве.

Слух о смертельной болезни Т. А. Бакуниной оказался ложным.

197. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 633—634; дополнено Н. А. Котляревским (стр. 433; с неверной датой: «12 апреля 1843 г.») и Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 64, 79, 88); полностью — в Письмах, т. II, стр. 296—302.

¹ У Краевского умерла жена (см. письмо 196). Это письмо разошлось с письмом Боткина, в котором он спрашивал о состоянии Краевского (от 18/IV 1842 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 181).

² Перефразировка из монолога Вальсингама из «Пира во время чумы» Пушкина.

³ Об отклике Белинского на смерть Н. В. Станкевича см. ИАН, т. XI, письмо 154.

⁴ Мать Белинского умерла 29 августа 1834 г.

⁵ См. письмо 190 и примеч. 10 к нему.

⁶ О похоронах А. М. Щепкиной см. письмо 195.

⁷ См. письмо 196 и примеч. 3 к нему.

⁸ Е. Я. Брянская, сестра А. Я. Краевской и А. Я. Панаевой.

⁹ Письмо к Боткину 196.— Записка Белинского к К. А. Горбунову не сохранилась.

¹⁰ Леру Пьер (1797—1871), французский социалист-утопист, ученик и продолжатель Сен-Симона, основатель и один из редакторов «Revue indépendante» (с 1841 г.). Произведения Леру проникли в Россию в начале 30-х годов. Об увлечении ими членов кружка Герцена и Огарева, а с начала 40-х годов и окружения Белинского см. письмо 206 и примеч. 9 к нему, а также воспоминания П. И. Панаева (стр. 242) и его письмо к Герцену и Огареву от 24/XI 1843 г. (РМ 1892, № 7, стр. 97).

Впоследствии Белинский отошел от французских утопистов, в том числе и от Леру (см. письмо 289).

¹¹ Копия «Демона» для М. В. Орловой. См. письмо 193 и примеч. 1 к нему.

¹² О П. Г. Редкине см. ИАН, т. XI, письмо 126, примеч. 27. Статья его в «Отеч. записках» не появилась.

¹³ См. письмо 194 и примеч. 3 к нему.

198. М. С. ЩЕПКИНУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 302—305.

¹ Белинский имеет в виду недавнюю смерть дочери Щепкина — А. М. Щепкиной.

² Брянский Яков Григорьевич (1791—1853), известный драматический актер, отец А. Я. Краевской и А. Я. Панаевой. См. о нем Панаев, стр. 56—59.

А. М. Степанова (1798—1878), драматическая актриса, жена Я. Г. Брянского.

⁴ Этот эпизод неизвестен.

⁵ Повесть Н. В. Кукольника «Сержант Иван Иванович Иванов», появившаяся в изд. Смирдина «Сказка за сказкой», т. I. СПб., 1841, вызвала неудовольствие Николая I. 6 января 1842 г. Бенкендорф писал автору, что его рассказ «обратил на себя внимание публики желанием ... высказать дурную сторону русского дворянина и хорошую — его дворового человека». Письмо заканчивалось «предложением» Кукольнику «воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства» (М. К. Л е м к е. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, стр. 133—134).

⁶ Антикрепостническая повесть П. И. Панаева, напечатанная в № 1 «Отеч. записок» 1842 г. (отд. I, стр. 1—415).

⁷ А. П. Башуцкий в первой «тетради» своих очерков «Наши, списанные с натуры русскими» поместил статью «Водовоз», в которой имеются такие строки: «...народ наш терпит притеснения, и добродетель его состоит в том, что он не шевелится». Слова эти вызвали негодование в охранительных кругах. Начальник III отделения сделал автору выговор за «восстановление низших классов против высших». Дело было замято благодаря служебному положению Башуцкого (М. К. Л е м к е. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг., стр. 134).— О личном знакомстве Белинского с А. П. Башуцким см. Панаев, стр. 259—260.

Речь идет о статье Белинского «Русская литература в 1841 году» («Отеч. записки» 1842, № 1, отд. V, стр. 1—52; без подписи; ИАН, т. V, № 59).

⁹ С. П. Шевырев в рецензии на Сборник «Сказка за сказкой» высмеивал повесть Кукольника и возмущался изображением в ней Петра I («Москвитянин» 1841, № 12, стр. 425—427; подпись: С. Ш.).

Говоря о «доносе» Булгарина на Башуцкого, Белинский имел в виду рассказ первого «Водонос». См. ИАН, т. V, стр. 847—848.

¹⁰ В начале января 1842 г. Белинский привез рукопись «Мертвых душ» в Петербург для подачи ее в Цензурный комитет. 9 марта «Мертвые души» были разрешены к печати.— Рукопись дошла благополучно до Гоголя в Москву (см. письмо 199).

Холопским журналом Белинский называл «Москвитянин».

¹¹ Речь идет о памфлете «Педант» (см. письмо 189 и примеч. 5 к нему). В образе «Циника-литератора» Белинский хотел высмеять Погодина.

¹² Ф. Н. Глинка в это время являлся постоянным сотрудником «Москвитянина». Об отношении Белинского к поэзии Глинки см. письмо 188 и примеч. 2 к нему.

¹³ См. письмо 194 и примеч. 5 к нему.

¹⁴ Елена Дмитриевна Щепкина (1789—1859) — жена актера; Елизавета Семеновна Богданова — его сестра; Фекла Михайловна — дочь Щепкина. О сыновьях, Дмитриии и Николае, см. ИАН, т. XI, письмо 107, примеч. 39 и н. т., письмо 278 и примеч. к нему.

Третий сын Щепкина — Петр (1824—1877), впоследствии чиновник. Его имя напоминало Белинскому князя Петра Михайловича Волконского (1776—1852) — министра императорского двора (1826—1852), человека близкого к Николаю I.

¹⁵ Лицо неустановленное.

¹⁶ Прозвище Н. Х. Кетчера.

199. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пышина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Начало письма не сохранилось. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 634—636); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 79); весь текст — в Письмах, т. II, стр. 305—307.

¹ Белинский приводит выдержку из речи Робеспьера на открытии культа Верховного существа 18 флореаля II года республики (18 апреля 1794 г.). В этой цитате речь идет о Жан Жаке Руссо. В рецензии «Робинзон Крузе... Соч. Кампе. СПб., 1842», написанной в то же время, Белинский назвал Руссо великим и гениальным писателем (см. ИАН, т. VI, стр. 197).

² На эти строки Белинского ответил вместо Боткина Грановский, который не согласившись с высокой оценкой исторической роли Робеспьера, пытался приписать последнему даже «мелкие личные побуждения» в его борьбе с внутренней и внешней контрреволюцией («Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 439—440). Между строк этого письма Грановского вписана была записка Герцена к Белинскому. Герцен, резко возражая Грановскому и полностью присоединяясь к мнению Белинского, назвал Робеспьера «истинно великим человеком революции» (ЛН, т. 56, стр. 80). Боткин солидаризировался с Белинским, ссылаясь на мнение «всех лучших умов во Франции, и Леру в особенности» (письмо его к Герцену от 28/V 1842 г.— Письма, т. II, стр. 425). Об увлечении Белинского в это время идеями французской рево-

- люции и об его восхищении монпаньярами вспоминал Панаев (стр. 242).
- ³ См. письмо 194 и примеч. 2 к нему.
- ⁴ Комбинированная цитата из стихотворения «Полусолдат» Д. В. Давыдова и «Евгения Онегина» Пушкина («Путешествие Онегина»).
- ⁵ Цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя.— Здесь Белинский намекает на свое увлечение М. В. Орловой.
- ⁶ И. П. Ключников.
- ⁷ Очевидно, письмо Боткина от 18/IV 1842 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 181).
- ⁸ Письмо 200.
- ⁹ См. письмо 204 и примеч. 3 к нему.
- ¹⁰ О Каткове см. письма 194, 195 и 197.
- ¹¹ Брат В. П. Боткина.
- ¹² Речь идет, очевидно, о предложении В. А. Косиковского. См. письмо 223 и примеч. 5 к нему.
- ¹³ Этот замысел Белинского не осуществился.
О Вержбицком см. примеч. 12 к письму 188.
- ¹⁴ Копия «Демона» для М. В. Орловой (см. письмо 193 и примеч. 1 к нему).
- ¹⁵ Драма «Ямщик, или Шалость гусарского офицера» («Отеч. записки» 1842, № 5, отд. III, стр. 3—30).
- ¹⁶ Белинский имеет в виду издававшуюся Ф. А. Кони с 1841 г. «Литер. газету».
- ¹⁷ Слухи о смерти А. И. Кровеберга и о безнадежном состоянии Т. А. Бакуниной и А. В. Станкевича оказались неверными.
- ¹⁸ «Дражайший» — отец В. П. Боткина.
- ¹⁹ Бартнев Иван Дмитриевич (1801—1879), инженер-штабс-капитан, впоследствии статский советник. Он был женат на Е. А. Гизетти, свояченице Н. С. Селивановского (см. о нем ИАН, т. XI, примеч. к письму 52), на вечерах которого, вероятно, и произошло его знакомство с Белинским и Боткиным. И. Д. Бартнев в начале 1820-х годов был близок с декабристом В. Ф. Раевским, а в начале 1840-х годов — с Герценом и Огаревым (см. п. т., письмо 218, а также «Ученые записки Ульяновского гос. пед. института», вып. V, 1953, стр. 463—469, 553; ЛН, т. 60, кн. 1, 1956, стр. 124, 133, 135, 142).
- ²⁰ Письмо А. Я. Кульчицкого к Боткину неизвестно.
- ²¹ Н. Г. Фролов, друг Н. В. Станкевича (см. о нем ИАН, т. XI, письмо 126, примеч. 4б). Биография Станкевича, написанная Фроловым, напечатана не была. Наборный экземпляр биографии с пометками цензора (1849 г.) сохранился в архиве Фролова (см. ЛН, т. 56, стр. 169).
- ²² О получении этого письма, так же как и о своем отъезде из Москвы в Петербург 1 мая, Боткин сообщил Белинскому в письме от конца апреля 1842 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 181—182).

200. Н. В. ГОГОЛЮ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано В. Шенроком в статье «Н. В. Гоголь в его неизданных письмах» (РС 1889, № 1, стр. 143—145).

Белинский лично познакомился с Гоголем в середине ноября 1839 г., во время пребывания последнего в Петербурге, вероятно, у С. Т. Аксакова (см. ИАН, т. XI, письмо 131).

Первую критическую сводку данных о взаимоотношениях Белинского и Гоголя см. в кн. С. Ашевского «Белинский в оценке его современников». СПб., 1911, стр. 144—160; дополнения — в сб. «Белинский — историк и теоретик литературы». М.—Л., 1949, стр. 272—322.

Из переписки Белинского с Гоголем сохранилось только два письма Белинского (см. ИАН, т. X, № 23) и два письма Гоголя от 8(20)/VI и 10/VIII 1847 г. (Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XIII, 1952, стр. 326—328, 360—361, 435—446).

¹ Гоголь был в Петербурге в начале октября 1841 г.— О рукописи «Мертвые души» см. примеч. 10 к письму 198.

² Снегирев Иван Михайлович (1793—1868), профессор Московского университета и член Московского цензурного комитета с 1828 по 1855 г. О его роли в цензурной истории «Мертвых душ» Гоголь рассказывает в письме к П. А. Плетневу от 7/I 1842 г. (Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XII, 1952, стр. 28—29).

³ Корсаков Петр Александрович (1790—1844), журналист консервативно-дворянского лагеря и переводчик, соиздатель «Маяка», цензор.

⁴ Говоря о судьбе, Белинский имеет в виду участь писателей в николаевской России. Об этом же впоследствии писал Герцен в работе «О развитии революционных идей в России» (1851 г.).

⁵ Имеются в виду Погодин и Шевырев.— Белинский говорит об их пресмыкательстве перед министром народного просвещения С. С. Уваровым, владельцем усадьбы «Поречье».

⁶ Об этом писалось в № 9 «Отеч. записок» 1841 г. (отд. VI, стр. 5) в кратком сообщении о выходе 2-го издания «Ревизора».

⁷ В 1842 г. Белинский неоднократно выступал в печати с информационными заметками о сочинениях Гоголя («Похождения Чичикова, или Мертвые души», «Несколько слов о поэме Гоголя: „Похождения Чичикова“...», «Библиографическое известие», «Литературный разговор, подслушанный в книжной лавке» — см. ИАН, т. VI) и полемизировал с К. С. Аксаковым по поводу разбора последним «Мертвых душ» (см. письмо 206 и примеч. 8 к нему), но планы большой статьи или даже серии статей о Гоголе остались неосуществленными.

⁸ Речь идет о статье Белинского «О русской повести и о повестях г. Гоголя („Арабески“ и „Миргород“)\», напечатанной в «Телескопе» 1835 г. В примечании к этой статье Белинский очень резко отозвался о статьях Гоголя, помещенных в «Арабесках» (см. ИАН, т. I, стр. 307; ср. его более поздний отзыв об «Арабесках» — ИАН, т. VI, стр. 579).

⁹ Белинский имеет в виду свою статью «Горе от ума», напечатанную в «Отеч. записках» 1840, № 1. В этой статье критик, подробно разбирая «Ревизора», доказывал, что подлинным героем произведения является городничий, а не Хлестаков, и попутно охарактеризовал повести «Тарас Бульба» и «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (см. ИАН, т. III, стр. 439—453).

¹⁰ См. письмо 197 (стр. 99).

¹¹ См. ИАН, т. VI, стр. 770—771; т. X, стр. 75.

¹² Слова, сказанные Пушкиным о Белинском, могли быть переданы последнему П. В. Нащокиным или М. С. Щепкиным. И тот и другой осенью

1836 г., по поручению Пушкина, вели переговоры с Белинским о его переходе в «Современник» (см. письмо Нащокина к Пушкину около 30/X 1836 г.— Полн. собр. соч. Пушкина. Изд. АН СССР, т. XVI, 1949, стр. 181; ЛН, т. 56, стр. 233—234). Оценка Белинского, данная Пушкиным в статье «Письмо к издателю» («Современник», 1836, т. III; за подписью: А. Б.) не могла быть известна критику, как пушкинская. Об отношении Пушкина к Белинскому см. также «Литер. воспоминания» П. В. Анненкова. Л., 1928, стр. 170.

¹³ См. письмо 192 и примеч. 13 к нему.

¹⁴ 11 мая 1842 г. Гоголь писал Н. Я. Прокоповичу: «Я получил письмо от Белин<ского>. Поблагодари его. Я не пишу к нему, потому что, как он сам знает, обо всем этом нужно потрактовать и поговорить лично, что мы и сделаем в нынешний проезд мой чрез Петербург» (Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XII, 1952, стр. 59). С 26 мая по 5 июня 1842 г., перед отъездом за границу, Гоголь был в Петербурге, тогда и произошла его последняя встреча с Белинским.

201. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Начало письма не сохранилось. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 636); весь текст (с цензурными пропусками) — в Письмах, т. II, стр. 310—311.

Датируется на основании содержания письма (пребывание Боткина в Павловске в мае — начале июля 1842 г. и выход в свет июльской книжки «Отеч. записок»).

¹ Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. IV, явл. 8).

² Немецкая брошюра, о которой говорит Белинский, неизвестна.

³ К. Ф. Липперт. См. письмо 179 и примеч. 21 к нему.

⁴ В. А. Соллогуб.

⁵ Поэма «Боярин Орша» Лермонтова была опубликована в июльской книжке «Отеч. записок» 1842 г. (отд. III, стр. 1—24). В заметке «Библиографические и журнальные известия» («Отеч. записки» 1843, № 4) Белинский назвал «Боярина Оршу» лучшей поэмой Лермонтова (см. ИАН, т. VII, стр. 37).

202. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Начало письма не сохранилось. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 637); весь текст — в Письмах, т. II, стр. 312.

Датируется на том же основании, что и письмо 201, с учетом данных о времени смерти Исаева (примеч. 5). Возможно, что настоящее письмо и письмо 201 — фрагменты одного письма, не дошедшего до нас в полном виде.

¹ Стихотворение «Петр Великий», появившееся за подписью «Л. П.» в «Отеч. записках» 1842 г. (№ 7, отд. III, стр. 152—154), приписывается Л. С. Пушкину (см. о нем обзор Ю. Г. Оксмана — ЛН, т. 56, стр. 221 и 247).

² Белинский имеет в виду следующие строки:

Таков был ум его глубокий.
Но что чудесней: ум в Петре
Иль гражданина дух высокий
В самовластительном царе?

И. С. Тургенев вспоминал: «Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта, „Петр Великий“ и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим — „Ряд изумленных поколений/Рукой могучей за собой“» («Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 361).

³ Перевод А. Н. Струговщикова из Гёте «Предание», как и стихотворение «Нетерпение», напечатаны в «Отеч. записках» 1842 г. (№ 7, отд. III, стр. 151, 157).

⁴ Речь идет об И. С. Тургеневе, подписывавшемся в то время в «Отеч. записках» — Т. Л. (по свидетельству А. Н. Пыпина, в автографе письма зачеркнуто: Тургенев ли).

«Завещание» — стихотворение Тургенева «Старый помещик», напечатанное в «Отеч. записках» 1841 г. (№ 9, отд. I, стр. 57); «Разбойничья песнь» — «Баллада» («Перед воеводой молча он стоит...») — там же (№ 12, отд. I, стр. 308—309).

⁵ О смерти Д. К. Исаева, свойственника Белинского (в марте 1842 г. в Чембаре, от чахотки), сообщил критику Д. П. Иванов (письмо от 8/VI 1842 г. — ЛН, т. 57, стр. 225).

203. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые (по копии из собрания А. Н. Пыпина) опубликовано в Письмах, т. II, стр. 312—315. Число «(7 или 6)» вписано, вероятно, Д. П. Ивановым.

¹ На поступление Н. Г. Белинского в военную службу Д. П. Иванов откликнулся в письме к Белинскому от 8/VI 1842 г. (ЛН, т. 57, стр. 224).

Первое письмо к Белинскому от брата из Тифлиса датировано 16/XI 1842 г. (ЛН, т. 57, стр. 227—228).

² Персонаж из драмы Шекспира «Буря», злой дикарь.

³ О хлопотах по делам братьев Белинских сообщали критику из Москвы Д. П. и П. П. Ивановы в письме от 13/XI 1842 г. (ЛН, т. 57, стр. 226—227).

⁴ Мать Д. П. Иванова. О получении ею книги упоминал П. П. Иванов в названном выше письме.

⁵ П. П. Иванов младший.

⁶ Бывшая квартирная хозяйка Белинского.

204. Н. А. БАКУНИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 643—644); дополнено В. А. Гольцевым («Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 год», стр. 282) и Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 58, 137); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 316—318.

¹ В. А. Дьякова вернулась из-за границы, где она жила с июня 1838 г.

² Белинский, очевидно, имеет в виду свое намерение жениться на М. В. Орловой.

³ Перемена отношения Белинского к Бакунину, несомненно, была вызвана появлением статьи Бакунина «*Reaktion in Deutschland*» («Реакция в Германии»), напечатанной в органе левых гегельянцев — «*Deutsche Jahrbücher für Wissenschaft und Kunst*». 1842, №№ 247—251, от 17—21/X; за подписью: Жюль Элизар.

Герцен в своем дневнике от 7/1 1842 г. писал о статье Бакунина: «...художественно-превосходная статья... Это громкий, открытый, торжественный возглас демократической партии, полный сил, твердый обладанием симпатии в настоящем и всего мира в будущем» (ПсСГ, т. III, стр. 88).

Письмо Белинского к Бакунину не сохранилось. Об ответе Бакунина см. письмо 210 и примеч. 7 к нему.

- 4 См. ИАН, т. XI, письмо 109 и примеч. 1 к нему.
- 5 О близких отношениях Бакунина с Арнольдом Руге в конце 1842 — начале 1843 г. см. письмо 210, примеч. 7 и письмо 215, примеч. 9, а также — Бакунин, т. III, страницы по указателю.
- 6 Белинский имеет, вероятно, в виду популяризацию Боткиным основных положений известной работы Энгельса «Шеллинг и откровение» (1842 г.). Эта работа была частично переведена, частично пересказана Боткиным (без указания источника) в предисловии к обзору «Германская литература в 1843 году» («Отеч. записки» 1843, № 1, отд. VII, стр. 1—15).
- 7 См. письмо 210 и примеч. 7 к нему.
- 8 Перевод романа Ж. Санд «Орас» был опубликован в августовской и сентябрьской книжках «Отеч. записок» 1842 г. (№ 7, отд. III, стр. 161—284; № 8, отд. III, стр. 45—173). На французском языке Белинский читал «Ораса» в журнале П. Леру «Revue Indépendante» 1842 г. (№№ 1—10).
- 9 В декабрьской книжке «Отеч. записок» 1842 г. была помещена повесть Ж. Санд «Мельхиор» (отд. III, стр. 273—299), а роман «Андрэ» появился в первой книжке журнала за 1843 г. (отд. I, стр. 72—312).
- 10 О «Боярине Орше» и «Демоне» см. письма 201, примеч. 5 и 188, примеч. 13.
- 11 Ф. К. Ржевский, младший брат В. К. Ржевского, родственник Бакуниных.

205. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые опубликовано в Письмах, т. II, стр. 315—316.

- 1 Боткин жил в Павловске с начала мая по начало июля, а затем в Петербурге до начала ноября 1842 г.
- 2 Персонаж из повести Гоголя «Нос».
- 3 Второй из братьев Боткиных. См. примеч. 6 к письму 179.
- 4 Третий из братьев Боткиных.
- 5 См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 16 к нему.
- 6 Милановский Константин Соломонович, товарищ Фета, Полонского и А. Григорьева по Московскому университету.

Кавелин впоследствии вспоминал: «С обыкновенным своим младенческим добродушием и доверчивостью Белинский всучил им <Н. Н. Тютчеву и А. Я. Кульчицкому> в сожители некоего Милановского, воспитанника Московского университета. Милановский, напомиравший лицом Каткова, подкупил Белинского либеральными фразами, но оказался проходимцем и эксплуататором чужих карманов... Белинский приходил в ужас от того, что пускался в либеральные откровенности с таким господином, трусил, что он на него и на весь

кружок донесет. Это не помешало ему выгнать Милановского из своей квартиры с скандалом» («Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 87). О Милановском см. ЛН, т. 56, стр. 216.

⁷ Письмо Белинского к М. С. Щепкину не сохранилось.

206. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 637, 645); дополнено Н. А. Котляревским (стр. 427); полностью — в Письмах, т. II, стр. 319—321.

¹ Кольцов умер 19 октября 1842 г. в Воронеже. Стихи «На смерть Кольцова», упоминаемые Белинским, неизвестны.

² Письмо, написанное А. А., Н. А. и Т. А. Бакуниными, не сохранилось.

³ О понимании Белинским формулы «прекрасная душа» см. ИАН, т. XI, письмо 70 и примеч. 9 к нему.

⁴ Неточная цитата из «Демона» Лермонтова.

⁵ Статья Белинского «Стихотворения Е. Баратынского» была напечатана в «Отеч. записках» 1842 г. (№ 12, отд. V, стр. 49—70; ИАН, т. VI, № 96). Отклик Боткина на эту статью в письме к Краевскому см. в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 50.

⁶ См. письмо 205.

⁷ Белинский имеет в виду письмо Боткина к Краевскому от середины ноября 1842 г. («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 48—49), в котором Боткин восторгается статьей Белинского и сообщает, что «Г<ерцен> не нахвалится ею».

⁸ Имеется в виду К. С. Аксаков и реакция москвичей на статью Белинского против К. С. Аксакова «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души“», напечатанную в № 11 «Отеч. записок» 1842 г. (ИАН, т. VI, № 88).

⁹ «Culte» — статья Пьера Леру, вошедшая в IV том «Encyclopédie nouvelle» (Paris, 1837), редактировавшейся П. Леру и Ж. Рейно. Этот том был строжайше запрещен в России (см. «Общий алфавитный список книгам на французском языке, запрещенным иностранною ценсурой с 1815 по 1853 г. включительно». СПб., 1855, стр. 108 и ЛН, т. 56, стр. 220, 246—247). О Леру см. письмо 197 и примеч. 10 к нему.

«Капиташка» — А. С. Комаров. См. письмо 188 и примеч. 12 к нему.

¹⁰ Комбинированная цитата из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» и из «Ревизора» Гоголя (д. V, явл. 8).

¹¹ Комедия Скриба «Faute de s'entendre», переведенная С. Соловьевым. О ее постановке см. «Литер. газету» 1842, № 46 от 22/XI, стр. 944—945.

¹² Цитата из трагедии А. Дюма-отца «Кин» (д. IV, явл. 8).

¹³ В начале октября 1842 г. Гоголь послал из Рима Н. Я. Прокоповичу в Петербург «Театральный разезд» (см. письмо его к Прокоповичу от 14(26)/XI 1842 г.— Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XII, 1952, стр. 118).

¹⁴ В статье «Похождения Чичикова, или Мертвые души. Поэма Гоголя» (РВ 1842, № 5 и 6, отд. III, стр. 33—57) Полевой утверждал, что в но-

вом произведении Гоголя поправы «добродетель, ум, честь», «забыты все общественные связи», «невежество и разврат тяготееют надо всем» (стр. 42—43), и обвинял писателя в «клевете на Россию».

Говоря о доносе Сенковского, Белинский имел в виду его резко отрицательный разбор «Мертвых душ» в «Библиотеке для чтения», протестовавший против «карикатурности» изображения Гоголем русских людей (1842, № 8, отд. VI, стр. 24—54; без подписи). Об этой статье негодуяще упоминал Чернышевский в «Очерках гоголевского периода русской литературы. Статья вторая».

¹⁵ Имеется в виду информационная заметка Ф. А. Кони, напечатанная в «Литер. газете» от 15/XI 1842 г., № 45, стр. 926, без подписи.

¹⁶ Комедия — «Женитьба» Гоголя. — В письме от 24/X 1842 г. Щепкин сообщал Гоголю, что Белинский подал в Цензурный комитет «Женитьбу» и просил дать ему также для бенефиса «Игроков» («М. С. Щепкин. Записки его, письма, рассказы». СПб., 1914, стр. 171). — О бенефисе Щепкина см. письмо 209 и примеч. 9 и 11 к нему, а о «Тяжбе» — письмо 256, примеч. 12.

¹⁷ «Женитьба» была впервые поставлена в Петербурге 9 декабря 1842 г. в бенефис И. И. Сосницкого (см. письмо 209, примеч. 9).

¹⁸ Белинский имеет в виду критическую статью Боткина «Выставка императорской Санкт-Петербургской Академии художеств в 1842 году» («Отеч. записки» 1842, № 11, отд. II, стр. 26—46; за подписью: В. Б.—н).

207. Н. А. БАКУНИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 644); дополнено В. А. Гольцевым («Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 г.», стр. 281—282) и Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 137); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 321—324.

¹ См. примеч. 2 к письму 174.

² Н. А. Бакунин 18 ноября 1842 г. был помолвлен с Анной Петровной Ушаковой, а венчался 10 октября 1843 г. (А. А. Корнилов. Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, стр. 222).

³ Из «Цыган» Пушкина.

⁴ См. письмо 206 и примеч. 2 к нему.

⁵ См. письмо 206 и примеч. 1 к нему.

⁶ Цитата из баллады В. А. Жуковского «Торжество победителей (из Шиллера)».

⁷ Наталья Андреевна и Александра Андреевна — сестры Беер. См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 25 к нему.

⁸ См. письма 204 и примеч. 3 к нему.

208. И. И. ПАНАЕВУ

Печатается по тексту первой публикации И. И. Панаева в «Воспоминании о Белинском» («Современник» 1860. № 1, отд. I, стр. 354—355). Автограф неизвестен.

¹ См. письма 204, примеч. 9, и 209.

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 2, стр. 639—641, 648—649); полностью — в Письмах, т. II, стр. 326—331.

- 1 Это письмо Боткина не сохранилось.
- 2 Иванов Андрей Иванович, книгопродавец, комиссионер и управляющий конторой «Отеч. записок», ведавший рассылкой журнала и специально обслуживавший иногородних подписчиков. См. о нем. ИАН, т. VI, стр. 451 и 760.
- 3 Белинский намекает на брошюру К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: „Похождения Чичикова, или Мертвые души“» (М., 1842), в которой Аксаков сравнивает поэму Гоголя с «Илиадой» Гомера.
- 4 Очевидно, Боткин сообщил Белинскому о возмущении славянофилов статьей критика «Объяснение на объяснение по поводу поэмы Гоголя „Мертвые души“», направленной против К. С. Аксакова («Отеч. записки» 1842, № 11, отд. VI, стр. 13—30; ИАН, т. VI, № 88).
«Стихи на Дмитриева» — ответ А. А. Фета, Я. П. Полонского и А. А. Григорьева на стихи М. А. Дмитриева «Безмянному критику», появившиеся в «Москвитянине» 1842, № 10 (стр. 281—284). Ответ этот полностью не сохранился, отдельные же его фрагменты с наибольшей полнотой напечатаны в журнале «Ленинград» 1940, № 21-22, стр. 34. Сам Дмитриев в письме к М. П. Погодину от 31/III 1842 г. сообщал, что его стихи вызваны памфлетом «Педант» (ЛН, т. 56, стр. 166).
Белинский и его друзья не без основания считали выпад Дмитриева полицейским доносом на критика. См. об этом заметку Белинского «Небольшой разговор между литератором и нелитератором о деле, не совсем литературном» (ИАН, т. VI, стр. 505—508).
- 5 В 12-й книжке «Отеч. записок» 1842 г. были напечатаны стихотворения Огарева («На севере туманном и печальном...»), Майкова («Тайна», «Любонька»), Фета («Посейдон»), перевод романа Ж. Санд «Мельхиор» и статья Белинского «Стихотворения Е. Баратынского» (см. ИАН, т. VI, № 96).
- 6 О впечатлении Белинского от «Мельхиора» см. также письма 204 и 208.
- 7 Историческая трагедия Бернарда фон Бескова; перевод со шведского В. Дерикера («Библ. для чтения» 1842, № 12, отд. II, стр. 107—218). В статье «Русская литература в 1842 году» Белинский охарактеризовал эту трагедию как «одно из прекраснейших, возвышеннейших и благороднейших созданий скандинавской музыки» (ИАН, т. VI, стр. 542).
- 8 Цитата из «Консуэло» Ж. Санд, гл. VI («La Revue indépendante», т. IV, от 1/VIII 1842, стр. 280).
- 9 Гоголь предоставил М. С. Щепкину и И. П. Сосницкому, при условии одновременных бенефисов в Петербурге и в Москве, первую постановку «Женитьбы».
- 10 Речь идет о картине Ф. А. Моллера «Невеста, задумавшаяся над обручальным кольцом» (1842 г.).
- 11 Комедия «Игроки» была послана Гоголем 29 августа 1842 г. из Гастейна в Петербург Н. Я. Прокоповичу; 5 февраля 1843 г. она была впервые поставлена в Большом театре в Москве в бенефис М. С. Щепкина.

Говоря о Гедеонове, Белинский имел в виду сына директора императорских театров Степана Александровича Гедеонова (1815—1878), окончившего в 1835 г., со степенью кандидата, Петербургский университет, будущего драматурга, директора Эрмитажа (с 1863 г.) и директора императорских театров (с 1867 г.).

¹² Белинский приводит строки из письма Гоголя к Н. Я. Прокоповичу от 14(26)/XI 1842 г. из Рима (Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XII, 1952, стр. 118).

¹³ Жени Фалькон (р. 1825) — актриса, приятельница А. Дюма-отца, дебютировавшая в Петербурге, в Михайловском театре, гражданская жена камергера Д. П. Нарышкина.

¹⁴ Имеется в виду «Поездка в Китай» Дэ-Мина — статьи, печатавшиеся в отделе «Смесь» журнала «Отеч. записки» 1841—1843 гг.

¹⁵ Цитата из «Записок сумасшедшего» Гоголя

¹⁶ Петербургский купец-миллионер.

¹⁷ См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 16 к нему

¹⁸ См. примеч. 6 к письму 205.

¹⁹ Вероятно, Белинский иронически называет так К. Д. Кавелина за его малый рост (см. ЛН, т. 56, стр. 216).

²⁰ Прозвище Т. Н. Грановского.

²¹ См. примеч. 32 к письму 171.

1843

210. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 551—552, 554, 556); дополнено Н. А. Котляревским (стр. 430), полностью — в Письмах, т. II, стр. 331—336.

¹ Имеется в виду статья «Русская литература в 1842 году». См. ИАН, т. VI, № 107 и примеч. к ней.

² Первая статья Белинского «Сочинения Державина» появилась в № 2 «Отеч. записок» 1843 г. (отд. V, стр. 27—46); вторая статья — в № 3 (отд. V, стр. 1—30); без подписи. См. ИАН, т. VI, № 121.

³ Цитата из стихотворения Пушкина «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»)

⁴ Псевдоним И. П. Кюшниковца. См. ИАН, т. XI, письмо 66 и примеч. 4 к нему.

⁵ Кредитор Белинского.

⁶ Речь идет об издании сочинений Гоголя в четырех томах, вышедшем в свет в конце января 1843 г. Белинский откликнулся на это издание рецензией («Отеч. записки» 1843, № 2, отд. VI, стр. 43—48; ИАН, т. VI, № 122).

⁷ Письмо М. А. Бакунина к Белинскому не сохранилось. О содержании его можно судить по словам М. Бакунина в письме к брату Павлу от 12/II 1843 г.: «Я, кажется, писал тебе, что я самым неожиданным образом получил письмо от Белинского и Боткина; я отвечал им и, позабыв все старое, с радостью подал им руку» (Бакунин, т. III, 1935, стр. 184).

Бакунин принужден был в первых числах января 1843 г. срочно выехать из Дрездена в Швейцарию (см. его письмо к брату Павлу от 2/I 1843 г.— Бакунин, т. III, 1935, стр. 172), так как приезд немецкого революционного поэта Георга Гервега к Арнольду Руге обратил внимание полиции на окружение последнего, после чего положение Бакунина стало небезопасным.

⁸ «Дилетантизм в науке. Статья первая» Герцепа была напечатана в № 1 «Отеч. записок» 1843 г. (отд. II, стр. 31—42) за подписью: И—р.

⁹ Письмо это не сохранилось.

¹⁰ Эпиграф, взятый Лермонтовым к стихотворению «Не верь, не верь себе, мечтатель молодой» — четверостишие из «Prologue» («Пролога»), которым открывался знаменитый сборник французского поэта-сатирика Огюста Барбье «Jambes» («Ямбы»). 1833 г.

¹¹ Отношение Белинского к А. С. Хомякову было неизменно отрицательным. В обзорах «Русская литература в 1841 году» и «Русская литература в 1844 году» Белинский характеризовал Хомякова как «неподвижного», «искусственного» и «поддельного» поэта (см. ИАН, т. V, стр. 561; т. VIII, стр. 463—474).

¹² В № 1 «Отеч. записок» 1843 г. была напечатана статья Боткина «Германская литература», посвященная разбору новинок — книги Ягемана «Немецкие города и немецкие люди» («Deutsche Städte und deutschen Männer... von Ludwig Jagemann». Leipzig, 1842) и драм Г. Кёстера (отд. VII, стр. 1—15; подпись: В. Б—н).— Статья в № 2 под тем же названием (отд. VII, стр. 35—50; подпись: В. Б - тк - н) — разбор главным образом труда Рётшера «О философии искусства» 1842 г. (анализ «Ромео и Джульетты» и «Венецианского купца» Шекспира).

¹³ Об отношении Белинского к Каткову после возвращения последнего из Берлина см. ИАН, т. XI, письма 124, 132.

¹⁴ Письма Бакуниных не сохранились.

¹⁵ Цитата из стихотворения Лермонтова «Еврейская мелодия (перевод из Байрона)».

¹⁶ «Роберт-Дьявол» — опера Д. Мейербера; «Волшебный стрелок» («Фрейшюц») — опера К. М. Ф. Вебера; «Жизель» — балет А. Я. Адана (1841).

¹⁷ «Руслан и Людмила» — опера М. И. Глинки.— Статья В. Ф. Одоевского «Записки для моего праправнука о литературе нашего времени и о прочем. (Письмо г. Бичева.— Руслан и Людмила, опера Глинки)» — восторженный отзыв об опере («Отеч. записки» 1843, № 2, отд. VIII, стр. 94—100; подпись: Плакун Горюнов).

¹⁸ Тютчев Николай Николаевич (1815—1878), приятель Белинского, окончил Дерптский университет со степенью кандидата, переводчик иностранных повестей для «Отеч. записок», автор воспоминаний о Белинском («Письма», т. III, стр. 444—451). Познакомился с Белинским у И. И. Панаева в середине 1842 г. Сохранилось только одно письмо Н. Н. Тютчева к Белинскому от 22/VI 1847 г. (БКр, стр. 278).

¹⁹ К. Д. Кавелин.

- ²⁰ Жена М. А. Языкова, Екатерина Александровна написала портрет умирающего Белинского (см. ЛН, т. 56, 1950, стр. 89).
- ²¹ Цитата из баллады В. А. Жуковского «Громобой».
- ²² Это письмо неизвестно.
- ²³ Под словом «модерация» (от франц. *modération* — умеренность) Белинский имел в виду политические позиции Грановского — его буржуазный либерализм, идеализм и неприятие социализма.
- ²⁴ Прозвище Н. Х. Кетчера.
- ²⁵ Статья «Философия анатомии» (отд. II, стр. 68—90).

211. А. А., В. А., Н. А. и Т. А. БАКУНИНЫМ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано В. А. Гольцевым («Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 г.», стр. 282); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 337—344.

- ¹ См. примеч. 2 к письму 174.
- ² Письма А. А. и Т. А. Бакуниных к Белинскому не сохранились.
- ³ Белинский заезжал в Премухино по пути из Петербурга в Москву в конце декабря 1841 г.
- ⁴ Письмо Белинского к М. А. Бакунину не сохранилось.
- ⁵ Романы Ж. Санд. См. о них письма 204, 212, 234.
- ⁶ Письмо 210.
- ⁷ Цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа» (1798 г.).
- ⁸ Сын В. А. Дьяковой, Сапа (р. в 1835 г.), ездивший с ней за границу. О грамматике Белинского см. ИАН, т. XI, письма 60, 61, 63—66, 72.
- ¹⁰ Белинский имеет в виду издание Поля Лакруа: «*Galerie des femmes de George Sand. Collection de 24 magnifiques portraits grav. sur acier par H. Robinson d'après les tableaux de Madame Geefs, M. M. Charpentier, Lepaulle, Gros-Claude, Giraldon, Lepoitevin, Biard, etc. avec un texte par le bibliophile Jacob*». Bruxelles, 1843.
О выходе «Галереи женщин Жоржа Занда», изд. А. Семена (в 24 тетрадях) была информация в «Отеч. записках» 1843 г. (№ 1, отд. VI, стр. 37—38).
Женевьева — героиня романа «Андрэ»; Полина — одноименного романа; Марта — «Ораса».
- Н. Н. Тютчев вспоминает, что в гостиной Белинского висела «группа литографий, изображавших женские типы из романов Жоржа Санда» («Письма», т. III, стр. 446).
- ¹¹ Это письмо не сохранилось.
- ¹² П. А. Бакунин.
- ¹³ Речь, очевидно, идет об отношениях между Боткиным и А. А. Бакуниной. См. ИАН, т. XI, письма 93, 99, 112.
- ¹⁴ Перефразировка из басни И. А. Крылова «Лисица и виноград».
- ¹⁵ Зиновьев Петр Васильевич (1812—1863), приятель И. С. Тургенева. Белинского познакомил с Зиновьевым Герцен, приславший с ним письмо из Новгорода от 26/XI 1841 г. со следующей рекомендацией: «...он

«Зиновьев» может Вам сообщить об Европе свежего, ибо недавно во-
ротился» (ПссГ, т. II, стр. 469).

¹⁶ О Тургеневе см. примеч. к письму 217.

212. А. А., Н. А. и Т. А. БАКУНИНЫМ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 558—561); дополнено В. А. Гольцевым («Сборник Общества любителей российской словесности на 1891 г.», стр. 282); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. II, стр. 345—353.

¹ Ответ А. А. и Т. А. Бакуниных на письмо Белинского от 23/II 1843 г. (№ 211) не сохранился.

² Это письмо неизвестно.

³ О несправедливом отношении Н. А. Бакунина к Боткину и о реакции на это Белинского см. письмо 211 (стр. 137—138).

⁴ Строки из последней сцены «Эгмонта» Гёте (д. V, «Тюрьма»), проиически процитированные Гофманом в начале I главы повести «Кот Мурр» (Перевод Н. Х. Кетчера. СПб., 1840, ч. I, стр. 1). — Об «Эгмонте» см. также ИАН, т. XI, письмо 156, примеч. 4 к нему и н. т., письмо 171.

⁵ Статья, посвященная роману молодого Гёте (1774 г.) с франкфуртской красавицей-аристократкой Лили Шёнemann по книге «Goethes Briefe an der Gräfin Augusta zu Stolberg». Stuttgart, s. a. («Письма Гёте к графине Августе Штольберг»). В своей любви к Лили Гёте исповедовался незнакомой ему девушке, сестре друзей, Августе Штольберг. Против возможного брака поэта встали его родные («Отеч. записки» 1843, № 2, отд. II, стр. 44—67).

⁶ Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «К портрету Гёте».

⁷ Неточная цитата из «Мертвых душ» Гоголя (т. I, гл. II).

⁸ Цитата из стихотворения Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку пожать...».

⁹ Герой романа Ж. Санд «Орас» (перевод был опубликован в «Отеч. записках» 1842, №№ 7 и 8), один из активных участников парижского восстания в июне 1832 г., погибший на баррикадах. Об этом романе см. письма 204, 211, 234.

¹⁰ См. примеч. 10 к письму 211.

213. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 561—562); полностью — в Письмах, т. II, стр. 353—355.

¹ Письмо 210. Боткин получил его — см. письмо 215.

² Речь идет, очевидно, о письмах сестер Бакуниных.

³ Имеется в виду М. Н. Катков. См. ИАН, т. XI, письмо 132 и н. т., письмо 210.

⁴ Речь идет о второй статье Герцена «Дилетантизм в науке» с подзаголовком «Дилетанты-романтики», напечатанной в № 3 «Отеч. записок» 1843 г. (отд. II, стр. 27—40) за подписью: И—р.

Это письмо не сохранилось.

- ⁶ Рульяр Арманс Александровна, молоденькая швея, французка. Увлечению Боткина Арманс и их непродолжительному браку посвящена особая глава в «Былом и думах», озаглавленная «Эпизод из 1844 года» (ИсГ, т. XIII, стр. 234—241). См. также письма Боткина к Белинскому («Литер. мысль», II, 1923, стр. 183—187) и н. т., письма 215, 216, 219, 227, 231, 233, 238.
- ⁷ Речь идет о стихотворениях Лермонтова, переписанных Головачевым из тетради полковника Челищева, встречавшегося с поэтом на Кавказе. Эти копии Боткин получил от Головачева и переслал Краевскому для «Отеч. записок» (см. письмо Боткина к Краевскому от 25/II 1843 г.— «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 6). Краевский постепенно публиковал стихотворения в своем журнале за 1843 г. (№№ 3—6, 11 и 12; «Сон», «Тамара», «Утес», «Морская царевна», «Из-под таинственной, холодной полумаски...», «Дубовый листок», «Нет, не тебя так пылко я люблю...», «Не плачь, не плачь, мое дитя...», «Посвящение „Демона“, «Незабудка», «Когда я унесу в чужбину...» и др.).

214. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 355.

- ¹ О получении документов, дающих право на включение в дворянскую книгу Пензенской губ., Белинский просил похлопотать П. П. Иванова еще в письме от 6—7/XI 1842 г. (№ 203). См. также письмо 232.

215. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 562—564, 566—567); дополнено Н. А. Котляревским (стр. 427, 435) и Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 40, 70); полностью — в Письмах, т. II, стр. 355—361.

- ¹ Речь идет о письме 210.
- ² Приложением являлось, очевидно, письмо сестер Бакуниных, на которое Белинский ответил 8/III 1843 г. (№ 212).
- ³ См. примеч. 15 к письму 211.
- ⁴ О семейной истории В. А. Дьяковой см. ИАН, т. XI, письма 66, примеч. 17 и 77, примеч. 1. В конце июня 1842 г. она вернулась из-за границы в Премухино, а в конце августа переехала к мужу в с. Ивановское (А. А. Корнилов. Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, стр. 146, 267).
- О своих материальных затруднениях Бакунин неоднократно писал родным в это время. В письме к брату Павлу от 10/V 1843 г. он сообщал, что получил от отца 1800 руб., а ему нужно не менее 16 тысяч (Бакунин, т. III, стр. 172, 182, 205, 206, 208—209).

- ⁵ Белинский имеет в виду чувство Боткина к Арманс (см. письмо 213).

⁶ Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Оправдание».

- ⁷ Жена Гердена. См. письма 179, 241.

- ⁸ См. примеч. 2 к письму 210.

⁰ П. Р.— вероятно, Арнольд Руге, на счет которого Бакунин, действительно, жил в это время. О долгах Бакунина Руге см. его письмо к брату Павлу от 10/V 1843 г. и резкое письмо самого Руге к Бакунину с требованием возвращения денег (Бакунин, т. III, стр. 208—211). Очевидно, слушая рассказы Тургенева о жизни в Берлине, Белинский не запомнил имени Руге (Арнольд) и ошибочно обозначил его «П. Р.»; возможна здесь также ошибка Пышина, копировавшего письмо Белинского.

Предположение В. Л. Комаровича, что «П. Р.» — Пьер Леру, называемый в кругу Белинского «Петр Рыжий» («Венок Белинскому». М., 1924, стр. 264), совершенно не обосновано, ибо никаких личных отношений у Бакунина с Леру в то время не было.

¹⁰ Речь идет о записке Боткина к Белинскому об его увлечении Арманс (от конца марта 1843 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 183).

¹¹ Персонаж повести Гоголя «Записки сумасшедшего».

¹² Белинский имеет в виду реплику «Господина В.» из «Театрального разезда» Гоголя («...это уже некоторым образом наши общественные раны, которые нужно скрывать, а не показывать»). «Театральный разезд» был опубликован в IV томе «Сочинений Гоголя» 1842 г.

¹³ Речь идет о статье Боткина «Германская литература», в которой разбирается книга Карла Гутцова «Письма из Парижа» («Briefe aus Paris, von Karl Gutzkow»). Лейпциг, 1842. В своей книге Гутцов уделяет большое внимание Жорж Санд, сообщает о своем решении не посещать ее, чтобы не оскорбить навязчивым любопытством, но всё-таки попадает к ней и ведет пустейший разговор («Отеч. записки» 1843, № 4, отд. VII, стр. 35—64; без подписи).

¹⁴ А. С. Комаров. См. примеч. 12 к письму 188.

¹⁵ О М. А. Языкове см. ИАН, т. XI, письмо 147.

¹⁶ Булгаков Константин Александрович (1812—1862), сын московского почт-директора, гвардейский офицер, славившийся своим остроумием; по характеристике В. А. Соллогуба, «гениальный повеса, прошутивший блистательные способности» (В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.—Л., 1930, стр. 202). См. о нем в воспоминаниях А. Я. Панаевой и Н. И. Панаева.

¹⁷ О В. И. Кречетове см. письмо 192 и примеч. 9 к нему.— О болезни и выздоровлении Кречетова вспоминает Панаев (стр. 246—247). Впоследствии Панаев хлопотал о материальной помощи Кречетову (см. его письмо к В. Ф. Одоевскому от 21/IV 1846 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 193).

¹⁸ Книга Луи Блана «История десяти лет» («Histoire de dix ans»), изданная в 1841—1844 гг., была воспринята современниками как обвинительный акт против Июльской монархии и диктатуры буржуазии во Франции. Она вызвала большой интерес в кругу Белинского (см., например, дневник Герцена от лета 1843 г.— ПесГ, т. III, стр. 113—114 и 117—118) и оказала некоторое влияние на критика, что и отразилось на его статье о романе Э. Сю «Парижские тайны» (см. ИАН, т. VIII, а также ЛН, т. 53, 1950, стр. 221). Об увлечении Белинского идеями Луи Блана в 1843 г. вспоминал П. В. Анненков (П. В. Анненков в Литературные воспоминания. М.—Л., 1928, стр. 357). В 1847 г. Белинский изменил свое отношение к трудам Луи Блана (см. н. т., стр. 323 и 467).

¹⁹ Замысел этот осуществлен не был.

²⁰ А. Я. Кульчицкий выпустил в свет шутивную брошюру «Некоторые великие и полезные истины об игре в преферанс, заимствованные у раз-

ных древних и новейших писателей и приведенные в систему кандидатом философии П. Ремизовым». СПб., 1843 (текст ее перепечатан Н. О. Лернером в РС 1908, № 4, стр. 200—210). Белинский откликнулся на шутку Кульчицкого рецензией в № 4 «Отеч.записок» 1843 г. (см. ИАН, т. VII, № 9 и примеч. к ней).

- ²¹ Речь идет о «Братьях журналистах», пародии Н. И. Куликова на «Братьев разбойников» Пушкина; действующие лица в ней Булгарин и Греч (см. РС 1885, № 2, стр. 471—473). О чтении этой пародии Белинским рассказывал П. А. Плетнев Я. К. Гроту в письме от 20 марта 1843 г. («Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым», т. II. СПб., 1896, стр. 38).
- ²² Ратьков Петр Алексеевич, петербургский книгопродавец, бывший приказчик Н. А. Полевого.
- ²³ В шестой статье «Сочинения Александра Пушкина» Белинский повторил эту оценку поэмы (см. ИАН, т. VII, стр. 383).
- ²⁴ В четвертой книжке «Москвитянина» 1843 г. (в отд. «История», стр. 441—463) Т. Н. Грановский поместил рецензию на две книги: «Geschichte des Preussischen Staats von G. A. Stenzel» («История прусского государства Г. А. Штенцеля»). Гамбург, т. I—III, 1830—1841 и «Geschichte Deutschlands von 1806—1830 von Fr. Bülow» («История Германии с 1806 по 1830 г.» Фр. Бюлау). Гамбург, 1842.

216. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 567—568); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 62); полностью — в Письмах, т. II, стр. 362—364.

¹ Это письмо не сохранилось.

² Цитата из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 8, строфа XLVII).

³ Проект Белинского о поездке в Москву и в Премухино осуществился в мае 1843 г. (см. письма 220 и 221).

⁴ А. А. Краевскому.

⁵ От франц. installer — водворять, помещать.

⁶ Второй из братьев Боткиных.

217. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по тексту первой публикации И. Ф. Рынды в «Русском обозрении» 1894, № 5, стр. 404. Автограф, полученный Рындой от внука М. С. Щепкина, неизвестен.

Датируется на основании содержания (отъезд Тургенева в Москву, а оттуда — в Премухино к Бакуниным — см. письмо Н. А. Беер к Бакуниным от 29/IV 1843 г.— А. А. Корнилов. Годы странствий Михаила Бакунина. М.—Л., 1925, стр. 247—248).

В конце 1842 г. Белинского познакомил с только что возвратившимся из-за границы Тургеневым П. В. Зиновьев. Сближение между ними произошло летом 1843 г. на даче Лесного института, где они встречались почти каждый день (см. воспоминания Тургенева).

В 1847 г. они жили вместе в Зальцбрунне (см. письма 304—307). Впоследствии (в 1855 г.) Тургенев так охарактеризовал свое отношение к памяти и идеям великого демократа: «Белинский и его письмо <к Гоголю> — это вся моя религия» (Дневник В. С. Аксаковой. СПб., 1913, стр. 42). Тургеневым написаны воспоминания о Белинском: «Встре-

ча моя с Белинским» (1860 г.) и «Воспоминания о Белинском» (1879 г.) (см. сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 342—376).

О произведениях Тургенева Белинский писал в статьях: «Русская литература в 1844 году» (о «Разговоре»), «Русская литература в 1845 году», «Петербургский сборник» (о «Помещике»), «Московский ученый и литературный сборник на 1847 год», «Ответ „Москвитяину“», «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (о «Записках охотника») (ИАН, т. VIII, стр. 485; т. IX, стр. 390, 391, 567—572; т. X, стр. 207—208, 238, 240, 346—347).

Из большой переписки Белинского с Тургеневым за время с 1843 по 1848 г. сохранилось только шесть писем Белинского к Тургеневу (224, 250, 290, 294, 299) и шесть писем Тургенева к Белинскому (Письма, т. III, стр. 347, 350—351, 370, 379, 384—386; сб. «В пользу голодающих. Лента Белинского». М., 1892, стр. 31).

¹ Письмо Белинского к Н. А. Бакунину не сохранилось.— О посылаемой книжке см. письмо 215 и примеч. 20 к нему.

² А. М. и В. А. Бакунины. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 96.

218. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 583); полностью — в Письмах, т. II, стр. 365.

¹ Это письмо Белинского к Герцену не сохранилось.

² А. А. Краевский.

³ Имеется в виду письмо 216.

⁴ Рубини Джиованни Батиста (1795—1854), итальянский тенор, выступавший в Петербургской итальянской опере.— «Лючия Ламмермур» — опера Доницетти.

⁵ См. письмо 199 и примеч. 19 к нему.

⁶ Перовский Лев Алексеевич (1792—1856), министр внутренних дел (1841—1852).

⁷ Завадский-Краснопольский Степан Павлович (1803—1869), доктор медицины.

219. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 569); полностью — в Письмах, т. II, стр. 365—370.

¹ Письма эти не сохранились.

² См. письмо 215 и примеч. 17 к нему.

³ Рассказ в стихах И. С. Тургенева. Белинский откликнулся на него положительной рецензией в «Отч. записках» 1843 г. (№ 5, отд. VI, стр. 1—11; ИАН, т. VII, № 13 и примеч. к ней). См. о «Параше» также письмо 224.

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 371.

[221. В. П. БОТКИНУ и А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. В подлиннике конец письма со слов: «Скачу в почтампт» поврежден: оторвано пол-листка; текст восстановлен А. Н. Пыпиным. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 569); полностью — в Письмах, т. II, стр. 370—371.

¹ Герцен и Боткин оказали Белинскому материальную поддержку для его поездки в Москву. В письме к Краевскому от 17/V 1843 г. Герцен просил передать Белинскому 150 р. («Отчет имп. Публичной библиотеки за 1890 год». СПб., 1893, прилож., стр. 43).

² См. примеч. 7 к письму 218.

Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. 2).

³ А. Ф. Лопатин, петербургский купец. В его доме (на углу Невского пр. и Фонтанки, ныне — Невский, № 68) Белинский снял квартиру в ноябре 1842 г. В конце августа 1843 г. он переехал в оставленную квартиру Краевского в том же доме. В доме Лопатина жили также Панаевы и Н. Н. Тютчев (см. об этом ЛН, т. 57, стр. 399—401).

⁵ Письмо это не сохранилось.

222. А. А. КРАЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ГПБ, архив А. А. Краевского). Впервые частично опубликовано А. А. Краевским в газете «Голос» 1869, № 204 от 26/VII; полностью — И. А. Бычковым в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 21—23.

¹ Цитата из «Тараса Бульбы» Гоголя (гл. IV).

² Очевидно, статья «Несколько слов „Москвитянину“». См. примеч. 7 к письму 225.

³ Неточная цитата из «Ромео и Юлии» Шекспира. См. примеч. 6 к письму 171.

⁴ Драма «Неост орожность» (см. письмо 224 и примеч. 2 к нему) и стихотворения «Цветок» и «Нева», помещенные в №№ 8 и 9 «Отеч. записок» 1843 г. за подписью: Т. Л.

⁵ Рецензия Белинского «Стихотворения Милькеева» была напечатана в августовской книжке «Отеч. записок» 1843 г. (отд. VI, стр. 39—45; ИАН, т. VII, № 26).

⁶ Повесть «Последний визит» П. Н. Кудрявцева впервые опубликована в «Отеч. записках» 1844, № 10 (стр. 282—363) за подписью: А. Нестроев.

⁷ Цитата из «Псалмов» Давида (V, 3).

⁸ Матвей, слуга Герцена, утонул 14 июня 1843 г. в с. Покровском. Об этом Герцен писал в дневнике, а позднее — в «Былом и думах» гл. XXVIII (ПссГ, т. III, стр. 114—115; т. XIII, стр. 92—96).

⁹ Романы Вальтера Скотта «Антикварий» и «Айвенго» в переводе Корша вышли в свет в 1845 г. Белинский отметил их в статье «Русская литература в 1845 году» (см. ИАН, т. IX, стр. 392).

¹⁰ М. Ф. Корш (1809—1883), приятельница Герцена и Грановского. См. о ней письмо 227 и примеч. 3 к нему.

223. А. А. КРАЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ГПБ, архив А. А. Краевского). Впервые частично опубликовано А. А. Краевским в газете «Голос» 1869, № 204 от 26/VII; полностью — И. А. Бычковым в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 23—28.

Дата поставлена на приписке Боткина.

Ответное письмо Краевского от 16/VII 1843 г. см. в БКр, стр. 97—99.

¹ В письме от 26/VI Белинский просил Краевского дать распоряжение московским книгопродавцам о выдаче ему денег.

Глазунов Андрей Иванович, книгопродавец, комиссионер Краевского в Москве.

² Это письмо не сохранилось.

³ Сорокин М. П., поэт и литератор, сотрудник «Литер. газеты».

⁴ Косиковский Всеволод Андреевич (ум. 1855), петербургский домовладелец. В письме к Белинскому от 25/VI 1843 г. из Петербурга он усилительно убеждал критика поехать вместе с ним за границу (БКр, стр. 89—91). Краевский (в ответном письме) рассказывал Белинскому о визите к нему А. С. Комарова, пытавшегося, по поручению Косиковского, уговорить Краевского, как главу «Отеч. записок», не мешать Белинскому ехать за границу (там же, стр. 98—99).

⁵ Комаришка — А. С. Комаров. См. письмо 188 и примеч. 12 к нему.

⁶ Письмо 224.

⁷ См. примеч. 2 к письму 224.

⁸ Никакой статьи за подписью Соколовского в «Отеч. записках» не появлялось.

⁹ Речь идет о стихотворении И. С. Тургенева «Голша», посвященном Белинскому. Оно было напечатано в «Отеч. записках» 1844 г. (№ 1, отд. III, стр. 46) без посвящения.

¹⁰ Статей за подписью Д. Л. Крюкова в «Отеч. записках» не было.

¹¹ Очевидно, И. Ю. Молнар, издавший в 1856 г. труд Ю. И. Венелина «Древние и нынешние болгары...».

¹² Венелин умер 26 марта 1839 г. в Москве. См. о нем ИАН, т. XI, письмо 62 и примеч. 9 к нему.

224. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по автографу (ИРЛИ, архив А. М. Скабичевского). В автографе описка: 8 июня. Дата исправлена Е. А. Ляцким. Впервые опубликовано в книге «Стихотворения И. С. Тургенева». СПб., 1885, стр. 227—228 (в примечаниях).

¹ См. письмо 219 и примеч. 3 к нему.

² «Неосторожность. Драматический очерк в одном действии» Тургенева был напечатан в «Отеч. записках» 1843 г. (№ 10, стр. 221—252) за подписью: Т. Л.

При публикации пьесы Тургенев исправил ее в соответствии с замечаниями Белинского.

225. А. А. КРАЕВСКОМУ

Печатается по автографу (ГПБ, архив А. А. Краевского). Впервые частично опубликовано А. А. Краевским в газете «Голос» 1869, № 204 от 26/VII; полностью — И. А. Бычковым в «Отчете имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 28—31.

Ответное письмо Краевского см. в БКр, стр. 99—100.

- ¹ Письмо от 16/VII 1843 г. (см. БКр, стр. 97—99)
- ² См. письмо 223 и примеч. 4 к нему.
- ³ Речь идет о решении Белинского жениться на М. В. Орловой.
- ⁴ Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. 1).
- ⁵ Белинский имеет в виду письмо Краевского к Боткину от 16/VII 1843 г. (неизд.—ЛБ. М. 8422/31).
- ⁶ «Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая». См. ИАН, т. VII, № 21 и примеч. к ней.
- ⁷ Речь идет о статье Белинского «Литературные и журнальные заметки. Несколько слов „Москвитяину“» (см. ИАН, т. VII, № 33), являющейся ответом на разбор С. П. Шевырева «Полной русской хрестоматии», составленной А. Д. Галаховым («Москвитянин» 1843, № 5, стр. 218—248 и № 6, стр. 501—533).
- ⁸ См. письмо 222 и примеч. 5 к нему.

226. Н. А. БАКУНИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. II, стр. 377—378.

- ¹ См. письмо 225 и примеч. 6 к нему.
- ² Боткин уезжал за границу, откуда он возвратился только осенью 1846 г.
- ³ П. А. Бакунин. Письмо Боткина к нему неизвестно. Поездка Боткина была использована родными и друзьями М. А. Бакунина для пересылки последнему писем и всякого рода информации.
- ⁴ Письмо А. А. Бакуниной к Белинскому не сохранилось. В нем, очевидно, речь шла о предложении перевода «Консуэло» Ж. Санд для «Отеч. записок». Перевод этого романа в «Отеч. записках» не появлялся.
- ⁵ Портрет Н. В. Станкевича работы К. А. Горбунова.
- ⁶ Речь идет о портрете М. А. Бакунина, литографированном Г. Митрейтером (H. Mitreiter) в 1843 г. (см. его воспроизведение в ПсБ, т. IV, стр. 552/553).
- ⁷ Роман Ж. Санд (1840 г.). Герой романа — реальное лицо, Агриколь Пердигье, поэт и публицист, по профессии столяр, ездивший по Франции и поднимавший ремесленников на борьбу с эксплуататорами; в романе изображен под именем Пьера Гюгенена. Роман был запрещен цензурой и на русский язык не переводился. Белинский читал его, вероятно, в 16-томном собрании сочинений Санд (Париж, изд. Перротона) 1842—1845 гг.

⁸ Алексей и Александр Александровичи — младшие из братьев Бакуниных.

227. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джавшиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 101 от 4/IV.

О М. В. Орловой см. письмо 193 и примеч. к нему.

¹ А. Д. Галахов. См. письмо 324 и примеч. к нему.

² Н. И. Остроумова, классная дама Александровского института.

³ Мария Федоровна Корш (см. письмо 222 и примеч. 10 к нему). Она доброжелательно относилась к женитьбе Белинского (см. ЛН, т. 56, стр. 169).

⁴ Софья Карловна Корш, рожд. Рейссиг.

⁵ Летом 1843 г. Белинский встречался с М. В. Орловой в Сокольниках, где та жила на даче у своих родственников.

⁶ Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. 1).

⁷ М. А. Языков. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 147.

⁸ См. ИАН, т. XI, письмо 129 и примеч. 14 к нему.

⁹ См. письмо 221 и примеч. 4 к нему.

¹⁰ А. В. Орлова, младшая сестра М. В. Орловой, поступившая на ее место в Александровский институт; автор воспоминаний о семейной жизни Белинского («Лента Белинского». М., 1892, стр. 16—30; «Помощь голодающим». М., 1892, стр. 447—449).

228. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джавшиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 101 от 4/IV.

¹ Письмо 227.

² См. примеч. 10 к письму 227.

³ Об отъезде Боткина см. письмо 226 и примеч. 2 к нему.

⁴ Письма М. В. Орловой к Белинскому не сохранились. Очевидно, сама их уничтожила.

⁵ Ребенок знакомых Орловой. См. о нем также письмо 229.

229. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джавшиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 101 от 4/IV.

¹ М. А. Комарова, рожд. Дементьева, жена А. А. Комарова.

² Неточная цитата реплики Подколесина из «Женитьбы» Гоголя (д. I, явл. 11).

³ См. письмо 228 и примеч. 5 к нему.

⁴ А. Д. Галахов. См. письмо 324 и примеч. к нему.

⁵ См. письмо 227.

⁶ Речь идет о статье «Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая», в основном посвященной Жуковскому (см. ИАН, т. VII, № 21 и примеч. к ней).

230. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые неточно опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 109 от 22/IV.

¹ См. письмо 188 и примеч. 12 к нему.

² Письмо 228.

³ О семье Комаровых см. письмо 229.

⁴ Вероятно, сестра М. А. Комаровой.

⁵ Из стихотворения А. И. Полежаева «Провидение».

⁶ Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. 2).

⁷ Белинский имеет в виду свой проект издания «Истории русской литературы».

⁸ Е. Я. Брянская. См. примеч. 8 к письму 197.

⁹ Начальница Александровского института.

¹⁰ Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 1).

¹¹ «Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая».

¹² Очевидно, третья статья о Пушкине, появившаяся в октябрьской книжке «Отеч. записок» 1843 г. (отд. V, стр. 61—88).

¹³ А. Д. Галахов. См. письмо 324 и примеч. к нему.

¹⁴ См. письмо 227 и примеч. 2 к нему.

¹⁵ Цитата из стихотворения В. А. Жуковского «Жизнь».

¹⁶ Белинский имеет в виду заключительную реплику Фамусова из «Горя от ума» Грибоедова.

¹⁷ А. В. Орлова. См. примеч. 10 к письму 227.

¹⁸ Цитата из «Песни» («О милый друг, теперь с тобою радость...») В. А. Жуковского.

¹⁹ Письмо 229.

231. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 109 от 22/IV.

Датировка уточняется на основании содержания письма и связи его с соседними письмами.

¹ Письмо 229.

² Письмо 230.

³ В 10-й книжке «Отеч. записок» 1843 г. были напечатаны третья статья о Пушкине и семь рецензий Белинского (см. ИАН, т. VII, №№ 21, 36—42).

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 25.

¹ Это письмо Белинского не сохранилось.— Свидетельство о происхождении было необходимо Белинскому для венчания.— Петр Петрович — отец Д. П. Иванова (см. о нем ИАН, т. XI, примеч. к письму 15).

² Д. П. Иванов в письме от 8/X 1843 г. сообщал, что им сделано всё для получения необходимых Белинскому документов (ЛН, т. 57, стр. 231).

233 М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 163 от 15/VI.

¹ Начальница Александровского института.

² Вторая статья о Пушкине. См. письма 225, 229, 230.

234. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые неточно опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 163 от 15/VI.

¹ Героиня романа Ж. Санд «Орас». См. письмо 204 и примеч. 8 к нему.

² Цитата из «Гамлета» Шекспира (д. II, явл. 1).

³ От франц. aragense — внешнее явление.

⁴ Неточная цитата из «Ревизора» Гоголя (д. IV, явл. 13).

⁵ Источник цитаты не установлен.

⁶ См. примеч. 16 к письму 230.

⁷ См. письмо 210, примеч. 20.

235. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые неточно опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 163 от 15/VI.

О специальном назначении этого письма см. письмо 234, стр. 198.

236 М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые неточно опубликовано в сб. «Почин» на 1896 г. М., 1896, стр. 193—199.

¹ Горничная двоюродной сестры М. В. Орловой.

² В девятой статье о Пушкине, характеризуя Татьяну и осуждая ее за верность нелюбимому мужу, Белинский говорит то же, что и в настоящем письме (см. ИАН, т. VII, стр. 500—502 и н. т., письмо 194).

³ См. примеч. 16 к письму 230.

237. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые неточно опубликовано в сб. «Почин» на 1896 г., стр. 199—203.

Датировка уточняется по содержанию письма.

- ¹ Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. IV, явл. 4).
- ² Баладин Александр Иванович (ок. 1810 — после 1879), преподаватель и библиотекарь Института путей сообщения с 1831 г., был близок к литературным кругам (см. А. И. Дельви́г. Воспоминания, т. I. М.—Л., 1930, стр. 185, 197, 527). Будучи в 1843 г. правителем дел Учебного комитета Главного управления путей сообщения, Баладин получил разрешение на венчание Белинского в Семеновской церкви при Строительном училище (РС 1899, № 4, стр. 204).
Письмо Баладина к Белинскому от 8/X 1843 г. см. в сб. «Почин» на 1896 г., стр. 203—204; Письма, т. III, стр. 345. В нем Баладин сообщает о согласии священника венчать Белинского без документов и о документах, необходимых для невесты. Сохранились еще две записки Баладина к Белинскому по этому же вопросу (БКр, стр. 34).
- ³ См. ИАН, т. XI, письмо 126 и примеч. 17 к нему.
- ⁴ Последняя строка приписана позднее карандашом.

238. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в сб. «Почин» на 1896 г., стр. 204—212.

- ¹ См. примеч. 16 к письму 230.
- ² См. примеч. 2 к письму 234.

239. М. Р. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые неточно опубликовано в сб. «Почин» на 1896 г., стр. 212—217.

- ¹ Неточная цитата из «Евгения Онегина» Пушкина («Путешествие Онегина»).
- ² Цитата из стихотворения Лермонтова «Есть речи — значенье темно иль ничтожно...».

240. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 185 от 7/VII.

- ¹ См. письмо 234 и примеч. 1 к нему.
- ² Письмо 238.

241. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые (с пропусками) опубликовано Г. А. Джаншиевым в «Русских ведомостях» 1895, № 185 от 7/VII; полностью — в сб. «Почин» на 1896 г., стр. 225—228.

- ¹ См. письма 234, примеч. 1 и 240.
- ² Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 5).
- ³ См. письмо 179 и примеч. 18 к нему.
- ⁴ Белинский был у Герцена в Покровском 30 июня 1843 г. (см. Песел', т. III, стр. 118—119).

⁵ Грановская Елизавета Богдановна, рожд. Мюльгаузен (1824—1852), с 1841 г.— жена Т. Н. Грановского.

⁶ Цитата из стихотворения Лермонтова «Молитва».

⁷ Перефразировка строки из стихотворения Пушкина «Признание».

242. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 71—72.

¹ Письмо 238.

243. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 72—74.

¹ Письмо 238.

² Речь идет о статье «Сочинения Александра Пушкина. Статья четвертая». Она попала только в 12-ю книжку «Отеч. записок» 1843 г. (отд. V, стр. 25—46; ИАН, т. VII, стр. 266—301).

³ В 11-й книжке «Отеч. записок» 1843 г. появилось одиннадцать рецензий Белинского и большая статья в отд. «Критика» — «Сочинения Зенеиды Р—вой» (ИАН, т. VII, № 43; т. VIII, №№ 1—11).

244. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 74—78.

¹ См. письмо 243 и примеч. 2 и 3 к нему.

245. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 78—79.

¹ Очевидно, имеются в виду строки об А. В. Орловой в письме 239.

246. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 80.

¹ См. письмо 243 и примеч. 3 к нему.

247. М. В. ОРЛОВОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 81.

¹ Белинский венчался с М. В. Орловой 12 ноября 1843 г. в Семеновской церкви при Строительном училище (РС 1899, № 4, стр. 204). О его женитбе см. А. Я. Панаева. Воспоминания. М., 1948, стр. 111—113; письмо И. И. Панаева к Герцену и Огареву от 24/XI 1843 г. (РМ 1892, № 7, стр. 97) и дневник Герцена (ПссГ, т. III, стр. 145).

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 81—83.

- ¹ Речь идет о письме Д. П. Иванова от 20/XII 1843 г. (ЛН, т. 57, стр. 232—234), в котором тот цитирует строки из письма своего отца относительно получения для Белинского дворянской грамоты: «К новому году собираются депутаты, и тогда подпишется грамота. Секретарь собрания... Григорий Семенович Волков просил написать к Висс. Гр., чтобы он попросил письмом губернского предводителя Федора Ивановича Никифорова, который его знает, об удовлетворении его в грамоте... г. Волков имеет дар сочинять в прозе и стихах и желает, чтобы его творения помещались в „Отечественных записках“».
- ² А. А. Тучков (1800 — ок. 1879), инсарский уездный предводитель дворянства, член Союза благоденствия, отец второй жены Огарева Н. А. Тучковой.
- ³ Это письмо не сохранилось.
- ⁴ Департамент герольдии Правительствующего сената решением от 13/VII 1844 г. не утвердил постановления Пензенского дворянского собрания о правах Белинского на потомственное дворянство из-за отсутствия его метрического свидетельства. Дело закончилось благоприятно только 3/VII 1847 г. (см. заметку В. Е. Рудакова в «Новом времени» 1910, № 1236 от 14/VIII).

249. Т. А. БАКУНИНОЙ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 128); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 84—85.

- ¹ Письма Т. А. Бакуниной к Белинскому не сохранились.
- ² О какой книге идет речь, неизвестно.
- ³ Детский журнал в двух отделениях, изд. А. Семенов в Москве (1843—1846).
- ⁴ Ежемесячный журнал для детей старшего возраста, выходявший под редакцией детской писательницы А. О. Ишимовой в Петербурге (1842—1849). Под тем же названием сю издавался с 1845 г. журнал для детей младшего возраста.
В статье «Русская литература в 1842 году» Белинский положительно отзывался о «Звездочке» («Отеч. записки» 1843, № 1; ИАН, т. VI, стр. 545—546).
- ⁵ Сын В. А. Дьяковой.
- ⁶ А. А. Бакунина вышла замуж за Гаврилу Петровича Вульфа (р. 1805), тверского помещика, двоюродного брата А. Н. Вульфа, приятеля А. С. Пушкина.
- ⁷ У Н. А. Бакунина в конце 1844 г. родилась дочь.

250. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф неизвестен. Впервые опубликовано в Письмах, т. III, стр. 83—84 (с датой: осень 1844 г.).

Датируется на основании цензурного разрешения поэмы «Разговор» Тургенева — 13/XII 1844 г. (см. ЛН, т. 56, стр. 214).

Написано на обороте записки Тургенева:

«Любезный Белинский,

Вот Вам 2-я корректура „Разговора“. Мой человек через час зайдет за ней, потому что я обещался Працу доставить ему сегодня же корректуру. Всё, что Вы заметите, отметьте карандашом.

Ваш Тургенев»

(Письма, т. III, стр. 347).

¹ Тургенев согласился с замечаниями Белинского и внес в свою поэму изменения («туманной вышине», «из-под густых его бровей», «птица спугнутая», «великой матери»).

² Неточная цитата из трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери».

1845

251. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 4, стр. 128—130); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 103; с неверной датировкой: «1846 г.»); полностью — в Письмах, т. III, стр. 85—88.

Белинский лично познакомился с Герценом осенью 1839 г. после возвращения последнего в Москву из Владимира. Об их отношениях Герцен вспоминал в «Былом и думах» (гл. II, III, VIII и XXV). См. также письма Белинского к Боткину — ИАН, т. XI, письма 129, 133, 148, 151, 165.

Из писем Белинского к Герцену за 1840—1845 гг. сохранилось только настоящее письмо. Письма Белинского за 1846 г., видимо, сохранились полностью (№№ 253—258, 273, 283). После отъезда Герцена за границу в январе 1847 г. переписка их прекратилась. В противном случае письма Белинского за 1847 г. остались бы вместе с письмами 1846 г. в архиве Герцена, в так называемой «пражской коллекции» (ныне в ЦГАОР).

Из писем Герцена к Белинскому сохранилось всего два: от 26/X 1841 г. (ПссГ, т. II, 1915, стр. 469—470) и от мая 1842 г. (ЛН, т. 56, стр. 80—82).

¹ Герц Карл Карлович (1820—1883), литератор, переводчик, впоследствии профессор Московского университета. Окончил в 1844 г. философский факультет Московского университета; с осени 1845 г. жил в Петербурге и сотрудничал в «Отеч. записках» и «Современнике». В 1847 г. вышел в свет его «Исторический сборник» (кн. 1). Белинский откликнулся на него весьма сдержанной рецензией (ИАН, т. X, № 14). Сборник с дарственной надписью автора сохранился в библиотеке Белинского (ЛН, т. 55, стр. 449—451). — О Герце см. кн. А. Малеина «К. К. Герц (1820—1883). Биографический очерк». СПб., 1912.

Письма Герцена и Грановского к Белинскому, привезенные Герцем, не сохранились.

² Герцен был переведен в июне 1841 г. из Петербурга на службу в Новгород, под надзор полиции, за участие в «разглашении» слухов об убийстве будочником прохожего с целью ограбления. Материалом для обвинения явилось перлюстрированное письмо Герцена к отцу (см. «Былое и думы», гл. XXVI — ПссГ, т. XIII, стр. 44—55).

³ Шевырев читал публичный курс истории русской словесности в Московском университете с ноября 1844 г. Эти лекции должны были

- ослабить впечатление от курса истории средних веков, прочитанного перед тем Грановским также публично (23/XI 1843 г.—22/IV 1844 г.). О воздействии лекций Грановского на слушателей см. в дневнике Герцена (ПссГ, т. III, стр. 324—325), а также в «Былом и думах» (там же, т. XIII, гл. XXIX, стр. 114).
- ⁴ Вильмен Абель Франсуа (1790—1870), французский историк литературы; в 1839—1844 гг.— министр народного просвещения.
- ⁵ Белинский имеет в виду, вероятно, не напечатанную по цензурным соображениям статью Герцена «Ум хорошо, а два лучше». Сохранилась копия этой статьи с пометой: «Посвящаю Виссариону Григорьевичу Белинскому, другу четы московской и петербургской четы не врагу» (см. ПссГ, т. III, стр. 287—291). В ней Герцен писал о лекциях Шевырева: «Шевырев — первый профессор *элоквенции* после Тредьяковского; он читал в Москве публичные лекции о русской словесности преимущественно того времени, когда ничего не писали, и его лекции были какою-то детскою песнью, цетюю чистым соргапо, напоминающим папские дисканты в Риме».
- ⁶ Статьи Герцена—«Публичные чтения г. Грановского». Первая статья была напечатана в «Моск. ведомостях» 1843, № 142 от 27/XI; вторая — в «Москвитяине» 1844, № 7.
- ⁷ От исп. *pronunciamento* — государственный переворот.
- ⁸ Белинский имеет в виду новую редакцию «Москвитяина». С января 1845 г. во главе «Москвитяина» стал И. В. Киреевский.
- ⁹ В конце 1844 г. Н. М. Языков написал серию памфлетных стихотворений, направленных против «западников»: «Константину Аксакову» («Ты молодец! В тебе прекрасно...»), «К не нашим» и «К Чаадаеву» («Вполне чужда тебе Россия...»). Стихотворения эти при жизни автора напечатаны не были, но широко распространялись в списках, вызывая восторг в реакционных кругах.
- ¹⁰ Калайдович Николай Константинович (1820—1854), сын археолога К. Ф. Калайдовича, окончивший Училище правоведения. См. о нем воспоминания В. В. Стасова (РС 1881, № 6, стр. 254—255).
- ¹¹ Пародия Некрасова на стихотворение «К не нашим» — «Послание к другу (из-за границы)» — была напечатана в «Лит. газете» 1845, № 5, стр. 97, за подписью: Н. Стукотнин.
- ¹² Пародия Некрасова на А. С. Хомякова неизвестна.
- ¹³ Речь идет о статье Белинского «Русская литература в 1844 году», в которой была дана уничтожающая характеристика творчества поэтов-славянофилов Языкова и Хомякова («Отеч. записки» 1845, № 1; ИАН, т. IX, стр. 448—474).
- ¹⁴ В «Немецко-французском ежегоднике», издаваемом А. Руге и К. Марксом («Deutsch-Französische Jahrbücher, herausgegeben von Arnold Ruge und Karl Marx», Париж, 1844), Белинский познакомился, вероятно, в переводе Н. Х. Кетчера со статьей Маркса «К критике гегелевской философии права. Введение», в которой его заинтересовали строки: «Религия есть *опиум* народа. Упразднение религии, как *иллюзорного* счастья народа, есть требование его *действительного* счастья» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 1, 1955, стр. 415). Экземпляр «Немецко-французского ежегодника» сохранился в библиотеке Белинского (ЛН, т. 55, стр. 569).
- ¹⁵ 13 декабря 1844 г. у Герценов родилась дочь Наталья (ум. в 1936 г.).
- ¹⁶ Корш Федор Евгеньевич (1843—1912), филолог, с 1883 г. профессор римской словесности в Московском университете, впоследствии академик.

⁷ М. С. Щепкин с огромным успехом исполнял главную роль в водевиле П. П. Котляревского «Москаль Чарівник» (1819 г.).

¹⁸ См. письмо 213 и примеч. 6 к нему.

252. Ф. М. ДОСТОЕВСКОМУ

Печатается по тексту первой публикации В. И. Семевского в статье «Петрашевы С. Н. Дуров, А. И. Пальм, Ф. М. Достоевский и А. Н. Плещеев» («Голос минувшего» 1915, № 11, стр. 21—22). Автограф был в материалах дела о Достоевском 1849 г.; ныне местонахождение его неизвестно. Датируется на основании показания Достоевского об этой записке: «...написана еще в первые дни нашего знакомства...» (Н. Ф. Бельчиков. Достоевский в процессе петрашевцев. М.—Л., 1936, стр. 144).

Белинский познакомился с Достоевским в начале июня 1845 г., о чем последний свидетельствовал в письме к М. П. Погодину от 26/II 1873 г. («Звенья», VI, 1936, стр. 447).

В «Дневнике писателя за 1877 год» Достоевский вспоминал о своей встрече с Белинским, с которым его, начинающего писателя, познакомили Некрасов и Панаев. Восторженная оценка Белинским при этой встрече рукописи «Бедных людей» была, по признанию Достоевского, «самой восхитительной минутой» в его жизни. Личное сближение Белинского с Достоевским произошло в октябре — ноябре 1845 г. В декабре того же года Достоевский читал у Белинского, в присутствии Тургенева, Анненкова и Краевского, первые главы своей повести «Двойник» (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произведений, т. XII. М.—Л., 1929, стр. 29, 31—32, 297—298).

В статье о «Петербургском сборнике» 1846 г. Белинский, разбирая «Бедных людей» и «Двойника», определил талант Достоевского, как необыкновенный и самобытный (ИАН, т. IX, № 104). В обзоре русской литературы 1846 г. он отчасти повторил свою оценку, но уже отрицательно отзывался о «Господине Прохарчине» (ИАН, т. X, стр. 40—42), а во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» и в письмах (№№ 316, 319, 325) дал резкие отзывы о «Двойнике» и «Хозяйке».

Об отношениях Белинского с Достоевским см. Дневник писателя за 1873, 1876 и 1877 гг.; «Записные тетради» Достоевского. М.—Л., 1935; Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 313—314 (письмо к М. В. Белинской от 5/I 1863 г.); Письма Г. З. Елисеева к М. Е. Салтыкову-Щедрину. М., 1935, стр. 164; П. В. Анненков. Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 447—449; Панаев, стр. 308—309.

До нас дошла только настоящая записка к Достоевскому, возможно, что больше писем Белинского к нему и не существовало.

¹ Ирония относительно «бессмертной» души связана со спорами Белинского с Достоевским в то время. «Я застал его страстным социалистом, и он прямо со мной начал с атеизма», — вспоминал Достоевский (Ф. М. Достоевский. Полн. собр. худож. произведений, т. XI. М.—Л., 1929, стр. 8).

² Белинский, вероятно, приглашал Достоевского в дом к М. А. Языкову или к Н. Н. Тютчеву, где собирались их общие знакомые: И. И. Панаев, Н. А. Некрасов, П. В. Анненков, И. И. Маслов и другие.

1 8 4 6

253. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые частично опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., кн. V, Лондон, стр. 199—200; полностью (с искажениями и

пропусками отдельных слов) в статье «Неизданные письма В. Г. Белинского к А. И. Герцену (1846 г.)» — РМ 1891, № 1, стр. 2—6.

- ¹ «Письма об изучении природы» Герцена были напечатаны в «Отч. записках» 1845 г. (№№ 4, 7, 8 и 11). Окончание их (письма седьмое и восьмое) вышло в свет в №№ 3 и 4 того же журнала за 1846 г.
- ² Имеется в виду первая редакция четвертой главы очерков Герцена «Капризы и раздумья» — «Новые вариации на старые темы». Эта глава была напечатана в «Современнике» 1847, № 3 (отд. II, стр. 21—31), за подписью: Искандер и с пометой: Соколово. Июль 1846. В рукописи этой главы говорилось о «пристрастиях», вдохновленных патриотическими и революционными идеалами.
О «Капризах и раздумьях» Белинский писал в рецензии на «Петербургский сборник» (см. примеч. 9 к письму 255 и ИАН, т. IX, стр. 577).
- ³ Повесть Герцена «Кто виноват?» Первая часть ее появилась в «Отч. записках» 1845, № 12 (стр. 195—245), за подписью: —И—. См. примеч. 16.
- ⁴ Белинский имеет в виду пародию Герцена на дорожный дневник М. П. Погодина «Путевые записки г. Вёдрина», напечатанную в «Отч. записках» 1843 г. (№ 11). — Ярополк Водянский — псевдоним, поставленный Герценом под статьей «„Москвитянин“ и вселенная» в «Отч. записках» 1845 г. (№ 3). В этой подписи пародировалась фамилия известного слависта О. М. Бодянского (1808—1877).
- ⁵ См. письмо № 251 и примеч. 1 к нему.
- ⁶ О создавшихся к середине 40-х годов тяжелых отношениях между Белинским и Краевским вспоминает Панаев (ч. II, гл. VII); см. также письмо А. В. Станкевича к И. В. Станкевичу от 21/II 1845 г. (ЛН, т. 56, стр. 174—176).
- ⁷ Вводная статья Белинского к сборнику «Стихотворения Кольцова», изд. Н. А. Некрасовым и Н. Я. Прокоповичем. СПб., 1846 (см. ИАН, т. IX, № 103 и примеч. к ней).
- ⁸ Краевский, выпустив отдельным изданием роман А. Дюма «Королева Марго», переведенный А. И. Кронебергом и помещенный ранее в «Отч. записках», не заплатил за это издание переводчику ни копейки. Когда же возмущенный Кронеберг пригрозил Краевскому судом, тот прислал ему гонорар вместе с отказом от сотрудничества в «Отч. записках». Об этом эпизоде вспоминает Н. Н. Тютчев (Письма, т. III, стр. 446—447).
- ⁹ Фурман Петр Романович (1816—1856), детский писатель и переводчик, впоследствии редактор «Ведомостей С.-Петербургской городской полиции». Белинский неоднократно отзывался пренебрежительно о его произведениях (см., например, ИАН, т. X, № 12).
- ¹⁰ Ольхин Матвей Дмитриевич (1806—1853), петербургский издатель и книгопродавец. Об отношении к нему Белинского см. воспоминания Шамова в сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 397.
- ¹¹ Все друзья и знакомые Белинского горячо откликнулись на его проект, понимая, как важно было в этот момент материально и морально поддержать великого критика и дать ему возможность освободиться от сотрудничества в «Отч. записках». Белинский анонсировал выход своего альманаха («Левиафан») в рецензии на стихотворения Я. Полонского и А. Григорьева («Отч. записки» 1846, № 3; ИАН, т. IX, стр. 591 и 780). Но когда Некрасов и Панаев приступили к изданию «Современника», Белинский уступил весь собранный им для альманаха

материал новому журналу (см. книгу В. Е. Евгеньева-Максимова «Современник» в 40—50 гг. от Белинского до Чернышевского». Л., 1934). Об этом вспоминал в 50-х годах Герцен: «Альманах этот никогда не выходил. Белинский вместо его поставил на ноги „Современник“» («Полярная звезда» на 1859 г., стр. 206); ср. также «Литер. воспоминания» П. В. Анненкова. М.—Л., 1928, стр. 469—470.

Об альманахе «Левифан» см. письма 254—258, а также «Уч. зап. СГУ», т. XXXI, вып. филологич., 1952, стр. 263—276.

Повесть Достоевского, — видимо, задуманная им в то время повесть «Сбритые бакенбарды» (см. его письмо к брату от 1/IV 1846 г.—Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 89).

Повесть Тургенева, — возможно, рассказ «Петр Петрович Каратаев», написанный летом 1846 г. и напечатанный в «Современнике» 1847, № 2 (отд. I, стр. 197—212).

Поэма Тургенева, — очевидно, не написанная им поэма «Маскарад». Она названа в объявлении об издании «Современника» на 1847 г. В письме от 15/II 1847 г. Некрасов торопил Тургенева кончать «Маскарад». Упоминается эта поэма и в письме Некрасова к Тургеневу от 25/VI того же года (Полн. собр. соч. Некрасова, т. X. М., 1952, стр. 61—62, 73).

Произведение Некрасова под заглавием «Семейство» неизвестно. К. И. Чуковский предполагает, что это — «Секрет» («В счастливой Москве, на Неглинной...»), опубликованный в 1856 г. (см. Полн. собр. соч. Некрасова, т. I. М.—Л., 1934, стр. 717).

Повесть Панаева — «Родственники. Нравственная повесть», законченная только в декабре 1846 г. и напечатанная в №№ 1 и 2 «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 1—69 и 213—261).

«Поэмка» Майкова — «Барышне», напечатана в «Современнике» 1847, № 4 (отд. I, стр. 467—474).

¹² Герцен специально для альманаха Белинского спешно написал повесть «Сорока-воровка». Автограф первой редакции повести имеет дату: «23 января 1846 г.» (см. ЛН, т. 41-42, 1941, стр. 487); напечатана была в «Современнике» 1848, № 2 (отд. I, стр. 125—147), за подписью: Искандер и с пометой: 26 января 1846.

Кроме того, Герцен предполагал дать Белинскому свое произведение «Из сочинения доктора Крупова „О душевных болезнях вообще и об эпидемическом развитии оных в особенностях“», напечатанное в «Современнике» 1847, № 9 (отд. I стр. 5—30), за подписью: Искандер, с датой: 10 февраля 1846.

¹³ Грановский не успел написать статьи для альманаха. Кавелин прислал Белинскому статью «Взгляд на юридический быт древней России» («Современник» 1847, № 1, отд. II, стр. 1—52; помета: Москва. 23 февраля 1846 г.). См. о ней письма 255, 257, 258 и примеч. 3 к нему.

¹⁴ Статья Белинским не была написана, но, вероятно, некоторые из подготовленных для нее материалов вошли в обзор «Взгляд на русскую литературу 1846 года», открывший критический отдел «Современника» 1847, № 1 (ИАН, т. X, № 1).

¹⁵ А. Д. Галахов дал Белинскому повесть «Превращение», впоследствии напечатанную в «Современнике» 1847, № 7 (отд. I, стр. 111—192), за подписью: Сто один.

¹⁶ Несмотря на просьбу Белинского, Герцен поместил в «Отеч. записках» 1846 г. эпизод между I и II частями повести — главу «Владимир Бельтов» (№ 4, отд. I, стр. 155—192), за подписью: II—р. Полностью повесть была дана в виде приложения к № 1 «Современника» 1847 г.

¹⁷ Этот замысел Белинский выполнил вместе с Некрасовым и Панаевым только 12 ноября 1846 г., после того как Краевский разослал печатное «Нелитературное объяснение», в котором утверждал, что Белинский не принимает участия в «Отеч. записках» с 1 апреля 1846 г. (стр. 5). В объявлении «По поводу „Нелитературного объяснения“» Белинский, Некрасов и Панаев писали: «... гг. Белинский, Панаев, Некрасов, равно как гг. Искандер, Кронеберг и некоторые другие, с 1847 года примут деятельное и постоянное участие в „Современнике“ и помещать своих трудов в „Отечественных записках“ не будут» (перепеч. в «Сев. пчел» 1846, № 266 от 26 ноября, стр. 1063).

¹⁸ Речь идет, вероятно, о денежных расчетах Краевского с Кавелиным за статью о «Сборнике исторических и статистических сведений о России и народах» Д. Валуева, напечатанную в № 7 «Отеч. записок» 1845 г. О гонораре Кавелину писал Краевскому 19/1 1846 г. Герцен (ПсСГ, т. IV, стр. 407).

¹⁹ П. Н. Кудрявцев прислал из Берлина для альманаха повесть «Без рассвета», которая была впоследствии напечатана в № 2 «Современника» 1847 г. (отд. II, стр. 95—156), за подписью: Нестроев. Б(ерли)н. 1846. См. письма 260, 268, 290.

²⁰ См. ИАН, т. V, стр. 783—784, 849—852, 854.

254. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые частично опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 201—202; полностью (с искажениями) — в РМ 1891, № 1, стр. 6—8.

¹ Это письмо Герцена не сохранилось.

² Герой одноименной повести М. Н. Загоскина (разбойник). Так называл Белинский А. А. Краевского и в дальнейших письмах к Герцену.

³ Повесть «Кто виноват?»

⁴ Имеется в виду «Сорока-воровка». См. письмо 253 и примеч. 12 к нему.

⁵ Огарев отличался большой беспорядочностью в ведении своих денежных дел, особенно после передачи им значительной части своего состояния жене, М. Л. Огаревой.

⁶ Об отношениях Белинского с А. Д. Галаховым см. сб. «Венок Белинскому». М., 1924, стр. 142—151, а также письмо Галахова к Краевскому от 10/1 1847 г., в котором Галахов оправдывается в том, что дал свою повесть «Превращение» в «Современник», и подчеркивает свою солидарность с руководителем «Отеч. записок» (ЛН, т. 56, стр. 184).

Давыдов Иван Иванович (1794—1863), профессор Московского университета по кафедре русской словесности, впоследствии директор Главного педагогического института, интриган и беспринципный карьерист.

⁷ Белинским в то время была написана рецензия для № 2 «Отеч. записок» 1846 г. на книгу «Мирза Хаджи-Баба Исфгани». Соч. Морьера. Вольный перевод Барона Брамбеуса. Изд. 2-е. СПб., 1845 (см. ИАН, т. IX, № 100).

⁸ Белинский имеет в виду рецензию на «Учебную книгу итальянского языка для русских, составленную по новейшим методам...», СПб., 1845, напечатанную в «Отеч. записках» 1845 г. (№ 11, отд. VI, стр. 25) без подписи (см. ИАН, т. IX, № 69).

⁹ Портрет Герцена работы К. А. Горбунова был литографирован в 1845 г. См. его воспроизведение в ЛН (т. 39-40, 1941, стр. 137). Портрет Н. А. Герцен с сыном Сашей и групповой портрет детей Герцена воспроизведены там же (стр. 109) и в т. 63, 1956 (стр. 557). Портреты Грановского и Щепкина также литографированы в 1845 г. (см. «Старые годы» 1909, февраль, стр. 102—105).

255. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые опубликовано неточно в РМ 1891, № 1, стр. 9—10.

¹ См. письмо 253 и примеч. 11, 12 и 16 к нему.

Мнение Белинского об отношении честных людей к подлецам привело в восторг Герцена. См. письмо 316, стр. 412.

² М. С. Щепкин дал для альманаха Белинского воспоминания о своем детстве — «Из записок артиста», впоследствии напечатанные в «Современнике» 1847, № 1 (отд. I, стр. 77—89), за подписью: — — — т.

³ Статья С. М. Соловьева «Даниил Романович, король Галицкий», позднее напечатанная в «Современнике» 1847, № 2 (отд. II, стр. 109—124).

⁴ Прозвище Т. Н. Грановского.

⁵ О статье Кавелина см. письмо 253 и примеч. 13 к нему.

⁶ Об А. В. Станкевиче см. ИАН, т. XI, письмо 61 и примеч. 11 к нему.

Проект поездки Белинского со Станкевичем за границу не состоялся. Его повесть «Ипохондрик» появилась в мартовской книжке «Современника» 1848 г. (отд. I, стр. 26—46), за подписью: А. С — т, с датой: 1847.

⁷ См. письмо 253 и примеч. 15 к нему.

⁸ Сын Герцена (1839—1906).

⁹ Альманах Некрасова — «Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым». СПб., 1846. В нем участвовали: Достоевский («Бедные люди»), Тургенев («Три портрета», «Помещик»), Герцен («Капризы и раздумья»), Майков («Машенька»), сам Некрасов и другие литераторы. Белинский поместил в нем статью «Мысли и заметки о русской литературе» (см. ИАН, т. IX, № 93).

Белинский откликнулся на выход альманаха критической статьей, напечатанной в «Отеч. записках» 1846, № 3 (см. ИАН, т. IX, № 104).

256. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые частично опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 202—203; полностью (с пропусками отдельных слов) — в РМ 1891, № 1, стр. 11—13.

¹ Письмо это не сохранилось.

² Об этих повестях см. письма 253, примеч. 11 и 255.

³ См. примеч. 2 к письму 254.

⁴ О какой повести Некрасова идет речь, неизвестно.

⁵ См. письма 253, примеч. 13 и 255.

- ⁶ По преданию, Потемкин после первого представления «Недоросля» сказал Фонвизину: «Умри, Денис, а лучше не напишешь!» (см. сб. «Русские классики и театр». М.—Л., 1947, стр. 86).
- ⁷ Грановский в 1845/46 г. читал вторично курс лекций по всеобщей истории.
- ⁸ См. письмо 255 и примеч. 3 к нему.
- ⁹ Н. А. Мельгунов прислал для альманаха Белинского статью «Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец и русский писатель. Из воспоминаний обыкновенного человека», впоследствии напечатанную в «Современнике» 1847, № 2 (отд. I, стр. 167—195), за подписью: Л.
- ¹⁰ См. письмо 255 и примеч. 2 к нему.
- ¹¹ Белинский имеет в виду свою статью «Голос в защиту от „Голоса в защиту русского языка“», напечатанную анонимно в «Отеч. записках» 1846, № 2 (см. ИАН, т. IX, № 94 и примеч. к ней).
- ¹² Бенефис М. С. Щепкина состоялся 30 января 1846 г. в Большом театре в Москве. Были поставлены драма Комберленда «Жид Шева» и в первый раз комедия Гоголя «Тяжба» с участием Щепкина, который играл Бурдюкова («Моск. ведомости» 1846, № 13 от 29/1).
- ¹³ Речь идет о первом издании «Мертвых душ» (1842), о «Гарантасе» В. А. Соллогуба (изд. 1845) и о «Петербургском сборнике, изданном Н. Некрасовым» (см. о нем примеч. 9 к письму 255).
- ¹⁴ «Письма об Испании» Боткина. Первая серия их была напечатана в «Современнике» 1847, № 3 (отд. II, стр. 32—62). См. о них письмо 259.
- ¹⁵ В «Письме к редактору» — «Братья Гумбольдты — псевдонимы в науке» («Отеч. записки» 1846, № 2, отд. VIII, стр. 117—121) некий В. Соколов из Казани вышутил статью А. П. Ефремова, напечатанную в «Библиотеке для воспитания» 1845 г., обвиняя его в плагиате из книги А. Гумбольдта «Картины природы» («Tableaux de la nature...», Paris, 1828).

257. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Первые частично опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 203—205; полностью (с искажениями и пропусками отдельных слов) — в РМ 1891, № 1, стр. 14—17.

- ¹ Герцен прислал Белинскому для его альманаха: «Сороку-воровку», статью С. М. Соловьева «Даниил Галицкий» и статью К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России». См. о них письма 253, примеч. 12, 13, и 255, примеч. 3.
- ² См. примеч. 2 к письму 254.
- ³ Стихотворение Некрасова «В дороге» было напечатано в «Петербургском сборнике». В рецензии на сборник Белинский положительно оценил это стихотворение (см. ИАН, т. IX, стр. 573—576).
- ⁴ «Записки доктора Крупова». См. письмо 253 и примеч. 12 к нему.
- ⁵ О «Бедных людях» Достоевского см. примеч. к письму 252. О «Парижских увеселениях» Панаева Белинский писал в рецензии на «Петербургский сборник» (см. ИАН, т. IX, стр. 567).
- ⁶ Владелец винного погреба в Москве.

- ⁷ Литературные сборники, составленные В. А. Сокологубом, изданные А. Ф. Смирдиным. 1-я книга вышла в 1845 г., 2-я — в 1846 г. Белинский откликнулся рецензиями на оба сборника («Отеч. записки» 1845, № 5; 1846, № 3; ИАН, т. IX, №№ 12, 106).
- ⁸ Дочь Белинского, Ольга, в замужестве Бензи.
- ⁹ Герцен предлагал Белинскому ехать за границу с А. В. Станкевичем. См. письмо 255.
- ¹⁰ Речь идет о докторской диссертации Н. И. Надеждина на латинском языке: «De origine, natura et fatis poeseos, quae Romantica audit». М., 1830. Она сохранилась в библиотеке Белинского (см. ЛН, т. 55, стр. 559).
- ¹¹ Герцен сейчас же откликнулся на просьбу Белинского. 25 февраля 1846 г. он писал Краевскому: «Что у вас в Питере за чудеса творятся? Министерский кризис в „Отечественных записках“! Белинский пишет, что он устал, что чувствует себя не в силах работать срочно и что оставляет „От. зап.“ решительно. Это сконфузило здесь всех любителей „От. зап.“ и поклонников Бел<инского>. Пусть бы он ехал на лето в Москву, в Крым, а потом бы опять. Потеря такого сотрудника равняется Ватерлоо, после которого Наполеон — всё Наполеон да без армии. Критика „От. зап.“ составляла их соль: резкий характер ее действовал сильно на читателей; она-то и постраждет, ибо imitatorum resus * Белин<ского> — всё-таки, resus.** Наконец, я одного не понимаю: если у вас нет с ним другого разрыва, то кто же мешает ему не постоянно участвовать? Впрочем, что я пустился в семейные дела „От. зап.“; право я имею на это одно тем, что мне искренно хотелось бы, чтоб „От. зап.“ продолжались попрежнему, а ведь без Бел<инского> охлаждаются многие вклады или труды их раздробятся» (ПссГ, т. IV, стр. 410).

258. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые (с пропусками) опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 205—206; полностью (неточно)—в РМ 1891, № 1, стр. 17—18.

¹ См. письма 253, 255, 256.

² Цитата из стихотворения Державина «Утро».

³ Кавелин в статье «Взгляд на юридический быт древней России» развивал мысль о том, что Иван IV боролся против родового дворянства, угнетавшего народ, и давал дорогу людям незнатного происхождения. Одной из форм борьбы Кавелин считал опричнину (см. примеч. 13 к письму 253).

Белинский в своих высказываниях о государственной деятельности Ивана IV одним из первых поставил вопрос о ее прогрессивном значении. См. ИАН, т. IV, стр. 504—505; т. V, стр. 431—433; т. VII, стр. 57, 593; т. X, стр. 195, а также статью Н. И. Мордовченко «Иван Грозный в оценках Белинского» («Звезда» 1945, № 10-11, стр. 183—191).

Рулье Карл Францевич (1814—1858), профессор зоологии Московского университета. Герцен посвятил его лекциям о психологии животных специальную статью — «Публичные чтения г-на профессора Рулье» («Моск. ведомости» 1845, №№ 147 и 148).

* стадо подражателей (латин.). — Ред.

** стадо (латин.). — Ред.

Статья Рулье «О земляном черве, подавшем озимь в 1846 году» появилась в № 5 «Современника» 1847 г. (отд. II, стр. 50—74); а в № 6 — заметка «Хлоповская порода рогатого скота» (отд. VIII, стр. 221—224).

⁵ План поездки Белинского с М. С. Щепкиным на юг России осуществился в мае 1846 г. (см. письма 266—284).

⁶ Н. П. Огарев вернулся из-за границы в начале марта 1846 г. О недовольстве Белинского Огаревым см. письмо 254.

259. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пышным (ВЕ 1875, № 5, стр. 140—141); полностью — в Письмах, т. III, стр. 106—107.

¹ Последнее известное письмо Белинского к Боткину этого времени — от 24/V 1843 г. (№ 221). О том, что Белинский писал ему и позже, свидетельствует ответ Боткина от 6/VII 1845 г. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 188). Кроме того, известны 4 письма Боткина к Белинскому за 1844—1845 гг. (там же, стр. 183—187).

² Боткин возвратился из-за границы (куда он уехал в сентябре 1843 г.) около ноября 1846 г. (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 520).

³ Родился Белинский 1 июня 1811 г., следовательно, в 1846 г. ему было 35, а не 36 лет (см. об этом Письма, т. III, стр. 352—354, а также «Новое время» 1910, № 12364 от 14/VIII).

⁴ См. примеч. 14 к письму 256.

⁵ Н. П. Боткин. Видимо, он ехал за границу и письмо было передано через него.

⁶ Это письмо не сохранилось.

260. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

Печатается по автографу, хранящемуся в Отделе редкой книги Научной библиотеки МГУ (архив П. Н. Кудрявцева). Впервые опубликовано в ЛН, т. 55, 1948, стр. 427—428.

¹ Повесть Кудрявцева «Без рассвета». См. примеч. 19 к письму 253 и письмо 268.

² Кудрявцев в это время был в Берлине. Об отношении Белинского к философии Шеллинга см. письма 199, 204, 268, 289.

261. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые частично опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 207—209; полностью (с искажениями и пропусками отдельных слов) — в РМ 1891, № 1, стр. 18—22.

¹ Это письмо Герцена не сохранилось.

² Шутливый намек на повесть Герцена «Записки доктора Крупова».

³ См. письмо 248 и примеч. 2 к нему.

⁴ Белинский имеет в виду эпизод из повести «Кто виноват?» — «Владимир Бельтов» (см. письмо 253, примеч. 16).

⁵ От французского *bâtard* — внебрачный ребенок.

⁶ От греческого *εἴρημα* — нашел.

⁷ В основе мифа о Рее и Кроносе лежит рассказ о предсказании Кроносу, что один из сыновей лишит его престола. После этого предсказания Кронос съедал своих новорожденных детей. Но Рея спасла Зевса, подсунув, вместо него, Кроносу камень, завернутый в пеленку.

⁸ См. примеч. 2 к письму 254.

⁹ О К. С. Милановском см. письмо 205 и примеч. 6 к нему.

262. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пышина) в Письмах, т. III, стр. 111—112.

¹ Белинский, действительно, приехал в Москву 28 апреля 1846 г. (см. письмо 263).

² Ответ Д. П. Иванова неизвестен.

263. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 142); полностью — А. В. Орловой в сб. «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». М., 1897, отд. I, стр. 3—4.

¹ М. С. Щепкин.

² Н. А. Герцен.

³ См. письмо 227 и примеч. 2 к нему.

⁴ См. примеч. 8 к письму 257.

264. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 142); полностью — А. В. Орловой в сб. «Братская помощь...». М., 1897, отд. I, стр. 4—6.

¹ М. В. Белинская с дочерью собиралась выехать на дачу в Гапсаль.

² Отец М. В. Белинской. См. письмо 263.

³ См. письмо 227 и примеч. 10 к нему.

⁴ Об обеде в честь Белинского Герцен писал 20/V 1846 г. из Москвы А. А. Краевскому: «Вероятно, вы слышали о réception monstre,* которое здесь было сделано Белинскому: огромный обед у Шевалье и дюжина обедов дружеских, потом проводы за 18 верст. Вам должно быть весьма приятно это признание „От. зап.“ в главном деятеле их» (ПссГ, т. IV, стр. 413).

⁵ Так называл Белинский дочь Ольгу. См. примеч. 8 к письму 257.

265. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 121.

266. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 121—123.

* необычайно грандиозном приеме (франц.).— Ред.

- ¹ Письма М. В. Белинской к Белинскому не сохранились.
 - ² См. примеч. 5 к письму [264.
 - ³ Маслов Иван Ильич (1817—1891), друг Белинского (см. о нем примеч. 6 к письму 269 и РС 1909, № 3, стр. 655, 657).
 - ⁴ Белинский имеет в виду пьесу П. Н. Кудрявцева «Ошибка», напечатанную в № 10 «Отеч. записок» 1845 г. (отд. I, стр. 234—271).
 - ⁵ «Монастырь» — Александровский институт, в котором Н. И. Остроумова была классной дамой.
 - ⁶ Вероятно, одна из служащих Александровского института.
 - ⁷ Бенефис А. Е. Мартынова состоялся 14 мая 1846 г. в Большом театре в Москве. Были поставлены комедии: «Жена, или Карты» П. И. Григорьева, «Именины городничего, или Старый друг лучше новых двух» С. Соловьева, «Сто тысяч, или Беда иметь от мужа тайны» П. С. Федорова и «Черный день на Черной речке» Н. Яковлевского («Моск. ведомости» 1846, № 58 от 14/V).
- Белинский со Цепкиным выехали из Москвы 16 мая (см. письмо 269).

267. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 123—124.

- ¹ См. письмо 266.
- ² Николай Николаевич и Александра Петровна Тютчевы. О Н. Н. Тютчеве см. письмо 210 и примеч. 18 к нему.
- ³ Это письмо не сохранилось.
- ⁴ У Языковых умер двухлетний сын (см. письмо 257).

268. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

Печатается по автографу, хранящемуся в Отделе редкой книги Научной библиотеки МГУ (архив П. Н. Кудрявцева). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 140); полностью (неточно; по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 118—119.

- ¹ Речь идет о повести Кудрявцева «Без рассвета», предназначенной для альманаха Белинского. См. письма 253 и 260.
- ² См. письмо 266 и примеч. 4 к нему.
- ³ См. примеч. 6 к письму 222.
- ⁴ При публикации повести в № 2 «Современника» 1847 г. Кудрявцев исправил ее в соответствии с замечаниями Белинского.
- ⁵ Статья Кудрявцева «Бельведер» о венской картинной галерее, напечатанная в «Отеч. записках» 1846 г., № 3 (отд. VIII, стр. 14—42), за подписью: Нестроев.
- ⁶ Об отрицательном отношении Белинского в эту пору к Шеллингу см. письма 199, 204, 260, 289.

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 143—144); полностью — в сб. «Братская помощь...». М., 1897, отд. I, стр. 6—10.

- ¹ Николай Михайлович Щепкин. См. письмо 278 и примеч. к нему.
- ² Это письмо Белинского не сохранилось (оно, несомненно, пропало тогда же, не дойдя до адресата).
- ³ О проводах Белинского из Москвы рассказал в своих воспоминаниях И. П. Панаев (Панаев, стр. 193—194). Среди провожающих были Герцен, Грановский, Кетчер, Корш.
- ⁴ Смирнова (Россет) Александра Осиповна (1809—1882), фрейлина царского двора, жена (с 1832 г.) Николая Михайловича Смирнова (1807—1870), в то время калужского губернатора, приятельница Пушкина, Гоголя, Жуковского, Лермонтова, Вяземского.
И. С. Аксаков, бывший в это время в Калуге, делился в письмах к родным впечатлениями от встреч с Белинским у Смирновых (вечера и обеды—19, 20, 22 и 26 мая) («И. С. Аксаков в его письмах», ч. I, т. I. М., 1888, стр. 328—334, 337, 339). Аксаков сообщает о шести спектаклях с участием Щепкина: «Ревизор» (19 мая), «Мирандолина» (20 мая), «Повар и секретарь» и «Филипп» (24 мая), «Два купца и два отца» (25 мая), выступление 28 мая и бенефис 27 мая.
- ⁵ Бабелина (Боболина) — прославленная греческая героиня, участница греческого освободительного движения начала 1820-х годов.
- ⁶ Слух о смерти И. Н. Скобелева оказался ложным; он умер в 1849 г. (см. о нем ИАН, т. XI, письмо 65 и примеч. 6 к нему). И. П. Маслов был секретарем Скобелева.
- ⁷ Петербургский врач, лечивший Белинского.
- ⁸ Семья Андрея Ивановича Кронеберга, переводчика.
- ⁹ А. А. Комаров.— Деньги Белинскому обещал Герцен. См. письмо 285.
- ¹⁰ Этот проект Некрасова не осуществился.
- ¹¹ Отец Герцена И. А. Яковлев умер 6 мая 1846 г. в Москве.
- ¹² См. примеч. 1 к письму 271.

270. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 144—145); полностью (неточно) — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 130—133.

- ¹ В Ревеле жил брат Ф. М. Достоевского Михаил Михайлович Достоевский (1820—1864), литератор, с женой Эмилией Федоровной (1822—1879). В письме от 26/IV 1846 г. Достоевский просил брата «пригреть» семью Белинского в Гапсале, а 16 мая дал М. В. Белинской рекомендательное письмо к родным (Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л. 1928, стр. 91—92).
- ² Этот план остался неосуществленным.
- ³ 13 июня — день рождения О. В. Белинской.

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 145); полностью (неточно) — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 133—136.

- ¹ Соколов Александр Иванович, одесский чиновник, близкий к литературным кругам, бывший студент Московского университета. См. о нем письмо 273 и письмо Огарева к Грановскому от 28/VI 1849 г. («Звенья», I, 1932, стр. 149). Повидимому, Белинский имел к Соколову рекомендательное письмо из Москвы (может быть, от Герцена). Сохранилось одно письмо Соколова к Белинскому от 2/VIII 1846 г., после отъезда Белинского из Одессы (БКр, стр. 274—275).

272. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 145); полностью (неточно) — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 136—139.

- ¹ Содержатель труппы — известный актер-комик Жураковский, давний знакомый Щепкина (см. о нем воспоминания Шамакова в сб. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 396).

273. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые (с пропусками) опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 209—211; полностью (с искажениями) — в РМ 1891, № 1, стр. 22—24.

- ¹ Письмо это не сохранилось.
- ² См. примеч. 1 к письму 253.
- ³ Этот замысел не был осуществлен.
- ⁴ Речь идет о «Московском литературном и ученом сборнике». М., 1846 (ценз. разр. 13/V 1846), составленном из произведений И. С. и К. С. Аксаковых, Н. М. Языкова, С. М. Соловьева, М. А. Максимова, Ю. Ф. Самарина, П. А. Вяземского и др.
В статье Ю. Ф. Самарина «Тарантас. Путевые впечатления В. А. Соллогуба» (стр. 545—579; за подписью: М... З... К...) отмечалось отсутствие «единства мысли» в повести «Тарантас». Характеризуя в начале статьи «споры» вокруг «Тарантаса», Самарин касался прежде всего разбора этой повести, сделанного Белинским (см. письмо 292 и примеч. 6 к нему), не называя критика по имени (стр. 546).

А. С. Хомяков в статье «Мнение русских об иностранцах» (стр. 147—198) попутно полемизировал с оценкой «Бориса Годунова» в десятой статье Белинского «Сочинения Александра Пушкина» («Отеч. записки» 1845, № 11; ИАН, т. VII, стр. 505—534), считая характеристику образа Годунова как мелодраматического героя одним из «художественных промахов» критика (стр. 179—180). Хомяков нигде не упоминает имени Белинского.

Во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» Белинский дал положительный отзыв о статье Ю. Ф. Самарина (см. ИАН, т. X, стр. 46). Специальный разбор «Московского сборника» Белинским написан не был.

- ⁵ Имеется в виду рецензия на брошюру Белинского о Полевом в июньской книжке «Библия для чтения» 1846 г. (отд. VI, стр. 50—54; без подписи). Сенковский высмеивал Белинского, называя его «юношей».

⁶ Перефразировка строки из стихотворения С. П. Шевырева «Чтение Данта» («Что в море купаться, что Данта читать...»).

⁷ См. письмо 271 и примеч. 1 к нему.

⁸ Из басни И. И. Дмитриева «Прохожий» (1803 г.).

⁹ М. К. Эрн (1823—1916), в замужестве Рейхель, близкий друг Герцена с детских лет, уехавшая с ним за границу.

274. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые процитировано А. Н. Пылиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 145); полностью опубликовано в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 139—141.

¹ См. примеч. 1 к письму 272.

275. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано Г. А. Джаншиевым в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 141—143.

¹ А. А. Комаров.

² О знакомстве М. В. Белинской и А. В. Орловой с родственниками Ф. М. Достоевского в Ревеле см. письмо 270 и примеч. 1 к нему.

276. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пылиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 147); полностью (неточно) — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 144—145.

¹ Берх Мориц Борисович (1776—1860), адмирал, главный командир Черноморского флота.

277. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано неточно Г. А. Джаншиевым в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 145—148.

¹ О Берхе см. письмо 276 и примеч. 1 к нему.

278. Н. М. ЩЕПКИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые опубликовано Л. Э. Бухгеймом в брошюре «Три письма В. Г. Белинского к Н. М. Щепкину». М., 1914, стр. 5—6.

Щепкин Николай Михайлович (1820—1886)— младший сын М. С. Щепкина, кавалерийский офицер, находившийся в это время в Воронеже, впоследствии издатель и общественный деятель; издал вместе с К. Т. Солдатенковым в 1859 г. первое собрание сочинений Белинского (в 12 томах).

Сохранилось три письма Белинского к Н. М. Щепкину (см. еще 284, 296) и одно письмо Н. М. Щепкина к Белинскому от 10/IV 1840 г. (БКр, стр. 282. Принадлежность его Н. М. Щепкину установлена Ю. Г. Оксманом — см. ЛН, т. 56, стр. 237).

² М. С. Щепкин.

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 147); полностью — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 148—150.

- ¹ Запрещение спектаклей было вызвано Успенским постом, продолжавшимся с 1 по 15 августа.
- ² Собаки Белинского.

280. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано неточно Г. А. Джаншиевым в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 150—153.

- ¹ Прокопович Николай Яковлевич (1810—1857), поэт, преподаватель словесности в петербургских кадетских корпусах, друг Гоголя и доверенное лицо в изданиях его произведений. Белинский в то время издавал с Прокоповичем и Некрасовым «Стихотворения Кольцова» (СПб., 1846).
- ² См. примеч. 1 к письму 276.
- ³ Мать А. П. Тютчевой, жены Н. Н. Тютчева.
- ⁴ Сохранилось письмо Некрасова к Белинскому от 15—26/IX 1846 г., адресованное в Москву, целиком посвященное вопросам организации «Современника» (Полн. собр. соч. Некрасова. М., 1952, т. X, стр. 52—54).

281. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 147—148); полностью — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 153—154.

- ¹ См. примеч. 1 к письму 271.
- ² Книга Лесажа «Histoire de Gil Blas de Santillane» («История Жиль-блаза из Сантильяны») сохранилась в библиотеке Белинского в парижском издании 1841 г. (см. ЛН, т. 55, стр. 559).
В рецензии на «Кузьму Петровича Мирошева» 1842 г. Белинский писал, что Жильблаз «прославлен не в меру и не по достоинству» (ИАН, т. VI, стр. 32).
- ³ Роман П. Скаррона (1610—1660). См. о нем ИАН, т. X, стр. 104.
- ⁴ Роман Ж. Санд, вошедший в собрание ее сочинений в 16 томах (изд. Перротена), выходившее в Париже между 1842 и 1845 гг. Парижское издание романа 1837 г. было запрещено в России, как «предосудительное» в нравственном и политическом отношениях.

282. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 148); полностью — в сб. «Памяти В. Г. Белинского». М., 1899, стр. 154—156.

- ¹ О жизни Белинского в Симферополе, о его знакомстве там с В. М. Княжевичем и будущим композитором и музыкальным критиком

А. Н. Серовым см. воспоминания И. Шмакова («Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 396—398).

² См. письмо 281 и примеч. 4 к нему.

³ «Исповедь» Ж. Ж. Руссо, входящая в I том издания сочинений Руссо («Oeuvres complètes de J. J. Rousseau, avec des notes historiques». Paris, 1839, в 4-х тт.), подаренного Герценом Белинскому перед его отъездом на юг 3 мая 1846 г. Книга эта сохранилась в библиотеке Белинского; на ней в двух местах имеются его пометки (см. ЛН, т. 55, стр. 558, 562, 564).

О впечатлении Белинского от «Исповеди» Руссо см. письмо 325 и примеч. 9 к нему.

283. А. И. ГЕРЦЕНУ

Печатается по автографу (ЦГАОР, архив Герцена — Огарева). Впервые опубликовано А. И. Герценом в «Полярной звезде» на 1859 г., стр. 211—213.

¹ Кошихин (Котошихин) Григорий Карпович (ок. 1630—1667). См. письмо 175, примеч. 5 к нему.

² «Voquillon» (Бокильон). Водевиль. Соч. Баяра и Дюмануара (см. заметку об этой пьесе в «Отеч. записках» 1845, № 2, отд. VIII, стр. 129).

284. Н. М. ЩЕПКИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые опубликовано неточно Л. Э. Бухгеймом в брошюре «Три письма В. Г. Белинского к Н. М. Щепкину». М., 1914, стр. 6—7.

¹ См. письмо 278.

² О пребывании Белинского и М. С. Щепкина на обратном пути в Воронеже сведений не сохранилось.

1847

285. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 152); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 160—163.

¹ Это письмо не сохранилось. В ответном письме от 4/II 1847 г. Боткин сообщил слова, сказанные ему Некрасовым: «Мы хотим помешать статьи преимущественно о России и оригинальные» («Литер. мысль», II, 1923, стр. 188—189).

² Статья Корша о Гердере неизвестна.

³ «Письма об Испании» В. П. Боткина публиковались в «Современнике» 1847 г., начиная с мартовского номера (отд. II, стр. 32—62).

⁴ Имеется в виду увлечение Боткина в то время позитивной философией Конта, с ее апологией капиталистического «прогресса», с ее буржуазно-либеральной ограниченностью, с ее враждой к революционной демократии. Об отношении Белинского к Конту см. письмо 286.

⁵ В «Отеч. записках» 1846, № 12, была напечатана повесть Д. В. Григоровича «Деревня». Некрасов возражал против помещения положитель-

ного отзыва о ней в «Современнике» из-за того, что повесть появилась в журнале Краевского. Однако Белинский уделил оценке «Деревни» место в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (ИАН, т. X, стр. 42—43). См. об этом в «Литературных воспоминаниях» Григоровича (М.—Л., 1928, стр. 161), а также в воспоминаниях Кавелина («Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 93).— О повестях Кудрявцева, печатавшихся в «Отеч. записках», в «Современнике» ничего не появилось.

- ⁶ Вероятно, речь идет о повести А. Я. Панаевой «Семейство Тальниковых», помещенной в «Иллюстрированном альманахе» 1848 г.
- ⁷ Белинский имеет в виду стихотворение Огарева «Монологи», напечатанное в № 6 «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 204—206).
- ⁸ Поездка Белинского на воды в Силезию состоялась в мае — июле 1847 г. при содействии друзей, главным образом Боткина. Последний откликнулся на эти строки Белинского обещанием дать ему на поездку 2500 р. асс., а в случае необходимости добавить еще («Литер. мысль», II, 1923, стр. 188—189).
- ⁹ О договоренности Белинского с Некрасовым об участии в «Современнике» см. письмо 290.
- ¹⁰ Белинский имеет в виду отклики славянофилов на книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями». СПб., 1847. Об этих откликах см. книгу С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем». М., 1890, стр. 162—178, а также письма Гоголя 1847 г. (Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XII, 1952). Отзывы Белинского о книге Гоголя см. ИАН, т. X, стр. 60—78, 212—220 и письма 286, 287, 290, 292, 298.
- ¹¹ Эта строка написана Белинским каракулями от имени годовалой Оли.

286. Р. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 153—155); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 112—113); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 163—167.

¹ См. письмо 285.

² М. А. Бакунин.

³ В № 2 «Современника» 1847 г. были напечатаны: повесть Кудрявцева «Без рассвета», рассказ Тургенева «Петр Петрович Каратаев», очерк Н. А. Мельгунова «Иван Филиппович Вернет, швейцарский уроженец», стихотворение Некрасова «Псовая охота» и Огарева «Отъезд», статья С. М. Соловьева «Даниил Романович, король Галицкий» и др. См. также примеч. 4—6 к наст. письму.

⁴ Речь идет о статье Белинского «Выбранные места из переписки с друзьями Николая Гоголя. СПб. 1847» («Современник» 1847, № 2, отд. III, стр. 103—124; за подписью: В. Б.). См. письмо 292 и ИАН, т. X, № 5.

⁵ Статья С. С. Уварова (в переводе с французского языка) «Исследование об эльзвизских тайнствах», напечатанная в № 2 «Современника» 1847 г. с предисловием «От редакции „Современника“» (отд. II, стр. 75—108).

⁶ Э. Литтре. Важность и успехи физиологии («Современник» 1847, № 2, отд. II, стр. 125—164).

Литтре Эмиль (1801—1881), французский ученый, последователь философии Конта и популяризатор ее. — «Journal des Débats» — ежедневная газета консервативного направления, выходившая в Париже.

- ⁷ О труде Луи Блана «История десяти лет» см. письмо 215 и примеч. 18 к нему.
- ⁸ Белинский имеет в виду статью Э. Сессе «La philosophie positive» («Позитивная философия»), напечатанную в «Revue des Deux Mondes» 1846, т. XV, № 5, стр. 185—220. См. о ней также письмо 289.
- ⁹ О книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» см. примеч. 4 к настоящему письму, письмо 285, примеч. 10, письмо 287, примеч. 6 и письма 290, 292, 298.
- ¹⁰ Белинский имеет в виду фельетон «Праздник, данный 24 января г. Римским-Корсаковым», напечатанный в «Московском городском листке» 1847, № 23 от 28/I, за подписью: М. П.
- ¹¹ Похвалы Белинского преобразованным «С.-Петербургским ведомостям» находились в «Современных заметках» («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 179—189; ИАН, т. X, стр. 88—90). Строки, направленные против «Северной пчелы», заключали в себе похвалы фельетонам «С.-Петербургских ведомостей», которые «...никогда не говорят о себе, о своей любви к правде и что все их за нее гонят, о гибели чистоты русского языка литераторами чужого прихода, и тому подобных пошлостях...».

287. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 155); полностью (неточно; по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 167—169.

- ¹ Письмо к Боткину от 6/II 1847 г. (№ 286); письмо Боткина к Белинскому от 4/II 1847 г. (см. «Литер. мысль», II, 1923, стр. 186—189).
- ² Из перечисленных писем сохранилось только одно — к Д. П. Иванову (№ 288).
- ³ «Письма об Испании» Боткина появились в мартовском номере «Современника» (см. о них письма 285, 289 и 291).
- ⁴ Записка к Боткину не сохранилась.
- ⁵ Речь идет об анонимной рецензии в «Сыне отечества» (1847, № 1, отд. VI, стр. 11—39) на «Историю русской словесности» С. П. Шевырева.
- ⁶ Письма Н. Ф. Павлова, посвященные «Выбранным местам из переписки с друзьями» Гоголя, появились в «Моск. ведомостях» 1847, №№ 28, 38, 46 от 6 и 29/III и 17/IV. По желанию Белинского, они позднее были напечатаны в «Современнике» 1847 г. (№№ 5 и 8, отд. IV, стр. 6 и 88—93). См. также о них письма 289, 298 и 322.
- ⁷ См. письмо 285 и примеч. 1 к нему.
- ⁸ От франц. susceptible — раздражительный, поддающийся влиянию.
- ⁹ «Московский городской листок», ежедневная газета, издававшаяся В. Драшусовым в 1847 г. В январских номерах газеты печатались главным образом сотрудники «Москвитянина».

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 169—171.

- ¹ Боткин из-за границы приехал в Петербург.
- ² Речь идет о письме М. В. Белинской, которое было послано в Москву ко времени возвращения Белинского с юга и разошлось с адресатом.
- ³ М. А. Языков с Н. Н. Тютчевым в октябре 1846 г. открыли контору экспедиции и комиссионерства (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 523—524).
- ⁴ Л. С. Владыкина. См. ИАН, т. XI, письмо 1 и примеч. 3 к нему.
- ⁵ А. П. Иванов и его жена. См. ИАН, т. XI, примеч. к письму 7.
- ⁶ Барсов К. П. (1821—1888), воспитанник, а впоследствии зять М. С. Щепкина, московский либеральный общественный деятель. См. его письмо к Н. М. Щепкину о Белинском от 17/II 1847 г. (ЛН, т. 56, стр. 187—188).
- ⁷ Перевлесский Петр Миронович (1815—1866), педагог, автор популярных учебников и хрестоматий.
- ⁸ Сын Белинского, Владимир (24 ноября 1846 г.—около 20 марта 1847 г.). См. о нем письма 299, 302, а также: «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 524; воспоминания А. В. Орловой (сб. «Лепта Белинского». М., 1892, стр. 20) и Н. Н. Тютчева (Письма, т. III, стр. 448).

289. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 155—158); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 113, 115); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина)—в Письмах, т. III, стр. 171—177.

- ¹ Трудно сказать, имеет ли Белинский в виду письмо Боткина от 4/II или какую-то записку, не дошедшую до нас.—Статья Боткина — «Письма об Испании» (см. письма 285, 287 и 291).
- ² «Обыкновенная история» («Современник» 1847, № 3, отд. I, стр. 5—158).
- ³ Повесть «Битва жизни», напечатанная в переводе А. И. Кронеберга в «Современнике» 1847, № 3 (отд. I, стр. 159—238). См. о ней письмо 297.
- ⁴ Перевод статьи О. Тьерри в «Современнике» не появился.
- ⁵ Статья А. С. Комарова о железных дорогах не была опубликована в «Современнике».
- ⁶ Небольсин Григорий Павлович (1811—1896), статистик и экономист. В № 1 «Современника» 1847 г. напечатана его статья «О преобразовании хлебного закона Великобритании и о видах на сбыт хлеба в это государство» (отд. IV, стр. 1—9) за подписью: Г. Н.—ъ, а в № 2—пространная рецензия — «Государственная внешняя торговля в разных ее видах (40 таблиц)» (отд. III, стр. 144—162).
- ⁷ Речь идет, вероятно, о статье «Европейские железные дороги в историческом, географическом и статистическом отношениях, помещенной в «Отеч. записках» 1846 г. (№ 6, отд. II, стр. 27—56) за подписью: — вь. Белинский упомянул о ней в обзоре русской литературы 1846 г. (ИАН, т. X, стр. 48).

- 8 Савич Алексей Николаевич (1810—1883), член кружка Герцена, профессор Петербургского университета, астроном. В № 3 «Современника» 1847 г. была помещена его статья «Опыт общепонятного исторического рассказа о том, как открыта новая планета Нептун» (отд. II, стр. 1—20).
- 9 Этот замысел Тургенева не осуществился.
- 10 Речь идет о статьях К. Д. Кавелина, посвященных разбору «Исследований, замечаний и лекций М. Погодина о русской истории. М., 1846» и напечатанных в «Отеч. записках» 1847 г. (№ 2, отд. V, стр. 39—76; № 3, отд. V, стр. 1—46) без подписи.
- 11 Белинский, вероятно, имеет в виду роман Бульвера «Saxtons», вышедший в свет в 1846 г. В русском переводе — «Какстоны». М., 1851.
- 12 Заметка А. И. Кронеберга «Центральное солнце» была напечатана анонимно в «Современнике» 1847, № 2 (отд. IV, стр. 117—121).
- 13 Сочинения В. И. Даля — «Повести, сказки и рассказы казака Луганского. Четыре части» вышли в 1846 г. в Петербурге. В № 2 «Современника» Белинский поместил положительную рецензию на это издание, выделив особо рассказы: «Колбасники», «Бородачи», «Денщик», «Дворник» (отд. III, стр. 134—138; без подписи; ИАН, т. X, № 6). Повесть «Павел Алексеевич Игривый» была напечатана в «Отеч. записках» 1847 г. (№ 2, отд. I, стр. 307—372) за подписью В. Луганский. — «Небывалое в былом, или Былое в небывалом» («Отеч. записки» 1846, №№ 5 и 6, отд. I, стр. 1—70, 151—190, у Белинского «Бывалое в небывалом, или Небывалое в былом») Белинский отметил во «Взгляде на русскую литературу 1846 года» (ИАН, т. X, стр. 42).
- 14 См. примеч. 11 и 19 к письму 253.
- 15 См. письмо 286 и примеч. 8 к нему.
- 16 О прежнем отношении Белинского к идеям Леру см. примеч. 10 к письму 197.
- 17 Персонаж из «Мертвых душ» Гоголя, лакей Чичикова.
- 18 Статья Александра Жерара Тома (1818—1857) о Шеллинге была напечатана в «Revue des Deux Mondes» 1846, т. XV, № 5, стр. 351—416.
- 19 Во «Втором письме из Парижа» Анненкова от 4/I 1847 г. («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 149) Белинский изъясил следующие строки о романе Санд «Лукреция Флориани» (выделены курсивом): «...этот перл романов Ж. Санда, в котором не знаешь, чему более удивляться, широте ли кисти, глубине ли характеров, мастерству ли рассказа, и который многие приняли за снятие всякого запрещения, между тем как он есть напротив самое строгое наложение правил на праздношатание страстей, по моему мнению, разумеется, и моральный вопрос разрешается превосходно...». Роман этот в переводе А. И. Кронеберга был дан в особом приложении к I тому «Современника» 1847 г.
- 20 О статье Э. И. Губера «Выбранные места из переписки с друзьями Н. Гоголя». СПб., 1846, напечатанной в «С.-Петербургских ведомостях» 1847, № 35 от 15/II, см. также письмо 292.
- 21 «Der Einzige und sein Eigentum» («Единственный и его достояние»). Leipzig, 1845. Эта книга — апология индивидуализма и анархии; см. о ней: К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, «Немецкая идеология», гл. III («Святой Макс»). В январе 1846 г. она была запрещена в России Цензурным комитетом (см. «Каторга и ссылка» 1929, № 6, стр. 195). Об интересе Белинского к книге Штирнера см. в «Литературных воспоминаниях» П. В. Анненкова (М.—Л., 1928, стр. 558—563).

- ²² Речь идет, очевидно, о повести «Неточка Незванова», написанной несколько позднее (см. Ф. М. Достоевский. Письма, т. I. М.—Л., 1928, стр. 97 и 493). О ней Краевский сообщил в объявлении «Об издании „Отечественных записок“ в 1848 году» (стр. 7).
- ²³ Белинский намекает на развод Боткина с Арманс. См. письмо 213 и примеч. 6 к нему.
- ²⁴ См. письмо 287 и примеч. 6 к нему, а также письмо 298.
- ²⁵ Ни упомянутые письма Боткина и Кавелина, ни ответы на них Белинского не сохранились. О содержании письма Кавелина и ответа Белинского см. письмо 290, стр. 334.

290. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф неизвестен. Впервые частично опубликовано И. С. Тургеневым в «Воспоминаниях о Белинском» (ВЕ 1869, № 4, стр. 726—728); дополнено А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 158); полностью — в Письмах, т. III, стр. 177—181.

- ¹ Тургенев уехал в Берлин около 15 января 1847 г.
- ² Либеральное крыло московских друзей Белинского считало более правильным сохранение двух органов оппозиционной печати и несколько опасалось связывать свою судьбу с «Современником». Кроме того, московские друзья Белинского были возмущены тем обстоятельством, что Некрасов и Панаев не пригласили его в соредакторы «Современника» и считали, что он поставлен в положение «наемного работника». Это ложное представление о роли Белинского в новом журнале вызвало у Боткина, Кавелина, Герцена, Грановского и Кетчера несколько враждебное отношение к «Современнику». Результатом недоверия к Некрасову и Панаеву явилось одновременное сотрудничество московских литераторов в «Отеч. записках» и в «Современнике», сильно подрывавшее авторитет последнего. Огорчение и недоумение по поводу поведения «московичей» отразилось в письмах Белинского (294, 317, 319, 320, 322), Панаева к Кетчеру от 1/X 1846 г. (Письма, т. III, стр. 362—364) и Некрасова к нему же от 4/XI 1847 г. и к Боткину от 11/IV 1847 г. (Полн. собр. соч. Некрасова. М., 1952, т. X, стр. 66—68, 85—87).

Впоследствии, в 1869 г., Некрасов в письме к М. Е. Салтыкову-Щедрину объяснял отношение к Белинскому опасениями, что в случае смерти последнего ему и Панаеву пришлось бы иметь дело с вдовой критика (там же. М., 1952, т. XI, стр. 130—137). См. также н. т., письмо 285.

О письме Кавелина см. письмо 289, примеч. 25 к нему.

- ³ Толстой Григорий Михайлович (1808—1871), богатый казанский помещик, приятель Панаева; в 1844—1847 гг., находясь за границей, познакомился с Марксом и Энгельсом. Некрасов вместе с Панаевым были летом 1846 г. в имении Толстого Казанской губ. Ново-Спасском, где они и договорились об издании «Современника». — О Толстом см. статью К. И. Чуковского «Григорий Толстой и Некрасов. К истории журнала „Современник“» — ЛН, т. 49-50, 1949, стр. 365—396.
- ⁴ См. об этом письмо 285 и примеч. 8 к нему.
- ⁵ «Роман в девяти письмах» Достоевского, напечатанный в «Современнике» 1847, № 1 (отд. IV, стр. 45—54).
- ⁶ См. письмо 289 и примеч. 22 к нему.

⁷ «Русак» — первоначальное заглавие рассказа Тургенева «Петр Петрович Каратаев» (см. о нем письмо 253, примеч. 11). — «Хорь и Калиныч» (с подзаголовком «Из записок охотника») был напечатан в «Современнике» 1847 г. (№ 1, отд. IV, стр. 55—64). — «Ермолай и мельничиха» — там же (№ 5, отд. I, стр. 130—141). — Рассказ «Бретер» появился в «Отеч. записках» 1847 г. (№ 1, отд. I, стр. 1—6).

В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский подробно остановился на «Записках охотника», особенно высоко оценив «Хоря и Калиныча» (см. ИАН, т. X, стр. 344—347).

⁸ Очевидно, речь идет о стихотворении Некрасова «Нравственный человек», напечатанном в мартовском номере «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 239—240).

Слово «топор», по определению К. И. Чуковского, — «грозное боевое оружие, наносящее смертельные раны врагу» (К. И. Чуковский. Мастерство Некрасова. М., 1952, стр. 164—165).

⁹ См. письмо 253 и примеч. 19 к нему.

¹⁰ Цитата из стихотворения Пушкина «Чертог сиял. Гремели хором...», вошедшего в повесть «Египетские ночи». Здесь Белинский, вероятно, намекает на отношение Тургенева к Полине Виардо (см. о ней письмо 304 и примеч. 1 к нему).

¹¹ Сын Белинского, Владимир, которого крестил Тургенев. См. о нем письмо 288 и примеч. 8 к нему.

¹² Книга Гоголя — «Выбранные места из переписки с друзьями». См. письма 285—287, 292, 298.

291. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 158—159); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 181—183.

¹ Это письмо не сохранилось.

² Белинский по ошибке назвал Кавелиным П. В. Анненкова. В письме из Парижа Анненкова от 4/1 1847 г. неоднократно упоминается французский буржуазный экономист Шевалье («Современник» 1847, № 2, отд. IV, стр. 143—144).

³ Куторга Степан Семенович (1805—1861), профессор Петербургского университета по кафедре зоологии; с 1835 по 1848 г. — член Петербургского цензурного комитета, цензуравший «Современник». — «Подарпанная» Куторгой статья Боткина — первое письмо из Испании, напечатанное в мартовском номере «Современника» (см. письмо 285 и примеч. 3 к нему).

⁴ О письме П. В. Анненкова к Боткину см. письма 292, примеч. 2, и 293, примеч. 1.

292. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 159—160); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 103); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 183—186.

¹ Это письмо не сохранилось. — Боткин диктовал его, так как некоторое время не владел рукой, поврежденной наехавшими на него санями (см. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 528—529).

- ² Боткин писал Анненкову 28/II 1847 г.: «Зная, какую радость письмо Ваше принесет Белинскому, я послал его к нему» («П. В. Анненков и его друзья», стр. 529). См. письмо 293.
- ³ Белинский выехал за границу 5 мая 1847 г. (см. письма 301 и 302).
- ⁴ Письма 293, 294.
- ⁵ См. письмо 286 и примеч. 4 к нему.
- ⁶ Речь идет о «Педанте» (см. письмо 189 и примеч. 5 к нему) и статье о «Тарантасе» В. А. Соллогуба, в которой дана памфлетная характеристика И. В. Киреевского («Отеч. записки» 1845, № 6; ИАН, т. IX, стр. 81—117).
- ⁷ См. письмо 289 и примеч. 20 к нему.
- ⁸ Талейран Шарль Морис (1754—1838), французский дипломат, известный своей политической беспринципностью.
Феш Жозеф (1763—1839), французский дипломат (дядя Наполеона). Во время революции, отказавшись от духовного сана, служил в Военном министерстве; в 1799 г., обвиненный в хищениях и удаленный из интендантства, снова принял духовное звание; с 1803 г. — кардинал; с 1804 г. — французский посол при папском дворе.
- ⁹ Белинский имеет в виду рассказ Анненкова о провале драмы Понсара «Agnès de Méranie» («Агнесса де Мерани») в третьем письме из Парижа от февраля 1847 г., который заканчивался словами: «...последствия доказали, что *здравый смысл* может производить точно такие же нелепости, как и всякий другой смысл, и даже хуже — производить скучные нелепости» («Современник» 1847, № 3, отд. IV, стр. 42).
- ¹⁰ М. С. Щепкин.
- ¹¹ Этот замысел Белинского не осуществился (см. о нем письмо 273).

293. П. В. АННЕНКОВУ

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пылиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 161—162); полностью в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 581—584.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887) — литературный критик, исследователь и первый биограф Пушкина, друг Белинского и Тургенева, впоследствии известный мемуарист.

Белинский познакомился с Анненковым в апреле 1840 г. на вечерах у А. А. Комарова и скоро близко с ним сошелся. Дружба их укрепилась во время совместного пребывания в Зальцбрунне, где Анненков был единственным свидетелем работы Белинского над письмом к Гоголю. Высказывания Белинского об Анненкове см. в ИАН, т. XI, письма 151, 160, 161, 165 и н. т., письма 291, 292. В своих «Литературных воспоминаниях» Анненков уделил большое место Белинскому.

Из переписки между Белинским и Анненковым до нас дошло пять писем Белинского (см. еще 315, 318, 320, 325) и одно письмо Анненкова от 25/III 1847 г. (Письма, т. III, стр. 368).

- ¹ Об этом письме Анненкова к Боткину см. письмо 292. — Анненков ответил Белинскому из Парижа 25 марта н. с. (Письма, т. III, стр. 368). В тот же день Анненков писал братьям в Петербург о перемене своего маршрута (ЛН, т. 56, стр. 190).
- ² Речь идет о втором «Письме из Парижа» Анненкова (от 4/I 1847 г.), напечатанном в февральском номере «Современника» 1847 г. (отд. IV, стр. 142—153). В нем Анненков рассказывает о полемике по поводу

образования нового факультета Сорбонны — механических искусств, ремесел и земледелия, а также о борьбе партий в Палате депутатов.

³ П. Н. Кудрявцев, бывший в это время за границей.

⁴ Вероятно, имеются в виду слухи о выдвижении в верхах государственного аппарата вопроса о ликвидации крепостных отношений (см. письмо 320).

294. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф неизвестен. Впервые частично опубликовано И. С. Тургеневым в «Воспоминаниях о Белинском» (ВЕ 1869, № 4, стр. 728—729); дополнено А. Н. Пыпиным (там же, 1875, № 5, стр. 161); полностью — в Письмах, т. III, стр. 188—193.

¹ Письмо 290.

² См. письмо 290 и примеч. 2 к нему.

³ Первая часть «Обыкновенной истории», напечатанная в мартовской книжке «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 5—158).

⁴ Повесть «Родственники». См. письмо 253, примеч. 11 и письмо 289.

⁵ Фельетон «Современные заметки» (отд. «Смесь», стр. 71—82; без подписи). Авторство Тургенева устанавливается на основании настоящего письма Белинского.

⁶ О предстоявшем 18 января 1847 г. прощальном бенефисе французских артистов г-на и г-жи Аллан сообщалось в «Театральном известии», напечатанном в «Сев. пчеле» 1847, № 13 от 17/1.

⁷ Белинский имеет в виду ранее высказанное им мнение о неизбежном провале «Отеч. записок» после ухода его и других сотрудников от Краевского (см., например, письмо 261).

⁸ А. С. Комаров. См. письмо 188 и примеч. 12 к нему.

⁹ См. письмо 288 и примеч. 8 к нему.

295. В. П. ВОТКИНУ

Письмо (до слов: «Ясна и понятна») печатается по автографу (ГПБ); конец — по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина); подлинник конца письма, бывший в собрании К. Т. Солдатенкова, неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 162—163); полностью — в Письмах, т. III, стр. 193—196.

¹ 27 февраля 1847 г. в «Сев. пчеле» (№ 46) сообщалось о собрании акционеров Петербургского и Любекского пароходств, на котором среди прочих вопросов обсуждался и вопрос о новых грузовых и пассажирских тарифах.

² Во время рождения и крещения сына отец Белинского служил штаб-лекарем во флоте.

³ Повесть Кудрявцева «Сбоев» напечатана в «Отеч. записках» 1847, № 3 (отд. I, стр. 1—60) за подписью: А. Нестроев. П(ариж)ь, 1846 Дек. 31. Белинский холодно отозвался о ней и в статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (ИАН, т. X, стр. 349—350). О прежней оценке Белинским повестей Кудрявцева см. ИАН, т. XI, письмо 124.

«Кукольная комедия» А. Д. Галахова напечатана там же (отд. I, стр. 61—81) за подписью: Сто один. 1 января 1847. Москва.

- ⁴ Об этих повестях Кудрявцева см. письма 222, примеч. 7, 253, примеч. 19, и 289.
- ⁵ Неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 5).
- ⁶ К повести «Кто виноват?» Герценом дано посвящение: «Посвящается Наталье Александровне Герцен в знак глубокой симпатии». Выражение «ячность» встречается там же, как и слова Бельтова «довлеть самому себе» (ч. II, гл. IV).
- ⁷ Повесть Гончарова «Обыкновенная история». См. письмо 294 и примеч. 3 к нему.
- ⁸ Речь идет о «Письмах об Испании» (см. письма 285, 287, 289, 291). После слов о легитимизме Ройе-Коллара в «письме» Боткина (на стр. 135) многоточием отмечена цензурная купюра; подобные купюры сделаны и далее (стр. 141 и 142).
- ⁹ См. письмо 291 и примеч. 3 к нему. }
- ¹⁰ Ройе-Коллар Поль (1769—1845), участник революции 1793 г., впоследствии умеренный либерал, теоретик конституционной монархии. Посвященный ему биографический очерк попал в апрельский номер «Современника» 1847 г. (отд. VIII, стр. 134—142).
- ¹¹ Письмо Тургенева из Берлина (от 1/II н. с. 1847 г.) было напечатано в «Современнике» 1847, № 3 (отд. IV, стр. 46—49), за подписью: Т.
- ¹² Письмо 293.
- ¹³ Леверье Урбэн Жан Иосиф (1811—1877), астроном, высказал предположение о существовании неизвестной планеты и на основании вычислений установил ее положение. Планета (Нептун) была открыта Галле 23 сентября 1846 г. по указаниям Леверье. — О статье А. Н. Савича см. письмо 289 и примеч. 8 к нему.
- ¹⁴ См. примеч. 1 к письму 292.
- ¹⁵ Слухи о тяжелом состоянии Е. Д. Щепкиной оказались преувеличенными; она умерла в 1859 г.
- ¹⁶ Белинский ответил на просьбу Н. М. Щепкина в письме от 5/III 1847 г. (№ 296).

296. Н. М. ЩЕПКИНУ

Печатается по автографу (ГИМ). Впервые опубликовано Л. Э. Бухгеймом в брошюре «Три письма В. Г. Белинского к Н. М. Щепкину». М., 1914, стр. 7—8.

- ¹ Письмо Н. М. Щепкина к Белинскому не сохранилось. Речь в нем шла о задержке в Военном министерстве резолюции на прошение Щепкина об отставке (см. письмо 295).

297. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 163—164); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 114); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина)— в Письмах, т. III, стр. 196—197.

- ¹ См. письмо 295 и примеч. 8 к нему.
- ² См. письмо 289 и примеч. 3 к нему.
- ³ О болезнях Боткина и Кроненберга см. письма 292, примеч. 4, и 294.

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 164—165); полностью — в Письмах, т. III, стр. 197—199. Конец письма не сохранился, его не получил и Боткин, как явствует из его ответного письма от 27/III 1847 г. (см. «Литер. мысль», II, 1923, стр. 190—191).

- ¹ Речь идет о «Выбранных местах из переписки с друзьями». См. письма 285, 286, 290, 292.
- ² О «Письмах» Н. Ф. Павлова и перепечатке их в «Современнике» см. письмо 287 и примеч. 6 к нему.
О благоговении «русской породы» перед «гниющей перстью» Павлов пишет в первом «письме» («Современник» 1847, № 5, отд. IV, стр. 7).
- ³ Повесть «Обыкновенная история». См. письма 294, 295, 300.
- ⁴ Светлейший князь Волконский — министр императорского двора. См. о нем письмо 198 и примеч. 14 к нему.
Дядя И. И. Панаева — В. И. Панаев, крупный чиновник. См. о нем ИАН, т. XI, письмо 122 и примеч. 3 к нему.
- ⁵ Это письмо Тургенева не сохранилось. — Фингал и Моина — герои трагедии В. А. Озерова «Фингал».
- ⁶ Отрывок из «Записок охотника» — «Мой сосед Радилов», напечатанный в майском номере «Современника» 1847 г. вместе с «Ермолаем и мельничихой», «Одноворцем Овсянниковым» и «Льговом» — отд. I, стр. 130—175). — Повесть — «Петушков», появившаяся в «Современнике» 1848, № 9 (отд. I, стр. 5—46).
- ⁷ О фельетоне Н. А. Мельгунова см. письмо 300 и примеч. 2 к нему.

299. И. С. ТУРГЕНЕВУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф неизвестен. Впервые частично опубликовано И. С. Тургеневым в «Воспоминаниях о Белинском» (ВЕ 1869, № 4, стр. 729); дополнено А. Н. Пыпиным (там же, 1875, № 5, стр. 166); полностью — в Письмах, т. III, стр. 199—200.

Ответное письмо Тургенева см. в Письмах, т. III, стр. 370.

- ¹ Письмо Тургенева не сохранилось.
- ² Сын Белинского, Владимир, умер около 20 марта 1847 г.
- ³ Письмо Белинского разошлось с письмом Тургенева от 5/17 апреля 1847 г., в котором последний выражал желание выехать навстречу Белинскому в Штеттин («Лепта Белинского». М., 1892, стр. 31). См. письмо 298 и примеч. 5 к нему.
- ⁴ Публикации об отъезде Белинского за границу появились в «С.-Петербургских ведомостях» 1847, №№ 78, 80 и 82 от 10, 12 и 15/IV («Отъезжающие за границу»).
- ⁵ Физикат — высшее врачебно-административное учреждение в Петербурге.

300. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ) Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 166); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 200—208.

- 1 Мельгунов Николай Александрович (1804—1867), литератор либерально-дворянского лагеря, сотрудник «Моск. наблюдателя», «Отеч. записок» и «Современника», соавтор книги Кёнига «Litterarische Bilder aus Russland» (1837).
- 2 Фельетон Мельгунова был разделен на две статьи в апрельском номере «Современника» 1847 г.: «Несколько слов о Москве и Петербурге» (отд. II, стр. 63—74; за подписью: Л.) и «Современные заметки» («700-летие Москвы.— Значение Московского университета.— Публичные курсы московских профессоров.— Петербургские и московские славянофилы») (отд. IV, стр. 159—177; за подписью: Н. Л-ский).
- 3 Статья Мельгунова «Берлиоз и его музыкальные произведения» была напечатана в связи с пребыванием Берлиоза в Москве в «Моск. ведомостях» 1847, № 40 от 3/IV, за подписью: Л.
- 4 См. письмо 287 и примеч. 6 к нему, а также письма 289, 298.
- 5 Статья Мельгунова «Бурши и филистеры» появилась в «Отеч. записках» 1847, № 8 (отд. VIII, стр. 148—153), за подписью: Н. Л-ский.
- 6 См. письмо 295 и примеч. 11 к нему.
- 7 Диспут о Москве и Петербурге, затеавшийся Мельгуновым, не состоялся.
- 8 «Ответ г. Шевыреву» Мельгунова был включен в редакционную статью «Спор о благотворительности» («Современник» 1847, № 5, отд. IV, стр. 140—142). Ответ этот являлся продолжением полемики в «Моск. ведомостях» 1847 г. (№№ 20—22) на тему о благотворительности. Полемика началась анонимной статьей «Общественная благотворительность наших дней» («Моск. ведомости» 1847, № 20 от 15/II), автор которой негодовал на благотворительность высших классов, веселящихся под этим предлогом на балах. Мельгунов выступил в следующем номере газеты с возражением, что всякая благотворительность хороша; к тому же, — рассуждал он, — подавание унижает обе стороны («Несколько слов в дополнение к статье „Общественная благотворительность наших дней“ ...», № 21 от 18/II; за подписью: Л.). Шевырев высмеял Мельгунова, изобразив бедных, умирающих от голода в результате своей гордости («Последние на земле бедные, или Человеколюбивая утопия. Очерк драмы в трех лицах и четырех действиях, с эпилогом». — «Моск. ведомости», № 22 от 20/II).
- 9 См. письмо 317 и примеч. 23 к нему.
- 10 Письмо четвертое Анненкова (от 16/III н. с.) из серии «Парижские письма» было напечатано в апрельском номере «Современника» (отд. IV, стр. 149—153).
- 11 Штрадман Роман Романович (род. ок. 1823 г.), литератор, университетский товарищ В. Н. Майкова, помощник его по изданию 1-го выпуска «Карманного словаря иностранных слов...» 1845 г. Привлекался по делу петрашевцев, но был освобожден (см. В. И. Семевский. М. В. Буташевич-Петрашевский и петрашевцы, ч. I. М., 1922, стр. 64—65).
- 12 Этот проект не был осуществлен.
- 13 См. письмо 264 и примеч. 4 к нему.
- 14 Задуманные Белинским статьи не были написаны.
- 15 Майков Валериан Николаевич (1823—1847), литературный критик и публицист, сотрудник «Отеч. записок», «Финского вестника» и «Современника», близкий к петрашевцам; с лета 1846 г. занял место Белинского

в «Отеч. записках». См. о нем письмо 316, а также Соч. Г. В. Плеханова, т. XXIII. М.—Л., 1926, стр. 223—260 и кн. С. А. Макашина «Салтыков-Щедрин. Биография. I». М., 1951 (стр. по указателю).

¹⁶ На обложках «Отеч. записок» 1847 г. Краевский печатал объявление о рассылке книжек журнала конторой редакции через газетную экспедицию.

¹⁷ «Обыкновенная история». См. письма 294, 295, 298.

¹⁸ Боткин ответил на это письмо Белинского 29/IV 1847 г. (см. письмо 301).

301. В. П. БОТКИНУ

Печатается по копии ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 167); полностью — в Письмах, т. III, стр. 208—209.

Это письмо является ответом на письмо Боткина от 29/IV 1847 г., полное заботы о поездке Белинского за границу. В нем Боткин обещал Белинскому прислать еще 1000 р. асс. («Литер. мысль», II, 1923, стр. 191).

¹ Письмо к Анненкову не сохранилось. Письмо к Тургеневу — 299.

302. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в Письмах, т. III, стр. 209—210.

¹ См. письмо 288 и примеч. 8 к нему.

303. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано неточно в «Русских ведомостях» 1898, № 112 от 25/VI.

¹ Победоносцев Сергей Петрович (1816—1850), писатель и переводчик с польского, сотрудник «Отеч. записок» (псевдонимы: Сергей Неомнящий; С. Нейтральный); с 1844 г. — чиновник Министерства государственных имуществ.

304. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 168—169, 189); почти полностью (без приписки) — А. В. Орловой в сб. «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам». М., 1897, отд. I, стр. 10—14; приписка напечатана в «Русских ведомостях» 1898, № 112 от 25/IV.

¹ Виардо Полина, рожд. Гарсия (1821—1910), известная певица; дебютировала в 1838 г.; с 1840 г. — жена литератора и переводчика Луи Виардо (1800—1883), подруга Жорж Санд, изобразившей ее в «Консуэло». В 1843—1844 гг. Виардо была на гастролях в России. Тургенев познакомился с ней в Петербурге в конце октября 1843 г. Любовь к Виардо прошла через всю жизнь Тургенева.

«Гугеноты» — опера Д. Мейербера (1835 г.).

² В № 5 «Современника» были напечатаны четыре рассказа из «Записок охотника» (см. письмо 298 и примеч. 6 к нему), повесть Анненкова «Кирюша»

(за подписью: ***), письма Н. Ф. Павлова к Гоголю и пятое письмо Анненкова из Парижа.

³ «The History of Tom Jones, a Foundling» («История Тома Джонса Найдевыша») Фильдинга в переводе А. И. Кронеберга («Том Джонс») была напечатана в «Современнике» 1848, №№ 5—12.

⁴ Роман Гёте «Избирательное сродство» («Die Wahlverwandschaften») Некрасов, вопреки совету Белинского, поместил в «Современнике» 1847 г. в переводе А. И. Кронеберга под заглавием «Отиллия» (№ 7, отд. I, стр. 5—108; № 8, стр. 298—404).

Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский писал о нем: «Мы даже думаем, что роман этот больше удивил нашу публику, нежели понравился ей» (ИАН, т. X, стр. 310).

305. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в «Русских ведомостях» 1898, № 112 от 25/VI.

¹ Письма М. В. Белинской к Белинскому не сохранились.

² О смерти К. А. Беера см. письмо 306.

306. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в «Русских ведомостях» 1898, № 112 от 25/VI.

¹ Первое и второе письма Белинского — 304 и 305.

² Это письмо не сохранилось.

³ См. примеч. 2 к письму 299.

⁴ Неточная цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 1).

⁵ Вероятно, Языкова Елизавета Петровна (род. 1805?), жена П. М. Языкова, сестра декабриста В. П. Ивашева.

⁶ М. А. Комарова. См. примеч. 1 к письму 229.

⁷ О К. А. Беере и его сестре Н. А. Беер см. ИАН, т. XI, письма 66, примеч. 25, и 67, примеч. 10.

307. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пылиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 169—170); почти полностью — в «Русских ведомостях» 1898, № 124 от 7/VII; полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 226—229.

¹ Не совсем точная цитата из стихотворения Пушкина «Андрей Шенье».

² Письмо Белинского разошлось с двумя большими письмами к нему, Тургеневу и Анненкову вернувшегося из Москвы Некрасова (от 24 и 25/VI 1847 г.). Некрасов информировал друзей о литературных новостях и о положении «Современника» (Письма, т. III, стр. 373—377; Полн. собр. соч. Некрасова, т. X. М., 1952, стр. 68—71). В конце первого письма Некрасова — приписки М. С. Щепкина, И. И. Панаева, И. А. Гончарова и А. И. Кронеберга.

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые (с пропусками) опубликовано в «Русских ведомостях» 1898, № 124 от 7/VII; полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 239—243.

¹ Письмо М. В. Белинской к Тургеневу не сохранилось.

² Этот листок не сохранился.

309. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ; на автографе приписка Боткина на франц. яз.). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 173—174); дополнено Р. В. Ивановым-Разумником (стр. 111—114); полностью (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 243—246.

Ответное письмо Боткина см. в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 541—545.

¹ Штанды — немецкие сословные представительные учреждения («чины»).

² Пауперизм — массовая нищета. На эту тему в «Отеч. записках» 1847 г. была помещена большая статья В. А. Милюткина — «Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» (№ 1, отд. II, стр. 1—70; № 2, стр. 130—160; № 3, стр. 1—36; № 4, стр. 133—165; за подписью: В. М—н).

³ Белинский имеет в виду очерк В. А. Жуковского «Рафаэлева мадонна», напечатанный в «Полярной звезде» на 1824 г. Более подробно об этом Белинский писал во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» ИАН, т. X, стр. 308—309.

⁴ Имя Рафаэля часто встречается в произведениях Пушкина («Кто знает край...», «Ее глаза», «Моцарт и Сальери» и др.).

⁵ О раскрытии хищений инспектора резервного корпуса пехоты генерал-лейтенанта А. Л. Тришатного и командира резервной дивизии Отдельного Кавказского корпуса генерал-лейтенанта Н. И. Добрынина см. в дневнике А. В. Никитенко от 2/IV 1847 г. («Записки и дневник». СПб., 1905, т. I, стр. 369—370) и в записках М. А. Корфа (РС 1900, № 2, стр. 343—344).

⁶ Тест Жан Батист (1780—1852), французский государственный деятель, министр юстиции, в то время член Палаты пэров, приговоренный за взяточничество к трем годам тюрьмы. Через несколько дней после заключения Тест был выпущен на поруки якобы по болезни и помещен в санаторий Тира де Мальмора.

⁷ Жирарден Эмиль (1806—1881), журналист консервативного лагеря, основатель газеты «La Presse» (1836 г.); с 1834 г. член Палаты депутатов, имевший большое влияние в политических и литературных кругах.

⁸ Под «португальской интервенцией» Белинский, вероятно, разумел изгнание португальцами французов из Лиссабона в 1808 г., а под «швейцарской интервенцией» — волнения в швейцарском кантоне Невшатель (или Нейенбург), граничащем с Францией и находившемся до революции 1848 г. под властью прусского короля.

⁹ См. письмо 215 и примеч. 18 к нему.

¹⁰ Ламартин Альфонс Мари Луи (1790—1869), французский поэт и историк, буржуазный либерал, член Временного правительства в 1848 г. В 1847 г. вышел его восьмитомный труд «Histoire des Girondins» («История жирондистов»), апологетически характеризовавший роль либеральной буржуазии в период французской революции. Эту книгу и читал Белинский.

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 171); полностью — А. В. Орловой в сб. «Братская помощь...». М., 1897, отд. I, стр. 14—16.

¹ См. письмо 308.

² См. письмо 306 и примеч. 5 к нему.

³ Речь идет, очевидно, о письме Некрасова от 24/VI 1847 г. (см. о нем письмо 307, примеч. 2).

⁴ См. письмо 309 и примеч. 6 к нему.

311. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 172); полностью — в сб. «Дело. Сборник литературно-научный». М., 1899, стр. 368—369.

312. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 172); полностью — в сб. «Дело...». М., 1899, стр. 369—373.

¹ 14 августа н. с. Герцен с женой выехал в Гавр для лечения старшего сына, Саши.

² О М. Ф. Корш см. письмо 222 и примеч. 10 к нему. — Наташа — старшая дочь Герцена. См. о ней письмо 251 и примеч. 15 к нему.

³ Письмо Гоголя от 10/VIII н. с. 1847 г. из Остенде, ответ на знаменитое зальцбрунское письмо Белинского (см. ИАН, т. X, № 23). Напечатано в Полн. собр. соч. Гоголя. Изд. АН СССР, т. XIII, 1952, стр. 360—361.

⁴ Это письмо не сохранилось.

313. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в сб. «Дело...». М., 1899, стр. 373—375.

¹ Тургенев 17 сентября н. с. 1847 г. написал Белинскому из Куртавнеля, что не сможет приехать с ним проститься (Письма, т. III, стр. 379).

314. М. В. БЕЛИНСКОЙ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано в сб. «Дело...». М., 1899, стр. 375.

¹ Речь идет о письмах 311 и 312. Письмо к Некрасову не сохранилось.

² И. А. Гончаров служил в то время столоначальником в Департаменте внешней торговли.

315. П. В. АННЕНКОВУ

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 174—175); полностью — в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 584—590.

- ¹ Провожатый, рекомендованный Белинскому Анненковым, портье в доме, где он жил, участник похода 1812 г. в Россию.
- ² Гизо Франсуа Пьер Гильом (1787—1874), французский политический деятель и историк, идеолог крупной буржуазии; в то время — глава кабинета министров, существовавшего до февральской революции 1848 г.
- ³ Д. М. Щепкин. См. письмо 318 и ИАН, т. XI, письмо 107, примеч. 39.
- ⁴ См. письмо 309 и примеч. 1 к нему.
- ⁵ Финке Георг Эрнст Фридрих (1811—1875), прусский политический деятель, выдвинувшийся в Соединенном ландтаге 1847 г. защитой конституции.
- ⁶ «Histoire de la Révolution française» («История французской революции») Мишле (1798—1874), французского историка и публициста, друга Герцена.
- ⁷ Мирославский (Мерославский) Людвик (1814—1878), польский революционер, участник восстания 1830 г. В 1847 г. был арестован во время подготовки восстания в Познани и приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Был освобожден в дни революции 1848 г.; впоследствии один из виднейших деятелей польской революционной эмиграции.
- ⁸ От франц. chiffonnier — старьевщик.
- ⁹ Боткин Николай Петрович, бывший в это время в Париже.
- ¹⁰ Наталья Александровна — Герцен. Марья Федоровна — Корш. Саша и Тата — дети Герцена.
- ¹¹ Очевидно, жена Н. П. Боткина.
- ¹² Повар Герцена, грек. См. письмо Герцена к Огареву от 3/VIII н. с. 1847 г. (ПссГ, т. V, стр. 48).
- ¹³ В Париже на авеню Мариньи жила семья Герцена. Отсюда название знаменитых «писем» Герцена (см. о них письмо 321).
- ¹⁴ Сазонов Николай Иванович (1813—1863), товарищ Герцена и Белинского по университету, в то время политический эмигрант, постоянно живший в Париже. Обещанная Сазоновым статья, — вероятно, об «Эстетике» Гегеля (см. письмо 318, а также ЛН, т. 56, стр. 221).
О Сазонове см. главу в «Былом и думах» — «Русские тени. I. Н. И. Сазонов» (ПссГ, т. XIV, 1919, стр. 572—589) и публикацию Б. П. Козьмина в ЛН, т. 41-42, 1941, стр. 178—252.
- ¹⁵ О встречах Белинского в Париже с М. А. Бакуниным Герцен вспоминал в «Былом и думах» (ПссГ, т. XIV, стр. 579—581).

316. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано Р. <А. Н. Пыпиным?> в «Журнальной заметке» в «Русском слове» 1859, № 11 (отд. «Смесь», стр. 136); дополнено Н. Ск<андовск>им в «С.-Петербургских ведомостях» 1869, №№ 187 и 188 от 10 и 11/VII (по копии); А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 178—179); Е. А. Ляцким в 1908 г. (стр. 633—635); полностью, но с искажениями (по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 266—288.

- ¹ Белинский снял квартиру во флигеле дома П. Ф. Галчешкова на Лиговском канале (№ 73 тогдашней нумерации). Она была его последней квартирой (см. ЛН, т. 57, стр. 401—402).
- ² Речь идет о статье «Ответ „Москвитяницу“», напечатанной в «Современнике» 1847, № 11 (отд. III, стр. 29—75), без подписи. См. о ней письма 318 и 319.
- ³ Это письмо не сохранилось.
- ⁴ Имеется в виду критический разбор В. Н. Майкова «Стихотворений Кольцова»; изданных в 1846 г. со вступительной статьей Белинского, помещенный в «Отеч. записках» 1846, №№ 11 и 12 (отд. V, стр. 1—38; 39—70), без подписи. В нем Майков возражал против определения Белинского «гениальный талант», доказывая, что критик приводит читателей к заключению, будто «поэтический талант и поэтический гений две силы *существенно* различные» (№ 12, отд. V, стр. 68).
- ⁵ В объявлении «Об издашии „Отечественных записок“ в 1848-м году» Краевский обещал: «Несколько критических статей по русской истории» Кавелина, «Нестор, в двух статьях К. К—на», «Маркиз Помбаль» Грановского, «Взгляд на историю Испании за три последних века» Боткина, «Общественный быт негров» П. Г. Редкина, «Обзор истории Малороссии до присоединения ее к Московскому государству» С. М. Соловьева, повесть Нестроева <Кудрявцева>, повесть Гончарова, повести Достоевского «Слабое сердце» и «Неточка Незванова», «Исследование об историческом развитии политической экономии» В. А. Милютина, «История развития в России экономических понятий и обозрение трудов русских экономистов» К. С. Веселовского, «Ученые и критические статьи по всеобщей истории» Кудрявцева, «Несколько статей из физической географии» Д. М. Перовщикова, «Письма об Англии и англичанах» А. П. Заблоцкого и т. д.
- 4 ноября 1847 г. Некрасов писал Н. Х. Кетчеру о странном отношении к «Современнику» некоторых его московских сотрудников. В этом письме были следующие строки: «...объявление в 11-м № „Отечественных записок“ (где означены заготовленными статьи многих наших сотрудников, самых капитальных и на которых основывался перевес нашего журнала) нас чрезвычайно сконфузило. Я еще понемногу креплюсь, но Белинский впал в совершенное уныние, которое в самом деле весьма основательно» (Полн. собр. соч. Некрасова, т. X. М., 1952, стр. 85—86).
- ⁶ См. примеч. 2 к письму 254.
- ⁷ Дудышкин Степан Семенович (1820—1866), литературный критик; буржуазный либерал, с 1849 г. фактический редактор «Отеч. записок». Статья Дудышкина «Сочинения Фонвизина. СПб., 1846» появилась в «Отеч. записках» 1847, №№ 8 и 9 (отд. V, стр. 21—40; 23—46), без подписи.
- ⁸ Статья Дудышкина «Еврейские религиозные секты в России: Сост. В. В. Григорьевым. СПб., 1847» была напечатана в № 6 «Отеч. записок» 1847 г. (отд. V, стр. 23—36) без подписи.
- ⁹ Обзор Дудышкина «Французская литература» (о книгах Токвиля, Ламартина и других новяках) помещен в «Отеч. записках» 1847, № 8 (отд. VII, стр. 25—46), без подписи. Рецензия его на книгу «Октавы Е. Вердеревского. I. Больной (рассказ в стихах). СПб. 1847» напечатана в «Отеч. записках» 1847, № 9 (отд. VI, стр. 1—8), без подписи; рецензия Майкова на ту же книгу — в «Современнике» 1847, № 9 (отд. IV, стр. 45—54), без подписи.
- ¹⁰ Заблоцкий-Десятовский Андрей Парфенович (1808—1881), экономист и статистик, чиновник Министерства государственных имуществ,

буржуазный либерал, один из ближайших сотрудников П. Д. Киселева, автора известной записки «О крепостном состоянии в России»; в 1845—1847 гг. издавал с В. Ф. Одоевским «Сельское чтение».

Статья его «Причины колебания цен на хлеб в России» появилась в «Отеч. записках» 1847, №№ 5 и 6 (отд. IV, стр. 1—36 и 31—66).

¹¹ «Рассказы о сибирских золотых приисках» П. И. Небольсина печатались в «Отеч. записках», начиная с июня 1847 г. из номера в номер, в отделе «Смесь» (№№ 6, 8—12). Сначала они были подписаны инициалами: П. Н., но в № 1 за 1848 г. была поставлена полная подпись. В обзоре «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский назвал их «прекрасной, интересной по содержанию и изложению статьей» (ИАН, т. X, стр. 353).

¹² Цитата из «Ревизора» Гоголя (д. I, явл. 5).

¹³ Статья Дудышкина «Сочинения Кантемира (Полное собрание русских авторов). Изд. А. Смирдина. СПб., 1847» была напечатана в ноябрьском номере «Современника» 1848 г. (отд. III, стр. 1—40) за подписью: Д—н.

¹⁴ Милютин Владимир Алексеевич (1826—1855), экономист и литератор, близкий некоторым из петрашевцев, впоследствии профессор русского государственного права в Петербургском университете. См. о нем кн. С. А. Макашина «Салтыков-Щедрин. Биография. I». М., 1951 (стр. по указателю).

Статья Милютина «Мальтус и его противники» была напечатана в «Современнике» 1847, №№ 8 и 9 (отд. II, стр. 129—188 и 41—98). В этой статье полемика с взглядами Фурье, Леру, Кабэ и других утопических социалистов сочеталась с популяризацией идеи Прудона.

¹⁵ Вesselовский Константин Степанович (1819—1905), известный статистик, впоследствии академик; в то время — чиновник Министерства государственных имуществ, сотрудник «Отеч. записок».

¹⁶ Перечисленные замыслы Белинскому не удалось выполнить. По состоянию здоровья он смог написать только обзор — «Взгляд на русскую литературу 1847 года» с разбором повестей «Кто виноват?», «Обыкновенная история», «Записки охотника», «Хозяйка» Достоевского и др. («Современник» 1848, №№ 1 и 4; ИАН, т. X, № 28).

¹⁷ В объявлении «Об издании „Отечественных записок“ в 1848-м году» Краевский писал, что «лестное доверие», оказанное публикою «Отечественным запискам», «преимущественно выразилось в нынешнем году, которому, как, вероятно, помнят читатели, предшествовали толки, что „Отечественные записки“ погибли, что они оставлены всеми своими сотрудниками, перешедшими будто бы в другие журналы...» (стр. 1). «Состав редакции и главные ее сотрудники остаются те же, программа журнала та же», — утверждал он далее (стр. 4).

¹⁸ О «Письмах об Испании» Боткина см. письма 285, 287, 289, 291. О С. С. Куторге см. письмо 291 и примеч. 3 к нему.

Испанским перцем Белинский назвал анонимную статью Боткина «Антонио Перес и Филипп II. Соч. Минье» («Отеч. записки» 1846, №№ 10 и 11, отд. II, стр. 41—66 и 1—33).

¹⁹ Н. П. Боткин. См. примеч. 6 к письму 179.

²⁰ См. письмо 255.

²¹ Герой повести Герцена. См. о ней письмо 253 и примеч. 12 к нему

²² См. письмо 215 и примеч. 24 к нему.

- ²³ Имеется в виду «Письмо из Москвы» — возражение на статью А. С. Хомякова «О возможностях русской художественной школы», напечатанную в «Московском сборнике» 1847 г. В ней Хомяков обрушился на отзыв Кавелина о «Сборнике исторических и статистических сведений» Валуева («Отеч. записки» 1846, № 6). Грановский указал на ряд фактических ошибок Хомякова в русской истории («Отеч. записки» 1847, № 4, отд. VIII, стр. 200—203).
- ³⁴ В объявлении Краевского была обещана статья Грановского «Маркиз Помбаль» (стр. 8).
Помбаль, маркиз, Себастиан, гр. де Оэйрас (1699—1782) — португальский политический деятель, фактически управлявший государством при короле Иосифе I, идеолог просвещенного абсолютизма.
- ²⁵ Головачев Григорий Филиппович (1818—1880), сотрудник «Отеч. записок», автор компилятивных статей по всеобщей истории. В «Отеч. записках» 1847, №№ 5 и 7 была помещена его статья «Северо-Американские Соединенные штаты» (отд. II, стр. 1—50 и 1—144).
- ²⁶ В объявлении «Об издании „Современника“ в 1848 году» была обещана библиография *всех* выходящих в России книг, анонсированы: роман Некрасова «Жизнь и похождения Тихона Тросникова», повесть Достоевского, два новых романа Герцена (Искандера) и Гогчарова и издание «Иллюстрированного альманаха».
- ²⁷ С. М. Соловьев впоследствии вспоминал: «С самого начала моей литературной деятельности два первые журнала-соперника, „Современник“ и „Отечественные записки“, просили моего сотрудничества, и я стал участвовать в них обоих» («Записки С. М. Соловьева». Пг., 6 г., стр. 135—136). Об отношении Погодина к своему талантливому ученику см. там же.
- ²⁸ Это письмо Н. М. Сатина неизвестно.
- ²⁹ Цитата из песни Беранже «Le senateur» («Червяк»).
- ³⁰ А. Д. Галахов играл двусмысленную роль, пытаясь помочь Белинскому, но в то же время соблюсти и интересы Краевского, привлекая сотрудников для «Отеч. записок». См. об этом также письмо 254 и примеч. 6 к нему.
- ³¹ Краевский купил в 1839 г. право на издание «Отеч. записок» у вдовы литератора П. П. Сви́гина, основавшего журнал в 1818 г.
- ³² Краевский руководил «Литер. приб. к Русск. инвалиду» с 1836 г.
- ³³ См. письмо 318.
- ³⁴ Бутков Яков Петрович (1820?—1856), писатель из мещан Саратовской губ. В самом крупном его сборнике повестей «Петербургские вершины» (1845—1846) Белинский отметил сатирический талант (см. ИАН, т. IX, стр. 390; ср. т. X, стр. 39).
Повесть Буткова, о которой упоминает Белинский, так и не появилась в «Современнике», так как не была окончена (см. письмо 321). В 1848 г. Бутков продолжал попрежнему сотрудничать в «Отеч. записках».
- Две повести Буткова, напечатанные в «Отеч. записках» 1847 г., — «Горюнь» (№ 4, отд. I, стр. 147—180) и «Кредиторы, любовь и заглавия» (№ 9, отд. I, стр. 209—256).
- ³⁵ Крешев Иван Петрович (1824—1859), поэт, журналист и переводчик, сотрудник «Отеч. записок» и «Библиотеки для чтения».
- ³⁶ См. письмо 253 и примеч. 13 к нему.

- ³⁷ Речь идет о книге С. М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома». М., 1847.
- ³⁸ «Государственное хозяйство при Петре Великом» — статья ученика Кавелина, впоследствии известного этнографа, А. Н. Афанасьева, была напечатана в «Современнике» 1847, №№ 6 и 7 (отд. II, стр. 76—134 и 1—79).
- ³⁹ В № 9 «Современника» 1847 г. была помещена статья Н. Г. Фролова «Исправительные тюрьмы в Швейцарии» (отд. II, стр. 1—40), а в №№ 10 и 12 — «Александр Гумбольдт и его Космос» (отд. II, стр. 99—147 и 113—148).
- ⁴⁰ Статья Д. М. Перовошикова «Отрывки из физической географии» действительно была представлена им редакции «Современника» и появилась в №№ 1 и 5 журнала за 1848 г. (отд. II, стр. 41—58 и 1—18).
- ⁴¹ «Эпизод из жизни деревенской дамы» — повесть М. С. Жуковой («Отеч. записки» 1847, № 5, отд. I, стр. 1—116); «Вера» — роман в трех частях Н. К. О. (№№ 6—8, стр. 197—274, 1—68, 190—256); «Противоречия» — повесть М. Непадова (М. Е. Салтыкова-Щедрина) (№ 11, стр. 1—106).
Белинский ошибся, говоря об отсутствии конца в повести Достоевского «Хозяйка» (№ 10, стр. 396—424); ее вторая часть была опубликована в № 12 (стр. 381—414).
- ⁴² Повесть Д. В. Григоровича «Антон Горемыка» («Современник» 1847, № 11, отд. I, стр. 5—118). Белинский писал о ней во «Взгляде на русскую литературу 1847 года»: «Эта повесть трогательная, по прочтении которой в голову невольно теснятся мысли грустные и важные» (ИАН, т. X, стр. 347). См. также письма 318 и 319.
- ⁴³ Речь идет о статье «Ответ „Москвитяину“». См. наст. письмо, примеч. 2. Авторский текст ее восстановлен (см. ИАН, т. X, стр. 455—456).
- ⁴⁴ Это письмо не сохранилось.
- ⁴⁵ Белинский говорит о докладе А. П. Заблоцкого-Десятовского «Взгляд на историю развития статистики в России», прочитанном в начале 1847 г. в Русском географическом обществе (см. «Записки Русского географического общества», кн. II, 1847, стр. 116—134). — К. С. Веселовский был членом этого Общества.

317. П. Н. КУДРЯВЦЕВУ

Печатается по автографу, хранящемуся в Отделе редкой книги Научной библиотеки им. Горького МГУ (архив П. Н. Кудрявцева). Впервые опубликовано (неточно; по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 288—289.

¹ Ни одного произведения Кудрявцева в «Современнике» 1848 г. не появилось.

318. П. В. АННЕНКОВУ

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 176—177); полностью — в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 590—599.

¹ Это письмо Анненкова не сохранилось. Настоящее письмо Белинского разошлось с письмом к нему Тургенева из Парижа от 14/26 ноября 1847 г. с припиской Анненкова (Письма, т. III, стр. 384—386).

- ² Письмо 315.
- ³ См. примеч. 3 к письму 315.
- ⁴ Лепсиус Карл Рихард (1810—1884), знаменитый немецкий египтолог.
- ⁵ См. примеч. 14 к письму 315.
- ⁶ См. письмо 306 и примеч. 5 к нему.
- ⁷ Братья Анненкова — Иван Васильевич (1812—1887), флигель-адъютант, впоследствии генерал-адъютант, автор «Истории лейб-гвардии конного полка от 1731 до 1848 г.» (1849), инициатор издания сочинений Пушкина, осуществленного П. В. Анненковым, и Федор Васильевич (1805—1869), впоследствии нижегородский губернатор.
- ⁸ Статья «О мнениях „Современника“ исторических и литературных» («Москвитянин» 1847, ч. II, стр. 133—222, за подписью: М...З...К....).
- ⁹ См. письмо 316 и примеч. 2 к нему.
- ¹⁰ См. примеч. 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 24 к письму 316.
- ¹¹ Белинский ошибся в своих надеждах на Дудышкина, последний остался постоянным сотрудником «Отеч. записок».
- ¹² Эти ответы «москвичей» не сохранились. См. о них также письмо 319.
- ¹³ Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты».
- ¹⁴ Повесть «Хозяйка». См. письмо 316 и примеч. 41 к нему.
- ¹⁵ В майском номере «Современника» 1847 г. была напечатана повесть П. В. Анненкова «Кирюша» (отд. I, стр. 57—84) за подписью:***. В отмеченной выше приписке к письму Тургенева (см. наст. письмо, примеч. 1) Анненков сообщал: «... я тоже от одурения скуки стал писать повесть и совершенно не знаю, просто ли она дурна или отвратительно дурна. Вы мне это скажете, когда я перешлю ее» (Письма, т. III, стр. 386). — В №№ 7 и 8 «Современника» 1848 г. появились две повести Анненкова — «Художник» (отд. I, стр. 5—20), за подписью:*** и «Она погибнет!» (стр. 105—142), за подписью: П. А — в.
- ¹⁶ Речь идет об И. С. Тургеневе. Письмо его к Белинскому не сохранилось.
- ¹⁷ Перефразировка строк из «Евгения Онегина» Пушкина (гл. 1 строфа III).
- ¹⁸ Повесть «Антон Горемыка». См. письма 316, примеч. 42, и 319.
- ¹⁹ См. примеч. 43 к письму 316.
- ²⁰ См. примеч. 14 к письму 315.

319. К. Д. КАВЕЛИНУ

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 180—183); полностью — Д. А. Корсаковым (РМ 1892, № 1, стр. 112—113).

Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк; с 1844 г. — профессор Московского университета по кафедре истории русского законодательства, сотрудник «Отеч. записок» и «Современника», впоследствии общественный деятель и публицист либерально-дворянского лагеря.

Белинский познакомился с Кавелиным зимой 1834 г., когда он был приглашен готовить Кавелина к поступлению в Московский университет. Но сближение между ними произошло много лет спустя, после переезда Кавелина на службу в Петербург в мае 1842 г. В Петербурге Кавелин стал членом кружка Белинского. По возвращении в Москву в конце 1843 г.

Кавелин продолжал поддерживать дружеские связи с Белинским. О его участии в готовящемся альманахе Белинского «Левифан» см. письмо 253. В 1847 г., несмотря на убеждения Белинского, Кавелин отказался уйти из «Отеч. записок» (см. наст. письмо, примеч. 12). В 1874 г. Кавелин, по просьбе А. Н. Пыпина, написал «Воспоминания о В. Г. Белинском».

Из переписки Белинского с Кавелиным сохранилось только два письма Белинского (см. еще письмо 322).

¹ Письма К. Д. Кавелина к Белинскому не сохранились.

² См. примеч. 2 к письму 316.

³ См. письмо 316, стр. 422.

⁴ Попов Александр Николаевич (1821—1877), историк, университетский товарищ Кавелина, славянофил.

⁵ «Ответ „Москвитяину“». Статья вторая и последняя; напечатана в 12-й книжке «Современника» 1847 г. (отд. III, стр. 109—134).

⁶ Срезневский Измаил Иванович (см. ИАН, т. XI, письмо 126 и примеч. 25 к нему).

⁷ Белинский имеет в виду статью Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» (см. письмо 253 и примеч. 13 к нему).

⁸ Цитата из «Горя от ума» Грибоедова (д. II, явл. 2).

⁹ Цитата из стихотворения Пушкина «Стансы» («В надежде славы и добра...»).

¹⁰ В конце статьи Белинского «Взгляд на русскую литературу 1846 года» («Современник» 1847, № 1) напечатан разбор исторических сочинений, сделанный Кавелиным. В обзоре литературы за 1847 г. этого не было.

¹¹ Белинский назвал отчество Милютина неверно. См. примеч. 14 к письму 316.

¹² Вспоминая об отношении московских друзей Белинского к «Современнику» в 1847 г., К. Д. Кавелин писал, что им было получено письмо от Белинского (не сохранилось), который упрекал его за бездействие по отношению к новому журналу. Об ответном письме К. Д. Кавелина см. «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 93.

Ответом на это утраченное письмо Кавелина и являются настоящие строки Белинского.

О своих симпатиях к «Современнику» и о желании работать в нем, не отказываясь от участия в «Отеч. записках», Кавелин писал Краевскому еще 12/I 1847 г. (ЛН, т. 56, стр. 185—186).

¹³ См. письмо 316, стр. 420 и примеч. 39 к нему.

¹⁴ О статье Самарина см. письмо 318 и примеч. 8 к нему.

¹⁵ См. письмо 316 и примеч. 42 к нему.

¹⁶ Статья Кавелина о книге С. М. Соловьева «История отношений между русскими князьями Рюрика дома» была напечатана в «Современнике» в виде трех статей — в №№ 8 и 12 за 1847 г. (отд. III, стр. 43—58 и 161—221) и в № 5 за 1848 г. (отд. III, стр. 1—48). См. также письмо 321.

¹⁷ В № 12 «Современника» 1847 г. была напечатана комедия Шекспира «Много шума из ничего» в переводе А. И. Кронеберга (отд. I, стр. 229—302).

Печатается по автографу (ИРЛИ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 183, 184, 186); дополнено В. И. Семевским в его кн. «Крестьянский вопрос в России», т. II. СПб., 1888, стр. 241, 312—315; полностью — в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 599—607.

Датируется на основании упоминания письма Тургенева от 14/26 ноября 1847 г. и получения книг Белинским 21 ноября/3 декабря того же года.

¹ Письмо к Анненкову предназначено было Белинским также для Герцена, Бакунина и Сазонова.

² Киселев, граф, Павел Дмитриевич (1788—1872), генерал-адъютант, организатор и руководитель Министерства государственных имуществ (с 1839 по 1856), лидер антикрепостнического меньшинства в Государственном совете и в специальных секретных комитетах, рассматривавших «крестьянский вопрос» в царствование Николая I. Характерно, что Пушкин, упоминая о Киселеве, заметил в своем дневнике 1834 г., что он является «может, самым замечательным из наших государственных людей, не исключая Ермолова» (Поли. собр. соч. Пушкина, Изд АН СССР, т. XII, М.—Л., 1949, стр. 330).

³ Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869), член Государственного совета, адмирал, генерал-адъютант, финляндский генерал-губернатор.

⁴ В начале 1844 г. группа тульских помещиков во главе с П. Н. Мясновым, В. Муравьевым, Н. Н. Татищевым, Опаниным и М. П. Болотовым обратилась к тульскому губернатору с заявлением о желании освободить своих крепостных с земельным наделом по одной десятине на душу, с тем условием, чтобы налоговое обложение крестьян пошло на погашение дворянской задолженности в государственных кредитных учреждениях. Этот проект, позволявший помещикам получить вольнонаемных батраков и освободиться от задолженности, был отвергнут министром внутренних дел из-за отсутствия согласия самих крестьян на такую форму «освобождения».

В начале 1847 г. тульский губернатор «по высочайшему повелению» обратился к тульскому дворянству с запросом, не отказалось ли оно от своих планов освобождения крепостных крестьян. После того, как тульские дворяне подтвердили свои намерения, Николай I в апреле 1847 г. предложил им ограничиться составлением проекта освобождения лишь в их имениях. На этом дело и прекратилось (см. В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 238—254).

⁵ Мяснов Павел Николаевич (род. в 1817), сотрудник «Отч. записок», помещик Тульской губернии, в 1847 г. — второй кандидат в губернские предводители дворянства.

Сохранились два письма Мяснова к Белинскому — от 9/III и 2/IV 1841 г. (БЖр, стр. 285—287), опубликованные без имени отправителя. Принадлежность их Мяснову доказана Ю. Г. Оксманом (см. «Летопись жизни В. Г. Белинского». Рукопись, подготовленная к печати Гослитиздатом).

В книге Анненкова имя Мяснова зашифровано: М — в; в изд. Ляцкого неверно прочтено: Маслов.

О Л. А. Перовском см. письмо 218 и примеч. 6 к нему.

⁶ Жихарев Степан Петрович (1788—1860), сенатор, в молодости близкий к литературным и театральным кругам, автор известных мемуаров.

⁷ Орлов Алексей Федорович (1788—1861), генерал-адъютант, шеф жандармов.

- 8 Во время приема депутации смоленских дворян в Зимнем дворце 17 мая 1847 г. Николай I обратился к ним с речью, посвященной необходимости скорейшей ликвидации крепостных отношений. Текст речи Николая I, приведенный Белинским, кроме двух последних фраз, совпадает с опубликованной записью речи (см. В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 163—164; РС 1873, № 12, стр. 912).
- 9 Указ об обязанных крестьянах, предоставляющий помещикам прав переводить своих крепостных в свободных хлебопашцев, был издан еще в 1842 г., по реальному значению не имел.
- 10 1 сентября 1847 г. Николай I перед отъездом из Петербурга, пригласив к себе П. Д. Киселева, имел с ним длительную беседу о крестьянских делах. Возможно, что этот эпизод и имеет в виду Белинский.
- 11 «Мудрые распоряжения» Перовского были изложены им в секретной докладной записке Николаю I «Об уничтожении крепостного состояния в России» (1845 г.). В ней Перовский предлагал при постепенном освобождении крепостных точно определить все их повинности специальными «инвентарями», обеспечить в законном порядке их права на движимое и недвижимое имущество, запретить освобождать крестьян без земли и т. д.
- 12 «Правила для управления имениями по утвержденным для оных инвентарям в Киевском генерал-губернаторстве», утвержденные Николаем I 26 мая 1847 г. (см. В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 492).
- 13 Сведения о подготовке крестьянской реформы Белинский получил, вероятно, от А. П. Заблоцкого-Десятовского, ближайшего сотрудника П. Д. Киселева и впоследствии автора книги «Граф П. Д. Киселев и его время» (1882). Опубликованные в этой книге документы о смоленской дворянской делегации близки к тексту информации Белинского и его освещению событий (см. статьи Ю. Г. Оксмана в «Уч. зап. СГУ», т. XXX, вып. филологич., 1952, стр. 120, и в ЛН, т. 56, стр. 217).
- 14 Речь идет о статье А. П. Заблоцкого «Причины колебания цен на хлеб в России», напечатанной в «Отеч. записках» 1847, №№ 5 и 6 (отд. IV, стр. 1—36 и 31—66). В сентябрьской книжке «Журнала Министерства народного просвещения» 1847 г. в «Обзоре русских газет и журналов за второе трехмесячие 1847 года» было приведено содержание этой статьи с большими цитатами из нее (отд. VI, стр. 342—352).
- 15 «Земледельческая газета» выходила в Петербурге с 1834 г. (два раза в неделю); редактор — С. М. Усов.
- 16 В №№ 11 и 12 «Современника» 1847 г. в отделе «Смесь» дана была подробная информация о статьях «Земледельческой газеты» и «Журнала Министерства государственных имуществ» с намеками на недобросовестность некоторых помещиков в отношении крестьян, с изложением деятельности съездов помещиков и пр. (стр. 102—105 и 176—186).
- 17 Воронцов Михаил Семенович (1782—1856), генерал-адъютант, главнокомандующий войсками на Кавказе и наместник кавказский (1844—1853).
- 18 Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), попечитель Московского учебного округа с 1835 по 1847 г. Вышел в отставку из-за враждебных отношений с министром народного просвещения С. С. Уваровым (см. «Русский архив» 1892, № 7, стр. 355—357).

О Д. П. Голохвастове см. ИАН, т. XI, письмо 28 и примеч. 1 к нему.

¹⁹ О деле Клевещкого, председателя Петербургской управы благочиния (растрата ста пятидесяти тысяч) см. в дневнике А. В. Никитенко от 2 апреля 1847 г. («Записки и дневник», т. I. СПб., 1905, стр. 369). — О подлинейстереве Брянчанинове см. в «Былом и думах» Герцена (гл. X — ПссГ, т. XII, стр. 214).

²⁰ М. А. Бакуниц.

²¹ Т. Г. Шевченко 5 апреля 1847 г. был арестован под Киевом в связи с делом тайного общества «Кирилло-Мефодиевское братство». Хотя следствием не была доказана его причастность к Обществу, однако он жестоко полатился за свои антиправительственные стихотворения, обнаруженные при его аресте. По приговору следственной комиссии он был определен рядовым в Оренбургский отдельный корпус. Резолюция Николая I гласила: «Под строжайший надзор и с запрещением писать и рисовать».

«Пасквиль» на императора и императрицу — знаменитая сатирическая поэма Шевченко «Сон» (1844 г.), направленная против Николая I и Александры Федоровны.

Резкий и несправедливый отзыв Белинского о Шевченко был вызван клеветническими слухами о великом украинском поэте-революционере, распространенными III отделением. Не будучи знаком с подлинными взглядами Шевченко, Белинский подозревал его в буржуазном национализме и желании отторгнуть Украину от России. Эти ложные сведения Белинский получил, видимо, от М. М. Попова, автора секретной докладной записки о «Кирилло-Мефодиевском обществе» (см. ЛН, т. 56, стр. 245, а также воспоминания А. М. Петрова «Из далекого прошлого» — «Звенья», V, 1935, стр. 323—327).

²² Первая часть романа Жорж Санд «Пиччинино» появилась в «Современнике» 1847, № 6 (отд. I, стр. 207—343). В октябрьском номере «Современника» было напечатано изложение последних глав «Пиччинино» с сообщением, что перевод этого романа «по некоторым особенным причинам» далее публиковаться не будет (отд. «Смесь», стр. 147—153).

«Манон Леско» — роман аббата Прево. — «Леон Леони» — роман Жорж Санд.

О запрещении печатать в журналах переводы французских романов см. А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПб., 1905, стр. 374—375.

²³ Кулиш Пантелеймон Александрович (1819—1897), литератор, украинский националист, арестованный в то время по делу о «Кирилло-Мефодиевском братстве».

Статья П. А. Кулиша «Повесть об украинском народе» была напечатана в «Звездочке. Журнале для детей старшего возраста» 1846, №№ 1—2, 4—7 (см. о ней А. В. Никитенко. Записки и дневник, т. I. СПб., 1905, стр. 371—373). За свою повесть Кулиш был присужден к двухмесячному заключению в крепости и высылке в Тульскую губернию.

²⁴ Ивановский Игнатий Иоакимович (1807—1886), юрист, профессор Петербургского университета и цензор.

²⁵ Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795—1862), попечитель петербургского учебного округа и председатель цензурного комитета (с 1845 г.), злейший душитель печати.

²⁶ Речь идет о письме Тургенева с припиской Анненкова от 14/26 ноября 1847 г. (Письма, т. III, стр. 384—386). В нем Тургенев сообщал о выходе брошюры «Le Robespierre de M. de Lamartine. Lettre d'un

septuagénaire à l'auteur de l'Histoire des Girondins par Fabien Pillet». («Робеспьер Ламартина. Письмо семидесятилетнего старика автору Истории жирондистов Фабiana Пилле»), в которой доказывалось, что «Ламартин сочинил небывалого Робеспьера».

- 27 Роман Диккенса «Домби и сын» в переводе И. Введенского был напечатан как приложение к «Современнику» 1847 г. Кроме того, он публиковался (в переводе Я. А. Бутакова) в «Отеч. записках» 1847, №№ 9—12. Во «Взгляде на русскую литературу 1847 года» Белинский охарактеризовал «Домби и сын» как «превосходный роман, далеко оставивший за собою все прежние произведения Диккенса» (ИАН, т. X, стр. 353).

321. В. П. БОТКИНУ

Печатается по автографу (ГПБ). Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 186—188); дополнено Е. А. Ляцким в 1908 г. (стр. 635—639); полностью (неточно; по копии из собрания А. Н. Пыпина) — в Письмах, т. III, стр. 321—333 (с датировкой: «декабрь 1847»).

Датируется на основании упоминания о 1 декабря в прошедшем времени (стр. 444) и того, что Белинский называет письмо к Кавелину от 22/XI «последним письмом» (следовательно, письмо к Кавелину от 7/XII написано позже).

- 1 Письмо 319; в нем Белинский сообщал, что надеется на приезд Боткина в Петербург.

- 2 Об участии московских друзей Белинского в «Отеч. записках» см. письмо 316 и примеч. к нему.

- 3 См. письмо 319 и примеч. 16 к нему.

- 4 Повесть А. В. Дружинина «Полинька Сакс» была помещена в № 12 «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 155—228). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белинский, говоря об этой повести, отметил талант и «сознательное понимание действительности» Дружинина (ИАН, т. X, стр. 347).

- 5 См. письмо 316 и примеч. 34 к нему.

- 6 О повестях «Антон Горемыка» Григоровича и «Вера» Жуковой см. письмо 316 и примеч. 41 и 42 к нему. В обзоре русской литературы 1847 г. Белинский, вопреки своему обещанию, не упомянул о «Вере» (см. ИАН, т. X, № 28).

- 7 Повесть А. Д. Галахова «Из записок человека (П. Н. Кудрявцеву)» («Отеч. записки» 1847, № 12, отд. I, стр. 300—312; за подписью: Сто один).

- 8 О впечатлении Белинского от чтения романа Диккенса «Домби и сын» см. также письмо 320.

- 9 См. письмо 320 и примеч. 22 к нему.

- 10 О романах Дюма Белинский высказался столь же резко и в печати. См. его рецензию на «Трех мушкетеров» и «Двадцать лет спустя» в «Современнике» 1847, № 5 (ИАН, т. X, № 20). Боткин не разделял этой точки зрения Белинского (см. его отклик в письме к Краевскому от 3/IV 1847 г. — «Отчет имп. Публичной библиотеки за 1889 год». СПб., 1893, прилож., стр. 78—79).

- 11 См. письмо 304 и примеч. 4 к нему.

- 12 Дюкло Шарль Пино (1704—1772), французский писатель. Белинский имеет в виду его книгу «Mémoires secrets sur les règnes de Louis XIV et

Louis XV» 1791 г. («Воспоминания о царствовании Людовика XIV и Людовика XV»).

- ¹³ Речь идет о «Письмах из Avenue Marigny», напечатанных в №№ 10 и 11 «Современника» 1847 г. (отд. I, стр. 155—196 и 119—137; за подписью: П. и И — р). В этих письмах Герцен обнажал антинародную сущность буржуазии во Франции. Его точка зрения вызвала возмущение московских либералов (см. «Т. Н. Грановский и его переписка». М., 1897, т. II, стр. 424, и «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 550—552).
Высказывания Белинского о «Письмах из Avenue Marigny» см. во второй статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (ИАН, т. X, стр. 353—354).
- ¹⁴ Дюбуа Гильом (1656—1723), кардинал и французский государственный деятель; продажный делец и интриган, начавший свою карьеру с роли воспитателя сына герцога Орлеанского; при Людовике XIV был посланником в Англии.
- ¹⁵ В «Письме третьем» из Avenue Marigny Герцен подробно излагает содержание пьесы Феликса Пиа «Le Chiffonnier» («Парижский ветошник»). Эта драма, изобличающая правительство и знать, была поставлена впервые в Париже 11 мая 1847 г. и имела влияние на подъем революционного духа в народных массах. — Леметр Фредерик (1800—1876) — знаменитый французский драматический актер, игравший роль ветошника.
- ¹⁶ В «Письме четвертом» из Avenue Marigny Герцен блестяще изобразил прокурора, который в обвинительной речи по поводу напумевшей дуэли двух французских журналистов — Бовалона и Дюжарье, лицемерно громил нравы молодежи.
- ¹⁷ Арапетов Иван Павлович (1811—1887), чиновник Департамента уделов, впоследствии член редакционных комиссий по освобождению крестьян, был близок с Тургеневым, Кавелиным, Боткиным.
- ¹⁸ О письмах Н. Ф. Павлова к Гоголю см. письмо 287 и примеч. 6 к нему. — Третье письмо Павлова в печати не появилось.
- ¹⁹ 17 июля 1791 г. Балли, мэр Парижа, и Лафайет, командующий национальной гвардией, расстреливали республиканцев, собравшихся в Париже, на Марсовом поле.
- ²⁰ Лаффит Жак (1767—1844), французский банкир и политический деятель.
- ²¹ Лагранж де Шансель Жозеф (1677—1758), французский поэт и драматург. В 1720 г. Лагранж написал и распространил три резких памфлета на Филиппа, герцога Орлеанского (1674—1723; впоследствии — король Филипп II). Сначала герцог, действительно, хотел простить Лагранжа, но под влиянием своего брата решил покарать его, и Лагранжу пришлось бежать в Авиньон.
- ²² Выражение из «Моцарта и Сальери» Пушкина.
- ²³ Источная цитата из седьмой сатиры Кантемира.
- ²⁴ «Письма об Испании» Боткина, напечатанные в № 12 «Современника» 1847 г., посвящены художнику Мурильо, истории и изображению Севильи, восстанию испанцев против Наполеона в 1808 г. (отд. II, стр. 81—112).

322. К. Д. КАВЕЛИНУ

Печатается по копии (ИРЛИ, собрание А. Н. Пыпина). Автограф (собрание К. Т. Солдатенкова) неизвестен. Впервые частично опублико-

вано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 5, стр. 190); полностью — Д. А. Корсаковым (РМ 1892, № 1, стр. 119—128).

¹ См. письмо 319.

² См. письмо 320 и примеч. 18 к нему.

³ Цитата из стихотворения Лермонтова «Оправдание». См. письмо 174, примеч. 24.

⁴ См. письмо 319 и примеч. 5 к нему.

⁵ Белинский имеет в виду издание романа Загоскина «Рославлев» в 1831 г.

⁶ Речь идет о рецензии Некрасова «„Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка человеческого рода“. Сочинение Фаддея Булгарина», напечатанной в «Отеч. записках» 1843 г. (№ 3, отд. VI, стр. 17—19; № 5, отд. VI, стр. 25—29; ср. Полн. собр. соч. Некрасова, т. IX. М., 1952, стр. 77—85, 89—94, 709, 712).

⁷ Студитский Александр Ефимович, журналист и педагог, сотрудник «Москвитянина», автор учебников по русской грамматике.

⁸ Брант Леопольд Васильевич (псевдоним: Я. Я. Я.), беллетрист и критик консервативно-дворянского лагеря, сотрудник «Сев. пчелы».

⁹ О похвалах русским князьям в Ипатьевской летописи говорится на стр. 160) статьи Ю. Ф. Самарина в «Москвитянин» (см. о ней примеч. 8 к письму 318).

¹⁰ Имеется в виду возражение Кавелина на статью М. П. Погодина «О трудах гг. Беяева, Бычкова, Калачева, Попова, Кавелина и Соловьева по части русской истории», напечатанную в «Москвитянин» 1847 г. (ч. I, стр. 115—184). Погодин выступал против статьи Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России». Иронический ответ Кавелина помещен в «Современнике» 1847, № 8 (отд. VIII, стр. 114—125).

¹¹ Письмо 316.

¹² Речь идет о Некрасове.

¹³ В № 1 «Отеч. записок» 1847 г. была напечатана рецензия Кавелина на «Историко-критические отрывки» М. Погодина. М., 1846 (отд. V, стр. 18—38).

¹⁴ Белинский имеет в виду свою статью «Ответ „Москвитянину“» (см. ИАН, т. X, № 24).

¹⁵ Этот замысел Белинского не осуществился.

¹⁶ См. письмо 321.

¹⁷ Об этом предложении см. письмо 319 и примеч. 10 к нему.

¹⁸ Письмо Белинского к А. Д. Галахову не сохранилось. Письмо к П. Н. Кудрявцеву, возможно, 317.

323. Д. П. ИВАНОВУ

Печатается по автографу (ЛБ). Впервые опубликовано (по копии из собрания А. Н. Пыпина) в Письмах, т. III, стр. 333—334.

¹ Белинский ошибся в подсчете месяцев: он вернулся из-за границы 24 сентября 1847 г. (см. письма 316 и 318).

² Письмо к А. Д. Галахову не сохранилось.

324. А. Д. ГАЛАХОВУ

Отрывки-цитаты из письма А. Д. Галахова к П. Н. Кудрявцеву от 11/I 1848 г. и из воспоминаний Галахова. Печатаются по тексту первой публикации в воспоминаниях А. Д. Галахова («Исторический вестник» 1886, № 11, стр. 331) и в Письмах, т. III, стр. 334—335 (по копии из собрания А. Н. Пыпина). Автограф неизвестен. Оба отрывка принадлежат, вероятно, к одному письму.

Датируется на основании письма А. Д. Галахова, в котором цитируется первый отрывок.

Ответное письмо Галахова от 11/I 1848 г. см. БКр, стр. 45.

Галахов Алексей Дмитриевич (1807—1892), историк русской литературы, педагог, автор многочисленных учебников и хрестоматий, беллетрист и мемуарист, постоянный московский сотрудник «Отеч. записок», умеренный либерал. Белинский встречался с Галаховым еще в 1834—1835 гг. на вечерах у Н. С. Селивановского. Галахов познакомил Белинского с М. В. Орловой, с которой он служил в Александровском институте в должности инспектора классов и преподавателя.

Галахов оставил воспоминания о Белинском: «Мое сотрудничество в журналах» («Исторический вестник» 1886, № 11, стр. 313, 315—321, 326, 329, 331, 334) и «Сороковые годы» («Исторический вестник» 1892 № 1, стр. 128, 133, 135—137, 144, 149). Об отношениях Белинского с Галаховым см. выдержки из писем Галахова к Краевскому 1840-х годов в сб. «Венок Белинскому». М., 1924, стр. 142—151, а также письма 210, 227, 230, 254, 257, 295, 316, 318.

Из переписки Белинского с Галаховым сохранились лишь настоящие отрывки и 2 письма Галахова от 17/IV 1847 г. и 11/I 1848 г. (БКр, стр. 44—45).

¹ Об этих письмах см. письмо 322 и примеч. 18 к нему.

² Речь идет о повести П. Н. Кудрявцева «Без рассвета», предоставленной им для альманаха Белинского. См. письмо 253 и примеч. 19 к нему.

³ Белинский имеет в виду недооценку повести Гончарова «Обыкновенная история» в обзоре Галахова «Русская литература в 1847 году» («Отч. записки» 1848, № 1, отд. V, стр. 18—21) по сравнению с его собственным обзором «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (см. ИАН, т. X, стр. 326—344).

325. П. В. АННЕНКОВУ

Печатается по подлиннику (ИРЛИ). Написано рукой М. В. Белинской, дата проставлена Белинским. Впервые частично опубликовано А. Н. Пыпиным (ВЕ 1875, № 6, стр. 550—554); полностью — в кн. «П. В. Анненков и его друзья». СПб., 1892, стр. 607—612.

¹ Письмо это послано было Белинским за границу, вероятно, с П. В. Селивановым, уехавшим в феврале 1848 г. во Францию.

² Статья «Взгляд на русскую литературу 1847 года. Статья вторая и последняя» («Современник» 1848, № 3, отд. III, стр. 1—46. См. ИАН, т. X, № 28).

О состоянии Белинского этого времени писал Н. Г. Фролов Т. Н. Грановскому 29 января 1848 г.: «Здесь совершается (если не на глазах моих, то слышу об этом) печальная драма с большим Белинским — человек обессилен, изнурен, бьется еще, хочет еще делать

что-нибудь, а сил физических более нет, и начинает уже жить иллюзиями, самообольщением, откладываниями...» (ЛН, т. 56, стр. 194).

- 3 Повесть Анненкова «Она погибнет!» появилась в «Современнике» 1848, № 8 (отд. I, стр. 105—142), за подписью: П. А — в. Исправления, рекомендованные Белинским, не были сделаны.
- 4 В февральском номере «Современника» 1848 г. была напечатана серия рассказов из «Записок охотника» «VIII. Малиновая вода. IX. Уездный лекарь. X. Бирюк. XI. Лебедянь. XII. Татьяна Борисовна и ее племянник. XIII. Смерть» (отд. I, стр. 148—208).
Слова «р-ракаллион» и «че-о-эк» встречаются в «Лебедяни»; «зеленя» — в «Смерти».
- 5 «Рассказ Алексея Дмитрича», напечатанный в том же номере «Современника» (отд. I, стр. 209—304).
- 6 «Сорока-воровка» Герцена была опубликована в февральском номере «Современника» 1848 г.
- 7 Об отношении Белинского к Достоевскому см. примеч. к письму 252. — О «Хозяйке» см. письмо 316 и примеч. 41 к нему.
- 8 Белинский имеет в виду непонимание Луи Бланом значения повестей Вольтера в его «Истории десяти лет» (см. примеч. 18 к письму 215).
- 9 «Исповедь» («Les Confessions») Ж. Ж. Руссо Белинский читал во время своей поездки на юг России в сентябре 1846 г. (см. письмо 282 и примеч. 3 к нему).
- 10 М. А. Бакунин.
- 11 Пий IX (Джованни Мария гр. Мастаи-Феррети) (1792—1878), римский папа (в 1846 г.), поддерживавший в период революционной ситуации либеральную партию в Италии. Характеризуя деятельность Пия IX в 1848 г., Энгельс писал: «Современное движение в Италии вполне соответствует тому, которое происходило в Пруссии в 1807—1812 гг. Сейчас в Италии, как в свое время в Пруссии, оно имеет две цели: внешнюю независимость и внутренние реформы ... Движение в Италии является, таким образом, совершенно определенным буржуазным движением. Все сочувствующие реформам классы, начиная от князей и дворянства и кончая пифферари и лаццарони, выступают сейчас как буржуа, а папа в данный момент играет роль первого буржуа Италии» (К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. V. М.—Л., 1929, стр. 242—243).
- 12 Белинский имеет в виду статью Ю. Ф. Самарина «О мнениях „Современника“, исторических и литературных», в которой тот упоминает романы Ж. Санд и цитирует предисловие к ее повести «Чортова лужа». Самарин цитирует и книгу Луи Блана «История десяти лет», не называя ее, а говоря — «одна из последних книг, полученных из Франции» («Москвитянин» 1847, ч. II, стр. 137, 145, 205).
- 13 Проект о разрешении помещичьим крестьянам владеть землей был доложен П. Д. Киселевым в августе 1847 г. в Комитете министров. Государственным советом он был принят, но безрезультатно. В марте 1848 г. вышел указ о разрешении крестьянам иметь собственность с согласия помещика и без права вступать с ним в конфликты, что явилось фактическим ухудшением, а не улучшением положения крестьян (В. И. Семевский. Крестьянский вопрос в России, т. II. СПб., 1888, стр. 147—153).
- 14 Н. А. Герцен и М. Ф. Корш.

Печатается по тексту первой публикации П. Е. Щеголева в статье «Эпизод из жизни В. Г. Белинского. (По неизданным данным)». — «Былое» 1906, № 10, стр. 286—287. Автограф неизвестен.

О М. М. Попове см. ИАН, т. XI, примеч. к письму 10.

Это письмо вызвано официальным приглашением Белинского М. М. Поповым явиться к начальнику III отделения генералу Л. В. Дубельту для личного знакомства. Ответ Белинского на первое приглашение Попова от 20/II 1848 г. не сохранился; настоящее письмо является ответом на вторичное приглашение от 27/III 1848 г.

Интерес к Белинскому III отделения был вызван анонимным пасквилем на имя шефа жандармов А. Ф. Орлова (за подписью: «Истый русский»), в котором заключались «возмутительные предсказания насчет будущего в России». В авторстве заподозрили Белинского и Некрасова. Этим подозрением и была вызвана переписка Попова с Белинским. III отделению надо было познакомиться с почерком Белинского. Экспертиза почерка показала, что пасквиль написан не им. См. об этом М. К. Л е м к е. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. СПб., 1908, стр. 180—190, а также РС 1882, № 11, стр. 434—435.

О появлении у постели умирающего Белинского адъютанта Дубельта рассказывал Д. П. Иванов со слов М. В. Белинской (ЛН, т. 57, стр. 309)

ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ

1. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ДЕНЕГ ОТ Г. А. ГУРЦОВА

Печатается по автографу ГПБ (из архива В. Ф. Одоевского). Впервые опубликовано в ЛН, т. 56, 1950, стр. 160.

Об этом эпизоде см. письма 181 и 182.

2. ДОВЕРЕННОСТЬ Н. П. ИВАНОВУ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О «ДВОРЯНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ»

3. ПРОШЕНИЕ В ПЕНЗЕНСКОЕ ДВОРЯНСКОЕ ДЕПУТАТСКОЕ СОБРАНИЕ

4. РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ГЕРОЛЬДИИ О «ДВОРЯНСКОМ ДОСТОИНСТВЕ»

Эти документы хранятся в Пензенском областном архиве, ф. 196, оп. 2, д. 111. Впервые неточно опубликованы А. С. Архангельским в статье «Об утверждении В. Г. Белинского в дворянском достоинстве» — РС 1899, № 4, стр. 200, 201, 203. Более точно в сб. «В. Г. Белинский. Сборник статей и документов к биографии великого критика». Под ред. Н. Л. Бродского. Пенза, 1948, стр. 242—243.

Извлечены из «Дела о дворянстве детей покойного коллежского асессора Григория Никифорова Бельнского, — коллежского регистратора Константина, Виссариона, Никанора, Александры, жены и дочери Виссариона Бельнского».

См. об этих документах письма 203, 214, 232.

ПРИЛОЖЕНИЕ



УТРАЧЕННЫЕ ПИСЬМА БЕЛИНСКОГО ¹

1829

4 апреля. А. Ф. Максимова.
(Письмо А. Ф. Максимова к Белинскому от 12/V 1829 г.— БКр, стр. 190—191).

<2—8 мая>. А. Иванисову.

(Письмо А. Иванисова к Белинскому от 4/VII 1829 г.—БКр, стр. 67).

30 мая. А. Ф. Максимова.

(Письмо А. Ф. Максимова к Белинскому от VI — VII 1829 г.—БКр, стр. 191—192).

<1—4 июня>. А. Иванисову.

(Письмо А. Иванисова к Белинскому от 13/VI 1829 г.— БКр, стр. 63).

<27 июня — 1 июля>. А. Иванисову.

(Письмо А. Иванисова к Белинскому от 4/VII 1829 г.— БКр, стр. 67).

1830

<5—10 января>. П. П. Иванову.

(Письмо П. П. Иванова к Белинскому от 18/I 1830 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 48).

<15—18 января>. Д. П. Иванову.

(Письмо П. П. Иванова к Белинскому от 25/I 1830 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 49).

<12—15 марта>. А. Иванисову.

(Письмо А. Иванисова к Белинскому от 18/III 1830 г.— БКр, стр. 71).

30 апреля. Г. Н. и М. И. Белинским.

(Письмо к ним же от 7/V 1830 г.).

1831

<Декабрь?>. Е. П. Ивановой.

(Письмо Е. П. Ивановой к Белинскому от 19/I <1832 г.>. — ЛН, т. 57, 1951, стр. 95).

25 декабря. К. Г. Белинскому.

(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 15/I 1832 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 92, 94).

¹ Здесь дан перечень писем, сведения о которых имеются в переписке Белинского и его современников. В круглых скобках указаны источники сведений. Звездочкой отмечены письма, существование которых предполагается.

10 февраля. К. Г. Белинскому.

(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 3/III 1832 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 101—102).

12 ноября. Г. Н., К. Г. и М. И. Белинским.

(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 25/XI 1832 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 124).

12 ноября. Ф. С. Ивановой.

(Письмо П. П. Иванова к Белинскому от 28/XI 1832 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 125).

20 февраля. К. Г. Белинскому.

(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 6/III 1833 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 138).

<1—15 августа>. Ф. С. Ивановой.

(Письмо Ф. С. Ивановой к Белинскому от 3/IX 1833 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 150).

15 декабря. К. Г. Белинскому.

(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 4/I 1834 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 160).

<25—30 мая>. П. Я. Петрову.

(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 4/VI 1834 г.— БКр, стр. 225).

<15—30 июня>. П. Я. Петрову.

(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 12/VII <1834 г.> — БКр, стр. 227).

<20 июня — 1 июля>. П. Я. Петрову.

(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 12/VII <1834 г.> — БКр, стр. 227).

<5—8 июля>. П. Я. Петрову.

(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 12/VII <1834 г.>. — БКр, стр. 229).

8 июля. М. П. Белинской.

(Письмо Белинского к К. Г. Белинскому от 3/VIII 1834 г. и ответное письмо К. Г. Белинского от 11/VIII 1834 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 176).

8 июля. Г. Н. Белинскому.

(Письмо Белинского к К. Г. Белинскому от 3/VIII 1834 г. и ответное письмо К. Г. Белинского от 11/VIII 1834 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 176).

8 июля. К. Г. Белинскому.

(Письмо Белинского к К. Г. Белинскому от 3/VIII 1834 г. и ответное письмо К. Г. Белинского от 11/VIII 1834 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 176).

8 июля. Д. Е. Ивановой.

(Письмо Белинского к К. Г. Белинскому от 3/VIII 1834 г. и ответное письмо К. Г. Белинского от 11/VIII 1834 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 176).

<10—12 июля>. П. Я. Петрову.

(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 16/VII <1834 г.> — БКр, стр. 230—231).

⟨10—15 сентября⟩. П. Я. Петрову.
(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 22/IX 1834 г.) — БКр,
стр. 239).

28 сентября. К. Г. Белинскому.
(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 18/X 1834 г. — ЛН,
т. 57, 1951, стр. 188).

⟨1—10 октября⟩. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к В. П. Красову от 16/X 1834 г. — «Переписка Станкевича», стр. 404).

⟨22—26 октября⟩. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к Белинскому от 30/X 1834 г. — «Переписка Станкевича», стр. 408).

1835

⟨22—30 января⟩. П. Я. Петрову.
(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 24/II 1835 г. — БКр,
стр. 243).

⟨3—5 апреля⟩. Н. А. Полевому.
(Письмо Н. А. Полевого к Белинскому от 5/IV 1835 г. — БКр,
стр. 254).

⟨1—10 июля⟩. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к Белинскому от 17/VII 1835 г. — «Переписка Станкевича», стр. 409).

⟨19—21 июля⟩. ⟨Белинским и Ивановым?⟩.
(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 1/VIII 1835 г. — ЛН,
т. 57, 1951, стр. 193).

⟨20—25 июля⟩. А. М. Полторацкому.
(Письмо А. М. Полторацкого к Белинскому от 31/VII 1835 г. — БКр,
стр. 258).

23 ⟨?⟩ июля. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к Белинскому от 31/VII 1835 г. — «Переписка Станкевича», стр. 410).

29 августа. К. Г. Белинскому.
(Письмо К. Г. Белинского к Белинскому от 26/IX 1835 г. — ЛН,
т. 57, 1951, стр. 194).

⟨4—8 ноября⟩. И. И. Лажечникову.
(Письмо И. И. Лажечникова к Белинскому от 12/XI 1835 г. — БКр,
стр. 176).

1836

⟨1—12 июня⟩. П. И. Лажечникову.
(Письмо П. И. Лажечникова к Белинскому от 18/VI 1836 г. — БКр,
стр. 182).

⟨1—25 июля⟩. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к Белинскому от 11/VIII 1836 г. — «Переписка Станкевича», стр. 413).

⟨Октябрь — ноябрь?⟩. Неизвестному.
(Письмо к Белинскому за подписью: Друг. — РМ 1911, № 6, отд. II,
стр. 43).

* <4—10 ноября>. Я. М. Неверову.
(Письмо М. А. Бакунина к Я. М. Неверову от 4/XI 1836 г.— Бакунин, т. I, стр. 357).

1837

* <10—15 февраля>. А. А. Краевскому.
(Письмо А. А. Краевского к Белинскому от начала февраля 1837 г.— БКр, стр. 95).

26 июня. М. А. Бакунину.
(Письмо к нему; же от 28/VI 1837 г.).

<10—20 июля>. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к Л. А. Бакуниной от 28/VII 1837 г.— «Переписка Станкевича», стр. 533).

<1—15 августа>. Н. В. Станкевичу.
(Письмо к М. А. Бакунину от 16—17/VIII 1837 г.).

* 18 августа. В. П. Боткину.
(Письмо к М. А. Бакунину от 16—17/VIII 1837 г.).

* 18 августа. И. П. Ключникову.
(Письмо к М. А. Бакунину от 16—17/VIII 1837 г.).

<2—4 ноября>. К. А. Полевому.
(Письмо К. А. Полевого к Белинскому от 4/XI [1837 г.— БКр, стр. 253).

15 ноября. Н. А. Полевому.
(Письмо к М. А. Бакунину от 15/XI 1837 г.)

<20 ноября — 5 декабря>. П. А. Полевому.
(Письмо Н. А. Полевого к Белинскому от 22/XII 1837 г.— БКр, стр. 255).

<27 ноября — 7 декабря>. Н. М. Сатину.
(Письмо Н. М. Сатина к Белинскому от 27/XII 1837 г.— БКр, стр. 267—270).

<1—10 декабря>. Н. В. Станкевичу.
(Письма Н. В. Станкевича к Белинскому и к Л. А. Бакуниной от 23 и 25/XII 1837 г.— «Переписка Станкевича», стр. 643, 550).

1838

<10—23 января>. П. Я. Петрову.
(Письмо П. Я. Петрова к Белинскому от 27/I 1838 г.— БКр, стр. 245).

<Январь — апрель>. М. А. Бакунину.
(Письмо к нему же от 20—31/V 1838 г.).

<10—20 февраля>. Н. В. Станкевичу.
(Письмо Н. В. Станкевича к М. А. Бакунину от 6(18)/II 1838 г.— «Переписка Станкевича», стр. 658).

<20 февраля — 1 марта>. А. В. Кольцову.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 7/III 1838 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 176).

<20 февраля — 1 марта>. Н. А. Полевому.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 7/III 1838 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 176).

<1—15 марта>. Н. А. Полевому.
(Письмо Н. А. Полевого к В. П. Боткину от 20/III 1838 г.— «Звенья», III-IV, 1934, стр. 881).

<Март — 10 мая>. М. А. Бакунину.
(Письмо к нему же от 20—31/V 1838 г.).

<Около 20 апреля>. Н. В. Станкевичу.
(Письмо к М. А. Бакунину от 12—24/X 1838 г.).

<11—15 мая>. И. Я. Кронебергу.
(Письмо И. Я. Кронеберга к Белинскому от 25/V 1838 г.— Письма, т. I, стр. 410).

<15—25 мая>. К. Г. Белинскому.
(Письмо к нему же от 1—5/VI 1838 г.).

<5—9 августа>. В. П. Боткину.
(Письмо к М. А. Бакунину от 12—13/VIII 1838 г.).

<10—11 августа>. И. Я. Кронебергу.
(Письмо к В. П. Боткину от 12/VIII и ответное письмо Кронеберга от 20/VIII 1838 г.— Письма, т. I, стр. 410).

13 августа. М. А. Бакунину.
(Письмо к нему же от 13—14/VIII 1838 г.).

16 августа. В. П. Боткину.
(Письма к М. А. Бакунину от 14 и 17/VIII 1838 г.).

<25 августа — 8 сентября>. М. А. Бакунину.
(Письмо к нему же от 10/IX 1838 г.).

<1—8 сентября>. В. И. Красову.
(Письмо В. И. Красова к Белинскому от 13/IX 1838 г.— БКр, стр. 107).

<20 сентября — 1 октября>. А. В. Кольцову.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 7/X 1838 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 188).

10 ноября. И. И. Панаеву (недоконченное и, очевидно, несланное).
(Письмо к нему же от 18/II 1839 г.).

<15 ноября — 30 декабря>. А. В. Кольцову.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от начала 1839 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 190—191).

1839

* <4—10 февраля>. М. Н. Каткову.
(Письмо к В. П. Боткину от 3/II 1839 г.).

* <4—10 февраля>. И. П. Ключникову.
(Письмо к В. П. Боткину от 3/II 1839 г.).

<13—20 февраля>. М. Н. Каткову.
(Письма к В. П. Боткину от 13—20/II 1839 г. и к Н. В. Станкевичу от 29/IX—8/X 1839 г.).

<16—31 марта>. В. П. Боткину.
(Письмо к Н. В. Станкевичу от 29/IX—8/X 1839 г.).

⟨Март — апрель?⟩. А. И. Герцену.
(Герцен. «Былое и думы», ч. II, гл. XVI.— ПесГ, т. XII. Пг., 1919, стр. 305).

⟨15 августа — 10 сентября⟩. А. В. Кольцову.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 28/IX 1839 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 197).

* ⟨27—31 августа⟩. В. С. Межевичу.
(Письмо к А. А. Краевскому от 24/VIII 1839 г.).

⟨1—25 октября?⟩. Н. М. Сатиниу.
(Письмо А. И. Герцена к Н. П. Огареву от 14/XI 1839 г.— ЛН, т. 61. 1953, стр. 388).

25 ноября. К. С. Аксакову.
(Письмо В. С. Аксаковой к К. С. Аксакову от 26/XI 1839 г.— ЛН, т. 56, 1950, стр. 135).

⟨Декабрь?⟩. К. С. Аксакову.
(Письмо К. С. Аксакова к Белинскому от начала января 1840 г.— «Труды Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», сб. IV. М., 1939, стр. 205).

1840

* ⟨4—15 февраля?⟩. М. И. Каткову.
(Письмо к В. П. Боткину от 3/II 1840 г.).

⟨10—14 февраля⟩. Т. Н. Грановскому.
(Письмо Т. Н. Грановского к Н. В. Станкевичу от 18/II 1840 г.— «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II. М., 1897, стр. 383).

⟨15 марта — 10 апреля⟩. И. П. Ключникову.
(Письмо к В. П. Боткину от 16/IV 1840 г.).

⟨15—20 апреля⟩. А. В. Кольцову.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 28/IV 1840 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 210).

⟨1—12 июля⟩. А. М. Петровой.
(Письмо А. М. Петровой к Белинскому от 19/VII 1840 г.— БКр, стр. 251).

⟨1—13 июля⟩. Н. Г. Белинскому.
(Письмо Н. Г. Белинского к Белинскому от 17/VII 1840 г.— ЛН, т. 57, 1951, стр. 215).

⟨15—25 июля⟩. А. В. Кольцову.
(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 15/VIII 1840 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 215).

⟨Июль — август?⟩. В. П. Боткину.
(Письмо к нему же от 5/IX 1840 г.).

⟨15 августа — 15 сентября⟩. Н. Г. Белинскому.
(Письмо к Д. П. Иванову от 4/X 1840 г.).

⟨15 августа — 15 сентября⟩. А. П. Иванову.
(Письмо к Д. П. Иванову от 4/X 1840 г.).

⟨15 августа — 15 сентября⟩. Д. П. Иванову.
(Письмо к нему же от 4/X 1840 г.).

* ⟨18—25 августа⟩. В. П. Боткину.
(Письмо к нему же от 16/VIII 1840 г.).

* <18—25 августа>. В. П. Красову.

(Письмо к В. П. Боткину от 16/VIII 1840 г.).

<20—25 августа>. П. П. Ключникову.

(Письмо П. П. Ключникова к Белинскому от 29/VIII 1840 г.— БКр, стр. 76).

<1—4 сентября>. А. И. Кронебергу.

(Письма к В. П. Боткину от 16/VIII и 5/IX 1840 г.).

* <6—10 октября>. Н. А. Бакунину.

(Письмо к В. П. Боткину от 4/X 1840 г.).

<Около 10 декабря>. А. В. Кольцову.

(Письмо к В. П. Боткину от 10—11/XII 1840 г.).

1841

<1—15 января>. А. В. Кольцову.

(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 27/I 1841 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 241).

<10—20 января>. А. В. Кольцову.

(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 27/I 1841 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 241).

<1—20 марта>. А. В. Кольцову.

(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 25/III 1841 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 248—252).

<7—9 апреля>. М. Н. Каткову.

(Письмо к В. П. Боткину от 9/IV 1841 г.).

<10—11 апреля>. Н. Г. Белинскому.

(Письмо к Д. П. Иванову от 11/IV 1841 г. и ответное письмо Н. Г. Белинского от 23/IV 1841 г.— ЛН, т. 57, стр. 220—221).

<25—28 июня>. К. С. Аксакову.

(Письмо В. П. Боткина к Белинскому от 18/VII 1841 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 180).

<12—16 октября>. А. В. Кольцову.

(Письмо А. В. Кольцова к Белинскому от 23/X 1841 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 254—255).

1842

<Около 20 марта>. А. В. Кольцову.

(Письмо к В. П. Боткину от 31/III 1842 г. и письмо А. В. Кольцова к Белинскому от мая 1842 г.— Полн. собр. соч. Кольцова. СПб., 1909, стр. 275).

8 апреля. К. А. Горбунову.

(Письмо к В. П. Боткину от 13/IV 1842 г.).

8 апреля. А. А. Краевскому.

(Письмо к В. П. Боткину от 13/IV 1842 г.).

<Около 1 ноября>. М. А. Бакунину.

(Письмо к Н. А. Бакунину от 7/XI 1842 г. и письмо М. А. Бакунина к брату Павлу от 12/II 1843 г.— Бакунин, т. III, 1935, стр. 184).

<Октябрь — ноябрь>. А. И. Герцену.

(Герцен. «Былое и думы», ч. VII, гл. III.— ПссГ, т. XIV. Пг., 1920, стр. 751).

<5—7 ноября>. А. И. Герцену.
(Дневник Герцена. Запись от 14/XI 1842 г.— ПссГ, т. III. Пг., 1919, стр. 55).

<7 ноября>. М. С. Щепкину.
(Письмо к В. П. Боткину от 7/XI 1842 г.).

<Около 15 декабря>. Н. Г. Белинскому.
(Ответное письмо Н. Г. Белинского от 12/Г 1843 г.— ЛН, т. 57, стр. 228).

1843

<Около 10 февраля>. А. И. Герцену.
(Дневник Герцена. Запись от 15/II 1843 г.— ПссГ, т. III. Пг., 1919, стр. 96).

<Около 10 апреля>. А. И. Герцену.
(Дневник Герцена. Запись от 15/IV 1843 г. и письмо к Н. П. Огареву от 22/IV 1843 г.— ПссГ, т. III. Пг., 1919, стр. 106 и 238).

<Около 15 апреля>. Н. А. Бакунину и его сестрам.
(Письмо к И. С. Тургеневу около 20/IV 1843 г.).

<29—30 апреля>. А. И. Герцену.
(Письмо к В. П. Боткину от 30/IV 1843 г.).

<5—9 мая>. В. П. Боткину.
(Письмо к нему же от 10—11/V 1843 г.).

1 июня. Н. Г. Белинскому.
(Ответное письмо Н. Г. Белинского от 9/VII 1843 г.— ЛН, т. 57, стр. 229).

<10—12 июля?>. В. А. Косиковскому.
(Письмо А. А. Краевского к Белинскому от 16/VII 1843 г.— БКр, стр. 98).

<15—25 августа>. Н. Г. Белинскому.
(Ответное письмо Н. Г. Белинского от 25/IX 1843 г.— ЛН, т. 57, стр. 230).

<14—16 сентября>. Д. П. Иванову.
(Письмо к Д. П. Иванову от 1/X 1843 г.).

29 октября. Н. Г. Белинскому.
(Ответное письмо Н. Г. Белинского от 4/XII 1843 г.— ЛН, т. 57, стр. 231).

<13—20 ноября>. А. В. Орловой.
(А. В. Орлова. Воспоминания о семейной жизни Белинского.— «Лепта Белинского». М., 1892, стр. 29).

1844

<1—15 января>. Н. Г. Белинскому.
(Ответное письмо Н. Г. Белинского от 12/II 1844 г.— ЛН, т. 57, стр. 235).

<Около 10 марта>. А. И. Герцену.
(Письмо Герцена к Н. Х. Кетчеру от 15/III 1844 г.— ПссГ, т. III. Пг., 1919, стр. 389).

<Около 15 апреля>. П. Д. Козловскому.
(Письмо П. Д. Козловского к Белинскому от 29/IV 1844 г.— БКр, стр. 84).

〈Около 5 мая〉. А. И. Герцену.
(Дневник Герцена. Запись от 17/V 1844 г. и «Былое и думы», ч. IV, гл. XXX.— ПссГ, т. III. Пг., 1919, стр. 327—328 и т. XIII, стр. 149).

17/29 июня. В. П. Боткину.
(Письма Боткина к Белинскому от 6/VIII и 20/IX 1844 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 185, 187).

〈6—9 августа〉. А. И. Герцену.
(Дневник Герцена. Запись от 14/VIII 1844 г.— ПссГ, т. III. Пг., 1919, стр. 344—345).

〈Около 25 сентября〉. П. Д. Козловскому.
(Письмо П. Д. Козловского к Белинскому от 8/X 1844 г.— БКр., стр. 86).

〈Конец года?〉. В. П. Боткину.
(Письмо Боткина к Белинскому от 6/VII 1845 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 188).

1845

〈Около 20 мая〉. В. П. Боткину.
(Письмо Боткина к Белинскому от 6/VII 1845 г.— «Литер. мысль», II, 1923, стр. 188).

〈1—6 августа〉. А. Я. Панаевой.
(Письмо А. Я. Панаевой к Белинскому от 11/VIII <1845 г.> — БКр., стр. 219).

1846

〈7—15 февраля〉. А. А. Краевскому.
(Письма к А. И. Герцену от 6 и 19/II 1846 г.).

〈20—25 марта〉. П. В. Анненкову.
(Письмо к В. П. Боткину от 26/III 1846 г.).

〈14 мая?〉. И. А. Гончарову.
(Письмо к М. В. Белинской от 14/V 1846 г.).

〈Около 25 мая〉. М. В. Белинской.
(Письмо к ней же от 11—12/VI 1846 г.).

〈24 июля?〉. А. И. Соколову.
(Письмо А. И. Соколова к Белинскому от ?/VIII 1846 г.— БКр., стр. 274).

1847

6 февраля. В. П. Боткину.
(Письмо к нему же от 7/II 1847 г.).

6 февраля. А. Д. Галахову.
(Письмо к В. П. Боткину от 7/II 1847 г.).

6 февраля. К. Д. Кавелину.
(Письмо к В. П. Боткину от 7/II 1847 г.).

* 〈18—19 февраля〉. В. П. Боткину.
(Письмо к нему же от 17/II 1847 г.).

〈18—19 февраля〉. К. Д. Кавелину.
(Письма к В. П. Боткину от 17/II и к И. С. Тургеневу от 19/II 1847 г.).

〈Около 7 апреля?〉. А. Д. Галахову.
(Письмо Галахову к Белинскому от 17/IV 1847 г.— ВКр, стр. 44).

〈10—12 апреля〉. П. В. Анненкову.
(Письмо к В. П. Боткину от 5/V 1847 г.).

〈16 июня〉. Н. А. Некрасову.
(Письмо Некрасова к Белинскому, Тургеневу и Анненкову от 24/VI 1847 г.— Полн. собр. соч. Некрасова, т. X. М., 1953, стр. 68 и 70).

* 〈10—15 июля〉. Н. А. Некрасову.
(Письмо Некрасова к Белинскому, Тургеневу и Анненкову от 25/VI 1847 г.— Полн. собр. соч. Некрасова, т. X. М., 1953, стр. 73—74).

〈2/14 августа〉. Н. А. Некрасову.
(Письмо к М. В. Беллинской от 22/IX н. с. 1847 г.).

〈1—12 ноября〉. К. Д. Кавелину.
(Письмо к нему же от 22/XI 1847 г. и «Воспоминания о Белинском» К. Д. Кавелина — «Белинский в воспоминаниях современников». М., 1948, стр. 93).

〈7—8 ноября〉. А. Д. Галахову.
(Письмо к К. Д. Кавелину от 7/XII 1847 г.).

1 8 4 8

〈20 февраля?〉. М. М. Попову.
(Письмо к нему же от 27/III 1848 г.)

УКАЗАТЕЛЬ ПИСЕМ ПО АДРЕСАТАМ

- Анненкову П. В. №№ 293, 315, 318, 320, 325
- Бакуниной Т. А. № 249
- Бакунину Н. А. №№ 174, 187, 204, 207, 220, 226
- Бакуниным А. А., В. А., П. А. и Т. А. № 211
- Бакуниным А. А., П. А. и Т. А. № 212
- Белинской М. В. №№ 193, 227—231, 233—247, 263—267, 269—272, 274—277, 279—282, 303—308, 310—314
- Боткину В. П. №№ 169, 171, 172, 175, 179, 186, 189, 190, 192, 194, 196, 197, 199, 201, 202, 205, 206, 209, 210, 213, 215, 216, 218, 219, 259, 285—287, 289, 291, 292, 295, 297, 298, 300, 301, 309, 316, 321
- Боткину В. П. и Герцену А. И. № 221
- Галахову А. Д. № 324
- Герцену А. И. №№ 251, 253—258, 261, 273, 283
- Гоголю Н. В. № 200
- Достоевскому Ф. М. № 252
- Иванову Д. П. №№ 178, 184, 191, 203, 214, 232, 248, 262, 288, 302, 323
- Кавелину К. Д. №№ 319, 322
- Каткову М. Н. и Ефремову А. П. № 195
- Кетчеру Н. Х. №№ 173, 183, 185
- Краевскому А. А. №№ 176, 177, 182, 222, 223, 225
- Кудрявцеву П. Н. №№ 180, 260, 268, 317
- Одоевскому В. Ф. № 181
- Орловой М. В.—См. Белинской М. В.
- Панаеву И. И. № 208
- Попову М. М. № 326
- Струговщикову А. Н. № 170
- Тургеневу И. С. №№ 217, 224, 250, 290, 294, 299
- Ханенке И. И. № 188
- Щепкину М. С. № 198
- Щепкину Н. М. №№ 278, 284, 296

П Е Р Е Ч Е Н Ь И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й

Автограф страницы письма Белинского к М. С. Щепкину от 14 апреля 1842 г. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва)	104
Автограф первой страницы письма Белинского к Н. В. Гоголю от 20 апреля 1842 г. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва)	108
Автограф последней страницы письма Белинского к И. С. Тургеневу от 8 июля 1843 г. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград)	168
Автограф второй страницы письма Белинского к М. В. Белинской от 16/28 июня 1847 г. Государственная библиотека СССР им. В. И. Ленина (Москва)	376
Автограф первой страницы письма Белинского к П. В. Анненкову от 29 сентября 1847 г. Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР (Ленинград)	400

СО Д Е Р Ж А Н И Е

П И С Ь М А

1 8 4 1

Стр.

169. В. П. Боткину... 30 декабря 1840 — 22 января 1841	7
170. А. Н. Струговщикову... 20—29 января	21
171. В. П. Боткину... 1 марта	22
172. В. П. Боткину... 13 марта	30
173. Н. Х. Кетчеру... конец марта — начало апреля (?)	35
174. Н. А. Бакунину... 6—8 апреля	36
175. В. П. Боткину... 9 апреля	43
176. А. А. Краевскому... 9—10 апреля	44
177. А. А. Краевскому... 9—10 апреля	45
178. Д. П. Иванову... 11 апреля	46
179. В. П. Боткину... 27—28 июня	49
180. П. Н. Кудрявцеву... 28 июня	56
181. В. Ф. Одоевскому... 29 июня	58
182. А. А. Краевскому... 18—19 июля	59
183. Н. Х. Кетчеру... 3 августа	59
184. Д. П. Иванову... 25 августа	63
185. Н. Х. Кетчеру... 25 августа	64
186. В. П. Боткину... 8 сентября	65
187. Н. А. Бакунину... 9 декабря	73

1 8 4 2

188. И. И. Ханенке... 8 февраля	79
189. В. П. Боткину... 14 марта	81
190. В. П. Боткину... 17 марта	84
191. Д. П. Иванову... 17 марта	87
192. В. П. Боткину... 31 марта	88
193. М. В. Орловой... 4 апреля	92
194. В. П. Боткину... 4 апреля	93
195. М. Н. Каткову и А. П. Ефремову... 6 апреля	95
196. В. П. Боткину... 8 апреля	96
197. В. П. Боткину... 13 апреля	97
198. М. С. Щепкину... 14 апреля	102
199. В. П. Боткину... 15—20 апреля	104
200. Н. В. Гоголю... 20 апреля	107
201. В. П. Боткину... начало июля?	110
202. В. П. Боткину... начало июля	111
203. Д. П. Иванову... 6 ноября	111
204. Н. А. Бакунину... 7 ноября	113
205. В. П. Боткину... 7 ноября	115
206. В. П. Боткину... 28 ноября	116
207. Н. А. Бакунину... 28 ноября	118

208. И. И. Панаеву... 5 декабря	121
209. В. П. Боткину... 9—10 декабря	122

1 8 4 3

210. В. П. Боткину... 6 февраля	128
211. А. А., В. А., Н. А. и Т. А. Бакуниным... 22—23 февраля	133
212. А. А., Н. А. и Т. А. Бакуниным... 8 марта	140
213. В. П. Боткину... 9 марта	147
214. Д. П. Иванову... 9 марта	149
215. В. П. Боткину... 31 марта — 3 апреля	150
216. В. П. Боткину... 17 апреля	155
217. И. С. Тургеневу... около 20 апреля	157
218. В. П. Боткину... 30 апреля	158
219. В. П. Боткину... 10—11 мая	158
220. Н. А. Бакунину... 24 мая	162
221. В. П. Боткину и А. И. Герцену... 24 мая	163
222. А. А. Краевскому... 26 июня	164
223. А. А. Краевскому... 8 июля	165
224. И. С. Тургеневу... 8 июля	168
225. А. А. Краевскому... 22 июля	168
226. Н. А. Бакунину... 24 августа	170
227. М. В. Орловой... 3 сентября	171
228. М. В. Орловой... 7—8 сентября	175
229. М. В. Орловой... 14 сентября	177
230. М. В. Орловой... 18—20 сентября	182
231. М. В. Орловой... 25—29 сентября	190
232. Д. П. Иванову... 1 октября	193
233. М. В. Орловой... 1 октября	193
234. М. В. Орловой... 2 октября	195
235. М. В. Орловой... 2 октября	202
236. М. В. Орловой... 3—4 октября	204
237. М. В. Орловой... 10 октября	209
238. М. В. Орловой... 12 октября	213
239. М. В. Орловой... 13 октября	219
240. М. В. Орловой... 15 октября	224
241. М. В. Орловой... 15 октября	227
242. М. В. Орловой... 18 октября	234
243. М. В. Орловой... 20 октября	235
244. М. В. Орловой... 22—23 октября	237
245. М. В. Орловой... 25 октября	240
246. М. В. Орловой... 27 октября	242
247. М. В. Орловой... 30 октября	243

1 8 4 4

248. Д. П. Иванову... 12 апреля	244
249. Т. А. Бакуниной... 5 декабря	246
250. И. С. Тургеневу... около 13 декабря	247

1 8 4 5

251. А. И. Герцену... 26 января	249
252. Ф. М. Достоевскому... около 10 июня	251

1 8 4 6

253. А. И. Герцену... 2 января	252
254. А. И. Герцену... 14 января	256
255. А. И. Герцену... 26 января	259
256. А. И. Герцену... 6 февраля	261

257. А. И. Герцену... 19 февраля	264
258. А. И. Герцену... 20 марта	267
259. В. П. Боткину... 26 марта (6 апреля)	268
260. П. Н. Кудрявцеву... 26 марта	269
261. А. И. Герцену... 6 апреля	270
262. Д. П. Иванову... 15 апреля	274
263. М. В. Белинской... 1 мая	274
264. М. В. Белинской... 4 мая	275
265. М. В. Белинской... 7 мая	276
266. М. В. Белинской... 7—8 мая	277
267. М. В. Белинской... 14 мая	278
268. П. Н. Кудрявцеву... 15 мая	280
269. М. В. Белинской... 11—12 июня	281
270. М. В. Белинской... 14—15 июня	287
271. М. В. Белинской... 24 июня	289
272. М. В. Белинской... 28 июня	293
273. А. И. Герцену... 4 июля	296
274. М. В. Белинской... 8 июля	297
275. М. В. Белинской... 12 июля	300
276. М. В. Белинской... 17—23 июля	302
277. М. В. Белинской... 30 июля	303
278. Н. М. Щепкину... 30 июля	306
279. М. В. Белинской... 6 августа	307
280. М. В. Белинской... 13 августа	309
281. М. В. Белинской... 22—23 августа	312
282. М. В. Белинской... 4—5 сентября	313
283. А. И. Герцену... 6 сентября	316
284. Н. М. Щепкину... 9 сентября	317

1 8 4 7

285. В. П. Боткину... 29 января	318
286. В. П. Боткину... 6 февраля	320
287. В. П. Боткину... 7 февраля	324
288. Д. П. Иванову... 7 февраля	326
289. В. П. Боткину... 17 февраля	327
290. И. С. Тургеневу... 19 февраля/3 марта	333
291. В. П. Боткину... 26 февраля	337
292. В. П. Боткину... 28 февраля	338
293. П. В. Анненкову... 1/13 марта	341
294. И. С. Тургеневу... 1/13 марта	342
295. В. П. Боткину... 4 марта	347
296. Н. М. Щепкину... 5 марта	349
297. В. П. Боткину... 8 марта	349
298. В. П. Боткину... 15—17 марта	351
299. И. С. Тургеневу... 12/24 апреля	353
300. В. П. Боткину... 22 апреля	353
301. В. П. Боткину... 5 мая	360
302. Д. П. Иванову... 5 мая	361
303. М. В. Белинской... 10/22 мая	362
304. М. В. Белинской... 24 мая/5 июня	363
305. М. В. Белинской... 29 мая/10 июня	369
306. М. В. Белинской... 16/28 июня	371
307. М. В. Белинской... 25 июня/7 июля	376
308. М. В. Белинской... 7/19 июля	379
309. В. П. Боткину... 7/19 июля	383
310. М. В. Белинской... 3 августа	386
311. М. В. Белинской... 14 августа	391

312. М. В. Белинской... 22 августа	392
313. М. В. Белинской... 3 сентября	396
314. М. В. Белинской... 22 сентября	397
315. П. В. Анненкову... 29 сентября	398
316. В. П. Боткину... 4—8 ноября	403
317. П. Н. Кудрявцеву... 8 ноября	423
318. П. В. Анненкову... 20 ноября—2 декабря	423
319. К. Д. Кавелину... 22 ноября	431
320. П. В. Анненкову... 1—10 декабря	436
321. В. П. Боткину... 2—6 декабря	442
322. К. Д. Кавелину... 7 декабря	453
323. Д. П. Иванову... 10 декабря	462
1 8 4 8	
324. А. Д. Галахову... 4 января	464
325. П. В. Анненкову... 15 февраля	465
326. М. М. Попову... 27 марта	469

ДЕЛОВЫЕ БУМАГИ

1. Расписка в получении денег от Г. А. Гурцова	473
2. Доверенность Н. П. Иванову на получение свидетельства о «дворянском достоинстве»	473
3. Прощение в Пензенское дворянское собрание	474
4. Расписка в получении постановления Департамента герольдии о «дворянском достоинстве»	474
Примечания	475
Условные обозначения	477
Приложение	579
Утраченные письма Белинского	581
Указатель писем по адресатам	591
Перечень иллюстраций	592

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

И. Ф. БГЛЬЧИКОВ (главный редактор), Д. Д. БЛАГОЙ,
 Б. И. БУРСОВ (зам. главного редактора), А. Г. ДЕМЕНТЬЕВ,
 В. А. ДЕСНИЦКИЙ, В. С. НЕЧАЕВА, Н. К. ПИКСАНОВ, Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ

Тексты писем подготовила и примечания к ним составила
К. П. Богаевская

Редактор тома Ю. Г. ОКСМАН

Редакторы издательства *К. А. Гусева* и *М. Б. Покровская*
 Технический редактор *Е. Н. Симкина*
 Корректор *В. К. Гарди*

РИСО АН СССР № 34-3В. Сдано в набор 13/VII 1956 г. Подп. в печать 22/XI 1956 г.
 Формат бум. 60×92¹/₁₆. Печ. л. 37¹/₄+5 вкл. Уч.-изд. лист. 33,6+0,3 вкл.=33,9.
 Тираж 19 000. Изд. № 1200. Тип. зак. 628

Цена 20 р.

Издательство Академии наук СССР. Москва, Б-64, Подсосенский пер., д. 21

2-я типография Издательства АН СССР. Москва, Г-99, Шубинский пер., д. 10